

НОВЫЙ МИР

1

1935

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 5

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Многокрасочная вкладка: «ШТАБ ОКТЯБРЯ»—худ. В. СВАРОГА

| | |
|---|-----|
| 1. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, <i>роман</i> , часть третья | 5 |
| 2. ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Трагедия Любаши, <i>повесть</i> | 22 |
| 3. КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ. — Апология Риона, <i>поэма</i> | 51 |
| 4. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, <i>пьеса</i> | 54 |
| 5. НИКОЛАЙ БРАУН. — Три стихотворения | 81 |
| 6. М. ЧУМАНДРИН. — Год рождения 1905-й, <i>хроника одного детства</i> | 83 |
| 7. Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ. — Новоселье, <i>стихотворение</i> | 110 |
| 8. БОР. ПИЛЬНЯК. — Рождение человека, <i>рассказ</i> | 111 |
| 9. В. НАСЕДКИН. — Осень, <i>стихотворение</i> | 127 |
| 10. МАКС ЗИНГЕР. — Улица Леваневского, <i>рассказ</i> | 129 |

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

| | |
|--|-----|
| 11. Г. СТРЕЛЬЦОВ. — Хозяйственные итоги 1934 г. | 133 |
| 12. А. ГАРРИ. — Рождение метро | 150 |
| 13. Б. ЛАВРОВ. — По непроторенным дорогам, с иллюстрациями | 179 |

ЗА РУБЕЖОМ:

| | |
|---|-----|
| 14. И. ВЕРГВАЛЬД. — Историю делают голубоглазые, белокурые люди... Рис. худ. БОР. ЕФИМОВА | 210 |
|---|-----|

НАУКА И ТЕХНИКА:

| | |
|---|-----|
| 15. Проф. Ю. П. ФРОЛОВ. — Значение новых работ школы академика И. П. Павлова для сравнительной физиологии мозга | 228 |
|---|-----|

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

| | |
|--|-----|
| 16. А. СТАРЧАКОВ. — Ал. Н. Толстой | 247 |
| 17. Н. ВОЛКОВ. — После юбилея (20 лет Камерного театра), с иллюстрациями | 275 |
| 18. С. ЧЕМОДАНОВ. — М. М. Ипполитов-Иванов (к 75-летию со дня рождения), с иллюстрациями | 278 |
| 19. П. СЫСОЕВ. — Вредные идеи под маской марксизма | 287 |
| 20. Б. КАПЦОВ и А. ЛЕБЕДЕВ. — История 1-й Конной армии в живописи | 291 |

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

| | |
|---|-----|
| К БОГАЕВСКАЯ. — С. Сергеев-Ценский, «Невеста Пушкина» | 296 |
| И. БЕРЕЗОВ. — Агнесса Смэдли, «Китайские судьбы» | 297 |
| Н. ЗАМКОВ. — Рошфор Анри, «Приключения моей жизни» | 299 |
| В. Е. ЛЬВОВ. — Дж. Г. Джинс, «Движение миров» | 301 |
| КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ | 304 |

Статформат Б/5 176 × 250.

Уцолн. Главл. Б—1451. Тир. 53.000. Об'ем 19 печ. лист. по 64.000 знак. Сдано в набор 4/1—35 г.

Подписано к печати 21/1—35 г. Техн. ред. В. Белоконь. Зак. 71.

Тип. им. тов. И. И. Окворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.



„ШТАБ ОКТЯБРЯ“

Картина худ. В. Сварога

ДОБИТЬ ВРАГА, УСИЛИТЬ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ!

Перводекабрьский выстрел, отнявший у Страны Советов мужественного и непреклонного большевика, вдохновенного строителя новой жизни, Сергея Мироновича Кирова, вскрыл гнойную свалку контрреволюционного отребья бывшей антипартийной оппозиции.

События, последовавшие за подлым убийством тов. Кирова, разоблачение самих террористов, их непосредственных сообщников и вдохновителей, их идейных отцов и учителей, обнажили перед всем миром глубочайшее политическое и моральное падение ничтожной кучки людей, однажды осмелившихся пойти против ленинской линии нашей партии, против гениального руководства товарища Сталина. Неумолимая логика фракционной борьбы привела их в топкое болото контрреволюции.

Пролетарский суд вынес свой справедливый приговор изменникам революции — Зиновьеву, Каменеву и всей банде их контрреволюционных сообщников. Этот приговор продиктовала вся наша трудовая страна, — решение Верховного Суда говорило голосом миллионов строителей социализма.

Профессиональные штрейкбрехеры и ренегаты, Зиновьев и Каменев, вся политическая биография которых состоит из трусливого отступничества, лицемерия и двурушничества, множество раз формально признавая свои ошибки и заверяя партию в преданности ей, цинично и нагло лгали перед лицом всего рабочего класса, чтобы усыпить бдительность партии. Этим они маскировали свою непрекращавшуюся подрывную контрреволюционную работу.

Методом их попыток сплочения антипартийных контрреволюционных сил была клевета, систематическая вздорная клевета на линию партии, беспринципная, злобная и враждебная критика важнейших мероприятий партии и правительства, распространение самых гнусных сплетен и провокационных слухов о руководстве партии.

Никогда не имея поддержки в массах и лишившись всякой надежды на эту поддержку, в своем подполье они разрабатывали разные способы дискредитации политики советов и партии, они заимствовали все, что могли, в арсенале фашизма и, растравляя злобу и ненависть к победам рабочего класса в грязном сердце своих негодяев-соратников, привели к выстрелу в Смольном, к выстрелу, оплаченному консулом иностранного государства.

Борясь за мертворожденную и выхолощенную троцкистско-зиновьевскую платформу, они ставили ставку на дезорганизацию советского руко-

водства и срыв политики строительства социализма. Они ожидали, что эхом перводекабрьского выстрела будет выступление контрреволюционных сил разгромленного и разбитого классового врага. И просчитались и понесли заслуженную кару. Потерявшие разум, порвавшие всякие нити, связывавшие их с трудящимися, ослепленные ненавистью и тщеславием, они просчитались, ибо непоколебимо могущество пролетариата, непоколебима гранитная монолитность ленинской партии, победоносно ведущей, под руководством гениального и любимого вождя товарища Сталина, Страну Советов к бесклассовому, социалистическому обществу.

«Мы быстро движемся вперед, — сказал тов. Л. М. Каганович 15 декабря на активе московской городской партийной организации. — Страна на высоком под'еме. Враги стремительно катятся вниз. Но, чем большее расстояние между нашим под'емом и скатом врагов вниз, тем больше дикой, бессильной злобы у этих классовых врагов. Поэтому нам нужно не ослаблять свою классовую бдительность.

Бдительность требует не только помнить о враге. Бдительность требует, чтобы мы удесятирили свою борьбу, чтобы мы удесятирили свою идейно-политическую и организаторскую работу. Бдительность требует, чтобы мы везде и повсюду разбили врага, до конца выкорчевывали его остатки».

Похождения факира

Роман

ВС. ИВАНОВ

Часть третья ¹⁾

«Мы искали физическую Индию — и нашли Америку; теперь мы ищем духовную Индию — что же мы найдем?»

Г. Гейне.

ФАКИР ВХОДИТ В ЦИРК

1

Много страшных моментов случилось в моей жизни. И те, о которых рассказано в предыдущих частях, и те, о которых будет рассказано в последующих, и те, о которых автор умолчал, предоставив, буде понадобится, работу другим людям, — все это позволяло б думать, что он испытал известное ощущение, когда в страшный момент перед человеком мелькнет вся его жизнь. Мой отец, Вячеслав Алексеевич Иванов, утверждал, что он много видел таких мельканий, и этим я объясняю то, что он столь гладко мог рассказывать без передышки дня три подряд о каком-нибудь, казалось, самом неважном событии. Но ни в один из этих страшных моментов, случившихся со мной, а часто они, в силу моего пышного воображения, бывали гораздо страшнее, чем у прочих людей, так что я мог бы с успехом пропустить не только мою жизнь, но, кстати, ряд жизней моих друзей и знакомых, — имея страстное желание «пропустить», все-таки доныне я не видал сразу моей жизни. Признаться, это мне неприятно было и тогда и сейчас, не потому, что я хотел

¹⁾ Части первую и вторую см. «Новый мир», кн. 4—10 за 1934 г.

с кем-то сравняться; а потому, что просмотр моей жизни позволил бы мне отбросить и выбрать наиболее красивые и удачные куски хотя бы для упрощения этого моего романа, для уменьшения действующих лиц, и наконец, — кто знает? — и писал бы я более героическим стилем и образ мой был бы понятен с первой страницы, так что не только критику, но и читателю не нужно б итти дальше первой страницы, не вспыхивать негодованием на автора, что он держит при себе всяческую гадость вроде Пашки Ковалева, а великодушных людей пропускает сквозь пальцы!

Итак, случился, пожалуй, самый страшный момент в моей жизни. Судите сами. Не ради тщеславия, как это случилось раньше, а тщеславие-таки овладевало мною, и я должен признаться, что отец мой, — как и почтенные критики этой книги, — были правы, упрекая меня, — теперь я хотел колоть себя, не видя зрителей, не видя обычного изумрудного неба Индии и розовато-белого мрамора минаретов и яркой толпы! Я колот себя перед тусклым зеркалом, где не только нельзя разглядеть себя, но надо выработать большую привычку, чтобы, метя в предплечье, не попасть в живот. И вот в эти, повторяю,

страшные секунды меня окриками друзей, лебязинцы, павлодарцы! Как не вспомнить факирство в «городе равнодушных», влюбленность в дочь пристава Тевкелеева, встречу с цирком А. Коромыслова и пани Мариной. Долго, — до сегодняшнего размышления моего на подоконнике, — я тщеславился моими друзьями! Даже вранье на Курганском кургане, повторение рассказов моего отца вроде попугая и капитана Лянгасова, чего я никак себе не мог простить и взамен чего я сообщил моему отцу историю с переводчиком английского языка Кухаревским, все это случившееся произошло оттого, что я предпочитал «шествие факира» отличному наборному делу.

Я лежал животом на подоконнике. Мои бывшие спутники смотрели в сторону. Они признавали необходимость и справедливость моих размышлений. Время от времени они оборачивались ко мне. Я делал строгое лицо. Они поспешно отворачивались. Нубия, существо менее смышленное, но более жалобное, просунуло сквозь частокол голову и смотрело на меня неотступно, с присутствием ей состраданием. Она от'елась, раны ее зажили, но взгляд у ней остался прежним.

Я рассматривал вещи, которыми была обвешана Нубия, переулоч, гимназиста, который шел, выпятив важно живот, пьяного извозчика, ехавшего наискось. Вообще я не торопился. Я понимал, что препараты, висевшие на Нубии, сделаны согласно моим чертежам, но без меня кто приведет их в действие? Я видел и стол фокусника, и клетку с искусственной птичкой, и даже звери «моего зверинца» были сделаны прекрасно, так что всякий признал бы в них искуснейшую руку «мастера Иоанна». Но вы сами понимаете, что меня занимали не вещи. Если вы помните; я вообще мало думал о вещах. Меня занимал смысл их и занимал даже до полного потрясения всего моего препарата. Сейчас я смотрел на них, горько думая, что все мое тщеславие исчезло. Это несомненно! Я забыл о созданных фокусах, о «шествии факира» и даже о любви солдатки Павлы Рязевой. Будь

я тщеславен попрежнему, я бы гордился этими поделуями! Я согласился целовать ее, если б меня избил вернувшийся муж ее, хотя я отлично знал, какковы откормленные на царских харчах кулаки, озлобленные и гвардейские. Мое сердце молчало! Кто б не тщеславился, когда любви Павлы не добился даже исправник, а мне стоило постучать ночью, и она открыла мне свою дверь.

Я жалел ушедшее тщеславие? Как будто и жалел, а как будто и нет. Дело в том, что я не оценил вред его и пользы, да и как оценить, когда я был охвачен им с ног до головы! Теперь надо его поймать за хвост и осмотреть, пока оно не скрылось.

Иногда я думал над ним согласно слов мудреца, что «тщеславие есть начало всякой славы и добродетели». Тщеславие, а не что иное, заставило изобрести первый огонь в каменном веке! Уже позже, изобретатель сказал, как и многие современные изобретатели в своих мемуарах, что это скромное открытие сделано ради любви к людям. Однако изобретатель и после этого утверждения с большим удовольствием принимал похвалы и весьма ожесточенно отзывался о тех, которые утверждали, что огонь весьма глупая затея, что можно спалить не только себя, но и все орудия и оружия нашего рода, предметы, столь долго и тщательно изготовленные. Кроме того, огонь будет привлекать врагов и враждебные племена наяднут отнимать это наше изобретение и всех нас перебьют и вообще это нелепый и пустой эксперимент, может быть, любопытный, но не более, для которого, помимо всего прочего, требуется и обучение, а у нас и без того уходит много времени на учение, так что для личной жизни совершенно не остается свободного времени. То же самое было и с изобретателем соленой капусты или человеком, который заменил цепной механизм в часах стальной пружиной.

Но теперь, день ото дня, все чаще я думал о тщеславии павлодарском и, особенно, лебязском, о тщеславии внезапном, чудесном, колдовском.

Поп, шаман, знахарь, кудесник ищут и рассказывают о чудесном не только

для того, чтобы пронитаться, но и ради тщеславия!

Вот стоит лебяжский поп в блестящем тяжелом платье, очень неудобном и поднимающем пыль, — под желтым солнечным лучом, который устроен так лихо, что всегда находится в алтаре, а перед окончанием обедни залазит даже на амвон. Поп поет от всей души, задржав кверху вдохновенную бороду, в которой еще торчат крошки табака, потому что еще десять минут назад он крутил папирску. Денег попу уже не надо, он их накопил достаточно, его мучает сердце, одышка, но посмотрите, как ему лестно стоять здесь и размахивать посудой, из которой идет дым, только потому, что все верят, будто он разговаривает с богом, т.-е. существом, создавшим наш мир, который будто бы, по утверждению ученейшего астронома Джемс Г. Джинса (Кембридж, 1931 г.: «Движение миров»), среди миллиарда звезд является редчайшим исключением, так как, видите ли «вселенная активно враждебна жизни». А как лестно прихожанам верить, что этот разряженный дурак помогает им в личной беседе с богом! А вы бы посмотрели на попа, у которого хватит воображения и смелости описать, как он своими глазами видал бога и слышал его не внутренним слухом, а наружным, вот этим самым отверстием на голове, из которого торчат волосы и сера. Поп должен, главным образом, передавать голос бога и сияние вокруг его лица, что же касается смысла его речей, то это совершенно не важно. Рассказать трудно только вначале, а дальше в речах бога уже появится и смысл. Я помню, как бабушка Фекла рассказывала о первом свидании с Христом. Слушали ее с отвращением, — так ее голос звучал неуверенно, хотя она пыталась об'яснить эту неуверенность испугом, который будто бы все еще не исчез. А год спустя бабка Фекла без затруднений описывала, и притом весьма искусно, какого цвета были сапоги на Христе и почему из кармана у него торчал кренделек и кисет с табаком.

Друзья скорбно оглядывают мой подоконник. Движения затрудняет мысль,

что их друг размышляет слишком долго над вещами довольно ясными. Если эта мысль затрудняла их движение, то как-то было мне действительно размышлять! Но тут я подумал, что важно теперь не мое тщеславие, которое несомненно исчезло, а важно теперь мне исправить тщеславие других, как я исправил свое. Я улыбнулся, но улыбкой, показывающей, что размышления хотя и приближаются к концу, но все-таки до конца им еще далеко. Друзья опять отвернулись.

Я подумал, что люди мало придают значения величине своего тщеславия и вообще люди стараются думать побольше о том, что менее всего важно. Следовательно, необходимо знать и записать размеры всяческих тщеславий, ибо тщательно измеренный враг уже не так страшен. Необходимо составить некий «кодекс тщеславия». Не начать ли например с пункта «А»? Предположим, что «каждый человек способен держать предмет, абсолютно ему ненужный, но которого нет у других». Тут я подумал, что конечно нельзя сказать так о каждом человеке. Но закон должен писаться категорически, дабы люди не могли избегать, думая, что есть исключение и таким исключением является он, думающий. К пункту «Б» подошло бы определение, начинающееся: «так как все люди тщеславны...»

В голове у меня шумело. Я сознавал, что путаница чувств и мыслей овладевала мной! Мне нужно было весьма быстро составить кодекс, который бы говорил и требовал, чтобы люди не тщеславились пустяками, а подлинными и ценными для всех вещами и знаниями. Например, если человек имеет такие же брюки, как и сто миллионов окружающих его людей, то вряд ли он будет тщеславиться этими брюками, а кодекс как-раз и должен требовать и доказывать необходимость такого тщеславия. Мало того, он должен думать и об улучшенных брюках, потому что всякие брюки протираются, но, думая об улучшенных брюках, он должен думать о брюках для всех. Или, вот идет по двору петух. Это самый обыкновенный бурый петух с растрепанным в боях хрупким

хвостом шафранного цвета. Тщеслався таким петухом, но добивайся, чтобы у всех такой же имелся петух, а не хватай его за крылья, не клади его на полено и не тыкай его по шее топором только потому, что к тебе «как будто» придут гости! Прежде, чем отпустить топор на свои ли заношенные брюки или на шею петуха, подумай о тщеславии!

Но, чем я дальше наблюдаю Сибирь, тем вернее должен сказать, что мой кодекс способен только обидеть ее! Здесь люди тщеславятся самыми необыкновенными предметами и чувствами, а тщеславнее всех городов сибирских Павлодар, а тщеславнее сел сибирских — наше Лебяжье.

О, этот Павлодар! О, это Лебяжье! Я вспомнил эти пыльные улицы, по которым идут люди, каждый из которых непременно самородок. Павлодар, собственно, расширенное Лебяжье, с прогимназией, казачьим управлением, городской думой, с полицейскими участками. В Лебяжьем вместо полицейского поселковый атаман, вместо прогимназии, городского училища и сельскохозяйственной школы — Вячеслав Иванов с его тремя десятками учеников. Но возле высокого песчаного берега в Лебяжьем такая же пристань, как и в Павлодаре, а за поселком несколько мельниц, курганы, степь. Вдоль улицы ни одного дерева и всегда, когда б я и сколько там я ни был, вдоль улицы идет теленок. Будь лебяжинцы грамотными, они написали бы о своем поселке, о своих чувствах, о своем теленке великое множество книг, потому что, будучи почти неграмотными, они уверяли, — и притом с весьма крупной изобразительной силой, — что именно здесь, в Лебяжьем, р а б о т а л и: на поприще практической геологии, отчасти палеонтологии, Асмус, П. Вагнер, Языков, фон-Вальдгейм, Чихачев, Фишер, Лавров, Оливвери, Соколов, братья Бугеневы, Макиеровский. Саллюстий, некий римский историк (86 до Р. Х.) составлял здесь, возле трубочевской мельницы, историю Римской республики. Добшюц, прусский генерал-от-кавалерии, который во время войны 1813 г. собрал и устроил селесский ландвер, с'ел

возле Иртыша за один присест пять фунтов язей и шесть с половиною стерлядей. Ангальд, специалист по долбленным изделиям, который, кроме десяти видов семеновских ложек (складные; староверческие, с вырезкой двуперстия на конечности черенка — ручки; детские; межеумки; носковые, т.-е. обыкновенно столовые; дюжинные, или чайные; тоники, или хлыстовки; сибирские, или баски; похмельные), еще установил: «бутырку», самую крупную в России ложку; «угластую», или кривую, с ручкой, изогнутой под углом «для удобства еды»; поваренок-разливушка; обыкновенную грубую крестьянскую ложку, которая до сих пор еще не имела всеобщего книжного названия, — «лузик», так вот этот Ангальд сидел здесь на берегу Иртыша после охоты, и пойнтер Мысай с'ел у него триста рублей бумажных денег. Ангальд был ученый сообразительный: он дал глупому псу слабительного и вместо 300 рублей удивленные лебяжинцы насчитали 425! Пьер Теофиль Динокур придумал близ этих мест множество своих романов, а Фридрих Диттес, немецкий педагог, оставил «методику первоначального обучения, изложенную на основании исторического ее развития». Здесь Карл Линней ввел двойную, «бинарную», номенклатуру при описании животных и растений, всецело господствующую в науке до настоящего времени. В Лебяжьем употребляют анисные семена для лечения: они, говорят, укрепляют желудок и кишки и разбивают грудные мокроты и ветры, скопившиеся в кишках. Атаман Трубачев, любитель еды и спанья, употреблял за один раз до полутора фунтов этих анисных семян. Францис Пекосинский, юрист, профессор Краковского университета, приезжая в гости к Савицким, развил свою теорию «наезда поморских племен в Польшу», откуда вытекало, что польская шляхта произошла от викингов. Полковник Г. Г. Ковалев, раненный в грудь, в самый георгиевский крест, при Альминском сражении, выпил здесь за ужином полторы четверти водки и без дрожания ног влез на седло, чтобы ехать дальше. Еще разыше его проез-

жал здесь Вобан, знаменитый французский инженер, который, осмотрев остатки Лебяжинской крепости, смог изложить свое учение о необходимости артиллерийской поддержки соседних укреплений фланговым огнем в статье своей «История фортификации». Он изумлялся поразительному искусству лебяжинцев, умеющих применять свои постройки к местности. С восхищением он рассказал, что «разнообразие от построек бесконечно, у них нет и двух тождественных фортов». Тахир бен-Гуссейн бен-Мусак, полководец халифа Мамуна, после усмирения восстания Раффи бен-Ляйса в Самарканде (806 — 810) посетил Лебяжье. Здесь он при чтении пятничной молитвы (худбы) выпустил имя халифа, так как он (Тахир, а не халиф) много выпил кумыса, но тем не менее поступок его посчитался мятежным действием. Тахир бросился к Мерву, дабы защищаться. Он скоропостижно скончался в том же году, еще до начала вооруженной борьбы, из-за привычки, приобретенной в Лебяжьем, т.-е. из-за кумыса. Здесь, в кружке защитников Порт-Артура, имеющем целью объединение и взаимопомощь всех артурцев, собрание материалов для составления истории Порт-Артура и устройство музея, М. А. Боголепов сказал большую речь о способе лить свечи, из которой стало ясно, что формы, в которые отливаются свечи, есть цилиндрические трубки, длина и ширина которых соразмерны величине свечи, какую хотят лить, а так как свечи бывают разной толщины и длины, то и формы бывают разных родов. От озера Теке, что в Кавчетавском уезде и что на дне имеет слой соли в один вершок, а вода его грязно-молочного цвета, сюда приехал когда то сам Телефос, сын Геракла и Авги. Напоминаем, что из боязни перед своим отцом Авга спрятала своего сына в святилище девственной богини Афины, которая наказала за это Иртышскую страну чумой. Телефоса кинули где-то возле Тобольска, там его кормила рогатая оленица, но весьма несправно. В Лебяжье он приехал на щуке 127 пудов весом! Мать его хотели утопить, но она спасается в

Китай, где выходит замуж за царя Лу. Телефос служил в Лебяжьем звонарем и умер в церковной сторожке. Ка-Дево предложил именно здесь свой способ мыть белье картофелем. Белье надо мочить в большом количестве холодной воды целые сутки. Вынув белье из воды, бей его, пока не устанешь, вальком, после чего выжми воду! Картофель вари в воде как бы для еды, однако ж так, чтобы он был еще довольно тверд и способен к употреблению наподобие мыла. Кожица, находящаяся на картофеле, сообщит белью сероватый цвет, ты ее отбрось. Господин Поппе (из Германии) похвалил эту мысль, присовокупя, что полезно мыть картофелем шелковые цветные материи, которые от того не теряют своего цвета, тогда как от мыла они линяют, и добавил, что кроме того он считает полезным употреблять после мытья картофель в пищу. Валентин Катаев получил здесь Нобелевскую премию. Петр Кованько, сотник Полтавского полка, участник в доносе на Мазепу, был здесь так же, как и певец Антоновский; и генерал Гобленц; и Мухтар-паша; и Скобелев; и Михаил Воротынский; и Бережков; и Шенк; и Нассау-Зигель; и адмирал Поль Джонс; и адмирал Ушаков; и архимандрит Муромского Спасского монастыря, расколу-учитель XVII века Антоний; и английский скульптор, ученик Флаксмана, создатель колоссальной статуи «Британия», Эдвард Годжис Бейли; и генерал фон-ден-Вос, придумавший знаменитую «систему культуры», введенную им на острове Ява в 1832 г. на принципах, оставшихся бессмертными и по сие время: голландское правительство, ссылаясь на начало мусульманского права, объявило себя собственником всей земли, а туземных земледельцев лишь временными пользователями с обязательной за этой барщиною на государственных плантациях кофе, сахарного тростника и т. д.; и Юлиус Кольберг, польский топограф и землемер; и Эмиль Ожье, автор «Авантюристски», «Свадьбы Олимпии», «Зятя господина Пуарье»; и Александр Дюма — сын; и статс-секретарь Бутков; и Геродот; и Декологи, предложивший здесь компасную кар-

тушку с малыми стрелками; и Людовиг Каусский; и Николай Дега; и Бредероде; и епископ Генри Комптон; и Менгу-Темур, внук Батия от второго сына Тутукана; и князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский, боярин и дворецкий, скончавшийся здесь в 1661 г., со смертью которого пресекался род князей Темкиных-Ростовских, чем оный род и прославился; и гроссмейстер Лотарь Брауншвейгский; и маркграф Людовиг Бранденбургский; и великий пьяница и суфлер Никита Петрович Теодомасский, который служил в Берлине в Лессинг-театре, в Мюнхене, Дрездене, Лейпциге, Кельне, Карлеруэ, Дармштадте, Франкфурте-на-Майне, Висбадене, Вагнеровском театре в Байрете, Праге, Зальцбурге, Лионе, Марселе, Бордо, театре Сан-Карло в Неаполе, Делла-Скала в Милане, Фенице в Венеции, театрах Лондона: Дрюледском и Ковенгарденском, помимо Павлодарского и Омского; и Ю. Ю. Витте, думавший здесь о принципе железнодорожных тарифов; и Фигинштейн-сан-Берлебург, автор кавалерийских очерков, скакал здесь на иноходце; — все, все они бывали здесь, эти создатели «внезапности жизни», что означает упреждение вас в действиях, или чьи-либо чужие действия, что, в сущности, есть одно и то же, но что мы сообщаем для ясности мысли.

Думаю, что внезапность мышления, свойственная Лебяжьему и Павлодару, получена лебяжинцами на войнах, где она имеет особенное значение. Военная история дает много примеров, когда целые кампании выигрывались исключительно благодаря внезапности открытия военных действий одной стороной. Наполеон выиграл таким образом кампании: 1805 г. — против австрийцев и русских (Ульм); 1806 г. — против пруссаков (Иена) и 1809 г. — против австрийцев (Экмюль-Регенсбург). Японцы — в 1904 г., когда они, заняв господствующее положение на море, получили возможность беспрепятственной высадки в Южной Манчжурии и обеспечили таким образом дальнейший успех кампании. Считаю необходимым

добавить, что лебяжинцы участвовали, в большем или меньшем количестве, во всех кампаниях, где их разбивали внезапно образом, в силу чего они научились различать внезапность стратегическую и тактическую: первая, говорили они, состоит во внезапности целой операции, вторая — во внезапности непосредственного столкновения вооруженных сил, касаясь завязки и выполнения самого боя. И хотя их одинаково били и в том, и другом случае, но они все же яростно утверждали, что первая имеет несравненно большее значение, так как иногда сражение может быть проиграно при полном отсутствии тактической внезапности, вследствие воздействия стратегической внезапности на командование войсками. Они приводили пример — Аустерлиц, — в котором союзники (русские, т.-е. лебяжинцы, и австрийцы, т.-е. лебяжинцы в австрийском наименовании) видели и понимали в день сражения маневры и удар Наполеона, но, будучи поражены его неожиданностью, оказались не в состоянии принять единые меры, чем и предоставили себя разбить по частям. То же можно сказать и про сражение под Мукденом: тактическая внезапность наступления обходной армии генерала Ноги почти не существовала, так как наша кавалерия, т.-е. лебяжинские казаки, донесла о нем своевременно, но стратегическая внезапность была столь сильна, что командование не приняло соответствующего решения к парированию удара.

Если приглядеться, то почти вся Сибирь ездит в Павлодар учиться тщеславию! В Лебяжье — настоящую родину тщеславия, в жалкий поселок кто поедет, а Павлодар — как никак город. Мимо него тянутся плоты, буксирные пароходы тащат баржи, а пассажирские останавливаются ежедневно. Я прошу обратить внимание на слово, которым кончается предыдущая фраза, дабы мне не повторять его, ибо я терпеть не могу длиннот и всячески стараюсь приучить себя к лапидарному языку, который теперь в таком почете и не может не быть в почете, ибо просто безумие писать длинные фразы, когда можно коротко и

ясно сказать, что длинные суда, построенные из дерева, снабженные паровыми машинами и электричеством, все лето, каждый день, в период между закатом и восходом солнца, приставали к деревянным, отлично просмоленным дебаркадерам Павлодара, и люди с этих судов, носящих почему-то церковные названия, хотя суда никак не походили на иконы, люди, начиная с пассажира первого класса и кончая босым матросом, моющим шваброй уборную, ругаясь претомненно, не избегая и упоминания святых, которые благословили своим именем эти суда и которые корчились ныне в тех неудобных положениях, в которые их всовывали упоминатели,—люди целые недели осоловело бродили по песчаному городу, обучаясь тщеславию, причем обучение это происходило весьма скрытно, никто об этом вслух не говорил, и я думаю, что когда уцелевшие павлодарцы прочтут мои строки, то они очень обидятся на мое сообщение, но почему же тогда легенды, которые возникали на моих глазах в Лебяжьем и Павлодаре, мгновенно распространялись по всей Сибири? Я прошу вас прочесть сюда наперед весь предыдущий абзац со всеми его фамилиями, которые никак не выдуманы. Это чтение, помимо приятного затруднения, заставит вас вспомнить, что события эти рассказывал вам сибиряк, и что он бывал в Павлодаре, и даже гордится своим пребыванием в этом городе!

Локти мои болели. Ребро подоконника давило мне в живот, а кроме того, подоконник плохо очистили от замазки, а я лежал, как вы знаете, без рубашки. Но я не мог остановить своих размышлений. Павлодар перетянет к себе всех сибиряков, доотказа наполнит их неистребимым тщеславием — и они рассеются по всему свету, чтобы передавать тщеславие другим! Не даром же например Петька Захаров, вместо того, чтобы учиться на агронома, едет в какую-то Индию. Ну зачем Петьке Захарову нужна Индия? Или она нужнее Пашке Ковалеву? Или Филиппинскому, который хотя и не павлодарец, но какой-то из его ближайших родных несомненно оттуда! Мало того, Павлодар,

чтобы ему лучше поверили, посылает в Индию своего павлодарского факира!

Тут я, признаюсь, внутренне проследил. Я сердился на Павлодар, но в то же время жалел его. Полагая, что, если индийские раджи одеваются богаче прочих раджей мира, то Индия тщеславнее всех остальных стран, — Павлодар завидовал ее тщеславию! А не проще ли думать, что индийские раджи просто экономнее русских раджей или, может быть, в силу того, что не позволяет мусульманский закон,—но, как бы то ни было, они не пропили и не проели своих одежд, украшенных бриллиантами. Павлодарцы же считают, что все 400 миллионов индусов сплошь раджи! Я убежден, что теперь обо мне и моей поездке в Индию говорят, будто я уже стронул все 400 миллионов индусов, и если они еще не приехали в Павлодар, так это просто потому, что нехватает пароходов, потому что нет никаких оснований сомневаться, что когда индусы, покуривая трубочки на своих завалинках, увидят павлодарца, не скажут:

— Чорт подери, любопытно посмотреть, какие-такие происшествия происходят на Иртыше и чем они отличаются от происшествий на Ганге?

Мне было жаль павлодарцев и потому, что они не имели возможности послать меня в Индию как своего представителя, а послали других факиров. Не даром же я встречал столько Бен-Али-беев, факиров несомненно тщеславнейших и глупых, которые будут распространять о Павлодаре самые недостойные выдумки. Факиры эти уже далеко расширили территорию Павлодара, и я полагаю, что имеются все основания распространить ее даже за пределы Российской империи. А по правде говоря, не пора ли проверить, что самото Индия не является ли одной из территорий нашего Павлодара? Коряковская, Черноярская, Эжибаз-Тузская, Калкаманская, Джаман-Тузская, Чачканская, Карасорская, Баян-Аульская, Сартовская, Бель-Агачская, Толпанская, Куендинская, Сирлинская, Каркаралинская, — наименования его окрестностей, — правда, мало напоминают индийские слова, которые, как бы окру-

жены рвами, вырытыми рычащей буквой «р»: Диловар, Ахматпур, Боговальпур, Джотпур, Хайрпур, Чахра, Гайдараб, Гура, Мевар, Удайпур, Джалавар, Индер, Сирон, Шупур, Райпур, Барода, Катъявар, Гайдараб, Берар, Чатизгар, Лагор, Амридзар, Патвар, Мурадабад, Рампур, Фурукдабад, Каунпур, Бенарес! Но что значат для моих лебязинцев имена?

Как видите, мне было трудно составить «кодекс тщеславия». У меня в голове уже получился маршрут, а не кодекс, и я думал, что надо было б нам итти в прошлый раз не на Екатеринбург, а через степи к Аральскому морю. Петька Захаров отлично знает лошадей. Он — коновалить, а я — фокусничать. И велики ли киргизам нужны фокусы? От Аральского моря мы поворачиваем на Персию. И моя, и коллекция моих спутников не позволяла нам упражняться в мореходстве, да и зачем нам оно, когда наши предки были всегда сухопутными странниками...

— Всеволод, тем, что ты прислал нам свои тетради «его наука», ты уже согласился на путешествие!

— Я думаю не о смысле путешествия, а об маршруте.

Я действительно уже думал о маршруте.

II

Алешка Жулистов провел нас в сарай, дабы мы могли подумать все, т.-е. и Нубия с нами. Здесь, между извозчиками пролетками, среди запаха колесной мази и кожи, мы обсуждали наш путь. Я не успел и рта раскрыть, чтобы выпустить Аральское море, как Петька Захаров выволок из мешка громадную собственноручно нарисованную карту:

— Мы минуем его, минуем, Всеволод! Злоказов, агент... Их всяческие фирмы выпустили сейчас в России великое множество. Злоказов продавал в нашей школе лобогрейки, а в то же время он являлся представителем общества «Самолет» на Волге. Нет ли у вас, — спрашивает он, — кстати уже, новобрачных? Ответу нашему он не поверил и рассказал, что в Самаре 18 мая отправляется вниз пароход, только что обо-

рудованный, «Цесаревич» со специальными каютами для новобрачных. Весна предсказана отличная: ни комаров, ни жары. Третью каюту — все новобрачные, причем имей в виду, что эти каюты предоставлены им со скидкой, следовательно, на душе у них легко, и благодаря этому они не заметят наши ошибки при заказе фокусов. А кроме того, какой замечательный материал для рекламы!

— А зачем нам реклама? — спросил я уныло, чувствуя, как Аральское море выливается в Волгу.

— Сговориться с агентом нетрудно. Пароход имеет бесплатную труппу и в третьем классе везет ее даром до Астрахани. Я не хвастаюсь этим городом, и хотя он стоит у дельты Волги, но в нем нетрудно задохнуться от пыли, вони и ретроградства! Но, пока я размышлял, входит другой агент, который продает напильники, точильные машины и фрактует рабочих для нефтяных промыслов в Баку. Я помог ему набрать шесть сотен киргиз, которые согласны ехать не только что в Баку, но и в ад, лишь бы им дали хлеба. В Астрахань за рабочими еженедельно приходят длинные баржи. Но, надышавшись астраханского счастья; рабочие думают, что нет разницы между Баку и адом и что торопиться туда особенно не стоит. Вот тогда-то и на баржах выступают обольстительные актеры, которые между шуточками, между фокусами расскажут два-три случая о миллионных состояниях, которые нажили на нефти простые тартальщики. Мы садимся вместе с рабочими на баржу, и нас везут даром...

— А в Баку нас бить будут киргизы или рабочие, как только высадимся, или позже? — спросил Пашка.

— 10 июня, по моему расписанию, мы показываем фокусы на даче нефтепромышленника Циферова. Ночью мы усаживаемся в нефтяной поезд, ему принадлежащий, и на цистернах едем до Батума.

Захаров положил рядом с картой расписку и телеграмму от командира парохода «Цесаревич». Он достал контракт, по которому Филиппинский ботрется «с кем Петр Захаров пожелает»,

Михайлов поднимает гири, а Павел Ковалев «исполняет песни на балалайке». Я показываю фокусы, а рядом со мной оставлено пустое место, и это-то больше всего растрогало меня. Петька Захаров с огромным, непрестанным удовольствием умел понимать чувствования друзей и, мало того, действовал охваченный этими чувствами так, как вряд ли действовал и под влиянием своих чувств! Подумайте только, что в Омске в хлопотах и в разговорах с агентами он, составляя контракт, оставил в нем место для тех, кого я хочу захватить с собой. Это тем более умилило меня, что я не знал, кого же мне вставить, и, если б не Алешка Жулистов, контракт пришлось бы переписывать.

Алешка Жулистов трепетал. Время от времени он вскакивал, убегал, и к тому моменту, когда он увидал эти две пустые строчки, его рубашка, широкая и розовая, вся колыхалась вокруг него, наполненная любимыми голубями.

— Я принимаю фамилию Лащевско-го, — сказал Алешка. — Я согласен подписать любой контракт, однако прошу выдать мне красивую форму и чтоб не сдохли мои голуби.

Так ушел из своего дома Алешка Жулистов. Он тащил на спине плетеный ивовый короб, густо заполненный голубями. У ворот стоял старик Жулистов, лениво ругаясь по-ломовому. Сашенька восхищалась тем, как Алешка ловко уложил голубей. Мы торопились, и поэтому мой маршрут решили обсудить в дороге. Нас увозил товарный поезд, груженный сибирскими коровами, которых правление союза сибирских маслодельных артелей продало в Англию. Отправкой коров занимался иннок Фелофей из Соловецкого монастыря, великий знаток «скотского дела». Когда мои друзья высадились в Кургане, монаха Фелофея предстала петькина распорядительность и его знания.

— Куда паствину гонишь, отец? Обходила она? — так окрикнул специальным наименованием крупного скота и «термином его любви» Петька Захаров стадо, встреченное возле вокзала.

Коровий и лошадиный экстерьеры разговорились. Фелофей презирал Кур-

ган и предложил Петьке ехать до тех пор, пока едет коровий поезд.

— Сильно люблю я, дети, великолепную роскошь, — сказал Фелофей, когда, окончив распоряжения, он вошел в наш вагон посмотреть, как мы устроились. За кожаным кушаком у него торчал кнут. Он курил толстую трубку. Лицо у него длинное и абрикосового цвета.

Произошел краткий, но обильно снабженный лошадино-коровьей бранью, разговор между ним и Петькой Захаровым, потому что Фелофей, сказав о роскоши, весьма неодобрительно взглянул на Нубию.

— Попы, священники, добро у народа отнимаете! — кричал ему Петька.

Фелофей отвечал ему также грубо:

— Такого же грабителя везу. И отнимаем, и будем отнимать, так как стремимся к роскоши.

Фелофей говорил о себе всегда во множественном числе. Ругались они не столько из-за роскоши и народного добра, сколько из-за того, что презирали тот экстерьер, который знал другой. Фелофей был очень горяч, Петька Захаров спокойнее и виртуознее, и если брани Фелофея хватало только на один пролет, то Петькина едва лишь разврывалась.

Вагон покачивало. Коровы тихонечко ударяли рогами о перегородки. Коровы очень смиренные, опрятные, и даже рога у них подобраны в масть.

Фелофей распаренно лежал пролет-другой в своем передовом вагоне, а затем опять влазил в наш. Держась за скобку, он кричал у порога пронзительным своим голосом:

— Петька, лодырь! Как я могу поверить в твои знания, когда я вижу эту Нубию, которой дано имя в честь мумий, допускаемых в Египетском царстве.

— Чему вас учили в духовных академиях? Мумии в Нубии? Это вы, грабители народа, торговали христианскими мумиями в Нубии, а египетских, как более честных, там не было. И кого ты хвалишь? Корову! А видал ты к примеру в цирке дрессированных коров? И способен ты, отец Фелофей, выдрессировать корову?

— Морду побью! Чтобы я дрессировал корову?

Петька Захаров откуда-то узнал, что фелофеевский род славился разбойничеством. На большом тракте возле Челябинска «фелофеи» отбивали караваны с чаем, шелками, с пряниками, сбрасывали в овраги почтальонов, пугали чиновников. Когда появилась железная дорога, несмотря на всеобщее уважение, которым пользовались фелофеи, несмотря на великолепную отчетность и не менее великолепных служащих, несмотря на искусство, с которым фелофеи способны были переносить холод и жар, голод и стрельбу, словом, все неудобства, связанные с разбоем, — фелофеи не одолели железнодорожных порядков, им не удалось остановить поезд! Фелофей разочаровался и ушел отмаливать грехи своего рода. Он выбрал далекий Соловецкий монастырь. Подозреваю, что он рассчитывал, изучив корабельное дело, пуститься когда-нибудь в разбой на монастырской шхуне.

Фелофей удивительно свободно и легко овладевал вещами. Когда поезд останавливался возле базара, и если Фелофею нужно сено, то он назначал своим властным голосом цену, и мужик беспрекословно гнал воз к нашим вагонам. Фелофей шел рядом, в подряснике, высоко подоткнутым, и тяжелых сапогах. Он хлопывал кнутом и рассказывал, какие имеются подвижники на Соловецких островах. Однако, несмотря на свою удаль, — он, например, не моргнув глазом, ударил по уху жандарма на станции возле Златоуста, который толкнул его, — Фелофей всегда наполнен приметами и предчувствиями. Если ему встречалась мышь, он отплевывался три раза через правое плечо и два раза через левое. В кармане у него лежали амулеты, и лучшим считался крошечный божок из мамонтовой кости, добытый им в Обдорске, куда он ездил проповедывать остякам евангелие. Он расчетлив, но вот ему понадобилось похвастать своим бесстрашием — и он стеснил коров в вагоне, чтобы вместить нас, но всякое внезапное и сильное впечатление пугает его, он вздрагивает и хватается за сердце. Вечером, когда я усаживался

в уголок, поджав по-киргизски ноги, он, войдя и увидав меня, схватился за сердце:

— Господи, и почему у вас столь круглое лицо, господин Иванов?

Поезд шел медленно. Иоанн Михайлов пустился было расспрашивать монаха, какими инструментами работают в Соловках, — инструменты оказались обычными, и «великий мастер» отстал. Филиппинский попрежнему пытел и рассказывал анекдоты. От прошлой поездки он весьма разжился, так как выгодно перепродал военному ведомству обоз крашенных ложек. В Петропавловске он завел не оркестр в городском саду, как мечталось, а под окриками жены крошечную ветеринарную больницу «о три койки». Больницу обслуживал ветеринарный фельдшер с бойни, а в более важных случаях приходил давать советы казачий полковник Мясницкий, который поверх поддевки надевал тогда громадный белый халат. Филиппинский уважал теперь Петьку Захарова, и так как вместо трех лавочек напротив было теперь уже пять, то Филиппинский желал свершить более далекое и более выгодное путешествие, чем прежде.

«Грозный мастер Иоанн» попрежнему любил свою шадринскую девицу, которая все еще не вышла за учителя гимназии и все еще стыдилась любви кузнеца. Побуждаемый отсутствием работы и любви, он забил досками свою кузницу и приехал заработать деньги в слесарную мастерскую при омском сельскохозяйственном училище. Деньги не шли, потому что Петька Захаров убедил его соорудить «фокусы факира», ибо когда факир увидит воочию свои изобретения, то непременно придумает тот вседельный снаряд, который необходим мастеру. Он ехал, влекомый этой жадной инструмента. Он будил меня на рассвете, и, вяло раскрывая глаза, я со злостью видел возле себя его втулкообразный подбородок, упорный, ужасно уважающий себя. Он наставительно постукивал пальцем по котелку, в котором колебалась вода для умывания. Если я не вставал, он лил мне на лицо воду. Едва я обтирал лицо холщевым полотенцем, он уже спрашивал:

— За ночь снаряда не придумал?
 — Дай срок, — говорил я уклончиво.

Перед сном он спрашивал:

— За день снаряда не придумал?

И вздыхал:

— Эх, кабы да мне науки в руки.

Пашкины глаза попрежнему грустны, и попрежнему он трепещет, и попрежнему Нубия смотрит на него с отчаянием непрерывным. Вздрогнут вагоны, останавливаясь на каком-нибудь неожиданном раз'езде, а Пашка уже кричит с отворачиванием: «Ничего не выходит! Зачем все создано». Он полтора года сидел возле своей матери, «расшатывая ихнее сердце», но, видимо, расшатать сердце не удалось. Он попробовал пьянствовать, но по слабости здоровья и отращению к похмелью и пьянство не удалось. Повздорил он с матерью и, чтобы окончательно расшатать ее сердце, уехал к беспутному Петьке Захарову, о похождениях и о дурацкой лошади Нубии которого много рассказывали в Павлодаре, так что чиновник Захаров жаловался: «Петька не мой сын, ибо мой сын такую отвратительную лошадь приобрести не способен». Пашка погрозился матери, что он приедет в Павлодар верхом на этой самой Нубии, и эта поездка на чудовищном уроде, над которым смеется вся Россия, несомненно разобьет ее сердце, и он сможет получить наследство. Можно удивиться, что он разговаривал с матерью так откровенно, но Ковалиха неколебимо верила, что только ее Паша способен продолжать козалевакское дело. Она терпеливо сносила все его издевательства, изредка его поколачивая.

Многие из нас впервые видели горы. Правда, от детства у меня осталось воспоминание чего-то большого, каменного, спрятанного в облаках. Но вот теперь перед нами медленно уходили в небо высокие сосны с багровыми стволами, постепенно делаясь все тоньше и тоньше. Бобровые скалы повисали над нашим поездом! Паровоз свистел на поворотах. Эхо повторяло эти свистки в горах. Из расщелины вырывался ветер. Мы стояли подолгу у дзерея вагона. Позади нас попрежнему покачивались коровы, и по-

коровьему шумно пыхтел Филиппинский. Петька Захаров, радостно восклицая, пожимал наши руки. Мы уже видели за горами иную страну. Мы уважали друг друга.

Алешка Жулистов кричал:

— Вот это форма так форма!

И мы соглашались с ним, хотя Алешка Жулистов уже перепутал наши былые странствования со своими несуществовавшими, мои сны вплеп в сны своего деда и рассказывал про свою пылкую любовь к дочери пристава Тевкелеева, которую у него отбил цыган. Мы уважали инока Фелофея и радовались тому, что он везет нас медленно, даром, и мы видим нарядный Урал в перловом весеннем блеске. Мы искренне желали ему донести благополучно коров до Англии и найти себе там такую грабительскую службу, где бы он добывал тысячи тысяч денег, кутил, делал подарки и вырезал себе портянки из царской парчи.

Глядя в вечернее фиолетово-голубое небо, я думал: «А что, если Фелофею выгрузить коров и повернуть свое стадо в Индию? Мужик он теплый и рискованный. Все равно коровы из Лондона поплывут в Индию питаться своим жиром раджей. Не лучше ли, если им сделать более короткий путь мимо Аральского моря? И нам будем всем легче итти. Мы будем дорезать более слабых коров, постоянно у нас отличная пища и отличные заботы, а где, как не в Индии, найдет свое место отважный грабитель Фелофей?»

Тринадцатого мая Фелофей весь день не выпускал из рук амулета. Со страха и горьких предчувствий он забыл все христианские молитвы. В этот день мы с Петькой решили поговорить с Фелофеем об Индии и молчали только потому, что боялись, как бы Фелофей не принял нашу беседу за предчувствие. Наш поезд приближался к Екатеринбург. Петька Захаров да рассказал Фелофею, что во всяком деле важен талант, и хорошей коровы экстерьер иногда перешибает и конного

Мы ублажали Фелофея. На станции Бруснянской мы кинулись помогать работникам, когда они поили скот. Мы

подкатили к нашему вагону полную бочку воды. Четверть бочки выпила Нубия, потому что ее всегда мучила ужасная жажда. Мы сменили солому, вычистили вагон, а Петька Захаров добыл два громадных мешка свежих опилок.

Коровы пили много. Мы радовались, что им понравилась вода. Мы любовались на эти огромные, желтые, как воск, рога. Петька Захаров притащил в коробке из-под консервов почти прозрачную олифу и тряпкой смазал коровам рога, дабы они ярче блестели. Однако даже и к коровам надо быть нежным в меру.

Пять часов спустя после того, как мы подкатывали к вагону бочки с водой, коровы в нашем вагоне заболели поносом. Они жалобно мычали, эти десять толстых, упитанных коров, среди которых где-то совсем незаметно была воткнута наша Нубия, что безмолвно и жалобно смотрела на коров своими необыкновенно грустными глазами!

Мы испуганно жались среди жердей, которые ограждали нас от коров. На следующем разезде придет Фелофей для продолжения спора, теперь уже совсем ласково. Но Петька Захаров утерял все свои доказательства. Он твердил смущенно:

— Я знаю лекарство для лошадей, но можно ли его применить на коровах? А кроме того, со мной нет этого лекарства.

После третьего звонка дверь распахнулась и вскочил Фелофей:

— Я не оспариваю, что копыто считалось всегда частью тела, заслуживающей самого внимательного изучения, но...

Петька Захаров уныло вспомнил свое возражение и грустно сказал:

— Более двадцати веков тому назад Ксенофонт заметил: «Как бы ни был хорошо устроен дом в своих верхних частях, он ни к чему не годится, если плох фундамент». То же самое с лошадьёю. В ней нет прока, если плохи ноги, хотя бы во всем остальном она была совершенна, словно калач. Она не в состоянии пользоваться тем хорошим, что у нее есть! Поэтому при исследовании ног обращаю прежде всего внимание на копыта.

Услышав совсем чужие, бесстрастные возражения, инок Фелофей, естественно, услышал и коровьи вздохи. Он перепрыгнул через жерди. Он шел тяжело, как по осенней грязи, хотя солома была только что накинута. Мы услышали гигантскую ругань, которая, казалось, способна была покрыть собой все невообразимые пространства соловешских угодий. Петькино уныние исчезло. Он вскочил и закричал «великому мастеру»:

— Иоанн, становись к жерди и бей этого монаха в живот! Всеволод, защищай имущество, а то он его истопчет своими ножищами! Пашку, если он начнет кричать, выкидывай вместе с монахом на острые морские скалы.

Это определение ему чрезвычайно понравилось, и он, покрывая голос Фелофея, который казался ему прибоем, закричал:

— Друзья, на острые скалы наших врагов!

Но Фелофей был ловок. Он ударил Иоанна колом по голове, и тот не столько перед силой удара, сколько перед неожиданностью господствующей религии оторопело-посторонился. Фелофей перескочил через жерди. Подрясник его был скинут, рукава шафранной рубахи засучены:

— Отравили! — вопил он, размахивая колом.

Он подступал к Петьке. Кстати уже, он желал расплатиться за горечь остроумия, которым побеждал его в споре Петька. Лохматый, багровый, он шел медленно, и палка свистела над его головой. Он был страшен. Трепет охватил меня. Но трудно запугать Петьку Захарова, а еще труднее «грозного мастера Иоанна». Палка, которая совсем было взвизгнула у петькиных кудрей, вдруг сломалась о кулак мастера. Другим кулаком мастер лихо ударил монаха Фелофея в живот. Монах икнул и опустился на пол. Лицо его мгновенно побледнело, и он тихо сказал:

— Отравили.

Петька положил ему под голову солому. Монах взмахнул было кулаком, стараясь попасть в петькины зубы, но ударил себя по щеке. Монах задыхался, но не сводил восхищенного взора с «гроз-

ного мастера». А тот уже стоял возле нашего имущества и грустно смотрел на горы, которые ему не нравились, так как для них нужен тоже особый снаряд. «Сколько доступно выстроить домов каменных и двухэтажных, а снаряда нет!»

— Здорово бьет, — сказал хрипло монах. — Если бы такого бойца в наш род, мы бы и царский поезд обобрали.

Через полчаса он отдышался, хотя ноги волочил еле-еле. Он сказал нам с большим уважением:

— Будь у меня настоящие работники, так я бы их выстроил против вас, и били бы мы вас до вечера, а может быть, и всю ночь. Ну разве это люди! Ударит его мастер, и разбегутся они только от одного взмаха кулака.

Он горько вздохнул:

— Придется мне помолчать о моей драке с вами, но только, прошу вас, уберите вы ко всем чертям от меня в городе Екатеринбурге.

На станции «Екатеринбург-товарная» мы выпрузились. За бурыми пакагазами с дырявыми крышами, по булыжному промывали ломовые подводы. К вагону, который мы покинули, подходил фельдшер с рыжими бакенбардами и с цинковым ведром в руке. Петька Захаров вернулся, чтобы понюхать это ведро.

— Лошадиное лекарство.

— Нам не столько нужно было лекарство, сколько своевременный разговор об Индии.

— Не мог Фелюфей согласиться, чтобы его породистые коровы шли с нашей лошастью, которую он не признавал породистой, а если бы он признал, то это было бы унижение его коровьего эксперта.

Так утешался Петька. Он вывел Нубию на шоссе. Все мы, не исключая великого мастера, впервые видели перед собою булыжное шоссе, эти обтесанные Уральские горы! Мы не одобряли его. Оно тревожило нас. Нога скользит, тревожится, хотя все-таки это не та непролазная грязь, которой снабжены наши сибирские улицы. Но мы больше тревожились не столько от шоссе, сколько оттого, что опаздывали в Самару.

При медленном ходе коровьего поезда мы ели много. Теперь у нас было всего 7 рублей 68 копеек.

Перед тем как тронуться, Петька сказал, указывая на ломовых:

— Что такое лошадь в цирке, спрашиваю я?

Он подождал, когда замолкнет ломовой прохот:

— Лошадь в теперешнем цирке символизирует пышное кавалерийское прошлое, как символизируют его мишурные эполеты укротителей. Лошадь в современном цирке смешна! В цирке зрителя надо ослеплять действием машин. Однако ему будет приятно вспомнить кавалерийский быт человечества, когда он увидит лошадь, которая благодаря новой технике научилась считать, писать и говорить. Эту лошадь узнает весь мир. Ее зовут Нубией. А необыкновенный новый цирк называется «XX век» и принадлежит господину Альберту Монти.

Петька любовался своим умом. Он показал нам маршрут, где возле красного колечка, знаменующего Екатеринбург, стояло две звездочки и было подписано «XX век». Благодарно вздрогнули мы. Радуюсь великолепному шоссе, мы пошли к Екатеринбургу. Робко спросил я павлодарца, великого и курчавого:

— А кто такой Альберт Монти?

— Вы его сейчас увидите.

III

Переулок оканчивался голубым домиком. На узкой скамеечке сидел аспидно-серый старик в рыжих шлепанцах, погружив пальцы в длинную бороду. Он грелся на солнышке. Возле ног его утка обучала свой выводок. Филиппинский раздавил своей колоссальной ногой утенка, и ни старик, и ни Петька Захаров, все примечающий, и ни сам Филиппинский не заметили гибели желтого птенца. Всех нас ошеломлял грохот, что несся с площади.

Среди аквамариновых, глянцево-зеленых, махровых, теплосиних и матово-черных платьев, среди галунного блеска гремели балаганы; под дивно альми крышами крутились карусели; китайцы

размахивали бумажными игрушками. На «раусах» — помостах, возле балаганов кривлялись раскрашенные клоуны. Они бряцали, визжали и громыхали. Они выкрикивали чрезвычайно смешные шутки, которым добродушно подчинялась толпа. Я еще не слышал этих шуток, но уже издали смеялся. Со смехом неслись на деревянных лошадках brave солдаты, поправляя лакированные козырьки. Их суженые сидели в деревянных кибиточках, прямые, строгие и ласковые, и такими чудесными глазами смотрели на солдат, словно те на деревянных своих лошадках перепрыгивают в одну минуту через самые высокие Уральские горы!

Растерянно и восхищенно смотрел я, как Петька Захаров мгновенно вбил на дымчато-зеленом пригорочке несколько колышков и протянул по ним веревку. Мы готовили «газонный» номер. Сразу же возле нас собрались зрители. Под одобрительные крики их я разрисовал пашкино лицо, навел углем черные брови Филиппинскому, закрутил ему усы и даже попробовал накинуть ему на плечи одеяло, но рост его одолевал все мои усилия, а толщина его далеко выходила за пределы моего одеяла. Пашка Ковалев уныло взял балабайку и с некоторым даже злорадством сказал:

— Надо моей мамаше узнать про это гадкое представление, может, и понурит она голову.

Мы ждали петькиного приказания, но курчавый павлодарец исчез. Тогда я скомандовал. Пашка ударил по струнам. Он умел играть только «Чижика». Играл он поразительно уныло, и даже трудно было представить, чтоб под эту игру кто-нибудь мог танцевать. Однако Филиппинский пустился впрыскаду, делая подбитой ногой широкие круги. Толпа, вначале думавшая, что перед нею клоуны, зызывающие в балаган, вскоре увидела, что это более серьезное дело, в особенности, когда я снял кепи и сделал такое лицо, как будто ждал, что мне кинут тысячу рублей, и когда Филиппинский описал четвертый круг своего танца, — толпа рассеялась. Только аспидно-серый старичок, который стерег возле своего домика утинный выводок, теперь

неизвестно почему вместе с этим выводком увязавшийся за нами, положил в мою кепи 3 копейки.

Еще сильнее гремели балаганы, еще более весело смеялись на раусах клоуны, а великая грусть охватила нас. Я старался не показать своего уныния. Я решил, что богатырская сила «великого мастера» может привлечь зрителей. Я распорядился, чтобы Пашка достал гирь, а кстати, я хотел удалить его опасное беспокойство.

— По голове меня стукнут гирями! Не пойду, — сказал Пашка и сел на землю.

Но тут вынырнул из толпы Петька Захаров. Похлопывая по морде Нубию, он сказал, что она, несмотря на свои грустные глаза, все же грустит меньше, чем ее хозяйка. Затем он указал на длинный оранжево-красный балаган. Там показывали подлинно удивительный номер, из-за которого стало ясно, почему наше газонное представление не имело успеха: там нильский крокодил, сидя в ванне с теплой водой, подогреваемой небольшой жаровней, им же самим раздуваемой, готовил яичницу!

Петька Захаров уходил беседовать со старейшим уральским «клишником» — человеком-змеей, Степаном Гавриловичем Ломовым, или мистером Гойльсом. Ломов много лет держал балаганы, а ныне разорился. Сейчас он работает в доле вместе с дочерьми своими, Василисой и Платонидой.

— В «XX веке»? — спросил я.

— Нет еще.

Вечером мы посетили Степана Гавриловича Ломова. Он жил возле заводика «фруктовых и ягодных вод», что украшен был такой громадной вывеской, которая, казалось, прикрывала собой все это заведение. Мы шли через крошечный садик с клумбочками величиной с тарелку. Всюду были цветы, и на крыльце стояли пышные дочери Ломова, Василиса и Платонида, с косами до земли. Петька Захаров привязал Нубию к яблоне и весьма развязно прошел мимо девиц.

Я был растроган и ошеломлен. Цветы умиляли меня, церковные препараты и афиши, которыми были увешаны стены,

ошеломляли меня. Я смотрел на эти густо-синие стальные части, на эти меловые блестяшки, на кожаные ремни, на костюмы телесного цвета, на шелковисто-белые косы Василисы.

Я тихо сказал Петьке Захарову:

— Прошу тебя, держись ты в пределах разума.

— Это ты обращайся к Ломовым за разумом, а не ко мне.

Вскоре выяснилось, что Степан Гаврилович Ломов, он же мистер Гойльс, обладал душой, которая была мне по нутру, а по определению Петьки, походила на «пончик»: жареная в сале шаровидная пышка, обсыпанная сахаром, с вареньем внутри. Он поделился с нами своими соображениями насчет необходимости постройки в Екатеринбурге цирка со стеклянными стенами и крышей. Стеклопанная крыша не мешала б лунному свету, придающему всякому действию таинственность и мягкость, столь необходимую в цирковом деле. Через стеклянные стены бедные люди могли бы бесплатно видеть представление, а состоятельные все равно бы платили, как он выразился, «за голос и запах».

Поныне мне мила его узкая коробочка черепа, его великое множество способностей и намерений. Когда умер его отец, тоже почтенный клишник, Степан Гаврилович, получив скопленные деньги, немедленно же начал строить стеклянный балаган. Но то ли дорого было тогда стекло, то ли помешала женитьба, но вся его постройка завершилась тем, что он вместо балагана выстроил клетку для кроликов, похожую на аквариум. Жена умерла, и вновь обнаружили скопленные деньги, пора бы приступить опять к стеклянному балагану, но тут оказалось, что подросли дочери Василиса и Платонида — и он подчинился им. Девочки обладали косами такой крепости, что их прицепляли за косы к трапеции, и они раскачивались, все увешанные блестяшками, а внизу их, на ковре, извивался отец, закладывая ноги за шею и улыбаясь пухлым восторженным лицом. Степан Гаврилович рассчитывал выдать дочерей за строптивых уральских купцов, которые бы прельстились тем, что

можно за косу тащить жену хоть пять верст!

Беседовать с нами Ломов пригласил приятника и конфетчика Мелентия Ивановича Талыга, владельца «стрел счастья» и весьма почтенного шуллера; госпожу Федосию Аникиевну Татаринову, прежде наездницу, а теперь дрессировщицу собак, которая привела трех сыновей — безнадежных страдальцев по косам Василисы и Платониды; соседа своего, владельца красного заведения, Стародубского-Тулуза, господина с такими толстыми ногами, что они казались толще его туловища.

Степан Гаврилович сказал:

— Вот приехали циркачи из Сибири и говорят, что заработки там лучше, чем на Урале, и что надо нам покинуть Екатеринбург!

Его слова поставили меня поодаль. Я рассердился на Петьку Захарова. Опять обратно в Сибирь, когда можно с этими циркачами, что обехали весь свет, попасть в родную Индию. Они идут от села к селу, от города к городу привычным и мерным шагом. Они переходят границы, русских зрителей смеяют персидские или турецкие. Они разводят костры, варят пищу, мы едим вместе с ними, — и вот перед нами пост, герб английского королевства, сипай отставляет ружье и тенором говорит: «Проходите, путь в Индию свободен».

Но Петька Захаров быстро успокоил меня. Он прервал Ломова и кинулся перечислять фокусы знаменитого факира и дервиша Бен Али-бея. Он сообщил о чтении мыслей на расстоянии, о том, как факир передал ему без всяких аппаратов за 5 тысяч верст от буквы до буквы весь текст романа Вальтер-Скотта «Айвенго». Кстати сказать, он тут же присовокупил и жизнь удивительного гэнгэра Нубии. Сообщение это никого, кроме Степана Гавриловича, не растрогало. Степан Гаврилович вспыхнул и, не обращая внимания на страдания татаринских сыновей, сказал своим дочерям:

— Вы своему мужу скажите, чтоб к нашему цирку провел бы он такую темную галерею через всю улицу! Идет зритель по этой галерее тоже бесплат-

но. Сверху она стеклянная, чтоб если мальчишки залезли, так ничего бы внизу, кроме шапок на людях, не видели, а шапки сделать тайные, по которым нельзя узнать, чего человек хочет.

Он смотрел на нас нежными глазами. Он любил нас! И я любил его, а Петька Захаров сказал спокойно и холодно, так как беседа явно принимала легкомысленный вид:

— Прежде чем ехать в Сибирь, надо показать в «XX века» наши сибирские чудеса ловкости и разума. Господин Альберт Монти...

Петька постучал пальцами по клеенке, еще холоднее оглядел лица балаганщиков и с некоторой даже злостью сказал:

— Господин Альберт Монти, как известно...

Тут он прервал свою речь очень острым вопросом, который доказывал с чрезвычайной ясностью наши сибирские доблести:

— А вы что можете нам показать?— спросил он балаганщиков.

Федосия Аникиевна Татарина, женщина с необычайно пушистыми бровями, вдруг заулыбалась и стала поддакивать Петьке. Она уважала всяческие знания, а Петька был наполнен ими так, что, казалось, он постигал смысл любых слов, поступков, жестов и предметов: от ножных колец до кошачьего мяуканья. Кроме того, взоры Василисы и Платониды тревожили ее, и она хотела узнать, чем же обладает Петька Захаров, кроме курчавых волос и румяного лица, похожего на пряник, а узнать она могла его только при дружбе.

Петька Захаров ласково кивнул ей и важно продолжал:

— Господин Альберт Монти, как известно, предприниматель весьма сообразительный. Он узнал, что в 12 верстах от Екатеринбурга, на Березовском заводе, к предполагаемой ярмарке строятся три балагана. Господин Альберт Монти предлагает открыть там четвертый балаган, который несомненно затмит все остальные, так как, будучи балаганом, он в то же время и являет из себя цирк, понуждая жителей к посещению такового!

Я опять наполнился радостью. Восхищенно я смотрел на дверь, в которую сейчас войдет непременно коренастый, с широкой головой, господин Альберт Монти. Он войдет во фраке, с искристой белой грудью, с шамбарьером в руке. Как я уважал его! Я уважал его мужественное строение тела, его неутомимую походку, которая доведет меня до поста сипаев, его строгий и властный голос. Он говорит на всех языках мира, и национальность его неизвестна. Он посмеется над этими балаганщиками, которые, оказывается, до сего времени все еще не выезжали из пределов Урала. Какую цену имеют расспросы этих неумелых торговцев: квасников, конфетчиков, владельцев «стрел счастья», игрушечников!

Татарина, дама решительная, сказала Петьке:

— Дело новое, но как будто пригодное. А как же он, этот Альберт Монти, уничтожит наших конкурентов?

— Мадам, вы забываете одно обстоятельство, — сказал Петька. — Что в Березовский завод приезжает цирк, имеющий 200 лошадей. Разве балаганщики немедленно не разрушат свои балаганы?

— Какой же цирк поедет в Березовский завод, да еще повезет 200 лошадей? Все знают, какие нужны конюшни для 200 лошадей, да и с'едят они столько, сколько не с'едят жителей всего Березовского завода.

— Опять вы забываете, Федосия Аникиевна, что Альберт Монти прежде всего привозит одновременно при постройке цирка, в драгоценной золоченой клетке, удивительного гэнтера Нубию. Хотел бы я увидеть балаганщиков, которые, узнав нашего гэнтера, продолжали бы строить свои лачуги.

Он засмеялся:

— А кроме того, мы разводим такие машинные упражнения...

— А 200 лошадей-то у него есть?

— Нету, — ответил спокойно Петька.

— Так нас в первый же день зритель изобьет!

— Вы забываете, что мы устраиваем такие головоломные трюки, что зрители немедленно выкидывают из памяти все

200 лошадей, а если они все-таки не выкинут их из памяти, то клянусь вам, что мастер Михайлов через три дня выпустит на сцену собственноручно сделанных им 200 механических лошадей по 20 лошадиных сил каждая!

Я смотрел на этих людей с их упругой мускулатурой, окруженных прекрасными цирковыми аппаратами. Они верили Петьке — и я верил ему. Только я считал, что давно пора войти господину Альберту Монти, расправить полы фрака, сесть на венский стул и, чуть склонив голову, посмотреть на розу, что так ясно горит в его петлице.

Я сказал тихо:

— А где же этот Альберт Монти?

Петька встал, строго посмотрел в мое лицо и повышенным голосом сказал:

— Факир хочет внезапности. К сожалению, ее здесь нет. Всем известно, что Альберт Монти это я, и что именно мое предприятие «XX век» субсидируется Лебяжьинским банком, который имеет основной капитал в 500 тысяч рублей и где участвует такой почтенный банковский деятель, как господин Вальтер Брет. Господин факир еще желает над чем-нибудь пошутить?

— Нет, я не имею больше шуток, — ответил ему факир.

Итак, над пленительным городом Екатеринбургом поднялась тень моего отца! Опять засиял алебастровый банк, опять вошел господин Вальтер Брет, и опять я увидел высокое крыльцо школы, черный выгон и отца, раздувающего сапогом самовар. Опять летят искры, и опять я горько подумал о бедном и несчастном Пиме!

(Продолжение следует)



Трагедия Любаши

Повесть

ФЕДОР ГЛАДКОВ

I

Беда нахлынула на Любашу внезапно. Сначала были мелкие неприятности: мимолетные стычки с мастером Сергеевым, ноздрястым, мокроусым стариком, потом вызвал ее секретарь заводского парткома Дробишин и, дружески улыбаясь, со слезою в одном глазу, упрекал ее:

— Предупреждаю, Любаша: дело видимое — процент брака растет у тебя прогрессивно каждый день. Лучшая ударница. Бригада премирована. Брак довел до минимума. А теперь что такое? Вот гляди: за вчерашний день — до тринадцати процентов. Подтянись.

Один глаз у него постоянно слезился, и на щеке играла мокрая искорка. Весь он был вытянутый, длинноногий, длиннорукий, а лицо сдавленное с боков, кривоносое, обиженное. Но когда улыбался, слеза текла обильнее и собиралась мутной капелькой на подбородке.

— Дробишин, когда ты только плакать перестанешь? — смеялись рабочие.

Дробишин осматривал кепки и чумазые лица и усмехался:

— Факт замечательный: как тогда прослезился на фронте, так слеза действует по сей день.

И он с любовью рассказывал, как слеза уже много лет неиссякаемо течет из его глаза, не высыхая, даже во сне.

На Днепре, у Александровска, он внезапно застрелил маленькую собачон-

ку, которая весело бежала сбоку отряда, а потом в деревне вынудил старушонку выпить молоко: молока она ему не давала и гундосила, как нищенка. Он нашел крынку в погребице и с злым наслаждением совал горшок в рот старухе. Сам он не выпил ни капли, а горшок разбил вдребезги.

— Не иначе, как от стыда плачешь неутешно, Дробишин. Совесть изводит.

— Без чувств я был, а — на ногах. И собачонка, и старушонка, по существу, были не в плане действий. Помню, весело было мне тогда, — до чего весело, сказать не могу: на брюхе ползал, слезой изшел от хохота. С тех пор и течь в глазу образовалась.

Любаша тоже не раз слышала эти его рассказы, и, хотя он не смеялся и был скорее угрюм и деловит, она улыбалась: что-то в нем было приятное, простое, теплое. И вот в последний раз, когда Дробишин выговаривал ей насчет брака в обмотке и «сигнализировал» о прорыве в работе ее бригады, она четко запомнила одну мелочь в его жестах: он все время за столом умывал ладонями свое серое лицо и украдкой ловил ее взгляд слезоточивым глазом из-под пальцев. И это усталое, отчужденное потирание лица ладонями больше всего встревожило и обидело ее.

Любаша сначала села у стола, потом почему-то встала и не знала, куда деть свои руки, которые вдруг удивили ее своим видом: впервые заметила, что они — красные, по-мужски мясистые, кривопалые. Она стыдливо спрятала их

за спиной, и ей стало душно и противно ощущать себя. Тягостно было итти в цех, встретиться с Сергеевым, который вдруг ее возненавидел, больно и стыдно работать со своими подружками по бригаде: между ними уже не было той дружбы и доверия, как в прошлые их победные дни.

— Моя бригада, товарищ Дробишин, какой была, такой и осталась. Я уже не раз заявляла и Сергееву, и тебе, и кому надо, что пряха плохая. Надо же это понять. Чем мы виноваты? Зачем же напрасно собак на нас вешать? За свою бригаду я отвечаю.

— Плохо, плохо ты отвечаешь, Любаша. Сигнализирую. Очень уж мы любим почивать на лаврах.

Любаша густо покраснела от стыда: никогда еще так не говорил с ней Дробишин. Она забунтовала перед ним и заорала, задыхаясь от волнения:

— Ничего подобного, Дробишин! Ты думай, что говоришь. Нечего демагогию разводить. Ты очень хорошо знаешь и меня, и мою бригаду. Извольте дать, дорогие товарищи, подходящее сырье, тогда и спрашивайте.

Дробишин попрежнему улыбался в ладони и говорил нехотя — с натугой.

— А-а, объективные причинки... — и мгновенно выпрямился и открыл лицо. Он казался больным, но смеялся. Одна щека у него была мокрая и грязная. — Знаем мы эти объективные причинки... На хорошем сырье всякий дурак работать умеет. Ты сумей довести брак до нуля на плохом сырье.

— Да ты в уме, Дробишин?

— Чорт его поймет: не то я дурак, не то у тебя в голове — дерьмо. Кто-нибудь из нас — обязательно идиот.

Любаша упала духом, и тело ее стало тяжелым и рыхлым. Она замолчала и села на стул перед Дробишиным. А голос его бубнил где-то очень далеко, как за стеною, и очень близко — в ней самой.

— А еще большевичка... большевичка, а насчет объективных причин... Мы должны эти объективные причины слопать и родить успех... В революцию до чорта было объективных причин, а по ним, по этим объективным... пушками...

штыками... массаами перли... И выходит: объективная-то причина в нас с тобой... Нам вещь, материал, машина, ежели хочешь знать, дороже чорта рогатого... Ты себя сохранишь, а вот научись вещь сохранить и пустить в дело... Валай в цех...

Она мельком увидела, как Дробишин улыбался ей слезою в глазу, а другой глаз был сухой и холодный. Кепка лихо задралась на затылок, и на лбу мокро лоснились пегие клочья волос. И нос сердито кривился жестким хрящом на горбине.

— Ты хоть бы помог мне, Дробишин. Ругаться ты можешь, сколько влезет, ежели тебе нравится. Ругаться охотник всякий дурак. А вот помочь и умному трудно.

Дробишин прищурил сухой глаз и лукаво улыбнулся.

— Я тебе и так уж помогаю. Ты и этого не понимаешь?

Любаша хотела выйти, но не могла оторвать ног от пола. Нужно было еще что-то сказать Дробишину, сказать самое главное, чего она не могла выразить: не находила слов в волнении, — говорилось не то, что нужно. Не может быть, чтобы он не понял ее, не может быть, чтобы он преднамеренно решил травить ее и опозорить на весь завод. Он — парень свой. Он всегда встречал ее радостно и покрикивал с хорошей улыбкой:

— Ну как, Любаша?.. Шуруешь?.. Баба ты ловкой конструкции: ежели бы сам не был женат, обязательно бы потащил в закс...

И она открикивалась, ипрая глазами: — Уж пошла ли бы я с тобой в закс — это вопрос. Для закса одного твоего хотенья мало.

— А в чем же — преткновение?

— У тебя — нос-кривонос и глаз с браком.

— Зато парень редкого качества...

— Уф, не я твоя браковщица...

А теперь вот Дробишин не смотрел на нее — отводил глаза в сторону, и слеза у него заливала всю роговицу. В огромное окно глубоко синело небо, и тугое белое облачко плыло над заводом медленно и одиноко. Наискось пересека-

ла окно металлически-тяжелая стрела крана. Помещение парткома было отгорожено от цеха дощатыми стенками, и они дрожали и пели от грохота и гула машин. Сотрясался и рокотал пол, струнно звенели стекла, и Любаша, как всегда, чувствовала приятные волны подземной дрожи и грома, которые струились по телу от ног до головы. Стены были тонки, в щелях, плакаты трепетали и отдувались ветром. Гром и ветер похлывали где-то очень близко и замирали где-то очень далеко и необъятно. Через дощатые стенки цех чувствовался огромным в своих пространствах, загроможденных машинами и людьми. Пахло маслом, нефтью и металлическим перегаром. Громыхали какие-то колеса, хлопали крылья, чавкали механизмы и взывали сиреной электромоторы.

— Ну, так не подгадь, Любаша. Выворачивайся там... подгони... Через пятидневку показатели у тебя должны быть перекрыты...

Любаша вышла из комнаты Дробишина с глухотой в голове, и, когда проходила через приемную, ей показалось, что рабочие смотрели на нее с лукавым сожалением и подмигивали друг другу. Рабочих этих она как будто видела впервые — все лица были чужие: ни одно не отразилось в памяти, все были, как в тумане. Может быть, это было оттого, что в комнате густо накурено.

И в тот момент, когда отворяла дверь в коридор, она услышала очень сердитые слова, а чьи — не могла понять:

— С пряжей совсем неблагополучно... брак... недовыработка... Скандалятся самые лучшие бригады...

И эти слова потрясли Любашу, как удар. И сразу же она почувствовала, что ей страшно и стыдно, что всякий, кто попадетс ей навстречу, может ударить ее или оскорбить на всю жизнь, а ее и защитить некому. Точно она вся стала голая, и каждый смотрел на нее с опаской, с презрением и сторонился ее, как врага и вредителя.

Когда она шла к Дробишину, все кругом было обычно: спокойно и твердо

стояли бетонные корпуса цехов, гулкие и живые от глубокого движения машин; так же, как всегда, на молодом скверике заводского двора, среди маленьких елей и бархатного газона, стремительно рвался вперед Ленин с протянутой рукой; рабочие выкатывали из кабельного цеха огромные рулоны готового кабеля; лихо пробегал мимо маленький электровоз, и конопатый Мишка, как всегда, морщился от улыбки при встрече с нею. А теперь все перевернулось как-то внезапно: и цеха, и сквер, и фигура Ленина отодвинулись от нее — стали угрюмыми, слепыми, холодными, чужими, а Ленин с нахмуренными бровями указывал на нее и как будто кричал: «Вот она, возьмите ее в работу...» Она шла по дорожке сквера одна и удивлялась, почему она идет так долго, почему дорожка бесконечно длинна, а корпус ее цеха как будто удаляется от нее.

По серому карнизу корпуса размахнулся кумачом транспарант, и в глаза больно сверкнули белые буквы: «Доведем брак до нуля! Беспощадная борьба браку! Заклеймим позором бракоделов!» Эти слова сверкали прямо ей в упор, и она уже не смнелась, что этот плакат нарочно вывешен для нее, что эти белые буквы скалятся на нее, как зубы, и запризут ее до смерти.

Навстречу ей шла Марья Власовна, старая работница, которая трудилась на этом заводе еще при старых хозяевах. Шла она вразвалку, сырая, рыхлая, с мужским лицом — с седыми усиками и клочковатыми бровями. Она тяжело тащила свои толстые ноги, точно они вязли в песке. Любаша ни разу не видела, чтобы Марья Власовна улыбалась, и, когда вспоминала ее, вставала она перед ней только своим сварливым мужским голосом и этими толстыми вязнущими ногами.

Любаша испугалась и даже остановилась от неожиданности. Она всегда боялась этой старухи, хотя Марья Власовна относилась к ней по-своему ласково и нежно: на других она орала, и губы у ней мокрели от негодования, но Любашу она часто гладила тяжелой рукой по лопаткам и бедрам, и голос ее рокотал

мягко. Марья Власовна была в ее цеху на эмалировочных машинах.

— Ну, что-о?.. — еще издали загудела она. — Здорово тебе Дробишин-то холку намял? Мишурина тут летала по цеху. Где, говорит, наша красота — Любаша? Очень забеспокоилась, когда узнала, что ты — у Дробишина.

Любаша растерянно улыбалась и не могла взглянуть на Марью Власовну.

— Дрянь эта Мишурина...

— Что, что?.. С каких это пор у тебя сорока вместо языка?..

Марья Власовна остановилась и осмотрела ее, пытливо и знаяще, потом, сгорбившись, зашаркала по гравию большими ногами. И опять казалось, что ноги ее вязнут в земле, и ей очень трудно сладить с ними. Она басовито забормотала на ходу, и Любаша стала чутко прислушиваться к ее воркотне.

— Какие все обидчивые стали!.. Своя рожа всего дороже. А мне всю жизнь и подумать о себе некогда было...

И Любаше представилось, как старуха вваливается в комнату Дробишина и, выпитив толстую шею, воеет сильным басом:

— Бабенку-то в руки взять надо... Носитесь очень уж с бабенками-то...

Любаша шагала по асфальту вдоль длиннейшего бетонного корпуса, мимо огромных окон с бесчисленными стеклами, сверкающими клочками неба, и ей впервые показалось, что стекла враждебно улыбаются ей слезящимся глазом Дробишина.

И когда ее ослепил этот слепой блеск стекол, она внезапно ощутила мучительную тоску в сердце. В партком и завком она уже не в силах теперь показаться, а в цеху она напорется на мастера Сергеева, с ноздрястым носом. Работницы злоязычны, сплетницы: они промывают сейчас ее косточки и ухмыляются в перерывах. Ее бригада из комсомолок набросится на нее с упреками и капризами:

— Ну, где, Любаша, сырье? Не добилась? Не доказала? Тряпка ты, а не бригадир. С таким сырьем и бригадиром наша хозрасчетная бригада нагишом останется...

II

В цех она вошла широкими шагами, лихо задравши голову. С вызывающим равнодушием проходила она мимо тростильных машин и, поправляя волосы гребенкой, напевала жизнерадостно и независимо: «Я любить тебя заставлю...» Голос у нее был хороший, — сочный, грудной, задушевный и очень певучий. И в цеху, за работой, она очень часто пела цыганские романсы. В эти минуты казалось, что огромный цех — необъятно размашистый, весь загроможденный высокими ажурными машинами с бесчисленными дрожащими нитями, белыми, черными, зелеными, похожими на струны, — становился воздушным, легким и волновался от музыкальных вихрей, точно всюду не машины были, а причудливые арфы, на которых играли все эти женщины, одетые в серую прозодежду. В двухсаженных окна с бесчисленными переплетами стекол вливалось небо и солнце, и зеркально отшлифованные детали брызгали ослепительными искрами. Воздух был теплый, мягкий и скипидарно-пахучий. Звон, спрехотанье и рокот машин, струнное звучанье колес, ролов и электромоторов были приятны и спокойны. Работницы — пожилые и комсомолки — переходили в узких проходах от машины к машине и копошились пальцами в бесчисленных трепетных нитях, натянутых сверху донизу, и ловко связывали обрывы. Туманно крутились бобины, золотом сверкала проволока, сизым хитином переливалась черная эмаль на тончайшей паутине. В этом цехе Любаша работала уже шесть лет. Она сжилась с ним, и гул и музыку его носила в себе постоянно — она чувствовала его даже во сне. Здесь она из шестнадцатилетней комсомолки выросла в женщину, в партийку, в активистку. Здесь же она переживала свою девичью любовь и здесь же впервые носила беременность и ноющее набухание материнских грудей. Этот цех был целой эпохой ее жизни: с этим цехом связаны самые лучшие годы ее роста. Здесь же завязывалась и дружба с другими девчатами и в комсомольской организации, и в работе про-

изводства. Она и бригаду сбила из своих близких подруг, которым сама верила, как себе, потому что знала каждую из них, и все они были друг другу преданы. Правда, одну из них пришлось выбросить — Маньку Речкину — черненькую куколку, ящерку, с остренькими, завистливыми глазками. Она была обидчива до болезненности, не понимала шуток и мстительно сплетничала о подругах среди других работниц. Ее избличали, стыдили, ставили ей ультиматумы, но Манька уперно отнекивалась от всего, обижалась еще больше и в мстительности своей запутывалась сильнее: трусливо шепталась с работницами, клеветала, выдумывала разные небывлицы про Любашу, про других собригадниц — о любовных их делах, о несуществующих кражах, о ненависти их к другим работницам цеха... А когда ее однажды приперли к стенке, и ей уже некуда было податься, она плакала злопамятными слезами и кричала визгливо, что ее затравили, что они сами сплетницы, что она ни в чем не виновата, а виноваты только они сами. Ее исключили из бригады, а мастер перевел ее на другую работу — в кладовую хлопчатобумажной и шелковой пряжи.

Когда через эту кладовую проходила Любаша, Манька стояла перед ящиком с цевками и смотрела на нее с радостным смехом в злопамятных глазках.

«Ах, ты, проказа чортова, — озлилась Любаша, — ликует гадина... Реванш берет... Уж не она ли отбирает бракованную пряжу?»

Она остановилась и сейчас же повернула к груди ящиков.

— Ну-ка, Маничка, покажи-ка, где у тебя брак и где отборный сырец.

— Я не обязана... — голос Маньки задрожал от ненависти к Любаше, и лицо исказилось судорогой. Любаша впервые увидела, что глаза у нее — черненькие, лихорадочные, отравленные.

— Ты не имеешь права вмешиваться в мою работу. Ты — не контролер. Проваливай отсюда, а то Кулакова гаркну или Сергеева...

Любаша молча, почти сурово подошла к ящикам. Они стояли беспорядочно на полу, доверху наполненные цевка-

ми — бархатно-белыми и атласно-зелеными. Цевки валялись и на полу.

— Где у тебя бракованная пряжа?

— Это тебя не касается... Не суй носа, куда тебе не дано.

— Не ори, пожалуйста, я без тебя знаю, куда совать свой нос.

Манька пронзительно завизжала и бросилась к двери в другое отделение.

Из двери высунулось дубленое лицо с галчиным носом, понюхало воздух и опять скрылось.

Когда Любаша проходила между рядами машин, высоко закинув голову и встряхивая волосами, она чувствовала, что лицо ее обжигает жарок, а глаза почему-то забывают то, что видели мгновение назад. И сердце не бьется, а проходит через него ноющими волнами мутная боль. Работниц не проведешь: они хорошо видят, кто как дышит. Очень хорошо знают они, зачем ее вызвали в партком. Их мутит любопытство, и они посматривают на нее с нетерпеливым вопросом и беспокойством в глазах. Здесь несколько хозрасчетных бригад, и каждая из них соревнуется на минимум брака и на максимальное качество, и каждая из этих работниц в серой прозодежде — и молодая, и старая — очень не прочь броситься к ней и посудачить о ее невзгоде, о своих неполадках, о зарботке, о дровах, о ширпотребе, о мастере Сергееве, о других бригадах, которые готовы чорту лезть на рога, лишь бы стать на первое место. Но от машин нельзя оторваться — сейчас же остановится одна за другой, как только случится обрыв. Тут только одна забота — метаться от одной машины к другой и связывать несносные нитки. Работницы посматривали на нее из-за плеча, и Любаша видела, что в их улыбках и играющих глазах ворковало что-то злорадное, хотя все они старались показать ей свое сочувствие. И эти их улыбки, и приторное сочувствие хлестали ее, как щечины.

И Любаша шла с вызывающей песенкой и небрежным равнодушием ко всем. Неожиданно к ней выскочила из-за машины Мишурина — секретарь цехячейки, тощенькая цыганочка, шустренькая и рябененькая. Она всегда во всем успе-

вала, хотя и работала вместе с своей бригадой на шелковой обмотке. За смену она обязательно несколько раз бачочкой облетит весь цех и понохает каждую работницу. Она лучше всех знает, как работает каждая машина, как выполняет норму каждая работница, как на качество продукции отражается характер женщины. Она находит время прибежать и на чужую смену и изучить паспорт машины, справиться о недостатках, прощупать настроение каждой девушки и женщины. Голосок ее зычно кричал в разных концах цеха, и в нем слышалась надсада. На самом деле голосишко у ней был слабенький и тоненький, но она старалась изо всех сил делать его грубоватым и внушительным, и это смешило и раздражало работниц.

— Ну-у, завертелось, точило...—ворчали работницы и обменивались друг с другом гримасами.

— Ну что, Любаша, досталось на орехи? — неожиданно тонко крикнула Мишурина и засмеялась знающе. Она почему-то положила свою руку на плечо Любаше и лукаво заглянула ей в глаза.

Любаша озлилась и грубо оборвала ее.

— Ну, и досталось... ну, и нажучили... так что же из этого?..

И она стряхнула руку Мишуриной с своего плеча. Мишурина чуть-чуть вздрогнула, покраснела и смутилась, а потом сразу оправилась. Плечи ее приподнялись, и грудь стала выше. Любаша увидела впервые, что ее зычный голосок — отсюда, из этой приподнятой груди, из-под вздернутых плеч.

— Я, Любаша, предупреждала тебя... Я очень заинтересована в работе твоей бригады... Я первая гордилась тобой и твоей работой... Кто твоей бригаде способствовал получить премию?

— Ну, ты, ты!.. Так это ты считаешь своей заслугой?.. милость оказала?..

— А теперь, Любаша, не только не приходится гордиться, а не знаешь, как держать себя от стыда.

— Да ты не стыдись... ведь ты же не невинная тютелька...

— Я тебя отказываюсь понимать, Любаша. Так активистка и сознательная работница не рассуждает.

Голос Мишуриной задрожал от негодования и сразу стал тоненьким, как у девочки. К ним прислушивались работницы, и Любаше чудилось, что уши их шевелятся. Но работницы не отрывались от машин, так же хлопотливо возились в нитях и переходили от одной машины к другой. Ближе всех стояла старая работница в очках, в белой повязке, с седыми косичками на висках. Лицо у нее было желтое, восковое, щеки дряблые, и от подбородка к шее складками натягивалась кожа. Эта старушка всегда была молчалива, покорна и безучастна, как глухая. У нее недавно умерла дочь-студентка где-то далеко на практике, а она не сделала ни одного дня прогула, только плакала молча сама с собою. Звали ее все Капитоновной. Она впервые пристально посмотрела на Любашу и вдруг испугалась чего-то. У нее задрожал подбородок, и она жалко, по-старушечьи, улыбнулась.

Любаша отвернулась от Мишуриной и подошла к Капитоновне.

— Ну, что, старушка? Туго придется? Ты на тростилке — мученица...

— Рвется вот... мототы нет... одно наказание пряжа-то... Может, уж руки не те... дрожат все... и сердце закатывается...

И украдкой, незаметно прислонилась ухом к плечу Любаша.

— Птичка моя!.. себя только не забывай, дочка... Ты — молодая...

— Ничего, Капитоновна... обо мне не беспокойся. Мы еще сумеем показать зубы... У тебя вот горе, а мы, сволочи, даже и утешить тебя не смогли...

Капитоновна с испуганной торопливостью пробормотала, не отрываясь от работы:

— Ну, что ты, Любушка!.. Все работницы у нас хорошие... славные все...

«Почему она такая? — с брезгливым сожалением подумала Любаша. — Забитая какая-то... безличная...»

Она вошла в квартал своих машин и прошагала мимо девчат. А девчата с нетерпеливым вопросом в глазах смотрели

на нее и даже порывались броситься след за нею.

Она прошла скорым шагом к своей машине, которая за ее отсутствием обслуживалась Дуней Осининой, маленькой, конопатой девчиной. У нее были круглые серые глаза, насмешливые, ехидные и очень пухлые губы.

— Я знаю, кто сует бракованный продукт... — заорала ей в лицо Любаша и взглянула злыми глазами в сторону кладовой. — Эту стерву нужно метлой с завода... с показательным судом...

Дуня выпучила пухлые губы и поиграла ими, и от этого она стала вдруг очень хорошенькой. Голову она вздернула и боком, вызывающе оглядела Любашу.

— Ты это, Люба, брось! При чем тут Манька?.. Хозяйственнички такие хорошие... вот кого греть надо...

Подлетела воробышком Варюшка Журкина, грудастая, коротко остриженная соседка. Она, как всегда, строго хмурила тоненькие черные брови и нюхала воздух, вскидывая голову.

— Меня, бригадир, отходы замучили... Ежели так пойдет, я буду работать за папу и за маму... Должна же парторганизация учитывать это обстоятельство... должна же она сделать соответствующие выводы?..

Последние слова она произнесла внушительно, басом.

— Какие тебе там выводы? — грубо одернула ее Любаша и засмеялась, передернув плечами. — Выведут на черную доску, и глядись, как в зеркало.

— Что значит выведут? В чем дело? — обиделась Дуня, самолюбиво оглядывая Любашу из-за скулы.

— А то и значит, что ты за прошлый месяц премию получила, а сейчас за нее расплачивайся собственными боками. Всех собак понавешают, по волоску твои кудряшки выдернут. Уж будь покойна — поплачь. А, премию получили! Так вот вам, сволочи, за вашу премию...

Варюшка сурово сдвинула брови, и над переносцем у ней взлетели две резкие морщинки.

— Ну, это ты, Любаха, говоришь глупости. Не забывай того важного фак-

та, что нашей победой гордился весь цех.

Любаша озлудась.

— Ну-ка, — по местам: машины вон стали... Нароботаем к черту на рога...

Дуня и Варюшка опрометью бросились к машинам. Где-то рядом перекрикивались девчата, и по-этим оживленным, взволнованным крикам Любаша знала, что бригада бунтует — бунтует и против цеховой администрации, и против машин, и против нее, Любаши.

Внезапно к ней подскочила с злобным лицом, багровым от ярости, с разбухшими и липкими глазами Клавка Ловутина. Она всегда была несдержанна, груба на язык и не стеснялась никого — ни директора, ни секретаря, ни инженеров, — крича им в глаза свою правду искренно и драчливо. Нос у нее был задорный — дерзко вздернутый, и лицо — крупное, скуластое, откровенное.

— Я тебе в последний раз заявляю, Люба, что работать с этим чертовым материалом я не желаю... Смеются, что ли, над нами? У меня машины простаивают больше, чем работают. Это — издевательство и подлость...

И она так же внезапно исчезла за машинами, как и прибежала.

— Клавка — это наш барометр... — сказала как-то про нее Варюшка своими обычными газетными словами. — Она всегда сигнализирует атмосферную неурядицу. Разница только в том, что она всегда показывает дурную погоду, как уж совершившийся факт.

Любаша усмеялась и вздохнула. За эти полчаса без нее как будто что-то произошло новое: отношение к ней изменилось — работницы как-то отделились от нее, ушли в себя, и между ними и ею что-то оборвалось. Что это? вражда? неприязнь? презрение? Любаша почувствовала, что авторитет ее, как бригадира, поколебался: ей уже не верить, она уже не способна организовать дело и удержать на высоте достоинство их, как примерных ударниц, которые шли впереди по соревнованию. Их самолюбие оскорблено, трудовая гордость унижена. Они страдали и бесились за свои неудачи и всю вину вваливали на нее, на Любашу. И она сама чувствовала

ла, что и у нее уже нет к ним прежнего расположения. — той дружбы и гордости за их боевой дух.

Машины жужжали, как рой пчел, стрекотали и гулко дышали по всему цеху. Они были живые и теплые, они дрожали от напряжения, нервно и раздражительно. Привычным своим слухом Любаша ловила их заиканье: они щелкали, задыхались, останавливались и немели в разных местах. Работницы спокойно бросались от одной машины к другой и с злым румянцем на щеках играли пальцами в застывших потоках нитей. Дрожал пол под ногами, и дрожь эта струилась по всему телу. Раньше это было очень приятно: это было похоже на странную музыку, которая играла в крови, а теперь назойливо и мучительно бередила нервы: вот сейчас опять щелкнет одна машина, другая, третья... и застнет тяжелая тишина в ногах, в теле, в глазах, в воздухе. И Любаше казалось, что и все эти машины, которые она знала много лет, с которыми сживалась каждый день, тоже враждебно смотрели на нее, тоже замыкались в себе. Все эти машины и женщины дышали одним дыханием, жили одной жизнью: капризы и болезни машин передавались этим девочкам, а раздражение девочек переливалось в машины. И впервые Любаша почувствовала, что она сейчас бессильна бороться и с машинами, и с подругами, бессильна возвратить былую дружбу и доверие. Впервые она больно переживала незаслуженное их отчуждение и острую боль одиночества. За что? Разве она виновата? Она, как никогда, нуждается сейчас в их поддержке и любви. Она сдерживала слезы и глотала спазмы в горле. За спиной щелкнул автомат, и машина икнула и остановилась. Она обернулась и увидела, что оборвалось несколько черных струн. Она торопливо забегала пальцами по нитям и быстро стала связывать оборванные концы. Но рядом опять щелкнул автомат, и опять онемела другая машина. Она пустила первую и не успела подойти ко второй, как щелкнула и остановилась машина позади. Щелкали и капризничали машины и в других местах, вскрикивали

работницы, ругались, стонали, и Любаша видела, что лица у многих были, как у больных.

Любаша связывала нити, пускала машину в ход и бежала к другой. Так она ошалело металась в своем проходе около часа, так металась и другие женщины, которых она видела по сторонам. И каждый раз Любаша видела одно и то же: нити были неровные — в опухлях, а обмотка — в болячках и паршах, — явный брак. Какая красавица эта машина! Проворно танцуют, прозрачно мелькают бобины, как фигурки на игрушечной карусели... Их нельзя уловить взглядом, нельзя догнать каждую в воздушном полете: они сновали навстречу друг другу по окружностям дисков, по извилинам восьмерок, и черные дымчатые нити лучились, трепетали от бобин к вершине, где сплетались в змеиную кожу на трехжильном жгуте изолированных проводов. Автошнур, идущий на тракторные, автомобильные и военные заводы... Она, эта машина, живая, монументальная, как величавый музыкальный инструмент. И такая чуткая и нервная: достаточно порваться одной какой-нибудь нитке из этого лучистого пучка, и этот могучий механизм, весом в несколько тонн, мгновенно цепенеет с легким металлическим треском...

Мастер Сергеев хмуро остановился около Любаши и смотрел свинцовым лицом не на нее, а на Капитоновну. В старых очках, с одним разбитым стеклом, сутулый, он был как будто занят только своими мыслями. Любаша почувствовала его раньше, чем увидела: от него шел терпкий запах — запах старого лота, оливы и скипидара. Как все старые рабочие, у которых вся жизнь прошла в заводе, Сергеев был молчалив, затяжен и озабочен.

— Сергеев, работай совсем невозможно... заявляю окончательно... Долго там издеваться будете? Тростильщицы дают бобины — ни к чорту: мало что гнилые, а рваные... Почему нет контроля за кладовой?.. — Любаше тяжело было говорить с ним: последние дни тяготили ее постоянными ссорами с этим человеком. Ее самолюбие хорошей работ-

ницы было оскорблено мастером. Хотя он как будто и лишен был способности улыбаться и не в силах был поднять головы, в его умной молчаливости было раньше что-то удобное, одобрительное, и в нем она чувствовала верную опору и нелицемерную доброту.

— Надо думать о работе... о себе думать надо... Нечего сваливать вину на других. Умей обращаться с любой пряжей... Ты здесь не для украшения поставлена... Ты — не в оражерее...

Сергеев поверх очков смотрел на Капитоновну и размышлял о чем-то своем. Любаше он ответил нехотя, угрюмо, рассеянно. Он, казалось, совсем не хотел замечать ее и не интересовался работой ее бригады, но Любаша обостренно чувствовала, что он стоит здесь не просто и следит за работой внимательно: привычным ухом ловит все их движения и стрекотанье машин.

Сергеев медленно, скучно повернулся к ней и взглянул на нее отчужденно. Глаза его были льдисты, а очки в стальной оправе ослепили ее холодным блеском.

— Пряжа плоха, — это без тебя знают. Сумей с такой пряжей дать достойного качества обмотку. На то у тебя и квалификация. Очень уж вы привыкли, чтобы о вас заботились, не жили... А вот ты мне душу выверни, но дай продукцию высокой радости...

— Что же я должна делать по-твоему?

— Вот и делай...

— Самой, что ли, в машину лезть вместо пряжи?

— Ежели будет от этого счастливая продукция, лезь сама.

Сергеев явно шутил, но не улыбулся — попрежнему оставался угрюмым, с свинцовым лицом. Он опять уже не смотрел на Любашу, а на покорно молчаливую Капитоновну.

— Вон видишь, как старушка-то трудится? — буркнул Сергеев, и у него впервые дрогнули щеки от улыбки и брызнула искорка в очках.

— У тебя, Сергеев, по-старинке: человек для тебя — ничто... о человеке ты судишь по качеству обмотки... У нас — другой взгляд: не давай в себе

человека в обиду... Мы ведь, ежели коснется, здорово можем постоять за себя...

— Вот, вот... вы только о своей шкуре и думаете... А что и как вы сделаете... какую вещь... это вам начхать... А вот чуть провод, как он болеет в Донбассе, в Сибири, на стройке, или звениг в воздухе или в корпусе, — это пушай на долю Капитоновны...

Внезапно Сергеев вздрогнул, и у него затряслась голова от злости.

— Ежели хочешь знать, так через мои руки за тридцать годов прошли сотни тысяч километров проводов... в надежной обмотке... весь земной шар заплетен, как паутиной... Я знаю, дурная твоя башка, что значит пропустить этот провод через свою душу... А у тебя только самоличное обожание... На такую твою душу мне наплевать...

И он ушел с трясущейся головой, пошевеливая лопатками, и по этим его лопаткам Любаша увидела, что с этой минуты между нею и Сергеевым ничего уже не будет, кроме угарной, мучительной вражды.

Кто-то из девчат ехидно засмеялся и крикнул в спину Любаше:

— Наш бригадир, ха-ха, бит и в лоб, и с тыла... Веселое дело...

Любаша быстро обернулась, но встретила только холодную неподвижную машину.

III

После работы Любаша, как обычно, зашла в детский сад за своей Надюшкой. Девчужке было четыре года, и эти четыре года она провела сначала в яслях, а потом перешла на окрепших ножках в детский сад. Третью своей жизни она росла в этом беленьком термомитном домике в самом центре рабочего поселка. Толпа этих домиков ряды плесенных деревянных изб, которые стояли здесь еще до революции. Завод был тогда маленький, полукустарный и дымил своими железными трубами среди пустырей и свалок, далеко за Москвой. Москва еще в первые годы нэпа казалась далекой, величаво-дымной на холмистом

горизонте, в колокольнях, в куполах и башнях. Призрачно маячил вдали столб Ивана Великого и переливался золотом гигантский купол храма Христа. А теперь все эти пустыри в буераках и свалках сплошь застроены заводами, многоэтажными домами рабочего города, с гудронными мостовыми и бульварами, и между Москвой и этой окраиной уже нет разрыва. Исчезло много колоколен и сброшено величаво сияющий купол храма Христа. Завод за эти годы разросся вширь: построены бетонные корпуса цехов на месте деревянных сарайных зданий и избушек, где помещались и завком, и партячейка, и заводоуправление. Жизнь Надюшки — это целая история: годы Надюшки, это — годы первой пятилетки, это — годы целой эпохи. И когда в свободные часы Любаша с мужем вспоминали разные возрасты Надюшки — как она училась ходить, лепетать, как и где ушиблась, — они обязательно отмечали даты этих событий:

— Помнишь, ты еще неосторожно поднял ее за ручку и растянул жилки... Ух, как она тогда плакала!.. К врачу пришлось нести ее... Тогда еще у нас обмоточный цех закончили... Новые машины устанавливали...

— Да, да... А у нас тогда в тянулке ставили новые вакуумные печи... В это время как-раз взрывали храм Христа.

Сегодня, как и всегда, Надюшка бросилась к ней из крикливого вороха детей с визгом радости и ловко вскочила ей на руки. Пухленькая, горяченькая, упругая, глазастая, обняла ее за шею, и Любаша с наслаждением ощущала, как эта родная живая теплота дочурки льется через сердце и растекается по всему телу. И Любаша изумлялась, как это она могла раньше жить без Надюшки, как это она могла чувствовать себя спокойно, безмятежно, жизнерадостно без этих ручек и ножек, без этого пухлого, глазастого личишка, без этого растающего в нее горячего тельца, от которого замирает она в невыразимом наслаждении. Что было бы с нею, если бы эта родная крошка умерла? Любаша несомненно сама умерла бы на целые длинные годы: она сошла бы с ума.

С Надюшкой на руках, щебечущей около уха, Любаша пришла домой иная, чем вышла из ворот завода: уж потухла в ней обида и на Сергеева, и на Дробышина, и на работниц; уже не мучила ее забота о машинах и пряже. Точно эта трепетная, младенческая теплота ребенка впитала в себя всю отраву рабочего дня. С Надюшкой на руках она сама вдруг почувствовала детскую радость и нежность и к этим беленьким домикам, и к зеленому лужку улицы, и к облакам в лиловом небе, очень далеким, очень прозрачным, снежно сияющим в зените. Стоило волноваться по пустыкам, стоило мучить себя какими-то передрыгами с Сергеевым, с Манькой, с девчатами... стоило страдать из-за пустого самолюбия, что лучшая ее бригада случайно не выполняет план и дает высокий брак и отходы... Завтра она посоветуется с девчатами, обсудит с ними причины прорыва, и они опять будут впереди всех.

В их двухэтажном домике, похожем на коттедж, с проходным двором, с самодельными дощатыми сарайчиками и свинушниками, было четыре квартиры. Любаша жила в нижнем этаже, в двух комнатах. Напротив, через коридор, помещалась в одной комнате Марья Власовна с своим стариком — кабельщиком, а рядом в комнате поменьше одиноко ютилась Капитоновна. Наверху жила и Манька в семье женатого брата Макара — литейщика.

Муж сидел на ступеньке крыльца и ждал Любашу с Надюшкой. Модест работал в металлопрокатном цехе тянульщиком и был там парторганизатором. Еще издали он помахал Любаше рукой и пошел ей навстречу, тяжелой, деловой, рабочей походкой. Как всегда, лицо у него было темное, еще не умытое, руки — грязные, с синевой, покрытые эмульсией. Он был молод, но казался пожилым: глаза запали глубоко и смотрели озабоченно и устало, улыбался он неохотно и сутулился, как старый рабочий. Он и теперь улыбнулся с натугой, точно озабочен был каким-то навязчивым непрошенным вопросом. Когда он шел навстречу, у Любашы почему-то билось сердце: может быть, по-

тому, что между ним и ею очень ядрено и бархатно зеленела трава, а может быть, потому, что Надюшка тянулась к нему ручонками и звонко, пронзительно кричала:

— Папка! рыжий, мазаный... к картузу привязанный...

Любаша, улыбаясь, поглядела на Модеста надюшкиными глазами, — большими, прозрачными, и чувствовала к нему такую же нежность, как и к Надюшке, и к этой зеленой травке, и к золотым облачкам в вышине. Но Модест молча взял Надюшку себе на руки и почему-то не обратил внимания на то, как она отшатнулась от его грязного задумчивого лица. Не обратил он внимания и на Любашу и затяжеленно пошагал впереди. Любаша сразу заметила, что он — не в духе, что встретил он их с Надюшкой по привычке и по привычке же взял на руки и девочку. Когда Надюшка стала шалить его кепкой и носом, он неприветливо огрызнулся:

— Ну, ну... не зарывайся, пожалуйста... не бери примера с мамаша... жужелица...

— А какая — жужелица?

— Вот такой жучок, как мамка...

Надюшка опять отшатнулась от отца и обиделась.

— Мамка — не жучок... Это ты — жучок...

Любаша шла позади и уже не пыталась догнать Модеста. Вероятно, он был у Дробишина и узнал о том, что произошло с ней сегодня; вероятно, о ней говорят уже в цехах и обрабатывают ее почем зря.

Дома Модест не разговаривал с ней до чая: умывался угрюмо, молчаливо, а когда переодевался, старался смотреть или в окно, или в потолок.

Надюшка бегала между ним и Любашей, путалась в ногах и лезла к отцу и к матери: она требовала обычного внимания и ласки.

— Папка, расскажи про жужелицу...

— Отстань!.. за чаем расскажу... Ты и есть жужелица: скрипишь и ползаешь под ногами...

— А жужелица скрипит?.. как она скрипит?..

Любаша постелила скатерть на стол, расставила посуду и подала чайники на подносе. И всё время, пока готовила чай, пытливо, украдкой поглядывала на Модеста. Она видела, что он подавлен и занят своими мыслями. Она полила цветы на окнах, привела в порядок флакончики, баночки и фарфоровые куколки на комодике по обе стороны зеркала — вещички, оставшиеся от детства, — смахнула пыль с книжной этажерки, переставила с комода на стол букет цветов, посадила в детское креслице Надюшку и села рядом с нею. Модест листал книжку, которую он принес из передвижки, и делал вид, что очень заинтересован ею.

— Садись, отец... чай налит...

Модест сел, не отрываясь от книжки. Теперь, когда он умылся, и переоделся — чистая рубашка, брюки на ремне, — он стал свежим, совсем молодым, похожим на парня, который еще не оторвался от комсомола. Хотя он и горбился, склонившись над книгой, но уже не было в нем той трудовой затужеленности, которую он приносил из цеха своим рабочим костюмом. И прядь рыжих волос, которую он любил спускать на лоб, казалась задорной и веселой. От этой пряди волос и глаза как будто не так глубоко уходили под золотистые брови. Вот он умылся — и веснушки обсыпали его лицо, как у мальчишки. Большие губы и раздвоенный сильный подбородок делали его добродушным и упрямым. Надюшка вошла в креслице, пела, лепетала и тянулась к нему — старалась достать его волосы, ухо, щеку.

— Жужелица!.. Папка — жужелица...

Модест вдруг выпрямился, и в глазах его серебристо-серых заиграли шаловливые искорки. Он взглянул на Любашу и засмеялся. Большой рот, толстые губы и крупные зубы задышали весельем и здоровьем. Видно было, что он любил посмеяться и побаловаться.

— Ты что же это так папку называешь, козявка? Таракан ты рыжий.

Надюшка обрадовалась улыбке отца и в восторге стала бурно атаковать его.

— А ты — рыжая сердитка... зубатая жужелица...

— Мать! — заорал он, весь играя. — Это что же такое? Почему она так папку прорабатывает?.. Я тебя задушу, Надюша-вертуха...

Он сделал страшное лицо и потянулся к ней со скрюченными пальцами: Надюшка завизжала и стала отбиваться от него кулачками.

Любаша смеялась. Ей опять стало легко и радостно на душе. Опять она увидела в окне прозрачно-снежные барашки в фиолетовой вышине и зеленую траву на улице, которая заливала нижние стекла, переливаясь в их неровностях струями и вихрями. Солнечный воздух и небо, и зелень польхнули в окно. Далеко на шоссе, с глухим громом, позванивая, пронесся трамвай, гудели автомобили, приближаясь и удаляясь, где-то играли вальс на баяне. Хотелось пойти куда-то далеко и слушать музыку. Пела в душе девичья радость. И дома хотелось остаться — чувствовать родную близость Модеста, крики и лепет Надюшки: эту ее жадную возню и крики маленького человечка, впервые побеждающего жизнь, Любаша почему-то ощущала только в себе, в своем сердце, а не издали, не отдельно, не со стороны. На дворе, против окна, остановился среди кур и гордо выпрямился огненный петух и пристально уставился на окно. Он дугой вытянул шею и широко раскрыл клюв.

— Ку-ка-аку-у...

Любаша тоже посмотрела на него пристально и засмеялась.

Она села, налила чаю в блюдечко и поставила перед Надюшкой.

— Пей, бутузик. Видишь, как папку-то взбунтовала. А то он встретил нас действительно жужелицей.

И лукаво взглянула на Модеста. Он усмехнулся и тоже украдкой поглядывал на нее из-под бровей, себе на уме.

— Эта жужелица, мама, очень сердитка?.. как папка? Расскажи, какая жужелица.

— Пей, пей... потом тебе папка расскажет: он лучше знает.

— Нет, Надька, пусть мамка расскажет: она и есть та самая жужелица.

Надька встревожилась, с изумлением осмотрела Любашу и захныкала:

— Никакая ты не жужелица... ма-ам... Жужелица — это нехорошее...

— В чем дело, Модест?

Любаша посмотрела на мужа, но он в усмешке наклонился над книгой, и она не увидела его глаз.

— Тебе лучше знать.

— Однако, Модест. Имей мужество говорить прямо. В чем дело?

Надюшка почувствовала какую-то тень между ними и испуганно стала поглядывать и на отца, и на мать. Модест занялся чаем, не отрываясь от книги.

— Ничего особенного. Из-за тебя я пустил по Волге Макарку Речкина... Скандал вышел... ну, а он затеял бузу...

— Это — Манькина работа... — Любаша ударила ладонью о стол. — Добьется, что ей морду бить будут...

Модест поморщился и отмахнулся от Любашы.

— Не в этом дело, Любаха. Макарка зубоскалить начал и при всем честном народе заявил, что у тебя одна сейчас программа — сорвать план обмотки... Я его обругал. Ну, он начал зубоскалить насчет премированных бракоделов... И будто слышал, как Дробишин прямо тебе в лоб предъявлял обвинение в срыве плана... И будто ты вылетела от него без задних ног. Вот и все. Пустяки, по существу.

Любаше было приятно, что Модест рьяно выступил в ее защиту среди рабочих. Он был оскорблен за нее: он не мог допустить мысли, что его Любаша способна на такие дела, как срыв хозяйственного плана. Если бы Макарка сказал о прорыве в ее бригаде по-деловому, с оценкой обстоятельств и трудностей, Модест отнесся бы к нему иначе. Но здесь несомненно было со стороны Макарки заранее обдуманное намерение — уязвить Модеста и нарочно вызвать скандал — дискредитировать и ее, Любашу, и Модеста, который неизбежно должен был выступить на ее защиту. Но Любаша видела, что Модест не хочет договаривать до конца: он расстроен не только столкновением с Макаром, но и тем, что причиной этого скандала оказалась она, Любаша. Он сердился на нее за то, что она постави-

ла его в неприятное положение перед товарищами.

— Нет, это — не пустяки, Модест... Это — не пустяки... Все как сговорились: все начали собак вешать на одну меня. Тут травлей пахнет...

Модест поднял лицо от книги и, как чужой, оглядел Любашу пытливо и удивленно.

— Брось об этом. Не стоит овчинка выделки.

— Я тебя совсем не понимаю. Модест. Мне очень тяжело, а ты лицемеришь...

Любаша опять почувствовала себя одинокой. Даже Модест не понял ее, даже он осуждает ее за сегодняшний день. Она хотела увидеть лицо Модеста, но вдруг оно расплылось и исчезло; растаяло и небесное окно, и Надюшка, и белый стол с посудой. Она с усилием проглотила горькие спазмы в горле, но никак не могла высушить слезы в глазах. Нечаянно она моргнула, и слезы крупными каплями пробежали по щекам.

Надюшка хваталась горячими ручонками за ее волосы, за плечо, за щеки и испуганно лепетала:

— Мама, не плакай... Папка тебя поцелует...

Любаша засмеялась оквозь слезы и приложила щекой к ее мягким волосенкам.

— Надо не плакать, а бороться, Люба... — упрямо сказал Модест. Он стал очень торопливо жевать хлеб и прилеживать чаем. — Слезы — это дело плевое. Не тебе этим заниматься.

— Но ведь ты же, Модест, не знаешь, что происходит, сердисься... Вместо поддержки ты меня же обвиняешь.

— Видишь ли, Люба. Ты напрасно думаешь, что я ничего не знаю. Ты делаешь глупости, а сваливаешь вину на других, изыскиваешь причины во всяких обстоятельствах. Не дело это. Мне нечем было крыть: я защищал тебя голыми руками.

— Да ведь, Модест... нельзя же так работать... Обмоточный материал — дерьмо, и, как нарочно, брак суют именно нашей бригаде.

— Ну, это ты плетешь чушь... обязательно, только тебе подсовывают брак... Ерунда... Надо уметь найти выход из положения...

— Что же я должна делать с гнилой пряжей? Скажи! Она же в машину не лезет... Постоянные обрывы... Все время сечется... и болячки...

— Я не знаю, какая там у тебя пряжа. Это — твое дело. Но ты, как передовая работница, должна быть находчивой и изобретательной... Я не желаю, чтоб всякая дрянь издевалась... и тыкала мне в нос.

— Пожалуйста... я тебя не прошу, чтоб ты был моим адвокатом... Я сумею и без тебя обойтись.

— Ну, валяй, валяй...

— Очень хорошо. Вы все мастаки насчет общих фраз... чужую беду руками разведу...

Любаша встала со стула, вырвала Надюшку из креслица и вышла с ней из комнаты. Она прошла через двор мимо сердитого петуха с курами и пошагала к шоссе, на бульвар.

По гудронной мостовой проносились порожные грязные грузовики. На одном из них стоял парень в парусиновой прозодежде, махал ей рукою и скалил зубы. С оглушительным грохотом тяжело прошел трамвай с двумя прицепами. Все вагоны были густо набиты людьми. Они висели и на подножках, и на буферах и давили друг друга внутри вагонов. И от этого Любаше было тоже тесно и душно. На другой стороне улицы стояла пожарная голубая вышка, очень красивая и стройная, и наверху, на балкончике четырехугольного павильона похаживал пожарный. Вдали туманно и огромно толпились здания Москвы и дымились заводы и вокзал Курской железной дороги. Направо, по перспективе широкой улицы, выселись новые многоэтажные корпуса рабочего города с балконами, на которых трепыхалось выстиранное белье. Она пересекла шоссе, вошла в узенький проход на бульвар из молодых лип и села на скамейку. Надюшку она пустила побегать по песочку. Проходили рабочие, работницы, служащие с портфелями. И от этих чужих лиц, покрытых пылью, от этих се-

рых безличных людей и холодных казенных зданий веяло такой скукой, что Любаше захотелось зареветь.

IV

С Модестом Любаша не разговаривала два дня. Они встречались после работы у крыльца квартиры: она шла с Надюшкой из детского сада, он подходил и брал дочурку на руки. Она ставила чайник на примус, накрывала на стол, кормила и пила чаем Надюшку. И все время, пока сидели за столом, молчали и избегали смотреть друг на друга. Каждый разговаривал и играл отдельно с девочкой. Было тягостно и Любаше, и Модесту (это случилось в их жизни впервые), но побороть это отчуждение и враждебность не могли.

Работа в цеху день ото дня шла хуже и хуже: брак повышался, отходы пугались в ногах. В цеху все были злы, нетерпимы друг к другу, часто взрывались ссоры, росла тревога. Сергеев ходил мрачный, ругался на весь цех, часто исчезал куда-то и возвращался с осоловелыми глазами. Он то и дело вскидывал руки к усам, дергал их пальцами, мурзился и лаял.

Приходил Симаков, директор завода, полный, щекастый человек в новенькой кепке, с веселым и хитрым лицом, приходил вместе с ним и технический директор, инженер Столпянский, длинный, высокий интеллигент, в шляпе и пальто, с тросточкой в руках. Они быстро пружинили мимо работниц, брали пряжу из ящиков, щупали и нюхали ее, рвали нити, а потом совещались у выходных дверей с Сергеевым. Каждый день по нескольку раз забегал Дробишин и с тревожной сосредоточенностью останавливался у машин.

Как-то он подошел к Любаше и, блистая слезою, скосил рот на сторону.

— Ну, так как же, Любаша?.. Выходит, дело дрянь... Напрасно, значит, милая душа, мы преждевременно красивую вывеску на твою бригаду нацепили... Предупреждение мое, выходит, ухнуло к чорту в дыру...

— Товарищ Дробишин. Ты же сам видишь, какой материал... Чем же тут

виновата бригада?.. Я же не первый год работаю.

— Вот то-то и есть, что не первый год работаешь... От тебя-то и гнусно слышать... материал, материал... А где твои руки? Где твоя голова? Ты обязана чудеса делать... Машина, она верный и честный механизм... А ты возишься только с собой, как с недотрогой... Особа!..

Любаша дернула плечом и огрызнулась:

— У тебя на языке только машина и материал, Дробишин. А живая душа, конечно, в план у тебя не входит...

Дробишин усмеянулся. В глазу у него слезы уже не было, и Любашу больно укололи пристальные, холодные его зрачки.

— Эта твоя живая душа — на костылях...

И он пошагал вглубь цеха.

Любаша с ненавистью проводила его глазами и впервые заметила, что уши у него оттопырены и похожи на баранки. Она переглянулась с Варюшкой, перекосила лицо и пальцами оттянула свои уши в стороны.

Вечером на третий день было собрано производственное совещание цеха. Дневная смена в полном составе поднялась на второй этаж в просторное помещение красного уголка. Народу собралось очень много; все двести мест были заняты, много народу толпилось и позади, и перед показательными витринами с недоброкачественной výrobкой продукции разных цехов и указанием процента брака за последнюю декаду. Издали были видны четкие, крупные надписи: «Как не надо работать», «Позор обмоточному цеху», «Беспощадная борьба с бракоделами, срывающими социалистический план».

Любаша сидела в среднем ряду в проходе, вместе с своими девчатами, и чувствовала себя нехорошо. Ей казалось, что на этом собрании будут обсуждать вопрос не о всем цехе, а только о ней и о ее бригаде. У нее ныло и замирало сердце, и никак не могла она удержать внутренней дрожи, которая пронизывала ее с головы до ног. Вот сейчас ее будут судить, на нее набро-

сится и Сергеев, и Дробышин, и Симаков, ринутся на нее и все те, кто раньше похвально ей перед другими цехами и перед рабочими и работницами других заводов. О ней писали и в заводской многотиражке, и в «Рабочей Москве». На нее даже издали смотрели с любовью и гордостью, а многие завидовали, злились, но в глаза льстили. А теперь... Сегодня вышел очередной номер заводской газеты. Газету рвали друг у друга из рук. Варюшка встретила ее с красными белками и, ухмыляясь, сунула ей в руку измятый печатный листок.

— Читай на здоровье... Нарядно здесь тебя изукрасили. Ну, и, конечно, нас вместе с тобой... Очень приятно... Прямо хоть беги очертя голову с завода...

У Любаши потемнело в глазах, и сердце, замирая, упало куда-то вниз живота. Она читала газету и ничего не понимала. Знала только, что в этих крупных печатных буквах и в мелкой россыпи строчек — страшный приговор, который никак нельзя ни смыть, ни предотвратить. В первое мгновение она решила, что этот день — последний день ее жизни на заводе. Ей неудержимо захотелось сейчас же побежать в металлопрокатный, к Модесту, и броситься к нему на грудь. Вспомнила отчужденное лицо Модеста и его замкнутость в последние два дня, и он показался ей вдруг чужим и далеким.

Она сидела в душевной груди женщин и изо всех сил старалась держаться независимо и гордо. Она вызывающе поднимала голову и оглядывала собрание. Впереди нее и по сторонам шевелились кепки, платки, береты, волосатые головы, рубахи, пиджаки, кофточка, скрипели скамьи, и вся эта густо сбитая толпа дымилась табаком, который зелеными облачками поднимался вверх. В зале рокотал гул голосов, выкрики, смех. Где-то в разных местах спорили, переругивались, раздраженно кричали женщины. В проходе между скамьями слонялись рабочие и работницы навстречу друг другу и смотрели по сторонам с надеждой найти себе место. За красным столом президиума никого еще не было:

руководы совещались в соседней маленькой комнате. Их ждали нетерпеливо каждую минуту.

Впереди перед Любашей сидела Марья Власовна и, важно расплываясь жирным телом на скамье, смотрела вперед в молчаливом ожидании. Она ни разу не обернулась к Любаше, и по ее седому затылку, с маленьким узелком волос, видно было, что она озабочена, сердита и обязательно поднимется первой и будет говорить внушительно и скучно скрипучим басом. Капитоновна сидела дальше, впереди Марьи Власовны, тощенькая, покорная, как на молитве. Любаша старалась ухватить ухом, о чем говорят в толпе — ловила слова и выкрики и вблизи, и вдали, но никак не могла поймать смысла разговоров. Слышались ей только отдельные слова: «хозплан», «материал», «недовыработка», «трестовики», «парторганизация»... Только один раз услышала она злой выкрик позади себя:

— А вот и то: глушить надо... гнать к чертовой матери таких работничков в три шеи... Очень уж валандаемся со всякой швалью... Довольно, товарищи, шутки шутить: тут не поликлиника...

И Любаша с болью чувствовала, что это о ней кричит обозленный рабочий, что он тоже выступит и будет хлестать ее перед всей этой массой людей.

Недалеко, направо, из вороха голов поднялась Манька Речкина в сером балахоне и с ехидной усмешкой взглянула на Любашу. Потом сразу же села и пискливо засмеялась. Несколько лиц с улыбками повернулись в сторону Любаши и с любопытством щупали ее глазами.

Любаша страдала от унижения. Ей было до того стыдно, что хотелось застонать. Горело лицо и сохло во рту. Она физически ощущала, как ползали по ней множество глаз и мучительно душили ее все эти потные тела, которые наваливались на нее со всех сторон.

Она бодрилась, старалась держаться прямо и делала вид, что никого не замечает, ко всем равнодушна и чувствует себя превосходно. Когда она увидела Маньку Речкину, она усмехнулась и толкнула в плечо Варюшку.

— Видишь эту!

— Кого это?

— А Речкину... оглядывает нас, будто кроликов...

— Ну, и черт с ней... подумаешь... Надо думать о другом.

— А что думать-то? Все — как на ладони... При чет тут мы, когда хозяйственники сидят, как на банкетке...

Из-за Варюшки высунулась к ней Дуня, и Любаша увидела бледное и злое лицо.

— Ты, Любаша, замечаешь какую-то собачью блоху, а вот мы... бригада... для тебя — ноль... Так работать нельзя... Я еще никогда такого позора не переживала...

Любаша вздрогнула от неожиданности. И эта опрятная курочка туда же... Она хочет переметнуться в другую сторону и тоже готова вешать на нее собак. Любаша затряслась от бешенства и тоже потянулась к ней. Их лица столкнулись и обдали друг друга жаром.

— Что ты больно изображаешь — из себя невинную девочку... Чего ты этакой гадинкой вьешься? Крысам-то, знаешь, какая цена?..

— А я не желаю работать в бригаде, которая меня калечит, делает посмешищем...

Они некоторое время, не отрываясь, смотрели с ненавистью друг на друга, и обе чувствовали, что с этой минуты они — непримиримые враги.

Варюшка смотрела на волосатые головы и той, и другой и презрительно кривила губы. Когда Любаша и Дуня отпрянули одна от другой, она сказала с достоинством:

— Ты, Дуня, — неправа: мы все несем ответственность за плохую работу. Только Любаша, как бригадир, не понимает многих вещей...

Ее книжные слова, опрятные и продуманные, были невыносимы Любаше: они скрипели, как нож по стеклу.

— Вот ты и выступи, Варюша... — с обидной насмешкой сказала Любаша, не глядя на нее. — Ты же у нас — известный оратор... Вяжешь слова, как кружева...

— Я и выступаю... а что же?.. Посмотрю, как выступишь ты...

— А зачем мне выступать?

— Заставят выступить. Ведь в работу-то возьмут прежде всего тебя, нашего уважаемого бригадира...

Позади враждебно бормотали другие девчата из их бригады. Любаша обернулась назад и встретила лихорадочные глаза.

В этом зале, среди сотен людей... Ей не на кого опереться, ни одного взгляда сочувствия не встречала она вокруг себя. Разве можно бороться? Ни одна рука не поднимается в ее защиту. Уйти бы отсюда сейчас же, умчаться бы куда-нибудь из города и — забыться, отдохнуть немного...

Внезапно она увидела у противоположной стены Модеста. Он стоял с задранной кепкой и курил. Держал он папироску между грязно-синими пальцами и шурился от дыма. Прислонившись к стене, он смеялся белыми зубами. И как только Любаша увидела его, ей нестерпимо захотелось броситься к нему через эти толпы людей. Ей стало бы легче — это она знала наверное. Не отрывая глаз от Модеста, она ловила момент, когда он встретится с ней взглядом. Но он не смотрел в ее сторону и оживленно разговаривал с ребятами. Да. Он равнодушен к ее беде. Ведь он хорошо знает, что это собрание — большое событие, что сейчас ей, может быть, придется пережить страшные минуты, и все-таки он даже не поискал ее взглядом — не поинтересовался, как она себя чувствует. Она кусала губы, чтобы не заплакать от обиды и злости.

Впереди в коридоре завизжала дверь и впереводку громко закричали голоса. Быстро и оживленно вошли в зал и Дробишин, и толстенный Симаков, и Мишурина, и Сергеев. Они поднялись на помост, сели на стулья позади стола у стены, а Дробишин стал перед столом, налил себе из графина стакан воды и жадно выпил до дна. Пустым стаканом он стукнул о прафин, и все увидели мокрую дорожку на его щеке.

Дробишин открыл собрание, призвал всех к тишине и сказал очень спокойно и скучно, что ударный цех, которым

то праву гордился завод и все рабочие и который имел ряд месяцев переходное знамя социалистического соревнования, теперь находится в тяжелом состоянии: производительность труда понизилась и качество продукции упало до позорного уровня. По хронометражу, простой машин выражается в убийственной цифре: треть машин постоянно находится в параличе. Государству это наносит огромные убытки, и наша электротехническая промышленность, которую обслуживает завод, должна испытывать большое потрясение. Как будто вскользь Дробинин упомянул о плохой пряже, о зависимости завода от текстильных фабрик, но голос его загремел, когда он начал говорить о работе цеха. Чем объяснить, что рабочие и работницы не только не выполняют плана, но систематически ухудшают качество обмотки и увеличивают отходы? Почему плохо работают хозрасчетные бригады? С своей стороны Дробинин считает, что на заводе и в частности в обмоточном цеху работницы и рабочие ослабили свою пролетарскую бдительность: трудовая дисциплина слаба, свои обязанности работницы понимают односторонне: они считают себя цыплятами, а завод — квочкой. Дробинин грозно выбросил руку и прогремел на весь зал:

— Нет, товарищи. Не в этом ваша революционная роль, не такие ваши обязанности. Вы — активные строители социализма. Вы не цыплята, а бойцы. Мы переживем перебои в снабжении сырьем — в снабжении металлом и пряжей. Но пряжа, — хороша ли, плоха ли, — поступает. А вот металлопрокатный при самых труднейших обстоятельствах выходил и выходит из положения. Только обмотка застряла в болоте и не желает вылезать — запуталась в собственных ногах и потеряла голову. И конечно сваливает грехи на объективные обстоятельства: на людей, на вещи, на порядки... А вы должны быть хозяевами вещей, создавать вещи, душу за них отдать, а не быть в плену у вещей и обстоятельств. И бросьте эту рабочую привычку, которая выражается поговоркой: мы — не мы, но чевала у кумы...

После выбора президиума, куда попала и Марья Власовна, и Мишурина, и Дробинин, вышел Сергеев и сделал доклад о работе цеха за последний квартал. Говорил невнятно, кашлял, читал по ведомости цифры. Почему-то все время крутил головой и плечами, точно душил его воротник рубахи и он старался освободиться от этой удавки. Он стучал указательным уродливым пальцем по столу, будто грозил вывести кого-то на чистую воду, и повторял раза по два одну и ту же фразу:

— Бригады — хозрасчетные, а работают плохо... а работают плохо... Не снижение себестоимости, а повышение... Качество продукции — хуже нельзя... хуже нельзя... У нас даже вот самая лучшая бригада... премированная... плетется в хвосте... Вот до чего доехало... вот до чего доехало...

Кто-то из женщин из зала закричал пронзительно:

— А ты скажи, Сергеев, можно с такой пряжей работать?

Несколько голосов вперевод, задыхаясь, подхватили злорадно:

— Крыть-то он кроет... А нет, чтобы о работницах позаботиться... Ты скажи, какой ты ферт перед администрацией...

— Вот именно, Сергеев... работницы все силы кладут... А кто пряжу такую принимает? Вон товарищ Симаков сидит...

Сергеев развел руками и посмотрел на Симакова и Дробинина: глядите, мол, какие несознательные...

После него стало тихо и напряженно. Дробинин несколько раз настойчиво предлагал брать слово, но никто не хотел выступать. Тишина становилась тяжелой и душной.

Совсем неожиданно поднялась с своего места Капитоновна и вышла из рядов, молча, озабоченно, скромно. Любаше показалось сначала, что Капитоновна хочет уйти из зала, потому что не может вынести этой человеческой толчеи и одуряющего табачного дыма. Так, вероятно, подумали и другие: на нее как-то не обратили внимания. Она

расслабленным шагом прошла к столу и тихо, по-домашнему, спросила:

— Сказать-то можно мне, аль нет?

Дробишин даже встал от удивления, улыбнулся слезою и ласково, с почти-тельностью, пригласил ее рукою к столу.

— Пожалуйста, Капитоновна! Очень просим...

И победоносно, очень громко, выкрикнул на весь зал:

— Слово имеет наша уважаемая Капитоновна.

Все забеспокоились, зашептали, зашелестели и с любопытством подались вперед: Капитоновна никогда не выступала, и никто не слышал ее голоса на собраниях—она всегда сидела безгласно, робко, теряясь в массе работниц. Теперь же внезапный выход ее к столу — такой спокойный и истовый — поразил всех, и каждый из толпы застыл в ожидании и нетерпеливом стремлении услышать ее голос.

Капитоновна кротко поднялась на помост и стала рядом с тумбочкой, одетой в кумач. Она оглядела множество голов и лиц перед собою и будто испугалась в первый миг: у нее задрожало желтое лицо, и она отвернулась к столу. На нее смотрела Марья Власовна и кивала ей седой головой. А Дробишин приветливо ободрил ее:

— Ну, Капитоновна... Скажи свое слово... Пожалуйста!..

Капитоновна вздохнула, вытерла пальцами уголки рта и положила дряблую руку на грудь.

— Да ведь высказывать-то мне не вмоготу. По-своему я... как на сердце лежит... Уж не судите меня... Надо бы, милые, не от злобы, а по-родному... Горе да беду одинаково делить... от души друг другу помогать... Пряжа-то нехорошая... очень хилая... Машина-то горячет... задыхается... Молодые-то горячатся, опыта нет, а тут надо обращение, как с болящим дитем... Я вот Любашу-то знаю... у меня у самой дочка дорогая была... — У нее затрясся подбородок, и глаза слезно застыли. — Любаша-то... мучается... знаю я... и другие девушки тоже... даже пожилые — в тоске... Товарищ Дробишин — хороший чело-

век... и Сергеев — старик теплокровный... (Симаков и Мишурина заулыбались в перегадке, не утерпели и зашептались.) А только побольше бы ласки к человеку... ухо бы поближе к сердцу... Пряжа-то ведь не просто через машину идет, а через человека... Как бы мы вреда не сделали друг другу... Вот я о чем хотела...

Капитоновна замолкла, подумала, посмотрела на людей и так же спокойно и истово пошла обратно. Зашевелились бесчисленные головы и плечи, заволновался невнятный гул голосов. В разных местах засмеялись. Кто-то крикнул издали:

— Да ты о пряже-то сказала бы... как и что... О душе-то поученье — не суть важное...

Любаша слушала Капитоновну, и ей казалось, что только эта старушка понимает ее по-настоящему. Только потому, что Капитоновна мучается от неизбежного горя, любовь свою она с дочери перенесла на Любашу. Только она, Капитоновна, понимает невзгоду Любаши и всем сердцем страдает вместе с нею. Она, Капитоновна, знает что-то такое, чего еще не постигает Любаша, и мудрость ее питается многими годами ее трудовой жизни.

Капитоновна как будто разбередила всех, как будто ударила каждого по больному месту. Сразу несколько человек подняли руки и взволнованно потребовали слова.

Женщины входили на помост раздраженно. Они кричали во все горло, с надсадой, размахивали руками, и глаза у них были злые. Пряжа, пряжа... чего смотрит администрация... Разве из барахла можно сделать хорошую продукцию?.. Стараешься изо всех сил, рвешь душу, плачешь над машиной, а ни черта не выходит... Надо позаботиться, надо это безобразие ликвидировать... И каждая оканчивала тем, что надо, мол, и себя не щадить: вот — Любашина бригада... премированная... а оскандалилась на весь завод. Очень уж зарвались девчата... Каков бригадир — такова и бригада. Надо хорошенько ударить по мозгам и по рукам таких работничков... Такие «премированные вертушки» — позор для всего цеха...

Из рядов выкрикивали:

— Не только для цеха — для всего завода...

— Вот именно, товарищи... Мы-то любовались на них, слюни распускали, а они очки втирали... и вышел один обман... Вот и расхлебывайте кашу...

Мужчины выступали степенно, деловито, внушительно. Они строго посматривали на толпу и кричали: довольно валандаться с бракоделами,—надо взять их в крутой оборот. Надо бить их по карману и по лбу. Для бракоделов — только черная доска, и потом — домой к чертовой матери с завода. Нянчиться нечего: разрешите не баловаться, а выполнять план по линии высокого качества и производительности труда. Тут не в Любаше дело: Любаша и ее бригада только выявляют нашу разболтанность, гнилую дисциплину. Мы должны взять себя в железные руки, а для примера Любашу, как липового бригадира, пригвоздить к позорному столбу, чтобы другим неповадно было... Надо на ее личности и бригаде показать, как преступно работают люди...

Любаша обмелела. У нее закружилась голова, и все смешалось в туманном вихре. К помосту шел Модест. Он сунул бумажку Дробишину и опять отошел на старое место.

Старый рабочий, Семен Семеныч Купреев, маленький, горячий человек, с веселым лицом и жиденькой татарской бородачкой, подбежал к тумбочке, в восторге потер руки и беспричинно заулыбался. Казалось, что даже уши его смеялись от радости. Впрочем, никто никогда не видел его угрюмым, злым, негодующим, недовольным, точно каждый день и каждый час переживал он что-то новое, занятное, волнующее. Купреев на заводе был единственным золотокапельщиком высокой квалификации. Он работал здесь с незапамятных времен — лет сорок. Ни на голове, ни в бороде у него не было ни одного седого волоса, и, тощенький, поджарый, вертлявый, он казался очень моложавым. А когда удивлялись этой его живости и здоровью, он хвастливо кричал фистулой:

— А это от того, арбузики мои, что в жизнь меня волчком пустили и кну-

том подхлестывали... так я до сих пор кубарем гуляю.

Все в зале улыбались, пристально смотрели на Купреева и ждали, что сморозит этот словоохотливый говорун. Он весело оглядел все головы от края до края и крикнул бабьей скороговоркой:

— Вот как оно было, товарищи друзья: жила однава молода вдова — пряха-неряха, что ни нарядет, то под себя кладет. Ну, а оно, конечно, тлеет и гниет.

Весь зал гулко встряхнулся от смеха. Смеялись и в президиуме. Только Марья Власовна смотрела на Купреева из-под бровей, и седые усики ее сердито вздрагивали.

— И не однава молода вдова стан ставила и пряжу на новой заправляла. Крутит на навой—и хоть вой. Нитки-то — гнилые, ниченки — былые, а берда — зубастые. И у ней-то холст — и тонок, и толст, ни рядно, ни рогожа... Распустит она слюни, и плюнуть ей лень... не лежит сердце к труду. «Пропадай, говорит, все пропадом — спать пойду...» Вор—во двор и нос дерет, а на что у попа глаза завидующие, руки загребущие, да и тот рясу в зубы — и ревет анафему да злую алиую... Только поповский кобель не гнушался: подойдет, понюхает, ногу поднимет да гавкнет понуро: «дура!»

Все двести человек тряслись от хохота, отмахивались руками и кашляли от удущья. Взвизгивали женщины, стояли мужчины, казалось, что по всему залу носится ветер. Симаков и Мишурина смеялись с наслаждением, и видно было, что им приятно слушать Купреева. Дробишин хотя и старался сдерживаться, но рот его раздирался смехом, только обильная слеза заливала глаз и смачивала щеку до подбородка. Он поднялся с места и вытянул шею к Купрееву.

— Ты нам сказки не рассказывай, Семен Семеныч. Мы и без этого знаем, какой ты мастер на рассказах. Ты дело говори.

Семен Семеныч готовно рванулся к Дробишину и весь заиграл радостью:

— Да ведь я же на слова — не оратор. Мое дело всегда в руках гудело.

А сейчас я от моего глупого ума на предмет нашего положения премудрость высказал. Ты, товарищ Дробишин, поговорочкой поиграл: «Мы—не мы: ночевали у кумы». А моя была с мозги стирает пыль. Не мне поучать—пора кончать...

И он с этой скороговоркой шустро сбежал с помоста. Он развеселил всех: его благодарно провожали аплодисментами и долго искали глазами в толпе.

Любаша слышала, как смеялись девчата рядом с нею и за ее спиной, кто-то, задыхаясь от хохота, в восторге повторял позади:

— Прямо не в бровь, а в глаз... не в бровь, а в глаз... Вот пронзительный старичишка!.. В живую газету его надо... обязательно в живую газету...

Но Любаше было невмоготу: никогда еще не было ей так мучительно на душе, как в эти минуты. Все эти груды людей, туго и душно сбитые на скамьях, лавиной громоздились вокруг нее и давили ее невыносимо. Они не смотрели на нее, они забыли о ней, и она сама, незаметная здесь, как и все, чувствовала себя ушибленной, сброшенной под ноги этих людей, которые недавно носили ее на руках. Ей хотелось вскочить с места, выбежать вперед, влететь на помост и крикнуть злобно и гордо:

— Бараны чортовы! Вы рады затоптать человека в беде, а помочь ему — пороку нет. Знайте же, что я и без вас поднимусь на высокую гору, а потом буду плевать на вас с высоты.

Но эти мысли испугали ее самое: в них было что-то преступное и мстительное. Если бы услышал их Модест, он убил бы ее одним своим взглядом и, может быть, сказал бы ей с холодной угрозой:

— Мы — разные с тобой люди. Нам невозможно жить одной жизнью.

Но, милый Модест, как же она может иначе относиться к людям, которые стараются унижить ее достоинство, опозорить ее, смешать с грязью и не терпят того, чтобы она стала выше их хоть на один волосок. Ведь любить и уважать этих людей можно только тогда, когда они сами любят и уважают

друг друга, когда они искренно беспокоятся о неудачах товарищей и никогда не допускают их до несчастья. Она ослабела до изнеможения: каждую минуту ждала, что кто-нибудь вспомнит о ней и выкрикнет ее имя и потребует:

— А ну-ка, пускай сама Любаша окажется... чего она от людей прячется?

Она работала, как и все, — не хуже и не лучше. Она с своей бригадой делала брак — и все делали брак. Так же, как и она, все работницы жаловались на плохой материал, и в цеху вместе со всеми женщинами она злилась и ругала хозяйственников, и никто не осуждал ее за это — все переживали одну и ту же напасть и понимали друг друга. Как и все, она бегала к простильщикам и охалила их за скверные бобины, а те отругивались и охалили заведующего складом Кулакова. Раньше на таких вот собраниях она вместе с своими девчатами чувствовала себя легко, задорно, вольготно и первая выступала в прениях. С помоста, опираясь на красную тумбочку, она звонко и рьяно, без всякого смущения, кричала в густой засев голов и плеч, в упор сотен глаз свои горячие речи. Ей хлопали, смеялись и дружески играли с ней жестами и подбадривали разными условными знаками. А теперь... теперь она готова провалиться сквозь землю и трепещет от одной мысли, что ей не отвертеться от выступления. Что она может сказать в свое оправдание? Что она ответит Дробишину и этим людям, если они спросят о том, как она борется с браком?..

Она видела, как встала со стула Мишурина и, подойдя к Дробишину, шепнула ему что-то на ухо. Он подумал, поискал кого-то в толпе, остановил мокрый глаз на Любаше и отмахнулся от Мишуриной. Она тоже посмотрела на Любашу, сердито нахмурилась и села на прежнее место. У Любаше замерло сердце и помутилось в глазах. За ее спиной ехидно перешептывались девчата.

— Ты напрасно не выступаешь, Любаша... — шопот Варюшки был как будто серьезным и рассудительным, но Лю-

баша ясно услышала в нем тонкую издевку.

— Выступай, если охота... поддержи бригаду...

— Но ведь ты же бригадир-то... ты же отвечаешь за работу бригады... Имей в виду, если промолчишь, это поставят тебе в минус.

— Ну, если только — мне, так вам нечего беспокоиться...

— Bravo, bravo! примерный бригадир...

Любаша не слышала, как вызвали Модеста. Она увидела его уже тогда, когда он начал говорить. Стоял он спокойно, невозмутимо, но озабоченно и строго. Она обрадовалась и страшно взволновалась: вот сейчас он скажет такие веские и неотразимые слова, что все вздрогнут и новыми глазами посмотрят и на нее, и на все события, которые совершаются в цеху. Сам Дробишин с удивлением увидит дело иначе: эти умные и свежие слова Модеста откроют ему глаза, и он попрежнему взглянет на Любашу ласково и дружески-доверчиво.

И то, что услышала Любаша, ошеломило ее до потери сознания.

— Главная беда в том, товарищи женщины, что вы не желаете, не хотите бороться. Вы бессознательно объявили саботаж. А знаете, что это такое? Это, по-нашему, по-большевистски, называется преступлением. Правда, это слепое преступление — от косности и темноты, от того именно, что вы не поднялись до понимания вещей, как своего достоинства, не возвысились до любви, до обожания продуктов своего труда, как самого дорогого, самого прекрасного в нашей жизни. А любовь делает чудеса. Вот сумейте полюбить какой-нибудь автошнур или простую бобину, как своего ребенка... нет, как свою жизнь, как свою мечту... Что тогда получится? А то, что вы малое сделаете великим... Это трудно — согласен. Надо помучиться, пострадать, поплакать, — верно. А некоторые женщины выступали тут закоузло: не трогайте нас, мы — не причем, мы хотим покоя и безмятежности. Это — не нашего поля ягоды, это — бурьяны на нашем рабочем поле. За та-

ких работниц надо приняться, воспитать их надо — не словами, а пропустить через хорошую мельницу, чтобы сами кровно, с болью, в ранах сердца родились до сознания и чувства, что они — не наймитки, а творцы жизни. Тут называли и Любашу, мою жену. Я считаю, что ее, как пролетарку, имеющую высокую честь носить звание члена нашей партии, надо призвать к ответу. А если ответ ей будет не по силам, изгнать из партии и с завода, как вредный элемент. Для меня, как большевика, мое революционное дело дороже жены, дороже самого себя. А наша вещь, наша машина, наше социалистическое производство — это наша борьба, наша жизнь, наше оружие в войне за великое будущее. Надо одно: любить свое достояние, отдать за него душу и ненавидеть все, что гасит эту любовь, что мешает любить. Так я могу ненавидеть даже себя — все то, что живет во мне от проклятого прошлого.

Ему долго хлопали, и Любаша видела, как у многих рабочих и работниц горели глаза. А Клавка даже не утерпела и со свойственной ей откровенностью громко сказала:

— Вот так Модест... Молодец!.. Какой он замечательный!.. Ему бы вот быть секретарем парткома... Но все-таки, девчата, мы, кажется, будем сидеть и дальше на гнилой пряже... О пряже-то ни слова... замазали этот вопрос, халамоны...

V

Когда она шла по двору завода, ноги ее почему-то не находили твердой опоры или вдруг неожиданно спотыкались о камни и выпучины. Впереди и сзади группами шли работницы и рабочие и громко, раздраженно спорили о том, что было на собрании. Она шла одна, и никто не окликнул ее, как раньше. Модест исчез сейчас же после своего выступления и не подошел к ней. Может быть, он ушел за Надюшкой в детский сад? Ведь он не раз заходил туда, когда Любаша задерживалась на собраниях. Так, как говорил на собрании он, не может говорить муж — самый близкий человек... Это говорил чу-

жой, который ее не знает, не понимает, не чувствует ее страданий.

Надюшка была еще в детском саду и ждала ее в нервном беспокойстве. Она, как обычно, бросилась к ней с визгом радости и сразу же, влипая в нее, стала сквозь слезы упрекать ее:

— Чего не шла?.. чего?.. Мам?.. Я уж плакать хотела...

И когда Любаша шла с ней домой, прижимая ее к груди, не чувствовала обычного нежного и приятного успокоения и теплого прилива невыразимой радости от упругого, такого родного и трепетного тельца Надюшки.

— Ты любишь свою маму, Надюшка, да?

— Ага.

— А как ты ее жалеешь?

— А вот... мамочка моя!.. родненькая, миленькая!.. красивая!..

И Надюшка сжимала ручонками ее шею и целовала в губы, в глаза, щеки.

— А папку?

— Папка — сердитка... жужелица...

— А он любит мамку?

— Ну, да... только не жалеет, как я...

И Любаше стало грустно от этого лепета Надюшки и жалко себя: сейчас она — одна среди белых домиков поселка, под дымно-лиловым небом потухающего вечера. В этих домиках окна уже огнятся электричеством, людей почему-то нет на улице, и она слышит только свои шаги по траве, а трава в этот вечер седеет от пыли. Очень глухо, как далекий гром, грохочет трамвай, а где-то в переулках по-вечернему задумчиво играют на мандолине. Через дым заводских труб, из сиреневого тумана далее, из оранжевой зари печально вскрикивают паровозы на путях Курского вокзала. И в этой сиреневой горящей вышине, не поймешь где, струнно поет невидимый аэроплан. И такой одинокой и отверженной чувствовала себя Любаша в эту минуту, что хотелось опуститься на пыльную траву, сесть и заплакать, неутешно и молчаливо. Кроме Надюшки, которая прижималась к ней беспокойно и горячо, никого не было у нее, чтобы душевно вылить свою тоску и обиду. Надюшкино тельце — родное, свое неотрывное,

и оно похоже на ее, Любашино, сердце, которое тоже беспокойно и больно дышит под тельцем ребенка.

Модест не ждал ее у крыльца. Окна квартиры были черные и слепые. Это было необычно и жутко. Она даже остановилась перед ступеньками крыльца и бессильно откинула голову. Надюшка тоже была изумлена и тревожно спрашивала мать:

— А где же папка? Куда ушел папка?

— Он сейчас придет, Надюшка. Он — на заводе.

В окне квартиры Марьи Власовны ярко и колоче горела лампочка на шнуре. Марья Власовна, с серебряным блеском седых волос, угрюмо хлопотала над столом, и жирные голые руки ее быстро работали с посудой. Она шевелила губами, а дряблые отеки щек дрожали раздражением.

«Рассказывает, должно быть, старику о собрании... — думала Любаша с неприязнью: — перебивает косточки...»

Она вошла в коридорчик и воткнула ключ в замок, но ключ не пошел в скважину. Дверь была отперта. Она отворила ее и вошла в комнату. Было душно, пахло листьями оконных цветов и мыльным эфиром эмульсии.

— Модест!

— Да?

— Почему не зашел за ребенком?

— Ты же сама за ним ходишь. За чем же мне вмешиваться в твои дела?

В голосе Модеста была насмешка и вражда. Любаша щелкнула выключателем, и комната сразу вспыхнула ярким светом. Модест сидел у окна и курил. Очевидно, как он вошел в комнату, так сразу и сел к окну — забыл раздеться и умыться. На Любашу он не взглянул — сидел неподвижно и тряс коленкой, облокотившись на подоконник. Любаша вдруг ощутила нестерпимую ненависть к нему до ожога в сердце. Она даже задохнулась от отвращения к этому человеку, который впервые давил ее своим присутствием — своим синим лицом, вонью одежды и этой смрадной папироской. Это был эгоист, который смотрел на нее, как на женщину, выбранную им для услуг и для собственного удовольствия.

— Почему не поставил чайника на примус?

Модест не шевелился и молчал.

— Ты знаешь, что у нас нет хлеба. Сходи в булочную.

— Можешь сходить сама. Я этими делами не занимаюсь.

Любаша опустила Надюшку на пол и сразу же забыла о ней. Она не заметила, как девочка застыла на месте, испуганно вглядываясь в отца.

— Ага, — злобно крикнула Любаша, — значит, я должна за тобой ухаживать, а твое дело — кушать и наслаждаться?

Он медленно повернул к ней свое синее лицо и осмотрел ее с головы до ног.

— Ты — глупа, как пробка.

И встал, ткнув папирской в подоконник.

— Подоконник тебе — не пепельница. Я не обязана подбирать за тобою сор.

Он оскалил зубы, распахнул окно и выбросил окурок на улицу. Некоторое время он смотрел в окно, потом вздохнул и быстро вышел из комнаты в кухню. Любаша прислушалась к его возне за дверью. Сердце ее билось глухо, душила тоска. Захлестала вода в раковине водопровода. Модест зафыркал и заплескался с удовольствием. Любаша сморщилась от боли: ей было невыносимо это противное фырканье мужа.

Она переоделась, прошла в кухню и зажгла примус. Модест стоял у окна и вытирался полотенцем. Он уже успел переодеться. Рабочий костюм висел на стене, а Модест стоял в одних подштанниках, босой. Любаша усмехнулась: пол под раковиной он вытер тряпкой — сам поухаживал за собой. Этого раньше с ним никогда не случалось. Кожа у него тускло светилась на огне, и тело было сильным, мускулистое, здоровое — ни одного пупырышка... Вдоль спины, между лопатками, спускался упругий желобок. И это его здоровое тело, теплое на расстоянии, было родным и желанным. Ей хотелось подойти к Модесту, обхватить его голого и прижаться щекою к его спине. Но в этот момент она вспомнила о Надюшке. Она забыла о

девочке — забыла впервые, и это испугало ее. Она бросилась в комнату.

— Надюша! детка!

Надюшка возилась с кошкой и взглянула на Любашу исподлобья, с любопытством и робкой радостью.

— А киска целовается, мам...

Модест вошел неслышно и выхватил Надюшку из-под носа Любаша.

— Ну, что, жужелица? Хочешь полетать?

— Ты — жужелица. И колючка. Губы с иголками.

И засмеялась от щекотки. Любаша обернулась и увидела, как Модест прижимал к себе Надюшку и целовал ее в пухлые щечки. Она отбивалась от него и хохотала счастливо. Любаша бессознательно улыбалась. Модест повернулся к ней вместе с Надюшкой, глаза его блестели прозрачно, просто, откровенно.

— Ну, давай, Надек, обнимем вместе мамку, чтобы не сердилась.

Они подошли очень близко к Любаше, и Модест обхватил ее одной рукой, а Надюшка обеими. В глазах Модеста Любаша встретила смущенный вопрос. Она бессильно положила голову на волосатую грудь Модеста и услышала его сердце. И точно горячая волна прошла в груди и унесла с собою и отраву, и обиду, и злобу. Она захлебнулась слезами и всем телом припала к Модесту. А Модест гладил ее по плечам и прижимал к себе.

— Ну, ну... глупыха!.. Не так страшен чорт... Не падай духом... Не только нервами, но и мозгами жить надо...

Потом, когда приоделся и поюнул, он подхватил Любашу и завертел ее по комнате, насвистывая польку.

— Ну, Любаха, давай карточки: побегу за хлебом.

Она весело рассердилась и шлепнула его по колючей щеке.

— Да ну тебя! Нечего тебе трепаться. Я сама побегу. Лучше повозись с Надюшкой.

— Ну, ну! жена! Кто я тебе? Муж? Ну, и трепещи, несчастная. Надюшка охалит меня жужелицей. Не желаю с ней оставаться.

Надюшка ликовала и повизгивала:

— Папка — жужелица. Папка — жужелица... Не пушу тебя, жужелица...

Модест долго дурачился с Любашей и Надюшкой, повалил Любашу на кровать, вырвал у ней карточки и выбежал на улицу.

VI

После полочки, в выходной день, Любаша с утра поехала в центр, в Мосгор, — за покупками. Она приоделась получше и долго осматривала себя в зеркало. В черной юбочке, в батистовой блузке с брошью из малахита на груди (купил Модест в магазине «Самоцветы»), в самодельной панамочке, припудренная, Любаша показалась себе очень свеженькой и миловидной. В туфлях на высоких каблучках, она, оглядываясь на зеркало, прошла от него вдоль комнаты и осмотрела свою фигуру сзади: шла она зыбко и легко, подевичьи, и фигура ей очень понравилась. Платье сидело на ней ловко, в обтяжку: талия и бедра были ощутимы, как у девушки, и плечи были легки и подвижны под блузкой и просвечивали розовой дымкой. Недовольна она была только панамкой — слишком бедно и грубовато. Лучше было бы, если бы шелковый вязаный берет с искрой.

У остановки трамвая толпились рабочие и работницы с своего и других заводов. Они задерживали на ней взгляды, и Любаша видела, что мужчины любуются ею, а один молодой инженер в ценсне (она была уверена, что это был инженер) все время следил за нею с удовольствием. Ей было и неловко, и приятно.

— Ишь ты, как расфуфырилась, ударница!.. В город, что ли, норовишки держишь?

Любаша оглянулась. Около нее стоял брат Маньки — Макарка. Он скалил желтые зубы, посаженные вкривь и вкось, шурил очень маленькие рыжие глазки и нюхал ее мышинным носиком. Одет он был шикарно: новый пиджак, новые брюки с рубчиком, белый воротничок с галстуком. Галстук сидел криво и сползал вниз. И кепка тоже была новая. Ему было лет тридцать, но он до

сих пор с гармонией уходил по ночам на улицу. Любаша очень часто слышала, как Вера, жена его, визгливо рыдала наверху.

Любаша презрительно надула губы и грубо оборвала его:

— Вот захотела пофорсить и расфуфырилась. Я же — в своем государстве и полноправная хозяйка. А ты вот хоть бы научился галстук завязывать: как веревка на козе.

И отвернулась от него — прошла в толпу, чтобы скрыться от Макарки, который был отвратен ей давно и от которого всегда дурно пахло. Когда подошел трамвай, она бросилась в давку, к площадке. Сначала ее затолкали и назад, и вперед, а потом подбросили на подножку. Она успела уцепиться за вертикальную ручку, и ее сильно сдавили сзади. Вагон донесся с грохотом и пылью, и ей было немножко страшно: вот-вот сорвется эта рыхлая груда людей и на всем ходу вагона ринется на дорогу, кувыркаясь и ломая кости. Но мысль эта мелькнула мгновенно: она часто так ездила на трамвае и в город, и из города — привыкла. Кто-то прижал ее сзади и подтолкнул под бедро. Она потеряла опору под ногами и испугалась.

— Ну-ка, нажми, ребята, покрепче! Действуй под лозунгом: даешь пар высшего давления...

Этот дурацкий смешливый голос заставил вздрогнуть ее от гадливости. Как он смеет мять ее своими погаными руками!.. Она надавила плечом на людей, которые стояли на площадке, и ей удалось протиснуться в двери. Дурной запах преследовал ее и в вагоне. Сдерживая дыхание, она оглянулась. Макарка стоял на площадке и подмигивал Любаше из-за плеча рыжебородого сезонника.

— Хоть в трамвае-то, Любаша, не ударь лицом в грязь. Докажи, что ты в этой толкучке не сдашь, как в обмотке.

Любаша оледенела от отвращения к этому развязному дураку и молча стала пробираться вперед, изнемогая от напряжения. Духоты и обычных трамвайных оскорблений она уже не замечала. Только один раз она, раскосая от зло-

бы, ответила на слова нервной мокрогоубой женщины в измятой грязной шляпе:

— Дуру спрячьте под свою старую шляпу.

— При чем тут шляпа? Я вам сказала не «дура», а «фигура», потому что вы недуром прете и тычете кулаками.

— А я вам в ответ говорю: дура, потому, что по расценке и то, и другое — одинаково.

Кругом засмеялись, некоторые огрызнулись, а Любаша продолжала упорно пробираться вперед.

На Рогожской заставе народ схлынул немного, и Любашу притиснули к самым дверям. Вышли немного и на Андроньевской площади. Дышать стало свободнее. Дурной запах совсем исчез: должно быть, Макарка остался по обыкновению на задней площадке или сваливался на ораву людей, которые лезли в вагон на остановке. Почему-то он любил вываливаться на толпу с задней площадки и барахтаться в разъяренной толчее.

На Лубянской площади, у Политехнического музея, она вышла из вагона, и ей стало хорошо и легко на душе. Она вздохнула всей грудью и взглянула на небо. Оно было чистое, глубокое в синеве, мягкое и теплое. Тяжелая громада Политехнического музея пахла пылью и подвалами. У Проломных ворот она перешла мостовую и пошла по тротуару к Театральному проезду. И, хотя люди шли по-дурацки, как слепые, прямо на нее, она ловко увертывалась или толкала их в бок с озорной радостью. Люди не обижались — привыкли к уличному беспорядку. Только однажды ее облаяли трое бритых мужчин с портфелями. Они стояли торчком прямо на тротуаре и оживленно спорили, размахивая руками. Любаша сразбегу врезалась в них и растолкала в разные стороны.

— Что это за безобразие! Ослепла ты, что ли? Чего прешь прямо на людей?

Она оглянулась и с наслаждением набросилась на них:

— Культурные люди знают, что на дороге стоят только дураки или вахлаки. Вы даже на улице не знаете, как держать себя. Это простительно деревен-

щине, а вы изображаете из себя интеллигенцию.

— Ну, ну, проходи по добру, по здорovu... — угрюмо мычали ей вслед, но с места своего не сошли.

Любаша заметила, что их толкнули еще раза два и с той, и с другой стороны, и засмеялась.

— Ведь вот упрямые идиоты!..

Ей было приятно и радостно в городе. Она любила Москву с ее уличной суетой, с разноцветными толпами, с вереницами режущих автомобилей, автобусов, с величавыми поездами трамваев. Приятно и легко было ходить по асфальтовым тротуарам, пересекать гудронные мостовые и смотреть на милиционеров в касках, стройных, важных, красиво застывших на перекрестках и театрально помахивающих руками в белых перчатках. Любила она и эти строительные леса на огромных зданиях новых домов и удивлялась: как быстро и колоссально вырастали незнакомые дворцы в целый квартал, как головокруглительно вздымались они к облакам!.. И как-то смешно торчали одинокие колокольни, которые раньше гордо белели и зеленели над Москвой: эти колокольни теперь появились, поблекли, стали маленькими и глупо-ненужными.

В Мосторге она с удовольствием путалась в толпах, пробиралась к лифту и чувствовала, что она плавает в волнах невидимой музыки, в рокоте голосов и в шорохе бесчисленных шагов. Она смотрела на массы товаров, которые возбуждали ее своим разнообразием, и ей мерещилось, что все эти разноцветные товары летают, кружатся в радужных вихрях, ослепляя глаза сверкающим блеском, играя крыльями. Сияли луны электрических ламп, что-то опьяняющее было в этом трепете и вихрях богатого нагромождения нарядных вещей и рождало желание купаться в них и обладать ими.

Любаша поднялась на самый верхний этаж под далекие разливы музыки и необъятный гул голосов. Там она легко, как девочка, пробегала из одного зала в другой, потом спустилась этажом ниже и опять побежала из зала в зал, ища что-то важное и необыкновенное. Вспо-

мнила, что нужно купить шелковый берет, и побежала искать головные уборы. Бегая по залам и этажам, она вдруг закружилась в ароматном вихре цветистой галантереи. Она долго и нетерпеливо пробиралась к прилавку, немного жульничала в очереди за ближайшее место и занимала одновременно очередь в нескольких хвостах. Когда, наконец, она коснулась прилавка и очутилась лицом к лицу с желтоволосой и сероглазой девушкой, недавно завитой в парикмахерской, с длинными пальцами и полированными яркорозовыми ногтями, Любаши стало почему-то неприятно: она не выносила этих розовых ногтей — что-то в них было противное и грязное в фальшивой чистоплотности. Она сердито попросила показать ей верхние рубашки. Рассматривая их, она требовала еще: какой-то бес толкал ее помучить эту манжурную девушку и заставить ее разозлиться. Девушка с удивлением смотрела на нее, послушно раскладывала перед нею рубахи и не злилась.

Любаши шурилась на продавщицу и раздирала рот улыбкой. У девушки обно дрогнули глаза, и она, сдерживая себя, взглянула поверх ее головы и холодно сказала:

— Если вам нужна рубаха, выбирайте и платите деньги. Здесь, кроме вас, сотни людей. Не задерживайте, пожалуйста.

Любаши удовлетворенно ткнула пальцем в голубую рубаху.

— Вот эту, пожалуйста. И шелковый галстук.

Позади какой-то нервный человек волновался и дышал ей в шею раздраженно и горячо.

— Скорее поворачивайтесь, гражданка. Это вам не Третьяковская галерея.

— Поспеете. Это вам — не трамвай. За мои трудовые деньги я могу выбирать, что мне угодно и сколько угодно.

Человек захлебнулся и засопел носом.

Со свертком в руках она помчалась по залам и этажам и насилиу нашла отдел дамских шляп. Здесь тоже была толчея из женщин разных пород и социального положения: больше было жеманных модниц, с густо накрашенными губами, с фальшивыми бровями тонкой дугой, — гордых осанкой или вертлявых кокеток.

Были и скромные женщины, — должно быть, фабричные работницы. Любаши ловила глазами пальцы модниц и злобно замечала: у всех у них — полированные, яркорозовые ногти.

Она обошла все витрины и полки, ища беретик, но нигде его не заметила. Из-за плеч покупательниц она крикнула продавщице, пожилой женщине, с перетомленным лицом, с гладко причесанными полуседыми волосами:

— Скажите, пожалуйста, товарищ, есть ли шелковые беретики?

Женщина улыбнулась ей и кивнула головой: есть.

Любаши пробралась к прилавку, и женщина положила перед ней несколько беретов: белых, красных и один зеленый.

— Из зеленых — последний, гражданка... Возьмите его: очень подойдет к вашим волосам и лицу.

Берет искрился в глазах и скрипел шелком под пальцами. У Любаши даже сердце встрепенулось от радости и восторга — так он ей понравился. Как драгоценность, она прижимала его к груди и бросилась к выходу почти бегом. Задержалась она только внизу, почти у входа: перед ней пылали красками игрушки на полках. Да! ведь надо купить что-то Надюшке. Купила она большой мяч и рыжего мишку.

Когда она у кассы рылась в сумочке, она с ужасом увидела, что денег у ней хватит только на эти игрушки. Дома остались гроши. Она уплатила по чеку и, когда шла обратно за получением игрушек, впервые почувствовала знакомую нудную боль в сердце и тяжелые ноги. Мимо нее прошел Макарка и оскалил грязные зубы. Он ткнул ее в бок и вскрикнул от смеха.

— Ишь, какая богатая! сколько добра-то накупила!.. Иль опять премию получила за ударное выполнение?.. А я, дурак, поверил, что твоя бригада ставит рекорды по выпуску брака...

Она не успела отхлестать его ответом: он исчез в стремительных толпах. Его ехидные шпильки впивались в душу и отравляли ядом. Сейчас он даже казался ей страшным.

Любаши шла по Кузнецкому мосту, вверх, к улице Дзержинского, и, как сле-

лая, путалась в потоке людей, натываясь на встречных. Был момент, когда она забыла себя и не знала, куда и зачем идет: почему именно идет по этой улице и что ей нужно на улице Дзержинского? Она приходила в себя, останавливалась и отходила к витринам магазинов. Как много красивых книг за окном! «Академия». Гюго — «Отверженные». Какая плотная и добротная книга! Она никогда не читала «Отверженных». Что-то звучит близкое в этом слове — «Отверженные»... Она ведь тоже сейчас — отверженная... Купить? Но ведь у ней нет денег, а книга, должно быть, стоит дорого... А вон еще такие же толстые книги... Вот книги наших живых писателей — свеженькие, в ярких рубашках... Кое-что она уже читала дома — брала из передвижки... Почему наши писатели не пишут о таких вот женщинах, как она, — о ее тоске, о ее болях и страданиях? В их книгах много крику и восторгов насчет достижений, но люди с их муками, с душою, дрожащей от слез и обид, с беспокойством и отчаянием в сердце, — люди, которым дорого обходятся эти достижения всей страны и даже одного завода, не чувствуются, точно вещи и машины дороже их, точно они становятся на место машин и заводов, а вещи и заводы — на место людей. И в этих книгах Любаша находила что-то общее с словами Дробышина: «Ты себя сбережешь, о себе позаботишься, а вот вещь нам сейчас дороже тебя... Надо уметь вещь ценить не ниже своей особы»...

Сегодня они с Модестом опять радостны и слиты в любви, а завтра, может быть, эта любовь и хорошая радость превратится в ненависть, и они уже потеряют друг друга навсегда. Да, даже любовь их непрочна — держится на паутине. В чем же дело? Как же быть дальше? Для нее простая пряжа дурного качества превращается в удавку. А руководы говорят: чтобы победить стихию, чтобы быть хозяйкой пряжи и машины, нужно сделать их частью своей души. Надо, чтобы машина была нашей мыслью, а пряжа — нервами. Почему именно она должна расплачиваться за других? Почему дур-

ная работа текстильщиц падает на нее, как преступление? Почему она именно должна отвечать за их несчастный труд? Ее несчастья и позор идут от этих неизвестных ей женщин, которые работают где-то на другом конце Москвы и которых она, может быть, сейчас встречала в Мосторге и чувствовала теплоту их плеч. Но ведь и те шнуры, которые выпускает из машин ее бригада, сейчас приносят страдания такой же работнице как она сама, где-нибудь на Электрозаводе, и эта работница так же мучительно переживает тоску, как и она. И Любаша впервые почувствовала какую-то правду, которую она не могла еще оформить, назвать нужным и четким словом. Надо это продумать, узнать, поговорить с Модестом, с девчатами, с Марьей Власовой...

VII

Вечером они с Модестом и Надюшкой ходили в кино. Модест был в новой рубашке и в золотом галстуке, гладко выбритый, в хорошем костюме. Она надевала новый зеленый берет, и, когда смотрелась в зеркало, Модест улыбался ей из зеркальной глубины, любуясь ею, красивой и новой в этом берете. Лицо ее посвежело, и глаза почему-то стали голубыми и чистыми, как у молодой девушки. Надюшка целовала мишку и ласкала его, как ребеночка. Любаша виновато и тревожно сказала Модесту, что она истратила почти все деньги в Мосторге. Сейчас это ее мучает больше всего, но она не могла отказать себе в удовольствии купить Модесту хорошую рубашку, а себе — беретик. Пусть она истратила большую часть его денег, но она возвратит ему долг, потому что она только желала сделать ему подарок, приобретенный на свои трудовые денежки. Он засмеялся и обнял ее.

— У нас, Любашенька, нет твоего и моего: у нас только — наше, общее. И ты можешь покупать, что тебе угодно. Ты же — не мотовка, и знаешь цену вещам... Ведь вещи, Любок, это — мы.

Она с изумлением взглянула на него и в раздумьи пропела в тон ему:

— Вещи, это—мы... вещи, это—мы...

— А тебе здорово идет этот берет, Люба. В нем ты — будто та девчонка, которая еще комсомолкой когда-то крутила со мною любовь...

В фойе кино кишели толпы народу. Было душно, пыльно, пахло потом и плохими духами. Рабочая молодежь — парни, девушки — по случаю выходного дня нарядились с шиком: парни — в галстуках или в рубашках с открытой грудью, девчата — в белых и цветных платьях. Любаша с Модестом стали в стороне, у стены, и смотрели на говорливую толпу, которая плыла перед ними двумя встречными потоками. Молодежь была весело возбуждена: девушки кокетничали, щебетали тоненькими голосами и похотывали. Парни заглядывали им в игривые блестящие глаза, неестественно ломались и старались казаться выше своего роста. Любаша заметила, что такого берета, как у ней, не было ни у кого: беретов мелькало много, но все они были или бумажные, или гарусные. Она видела, как многие с любопытством останавливали на ней глаза, и ей было приятно, что она обращает на себя внимание щеголих.

Заиграл джаз, и толпа как будто вздрогнула и забеспокоилась. Рычанье, писк, мычанье, грохот, пьяное бляенье какого-то музыканта, хрюканье свиней, — все эти оглушительные, ералашные звуки покрыли голоса и смех, и толпы показались вдруг немыми и пьяными. Модест нетерпеливо махнул рукою и сморщился, точно у него было кисло во рту.

— Выносить не могу эту идиотскую музыку. Не то зверинец какой-то, не то гвалт сумасшедших. Пойду, покурую.

И он торопливо скрылся в толпе.

Сейчас же после его ухода мимо Любаши прошла Манька Речкина и, остренько осклавив зубы, впилась злопаметными глазами в берет Любаши. Шла она с незнакомой девчухой, сильно косой, с каштановыми, гладко причесанными, точно склеенными, волосами. Обе были в одинаковых ситцевых платьях, заляпанных розовыми цветами. И подпоясаны были одинаковыми красными ремешками. Манька раза два оборачи-

валась на беретик Любаши и что-то оживленно шептала подруге. От этой встречи Любаше стало не по себе. Ей уже не хотелось сеанса: все стало противно и скучно. Если бы не купленные билеты, она немедленно нашла бы Модеста и утащила его домой. Надюшка послушно и смиренно стояла около нее с мишкой в руках, терлась о ее колено и очарованно смотрела на музыкантов, которые сидели на высокой эстраде. Только один раз она потеряла ее за юбку и звонко крикнула:

— Мам, а зачем они в чайники играют?

Любаша бессознательно взглянула на оркестр и засмеялась: действительно, у некоторых музыкантов в руках были инструменты, которые были очень похожи на никелированные чайники. Засмеялись рядом две пожилые женщины, похожие на учительниц, и посмотрели на Надюшку с ласковым любопытством.

Опять прошла мимо Манька и опять остренько поглядела на зеленый берет Любаши, но лицо усмехалось уже загадочно и торжествующе. Подруга ее взглянула на Любашу брезгливо и враждебно: один ее глаз колот Любашу, а другой уползал к переносице.

— Мам, а где у них лягушки кричат? Покажи. В этих чайниках, да?

Рядом опять засмеялись женщины, похожие на учительниц. Одна из них потрепала за плечо Надюшку и нежно сказала:

— Какая острая девочка!.. Тут глядишь и не думаешь: в голову не придет этот самый чайник, а она вот заметила... И насчет лягушек — верно.

Другая, с грустными глазами, задумчиво улыбнулась.

— У вас она — одна?

И, не ожидая ответа, вздохнула и пропела, не угашая улыбки:

— А у меня ни один ребенок не выжил: все умирали, как только начинали ходить.

Любаша тоже улыбнулась, заражаясь их улыбками.

— Что же вы не хранили их?

— Ну, как не хранила! Пушинки не давала упасть, а вот...

Глаза ее заискрились слезами. Эта

женщина не понравилась Любаше: вероятно, какая-нибудь инженерша, должно быть, копошилась над детьми, как квочка, и не давала коснуться до них струе свежего воздуха: ах, сквозняк! ах, ненастье! ах, слишком сильное солнце!.. Она грубовато ответила:

— Вот поэтому они и умирали у вас. У нас, у рабочих, это проще: вот она, моя Надька, сколько раз разбивалась до крови... Бывало, уползет, и не знаешь, где найти... Сама боролась за жизнь... Женщина прустно усмеянулась и покосилась на нее.

— Да ведь я тоже не какая-нибудь... просто — текстильщица...

Любашу почему-то поразили эти полные достоинства слова женщины: в первое мгновение она даже растерялась и покраснела. Погом вдруг почувствовала какое-то беспокойство, точно эту женщину она встречала где-то, и эта встреча оставила в памяти неприятный осадок.

— Ах, текстильщица... а с виду и не похожа...

— Ну, теперь, кажется, и мы научились ходить по-человечески. Мы же ведь с тобой — господствующий класс... — пошутила она, и это ее внезапное обращение на «ты» было неприятно и в то же время льстило Любаше.

— Ну, положим... Сплошь и рядом — такие растрепы, что зло берет... без вшей и прязи жить не могут...

Другая женщина заботливо поправила на пруди блузку. Волосы ее под вязаной шляпой были острижены под польку. У ней заиграли тонкие морщинки у глаз и переносья, и от этого лицо ее, уже поблекшее, стало привлекательным.

— Да ведь, родная моя, о наших временах судят не по грязи и вшам, не по растрепам, а по сознательности и активности. Сравни-ка тебя с этой растрепой, так ты за оскорбление примешь..

— Ясное дело! — перебила ее текстильщица. — Вот ты тоже работница, а ведь разговор-то у тебя культурный, и одеваешься ты не хуже интеллигентки. И беретик вот выбрала по своему вкусу. Да и литературу читаешь, ко-

нечно... Ведь так? Ведь и комсомолкой была?

Любаша почему-то опять покраснела.

— Да. Уж три года как член партии.

— Ну, вот... — удовлетворенно улыбнулась текстильщица, но глаза ее были печальны.

— Все это — хорошо... — встрепенулась Любаша. — Только почему вы снабжаете нас бракованой пряжей? Ведь у нас в обмотке сейчас — целая катастрофа...

Любаша хотела сказать о себе, о своей бригаде, о том, что сейчас она переживает такие дни, каких никогда не переживала, что ей, может быть, придется еще пережить чорт знает что... Но она сдержалась: не захотела жаловаться из самолюбия.

— Да ведь я, дорогая, стою на ткацком... Ведь твоя блузка-то уж наверное — дело моих рук.

— Насчет этой пряжи скажу тебе я... — деловито подхватила другая.

— Да, да, верно... это — по ее части...

— Я понимаю, в чем дело. И мы мучаемся, как проклятые... Такой хлопок, такой материал, что... — она безнадежно и гневно махнула рукой. — Это нужно хлопковые организации треть...

Любаша уже не сдерживалась: в этих женщинах она почувствовала родных и близких людей. Что-то растаяло в сердце и обнажилось, и ей неудержимо захотелось сказать им о своих страданиях, о том, как больно и обидно ей было за этот ряд дней и как она чувствует себя сейчас глубоко одинокой. У ней дрогнули губы, и она срывающимся голосом торопливо промолвила:

— Вы, товарищи, не знаете, чего это мне стоит... Премированная бригада... а сейчас затоптали в грязь...

В этот момент задребезжал звонок, и публика хлынула к дверям. Внезапно вынырнул из бурлящей толпы Модест и подхватил на руки Надюшку.

— Ну, пошли...

Любаша хотела сказать что-то еще этим женщинам, сказать важное и горячее, но женщин уже не было около нее.

(Окончание следует)

Апология Риона

Поэма

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ

1

Сегодня вновь твои верховья вижу я,
Где имя Фазиса тебе недаром дали,
Где рдеет блестками форелей чешуя,
И, детских слез нежней и чище,
мчишься в дали.

Пью горстью. Быстрина — мягка, как
молоко,
Когда, вспененную, ее теснины
вымчат.

На темном дне твоём валун мерцает,
дымчат,
И галька бликами играет далеко.

2

То попадаешь ты под золотистый луч,
То омрачаешься во тьме глухих
расселин,
То со стремнин летишь, и пенист, и
кипуч,
То пробираешься путем, что вечно
зелен...

Я видел твой мятеж, речная глубина,
И потому двойным здесь пользуюсь
созвучьем:

То нежащим, как шелк, то жестким
и колючим,
Как дыбом вставшая щетина кабана.

3

Случилось это так. Оранжевый недуг,
Больные янтари весь мир озолочали,
И дни за днями шли, как с другом
верный друг, —

Скорбь увядания, безмолвие печали...
Был дол последнею улыбкой озарен,
Был в обмороке лес, и горы без
сознания,

И грезилось тебе старинное сказанье,
Руно волшебное, Медея и Язон.

4

И, прерывая твой передрасветный
сон,
Шли туры медленно и тяжело к
водопою,
И, треугольником упершись в небо-
склон,
Отбрасывалась тень далекая горою.
А по ночам вставал на небе лунный
лук:
То бледноликая Диана захотела
Охотой изнурить бестрепетное тело,
И сѣаи гончей лай, казалось, ловит
слух...

5

Но сорвана парча лазурная с небес,—
В лохмотья войлока вся высота одета,
Как под гигантскою ступой, весь мир
исчез,

С угрюмым карканьем взметнулся
ворон где-то;
Помчались облака на черный карна-
вал,

Блаженно ахнула еловым бором
Глола,

И буря небеса громами расколола,
И молнии венец тебя короновал.

6

Ошеломленная, спустилась книзу
высь,

И закачались дубов могучих ветки,
И капли крупные на землю полились
Несчетным выводком чудовищной
наседки.

Потоки шумные, щетиной землю
взрыв,

Вмиг переполнили ложбину за
ложбиной,

И там, где ты зимой задумчиво
 плескал,
 Как дремлющий фиорд, не внемля
 синим зовам,
 Где волны расстилал ты платом
 бирюзовым, —
 Теперь штурмуешь ты ряды гранит-
 ных скал.

14

Но с горных Велиет, чудовищный
 Дракон,
 До слуха твоего опасный свист
 донесся,
 И, дерзновеннейший, насквозь ты
 был пронзен
 Не знавшим промаха копьем победо-
 носца.
 И тело серое твое едва прошло
 Меж мостовых быков, с изогнутой
 спиною,
 Но удержался мост, не дрогнув над
 тобою, —
 На мчащемся коне гранитное седло.

15

К оврагам, полным вод, Крихула
 шлет посла,
 Чтобы потоками дома крушили яро,
 И дэвов гром ее немолчного русла
 Пронзает ужасом, как песнь
 Андуркапара.
 Лев раненый, упал в твои объятья
 Аск,
 И Рицеула с гор летит к тебе, как
 кречет,
 И верная Лекнар желаньям не перечит
 И открывает грудь зеленую — для
 ласк.

16

Чтоб одарить тебя всей влагой
 Накерал,
 Торопится Шаор подземною дорогой:
 Ты скалы Саирме презрением
 покарал.
 Вновь преисполнен ты теперь красою
 строгой.
 Меквена... Кутаис... Повержены враги.
 С рычаньем Белый мост ты облизал,
 незванный,

И по трепещущим предместьям
 Балахвана
 Распространил свои широкие круги.

17

В борьбе с равниною твой вал не
 устоит...
 Грозят тебе разлив и мелководья
 кара...
 Но облачный удой сливает Нигоит,
 И вновь ручьи бегут отрогами
 Зекара,
 И влагу красная Цитела сберегла,
 А Имеретия молитву сотворила,
 Когда владычица подземных руд,
 Квирила,
 В лицо плеснула ей, глумлива и
 смугла.

18

Вот встреча братская: несется
 Цхеницхал,
 Вз'ерошенный, волной расходится
 неровно,
 И ею заново поля перепахал,
 И по теченью мчит стволы, дома и
 бревна.
 Как бледный труп, несет Мегрелию
 вода,
 Как свана мертвого с мешком из
 козьей шкуры.
 И ни Абаш уже не нужен, ни Техура,
 И Поти низкому грозит теперь беда.

19

Но, видя гавани желанную дугу,
 Иными чувствами ты наконец про-
 никся...
 Ты разметал баржи и шхуны на бегу.
 Но чопорный корабль, пришедший из
 Кадикса,
 Ты шлешь в Испанию обратно, как
 посла,
 К реке задумчивой и тихой, Гвадиане,
 Чтобы, как рыцарю, за славные
 деянья
 Она престол тебе и сердце отдала.

Перевел с грузинского
 БОРИС БРИК.

Петр Первый

Пьеса в 4 действиях, 12 картинах

Вторая редакция

АЛ. ТОЛСТОЙ

Предполагая возобновить в этом году постановку «Петра I», Второй Художественный театр предложил мне посмотреть пьесу. Она была написана до обоих романов о Петре, — в год начала первой пятилетки.

Стиль и манера этой пьесы не соответствовали моим теперешним взглядам на историче-

скую пьесу. Исправлять в ней было нечего, — пришлось написать пьесу заново, заимствовав из старой некоторые сюжетные положения, дополнив некоторыми положениями из обеих частей романа.

Ал. ТОЛСТОЙ.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПЕТР I
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА.
ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ
МОНС, ВИЛЛИМ ИВАНОВИЧ, — личный секретарь Екатерины.
АНИСЬЯ ТОЛСТАЯ.
МЕНШИКОВ, АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
ШЕРЕМЕТЕВ, БОРИС ПЕТРОВИЧ, — фельдмаршал.
ЯГУЖИНСКИЙ.
ШАФИРОВ, ПЕТР ПАВЛОВИЧ, — вице-канцлер
ТОЛСТОЙ, ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, — начальник тайной канцелярии
АПРАКСИН, ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, — адмирал.
РОМОДАНОВСКИЙ — князь-кесарь.
БУТУРЛИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, — князь-папа.
ВАСИЛИЙ ПОСПЕЛОВ — денщик Петра.
АФАНАСИЙ ВЯЗЕМСКИЙ.
КИКИН
ЕВАРЛАКОВ — под'ячий.
ПОП БИТКА.

БУЙНОСОВ, князь, ИВАН ИВАНОВИЧ.
АВДОТЬЯ — его жена.
ОЛЬГА
АНТОНИДА } его дети.
МИШКА }
ВОРОБЕЙ — крестьянин.
ЛОСКУТ — беглый крестьянин.
ЖЕЛОВ — кузнец
АЛАДУШКИН — мастер, плотник.
ЖИГУЛИН
РЕВЯКИН } купцы
СВЕШНИКОВ }
ШУСТОВ }
ШОРИН }
ПЕЛЬТЕНБУРГ — голландский шкипер.
ШМИТГОФ — мастер.
ПРОДАВЕЦ
ИЕРОМОНАХ.
ВАРЛААМ — юридивый.
СТРЕЛЕЦ.
КАРЛ XII.
МАЗЕПА
КОШЕВОЙ
ШВЕДСКИЙ СОЛДАТ.
БАГОВУТ — шведский офицер.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Пролог

Ильинка. Бревенчатые дома, лавки, навесы, циркульни. Покосившаяся церковка, — в открытые двери — похорон-

ное пение. На паперти — нищие. Здесь же — купец Жигулин и Поспелов. Идет мокрый снег. Вдали, на Красной площади, — зарева костров.

ЛОСКУТ (идет со стороны площади; он в рваном полушубке, без шапки). Этих стрельцов будут казнить особенно...

ПОСПЕЛОВ. Лоскут, а, Лоскут...
ЛОСКУТ (*подозрительно*). Ты откуда меня знаешь?

ПОСПЕЛОВ. А как особенно-то? (*Все придвигаются, слушают.*)

ЛОСКУТ. На площадь — сколько стрельцов, столько и бояр согнали. Против стрельца — боярин, — руби голову. (*Смеется.*)

ЖИГУЛИН. Бояр кровавой порукой вяжет, — сильный царь...

ПОСПЕЛОВ. Чай, страшно...

ЛОСКУТ. Привыкай, ничему не дивись. Ты чей холоп?

ПОСПЕЛОВ. Князя Буйносова, — Васька Поспелов.

ЛОСКУТ. Ну его к чорту, пойдем гулять, пропьем шапки...

ПОСПЕЛОВ. Ох ты, гляжу, бойкий...

РЕВЯКИН (*входит*). Оглянитесь, оглянитесь, — се человек...

(*За ним на четверинках ползет юродивый, Варлаам, в зубах — мясо. Среди нищих волнение.*)

РЕВЯКИН. Зубами сырое мясо рвет... Лучше зверем быть. Человеком нельзя быть нынче...

ЖИГУЛИН. Шалишь, купец, уйди от греха.

РЕВЯКИН. Ах ты, купец, царев гость... Рад, поди, ворон кормить православными людьми? Кыш, кыш, сколько ворон-та! Восемь тысяч стрельцов висят по Китай-городу... Радуйся, Микита Жигулин... Скоро в Москве православных совсем не будет, одни немцы будут... Любо тебе с немцами, царев гость... (*Волнение среди нищих.*)

ВАРЛААМ. В Голландской земле царя нашего Петра Алексеевича в бочку с гвоздями забили, в море бросили... В Москву подменного царя прислали, — жидовина...

ЖИГУЛИН. ...Эй! За такие слова — слово и дело! Караул! (*Нищие заслоняют Варлаама.*)

ВАРЛААМ. Царь Петр головой вертит, ногой дергает, — он человек не свежий...

РЕВЯКИН. Слушайте старца...

ВАРЛААМ. Он кукишем крестится... В Москве у нас сидит большой чорт. Он табак курит, по-немецки говорит... Ад

кромешный, смола горящая, черви и жупел... (*Страшное волнение.*)

СТРЕЛЕЦ (*грозит в сторону площади*). Погоди, погоди... Будет он у нас сидеть на колу...

(*Появляются приговоренные стрельцы без шапок, с зажженными свечами, иные — в окровавленных рубахах. Стрельцов окружают преображенцы. Впереди — Ягужинский и царский денщик Меншиков. Позади с саблями — бояре, среди них — Буйносов, Толстой, Апраксин, князь-папа, Ромодановский. Сбоку бегут стрельчихи.*)

МЕНШИКОВ. Дорогу, дорогу...

ВАРЛААМ. Стрельцы спасение примут...

ГОЛОСА СТРЕЛЬЦОВ. Отец... Варлаам... Благослови на муки...

ВАРЛААМ. Отплывайте в царствие небесное...

ЯГУЖИНСКИЙ. Чего стали...

МЕНШИКОВ. Дорогу, дорогу...

(*Стрельцы идут в сторону костров. Из церкви выходит поп Битка.*)

БИТКА. Пономарь, вдарь в большой, вдарь громче...

ПОСПЕЛОВ (*Меншикову*). Алексаша... Не узнал меня? Помнишь, пирогами торговали...

МЕНШИКОВ (*боярам*). Князь, бояре, не мешкайте, идите вслед...

БУЙНОСОВ. Не кричи на меня, царский денщик... Не могу я этого делать, — руки, ноги отнялись. (*Бросает саблю.*)

ТОЛСТОЙ. Саблю поднял бы, князь, — не заодно же ты с чернью...

БУЙНОСОВ. Да не заодно я... Не рой мне могилу, Петр Андреевич Толстой. (*Поднимает саблю.*) Не учены мы головы рубить...

РОМОДАНОВСКИЙ. Затем и учат, что ничему не учены...

(*Бояре проходят.*)

МЕНШИКОВ (*Поспелову*). Опосля приходи ко мне в Преображенское. Я старых товарищей не забываю...

ЛОСКУТ (*кричит*). Начали! Полетели стрелецкие головы...

СТРЕЛЬЧИХА (*бежит со стороны площади*). Как баранов режут! (*Кидается на колени на паперти.*)

ГОЛОСА. Царь! Царь! (Толпа ша-
рахаётся.)

БИТКА. Пономарь, вдарь громче...

КАРТИНА ВТОРАЯ

*Воронеж. Берег реки. Строящийся ко-
рабль. Бревна, ящики, кули. Водяное
колесо, приводящее в движение кузнеч-
ный молот. Двери кузниц. В среднюю
виден горн и около — мужик, раздуваю-
щий мехи, кузнец Жемов и Петр в ко-
жаном фартуке. Они наварили лапу
якорю, подвешенному к потолочной
балке. Снаружи работают плотники,
мужики подвозят материалы. Часовые.
Один из них — Поспелов. Здесь же ва-
ляется дохлая лошадь. На распряжен-
ном возу Воробей ест хлеб. Подхо-
дит Лоскут в казацкой шапке.*

ЛОСКУТ. Воробей, что ли? Земляк?
Здорово.

ВОРОБЕЙ. Э-э... А ведь это ты, Ло-
скут... А мы думали — ты пропал...
Ох, ярыжки тебя искали долго...

ЛОСКУТ. Ищи, — степь велика...

ВОРОБЕЙ. Казачествуешь?

ЛОСКУТ. Вроде того. Что привез-
то?

ВОРОБЕЙ. Повинность, — жалезо.

ЛОСКУТ. Повинность! мужичье си-
волапое! Ты ешь-то чего?

ВОРОБЕЙ (глядя на кусок). Эта?
Как чего? Хлебушка...

ЛОСКУТ. Так это ж голая лебеда.

ВОРОБЕЙ. Ну, лебеда.

ЛОСКУТ. И едите?

ВОРОБЕЙ. Едим.

ЛОСКУТ. Хлеб, что ли, не родился?

ВОРОБЕЙ. Хлеб-то родился. Такие,
брат, ныне дани пошли... Боярину —
плати, кабальные — плати, оброчные —
плати, повытошные в казну — плати,
мостовые — плати... Третью шкуру с
мужика дерут...

ЛОСКУТ (захохотал). Богато вы
живете...

ВОРОБЕЙ. А теперь, говорят, вой-
на, что ли, — подводы спрашивают...
Вон он, Васька-то мой, валяется, — от-
был царскую службу... И еще с нас су-
хари спрашивают... Этим нашим сухарем
царь когда-нибудь подавится...

ЛОСКУТ. Бери с воза топор, идем в
степ... Скоро Дон будем подымать.

ВОРОБЕЙ. Ой, чай, страшно.

ПОСПЕЛОВ (подходит). Ты что на-
род мутишь?

ЛОСКУТ. А я ж коней привел из
степу. Покупать не будете?

ПОСПЕЛОВ. Украл?

ЛОСКУТ. А я не жеребец, — сам их
не делаю.

ВОРОБЕЙ. Это — наш, лыковский,
мой сродственник, Лоскут...

ПОСПЕЛОВ. Лоскут!

ЛОСКУТ. Здорово, Васька.

ПОСПЕЛОВ. Мы тебя давно ищем...

ЛОСКУТ. Что ты! а я около хожу...

ПОСПЕЛОВ. Драгуны, вяжите это-
му локти...

ЛОСКУТ. Погодите, я еще погуляю...

ПОСПЕЛОВ (хватает его за грудь).
Держи!

ЛОСКУТ (выхватывает кистень, сви-
стит, вскакивает на бревна). Встретим-
ся, сука, — поберегись. (Исчезает.)

ПОСПЕЛОВ. Драгуны! (Суета, по-
гоня, Воробей глядит, разинув рот.)

(С другой стороны выходят Буйносов,
его жена Авдотья, сын Михаил и две
дочери — Антонида и Ольга.)

БУЙНОСОВ. Шум, свист... Сказали,
что здесь государь. Где же?

АВДОТЬЯ. Господи, владычица, ку-
да заехали...

БУЙНОСОВ. Авдотья, при государе
ты рта не разевай, — погубишь меня
своей глупостью...

АНТОНИДА. Тятенька, идемте на-
зад, — здесь все юбки в грязи изва-
ляем...

БУЙНОСОВ. Помолчи, Антонида...

ОЛЬГА. Намолчались в теремах,
нынче государь говорить приказал...

БУЙНОСОВ. Замолчи, кобылица...

ПОСПЕЛОВ (вернувшись на место).
Вам здесь что нужно?..

БУЙНОСОВ. Из Москвы приехали
по царскому указу, — скажи, господин
унтер-офицер, где государь?

ПОСПЕЛОВ. А вон — в кузнице.

БУЙНОСОВ. Не бывало это... С му-
жиками, в саже вымазан... Глядеть
страшно... Государь! (Падает на коле-
ни.) Вели казнить... Род твой от визан-
тийских императоров... После бога ты

первый... Брось баловство... Не сра-мись... Иди в баню, иди в храм... Ты хоть о нашей-то чести подумай...

ОЛЬГА (Антониде). На колени не становись, Тонька, делай французский политес...

(Петр, заметив наконец, выходит из кузницы).

БУЙНОСОВ. Смилуйся, великий государь...

ПЕТР. Иван Иванович, долго ты раскачивался. С приездом. Э-э, ты и девок привез. За это спасибо. У нас танцовать не с кем. (Ольга и Антонида кланяются, заваливаясь на зады. Авдотья по старому обычаю — в ноги. Петр берет Ольгу за подбородок). Минувёт танцуешь?

ОЛЬГА. Тятенька не велит учиться, тайно учимся, побои терпим...

ПЕТР (Буйносову). Ты указ читал? Да ты еще и бороду не сбрил...

БУЙНОСОВ. Великий государь, от бритья щеки пухнут...

ПЕТР. Напрасно упрямитесь, борода-чи, — старую обыкновенность вашу без пощады сломаю...

ЖЕЛОВ (из кузницы). Молото-бойца...

ПЕТР. Здесь. (Быстро уходит, берет молот.)

ОЛЬГА (Антониде). Чудный кавалер, ей-ей, только, что руки чумадые...

АНТОНИДА. Ах и ах, Ольга. Ах...

БУЙНОСОВ. Ничего не сказал, — куда итти, как служить... Сон это, что ли, сон страшный... (Толкая жену.) Встань, ворона, здесь честь не к месту, отряхнись...

(В это время в кузнице идетковка якоря.)

ЖЕЛОВ (мужуку у мехов). Дуй, не ленись, поддай... (Рабочим, держащим концы веревок от подвешенного якоря.) Берись... Слушай... (Петру.) Петр Алексеевич, — в самый раз, а то перезжем... (Рабочим.) Быстро, навались. Давай... (Якорь пошел из горна, повис над наковальной.) Нагибай, клади, плотнее. (Омахивает венником окалину.) Лапу! (Петру.) Не зевай! Что ж ты... Давай лапу!

ПЕТР. Есть... (Хватается за клещи, вытаскивает из горна якорную лапу,

кладя ее на наковальню, промахивается.)

ЖЕЛОВ. Чорт безрукой...

ПЕТР. Есть... (Приложил лапу к якорю, схватил молот. Торопливаяковка.)

(Перед кузницей появляются Толстой, Меншиков, Шереметев, Апраксин.)

МЕНШИКОВ. Погодите, погодите, — когда кончит...

ШЕРЕМЕТЕВ. Петр Андреевич, ведь так нам зарез, — не готовы мы...

АПРАКСИН. Ведь у нас турки за плечами...

ТОЛСТОЙ. Турок напужаем флотом.

МЕНШИКОВ. Завтра спускаем стопушечный корабль... Султан призадумается...

ТОЛСТОЙ (нюхая табак). Мир султан подпишет, — амен...

МЕНШИКОВ. Это — аминь...

АПРАКСИН. Нам одним воевать со шведом? Не знаю... Это не татарва, не турки, — Европа...

ШЕРЕМЕТЕВ. С Европой. будет трудновато...

МЕНШИКОВ. Научимся, — амен...

БУЙНОСОВ (заметив Воробья на возу). Эй ты, поди ко мне... (Воробей соскакивает, подходит, становится на колени.) Ты из деревни Лыковой?..

ВОРОБЕЙ. Твой, боярин...

БУЙНОСОВ. Заворовались вы, мужики, лежебоки, гультаи... Опять оброк не внесли. Почему?

ВОРОБЕЙ. Мы на царской повинности...

БУЙНОСОВ. Дела нет. Царю — особе, мне — особе... Учить вас, воров, гультаев. (Бьет его.)

(Ковка окончена. Петр, сполоснув в баде руки, выходит из кузницы.)

ПЕТР. Здорово, Толстой. От короля польского? Какие вести привез?

ТОЛСТОЙ (галантно кланяется). Дурные, государь.

ПЕТР. Говори.

ТОЛСТОЙ. Шведский король, Карл XII, без изыщного об'явления начал войну: датчане уже разбиты и подписали мир. Дания нам более не союз-

ник. Засим король Карл зторгся в Ливонию и на-голову разбил саксонские войска короля Августа, — король польский нам более не союзник. Рассчитывай, государь, на одни свои силы.

ПЕТР (*оглядывает стоящих перед ним. Меншикову.*) Алексашка, надо воевать. А?

МЕНШИКОВ. Что ж, мин херц, податься некуда.

ПЕТР. Потрудимся.

АПРАКСИН. А деньги, Петр Алексеевич?

ПЕТР. Купцы дадут, — Бурмистерская палата. А ты что скажешь, Борис Петрович?

ШЕРЕМЕТЕВ. Надо — умрем, Петр Алексеевич...

ПЕТР. Не умирать, победить надо... (*Идет, останавливается около Буйносова.*) Алексашка... Ножницы подай...

МЕНШИКОВ. Есть, мин херц... (*Достаёт из кармана, подает ножницы.*)

ПЕТР. Князь Иван Иванович, в Европе над бородами смеются... Уж одолжи мне бороду, сделай милость... (*Режет ему бороду.*) Брада — обычай невежества, и женской породе брада зело не любезна, ибо в ней грязь и вонь. Жаль тебе ее — в гроб вели бороду положить, — на том свете пристанет... (*Ольге и Антониде.*) Вино пьете, девицы? Идем обедать. И плясать, и вино пить научим...

АВДОТЬЯ (*подбирая бороду, — с тихим воем мужу.*) Ба-а-а-а-тюшка, оголили... Голова-то, слава богу, осталась...

БУЙНОСОВ. За что? За что?

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лагерь Шереметева. Изба. Шереметев диктует писцу. Перед ним стоит Ягужинский... За окном скрип телег, голова, крики. Отдаленный взрыв.

ЯГУЖИНСКИЙ. Бастион взорвали...

ШЕРЕМЕТЕВ. Шведов-мушкетеров, сорок семь человек, отправь в Москву. А пленных мужиков-чухонцев — продать.

ЯГУЖИНСКИЙ. Купец Свешников на круг за чухонцев по рублю с четвертью дает с головы...

ШЕРЕМЕТЕВ. И отдать надо, не торгуйся: чухонцы — ах люди какие сердитые... Ступай... Пстой, зайти в драгунский полк, — я давеча видел там у них — бабенка одна пленная... Жалко, пропадет в обозе, — замнут драгуны... Так ты ее сюда приведи...

ЯГУЖИНСКИЙ. Все будет исполнено, господин фельдмаршал.

ШЕРЕМЕТЕВ. Пстой... Скажи Александру Даниловичу Меншикову, что я государю пишу письмо, чтоб не уезжал из обоза, покуда не зайдет за письмом...

ЯГУЖИНСКИЙ. Будет исполнено. (*Уходит.*)

ШЕРЕМЕТЕВ (*диктует*). «Всесильный бог и пресвятая богоматерь желание твое исполнили: более того, неприятельской земли раззорять нечего, — все раззорили и запустошили. Осталось у неприятеля нераззоренными только Нарва да Ревель, да Рига... Как повелишь теперь, — итти ли дальше раззорять, или итти на генерала Шлиппенбах... Шведы уж стали на зимние квартиры. Король Карл гоняется по всей Европе за королем Августом, и сюда его скоро не ждут...»

ЯГУЖИНСКИЙ (*входит*). Девку привел.

ШЕРЕМЕТЕВ. Ага. Пусть войдет, посидит. (*Писцу.*) Дальше я сам припишу, ты ступай. (*Ягужинский вводит испуганную Катерину, писец уходит.*)

ЯГУЖИНСКИЙ. Сядь вот тут. (*Ухмыльнувшись, уходит.*)

(*Шереметев пишет. Катерина стоит у двери, — она в голубом простеньком платье и в шали.*)

ШЕРЕМЕТЕВ. Зовут как?

КАТЕРИНА (*с готовностью*). Элене-Экатерине...

ШЕРЕМЕТЕВ. Катерина... Хорошо... Отец кто?

КАТЕРИНА. Сирота. Была в услужении у пастора Эрнста Глюка.

ШЕРЕМЕТЕВ. В услужении... Очень хорошо. Стирать умеешь?

КАТЕРИНА. Стирать умею... Много умею...

ШЕРЕМЕТЕВ. Видишь ты... А у меня исподнего простирнуть некому. Ну, что ж, — девица?

КАТЕРИНА (всклинула). Замужем... На прошлой неделе вышла.

ШЕРЕМЕТЕВ. А-а... За кого?

КАТЕРИНА. Королевский кирасир Иоганн Рабе.

ШЕРЕМЕТЕВ. Ну и что же он, — убит?

КАТЕРИНА. Нынче утром, как вам вороваться в крепость, Иоганн с двумя кирасирами бросился вплавь через озеро. Больше его не видала.

ШЕРЕМЕТЕВ. Плакать, Катерина, не надо. Молода. Другого наживешь.

КАТЕРИНА. Теперь — кто меня возьмет...

ШЕРЕМЕТЕВ. Ну, это, тово... Есть хочешь?

КАТЕРИНА. Очень.

ШЕРЕМЕТЕВ. Садись. Ешь на здоровье. (Указывает ей место за столом, где еда и вино.) Вино пьешь?

КАТЕРИНА. Не знаю.

ШЕРЕМЕТЕВ. Значит, пьешь. Ишь ты какая голодная. Зазябла. Шубенки, платишки твои, чай, все погорели?

КАТЕРИНА (беспечно). Все пропало.

ШЕРЕМЕТЕВ. Наживешь. Погоди, по первопутку поедем в Новгород, — там тебя хорошо устрою. А уж покуда — по-походному — на печи будем спать... Что прикрылась... Какая... Не обижу... Я ведь еще ничего себе...

КАТЕРИНА (шопотом). Хорошо...

ШЕРЕМЕТЕВ. Белая, черноволосая... Галочка, утеночек... (Входят Меншиков и царевич Алексей.)

МЕНШИКОВ. Господин фельдмаршал, письмо написано?

ШЕРЕМЕТЕВ (толкает Катерину). Сядь в сторонке... Здравствуй, государь, Алексей Петрович... Здравствуй, Александр Данилович... Письмо написано... (Запечатывает.) Государю передайте земной поклон... Приустал, чай, Алексей Петрович, от невзгод дорожных?

АЛЕКСЕЙ (сидя на лавке). Не люблю я войны...

МЕНШИКОВ (стоя у стола, пьет, закусывает, косится на Катерину). Взял бы ты, Борис Петрович, царевича в горячее дело — потешиться саблями, — весело...

АЛЕКСЕЙ. А ну тебя, скажешь тоже... Дурак ты, Меншиков. (Сердито глядит на него.)

МЕНШИКОВ (смеется). А как батюшка в Москве спросит: «Не пужался ли ты шведов? Бомбам не кланялся ли?» Что ответим?

АЛЕКСЕЙ (тихо, с ненавистью). Время будет, — об этих словах пожалеешь, Меншиков...

МЕНШИКОВ. Надо вам с батюшки брать пример, Алексей Петрович... Мы вот не знаем, когда Петр Алексеевич и спит... Сегодня в Москве суконные заводы ставит, завтра в Туле пушки льет, аи, глядь, уж при войске в обозе... В каждую телегу заглянет, каждому солдату под кафтан полезет... После Нарвы, как нас Карл вдребезги разгромил, Петр Алексеевич в месяц оборону поставил, к весне войско и пушек вдвое было... В Новгороде сам палкой гнал монахов копать рвы, городить стены... И нас, дураков, приучил...

АЛЕКСЕЙ (Шереметеву). Я пойду, в телегу сяду, там подожду...

ШЕРЕМЕТЕВ. Батюшка, Алексей Петрович, откушай, обогрейся...

АЛЕКСЕЙ. Нет... (Берет тулуп, уходит.)

МЕНШИКОВ. Волчонок. А ну его... Надоел хуже горькой редьки, не чаю, как в Москве отцу сдам. (Берет письмо.) Это у тебя кто такая?

ШЕРЕМЕТЕВ. Так, девка одна — белье стирает.

МЕНШИКОВ. Фельдмаршал, уступи.

ШЕРЕМЕТЕВ. Да господь с тобой, Александр Данилович...

МЕНШИКОВ. Продай, ей-ей... Возьми караковую кобылу верховую...

ШЕРЕМЕТЕВ. Да не надо мне твоей кобылы, ничего не хочу...

МЕНШИКОВ. Ой, не ссорься со мной, фельдмаршал...

ШЕРЕМЕТЕВ. На что тебе эта девка далась, Александр Данилович?.. Молодой, взысканный... Все у тебя есть... А у меня, может, она одна...

ЯГУЖИНСКИЙ (входит). Царевич ждет в телеге, гневается...

МЕНШИКОВ. Ладно. Вечером мы еще вернемся, будем ночевать. Поговорим. Ты подумай хорошенько, фельд-

маршал. (Остановливается около Катерины, пронзительно глядит на нее.) Ну где с эдакой старику справиться... (Жарко целует ее в губы, выходит вместе с Ягужинским.)

ШЕРЕМЕТЕВ (сердито). А уж ты на него уставилась. Бесстыдница. (Берет плащ, шляпу, выходит.)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната в деревянном временном дому Меншикова в Петербурхе. За окнами на берегу Невы — стук деревянного копра по сваям, протяжные голоса рабочих: «Еще разик, еще раз...»

КАТЕРИНА (сидит у окна, вышивая, напевает).

Малютка любила, малютка страдала,

Ах, розы увяли

(Высовывается из окна.) Тебе куда? По доскам иди, а то здесь топко. (Бьют стенные куранты — двенадцать.) О, гот! (Вскакивает, хлопчет у обеденного стола.)

ЖИГУЛИН (входит, ищет, куда перекреститься). Здравствуй, матушка.

КАТЕРИНА. Здравствуй, добрый человек. Ноги вытри.

ЖИГУЛИН. Александра Данилыча повидать.

КАТЕРИНА. Господин губернатор сейчас придет. Сядь у двери.

ЖИГУЛИН. Что же на реке город, что ли, ставят?

КАТЕРИНА. Крепостцу от шведов, городок Петербурх.

ЖИГУЛИН. Жена евонная будешь?

КАТЕРИНА. Экономка.

ЖИГУЛИН (не поняв). Ага.

КАТЕРИНА. Купец?

ЖИГУЛИН. Мы из Архангельска. Лесное дело у нас. Корабельный лес пилим.

МЕНШИКОВ (входит — в военном платье, в большом парике. Отдает Катерине шляпу, шпагу и плащ). Катерина, собирай скорее закусьвать. Петр Алексеевич будет с кумпанней.

КАТЕРИНА. Гот! Сам государь...

МЕНШИКОВ. Из Голландии корабль пришел... Петр Алексеевич сам за лоцмана провел его от Котлин-острова. Шкипер, — конечно, — чарку вод-

ки Петру Алексеевичу и червонец... Мы со смеху легли. И все спрашивает, можно ли повидать царя Петра... (Смеется. Ласково.) Ты приоденься... А! Микита Жигулин. Здорово.

ЖИГУЛИН. Прослышали, государь Неву отвоевал у шведа: пудовые свечи ставим, — путь известный, великий...

МЕНШИКОВ. Ну, это дело еще не кончено, швед за Сестрой-рекой стоит.

ЖИГУЛИН. Значит, одно дельце у меня есть, Александр Данилыч...

МЕНШИКОВ (спокойно-внушительно). Господин губернатор...

ЖИГУЛИН. Ага... Извини христа ради. (Достает кошель.) От нашей, сударь, скудости, — не осуди.

МЕНШИКОВ. Сколько?

ЖИГУЛИН (шопотом). Сто рублей.

МЕНШИКОВ. Говори дело...

ЖИГУЛИН. Вам корабельный лес нужен? Верно? Я бы тут на Неве, у самой Ижоры, мельничное колесо поставил — лес пилить, — от колеса машиной.

МЕНШИКОВ. Как машиной?

ЖИГУЛИН. Обязательно, в Архангельске так пилим. И цена моему лесу дешевле на десять алтын. Понятно?

МЕНШИКОВ. Тебе в дело взять надо интересана — с деньгами.

ЖИГУЛИН. Чего бы лучше... Входи ко мне интересаном.

МЕНШИКОВ. Мы подумаем...

(Входят Петр, голландский шкипер Пельтенбург, Жемов, корабельный плотник Аладушкин и поп Битка).

ПЕЛЬТЕНБУРГ (под руку с Петром, он — вполпьяна, Петр — только весел). Я так и скажу царю Петру, ты — добрый лоцман...

ПЕТР. Данилыч, первого голландского шкипера — в красный угол...

БИТКА (пьяный). Бахусова зелья не зрю, уедемте к чоргу отсюда, ребята...

ПЕТР. Битка другой день, как свинья, пьяный... (Все садятся к столу.)

БИТКА (поет). Восстав поутру, чрево свое, яко бочку, добре наполняю и матерствую всех пьяноборцев...

ПЕТР. Не робей, садись, Жемов, садись, Аладушкин... С морского ветру голдны гораздо. Подай-ка ветчину...

БИТКА. Ныне день постный, много хочу...

ЖЕМОВ. Поп, а, гляди, какой баловник...

БИТКА. Обидели духовное лицо...

ПЕТР (*толкая Битку под стол*). Не ори, сатана...

ПЕЛЬТЕНБУРГ (*Петру*). Я хочу быть большим другом царю Петру, я хочу подарить ему одну штуку доброго аглицкого сукна.

ПЕТР. Спасибо, штурман.

ПЕЛЬТЕНБУРГ. И тебе, лоцман, тоже подарю, — медные часы...

ПЕТР. Покажи-ка...

ПЕЛЬТЕНБУРГ. Мы слышали, у царя Петра можно дешево взять лес... Я возьму корабельный лес и пеньку.

ПЕТР. Данилыч, налей нам перцово-вой... (*Хлопает Меншикова по спине*.) Сердечный друг царя Петра...

ПЕЛЬТЕНБУРГ (*трясет Меншикову руку*). Значит, и мой друг. У меня на корабле есть бочонок крепкого рому...

МЕНШИКОВ. Виват первый голландский корабль!

ПЕЛЬТЕНБУРГ. Виват храбрые русские! (*Обнимается с Меншиковым*.)

БИТКА (*из-под стола*). Рассолу хочучу... Виват!..

ПЕТР (*глядя на кланяющегося Жигулина*). С чем пришел? Велю — сядь!

ЖИГУЛИН. Челобитная. (*Подает, Петр читает*.)

ПЕЛЬТЕНБУРГ. Говорят — царь высокий, как бизань-мачта.

МЕНШИКОВ. Да похож вот на этого лоцмана.

ПЕЛЬТЕНБУРГ. Царь — на лоцмана, это не бывает. (*Хочет*.)

ПЕТР (*Жигулину*). Ставь колесо на Ижоре, пили доски... Пять лет пошлины брать не буду... Вот в чем беда: гляди, голландец надутый, как пузырь, а дает грош...

ЖИГУЛИН. Петр Алексеевич, даром отдаем товар иноземцам. Свои бы корабли.

ПЕТР. Строй. Ставь верфь. Вези лес, пеньку, деготь сам в Голландию.

ЖИГУЛИН. Языкам не учены, — с немотой за границей проторгуешься.

ПЕТР. Учись по-голландски. Приказываю. Год сроку.

ЖИГУЛИН. Горячий какой ты, Петр Алексеевич...

ПЕТР. Данилыч, заготовить указ: первому негодянту-навигатору... Как тебя, — Жигулин Никита?.. А по башке?

ЖИГУЛИН. По башке?! Так ты с отчеством будешь писать нас? Да за это, государь, Петр Алексеевич, что хошь, спрашивай. (*Кланяется*.)

ПЕЛЬТЕНБУРГ (*оборачиваясь ко всем*). Это — и есть царь Петр?..

БИТКА (*из-под стола*). Исполлаэти-деспота...

ПЕЛЬТЕНБУРГ (*кланяется с морской неуклюжестью*). Я очень глупый человек... Я очень пьяный человек...

ПЕТР. Ладно, ладно, шкипер, пеньку и лес продадим тебе дешево: за то только, что первый пришел в Неву... Хороший у тебя корабль, отличный корабль, — плакать хочется...

ПЕЛЬТЕНБУРГ (*успокоительно*). Нет, плакать не надо.

ПЕТР. А ты вот что: возьми Жемова и Аладушкина, — они мужики умные, — хорошенько покажи им корабль... (*Встает, — Жигулину*.) Ты поди, его матрозов угости. Понимаешь?

ЖИГУЛИН. Все будет сделано, Петр Алексеевич. (*Уходит*.)

ПЕТР. Данилыч, что же музыки нет? (*Только сейчас заметил Катерину*.) Ух ты... Ну-ну... Данилыч... Это кто ж у тебя?

МЕНШИКОВ. Так, экономка, мин херц.

ПЕТР. Отчего раньше не показывал?

МЕНШИКОВ. Пужливая очень... да глупая, девчонка...

ПЕТР. Ничего... Пусть она поднесет мне.

МЕНШИКОВ. Катерина... (*Тихо*.) Поднеси чарку Петру Алексеевичу, да поцелуй в губы, — он любит...

КАТЕРИНА. Александр Данилович, лучше не надо этого...

МЕНШИКОВ. Ты и впрямь дура. (*Дает ей поднос, наливает вино*.)

АЛАДУШКИН. Шкипер, нам главное хочется посмотреть. Ты покажи честно. Нас, брат, не обманешь...

ЖЕМОВ. С нас спрашивают, а ведь мы — чего не видали, того не можем. Понятно?

ПЕЛЬТЕНБУРГ. Выпьем, русские.
(Входят музыканты. Катерина подносит Петру чарку.)

КАТЕРИНА. Прошу покорно, герр Питер. (Петр пьет, она целует его в губы.)

ПЕТР. Как зовут?

КАТЕРИНА. Катрина, герр Питер... (Приседает.) Спасибо.

ПЕТР. Неплохо тебе жить в неволе-то?

КАТЕРИНА. Неплохо, герр Питер. Спасибо.

МЕНШИКОВ. Заладила одно — спасибо да спасибо. Расскажи что-нибудь...

КАТЕРИНА. Как я буду говорить? Они — не простой человек. Они сами знают — какой начать разговор.

ПЕТР (захохотал. Поднялся.) Прошу на польский...

(Музыка. Петр с Катериной пляшет.)

БИТКА (из-под стола). Держи бабу плотнее, Ликсеич. Крути ей подол...

ПЕЛЬТЕНБУРГ. О, царь большой мастер плясать.

ЖЕМОВ. Способный.

ПЕТР (сажая Катерину). Не обижают тебя Александр Данилыч?

КАТЕРИНА. За что же меня обижать?

ПЕТР. Верно, что не за что. Немка? Чухонка?

КАТЕРИНА. Батюшка — литовский крестьянин Скаврошук... Могу я вас просить, герр Питер?

ПЕТР. Ну, проси...

КАТЕРИНА. Пойдемте еще раз польский...

ПЕТР. Еще раз? (Засмеялся, выпил стакан вина.) Данилыч... Отдохнуть пойду к тебе на часок...

МЕНШИКОВ. Постель готова...

ПЕТР. А вы тут пошумите без меня...

БИТКА. Ликсеич, ты шалить собираешься... Грех великий...

ПЕТР (в дверях, — Меншикову). Скажи Катерине — взяла бы свечу, посветила мне в спальне... (Ушел.)

МЕНШИКОВ. Катерина. Царь хочет, чтоб ты взяла свечу — посветила ему в спальне...

КАТЕРИНА. Господь с вами, Александр Данилович.

МЕНШИКОВ (берет со стола свечу). Иди...

КАТЕРИНА. Подождите... Сашенька... Свет мой...

МЕНШИКОВ. Я есмь муж государственный... Мне с бабами возиться неприлично. Иди...

КАТЕРИНА (берет свечу, стоит, опустив голову. Потом — низкий реверанс.) Повинуюсь... (Ушла.)

МЕНШИКОВ (музыкантам). За-стольную, бахусову... Эй, вина еще... (Музыка.)

ПЕЛЬТЕНБУРГ. Я чересчур много выпил, пфуй...

ЖЕМОВ. А ты пей, да головы не теряй, а то ты у нас пропадешь, иностраный...

(Жемов и Аладушкин поют: «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла».)

БИТКА. Данилыч, запей горе перцовкой...

МЕНШИКОВ (схватил его за бороду). Сволочь, ты что давеча царю нашептывал?

БИТКА. А я к тому и приставлен, чтобы на ухо нашептывать. Мне под столом все слышно...

МЕНШИКОВ (запрокидывает ему голову, вливает вино). Пей.

БИТКА. Будя. (Валился.)

ПЕЛЬТЕНБУРГ. В будущую навигацию я приду на десяти кораблях, я у вас все куплю... Весь лес, всю пеньку... Я всех одарю, как герцог... Вы, русские, варвары, вы никогда не научитесь строить корабли. Ходите пешком... (Катерина появляется в дверях. Платье ее на груди расстегнуто. Меншиков бросается к ней.)

МЕНШИКОВ. Царь заснул?

(Катерина ударяет Меншикова по щеке. Меншиков вспыхнул. Понял. Поклоняясь, целует Катерине руку.)

КАРТИНА ПЯТАЯ

Кремль. Тронная сводчатая палата. На тронном стуле сидит Петр, в русском платье, держа скипетр и державу. Ниже его — царевич Алексей и Ромодановский — в русском платье. На скамье — бояре, среди них — Буйносов, все — в иноземном платье. На другой скамье — купцы, среди них Шорин, президент Бурмистерской палаты, Свешников, Жигулин, Шустов, Ревякин.

РОМОДАНОВСКИЙ. Восемь лет король Карл не дает нам отдыха. Господа бояре, господин президент Бурмистерской палаты, знаете сами, сколько положено несносных трудов: построены флоты на Азовском море, на Белом и на Балтийском... Город Питербурх строим. Каналы копаем... Наместо ополчения устроено регулярное войско... Ныне пробил грозный час... Кроважаждущий Карл вторгся на Украину. Гетман Мазепа, изменник и вор, с казацкими полками шатнулся на сторону шведа... На Дону — великая смута и гиль, — по верховым городкам гуляет атаман Кондратий Булавин, да Некрасов, да беглый мужик Лоскут... В народе шатание, леса полны разбойниками... Казна государева пуста... *(Волнение на скамьях.)* В сей час надлежит знать: не удержим Карла на рубежах Днепра, падут Полтава, и Курск, и Тула, и Москва, смута возникнет в народе, как тому назад сорок лет при Степане Разине, погуляют казацкие кони по земле, погуляет казацкая сабля по нашим головам... В сей час надлежит каждому оставить попечение о себе... Подумайте, бояре, подумайте, именитое купечество...

РЕВЯКИН. Все отдали... Да, господа, в гроб лечь — и то чистой рубашки нет.

СВЕШНИКОВ. В сундуках у нас деньги? В сундуках у нас — мыши.

БУЙНОСОВ. Пшеницу весь урожай в казну отдал, десять бочек солонины отдал же... Пятьдесят мужиков в драгуны взяли... А ведь у меня две девки на выданьи... То да се... На одного цирюльника еженедельно восемь алтын отдай...

ПЕТР. Помолчи, шут... *(Собранию.)* Для ратного дела нужно железо. Демидов с Урала да Виниус из Сибири пишут — железной руды много. Деньги нужны... Опять с посадских, с мужиков тянуть? Они уж и так не дышат, да и раньше года дани не собрать... Деньги нужны сегодня... Рассудите, господа именитые купцы... Мне пишет Алексей Курбатов... *(Отдал державу, скипетр Ромодановскому, указал ему сесть вместо себя на трон.)* Сядь... *(Вынул письмо.)* «...Народы ослабевают в исполнении и, чуть послабже, думают, что все будет по-старому... Гостиной сотни купец Матвей Шустов подал сказку о пожитках своих, будто всех пожитков у него только на тысячу рублей и разорен всеконечно... А нам известно — у Матвея в чулане под полом зарыто дедовского еще серебра и золота тысяч на сорок рублей. Он, Матвей, пьянством истощает богатство, а не приумножает, и если его не обуздать — истребит до конца... Укажи, государь, послать к Матвею подъячего да солдат, и он те золотые деньги вынет и отдаст...» Я велю послать солдат к тебе, Матвей...

(Матвей Шустов поднимается с лавки, шатается, падает на лавку.)

ЖИГУЛИН. Государь, что ж говорить: связал нас бог одной веревочкой. Куда ты, туда и мы... Деньги есть на Москве.

ПЕТР *(подошел, обнял Жигулина).* Умен, и за то много тебе воздастся...

ШОРИН. Бурмистерская палата — твоя, государь. Деньги дать надо... *(Входят иеромонах и монахи.)*

ПЕТР. Вы что скажете, божьи люди... **ИЕРОМОНАХ.** Великий государь, не дай запустеть монастырям и храмам божьим... Указом твоим велено для рытия рвов и стен на Москве брать с каждого монастыря и прихода по десяти и более подвод и людей с железными лопатами, и ставить кормы им... Воистину сие выше сил человеческих, великий государь... Одною милостыней живем, Христа ради...

ПЕТР. Вот что, божьи заступники... Идите по монастырям и приходам... Нынче же выходить на работу всем — копать землю... Помолчи, отец... Выйти

с железными лопатами и лошадьми не одним послушником, всем монахам — вплоть до ангельского чина... И бабам черноризкам, и попам, и дяконам с попадьями и дяконицами... Помолчи, говорю, отец... Я один за всех помолюсь, на сей случай константинопольский патриарх меня помазал... Пошлю поручика — смотреть, кто не вышел... Того — на площадь, пятьдесят батогов... Этот грех тоже на себя возьму... Ступайте...

РОМОДАНОВСКИЙ (с трона). Ступайте все, — государь кончил думу... (Все уходят.)

ПЕТР (Алексею). Ну, а ты, сын, что скажешь?

АЛЕКСЕЙ. Головой я скорбен... Батюшка государь... Плохо соображаю... Боюсь я всего...

ПЕТР. Врешь, врешь... Молод, а врать уж научили тебя...

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Вечер Полтавского боя. Огромные пороховые облака озарены закатом. Пущенные выстрелы. Берег. Камыши. Из-за холма скатываются запорожцы. Среди них Лоскут.

ЗАПОРОЖЦЫ. Гайда, гайда, гайда...

ЛОСКУТ. Тикай через реку...

КОШЕВОЙ. Стой, не вси, бисовы дети... Треба короля перевезти... (Кричит.) Гей! Шведы... Бегите до перевозу... Давай сдюды короля...

ЛОСКУТ. Кошевой, нема перевозу. Начихай на короля...

КОШЕВОЙ. Шухай челны по камышам. Не вси же дубы угнали проклятые москали. (Из-за холма бегом появляются шведские солдаты, — несут на носилках Карла, раненного в ногу. Рядом с носилками — Мазепа.)

МАЗЕПА. Братики запорожцы, спасайте короля...

ЛОСКУТ. Чорт его спасет теперь.

МАЗЕПА. Не все еще потеряно, хлопцы. У короля грошей много. Король набере новое вийско. При москалях нема нам воли. Царь Петр стрельцов вешал, вас, братики, на колья будет сажать...

ЗАПОРОЖЦЫ. Геть, москали сабаки!

ЛОСКУТ. Гетьман, а яки гроши будут нам за це?

МАЗЕПА. Клянусь владычицей — по сто червонцев хлопцу.

ЗАПОРОЖЦЫ. Эге, це дило.

ЛОСКУТ. Брешет, старый чорт...

КОШЕВОЙ. Братики, шухайте челн какой ни на есть.

МАЗЕПА (королю). Боже ж ты мой, за что победу дал тирану...

КАРЛ. Будущей весной я привезу в Стокгольм царя Петра с веревкой на шею.

(Приближается шум битвы.)

МАЗЕПА. Челн, челн, хлопцы!

КАРЛ. Где мой ботфорт? (Солдату, держащему королевский сапог.) Положи в носилки. Подай пистолет. (Приподнимается.)

ШВЕД (вбегает). Все кончено... Все погибло... Король... Нас топчут конями... За этим ты меня оторвал от жены, оторвал от моих детей... Зачем ты послал меня на смерть? Король! Будь проклят! (Падает.)

КАРЛ. Он ранен в голову, он сошел с ума.

(Вбегает шведский офицер Баговут.)

БАГОВУТ. Король!

КАРЛ. Полковник Баговут, шведы попрежнему продолжают гнать бога и своего короля?..

БАГОВУТ. Фельдмаршал Реншельд в плену... Шлиппенбах сдался... Розен упал с коня на шпаги русских... Безумие... Конец всему...

КАРЛ. Опомнитесь, полковник, мне стыдно за вас... Возьмите эскадрон кирасир и задержите наконец этих взбесившихся мужиков...

БАГОВУТ. Я слушаю, мой король. (Садится на лафет, обхватывает голову.)

МАЗЕПА. Нас окружают...

(Шум битвы.)

КАРЛ. Баговут, что это — неповиновение?

БАГОВУТ. Я слушаю, мой король. (Опять садится.)

КОШЕВОЙ. Пан гетьман, нашли челн...

МАЗЕПА. В лодку, ваше величество...

КАРЛ. Сегодня, видимо, неудачный день...

ЗАПОРОЖЦЫ. Тикай, тикай... Тащи короля...

КАРЛ. Хотя бы раз нужно испытать поражение. Несите меня...

(Короля уносят. Мазепа уходит вслед. На вершине холма показываются русские, — среди них Ягужинский и Поспелов. Стрельба с обеих сторон.)

ЛОСКУТ (стреляет в Поспелова, ранит.) Сука, это вам за Кондратия Булавина... (Убегает.)

МЕНШИКОВ (появляется — в лагах, в шлеме с перьями — в сопровождении трубача). Король взят?

ЯГУЖИНСКИЙ. Господин фельдмаршал, король ушел за реку...

МЕНШИКОВ. Сволочи, упустить короля... (Ягужинскому.) Бери драгун, — вплавь, нагони, возьми...

ЯГУЖИНСКИЙ (убегая). Драгуны! (Появляется солдат, — Воробей, — голова обвязана окровавленной тряпкой, ружье наперевес.)

ВОРОБЕЙ (кричит дурным голосом). Ура-а-а-а-а-а-а...

МЕНШИКОВ. Замолчи, дурак...

ВОРОБЕЙ. Коли, коли, коли, ура-а-а-а-а-а...

(Появляется толпа русских и пленных шведов. Впереди Петр — размахивает руками, возбужден.)

МЕНШИКОВ (подняв шпагу). Виктория! Виктория!

ПЕТР. Вот они, превеликие в свете генералы, — Реншельд, Шлипенбах, Розен... Во сне этого не увидеть!

МЕНШИКОВ. Весь обоз взят. Вся пехота неприятеля побита. Один Левенгаупт с конницей ушел за реку.

ПЕТР. Чорт с ним — нагоним...

МЕНШИКОВ. Король ушел...

ПЕТР. Догоним... Виктория, Данилыч... Победа... Опомниться нельзя...

ВОРОБЕЙ (опять). Ура-а-а-а-а-а... Кровища... Коли, коли, коли... Ура-а-а-а. (Меншиков ударяет его, чтобы замолчал.)

ПЕТР. Все сошли с ума нынче... Давай отбой, кончай резню...

МЕНШИКОВ. Трубачи, играй отбой...

ПЕТР. Господа превеликие, преславные генералы, — плакать будете завтра... Данилыч, вели отдать им шпаги... Нынче будем праздновать викторию... Конец войне... Живем... (Вырывает у горниста рог.) Зови всех в шатер... (Трубит.) Будем пить за вас, господа шведы... Первое — за Нарву будем пить, как вы били меня под Нарвой. (Трубит.)

(Уходят все, кроме Воробья.)

ВОРОБЕЙ (шагает, опираясь на ружье, глядит вслед). Поработали на тебя, царь... Ты не забудь, — за нас-то выпей... (Прислоняется головой к штыку.)

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Москва. Святки. Горница в доме Буйносова, — соединение русской старины с европейскими новшествами. Антонида и Ольга вешают на стену гравюру. Мишка сидит на лавке, копает в носу.

ОЛЬГА. Мужик с коровьими ногами, это — сатир. Чего скосоротилась, — это у него лист фиговый...

МИШКА. Г-ы!

ОЛЬГА. А этот с бородой, — кто, я спрашиваю?

АНТОНИДА (робко). Юпитер...

ОЛЬГА. Что про него говорится?

АНТОНИДА. Юпитер прикинулся лебедем, делал амур с нимфой Ледой, потом прикинулся быком, делал амур с нимфой Европой...

МИШКА. Г-ы!

АНТОНИДА. Дурак... Потом... Забыла, Оля.

ОЛЬГА. Это все, Тонька, ты должна заучить, — кавалеры теперь постоянно стали спрашивать про греческих-то богов. Вопрос: Венера, жена хромоногого Гермеса, с кем делала амур?

МИШКА. Г-ы!

ОЛЬГА. Мишка, я уже тебя, — попадись мне в сених...

(Входит Авдотья. Увидя гравюру, плюет.)

АВДОТЬЯ. Бесстыдницы. Отец идет. Миша, хоть ты-то ему в ноги поклонись. От этих не дожدهшься...

МИШКА. Маманя, ряженые скоро приедут?

АВДОТЬЯ (*заплакала*). Эх, святки, святки... Одна срамота...

БУЙНОСОВ (*входит в французском платье, — красный после бани*). Святки...

МИШКА (*кланяется в ноги*). С приездом, родный батюшка.

ОЛЬГА. Добрый вечер, фатер... (*Ольга и Антонида приседают.*)

АВДОТЬЯ. С легким паром, батюшка...

БУЙНОСОВ. Святки... (*Садится к столу.*) Веселиться указано... Приготовляемся, как бы к смерти, — вот какая потеха — святки... (*Толкает тарелку.*)

Что за дрян на столе... Мать, студню бы с чесночком.

АВДОТЬЯ. Ба-а-а-тлюшка, чесноку-то не велят дома держать...

БУЙНОСОВ. Кто не велит?

АВДОТЬЯ. Они же всё. (*Указывает на дочерей.*)

БУЙНОСОВ. Чей дом? (*Стучит по столу.*)

ОЛЬГА. Французский король уж сто лет запретил чеснок-то в домах держать, — почитайте гишторию Пуффендорфия...

БУЙНОСОВ. А я вот пойду на кухню ужинать, чем с вами, кобылищами французскими... Ни тебе поесть, ни тебе подремать... Каждый тебя в глаза лает... Так жить знатым особам — это разве жизнь? От Питербурха царь без отдыха гнал день и ночь. За ним в саях, вповалку, как холопы, — князь Одоевский, князь Ростовский, да я, да князь, бояре. Животы растрясло, зады растерло...

ОЛЬГА. Тонька, не слушай, не привыкай...

АВДОТЬЯ. Не томился бы ты после бани в немецких штанах, надень, батюшка, штаны православные...

БУЙНОСОВ. При алонжевом парике я — русские портки надел. Дура. Тебе к святкам подарочек: государь указал нам ехать всем домом в Питербурх на вечное жительство...

ОЛЬГА. Ах, ах, счастье!..

АНТОНИДА. Ах и ах, Ольга...

АВДОТЬЯ. Батюшка, лучше в Москве живую в землю меня закопайте, — не поеду на болото жить.

БУЙНОСОВ. Замолчи. И — второе: поди сюда, Миша...

МИШКА. Я здесь, батюшка...

БУЙНОСОВ. Миша, Миша, деды твои, прадеды, я сам, в царской думе с честью сиживали...

ОЛЬГА. Вы бы ему лучше выговорили, — Мишка от рук отбился: цифири, грамматике не учится, — целый день с девками в дворницкой на балалайке играет...

МИШКА. Наговаривают они на меня по злобе...

БУЙНОСОВ. Указано тебе, Миша, ехать в Амстердам учиться...

АВДОТЬЯ (*заголосила*). Не берите от меня сына мово родного...

МИШКА (*заревел*). Родный батюшка, родная матушка, зачем меня на свет родили...

АВДОТЬЯ. Лучше бы тебя титешным земля взяла.

БУЙНОСОВ. На кулачки там не дерись, не пьянствуй, — научись чему-нибудь. Не вой, Авдотья. Вот тебе третий указ... Настрого велено всем дворянкам зубы чистить...

АВДОТЬЯ. Батюшка, да ведь белые зубы только у арапов да обезьян, — у боярынь зубы всегда желтые...

БУЙНОСОВ. Возьми тряпочку, штукатурки кусок, — почисти. Телогрею поди сними, надень бострогу с хвостом, волосы мукою обсыпь... Так велено, — указы не я пишу... Ступай... (*Авдотья уходит.*)

МИШКА. Родный батюшка, дозвольте в последний разик на двор пойти с малыыми ребятами позабавиться.

БУЙНОСОВ. Ступай, сынок, позабавься. (*Мишка уходит.*) Ольга, не сегодня-завтра государь придет к тебе сватом.

ОЛЬГА. Ой! Ой! Ой! За кого?

БУЙНОСОВ. За денщика, бесстыдница... Не княгиней, — денщиковой женой будешь...

ОЛЬГА. Нынче царским денщикам графские титулы жалуют, это даже более рафине, чем князья-то...

АНТОНИДА (у окна). Гости приехали...

ОЛЬГА. А мы еще не прибраны, Тонька... (Обе, тряся руками, убегают.)

БУЙНОСОВ. Сороки длиннохвостые. (Идет к окошку.) Кого принесло? Батюшки, никак — царевич? Его сани. Ох, не во-время...

(Входят Алексей, князь Вяземский, Кикин, Еварлаков и Ревякин.)

АЛЕКСЕЙ (помолясь). С праздником, князь Иван Иванович... А мы уж zelo шумны. Много дворов об'ехали. (На Ревякина.) И у купца были...

Понравилось мне у него, — истово, по дедовской старине... Давайте сядем... У меня радость нынче, — батюшка на меня не сердился... Как я узнал, — сегодня из Питербурха вышше к нам жалуют, — живот заболел со страху. Чуть свет помчался в Преображенское. Зайти боюсь, а батюшка — в спальне с моей крестницей, Катериной Алексеевной. Сотворил молитву. Вошел, а они в постели лежат, веселые. Батюшка было скулы выдвинул: «Зоон, говорит, извольте доложить...» А я пуще смерти боюсь — будет он меня спрашивать про математику да фортификацию... Стою, дрожу, а Катерина Алексеевна: «Государь, для праздника ради экзамен-то оставьте...» Так и пронесло... Ну-ка сними кто-нибудь валенки, — жарко... (К его ногам кидаются Ревякин и Буйносов.)

БУЙНОСОВ. Отойди прочь... Отец мой и дед были постельниками, и мне сапожки снимать у русского православного царя...

АЛЕКСЕЙ (испуганно). Тихо ты... А то, — знаешь... Смотри...

ЕВАРЛАКОВ. Э-хе-хе, не живем, оглядываемся...

КИКИН. Ничего, — пусть царевич слышит правду...

ЕВАРЛАКОВ. Правда нынче околицами ходит.

РЕВЯКИН. Истинно, истинно... Храмы запустили, купола воронами обгажены.

ЕВАРЛАКОВ. Правда есть — бог, а бог — тишина да покой. (Алексею.)

Твой дед, царь Алексей Михайлович, был кротчайший, а Украину присоединил. А мы пятнадцать лет воюем и все без надобности... Всю землю разорили. Только мужика от деда отрывают. Жрать нечего, — кораблики строят...

РЕВЯКИН. Кораблям на России все равно не бывать... И наукам на России не бывать...

БУЙНОСОВ. А я что говорю: дворянин — сиди дома да смотри за хозяйством, — вот и вся наука...

ЕВАРЛАКОВ. С нашими порядками быть на святой Руси — пусто...

РЕВЯКИН. Пусту ли? Не еще ли страшнее?

ВЯЗЕМСКИЙ. Брось, купец, ворожить, — и без тебя тошно.

АЛЕКСЕЙ. А я вам такое сейчас покажу, — рот разинете... Письмецо маленькое.

КИКИН. Двери закрыть бы...

БУЙНОСОВ. Здесь все свои.

АЛЕКСЕЙ. Рука известна? (Читает.) «Зоон... Что до Федосеевской церкви — лучше оную сломать, нежели крепостную стену вести криво...» А? Лучше церковь сломать?.. «Ибо не гораздо на Москве церквам, — чаю, и пустых довольно... Так же и в прочих местах, — на Китай-городе, — лучше церкви ломай и береги пропорцию фортеции...»

ЕВАРЛАКОВ. Основу ломает...

РЕВЯКИН. Чтоб уж и молиться негде было.

КИКИН. Царевича в этом грехе долее оставлять нельзя, — опасно.

ВЯЗЕМСКИЙ. Уехать Алексею Петровичу хоть к римскому кесарю, там пусть переждет... Что-нибудь образуется, — хуже некуда.

БУЙНОСОВ. Да если царевича у нас не станет, — надеяться не на что... Государь, ведь только тем и живы, — надеемся на твой царский венец.

РЕВЯКИН. Аминь.

АЛЕКСЕЙ (дрожит, оглядывается). Замолчи, замолчи, проклятый... (Вскочил, схватил Буйносова за парик.) Нарочно мои тайны выпытываете... Вот — скажу отцу, ей-ей скажу... Из-за вас, дураков, мне голову терять... Дурак, дурак... (Бьет его.)

БУЙНОСОВ. Бей, батюшка, бей, православный царь...

АЛЕКСЕЙ. Не царь я... Не царь... (Обессилев, рыдает.) Не человек я... Вся душа изныла от страха... Отца боюсь... Меншикова боюсь... Меншиков, собака! Сколько лет меня спаивает, как на холопа, на меня кричит... Будет он у меня торчать на колу... Дай срок... Ромодановский, Толстой, Ушаков... На сковородах их жарю на Красной площади... (Кидается.) Кикин, Вяземский... Уведите меня на край света... Отцу не век же лютовать... Придет мой час. Все вам будет... Отцовским министрам головы отрублю... Буду жить на Москве, тихо, благочинно, с колокольным перезвоном... Воювать не стану, солдатя распушу, корабли сожгу... Питербурх пускай шведы берут, — место проклятое... (Схватил Еварлакова.) Еварлаков, не выдашь? Крестись... Тебе одному скажу... Смерти его хочу... День и ночь о том думаю... Ведь лучше всем будет? Чего не крестишься? Или, думаешь, грех? Будут мне за него адские муки? А вы что ждете? А? Почему его никто из вас не убьет? (Все, кроме Еварлакова, отшатываются, Вяземский отходит к окошку, Буйносов — к дверям.)

КИКИН. Захмелел ты, царевич...

АЛЕКСЕЙ. Трусы, трусы, холопы...

ЕВАРЛАКОВ. Мы все того хотим, ибо тягости наши чрезмерны суть.

РЕВЯКИН. Аминь.

ВЯЗЕМСКИЙ. Ряженые приехали...

БУЙНОСОВ. Кого чорт принес?

ВЯЗЕМСКИЙ. В машкерах. Уж не царь ли...

КИКИН. Уведите скорее, спрячьте царевича...

АЛЕКСЕЙ. Отец? Проводите меня... Куда итти? Спрячьте меня...

(За окном — рожки, бубны, пицалки, топот, хохот.)

БУЙНОСОВ. В чулан его спрячьте... (Махнув руками на царевича, убегает навстречу гостям.)

ВЯЗЕМСКИЙ (у окошка). Навождение бесовское...

(Все, кроме него, уводят царевича во внутреннюю дверь.)

ОЛЬГА (выбегает из другой внутренней двери, с ней Антонида с музы-

кальным ящиком.) Тонька, ставь на лежанку.

АНТОНИДА. Ряженые, ряженые приехали.

(Ольга заводит ящик. Вяземский кланяется русским обычаем.)

ОЛЬГА (Антониде — презрительно). Князь Вяземский — не кавалер.

(Обе девы торопливо приседают.)

БУЙНОСОВ (потясь из двери, — входящим гостям). Милости просим, князь-кесарь, князь Федор Юрьевич... (Входит Ромодановский в мантии и короне.) Милости просим, князь-папа, князь Петр Иванович... (Входит князь-папа в шутовской мантии с нашитыми непристойными изображениями и в жестяной мигре.) Милости просим, господин граф Александр Данилович... (Входит Меншиков, одетый римским цезарем.)

РОМОДАНОВСКИЙ (подходя к столу, осматривает.) Все ли у тебя по регламенту? Икра, сельди, редька, окорока, сухие куры, колбасы, огурцы...

КНЯЗЬ-ПАПА. Капусты нет...

БУЙНОСОВ. А вот капустка на тарелочке...

КНЯЗЬ-ПАПА. Бочку ставь на стол...

БУЙНОСОВ (вбежавшей перепуганной Авдотье, одетой во французское платье). Капусты бочку требует, что же ты...

АВДОТЯ. Сейчас, сейчас... Господи, куда же ее тащить, бочку... (Убегает.)

МЕНШИКОВ (подойдя с поклоном к княжнам). Изрядно веселитесь на святках, мамзели?

ОЛЬГА. Изрядно, господин граф.

АНТОНИДА. Изрядно, господин граф...

РОМОДАНОВСКИЙ (Вяземскому). Рад, чай, на святках старое платье надеть?

ВЯЗЕМСКИЙ. Денег нет на машкеры, надел отцовское.

РОМОДАНОВСКИЙ. Ну, ладно, — повеселись. (Буйносову.) А ты почему без машкеры? Указ знаешь? К трем часам всем надеть машкеральные уборы...

БУЙНОСОВ. Не успел я, князь-кесарь... Да и нездоров я чего-то...

КНЯЗЬ-ПАПА. Нездоров — царь живо вылечит. (Хочет.)

(Буйносов кидается к дверям, кланяется. Входит Петр, одетый лекарем, под руку с ним — Катерина, одетая арлекином, и Анисья Толстая, одетая капуцином. Сзади Поспелов, одетый арапом.)

ПЕТР. Веселья не вижу... Святки хороните...

РОМОДАНОВСКИЙ. Хозяин—жалуется — нездоров.

ПЕТР. Как тебя лечить, — промывательное, очистительное, закрепительное? БУЙНОСОВ. Зуб болит...

ПЕТР. Хирургически? Можно. Сбегай кто-нибудь — у меня в санях готовальня... Не пьют, не едят, красавицы скучные. Князь-папа, благослови питье...

КНЯЗЬ-ПАПА (с чашей, говорит нараспев). Питье трижды оскверняю непотребствуем, братия... (Дает выпить Буйносову.) Испей от зелья сего... (Буйносов пьет, князь-папа задирает мантию.) Плуты и казнокрады, пьяницы, сквернословы, обгаженные и обмоченные, дураки и умные,—подходите, лобзайте. (Оборачивается задом к Буйносову.)

ПЕТР (хохочет). Сие духовито да здорово. Подходи, Иван Иванович...

ВЯЗЕМСКИЙ (рванул на себе ворот, зашатался). А-ах!

РОМОДАНОВСКИЙ. Тоже, видно, нездоров, Афанасий?

ВЯЗЕМСКИЙ. Захмелел я...

РОМОДАНОВСКИЙ. Так, так, — протрезвись...

КАТЕРИНА (кланяется Ольге). Я веницейский арлекин, — прошу на талец, мамзель...

АНИСЬЯ (Антониде). Я превеселый капуцин, изрядный охотник до мамзелей, — прошу...

(Катерина с Ольгой, Анисья с Антонидой танцуют.)

ПЕТР. Иван Иванович, а ведь я к тебе — сватом. (На Поспелова.) Моего денщика купидон пребольно в сердце ужалил... Ольгу сватаю...

ОЛЬГА. Ай, ай!

КАТЕРИНА (танцует). Жених арап весьма престрашный, лицо хоть черное, да сердце горячее...

ОЛЬГА. Я такая чувствительная...

БУЙНОСОВ. Против твоего жениха, государь, невеста моя немощна, куда...

АНИСЬЯ. Поспит с мужиком — пополнеет... (Катерина и Анисья хохочут.)

ПЕТР. Живот на живот — все заживет.

МЕНШИКОВ (Петру). Мин херц, видишь, — валенки валяются, — здесь Алексей Петрович...

ПЕТР. Прячется? С чего? Я на него не сердит. Иван Иванович, ты куда сына спрятал?..

БУЙНОСОВ. Царевич в чулане спит... Пьяный приехал... Не знали уж, как его и в дверь-то проводить...

ПЕТР. Разбуди, — после святок выспится... (Буйносов уходит.)

КНЯЗЬ-ПАПА. Подведите ко мне отрока и отроковицу. (Петр подводит Поспелова, Катерина — Ольгу. Авдотья — в ужасе в дверях. Все повторяют слова за князь-папой.) Благословляю аз пьяный сих нетрезвых, во имя всех скляниц, во имя всех пьяниц, во имя отца нашего Бахуса, во имя неистойвой матери нашей Венус...

АВДОТЬЯ. Господи помилуй нас грешных...

АНИСЬЯ. Целовать невесту в глазки, в губки, в белые зубки...

КАТЕРИНА. Слаще, слаще...

(Входят Алексей и Буйносов.)

ПЕТР (Поспелову). Целуй, велью... АЛЕКСЕЙ (кидается к ногам Петра). Обезумел я от пьянства, от чахотки, сам не знаю, что говорю... Чахотка у меня...

ПЕТР. Что-нибудь здесь говорил?

БУЙНОСОВ. Чепуху, одну чепуху, уж мы ему рот затыкали, — больной.

ПЕТР. Сумнительно.

АЛЕКСЕЙ. Отпусти меня за границу... Болен я... Отец, пощади...

РОМОДАНОВСКИЙ. За границу? Так...

МЕНШИКОВ. За границу...

ПЕТР. Истинно — ты весьма пьян, зоон... Так, — бежать от меня хочешь? Я к тебе — добр... Хочу от тебя многого...

АЛЕКСЕЙ. Отрекаюсь от наследства... Не надо мне царства... Отпусти...

ПЕТР (гневно). Отведите его в чулан... (Меншиков и Ромодановский уводят царевича. Петру подают готовальню.)

КАТЕРИНА (осторожно и ласково, — глядя по волосам). Другого такого дорогого не найти на свете... Не гневайся, свет мой. Поедем веселиться в другое место...

ПЕТР. Катерина, матка моя... Ладно... (Буйносову, — весело.) Который зуб болит? Покажи.

БУЙНОСОВ. Кажись, не этот ли...

ПЕТР. А может, другой... Вот этот?..

БУЙНОСОВ. Будто бы этот...

ПЕТР. Князь-папа, придержи ему руку... Рот шире...

БУЙНОСОВ. Не надо...

ПЕТР. У нас — ажнуть не успеешь. Шире... (Вырывает.) Вот и все! Видели... (Показывает зуб.) Не зуб, а монстра... Четыре корня изрядных... Э, брат, да я тебе здоровый выдрал... Ну, прости, пожалуйста... Катюша, едем в другое место.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Канатный завод. Рабочие вьют канаты. Свист ветра.

ЛОСКУТ (в ножных кандалах вбегают). Бросай работу... Вода поднимается. (Пушечные выстрелы.) Слышали... Вода уж в городе по пояс... Дома заливают... (Все бросают работу.) Ребята, слушайте одного человека. (Люди расступаются, на сверток канатов влезает Варлаам.)

ГОЛОСА. Юродивый, юродивый... Слушайте, слушайте...

ВАРЛААМ (вопит). Конец Питербурху... Конец Питербурху... Конец Питербурху... С праздничком, братья во Иисусе... (Кланяется.) Царство мнимое рассыпается... Ветер восстал... Море стало... Пусту месту сему... (Плюет на четыре стороны.) Ведомо вам: из-за моря пришли три корабля, на тех кораблях клейма привезены. Вот сюда, — между большим и средним пальцем, — указано клеймить антихристовой печатью... Только тем, кто клеймен, хлеб давать будут, а на которых клейма нет — хлеба давать не будут...

ВОРОБЕЙ (протискиваясь к нему). Антихрист пришел?

ВАРЛААМ. Нет еще, сынок, но — глядет, спасись еще можно... Грядет антихрист на огнепыхательном звере, держит чашу полную мерзостей и кала, прищипаться от чаши сей...

(Голоса смятения и ужаса.)

ВОРОБЕЙ. За что нас губят? За какие наши грехи!

ВАРЛААМ. Антихрист выслал вперед себя сильного человека... Он — длинный, он с кошачьей головой, в бархатном картузе ходит по Питербурху, глазами вращает, дубинкой подпирается...

ВОРОБЕЙ. Царь!

(Общее смятение.)

ВАРЛААМ. Знающие бегут от него, души спасая... Царевич Алексей Петрович за тридцать земель убежал... Царевич — святой человек, на царевиче — божья благодать... Он — наша надежда. Он меч возьмет, поразит во главу змия...

ВОРОБЕЙ. Отец, меня благослови, меня, меня... (Бьет себя в грудь.)

(Вбегают Жигулин, приказчик и сторож с алебардой.)

ЖИГУЛИН. Что здесь, я спрашиваю? Что за разговор? (Варлаам пытается скрыться.) Опять юродивого слушали... Кто привел? (Замечает Варлаама, — сторожу.) Возьми его...

ВОРОБЕЙ (заступает дорогу). Не трогай вешего человека...

ЖИГУЛИН. Прочь пошел...

ВОРОБЕЙ (угрожающе). Купец, не трогай, говорю...

ЖИГУЛИН (хватает Воробья за грудь, швыряет на пол). Вор, гультай... На цепь его, в яму... Ребята, вода подступает, — живо тащи всю пеньку, весь товар на крышу... Всем по чарке водки...

ЛОСКУТ. Сам тащи, гладкой... Ветчину жрешь...

ГОЛОСА. Мы с голода пухнем... Хуже скотины едим... Всем тут сдохнуть на твоей работе...

ЛОСКУТ (сует Жигулину кусок). На, поешь хлеб с навозом...

ЖИГУЛИН. Бунтовать... (Выхватывает у сторожа алебарду.)

ЛОСКУТ. Город пропал, ему первому пропасть... Бери его, ребята... Бей его...

(Свалка. Стены барака шатаются.)

ГОЛОСА. Вода... Вода...

(Жигулин скрывается.)

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Левобережная набережная Невы. У воды рабочие бьют сваи. Слева дощатая палатка со с'стным, направо мазаный домик в два окна. Проходят Петр, в бархатном картузе и светлом камзоле, и Екатерина, позади — Толстой, Апраксин и Меншиков, одетый богато и пышно.

КАТЕРИНА. У нас здесь шестую неделю — тишь, тепло. Одно сожаление — редко вас видишь... (Петр ухмыляется.) Зимний дворец, глядите, сколько уж выстроили, — я все браню Растрелли, чтобы скорее... Тесно нам очень в Летнем саду, в домишке...

ПЕТР. Тесно им стало, ишь — ца-рица.

КАТЕРИНА. Для эверинца вы прислали мартышек, — только три остались, да и у тех головы распухли. Вот я — плакала... А лисица, что прислали, — смиренная, игрливая, и паче всего — духу от нее нет...

ПЕТР. В Амстердаме так и продавали, что лиса без духу. А редьку — я прислал — кушала?

КАТЕРИНА. Об'елися за столом, прусский посол уж так хвалил, — что за редька! Где такую достали?

ПЕТР. В Копенгагене купил... (Остнавливается у палатки.) Почем баранки?

ПРОДАВЕЦ (кланяясь). На полушку — пара, государь Петр Алексеевич.

ПЕТР. Дорого. На полушку — три. Смотрите у меня, купцы, — заворовались... Я — вас... Дай-ка бараночку.

ПРОДАВЕЦ. Пожалуй — отборные.

ПЕТР. Я неотборных попробую. (Берет из связки баранку, пробует.) Дряннй баранки. Смотри, на полушку — три. (Сует остаток в карман.)

КАТЕРИНА. За границей, я чаю, вы изрядно повеселились.

ПЕТР. Ни-ни... В Карлсбаде во время питья вод доктора домашние забавы совсем запретили.

КАТЕРИНА. Ох, так ли... Сумнительно...

ПЕТР. Трудновато было, трудновато... Раз подвернулась одна мадамка, да я ее скоро отпустил...

КАТЕРИНА. Красивая, веселая?

ПЕТР. Да похожа на вас маленько... Гляди, как надулась... Первое, что намышь стала похожа, второе, что я — шучу... Где уж нам с мадамками забавляться, — мы люди старые, не таковские...

КАТЕРИНА. Напрасно затеяли, что не таковские... Молодым-то гребнем не причешешься, только исцарапаешься, старый гребень лучше чешет...

ПЕТР (толкает ее под бок). Болтай, свина дочка...

КАТЕРИНА (обернувшись). Тише, — придворные глядят... А мы что ни год — от вас брюхатая... Вот какие вы, старики таковские... (Петр засмеялся, хотел ее обнять, она отстранилась.)

ПЕТР (глядит на реку; внезапно). Эй, там, в шляпке.

ГОЛОС (с воды). Есть...

ПЕТР. Разиня... Парус полощется... Подтяни шкоты. Рифы отдай. Моряки — горе... Ужо приходи ко мне — я тебя поподчую. (Показывает дубинку.)

ГОЛОС. Есть...

ПЕТР (показывая на ту сторону Невы). Это что ж такое?

КАТЕРИНА. Дворец Меншикова, только-что леса сняли...

ПЕТР. Нет, — правее я показываю...

КАТЕРИНА. Александр Данилович заложил Камер-Коллегии строить, как вы указали...

ПЕТР. Торчком к Неве!.. Вор! (Гневно обернувшись.) Светлейший князь.

МЕНШИКОВ (подбегая рысью). Что случилось, мин херц?..

ПЕТР. Тебе указано дом Камер-Коллегии ставить лицом вдоль Невы...

МЕНШИКОВ. Местечка нехватило, мин херц... Уж очень длинен, — двенадцать Камер-Коллегий... Решили поперек острова повернуть... Красиво...

ПЕТР. Вор... Своевольник... Всему свету известный вор и казнокрад... Тебе место на острове для своего дома понадобилось... (*Бьет его пэмкой.*) Раззорию... В яме сгною...

МЕНШИКОВ. Прости, прости, мин херц... Мне ничего не надо, одну любовь твою боюсь потерять...

ПЕТР. Пирог продавал, — будешь пироги продавать...

МЕНШИКОВ. Хорошо, мин херц, слушаю тебя. (*Вытирая кровь, уходит.*)

ПЕТР. Города весь план мне испортил... (*Бьет пушка, играют куранты.*)

КАТЕРИНА (*робко*). Петр Алексеевич, адмиральский час...

ШМИТГОФ (*в куртке, в колпаке, с трубкой — у дверей домика*). С адмиральским часом, герр Питер...

ПЕТР. Мастер Шмитгоф, здорово, как живешь?

ШМИТГОФ. Очень хорошо. Стаканчик водки, герр Питер... (*Достает из окна чарку на тарелке.*)

ПЕТР. С адмиральским часом, мастер Шмитгоф. (*Пьет, закусывает кренделем.*) Меншикову я не прошу... Все у вас — кое-как без меня... Набережную не замостили... Грязь, вонь... Господин адмирал... (*Апраксин и Толстой торопливо подходят.*) Разве так бьют сваи, — криво, накосо... Кто здесь работает?

АПРАКСИН. Дети дворянские.

ПЕТР. Какие дети дворянские?

АПРАКСИН. По указу вашему присланы из Москвы, — понеже не желали учиться математике и фортификации и за море ехать не пожелали же... Определено им — в наказание бить сваи на Мойке и на Фонтанке...

ПЕТР. За дело. Чего ж ты нос повесил?

АПРАКСИН. Великие муки принимают сии вьюноши, — глядеть — сердце разрывается.

ТОЛСТОЙ. Да, гиштория партикулярная...

КАТЕРИНА. Отцы их в ногах валяются, — так-то мне надоели. Свет мой, ради приезда радости — уж простил бы детей-то...

АПРАКСИН. Как-раз на той неделе посылаем новиков в Голландию, а грамотных мало...

ПЕТР (*пожанил пальцем*). Господа дворяне...

АПРАКСИН. Вьюноши, приблизьтесь без страха.

(*Появляются несколько оборванных юношей, среди них Мишка Буйносов. Все валятся в ноги.*)

ПЕТР. Встать! Ну что, — надумали учиться?

МИШКА. Надумали...

ПЕТР. В Голландии пьянствовать станете или учиться?

МИШКА. Учиться будем...

ГОЛОСА. Прости нас, великий государь...

ПЕТР. А как сваи бьете... За такую работу с десятника шкуру спускают... Ладно, поработайте еще, а я подумаю.

(*Дети дворянские уходят.*)

ПЕТР (*продолжая прогулку, — Катерине*). Дети дворянские! В Штетине допрашивал княженка Шаховского, — чему тот за два года научился. Ничему! Пиво пить с девками... Я отвернусь, а холоп его — калмыченок — из-за стула ему подсказывает. Я калмыченка за ухо... Экзамен, — все знает: такой умный калмыченок... Указал ему быть офицером во флоте, а Шаховского — в матрозы, пускай линьков попробует...

(*Идет Воробей с тюком пеньки.*)

ТОЛСТОЙ (*поспешно*). Государь, осторожнее...

ВОРОБЕЙ (*увидел Петра, уронил тюк*). Кошачья голова... Зверь...

ПЕТР (*хватает его за плечо, у Воробья из-за пазухи падает нож*). Ты что? (*Подбегают Толстой и Апраксин.*) Кто? Отвечай...

ВОРОБЕЙ. Убей сразу...

ТОЛСТОЙ. Э, голубчик... Нож-то у тебя знатный... Кто тебе дал нож?

ВОРОБЕЙ. Не скажу.

ТОЛСТОЙ. Скажешь, голубчик, — на дыбы поднимем и кожу сдернем...

ВОРОБЕЙ. Питанный уж, питанный.

ПЕТР (*отстраняя Толстого*). Дурачок, мучить не стану... Вина, хлеба дам... Отпущу, — скажи — кто тебя послал?..

ТОЛСТОЙ. Отвечай — на спицы поставим...

ПЕТР (Толстому). Поди прочь... (Воробью.) Знаю, что вы про меня думаете... Взгляни. Человек, такой же, как ты... А ты убить хотел... (Воробей всхлипнул.) Кто тебя послал по мою душу?..

ВОРОБЕЙ. Варлаам...

ПЕТР (кричит). Кто! Варлаам?..

ВОРОБЕЙ. Ты — мучитель... Тебя уходить нужно... Царевич вернется, — нам легче будет...

ПЕТР. Иди, дурак... (Воробей пятится, Петр о нем забывает, вплоть — Толстому.) Так-то смотришь ты за моими врагами... Варлаам мне страшнее чумы... Варлаам — сына моего голос. (Вырывает у Толстого нож.) Торчат ножу в тебе... Поезжай... Всю Европу изъезди, — привези мне Алексея...

ТОЛСТОЙ. Сие — комплике... Слушаю, Петр Алексеевич...

ПЕТР. Ушакову скажешь, — сей же час найди Варлаама, начать розыск...

(Появляется Менишков в фартуке, в колпаке, с лотком.)

МЕНИШКОВ. А вот — пироги подовые... А вот пироги подовые, медовые, — полденьги пара, прямо с жара...

КАТЕРИНА (машет на него). Уходи, уходи, не во-время...

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Летний сад. Домик Петра. Трельяжная беседка, где стоит Северная Венера. В беседке — Алексей, в дорожном европейском платье: бледен, глаза невидящие, рассеянно поглаживает голубя. Осторожно подходит Буйносов.

БУЙНОСОВ. Царевич... Нынче утром Афанасия Вяземского взяли в железа, отвезли в крепость.

АЛЕКСЕЙ (не глядя на него). Мне то что за беда, — Вяземский мне не друг.

БУЙНОСОВ. Еварлакова в другой раз на дыбу поднимали. Ревякин под кнутом помер... Царевич, не выдавай меня...

АЛЕКСЕЙ. Я никого не выдавал, зря брешешь...

БУЙНОСОВ. Бог тебе простит, что ты своих верных друзей перед отцом оговорил. Лучше бы ты совсем не приезжал, Алексей Петрович. Какие муки за тебя приняли... Кикин, — знаешь, — полтора суток на колесе кричал, изломанный. Варлаама живым сожгли... Про тебя все молчали.

АЛЕКСЕЙ (тихо, в гневе). Отвяжись от меня к чорту, пес...

БУЙНОСОВ. Я пытки боюсь... Донесешь на меня, — со страху наговорю, чего и не было... (Совсем тихо.) А чего и было... Помнишь, как ты кричал: «Отец-де по городу пеший бродит, — уходить его можно ножом, али ножа в три...»

АЛЕКСЕЙ (тихо). Дьявол, дьявол, проклятый...

БУЙНОСОВ. Слабый ты человек, Алексей Петрович...

(Из домика выходят Катерина и Авдотья Буйносова.)

АВДОТЬЯ. Миша мой пишет, — в Амстердаме так заучился, — пишет, — головка кружится...

КАТЕРИНА (бросает крошки через решетку). Павлин, павлин...

АВДОТЬЯ. А гуси, утки — где же у тебя, государыня матушка?

КАТЕРИНА. Гусей, уток в Летнем саду не держим, здесь чистая птица... Павлин, павлин...

АВДОТЬЯ. Умно, государыня матушка, умно, — русская птица гадит обильно и еще виши на утках...

КАТЕРИНА. Павлин, павлинушко...

БУЙНОСОВ. Авдотья, помолчи хоть немного, дура, — чего несешь...

АВДОТЬЯ (покашляв). Я — статс-дама, Иван Иванович, я знаю, что говорю.

БУЙНОСОВ. Дерзка стала...

АВДОТЬЯ. Государыня мне волю дала — с вами разговаривать...

АЛЕКСЕЙ (с голубем у груди приближается к Катерине). Голубка вот держу у сердца, будто сыночка твоего, Петеньку, ангела-цесаревича прижимаю... Радость какая — на границе узнал, что братец у меня, заплакал от счастья...

КАТЕРИНА. Что ты ее давишь, так задушить можно, — отпусти лучше...

АЛЕКСЕЙ. Лети, счастливый... (Отпускает голубя.)

КАТЕРИНА. Ты и впрямь в монастырь собрался?

АЛЕКСЕЙ. Одно меня в жизни держит... Одно... (Вдруг припал на колени, тряся плечами, целует край катериного платья.)

КАТЕРИНА. Встань, нехорошо, Алексей Петрович.

АЛЕКСЕЙ. Помоги, помоги... Не погуби... Выручи Афросиньюшку.

КАТЕРИНА. Кого?

АЛЕКСЕЙ. Девуцу Афросинью — жену мою перед богом... Оставил ее в Берлине брюхатую, — дороги тогда были тяжелы... Третьего дня приехала, — ей вот-вот родить... Ее с корабля сняли, схватили, прямо увезли в крепость... Толстой третьи сутки допрос чинит... Ей грубого слова, бывало, не скажешь... Ее — в застенок... На дыбу...

КАТЕРИНА. Ох! Дела эти... Не плачь. Уж скажу отцу, скажу...

(Монс появляется, одет по последней французской моде, кланяется.)

КАТЕРИНА (ласково). Дебошан французский, Виллим Иванович.

МОНС. Его величество государь изволили прибыть на шлюпке.

КАТЕРИНА. Обед готов, Виллим Иванович, давно ждем...

МОНС. Осмелюсь, ваше величество, вас — отдельно...

КАТЕРИНА (отходя с ним). А что случилось?

МОНС. Государь весьма тяжело расположен... Они прямо из крепости, с розыска...

КАТЕРИНА. Ох...

МОНС. Лучше б всех удалить...

КАТЕРИНА. И то, удалю от греха... Виллим Иванович, все замучились, конец бы этому розыску... Государь по ночам зубами скрипит, кричит... (Буйносовым.) Пойдемте в дом, на мою половину, государь один будет кушать.

АВДОТЬЯ (мужу). Когда государыня проходит, трясися шляпой.

БУЙНОСОВ. Етикет без тебя знаю... (Катерина и Буйносовы уходят в дом.)

МОНС (Алексею). Вы, государь мой, задержитесь.

АЛЕКСЕЙ. Батюшка хочет со мной говорить? Виллим Иванович, друг, благодетель, батюшке ты не шепнул про Афрасинью? А?

МОНС. Я — лишь секретарь при ее величестве для личных поручений, — делам государственным не причастен...

АЛЕКСЕЙ. Государственное дело?... Ты меня пугаешь, друг...

(Входят Петр, Толстой и Поспелов.)

ПЕТР. Зоон...

АЛЕКСЕЙ. Батюшка, милостивый... (Пытается поцеловать руку.)

ПЕТР (отдергивая руку). Веселые дела узнал про тебя... Горестно мне, зоон... (Садится. Монс уходит в дом.)

ТОЛСТОЙ (сухо кашлянув, вынимает из папки бумагу). Показание...

ПЕТР. Подожди... (Сыну.) Не однажды писал я тебе... Много тебя бранивал. Не только бранивал, но и бил... Почитай, сколько лет не говорю с тобой... Ничто не успело, — все даром...

АЛЕКСЕЙ. Вашей воле я покорен, батюшка...

ПЕТР. Всем известно: ты ненавидишь дела мои... И по мне раззорителем всех дел моих будешь... Молчи, зоон, лучше — слушай... При моем отце был у нас единственный корабль, гнил на Волге. Ныне наши флоты плавают в трех морях... Неприятели боятся нас... Несносными трудами устроили разные мануфактуры... На людей стали похожи... Бояр, любезных тебе брадами да ленью, дубиной гоню с печи — за море учиться... Купцы наши теперь, слава богу, не последние за границей, на биржах... Всех сих дел ты раззорителем будешь... Молчи, зоон, — более верить тебе не могу... Хотя бы истинно ты захотел дела мои беречь, тебя принудят к раззорению оных большие брады, боре да попы — ради тунеядства своего... Ибо ты равнодушен. Нельзя быть, зоон, ни рыбой, ни мясом... Я не щадил людей, я и себя не щадил... Чего не домыслил, что дурно делал, — что ж! — виноват... Но за отечество, за люди я живота своего не жалел и не пожалю. Помысли, как могу тебя, непотребного, пожалеть?..

ТОЛСТОЙ. Алексей Петрович, по вашему прибытию государь поверил, что вы ему, как на исповеди, все открыли...

АЛЕКСЕЙ. Все, все... Батюшка, я всех выдал, всех... Ах, одного запамятовал — князя Буйносова, Ивана Ивановича...

ТОЛСТОЙ. Сей нам известен...

АЛЕКСЕЙ. Батюшка, вы обещали отписать мне деревеньку в глуши, где бы я день и ночь молился за ваше здравие... Окажите милость последнюю — дайте мне согласие на брак с Афросиньей...

ПЕТР. С Афросиньей? (Глядит на Толстого.)

ТОЛСТОЙ. Курьезите...

ПЕТР. Нет, зоон, в деревеньку тебя сослать невозможно...

АЛЕКСЕЙ. В монастырь? Молод я еще, для схимы не годен...

ПЕТР. Нет, и не в монастырь. (Толстому.) Прочти ему...

ТОЛСТОЙ (читает). «По прибытии в крепость жившая с царевичем девка Афросинья по своей воле сказала за собой слово и дело...»

АЛЕКСЕЙ. Сама? Нет! Не поверю...

ТОЛСТОЙ. «После чего вышеназванной девке учинен допрос. На оном она показала — царевич-де в гневе говаривал на государя простые слова и говаривал: «Меня-де австрийский император любит, он мне даст войско, если захочу. Только я и без войска обойдусь, — отцу-де не вечно жить, он пьет много...» И еще говаривал: «Хотят, чтоб я отрекся от престола, я любое письмо дам, это-де не запись с неустойкой, — дам, да и назад возьму. А мне только шепнуть архиереям, архиереи шепнут приходским священникам, а священники приходжанам, — все будет, как я захочу: меня чернь любит...» И говорил еще: «А захотят сослать в монастырь, — ну что ж! — я пойду: клобук не гвоздем к голове прибит...»

ПЕТР. Так...

АЛЕКСЕЙ. Ничего не говорил и не думал...

ПЕТР. Зоон, сам я не отважусь такую болезнь лечить... Посему вручаю тебя суду сената...

АЛЕКСЕЙ. Смилуйся... Оправдаюсь... Богом клянусь...

ПЕТР. Стража...

ТОЛСТОЙ. Господи* поручик...

ПОСПЕЛОВ. Есть...

АЛЕКСЕЙ. Поверь в последний раз...

ПЕТР. В железа его.

ПОСПЕЛОВ. Есть.

АЛЕКСЕЙ. Батюшка, родной, пожалей... (Ему крутят локти.) Что вы делаете?.. (Уходящему Петру.) Отец, не вели пытать. (Петр, не оглянувшись, уходит.)

ТОЛСТОЙ. Алексей Петрович, об Афросинье не горюй, девка была к тебе подослана...

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Каземат в крепости. У двери Поспелов курит трубку. На дощатой койке в тулупе лежит Алексей. Бьют крепостные куранты.

АЛЕКСЕЙ (бормочет). Поведут на плаху, и тулуп снимут, и голову на плаху положат... Палач занес топор... Вдруг — стой, стой!.. Офицер скачет, грамотой машет... Стой, стой, палач... Помиловали... Господи, господа, а вот — опоздай на минутку... Господи, не дай опоздать... Опять тулуп наденут... В санях увезут... (Приподнялся.) Василий...

ПОСПЕЛОВ. Ну?

АЛЕКСЕЙ. Афанасия Вяземского помиловали?

ПОСПЕЛОВ. Вчера кончили на колесе...

АЛЕКСЕЙ. На колесе-е... Да... Афанасий Вяземский был плохой человек... Не оговори я его, он бы все равно попался... Вася, а это недавно кто кричал?..

ПОСПЕЛОВ. Один — из твоих...

АЛЕКСЕЙ. Им надо было понимать, зачем они толкали меня на супротивство. В оба уха нашептывали — то плохо и то плохо, я им и верил... Уж, кажется, чего — прикажет батюшка приехать на ассамблею, а мне кажется, лучше в лихорадке биться, чем сидеть с его министрами... Был один поп, он на меня глазами сверкал: что Москва — третий

Рим, иностранцев всех надо перебить, границы закрыть и, как было прежде, восстановить древнее благочестие... Чорт этот поп... Чорт окаянный... *(Пауза.)* Водицы!.. *(Поспелов дает пить из кувшина.)* Руки вывернуты, а спине теперь не больно, как маслом помазали... Вася...

ПОСПЕЛОВ. Ну, слушаю.

АЛЕКСЕЙ. Сенат приговорил к смерти. А батюшка ведь может помиловать, он выше сената... А?

ПОСПЕЛОВ. Вряд ли...

АЛЕКСЕЙ. Ты бы лежал, а я бы стоял, я бы тебе не так ответил... Эх вы, — звери... Вот погоди, меня еще помилюют, я тебя на кол когда-нибудь посажу...

ПОСПЕЛОВ. Покурить хочешь?

АЛЕКСЕЙ *(затянулся)*. Горько... Ох, тоска, тоска... Вася, сбегай к царю, — я от имени отрекусь... Народу скажут — казнили, а меня тайно — в Соловецкий монастырь... Без имени, тихонько, так и проживу там...

ПОСПЕЛОВ. Не пойду. Лежи спокойно... Мужчине нехорошо смерти бояться... А еще царствовать хотел... Эх ты...

АЛЕКСЕЙ. Томно.

ПОСПЕЛОВ. А ты засни.

АЛЕКСЕЙ. Мальчик у нее родился?

ПОСПЕЛОВ. У кого?

АЛЕКСЕЙ. У Афросиньи...

ПОСПЕЛОВ. А чорт ее знает...

АЛЕКСЕЙ. Она где теперь?

ПОСПЕЛОВ. У коменданта живет...

АЛЕКСЕЙ. Проклятая, проклятая... Хуже всех ненавижу... Ужалила в сердце... Гада, рыжая... Ребенку ее не жить... Ребенку моему проклятие отцовское... Анафема...

ПОСПЕЛОВ. Будет тебе безобразничать... Спи...

(Шаги, звон ключей. Алексей приподнимается, глядит на дверь. Входят Петр, Меншиков, поп Битка, Толстой, князь-папа — в черном плаще. Апраксин.)

ПЕТР. Проститься с тобой пришли. Можешь — прости... Зла к тебе не имею... Помню, как носил на руках... Что ты сын мой, помню... Любил тебя мало, — прости... Виноват... Прощай... *(Целует в лоб.)*

МЕНШИКОВ. Прости, Алексей Петрович, много согрешил перед тобой... *(Целует.)*

ТОЛСТОЙ. Алексей Петрович, преужасный грех мой перед тобой... Трудно, — не насилуй себя, не прощай... *(Заплакал.)*

АПРАКСИН. Прощай, скоро и я, старик, за тобой...

КНЯЗЬ-ПАПА. Прости меня, безобразного, скверного, многогрешного...

(Битка наклоняется с крестом, шепчет.)

АЛЕКСЕЙ *(Битке)*. Умоли отца — помиловать... Что ты, глухую исповедь читаешь...

ПЕТР *(отойдя к двери, берясь за дверь)*. Кончайте...

(Все бросаются к Алексею.)

КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Новый Зимний дворец. Проходная комната с закоулками и дверцами. Туалетный стол, свечи. Ольга и Антонида, обе пышно одеты.

ОЛЬГА *(бежит к туалету — пудрится)*. Сейчас императрице будут делать кран куафюр. И — значит, большой выход, потом — обед. Царевна Анна Петровна и герцог Голштинский сядут за отдельный стол. Государь сегодня будет маршалом на пиру...

АНТОНИДА. Ольга, какие палаты!.. В Москве таких и не видали...

ОЛЬГА. Иностранцы удивляются — русский Версаль. Муж с тобой приехал?

АНТОНИДА. Нет, опять где-то в Сибири, — купчина, мужик. Ольга, скучно живу, только, что денег много...

ОЛЬГА. Тебе, Тонька, нужно немедленно завести аманта при дворе...

АНТОНИДА. Кого?

ОЛЬГА. Любовника, взять гвардии офицера... Их нынче развелось, — войны-то нет... С ним — на все балы, машкерады. Делай ему подарки, — когда табакерку, когда шелковые чулки, когда и деньгами... Чтоб тебе завидовали...

АНТОНИДА. Ой, а муж узнает если?

ОЛЬГА. Дура московская, как же в свете — без изящного любовника? У всех аманты.

АНТОНИДА. Оля, и у тебя?

ОЛЬГА. Милая, не один десяток сменила... Их нужно менять: все с одним да с одним, в свете скажут — редикуль, смешно... Этого больше смерти бойся... Ах, Тонька, высший свет — это праздник, понимаешь, без отдыха праздник... Пирь, танцы, любовь... Петербург — это парадиз... Императрица!.. Ты знаешь, как кланяться? Большой реверанс...

АНТОНИДА. Чай, присяду...

(Входят Катерина в пудромантеле, Монс, Авдотья Буйносова и несколько дам и парикмахер. Катерина садится у зеркала, Монс — у ее ног, на скамеечке.)

ПАРИКМАХЕР. Вотр мажете чуть-чуть бледна сегодня...

КАТЕРИНА. Уксусу понюхать...

(Авдотья и дамы кидаются за уксусом.)

АВДОТЬЯ *(одной из дам)*. Пусти, пусти, сама подам...

ДАМА. Пардоне муа, уксус всегда я подаю...

АВДОТЬЯ. Пусти, не так подашь...

ДАМА. Пардоне муа, умру, не отдам...

КАТЕРИНА. Что же вы, статс-дамы?

ДАМА *(подает)*. Ваше императорское величество, извольте понюхать...

АВДОТЬЯ. С похмелья, ваше величество, хорошо — рассолу...

КАТЕРИНА. Знаю... Не по этикету... Виллим Иванович, усладите слух...

МОНС. Истинно, не спал всю ночь, — сочинял — так мысли и лезут... *(Читает по бумажке.)*

Ах, что есть свет, и в свете, — все про-
тивно...

Не могу жить, ниже умереть... Сердце
тоскливое,

Долго ль еще мучиться? Купидо, вор
проклятый,

Пробил стрелю сердце, — лежу без
памяти...

Ах, тоска великая... Сердце пробито
Кровью рудой запеклось, и жала стрелы
не вынути...

КАТЕРИНА. Весьма чувствительно, чудные вирши... *(Дамы тихо аплодируют.)*

АНТОНИДА. Оля, вот бы этого — в аманты...

ОЛЬГА. И думать не смей, Тонька...

ПАРИКМАХЕР. В Версали ле дам дю монд более не выпускают буклей... Осмелюсь: сет букль—се па за ла мод... *(Волнение среди дам.)*

КАТЕРИНА. Нам также букли носить не в авантаже, — убери.

ПАРИКМАХЕР. Это делает честь великому вкусу вотр мажете. Можно об'ехать все дворы Европы, — великий вкус, роскошь русского двора затмевает все на свете...

КАТЕРИНА *(дамам)*. Подкрепительного.

МОНС. Извольте подкрепиться рюмкой венгерского...

КАТЕРИНА *(отстраняет)*. Покрепче, — перцовый... *(Парикмахеру.)* Подрумянь щеки...

ПАРИКМАХЕР *(трогает заячьей лапкой)*. Вуаля! *(Откидывается.)* Вотр мажете подобна утренней заре... *(Снимает с нее пудромантель.)* Северный Венус!

(Анисья Толстая быстро приближается, шепчет Катерине на ухо.)

КАТЕРИНА *(схватясь за сердце)*. Что ты говоришь! У кого оно?

АНИСЬЯ ТОЛСТАЯ. У Петра Андреевича Толстого.

КАТЕРИНА. Что же теперь будет?

АНИСЬЯ ТОЛСТАЯ *(громко)*. Ваше императорское величество, весь двор ожидает в нетерпении...

КАТЕРИНА. Подайте шифр... *(Тихо.)* Виллим Иванович, побудьте здесь, — я улучу минуту...

МОНС. Что случилось?

КАТЕРИНА. Страшное... Статс-дамы, ленту и шифр...

(На Катерину надевают ленту с алмазами. Катерина, за ней все дамы идут к дверям в зал. Музыка. Одновременно из других дверей проходят в зал царица Анна Петровна с сестрой, теткой и царевичем.)

ОЛЬГА *(Антониде)*. Невеста, Анна Петровна, — за платье десять тысяч рублей плочено. Эта, в персиковой ро-

бе, — царевна Елизавета Петровна... Ее за французского короля сватают... В черной робе царевна Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская... Видишь, толстомордый, у дверей жметя, — ее любовник, Бирон, из конюхов взятый, Мальчик хорошенький — царевич Петр Алексеевич, государя внук... *(Ольга и Антонида уходят вслед за другими.)*

(Монс чистит ногти у зеркала. Появляется Буйносов во французском платье, но без парика, на голове шутовской колпак.)

БУЙНОСОВ *(падая к ногам Монса)*.
Благодетель...

МОНС *(не глядя)*. Что, князь Иван Иванович?..

БУЙНОСОВ. Да за что же? Опять парик содрали с головы, колпак надели.

МОНС. Таково приказание императора: тебе шутить и шалить за столом герцога Голштинского... Что? Тебе мало чести?

БУЙНОСОВ. Ради такого дня... Я бы на большой выход парик-то надел, а уж за столом — колпак...

МОНС. Нельзя...

БУЙНОСОВ. Виллим Иванович, а насчет того дела, — меня в Сенат сенатором? *(Сует ему в руку.)*

МОНС. Что это?

БУЙНОСОВ. Табакерка рыбьего зуба — со вложением...

МЕНШИКОВ *(входит, — Буйносову)*.
Пооди, пооди, князь Иван Иванович...

БУЙНОСОВ *(кланяется)*. Светлейший... *(Уходит.)*

МЕНШИКОВ. Сердечный, наивернейший друг, Виллим Иванович. Я уж к тебе... Замолви за меня, шепни. Донос, опять донос... Петр Алексеевич который день видеть меня не хочет...

МОНС. С коей стороны донос?

МЕНШИКОВ. Чорт их знает, — Толстой, либо Шафиров... Будто я опять хапнул на военных поставках. Сплетни же, — на что мне деньги.

ПОСПЕЛОВ *(входит)*. Виллим Иванович, внизу купцы пришли, Жигулин, Свешников, Шорин... Просятся в зал...

МОНС. Кто их пропустил!

ПОСПЕЛОВ. Жигулин говорит, государь с ними вчера в аустерии на Петер-

бургской стороне вино пил и велел прийти...

МОНС. Глупости. Гони купцов в шею. На ковры натопчут мужицкими сапогами.

ПОСПЕЛОВ. Дело твое. *(Уходит.)*

МЕНШИКОВ. Да, императорский двор, — нельзя, нельзя... Ты еще маленький был, у Петра Алексеевича, бывало, в домишке кто только за столом не шумит... Простое было время. Виллим Иванович, не во-время моя опала. Государь плох, мрачен... А ну, как... спаси божье, спаси божье... Кому наследовать?.. Завещания-то нет... Крепость государства на нас троих стоит: императрица, ты да я... А тут — враги мои... Шепни государыне, он ее слушает. Друг. *(Хватает его за руки.)* Ах, ручки твои белые, по мерке им индийский изумруд... Носи... *(Снимает с себя перстень, надевает Монсу.)*

МОНС. Надейся на меня, как на каменную гору.

(Входит Толстой и Шафиров.)

ШАФИРОВ *(с усмешкой)*. С черного крыльца забегать стал светлейший-то.

ТОЛСТОЙ. Не связывайся с ним, хуже чорта прилипнет.

(Они церемонно раскланиваются с Меншиковым.)

ШАФИРОВ. Давно тебя во дворце не видно, светлейший, здоров ли?

МЕНШИКОВ. Почечуй маленько пошаливает, барон Петр Павлович, да по-дагра.

ШАФИРОВ. Понятно, понятно.

МЕНШИКОВ. То-есть — что тебе понятно?

ТОЛСТОЙ. Со счетами у тебя нехорошо выходит, Александр Данилович...

МЕНШИКОВ *(задыхаясь от бешенства)*. Какие счета? Какие еще тебе счета!

ТОЛСТОЙ. Ай, ай, ай...

ШАФИРОВ. По многу хапать стал, светлейший, разбойничаешь, казна трещит.

МЕНШИКОВ. Докажи! Сам — вор, жид крещеный...

ШАФИРОВ. Но, но!

ТОЛСТОЙ. Господа министры, господа министры...

ШАФИРОВ. Тебе давно надо ноздри вырвать...

МЕНШИКОВ. Собака, на колу сдохнешь!.. (Оба схватываются за шпаги.)

ТОЛСТОЙ. Господа министры, лайтесь в другом месте.

МЕНШИКОВ. А ты, святоша, — вор самый первый...

ТОЛСТОЙ. Нельзя судить огулом, ваша светлость, не все воруют...

МЕНШИКОВ. Нет, все... Ты с турецкого визиря сколько сдернул?

ТОЛСТОЙ. Сплетни.

МЕНШИКОВ. Нет такого человека, — хоть копейку, да украл. (На Шафирова.) Его потряси — сколько из него посыплется...

ШАФИРОВ. А ты меня поймай...

МЕНШИКОВ. Эх... Одни дураки нынче не обманывают государя...

(Во время этой сцены Петр незаметно вышел из двери, ведущей в его токарную комнату, он в байковой куртке и колпаке.)

ПЕТР. О чем спор?

ТОЛСТОЙ. О пустяках повздорили...

ПЕТР. Спорили — кто меня еще не обманул?

МЕНШИКОВ. Шутили, мин херц.

ТОЛСТОЙ. Спор о том: у светлейшего князя в счетах темно, — железо-де им куплено по два рубля за пуд, а стороной известно, платил он на Урале Акинфию Демидову по рублю...

МЕНШИКОВ. Врет, врет, — платил по два рубля, как перед господом... Пусть разберет господин Сенат...

ПЕТР. Помолчи. (Шафирову.) А ты что украл?

МЕНШИКОВ (на Шафирова). Пусть он даст отчет о казенных деньгах, — когда в Париж ездил...

ШАФИРОВ. Да я за каждую копейку государеву душой болею... Обидно... (Заплакл.)

ПЕТР (Толстому). Ты что скажешь?

ТОЛСТОЙ. Государь, не одни твои министры, но и сенаторы, и все чины, и дворяне все, от мала до велика, вступили в сущее расхищение казны. Не столько служат государству, сколько сидят у

наживочных дел в свой карман... Бедствие велико...

ПЕТР (Меншикову). Старик Толстой, быть может, с ума спятил? Хоты ты утешь меня, что не напрасно все содеянное... (Пауза.) Хочу предложить Сенату указ: кто украл хотя б столько, чтобы можно веревку купить, — на украденные деньги купить веревку и повесить одного... Господа министры?

МЕНШИКОВ (мрачно). Захочешь розыск чинить — плетей нехватит... Судить хочешь — суди всех... Казнишь, с одними черными людьми останешься. Один...

ПЕТР (едва сдерживаясь). Спасибо, утешил, сын мой любимый... Твоя голова первая полетит... И твоя... И твоя... Один останусь, один, один.

ПОСПЕЛОВ (появляется в глубине). Прибыл герцог Голштинский...

ТОЛСТОЙ. Ваше императорское величество, извольте быть в авантаже...

ПЕТР (бешено). Поспелов!

ПОСПЕЛОВ. Есть.

МЕНШИКОВ. В железа нас взять, казнить — успеешь, оденься, Петр Алексеич.

(Министры окружают его, теснят к двери, он пятится, скрывается. В зал проходит герцог Голштинский, — журавлиным шагом, — длинный блондин. Министры кланяются ему, уходят вслед.)

АНИСЬЯ ТОЛСТАЯ (вбегает). Где государь? Все ждут...

МОНС. Его императорское величество еще не одет и не в авантаже.

АНИСЬЯ ТОЛСТАЯ (тихо). Жди, сейчас придет. (Уходит.)

(Монс пудрится.)

КАТЕРИНА (выходит из боковой двери). Виллим Иванович, беда.

МОНС. Что? Что?

КАТЕРИНА. Донос.

МОНС. Донос?

КАТЕРИНА. Писец из твоей канцелярии, Егор Столетов.

МОНС. Столетов...

КАТЕРИНА. На допросе сказал Толстому, будто видел у тебя мои письма.

МОНС. Сжег. Все сжег.

КАТЕРИНА. Одно не сжег.

МОНС. Это... Смерть...

КАТЕРИНА. Нет, нет... Я найду словечко, — государь добрее стал... Все оберну в легкое куртаже. Только ты сейчас со мной не танцуй, будто я на тебя гневаюсь... Виллим Иванович, не трепещи, — пытать не станут. А будут пытать, ты молчи, отпирайся... Я и на плахе тебя спасу... Свет мой... *(Обнимает его, целует.)*

ПЕТР *(выйдя из токарной, остановившись, глядит)*. Катерина, мне — кафтан и ленту...

(Катерина слабо вскрикивает, опускается на колени. Монс стоит, закрыв лицо руками.)

ПЕТР. Отошли его. *(Монс скрывается.)* Что мне теперь делать? Ум гаснет, научи. *(Указывает на зал.)* Кафтан надеть, итти в сию кунсткамеру? Булавой стучать на вашем пиру? Глядеть, как ты юбками вертишь, распутная, меж воров, глущев, монстров? Для того мы ломали хребет? Для того я убил сына? Для ради тунеядства любовников твоих, для ради веселья шлюх твоих напудренных? Город сей поставлен на человеческих костях. Для кого? Отвечай! Трудимся над сим огородом, поливаем потом и

кровью, — видишь ты, какие цитроны и оранжи выросли! Чертополох! Сын Алексей хотел без мучительства сидеть в Кремле, долдонить в колокола, как отцы и деды. Может, Алексей умнее меня? Может, я убил его напрасно? Отвечай... Сколь жалок есть человек... Встань, подойди...

КАТЕРИНА. Смерть приму легко от рук твоих... Все мне дал, все взял... *(Хочет поцеловать руку, он отдергивает.)*

ПЕТР. Его я казню. Тебя прошу. Ума в тебе мало, бабьего распутства много. Но, кроме тебя, никого нет... Отдам тебе все, — не торопись... Если начатое нами расточишь, — анафема тебе... Иди, видеть тебя более не желаю...

(Входят князь-папа с булавой, Анисья Толстая и Буйносов.)

КНЯЗЬ-ПАПА. Господине наш, маршал пира... На столах усладительные яства, вина, пива и меды. Жених и невеста ждут. У гостей чрева пустые гудят. Господине маршал пира, извольте взять булаву, начать битву с превеликим недругом нашим Ивашкой Хмелем.

(Петр встает, берет булаву.)

III. БОР

За окном — в цветах поляна,
За поляной — старый бор.
Мне из дальнего тумана
Тянет хвоей до сих пор.

Тянет молодости цветом,
Тихой родиной твоей.
Истекало зноем лето,
Смолы капали с ветвей.

На ветвях страдали птицы
Всё о том же, все о том,
О любви, которой снится
Сердца раненого гром.

О любви, которой свистом
Не расскажешь ни о чем,
Даже словом, даже чистым
Ледяной воды ключом.

Но язык томленья равен:
Не на том ли языке
Пели нам деревья, травы,
Рыбы вольные в реке?

Эту песню, песню бора,
Мы и до сих пор поем,
Песню легкую, в которой
Все о том же, все о том!

Год рождения 1905-й

Хроника одного детства

М. ЧУМАНДРИН

Часть первая

... Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны немощных лишений и героических усилий ..

С т а л и

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В кухне толпились жильцы-кондуктора, кто-то из них был подвыпивши и теперь все пытался плясать. В сенях Ажогины столкнулись с домохозяином. Старик Мологонов шел из отхожего места, в одном белье, в полушубке, накинутом на плечи, в белых валечках, с малиновой росписью по голенищам.

— Ажогин! — закричал он, вынув из беззубого рта самодельную трубку, перевязанную у мундштука тоненькой медной проволочкой. — Имей в виду, что я тебя с квартиры сгоню!

Отец отвел его руку в сторону и молча, как бы прощаясь с беспокойным стариком, прикоснулся к лакированному козырьку. Из кухни, задыхаясь, выплыла большая, толстая «сама», Мологониха.

— Ай, Иван, Иван, как это так некрасиво поступать! Человек ты немолодой, не приведи бог, какая беда, — чем виноваты жена, дитё?.. С чем останутся? Ай, Иван, Иван!..

— Очистить мой дом! — уже топал валенками хозяин, расфыркивая из трубки искры.

Из кухни доносилась громкая песня. Веселый голос тихо и незлобно выгова-

ривал длинное, несуразное ругательство. Отец и Антон спустились с крыльца и по утлым, прогнившим мосткам прошли к воротам.

По Технической улице небольшими кучками, направляясь в сторону депо, пересекая Кривоноговскую и Воздвиженскую улицы, и по тротуару, и по мягкой дороге, поднимая желтую густую пыль, шли мастеровые. Некоторые из них здоровались с отцом, некоторые молча обгоняли Ажогиных.

Дом ватного фабриканта Юльма на углу Кривоноговской выглядел по-всегдашнему одиноко и горделиво. Над воротами, как обычно, сиял золоченый стеклянный шар.

Дом стоял в глубине палисадника. К парадной вела неширокая, усыпанная песком дорожка, и на ступеньках парадной сейчас сидели два городских, положив на колени свои черные шашки. По дорожке прохаживался околочный Хрош, распушив богатые красные усы. Он расхаживал, поскрипывая щегольскими сапожками, играл серебряным темляком офицерской шашки.

За староверским кладбищем начинался пустырь, городская свалка. Железная дорога, депо и мастерские смутно вид-

нелись вдалеке. Прямо по свалке в сторону их, медленно спотыкаясь, двигались люди.

Вдоль дороги, шедшей от новых казарм, взад-вперед скакали верховые, кое-где стояли солдаты в светлых рубахах, солдатские штыки горели на солнце.

Ивана нагнал невысокий, скуластый человек, одетый, как и все, но обутый в галоши на босую ногу. Он поздоровался с Ажогиним.

— Проснулся — бац, а сапоги мои — того, к ним ноги приделали... — весело заговорил он, с интересом оглядывая себя. — Разумеется, народ голодный, жрать им надо...

День расцветал ярким солнцем. Над горизонтом дрожало радостное синее небо. Слышалось приближающееся изда-лека гудение рельсов. Когда переходили через полотно, под ногами сухо лягала толстая оцинкованная проволока. Она точно сопровождала полотно, идя рядом с ним.

Люди подошли к воротам депо, тут их встретил сердитый оклик:

— Для кого написано?

Полицейский сурово тыкал пальцем в забор, в квадратный клок бумаги.

— Сказано ж: возбраняется.

Впрочем городской был испуган.

С той стороны из ворот нажали на него, вытолкнули на мостовую, и из калитки вывалилась толпа веселых парней.

— Братцы, мы тоже кончаем!..

И в самом деле, над толевой крышей одного из зданий поднялось молочное облачко, над всем широким пространством пустыря, дорог, мостовой раздавался увесистый, тяжелый звук гудка. За стеной запели невидимые голоса. Они как бы на-ощупь, видимо, плохо зная слова и мотив, пели песню, не похожую на все то, что приходилось Антону слышать до сих пор.

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный!

Веселый полдень встречал песню бойким ветерком, пригибавшим к земле пыльные листья придорожного лопуха. Ворота с тяжелым скрипом распахнулись, и из них повалил народ. Вместе с толпой сюда выскользнуло и еще не-

сколько городских. Околоточный кричал, размахивая перчаткой:

— Господа, я делал предупреждение!

Городовые хватали за полы, за локти, за плечи тех из рабочих, кто шел с самого края. Рабочие отпихивались от городских и шли дальше.

Рабочие продолжали петь.

Широкая волна народа, захватившая и мостовую, и полотно, направлялась к паровозным мастерским. Сзади повизгивал маневровый паровозик, обещанный молодежью, — она шумела, размахивала шапками, пела. Такое оживление Антон наблюдал впервые. В толпе откуда-то появились беленькие листки, пение начало смолкать.

— Прокла́мации! Дай сюда!.. — заговорили кругом, и листки пошли по рукам.

Потом, уже около чугунных, кованых ворот паровозных мастерских, песня вспыхнула вновь. Пели только один припев, но он звучал так, что его эхо грозно отдавалось далеко над крышами закопченных, бурого кирпича, зданий.

Из ворот выходили все новые и новые рабочие. Они сразу присоединились к деповским. В руках у рабочих шелестели прокламации, над головами трепетал самодельный флаг из красного, неправильной формы, лоскута. Флаг резко щелкал на ветру, цепляясь краем за плохо выструганное древко.

Измученный, истерзанный
Работой трудовой,
Идет, как тень заgrabная,
Наш брат-мастерской..

Рядом с отцом опять оказался тот самый, в галошах. Он уже раздобыл где-то серую, с обвислыми полями, шляпу, он размахивал ею, поминутно подпрыгивая и теряя галоши. По тому, как все здоровались с ним, осторожно обходили его, не ругались при нем, Антон догадался, что он — «главный».

Люди шли по направлению к самоварной фабрике Кудашевых. По всему пустырю бродили козы. На серой ограде староверского кладбища сплошь сидели вороны, как бы молчаливо наблюдая за шествием.

Громадная толпа гремела, обдавала своим неровным гулом обширное пространство, солнце светило над людьми, флаг шуршал над головой Антона. «Главный» говорил отцу:

— Сейчас что? Проба голоса, а ведь когда-нибудь мы пойдем по-настоящему!

— Конечно... — видимо, не совсем понимая «Главного», соглашался отец.

— Когда-нибудь мы будем свои праздники праздновать лучше, чем «они». Вы как думаете? — допытывался «Главный». — Мы чувствуем радость освобождения сильнее, нежели «они» — счастье своего господства. Так было всегда!

Отец насупился, потом неожиданно сказал, зуровым и беспрекословным тоном:

— Они — с жиру бесятся, им все перенадоело, как балованным псам.

«Главный» посмотрел на отца, согласно кивнул ему и замолчал. Молчал он очень странно: прищелкивая пальцами, подергивая левой бровью и что-то беззвучно насвистывая. Это не понравилось Антону.

«Главный» — хитрый...» — подумал он.

Рабочие уже подходили к фабрике. Отсюда начиналась Кривоноговская улица. В этом месте она никогда не высыхала. Сейчас то же самое: широкая жирная лужа стояла посреди дороги.

Фабрика работала, как и всегда. Как и всегда, старик-сторож сидел на скамеечке у проходных ворот, с железной палкой в руках.

У конторского подъезда стояла лакированная пролетка. Кучер, кукольно-ярко разодетый, сидел, неестественно держа руки. Из открытых окон второго этажа на улицу вырывались громкие голоса, кто-то жаловался, всхлипывал, смущенно смеялся: кого-то, вероятно, провозжали.

Рабочие быстро заняли все пространство от ворот фабрики до самого староверского кладбища. На ступеньки подъезда вышла полная дама с выражением испуга на лице. Она проворно скрылась в подъезде и опять появи-

лась уже вместе с тоненькой миловидной девушкой. Девушка держала в руках кружевной зонтик, глаза ее были заплаканы. Шляпка болталась на резинке, за плечами девушки.

— Ну? Почему это? — капризно топнула она ногою, оглядывая рабочих.

— Кудашевская барышня... — сказал сзади Антона веселый и радостный голос. — Симпатичная...

Девушка, надув губки, быстро схватила даму за руку и повлекла ее за собой. Барышня усадила даму в коляску, передала кучеру желтую, большую картонку и вдруг привстала в пролетке.

— Не смейте хулиганить! — звонко, дразняще крикнула она, прозясь зонтиком. — Не смей!

Кучер щелкнул вожжой, лошадь рванулась, никто не успел ничего сообразить, она сшибла высокого старика, потом девушку-подростка. Девушка сразу же отлетела в сторону и глухо ударилась головой о нижнюю ступеньку подъезда. Вот уже, окутанная клубами пыли, пролетка исчезла, унося с собою тоненькую беленькую барышню. Ее путь лежал на Полевую и затем, вероятно, к Суворовской, к вокзалу.

Народ зашумел, нажал на ворота, сторож, напуганный всем происшедшим, сразу же открыл их, и рабочие хлынули во двор.

— Старый кретин! Кто позволил? — кричал с балкона желтый, длинный человек, но первый же камень, пущенный из толпы, заставил его юркнуть в комнаты. Антон цепко держался за широкий ремень отца. Мальчику казалось, что сейчас произойдет нечто страшное.

Однако толпа довольно спокойно заливала двор, люди входили в темные двери, поднимались по скользким лестницам на этажи и растекались по мастерским. Это были сырые, полутемные помещения, под низкими их потолками скрежетали, взвизгивали, стучали машины, которых Антон не мог разглядеть, потому что ему слепило глаза едким воздухом. Кудашевские рабочие казались ему похожими один на другого: тощие, сухие, с волосами, покрытыми зе-

ленной мелкой пылью, охваченными узенькими кожаными ремешками.

— Товарищи, братцы!.. — закричал вдруг отец, легонько отталкивая Антона. — Кончай работу, деповские кончили! Мастерские! Все кончаем! Это же так невозможно!.. Нашего брата топчут жеребцами, — куда же это такое годится, братцы?!

Он кричал так, словно его горло было крепко сжато чужими пальцами. Он закашлялся. Все, кто работал в помещении, обернулись в его сторону. Опять, неизвестно, откуда, появились белые листки и замелькали по рукам.

— «За восьмичасовой рабочий день, за свободу! Протестуйте против уменьшения вашего заработка», — громко читал парень с непокрытой головой, поросшей густейшим черным волосом. Голова его была так велика, что качалась из стороны в сторону, как будто шея не могла удержать ее. Он читал, не обращая внимания на товарищей, запуская правую руку за пазуху, и Антон видел, как его пальцы шевелились под рубашкой.

Антон мысленно назвал его «заклепкой». Он своей головой напоминал мальчишке именно большую с широкой шляпкой заклепку вроде тех, что изредка приносил из депо отец.

Потом все, кто был здесь, пошли в следующую мастерскую, там был и воздух такой же, как и в-первой, такая же медная пыль, и взвизги, и скрежет машин. Антон ходил уже безучастный ко всему. Он чувствовал себя очень усталым. Из мастерской в мастерскую ходили они, пришлые рабочие. Их обступали кудашевские мастеровые. Эти теперь осмелели, они скидывали передники, бросали их, где придется, и, на ходу надевая старую, трижды латанную ветошь, шли тоже, следом за пришельцами, из мастерской в мастерскую.

Скоро тоненький гудочек над машинным отделением возвестил остановку. Сразу замолк громадный фабричный дом. В окнах перестали скользить туманные тени, и скоро лирокий, кое-как вымощенный двор опустел. Только у конторы, куда была перенесена сшибленная лошадью девушка, еще толпились

люди. Тут же стояли испуганный, беспоконный управляющий и старший бухгалтер Степанский — тот, что давеча грозился с балкона.

Высокий, беловолосый старик одной рукой поддерживал голову девушки, лежащей на нижней ступеньке.

— Братцы, что же вы? Я доктора... Ай, как это вы не догадались!.. — вскинулся вдруг Степанский.

— Молчи, жулик!.. — громко возразил старик.

— Я тебе жулика этого не прошу.

Управляющий болезненно дернулся на месте, хотел что-то сказать, но так и не произнес ни слова.

— А мы его к губернатору!.. — спокойно заговорил «Заклепка»; попрежнему залезая за пазуху. — Скажи на милость, людей давить! Сплошь да рядом — к губернатору.

— К губернатору... К губернатору! — заговорили кругом, и вот все, словно поняв, в чем состояло то главное, что следовало делать, бросились догонять товарищей, уже ушедших в городской сад.

Сейчас ворота Кудашевского сада стояли распахнутые настежь. В сторонке, не заходя в самый сад, составив ружья в козлы, толпились солдаты. В некотором отдалении от них, что-то рассматривая в бинокль, направляя его на окна домов, торчала нескладная фигура длинного седого офицера. Около него неестественно-прямо стоял маленький, сухопарый барабанщик, в добела вылинявшей гимнастерке, с фуражкой, лихо заломленной набок.

Люди беспрепятственно проходили в сад. Там, на самой большой поляне, где в другое время по вечерам играл оркестр, сейчас собралась внушительная толпа. Она ходила, волновалась, негромко гудела, и этот ровный гул изредка нарушался или взрывом громкого смеха, или резким яростным выкриком или пронзительным высвистом.

— Зачем это? — спросил Антон, обеспокоенный и видом сада, и тем, что сегодня всюду стояли солдаты. — Они пришли на учебу?

Отец подумал, покусал ус и потом неопределенно усмехнулся:

— Мы и так ученые...

Антон ничего не понял. За их спинами уже слышался конский топот. Сюда, к воротам, не разбирая пути, мчалась десятка полтора казаков. Раздалась тягучая команда, и казаки остановились. Они сбились в кучу, закурили. Их кони толкались на месте, толкались мордами, звенели уздечками. Люди в саду, увидев верховых, попритихли.

К воротам, со стороны Горячего поля, от станции Товарная с Технической улицы, от железной дороги — отовсюду, попрежнему понемногу, по-одному, по-двое, по-трое, собирались люди.

Отца здесь, оказывается, знали многие. Антон не мог и подозревать раньше, что у него столько знакомых.

— Наследник? — спрашивали они Ажогина-старшего и мимоходом трепали Антона по щеке. Это была незнакомая ему ласка, — в родной семье парнишку не баловали.

У главного входа в сад попрежнему стояли солдаты, только, пожалуй, их стало теперь еще больше. Казаки уже спешились и теперь держали коней в поводу.

Между отцом и Антоном, держа Антона за руку, опять стоял «Главный».

Он размахивал своей шляпой и говорил, чуть-чуть задерживая дыхание и наклоняясь к лицу мальчика:

— Это богатые придумали такие праздники, чтобы люди справляли их по своим углам, в одиночку или небольшими кучками. Или даже — бить друг друга. Например кулачные бои, а? Или пьянки, а? А мы сделаем по-другому — тысячи! Миллионы!

Скоро к ним присоединился «Заклепка». Он шел сюда, размахивая длинными, чуть ли не до колен, руками. Создавалось впечатление, что громадная голова его — шар, он тянет человека вверх, а человек сопротивляется его силе.

— Сказку про березовый веник знаешь? — спросил «Главный» и тотчас же ответил, поощрительно пожимая руку Антона. — Э, брат, это очень умная сказка.

«Заклепка» держался попрежнему безучастно ко всему.

— Путилов, Путилов!.. — кричали ему, но он не слышал. Он уже читал какую-то газету, опять бормоча вслух. Его волосатые, покрытые черными и желтыми пятнами, руки были велики и грубы. Пальцы в мозолях, трещинах, порезах.

«Это у него от тяжелой работы, — подумал Антон и мысленно добавил. — Я мастеровым не хочу, я поступаю на конку или в гимназисты...»

Вся лужайка была занята рабочими, трава пестрела обрывками газет, окурками, шкурками от колбасы. Кто-то даже позволил себе выпить, и пустая полубутылка валялась теперь под ногами на мятой траве. Старик-городовой — со смешной фамилией Атьев — тормозился тут же. Он не переставал вытирать желтым каемочным платком правый, покрасневший и слезившийся глаз:

— Разошлись бы, господа, а? Ах, окаянный ячмень! Ну чего вам? — угловаривал он.

Атьева никто не слушал, да он, видимо, и не особенно добивался этого. Бляха исчезла с его груди, оторванный кожаный темляк его шашки торчал из кармана, — старика где-то основательно помяли.

Толпа выросла уже так, что заполнила собою всю лужайку. Больше того, на прилегающих аллеях и просто между деревьями толпились рабочие. Несколько женских голосов запели ту песню которую Антон слышал около депо:

Иди на врага, люд голодный.

Слова были нетрудные, мотив — тоже. Вот почему все подхватили песню, и даже отец пел ее. Он стоял, точно в церкви, сняв картуз, перебирая пальцами ее околыш, беззвучно отстукивая ногою такт по сухой земле, глядя прямо перед собою, в мутный просвет между молодым березняком, разделявшим вдаль сад надвое.

Давешние, бойкие, шуршащие листки метались от одного человека к другому. «Заклепка» брал их и со странным своим видом читал один за одним, хотя во всех было написано одно и то же.

В тот момент, когда песня подходила к концу, за оградой, у ворот, раздался drobный конский топот: сюда приближалась пара огненно-рыжих коней, мча сверкающее ландо, а сзади человек десять верховых.

Сбоку на подножке экипажа стоял молодцеватый полицеймейстер.

— Гаспа-ада! Мастеровые! — тоненько закричал он, когда крохотный кучер в бархатной безрукавке и малиновой шелковой рубашке мастерски разом остановил лошадей. Молодцеватый старик распахнул дверцу экипажа, но опрятный, одетый во все белое, сидевший там господин не двинулся с места. Офицер опять захлопнул дверцу.

Верховые двумя короткими рядами расположились слева и сзади от коляски. Казацкие лошади переминались с ноги на ногу. Одна из них положила было морду на спину левой рыжей, но казак испуганно дернул свою кобылу, она прыгнула, и казак замер в седле под нетерпеливым взглядом господина в коляске.

— Губернатор... — сказал небрежно и спокойно «Заклепка», пряча листок в рукав.

Так Антон и узнал губернатора. Внешний вид генерала не в золотом мундире, без медали, без сабли, разочаровал мальчика.

«Разве такие генералы бывают?» — мысленно обиделся он.

Губернатор привстал в коляске и обратился к первому ближайшему к нему рабочему. Лица его не видел Антон. Рабочий был высок ростом, сильно сутул, с широкой, заросшей курчавыми волосами, шеей.

Рабочий начал что-то отвечать. Губернатор снова сделал нетерпеливое лицо.

— Громче его превосходительству! — тоненько крикнул опять молодцеватый полицеймейстер.

— Девочку и старика задавили? — отчетливее заговорил тогда сутулый. — Безобразие или не безобразие? И опять же: разве мы хулиганичаем, господин губернатор? Безобразим? Почему — казачье?

Полицеймейстер протянул руку за прокламацией, но сутулый отвел руку и сунул листок прямо в экипаж. Листок заколыхался в воздухе и упал на землю.

— Почему ты так? А? Почему ты? — нетерпеливо и зло спросил губернатор.

Тогда полицеймейстер внезапно ударил сутулого по лицу. Никто не успел опомниться, как полицеймейстер опять вскочил на подножку и крикнул кучеру. Казаки, лошадыми оттесняя рабочих, окружили коляску, и вот она уже круто повернула назад.

Высокий, всхлипывающий голос кричал, что надо нагнать губернатора, откуда-то выстрелили, — коляска рванулась сильнее, и ее колеса задребезжали по легкому мостику через ров.

На улице, за воротами, уже заливался громкий барабан, ржали казацкие лошади, у самой ограды слышались громкие, тревожные голоса и неразборчивые слова команды. Видимо, сад окружали.

— Зря тебя твой дурак-отец взял... — спокойно, словно о ком-то третьем, не поворачивая лица к Антону, но крепко сжимая его плечо, сказал Ажогин. — Как бы нам с тобой голов нынче не порастерять...

Голос «Главного» теперь пробивался уже через всю толпу. Он распоряжался, кто должен нести флаг, кто — итти в первых рядах, кто как.

Когда все тронулись, отец с Антоном опять очутились впереди, вместе с «Главным», «Заклепкой», с сутулым — тем самым, кого ударил полицеймейстер. Теперь Антон мог уже разглядеть лицо сутулого. Оно было изъедено оспой, но большие ровные зубы сверкали, — так они были белы.

— Песню! «Марсельезу!» «Вставай, поднимайся!» — требовали сзади, но передние не откликались, они шли в настороженном молчании.

У ворот, вдоль канавы, выстроились, как один, безмолвные солдаты, беспоконно прижимая винтовки, поставленные прямо в пыль. Когда первые ряды манифестантов перешли мостик и направились к Окружному переулку, верховые, преграждающие дорогу, наезжая друг на друга, посторонились, и переул-

ком, прямо навстречу рабочим, — сдвинулась и пошла пестрая, гудящая, с иконами и хоругвями впереди, в сопровождении конных стражников, толпа.

Впереди шло трое молодцов в белых клеенчатых передниках, блестевших, точно жемчуг. Это были братья Горбоносковы, мясники. Славилась они по всему городу как своей страшной силой, так и редкостным своим уродством.

У Виктора например правая нога была много короче другой; при ходьбе он почти касался рукой земли. Однако женат он был на красавице, дочери околочного Хроша. Она была рыжая, точно солнце перед закатом, очень веселая, ее голос постоянно слышался из лавки, где торговали братья, а песенки ее запоминала вся улица.

Средний, Данило, был однорукий от рождения. Однако в лавке он орудовал своим топором почище всякого другого. Топор просто играл в левой руке Данилы, когда он разрубал свежие туши, привезенные с бойни. Его еще никто и никогда не видел трезвым. На прилавке так и стоял, не переводясь, глиняный кубшин с водкой.

Зато младший, Сережа, по виду тихонький и молчаливый паренек, причувствительный к себе разных нищих, блудящих монашеских, всякую босоту, мог бы считаться красавцем, если бы не странная болезнь, из-за которой у него волосы росли только на одной стороне головы.

Братья жили дружно, добавляли к каменному одноэтажному домику все новые и новые пристройки. Домик постепенно рос и рос, перегоняя даже прославленные своими размерами кудашевские палаты. В самом доме у Горбоносковых хозяйством заправлял отец, слепой, красивый старик, с волосами, старательно зачесанными назад, постоянно выбритым подбородком и длинными запорожскими усами.

Сейчас он шел со всеми. Антон увидел его в первом ряду, слева. Его вели с одной стороны телеграфист Ажогин, с другой — бородатый городовой.

Ажогин, чистенький, говорливый молодой человек, пуще всего боялся, что его могут принять за Ажогина из депо.

— Евгений Ажогин... — поэтому всегда подчеркивал он свое имя.

Теперь он шел, что-то говоря старику, делая поясняющие жесты, низко пригибаясь к самому уху Горбоносова.

Уже можно было различить слова пения, поднимающегося навстречу рабочим.

... Люди твоя-а-а!

И благослови достояние твое!..

Побе-е-е-а-а-ды, благоверному!..

Хоругви тяжело колыхались на ветру, четверо здоровенных мужчин еле держали белую, серебряную икону Иверской божьей матери, сбоку неторопливо приплясывали лошади стражников.

Ни-ко-лаю Алекса-а-а-ндровичу-у-у...

Не дойдя нескольких шагов до перекрестка, обе толпы остановились. От Иверской отошел высокий, козлоротый человек в долгополом сюртуке, с блестящими пуговицами и золотыми эполетами, положенными поперек плеч. Это был директор коммерческого училища Адвокатский.

— Господа мастеровые! — дрожащим голосом воскликнул он.

Сзади из сада подходили все новые и новые люди, они напирали на передних, мешали слушать.

— Какие такие господа? — заволновался «Сутулый», переступая с ноги на ногу и обращаясь поочередно то к «Заклепке», то к «Главному». — Разве бывают такие господа? А об себе, как он думает?

— Уходите прочь! Не мешайте!.. Дорогу!.. — раздался голоса отовсюду. Человек с красным флагом пробивался вперед. Видимо, итти было трудно, красное полотнище то совалось вперед, то опускалось на самые головы, то опять высоко вздымалось.

— Уберите флаг, прошу честью!... — крики полицеймейстер. Он опять оказался здесь.

Рабочие при виде его заволновались, краска бросилась в лицо «Сутулому», он было дернулся, но отец удержал его за рукав, и «Сутулый» остался на месте, глухо, точно медведь, заворчал.

Вот уже двое солдат, расталкивая людей прикладами, стали пробираться к флагу, но их не допускали к нему. Тогда они начали пробираться с другого краю, — их вытолкнули опять. В толпе поднимался легкий возбужденный смехок. Солдаты, покрасневшие, начавшие уже забываться, с еще большим упорством лезли на людей, но их так же спокойно выбрасывали прочь.

От разномастной толпы, от икон, отделились Горбоносовы и пошли сюда. Виктор прыгал, точно подбитый грач, поднимая клубы желтой пыли, Данило размахивал единственной своей рукой, Сережа — руки в карманы, потупив глаза, точно нехотя выполняя чужое приказание.

Виктор все учащал свои неестественные шаги и вдруг, сделав огромный прыжок, вклинился в ряды рабочих. Он яростно заворочал плечами, и вокруг него сразу образовался свободный проход. Он бил попадавших ему на дороге чем придется: кулаками, локтями, головой. Люди валились, отовсюду слышались ругательства. Виктор пробирался к человеку, в руках у которого был флаг. Но тут «Заклепка», Путилов, бросился на Виктора, сцепил пальцы обеих своих рук и нанес мяснику такой удар по голове, что тот не успел даже охнуть. Сергей и Данило, ворвавшиеся в ряды, были уже встречены как следует.

Обе манифестации смешались и начали медленно заполнять Мотякинскую, Техническую, Солдатскую улицы, не стало видно ни икон, ни хоругвей, — только высоко над головами людей билось и щелкало красное полотнище. В дальних рядах опять запели знакомую песню. Слышались свистки городских. Отец куда-то исчез, не было видно ни «Сутулого», ни Путилова, ни «Главного». Антон, охваченный страхом, старался выбраться из этой каши, тем более, что его дом виднелся совсем неподалеку, сразу же за Юльмовским. На завалинке, на углу Кривоноговской, сидел, подобрав ноги, Евгений Ажогин с оторванной половиной галстука, в исполосованной формен-

ной куртке и фуражке, побывавшей в пыли. Евгений Ажогин плакал, рассматривая на ладони тонкий и желтый свой зуб. Телеграфиста задевали бегущие мимо люди, толкали, ударяли его, а он все плакал, хватаясь свободной рукой за завалинку.

Издалека, где-то за староверским кладбищем, послышались выстрелы, шум схватки на мгновение стих. Из-за угла на Техническую выбегали испуганные люди. Но все-таки побоище возобновилось опять. В пыль валились избитые люди, поднимались и снова падали. С трех концов — от Суворовской, Полевой и Кудашевского сада — неслись конные. Они были пьяны до того, что даже шапки валились у них с голов. Орда эта налево и направо полосовала шашками, люди бежали от них, пряча головы, а конные крестили и крестили шашками, видимо, не соображая ничего.

У староверского кладбища опять послышались редкие залпы. Вдали виднелись разбежавшиеся человеческие фигурки, залпы все гремели и гремели за кладбищем. Антон покачнулся, присел на завалинку, рядом с Евгением Ажогиным. На глаза его опустились отяжелевшие веки, и он свалился на пыльные мостки тротуара.

Антон очнулся уже в своей комнате на сундуке, у окна. Под голову ему было подложено отцовское пальто, от пальто душно пахло маслом и железными опилками. В комнате слабо мигала повернутая семилинейная лампа, подвешенная к потолку, с кровати доносился тихий стон. Полутьма мешала разглядеть, кто там стонет.

Антон откинулся к стене и, глядя в распахнутое окно, с трудом различая черные силуэты деревьев, стал вспоминать, что было перед этим. Ясно вставало перед ним только утро, когда хозяин стоял в сенях, топал расписанными валенками и ругался:

— Ажогин! Я тебя с квартиры сгоню!

За стеною у соседа, студента учительской семинарии, Отрепьева, слышался горячий женский шопот. Слов было не разобрать. Антон догадался, что сегодня у студента ночует Феня — юль-

мовская горничная. Изредка возбужденный ее шопот перебивался спокойным, самоуверенным басом Отрепьева:

— Ер-рунда! Сто раз тебе говорил...

Над головой, во втором этаже, где жил дьячок Присяжник, кто-то ходил в тяжелых сапогах, ходил так слышно, что можно было считать шаги: раз, два, три, четыре. Обратное: раз, два, три четыре...

Во всем доме, чувствовалось, произошло нечто необычное. И вдруг Антон чуть не вскрикнул. «Что с отцом?» — бросилось ему в голову. Теперь прошедший день предстал перед мальчиком во всей своей пугающей полноте.

Антон слез с сундука, крышка его тихо и нежно зазвенела, вспугнув тишину комнаты. У самой двери, на разостланном одеяле, без подушки, спала мать, подложив под щеку ладонь, одетая и обутая, не сняв даже платка с головы.

На постели, протянув ноги с угла на угол, лежал отец, незнакомо-грузный, с толсто забинтованной рукою. Под его бок была подложена подушка. На полу, у кровати, валялся кусок ваты, под ногами Антона тихонько звякнули ножницы. Куски расплосованной розовой рубахи Антона валялись смятые на постели, в ногах отца.

Чувство неловкости заставило Антона выйти из комнаты, словно это он был причиной того, что случилось с отцом. Антон прошел по скрипящим доскам коридора в кухню. С печки, с полатей, слышался храп. На лавке сидел хозяин, безмолвно глядя в окно. Он повернулся и вскинул было глаза на мальчишку, но тот скользнул в сени и, сев на крыльцо, горько задумался.

На дворе уже растекался легкий летний рассвет. Кто-то возился у колодца, тихонько ворча. Приглядевшись, можно было увидеть Динку, громадную дворнягу.

Из темноты сеней вышла высокая фигура и прямо подошла к крыльцу. Это был телеграфист.

— Антон Ажогин? — нисколько не удивившись, спросил он, садясь рядом. — Отдыхаешь? Кури!

Он словно забыл, что разговаривает с девятилетним.

— Да, Антон Ажогин, набедокурили вчера. И твой папаша — Иван Ажогин — в том числе. Видимо, это у вас таково заведено. От природы. Я полагаю — яблочко от яблоньки... А?

Он говорил бессвязно и потихоньку придерживал подбородок, словно опасаясь, что челюсть может отвалиться. От него нехорошо пахло лекарствами. Он покачивался и говорил:

— Ты думай, что хочешь, — любое, а делай, что велют.

И, немного подумав, спросил потише:

— Студент-то, а? Он — как? Невось, все читает? И много читает?

Антон боялся произнести хоть слово. Он прижался к перилам и только глядел, как Евгений Ажогин неверно размахивает руками.

— Ты думаешь, он забастовщик? — продолжал настойчиво допрашивать телеграфист. — Он — забастовщик, нам все известно! И про Ивана Ажогина, и про него нам все известно. Шутить?! — погрозились он.

Потом он сел боком, облокотился на верхнюю ступеньку, клюнул носом и сразу захрапел. Антону стало страшно. Ворота и кусок забора уже осветились солнцем. Начинался день. Антон повернулся итти в дом и тут в дверях увидел хозяина. Старик как бы оцупывал мальчика своими зелеными маленькими глазками. Он стоял, заложив два пальца за узенький пояс, занимая собою всю ширину дверей:

— Очистить мой дом! — негромко прикрикнул он. — Я этого не позволю!

Шаркая валенками, подошел к Антону, толкнул его и пошел прочь, звякнув связкой ключей.

В кухне уже поднимались, скрипя полатами и скамьями, кондуктора. Хозяйка, далеко выставив свой широкий, словно сундук, зад, раздувала сапогом самовар. Из поддувала летели искры и падали ей на шерстяные, черные с красным, чулки. С печки, где жила семья вдовца-обтирщика, слышался обиженный детский плач.

В комнате Ажогиных все было тихо: спал отец, спала мать; из-за перегород-

ки попрежнему доносились еле слышные голоса Отрепьева и Фени. Только над головой уже не слышалось дьячковских шагов.

В половине одиннадцатого утра пришел околочный Хрош.

— Имя? Фамилия? Родился? — громко спрашивал он, словно не желая замечать, что говорит с больным. — А? Что?

Мать, видя, что отцу трудно отвечать, пыталась было вступить в разговор.

— Виноват, разговор не с вами. Что? — обрезал ее Хрош, теребя карандашом свой огненный ус.

— Вероисповедание? Подданство? Что? — продолжал громко допрашивать он.

В дверях стоял сумрачный Мологонов. Он как бы и тут говорил молча всем своим видом: «Очистить мою квартиру».

Хрош, пряча в папку бумаги и закуривая папиросу, рассуждал:

— Вообще наступило непонятное и очень беспокойное время. Бастуете, ходите в процессии... Спрашивается: чего, какого бога ради? Я понимаю — студенты. Они образованные, им в нашей империи, верно, скучно, народ они развитый. А вы? Мастеровые?

Отца ранили в руку и левый бок.

— Тише, черти, ведь не убегу, с какой стати тащите? — закричал он, когда под вечер, в сопровождении того же Хроша и незнакомого, с безбровым, безусым лицом городского двоюродного санитара из тюремной больницы подхватили отца под руки: вести к госпитальной двуколке.

Хрош изумленно развел руками, почесал карандашом правый ус и назидательно сказал:

— Вы, батенька, скажите спасибо, что живы. Других, знаете, наповал.

Мать словно только этого и ждала. Она бросилась к ногам Хроша и взвыла. Он не отгалкивал и не поднимал ее. Он смотрел поверх ее головы, попрежнему теребил карандашом ус и говорил прежним назидательным тоном:

— Или вы — тетка? Если рассуждать до точки, и вас надо бы тоже к нам, и вообще — всю семью. Со-

жалею, что нет о том приказания начальства. Что есть обязанность мастерового класса? — Хрош постучал карандашом по столу. — Работать для веры-отечества, а жена — помощник мужу. Ведите!

Санитары повели отца. Мать взвыла еще громче и вовсе распростерлась на полу, но околочный перешагнул через нее и направился вслед за санитарями. Так же внезапно, как и начала, мать кончила плакать. Она деловито собрала с пола свою постель, раскрыла окно, подмела комнату.

— Шел бы на улицу, лоботряс!

Двуколка стучала уже за воротами. За ней на извозчике торопился Хрош, а санитары и городской сидели в двуколке, свесив ноги и мирно болтая ими.

От ворот медленно расходилась толпа любопытных.

— Арестант, безотцовщина... — твердо, с ненавистью сказала старуха Мологонова, указывая на Антона. Он, не поняв ее, подошел к старой кривобокой лозине. На нижних ее суках сидели Платошка Матросов и Юзька Первако — лучшие друзья и приятели Антона. Они оба тихо слезли с дерева, Юзька достал из-за пазухи пару крючков для ужения рыбы и молча отдал один из них Антону.

— Ты не смотри, что он — мелкий! — горячо сказал Юзька, когда они все трое уселись на краю канавы. — Он мелкий, а на него щука клюет!

Антон недоверчиво покосился на приятеля.

— Правда, правда... — поспешил подтвердить и Платошка, отводя взгляд в сторону.

Антон почувствовал, как у него подкатило к горлу, он закрыл глаза и понурил голову. По дороге мимо них прогремела пустая телега, возчик матерно ругался на лошадь. Платошка и Юзька молчали, они, наверное, догадывались, что делается с приятелем.

С этого дня мать начала ежедневно ходить к отцу в тюрьму. Она каждый раз брала с собой узелок с передачей и каждый раз приносила его домой неразвернутым.

Тюрьма стояла за Киевской заставой, влево от шоссе. По широкой стене тюрьмы беспрестанно расхаживали часовые в шапках без козырьков, на солнце остренько и ярко поблескивали штыки. На бурой крыше поднималось множество труб, откуда непрерывно тянулся к небу жиденький серый дымок.

«Сорок четыре трубы» — так называлась в городе тюрьма.

По субботам, вечерами, из правого угла этого несуразного здания шли надтреснутые, отрывистые звуки колокола. Это в тюремной церкви служили всенощную. Стекла окон, казавшиеся издали ослепительно чистыми, пламенели на солнце, когда оно на том берегу Ужги тихонько сходило вниз, куда-то за Чулково, слободу, заселенную гармонщиками, голубятниками, лудильщиками, холодными слесарями, вообще ремесленной братией.

Все в этом городе принадлежало Кудашеву. И в городе, и в Заречьи, и в Чулкове, и кругом города были кудашевские фабрики, кудашевские поля, пустыри, сады, перевозы, пароходы, парки, конские заводы, экономии, даже кладбище. Сорока мучеников около тюрьмы на взгорке было более известно под именем Кудашевского.

Каждый божий год, шестого мая, в Николин день, — именины старого Кудашева — у фабрики прямо на улице, посреди дороги сооружалась большая плита. Все движение отводилось на другие улицы. На плиту устанавливался величайших размеров никелированный самовар, с чеканкой на нем: «Самоварное заведение наследников Николая Степановича Кудашева. Золотые и серебряные медали на Нижегородской и Парижской выставках, поставщик двора его императорского величества».

С самого раннего утра сторожа и дворники расставляли длинные скамейки. Они тянулись двумя рядами до самого староверского кладбища. Цепочка городских перегораживала улицу, и непременный Хрош, шевеля могучими своими усами, выжидающе поглядывал на окна фабрикантского дома.

Степан Николаевич и Артемий Николаевич приезжали домой только в дни

больших торжеств и праздников. Степан жил за границей, приезжая, удивлял горожан своими удивительными, вроде как бы женскими, костюмами, так не подходящими к его красному, с окладистой черной бородой, лицу. Он раз'езжал или в автомобиле с громадными зеркальными окнами, или в крохотном кабриолете держа на коленях пушистую белоснежную собачонку.

Артемий Николаевич, младший, учился в Москве, обладал веселым характером, и то не долгое время, что проводил в родном городе, он просиживал или в портерной Полудедова на углу Суворовской и Полевой, в темном подвале, где он, призывая сюда лучших гармонистов города, сорил деньгами налево и направо, или в юльмовском саду, в обнимку со старшей дочкой Юльма, крупной, пышнотелой Гертой. Артемий не стеснялся никого. Он при матери Герты, при горничных целовал и тискал свою невесту, говорил ей разные слова, от которых смущалась даже эта разбитная, могучая красавица.

Изредка под вечер, распугивая кур, поднимая столбы пыли, распевая песни, мчались они вдвоем по улице, верхами, сопровождаемые псами, черными, как дьяволы. Псы храпели и на-бегу вываливали языки. Герта держалась в седле прекрасно, да и Артемий был не плох в своих яркожелтых брюках, в коротеньких лакированных сапогах, в синей, шитой серебром, венгерке. Долго стояла на улице пыль после того, как уже скрывалась эта сумасшедшая парочка, а ее песни на незнакомом языке — резкие, с присвистом — долго еще звенели в ушах.

Шестого мая братья из года в год играли одну и ту же роль. Николай вставал у самовара и каждому рабочему наливал кружку дымящейся водки. Делал он это с важностью, с полным сознанием своей ответственности. Он каждому пожимал руку, каждого называл по фамилии. Артемий и здесь оставался весельчаком и забудыгой. Он подтрунивал над тем, кто подходил к нему, — перемигивался с Гертой, сидевшей рядом, пересмеивался с горничными, хохотал и время от времени

отпивал глоток-другой вина из бутылочки, оплетенной золотой соломкой.

Когда все триста рабочих получали свое, горничные, одетые во все розовое, убирали самовар цветами. Хрош громко кричал ура, и все должны были повторить это трижды, после чего городской ходил по рядам и раздавал всем открытки с видом на склеп старика Николая Степановича.

Вход в Кудашевский сад в этот день для рабочих фабрики был свободный, их в легнем театре сажали на первые места, и билетеры называли рабочих господами.

После именин в «Городской молве» некий «Патриот» писал что-то о единении интересов, о кооперировании благ, о мускульной энергии, расцветающей и осмысливающейся под живительным воздействием предпринимательской инициативы, о непосредственности класса работников, о патриархальности кудашевской фабричной системы.

В этом году братья приехали через одиннадцать дней после манифестации. Появились они с одного поезда, их яркожелтый кабриолет быстро промчался по Технической, на дворе у Юльмов началась веселая суматоха. Даже Мологонов заставил одного из кухонных жильцов посыпать перед домом песком. Над воротами фабрики взвился громадный голубой флаг, разрисованный множеством медалей с надписями «Поставщик двора», — этот флаг был выдумкой еще старика Кудашева. Хрош ходил гогаем, пошевеливая удалыми усами.

Утро начиналось, как и всегда: приготовления с самоваром, скамьи, суматоха, беготня. Но назначенный час прошел, а «гостей» не было. Рабочие, проходившие мимо, посмеивались над городскими. Никто не перешагнул через новенький шелковый шнур, никто не сел на скамью, пахнущую свежей смолой. Хрош поминутно бегал в кудашевский дом.

Вдоль забора, соединявшего фабрику с владеньями Юльма, шла длинная, неглубокая канава. По краю ее сидели ребята и восхищенными глазами смотрели на беспокойного Хроша, на Степанского, который суетился тут же с багровым

бутоном розы в петлице, на смешливых, красивых горничных, неизвестно почему фыркавших в передники. Подростки, которые побольше, прохаживались мимо ворот фабрики, искоса заглядывая на девушек, и важно рассуждали о своих делах. Несколько взрослых, усевшись на завалинке, играли в дурака, остальные слушали гармошку.

Трудно сказать, что именно из этого напомнило мальчику апрельскую манифестацию, но он почему-то ждал, что вот, того и гляди, опять появятся солдаты, и с ними тоненький седой офицер, раздастся веселая, отрывистая команда, и по улице опять пронесутся конные.

«Только как же — скамейки?» — беспокойно подумал Антон. Он увидел, как из подезда, шелкая по голенищам тоненьким хлыстом, вышел Артемий Кудашев, веселый, без шапки; он, видимо, уже начал свой праздник. Обычно ловкий и легкий, сейчас он покачивался на ходу, поднимая целые столбы пыли. Кудашев позвал Хроша, тот отчетливо отдал честь своей белоснежной перчаткой и шелкнул каблуками.

— Господа мастеровы-ы-ы-е! — звонко запел он, словно упиваясь своим голосом. — Господа наследники просят отку-у-у-шать! Почтить память основателя фи-и-ирмы! Прошу господ мастеровых!

С парадного медлительно, болезненным шагом, с собачкой на руках спустился старший Кудашев. Он равнодушно оглядел пустые скамьи, притихших рабочих и, махнув рукой, направился к самовару. Самовар урчал, тоненькой струйкой выбивался резкий, пахучий пар из круглой отдушины.

— Что же это выходит?! — вдруг завопил кто-то истошным, жалобным голосом. Кричал высокий, толстый босяк, жалобно выкатывая глаза. — Божий дар? Водка, — да кто же это вам позволил, чертям?! Ведь выкипит весь, а?!

Он дергал соседей за рукав, подталкивал их к скамьям, но те молча высвобождались и отходили в сторону.

— А? Божий-то дар?!

Артемий налил кружку дымящейся водки.

— А-ну! Традиционную!..

Босяк, хихикая, униженной рысцою заторопился к самовару. Публика придвинулась ближе, заинтересованная тем, что должно произойти.

— Как звать? Ишь ты какой! — словно любясь, посмеивался Артемий. — Лукашка? «Божий человек», говоришь? Не хотел бы я с таким «божьим человеком» в лесу встретиться...

— Так точно, ваше сиятельство! — восторженно кричал «божий человек». Он, обжигаясь и хрюкая, проглотил водку, потом вырвал у хозяина из рук кусок колбасы и запрыгал вокруг Артемия.

— Еще бы, а? ваше сиятельство!?

— Подождешь, пес... — завистливо крикнул из своей будки сторож, но «божий человек» протянул кружку, и вторично в нее пролилась струя дымящейся влаги.

Хрош повеселел, но из рабочих никто не тронулся с места.

— Сторож, старик, давай и ты сюда, родимый! — с деланной простотой закричал Артемий, подмигивая горничным.

Старик перекрестился, закрыл дверь будки на перекладину, и, поддерживая полы тулупа, направился к хозяину. Он перекрестился еще раз, потом отломил кусок хлеба, жмурясь и отворачиваясь от кружки, пожевал его и вдруг, жалобно охнув, схлебнул с краю и зафыркал, затрясся, несказанно насмешив этим молоденьких горничных.

— Стыдился бы, сторож!.. — вдруг во весь голос насмешливо крикнул «Заклепка», оказавшийся тут же. — Перед кем ты бахвалишься, старик!?

Хрош перешагнул через скамью и подскокочил к несуразному парню.

— Вы почему, матушка вы моя? Кто дал вам право?

Он схватил «Заклепку» за карманы черной блузы, из которой торчал желтый складной аршин. «Заклепка» не делал попыток освободиться. Он пристально оглядел сторожа, который, обжигаясь, давясь и кашляя, разделялась с хозяйским угощением.

Артемий нетерпеливо посматривал кругом, ожидая еще гостей, но рабочие помалкивали, посмеивались, расхажива-

ли тут же. В конце канавы играла гармошка.

Так на сей раз и не удался этот издавна заведенный праздник. Видимо, уговор был силен. Самовар, охраняемый городовыми, долго остывал на свежем воздухе, долго еще Хрош носился с улицы в дом и обратно, — ждал распоряжений, но под конец махнул рукой и отослал своих городских прочь.

Мастеровые еще долго гужевались около фабрики, и многим из них в тот вечер довелось видеть, как из под'езда вышел, почти вывалился Степан Кудашев. За ним бежали подвыпившие гости и кричали ему вслед. Особенно выделялся поп от «Двенадцати апостолов». Он брел с кудашевской собакой на руках, размахивал пустой тарелкой и кричал:

— Степан Николаевич! Какие вы непонятные!

Кудашев шел, вихляя бедрами, к самовару. Никто ничего не успел сказать, — он отвернул кран, водка полилась на дорогу, в тыль. Она мутным ручьем пошла по глубоким колеям. Поп дирижировал тарелкой; чья-то пьяная старуха висела на его плече; Кудашев, разговаривая про себя, внимательно следил, как течет водка.

Гости затеяли танцы вокруг самовара. Женщины были пьяны, на первый взгляд даже более, чем мужчины. Узкие, длинные юбки, только-что вошедшие в моду, и без того связывали движения. Лишь страшный Кудашев стоял посреди хоровода, покачиваясь, решительно уставясь взглядом в землю.

— Сторож, старик, кто там? — вдруг взвизгнул Кудашев. — Бей, бей, вот сюда! — он тыкал пальцем в бок самовара. — Бейте! Но основательно! Жалости не надо!.. Не надо жалости! Я прошу вас!..

Он всхлипнул, уткнулся лицом в плечо соседки — черной, смуглой девушки в красном платье — и повлек ее за собой в дом.

День кончился под громовые удары кувалды по самовару. Грохот стоял над улицей. Сторожа беспощадно били по самовару. Сорванный с ворот флаг валялся в пыли. В раскрытом окне второ-

го этажа время от времени показывался Степан Кудашев и кричал что-то, чего нельзя было слышать из-за грохота на улице.

Самовар был разбит вдребезги, плитку разметали по кирпичику и долго еще, до полуночи, на Полевой улице посреди дороги, пылал громадный костер из скамеек, тоже разбитых в щепы. Костер подымался к черному небу, точно это цвел невиданный огненный кустарник. Всю ночь не спали люди на Полевой, Технической, Кривоноговской. Люди стояли у ворот: не дай бог искра или головешка из этого богатого костра!..

И еще наутро тянулся дымок на том месте, где горел костер. Душное зловоние отравляло воздух, пробиралось в окна домов, текло по улицам.

Утро, как и всегда, начиналось разноголосными гудками. Как и всегда, непрерывно и тонко пел кудашевский. Рабочие шли мимо разметанных кирпичей плиты, мимо смердящей дымящейся кучи, мимо грязной лужи, не успевшей просохнуть за ночь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мологонов ходил у самых дверей, шаркая валенками, и кричал на весь дом:

— Ворёныш! Недалеко от родителя ушел! Безотцовщина!..

Оказалось, у старика пропали гвозди, еще с зимы припасенные для загородки: куры ходили в огород и разрывали грядки.

Хозяйка пристроилась в кухне, на лавке под окном, уткнув лицо в колени кондукторской жены. Та «искала» в голове у хозяйки, перебирая ее волосы громадным деревянным гребнем.

— А может, не он?.. Гвозди-то? — лениво спрашивала хозяйка, не открывая глаз.

— «Не он!» Тогда это — я! Сам! Дура какая! — старик топал валенками, поднимал с полу пыль. — Убью ворёныша!..

Антон, повзрослевший и присмиривший за последние дни, вышел на крыльцо. Полдень был радостен и

свеж. Дул легкий ветерок, за железным забором у Юльмов слышался веселый смех, кто-то кричал, задыхаясь:

— А не догнать!.. А вот пари — не догнать!..

Первые дни после ареста отца Антону было не по себе. Он не мог найти себе места ни дома, ни на дворе, ни среди сверстников. Мать с утра уходила из дому и появлялась только под вечер, — злая, разбитая, молчаливая. Она варила обед, заготовленный еще с вечера, и, поставив чугунок на керосинку, садилась на кровать и начинала плакать. Мясо все реже и реже появлялось за столом, а однажды, когда суп от сетков пах особенно нехорошо, Антон серьезно сказал, вставая из-за стола:

— Ты не жалей говядины, нас ведь теперь двое..

Мать упала лицом на стол и, вздрагивая плечами, застыла в таком положении.

— А если денег нет, придется мне пойти на работу.. — прежним серьезным тоном добавил мальчик.

Мать привлекла его к себе и, не поднимая от стола лица, начала гладить его руки, плечи, спину.

Вечером Мологонов ворвался в комнату, сел на кровать, затопал ногами, но, против ожидания, почти спокойно спросил:

— Ай мне тебя от квартиры отказывать, Наталья! Ты — как?

— Работы никак нету, Павел Никитыч... — разглядывая складки кофточки, понурясь, ответила мать.

— Ой, Наталья, Наталья!.. — погрозился Мологонов. — Скоро два месяца! Ой, с квартиры погоню!

Но ушел он почему-то повеселевший, хитро взглянув на Антона, даже подмигнув ему и засмеявшись в самых дверях.

Мать попрежнему без всякого толку ходила по городу. Один раз ее было уже приняли на Кудашевскую фабрику, но, когда в конторе узнали, что сна — жена Ажогина, управляющий отказался:

— Бог с тобой!.. Мне, знаешь, от вашего корня не надо. Муж и жена, как говорится, — одна сатана!..

В этот день мать была особенно зла на Антона, она разбила стакан, надрала сыну уши, накричала на него, заплакала и напоследок выгнала вон.

Антон почти до ночи просидел на берегу Ужги, копая червей. Голодный, остервеневший на все, он думал, как с утра, запасшись хлебом и спичками, уйдет по Ужге к самому Варваринскому монастырю, как он будет там ловить рыбу, рыть в поле картошку, заходить к монахам за хлебом. — Пусть мать поживет без него!

Паром, поскрипывая, ходил от берега к берегу, на пароме мычали коровы, лошади били подковами о доски, паромщик кричал и ругался, — и это казалось Антону таким привлекательным, что ему даже не хотелось итти домой.

Когда он все же вернулся, вступил на двор, поднялся на крыльцо, он почувствовал, что ему достанется. Он прокрался через кухню, — в ней было уже темно, — черным коридором прошел к двери дома; на ней висел замок, — значит, матери дома не было. Он облегченно вздохнул.

Он проснулся уже под утро и вспомнил вчерашний свой план — уйти к монастырю. Повернувшись на бок, он увидел вдруг посреди комнаты могогоновские валенки. Смутный рассвет не мог скрыть самого старика, который в одном белье сидел на краю кровати около Натальи и что-то бубнил ей. Ее не было видно, только слышался ее приглушенный, еле слышный плач.

— Ой, Наталья, сгною с квартиры!.. — пригрозился старик, вставая, останавливаясь посреди комнаты и нащупывая ногами валенки.

Антон не заметил, как заснул опять. Вторично он проснулся, когда уже в окно ворвалось утреннее солнце и мать хлопотала в комнате. На столе шумел самовар, и пар из него весело бил в потолок. Антон вспомнил хозяина.

— Что это он по ночам ходит? За деньгами? — помня ночную сцену, не глядя на мать, требовательно спросил он.

— Кто, сынок? — краснея и нараспев спросила Наталья.

— Да старый чорт, а то кто же?

Мать помолчала, налила чаю себе и Антону и покраснела еще больше.

— От всякой бочки гвоздь? Везде ты свой нос суешь, домовой!

Но Антона уже не трогали ругательства матери, он торопливо пил чай, ожидая, когда она уйдет из комнаты.

После ее ухода он забрал все остатки хлеба, полкоробки спичек, книжку «Портупей-Прапорщик», одиннадцать копеек деньгами, удочки. К обеду он уже миновал Чулково и Ужогино, большую деревню на левом берегу Ужги. Деревня эта стояла на голом месте, кругом нее не было ни лугов, ни пашен, лишь изредка на задворках мелькала зелень огородов. Ужогинские мужики испокон веков кормились тем, что брали работу из города, от фабрикантов. Одни занимались замками, другие гармонными планками, третьи — самоварными ключами, крышками, доньями, отдушниками. Больше всего здесь работали на Кудашева. Десятки семей от стариков до пяти-шестилетних ребятишек гнули свои спины над ними. Каждому находилось свое дело, работы хватало с шести утра до десяти, до одиннадцати вечера.

Антон шел по дороге, мимо постоялого двора, стоявшего в небольшом отдалении от дороги. У прогнившей кормушки моталось несколько конских морд. На земле толкались голуби. Новенькая вывеска «Бивак» блестела на солнце. В распахнутом окне виднелись потные головы мужиков, слышались их несвязные, веселые голоса, слышался звон посуды.

Дойти до монастыря было легко: итти все прямо, через Колодкино, а дальше — никуда не сворачивая. Версты через две перейдешь речку Монастырку — а там и монастырь.

Жара ваила Антона с ног, когда, встреченный лаем косматых деревенских псов, он вошел в Колодкино. С первых же шагов в нос ему ударил резкий запах горелого. Чем дальше, тем сильнее ело глаза и горчило в горле, а когда дорога свернула влево, Антон даже замедлил шаг: вся улица была синей от дыма, он поднимался над крышами. Около изб топтались люди, в канаве у

церкви мыли пожарную машину. Распряженная лошадь чесалась о дерево, звенела сбруей.

Дальше дорога пошла мимо небольшого пруда. В нем плавали горелые доски, угля, крупный пепел. На том берегу пруда стояли обгорелые столбы сарая, и вдоль берега далеко разметало черную перегоревшую солому. Там расхаживали два стражника, их заседланные лошади, обмахиваясь хвостами, стояли на неглубоком месте в воде.

Вдали между деревьями большого сада виднелся высокий белый дом. От пожарища низко, по самой земле непрерывно стлался горький дым. Сгоревший сарай, видимо, был велик, потому что обгорелых столбов было множество, и они далеко отстояли друг от друга.

Ажогин не успел миновать пруд, как сзади послышался грохот и дребезг, — это мчался высокий шарабан на железном ходу. Лошадью правил высокий, седоусый человек в белом костюме, — с ружьем на коленях, а рядом с ним сидел человек в полуофицерской форме. Человек в белом что-то кричал военному, тот внимательно слушал, при каждом толчке подскакивая на своем месте. Шарабан через мгновение скрылся в пыли и громе.

Монастырка оказалась всего-навсего пересохшей речонкой. Зато вправо сверкала широкая и свободная Ужга. Голубые церковные главы с золотыми крестами виднелись с краю леса, сквозь опашку проглядывала белая каменная стена, а Ужга переливалась и сверкала на солнце.

Берегом Монастырки до Ужги тянулся большой огород, то там, то здесь были расставлены уродливые пугала. На самом берегу пересохшей речки стоял шалаш, около него курился костерок, и тут же лежала собака.

Когда Антон приблизился к шалашу, оттуда вышел маленький беленький старичок. Антон не думал задерживаться здесь, но старик тоненько пропел:

— Рыболов, а рыболо-ов!..

Антон не боялся собак. Он безбоязненно пошел к шалашу и остановился шагах в трех от костра. Из шалаша

торчали чьи-то ноги в калошах и слышался негромкий храп.

— Откудова ты, рыболов?

Антон, не отвечая, попросил напиток, потом сел рядом с собакой. Старичок глядел на мальчишку светлыми, голубыми глазами, и его реденькие, белые волосы на висках шевелились от ветра.

— Ай немой, рыболо-ов?! — прежним детским голоском пропел старик и склонил голову набок. Калоши зашевелились, человек в шалаше вздохнул и вылез наружу. Антон ошеломленно раскрыл глаза: это был «Главный».

— Антон? — «Главный» зевнул. — Это, батя, Антон, он из города, слышал про такого, Ивана? Отца его? А? Ну еще в прошлом году мы с ним приходили, когда полиция-то к тебе приехала. Не помнишь? Да, брат, староват ты, староват... Какой был сноп — а весь вымолотило!

Антону стало почти весело. Он видел «Главного» с его прежним чудным выражением глаз, с прыгающей бровью, нечесанного, одетого в выцветшую синюю рубашку без пуговиц, в холщевые штаны, как и у сторожа.

— Вы здесь живете? — осведомился Антон, без спроса выковыривая из золы картошку и ломая ее надвое. Старик уже ушел по дорожке, вглубь огорода.

— Покамест... — неопределенно ответил «Главный», обхватывая колени руками. — По-человечески нам жить — человеком не будешь, а чтобы человеком быть, приходится жить не по-людски, — около капкана, в поле да в лесу!..

Антон не понял путаных слов «Главного», а «Главный» откровенно смотрел в лицо мальчишке и тихонько продолжал:

— Тебе не удалось увидеть отца? В тюрьме-то — не был? Жаль, теперь не скоро увидишь!.. У нас ведь как? Ближние мешают, вот их и отправляют подальше: «они» лобят ближнего, но когда он далеко...

И вдруг, сразу меняя тон, спросил:

— Через Колодкино шел? Стражники, говоришь? Двое? Немного, скоро пригонят еще... — «Главный» задумался, откинув голову назад, затылком касаясь шалаша. — Так вот и живем, и

не люди волков травят, а волки — людей.

Антон вскочил с места, сорвал с ближней грядки несколько огурцов и вернулся к шалашу.

— Кто там поджог? Это чей сарай? Что в нем было? — допытывался он.

— Хлеб там был помещичий, рожь, пшеница...

— Кто же поджег?

— Мужики тоже не сладко живутся... — как бы про себя говорил «Главный». — Он только ругаться привык, у него не глотка кричит, — а иной раз брюхо. Брюхо, оно глухо, понимаешь... — вел «Главный» путаную свою речь.

Старик опять вернулся к шалашу и что-то копошился там, ворча про себя. К нему, гремя обрывком цепи, бросилась собака. Ужга нестерпимо сверкала невдалеке, из-за излучины ее доносились громкие протяжные крики, как будто из воды тянули и никак не могли вытянуть что-то тяжелое.

Антон глядел на «Главного» и видел его глаза, глубоко запавшие в глазницы, встрепанные волосы, волосатую грудь.

— А почему вы здесь живете? Он — отец ваш? — спросил Антон, кивая на старика.

— Нет, так... Товарищ...

«Главный» сказал это нехотя, зевая и поднося ко рту кружку с водой. Потом вытер губы рукавом, — делал он это, как и все мужики, с которыми доводилось встречаться Антону, — встал на ноги, потянулся и взглянул на мальчишку.

— Ты вернешься в город? Так вот ты помалкивай, что видел меня здесь, тем более, я скоро уйду отсюда... — и помолчав, прибавил: — А то старику будут неприятности...

— Почему неприятности?

— Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Так и не вышло с «Главным» никакого разговора.

Мальчишка, обиженный, поднялся с места и взял удочки.

— Идешь? Ну, иди, чудак-рыбак!.. — «Главный» нагнулся над костром, ко-

вырнул пальцем золу, схватил две-три картофелины и положил их мальчишке в подол рубахи...

— Батя, ты ему, в случае чего, картошки там или огурца не пожалей... Он, батя, парень стоящий!..

Эта встреча до боли врезалась в памяти Антона. Он опять с самого начала и до конца припоминал все, что произошло с отцом.

Рыба клевала плохо, он всю ночь продрог на берегу Ужги, проплакал всю ночь, а итти в шалаш чего-то застеснялся. Рано утром, еще на заре по глубокой осоке, весь дрожа от холода, Антон помчался к воде. С нее поднимался бледный туман, ни утки, ни лягушки не слышалось кругом; через реку был виден луг, на лугу паслась неестественно большая лошадь.

Солнце, медленное и грозное, поднималось над горизонтом в багровых облаках. Однажды Антону показалось, что издалека его кто-то кличет голосом «Главного», он огляделся, — кругом не было никого!

К полдню он решил уходить. Он собрал удочки, пересмотрел рыбу — ее едва-едва хватило бы на уху — и опять берегом пересохшей речонки пошел к огороду. Как и вчера, у шалаша дымился костер, собака уже сразу признала Антона и бросилась ему навстречу, старик вил веревку, его колени и грудь были покрыты пенькой.

— А «он» где? — спросил Антон про «Главного».

— Чтой-то?

— Где «он», спрашиваю? — резко повторил Антон.

— А надо быть, тута, гуляет!..

Антон понял, что старик не хочет говорить. Перекинув удочки с плеча на другое, отогнав пса, который обнюхивал рыбу, голодный, злой и невыспавшийся мальчишка пошел к мосту. Когда шалашик остался далеко позади, Антон сел у дороги, уронил рыбу наземь, опустил голову на колени и снова представил себе «Главного», каким он выглядел вчера.

Обида, неизвестно — почему, неизвестно — на кого, беспокоила сердце Антона.

И особенно горько было ему оттого, что вот он уходит обратно один, одинокий, и никто не сказал ему, где сейчас «Главный».

Домой Антон пришел уже после полдня, покрытый пылью, с ногами, которые болели и ныли, сбитые камнями. С удочками и связкой рыбы он прошел в комнату, сел за стол и через минуту с куском хлеба в руке, в кепке, уже спал. Во сне он видел «Главного», «Главный» сыплет в мешок свежие зеленые огурцы, вот уже Антону не удержат мешка, огурцы сыплются через край, а «Главный» все кладет и кладет...

— Глупый!.. — укоризненно говорит «Главный». — Ну, что же ты, глупый! — и легонько толкает Антона в плечо.

Антон поднял тяжелую голову, краюха с сухим стуком упала на пол, перед ним стояла мать и, радостная и гневная, трясла его за плечо.

— Убрала бы рыбу, протухнет!.. — сурово сказал он и, дойдя до сундука, упал на него и снова сразу же заснул.

Проспав часов десять-одиннадцать, он поднял голову с сундука и огляделся. Было очень рано, окно мутно серело от предутренней мглы, Антон посмотрел в сторону кровати, где спала мать, и как тогда, в первый раз, в глаза ему бросились расшитые валенки посреди комнаты, один из них стоял, другой валялся, а на постели рядом с матерью кто-то грузный, закутанный с головой в одеяло. Мать лежала лицом кверху, подложив голые руки под голову. Антон отвернулся к стене. Он чувствовал в груди такую тяжесть, что громко, не слыша ничего, захлебываясь слезами, кашляя и с трудом дыша, зарыдал.

— Лучше бы он не возвращался домой! Лучше бы остался на Монастырке, у старика в шалаше,—туда приходил бы «Главный», все было бы хорошо!

Он не соображал, сколько времени пролежал так.

Когда он успокоился и повернулся на другой бок, в комнате уже никого не было, постель была накрыта белым. Антон нахмурился: «Неужели и это было во сне?» И вот из кухни с кипящим самоваром вошла мать, села на край сундука и начала гладить руку сына.

— Спишь? Не выспался? Спи еще—рано, а?

Она помолчала и ладонью провела по гладкой своей прическе.

— Где пропал, Тоша? Рыболов ты мой, рыболов!.. — она гладила его лицо, обнимала его и словно боялась поднять глаза. Впрочем она скоро отошла к столу.

Антон понял, что и валенки, и Мологонов были наяву. Он с трудом удержался от того, чтобы не разрыдаться вновь, но только подобрал губы и закрыл глаза.

— Или — болен? — спрашивал издали чересчур веселый и громкий голос матери. — Или — уморился?

— Зачем сюда ходит эта сволочь?.. — грубо спросил он, открывая глаза. Он видел, как мать молча облокотилась о комод и стала рассматривать себя в зеркало.

— Зачем он ходит? — Антон уже вскочил на ноги, прыгнул с сундука и остановился в двух шагах от матери. Она медленно повернулась к сыну, потом с любопытством и страхом оглядела его.

— Ты на кого ж это кричишь, поганец?.. — она поискала что-то глазами и протянула руку к стене. Там на гвоздике висел жирный, тяжелый пояс отца, прошитый сыромятным ремнем, со множеством дырок по длине. — А, змееныш?..

Мать шагнула к Антону, — видно, он тронул самое больное ее место, и теперь ему нечего было ждать пощады. Перед Антоном опять мелькнула и привольная Ужга, и огород, и шалаш на пересошем берегу, и тихий старик с детским голоском.

— Ты только тронь!.. — еле слышно, раздельно и угрожающе произнес Антон. — Что бы я больше тогда вернулся к тебе? Лучше уж... в побирушки, истинный бог!.. — и он медленно, широко перекрестился.

Через несколько времени, молчаливая и насупленная, мать высypала на тарелку жамки и горсть дешевой карамели. Мать избегала глядеть в лицо Антону. Этот тщедушный, белоголовый парнишка оказался сильнее ее, взрослой женщины.

— Кто это тебе все сказал-то? — с веселой злостью спрашивала она, макая жамку в чай. — Или ты все сам видишь, глаз, что ли, у тебя такой?.. Отцовский... — задумчиво добавила она.

— Ты его не пускай, дурного чорта!.. — горячо говорил Антон, прижимаясь к ее теплой груди. — Что в нем хорошего?.. Лучше уж Отрепьев...

Мать сурово глядела на него, сдвинув черные, тонкие брови. Ее некрасивое, широкое лицо было чересчур спокойно, точно окаменело.

— Кто это тебя учит? — медленно повторяла она. — Больно умен, не по годам, гляди, как бы голову не свернули, малый!..

Она говорила низким, даже каким-то гудящим голосом, ее руки, положенные на край стола, были велики, узловатые пальцы лежали далеко один от другого.

— А жамки? А пить-есть,—это ты не прочь? Ты спросил, кто тебе купил это? На какие-такие заработки?.. Умен, — как бы дураком не стать!..

С тех пор Антон пуще всего стал бояться раннего пробуждения. Ему стали сниться громадные валенки Мологонова, просыпаясь, иногда он лежал подолгу, пока за стеной не били часы; значит, уже поздно, и хозяин давно ушел к себе. Только тогда Антон слезал со своего сундука. Он боялся встречаться со стариком, а когда это все же случалось, Антон замечал, что Мологонов относится к нему куда как лучше прежнего. Иногда старик приходил в комнату и приносил Антону карамель, баранки, сдобную лось, переводные картинки. Но, чем больше внимания проявлял к нему хозяин, тем с большей ненавистью смотрел на него Антон. Он не мог равнодушно видеть теперь даже его жену, даже сироту, семилетнюю внучку Мологонова, даже мать — в те дни, когда по каким-то особым приметам, неясным для Антона, он догадывался, что ночью хозяин приходил к ней.

Мать по целым дням не вылезала из комнаты, оставляла ее неприбранной, комната зарастала мусором, пылью. Постель стояла растерзанная, непокрытая, холодный самовар возвышался на столе.

Несмотря на то, что Мологонов по-

могал матери, из комнаты исчезали то круглое зеркало, то яркая широкая дурюга, прикрывавшая сундук, то единственный мягкий стул — гордость матери. Наконец даже был продан поднос, и самовар теперь ставили прямо на голый стол. Все это по большей части у матери покупал сам же хозяин. Он передавал купленное жене, говоря сердито и громко, на весь дом:

— Мы обязаны помогать жиличке, дура! У ней муж вон какой сукин сын оказался...

Мать по знакомству брала кое-какие заказы на шитье, вязала чулки, раза два юльмовский управляющий давал ей стирать белье. Но все это была мелочь, гроши, от случая к случаю.

Шел июль, ежедневно лил дождь, изредка прояснялось небо.

Месяца через полтора Антону надо было идти в школу, а сапоги лежали ссохшиеся, рыжие, не заплатанные, со сбитыми каблуками, с протертыми подошвами. Один раз, уже засыпая, Антон увидел, как мать достала их из-под кровати, оглядела и снова бросила на пол.

Антон ждал, что мать снесет их Мологонову, и тот отдаст починить сапоги,—это было и тяжелое, и в то же время приятное ожидание, но этого не случилось; сапоги так и остались лежать до лучших времен.

Чем дальше, тем хозяин становился мрачнее. Он нарочно без дела шлялся мимо комнаты, стучал железной палкой в дверь, ругал всех дармоедами, неизменно для чего целыми днями забивал гвозди в ажогинскую перегородку.

В конце августа откуда-то из Сибири приехал Наум Карпович, племянник Мологонова, — высокий, аккуратный мужчина, с усами, которые закручивались, как на картинке. Он ходил в черной суконной гимнастерке, в белых перчатках, в картузе с острыми полями и лакированным козырьком.

Наум Карпович служил жандармом на станции. Теперь он продал дома все хозяйство и, как говорили, привез сюда три тысячи денег. Вместе с ним приехала Соломонида, красивая, смиренная баба, с тихой улыбкой и громадными, синими глазами. Похоже, что она видела и

понимала все лучше других, только не хотела ни во что вмешиваться. Когда в кухне или между жильцами или у хозяйина с женой разгорались скандалы, или Наум что-то назойливо говорил своим ласковым голосом (а говорил он, видимо, вещи, для старика очень неприятные, потому что старик сразу же начинал орать и топтать ногами), Соломонида тогда посматривала на всех со своей понимающей улыбкой и только молчала.

Одевалась она по-городскому, но в разговоре и по всем повадкам оставалась деревенской женщиной, которой, наверно, не нравилось в городе.

Иной раз Соломонида заходила к Ажогиним, брала Антона к себе на колени и крепко прижимала его к себе. Ему и неловко было, что она смотрит на него, как на несмысленныша, и тепло, и уютно около этой ласковой, сдержанной женщины.

— Тебе здесь нехорошо? — спрашивала она, дыша ему в лицо. — Ты умный а? Ведь здесь негодяев много, верно? Вот и я так думаю. Антоша...

Наум Карпович снял на Суворовской улице пустывавший подвал, отремонтировал его, и скоро Соломонида повела Антона смотреть, как горят на солнце золотые буквы:

Разная торговля Н. К. Мологонова

— Вы рады? — спросил Соломону Антон, перечитывая вывеску вновь.

Конечно она была рада, смешно спрашивать. Ведь она входила хозяйкой в этот веселый подвал,—кончалась жизнь и мологоновском доме, на его удушливом воздухе.

— Ты приходи ко мне, я тебе буду гостинцы давать... — наклонившись к нему, негромко и чуть-чуть таинственно говорила она. Похоже, она уговаривалась со своей подругой.

Вечером Соломонида опять постучалась к Ажогиним. Мать была дома. Соломонида села и сразу же заплакала, подперев рукой подбородок:

— Наташенька ты моя-а-а... Уродилась я дура бесплодная, бездетная-а-а...

Мне бы теперь детушек да малолетушек-ек...

Вскоре в дверь постучался сам Наум. Он перекрестился в угол и поздоровался с Натальей.

— Моя-то все ревет. Глупо, — вы как думаете? Сейчас только бы радоваться... Я вот теперь по соседям хожу: пожелайте удачи в начале...

— Желаю вам, Наум Карпыч! — приподнимаясь на стуле, сказала мать.

— Спасибо, обязан... — бойко ответил бывший жандарм, достал из одного кармана бутылку наливки, из другого — стаканчик, налил его до половины и протянул Наталье. — Ваше здоровье!

Мать жеманно улыбнулась и, морщась, как будто наливка была неприятна ей, выпила.

— Засим пожелаю!..

Наум ушел, проворно уводя с собою жену, и почти сразу же после них в комнате появился старик. Он положил на комод картуз, пригладил волосы на висках.

— Ты бы мне очистила квартиру, Наталья... — заговорил он и по обыкновению сразу перешел на крик. — Мне самому жить негде. За квартиру не платишь! Уже вот какой месяц. Чего это?

И он сразу, не давая никому опомниться, вышел, крепко хлопнув дверью. Мать вначале несколько растерялась, потом подумала, причесалась и пошла к хозяйке. Та по обыкновению лежала на скамье, и жена кондуктора искала у нее в голове широким деревянным гребнем.

Мать что-то стала говорить, чего не слышал Антон, хозяйка сразу же начала перебивать ее. Она то кричала, то говорила тише, то кричала снова. Мать возражала ей одинаково спокойным и ровным голосом, но, чем спокойнее держалась она, тем сильнее горячилась старуха.

— На кой ты ему ляд сдалась! Невидаль! Врешь, чорт-дура! Станет он на старости лет поганиться падалью!..

Вероятно, в кухню вошел сам хозяин, потому что хозяйка заревела, на нее закричал, затопал старик — поднялся гвалт на весь дом. Наталья вернулась к

себе спокойная, даже улыбающаяся, будто в этой стычке победила она.

На другой день Ажогины перебрались на Суворовскую. В подвале, сзади наумовской лавки, была небольшая комната в одно окно. Там, с грехом пополам, удалось поставить кровать и стол. Комод и укладку пришлось продать, а скарб из укладки кое-как поместился в корзинке, которую можно было задвигать под кровать.

Наум предоставил Ажогиным это помещение, взамен чего Наталья должна была убирать «магазин», мыть окна, кипятить для хозяев чай, ходить в полудедедовский трактир за обедом.

Магазин торговал игрушками, посудой, орехами, пуговицами, дешевыми сладостями, ваксой, щетками, гвоздями. Здесь с утра до вечера толпились люди. Это были жители соседних дворов, грошевые покупатели, но за день их проходило столько, что Наум весело подходил к Наталье, покручивал ус и радостно похлопывал ее по плечу.

— Пожелайте нам счастья, мадам! Семнадцать целковых посверх всего — чистого, первые дни... Скоро буду по «мироворцу» приносить, мадам...

Потом он, несмотря на жену, круто щипал бок Натальи и шел на улицу, — там на подоконнике «магазина» он мог сидеть целыми часами, лузгать семечки, заговаривать с прохожими.

Антон как-то заговорил с матерью о школе:

— Погоди об ученьи-то думать... Наумка-то ведь ничего не платит!.. — сердито говорила мать Антону. — Я тебя работать отдам, пить-есть надо...

Однажды, слякотным колодным утром, пробегая в булочную за хлебом, Антон столкнулся с «Главным». Тот был в пальто с плюсовым отворотом, в хороших гамбургских сапогах. «Главный» схватил Антона за руку и сказал, оглянувшись назад:

— Где вы с матерью живете? От отца вам — поклон! Только — тише... Никому не говори, что видел меня... Я приду...

Он заявился к Ажогиным часов в восемь, после того, как Наум Мологонов уже замкнул лавку и ушел домой.

«Главный» огляделся: стены подвала цвели плесенью, в углу висело тусклое зеркало, икон было не разглядеть в темном углу.

— Рай у вас небогатый... — задумчиво проговорил гость, распахивая пальто и присаживаясь на подоконник. — Значит, вот и все ваше движимое и недвижимое? Маловато этого, очень маловато... Со стенок льет, — да, дела-делушки...

Наталья в ожидании стояла у двери, с любопытством оглядывая гостя.

— Основное вот что: Иван в тюрьме, понимаете, в чем дело? Недавно видели его: жив-здоров, учиться начал. Кто его знает, его могут выпустить. А впрочем... Вот,—ну, что же еще? — Гость продолжал оглядывать комнату. — Вот я и говорю: учится наш Иван...

«Как это учиться?» — смешливо подумал Антон, но сдержал усмешку: мать стояла строгая, высокая, со сложенными на груди руками, слезы катились у нее по лицу, она не вытирала их.

— А он думает про жену с ребенком? — вдруг зло спросила она, не меняя позы. — Что же, он думает, мы жрем камень, а с... поленья?

«Главный» изумленно посмотрел на женщину и покачал головой.

— Тяжело вам? Это верно, понимаю...

Он привлек Антона к себе, взлохматил ему волосы и снова покачал головой.

— Иван — не виноват. Виноваты — кто его посадил...

Он опять с любопытством взглянул в сторону Натальи и сунулся в карман.

— Да... Тут мы деньжат вам собрали, — конечно не губернаторская пенсия, а ведь, как говорится, у недруга не напрочишься, а друг и сам даст...

— Какой-то чудак, — растерянно улыбаясь и всхлипывая, говорила после его ухода мать. Она пересчитала деньги: здесь было семь рублевых, две зелененьких, одна синяя. — Учиться, говорит, выпускают, — ему все шутки!.. Спасибо все ж таки...

После ухода «Главного» Антон вспомнил до самой мелочи яркий солнечный день, они с отцом идут в Кудашевский

сад, кругом — толпы радостного народа, сильные, неизвестные ранее песни. Он вспомнил еще веселую команду и потом все, что последовало дальше... Антону стало нехорошо, он потихоньку выскользнул за дверь и под дождем, по грязи пошел к вокзалу. Ему почему-то казалось, что по дороге он снова должен встретить «Главного». Но Антон все шел и шел, а «Главный» не попался. В дверях магазинов притаились городовые, над городом плыл медлительный колокольный звон, по грязной мостовой тащился извозчик. Навстречу прошло десятка два солдат, старшой с шапкой прыгал с камешка на камешек и громко и мерзко ругался. Потом кто-то из солдат запел пронзительным голосом:

Во-о-ку!..
во-о-ку-узнице!..

И остальные подхватили однообразными и громкими голосами:

Во кузни-це моло-дые кузнецы!..

Вокзал был тосклив и пустынен. На платформе прогуливался жандарм, шаги его отчетливо отдавались под сводами дебаркадера.

— Пошел... пошел!.. Глядишь, чего стырить?.. — прикрикнул усач на Антона.

«Ивана Ажогина — нет... — с тоской подумал Антон. — Мать какая-то чудная, я уже не маленький, меня отдадут на работу...»

В воскресенье вечером к Антону зашли Юзька Первако и Платон Матросов. Юзька уже третий месяц работал у Юльма на разборке тряпья. Он отличался своей выносливостью, но малый рост делал его совершенным ребенком, и поэтому ему платили тринадцать копеек в день. За то время, что Антон не видел приятелей, Юзька очень изменился. Он показался ему как-то даже постаревшим. На его голове смешно сидела круглая соломенная шляпа. Однако ноги были босы, разодранные штаны заплатаны до колен. Он курил паршивые папиросы и хрипло, как большой, кашлял, отхаркиваясь и ругаясь при этом.

Платошка, наоборот, тянулся вверх. Ему шел уже тринадцатый год, и на Юзьку, и на Антона он смотрел с нескрываемым превосходством. Весну он провел в деревне и вернулся оттуда загорелым, здоровым парнем, с медвежьими ухватками: он только и искал случая, как бы кого взять за плечи повалить на землю, помять.

— Я, брат, в деревне — всех бил! Меня, брат, все до одного боялись. Любого брал на левую руку... — и потом он издевательски спрашивал Юзьку или Антона. — А ну, сколько вас на фунт сушеных?..

Видимо, таких сушеных на фунт выходило много. Платон самодовольно смеялся и неторопливо раскатывал зачуженные рукава.

— Испугались? Вы у меня смотрите!..

Однако с Юзькой и Антоном он не связывался. Наоборот, было заключено соглашение, по которому все трое должны были заступаться друг за друга, а на будущее лето сесть на поезд и поехать к морю. Кто их знал, этих детей, — зачем им понадобилось море?..

— Отец-то?... Все еще хворает? — спрашивала Юзьку Наталья, перематывая нитки с одного клубка на другой.

— Не знаю, когда и подойдет... — равнодушно ответил Юзька, доставая из кармана папиросы. — Мне не прокормить столько ртов...

Наталья промолчала.

— А мать-то как же? — спрашивала Наталья дальше.

— Мать!.. — пренебрежительно возразил Юзька, вертя в руках шляпу. — Шьет, конечно на квас, на лук зарабатывает...

Положительно, он держал себя, как глава семьи, и Антон даже позавидовал этой самостоятельности.

Как-то Антону довелось зайти к Юзьке. Здесь, пожалуй, жили даже хуже, чем на Суворовской. Всю боковую стену комнаты занимал широкий зад русской печи и в проходной комнате было душно, точно в пекарне.

Примостившись у самого окна, мать Юзьки что-то шила, не зажигая огня.

На печи, сунув громадные пятки в печурку, сидел лысый, с отекившим лицом, отец. Рядом дремал рыжий кот, тихонько шевеля усами. Сам Стефан Первако болел водянкой, по утрам и к ночи его раздувало так, что он не в силах был сойти с места.

— Разнесло, окаянную силу... — спокойно говорил Юзька. — Мать, ты сбегала бы чего пожрать...

Вечно недоедающий, он никогда и ни с кем не делил своей пищи. Он не интересовался тем, как обходятся остальные. Свой заработок он тратил на одного себя, лишь иногда давая матери десять-двадцать копеек.

— И когда тебе конец будет? — по-приятельски спрашивал он отца. — Чисто — колода, а?

Отец молча отворачивался, мать плакала, Юзька замечал это и, сознавая свою силу, только посмеивался и хозяином ходил по комнате.

Когда сейчас вошли ребята, Первако обрадованно закивал им и заговорил тонким и сильным голосом:

— Ну, вот и хорошо, хлопчики... Даже очень хорошо, хлопчики...

Мать поминутно кашляла и, как бы опасаясь, что ее слышат, каждый раз прижимала шитье ко рту.

— И ты туда же? В могилу смотришь?

— Юзя!

— Сколько лет «Юзя»... Ну сиди, сиди... — снисходительно отзывался мальчишка.

Потом он велел ей бросить шитье, и все вчетвером они сели играть в карты. Играли в подкидного дурака. Большой Платон соображал довольно туго. Его обыгрывали все время. Иногда мать, в угоду Юзьке, делала неудачные ходы, но он замечал их и орал на нее.

— Думаешь, без тебя не выиграю?

Тогда мать испуганно сжималась и осторожно гладила его по руке.

— Чего лезешь? — еще нахальнее кричал он.

Как-то случайно Антону довелось увидеть Отрепьева. Студент все-таки женился на юльмовской Фене. Еще задолго до свадьбы Юльмы уволили ее, так как у нее слишком уж заметно на-

чал расти живот. Студент, и без того живший кое-как, после свадьбы запил и стал ходить с гитарой в полудедовский подвал. Он играл там пьяной публике. Его кормили, но чаще давали понемногу выпить. Вечерами студент, качаясь и распевая несурзные песни, с гитарой на плече возвращался домой; у калитки, заложив руки под фартук, его поджидала тихая, грустная Феня.

К Фене, сильно подурневшей, ходившей уже последние месяцы, привадились телеграфист Ажогин, и весь дом, вся улица знали об этом.

— А как жить? Скоро — сама третья, — чего кусать-то будешь? Муж-то у ней, — вон он какой!..

После апрельской манифестации телеграфист одеваться стал лучше, побойчел и переехал в комнату дьячка Присядкина. Присядкин же переселился в сарай, где и расположился на сеновале. Внизу под ним по ночам вздыхали хозяйские коровы, они мычали по утрам, когда щелканье пастушьего бича олушительно раздавалось на улице. Внизу вечером хозяйка гремела подоюниками. Каждый раз, к ночи, в воротах появлялся старик Мологов. Он кричал, стуча палкой в ворота:

— Ты, дьячок! У меня чтобы — не курить. Ты нас сожгешь!

— Вообще некурящий... — откликался дьячок.

— Меня не касается, а курить не смей!..

Как только Ажогин перебрались на Суворовскую, все мологоновские жильцы очень скоро позабыли про них. Лишь телеграфист, встречая Антона, невнятно подмигивал и спрашивал:

— Ну как дела, Антон Ажогин? От Ивана Ажогина ничего не слыхать? Небось, пишет? Не знаешь? Ну, брат... Это удивительно... Надо будет сказать!.. — непонятно и угрожающе заканчивал он.

Антон бессознательно сторонился телеграфиста, и тот, не замечая этого, холодно и с подозрением смотрел на мальчишку.

Отец Платошки—Сергей Матросов— по воскресеньям ходил в школу для взрослых. На окне в комнате у него

лежала стопка книжек, аккуратно обернутых в газету. Частенько после работы Матросов садился у окна в самодельное некрашеное кресло и, подняв на крутой лоб очки в почерневшей оправе, с внимательным и суровым видом читал книгу. В такие минуты даже Платошка ходил по комнате бесшумно, словно кот.

Хозяйство у Матросовых вела Нина, сестра Платошки, лет на шесть постарше его, большелобая, голубоглазая девушка. Она вместе с отцом ходила в воскресную школу и вечерами помогала ему готовиться к урокам. Похоже, что это были не отец и дочь, а дружные дети одних родителей. Вообще жизнь в семье Матросовых привлекала Антона своей простотой, чистотой и дружностью. Нина целый день оглашала сумрачный двор, куда выходили окна комнаты, веселыми, удивительными песнями, целый день она что-то мыла, скребла в комнате, перетирала посуду, хотя у них никогда не бывало никаких гостей. Часто, уходя из дому, она возвращалась с большими узлами. Обложив себя красивыми журналами с картинками, изображавшими богато одетых женщин, она шила, — но шила солдатские гимнастерки, подштанники, ватные безрукавки.

Сам Матросов работал в вагонных мастерских столяром-краснодеревцем, и в его комнате не было ни одной купленной деревянной вещи, — все было сделано им самим. На работу он уходил всегда в одном и том же потертом, но всегда чистом костюме, в серой кепке «аэроплан», при галстукке.

Однажды, когда Матросов задержался в мастерской и Нина послала Платошку к отцу с обедом, Антон, сопровождавший приятеля, увидел Матросова в синей блузе, осыпанной опилками, в широких штанах из чортовой кожи. Штаны держались при помощи широких лямок. Из бокового кармана блузы торчал желтый, складной аршин.

— Чисто немец, — с удовольствием сказал Платон.

Отец поднял на лоб свои очки, покрутил головой, но ничего не сказал сыну. Уже кончая обед, сидя на краю

придорожной канавы, у ворот мастерских, Матросов спросил Антона:

— А твой отец так ничего и не пишет? Удивительная история, понимаешь...

Он посидел еще немного, покрутил свой серый короткий ус, чихнул и, распродавшись с детьми, точно с товарищами, неторопливо и что-то напевая про себя густым басом, прошел в проходную калитку.

Как-то Антон один зашел к Матросовым. Нина сидела у окна, она шила юбку из темносиней материи, иглолка ловко мелькала в ее тонких пальцах, и девушка, не разжимая рта, напевала какой-то радостный мотив.

— Платошка? Его нет, — ответила она, откидывая назад белокурые пряди волос. — А зачем он тебе?

— Я хочу итти ловить рыбу... В Варваринском монастыре.

— Ты бывал разве когда-нибудь в монастыре? — она насторожилась.

— Я там ловил рыбу...

— Рыбу? — забеспокоилась Нина, сбрасывая с колен шитье и начиная хрустеть пальцами. — Ты откуда про эти места узнал? Говори!

— Да так... — замялся Антон. — Говорили мне, ну я и пошел...

— Людей туда много ходит? — переспросила Нина. — Нет, в самом деле, ты говори...

Антон не понимал настойчивости девушки и замолчал вовсе. Она уже прибирала в сундук свою работу, мимоходом заглядывала в зеркальце, не стесняясь Антона, переодевала кофточку, показывая при этом свои круглые белые плечи.

— Мы вместе пройдем в монастырь, да? — спрашивала она через минуту, прижимая Антона к себе, заглядывая ему в глаза и расчесывая его волосы.

— А я там кого-то видел... Только не скажу...

Нина заметалась по комнате, накинула на себя черную вязаную косынку, взяла яблоко и посыпала сахарным песком кусок хлеба.

— Пошли...

Нина быстро шагала, шаги ее были

широки, и каблучки звонко отстукивали по деревянному тротуару.

Выйдя за город, она разулась и с удовольствием прошла босиком по мягкой пыли. Как и в тот раз, Ужогоино пустовало, на улицах не было даже собак, но из раскрытых окон слышался скрежет пил по железу, звонкие стук молотков, плач ребятшек.

— Ты много знаешь, — многозначительно и весело заговорила Нина, — скоро состаришься... Смотри-и! — И потом: — ты кого-нибудь видел на монастырском огороде, говори?!

— Не могу... — еле слышно сказал он, глядя в сторону.

— Не можешь, что? Почему не можешь? Говори! — наклонялась она к Антону, теребя его за ухо.

— Не знаю...

Против ожидания, Нина отпустила Антона и звонко рассмеялась. Она потрепала его по плечу и побежала по дорожке.

— Лови!..

Он бросился за девушкой, но так и не сумел догнать ее.

— Узкая юбка, и то! А еще — кавалер! — смеялась она. — А ты не дурак, Антоша. Только не говори никому про то, что знаешь...

«Это она нарочно, чтобы я рассказал ей...» — подумал Антон. Они шли веселой низинкой, по обе стороны дорожки стояла сочная росистая трава. Сбоку, за ручьем однообразно стонал чибис.

— В школу пойдешь? — спросила Нина, когда на полдороге между Ужогоиным и Колодкиным они присели передохнуть, в канаве, у дороги. — Говори!..

У нее была привычка очень часто и не всегда к месту произносить это слово «говори». Произносила она его требовательно и так, что уже невозможно было не ответить.

— Работать кому? — выслушав его ответ, задумчиво переспросила она, трогая пальцем уголки своих губ. — Это, дорогой мой, плохо... Так вот всегда у нас... Так откуда ты знаешь о монастырском огороде?

Но Антон не дал себя поймать, он

молча, с преувеличенной невнимательностью поглядывал по сторонам. Девушка своей настойчивостью чем-то напоминала ему телеграфиста Ажогина.

В Колодкине, на берегу пруда, обгорелые доски и бревна были свалены в кучу, на них сидел сторож — высокий мужик с длинной палкой, на месте сгоревшего строили новый сарай, плотники сидели на коньке крыши, глухо тпали топорами.

Нина смотрела без всякого удивления на следы пожара. Казалось, она знала об этом гораздо раньше Антона.

Наконец они подошли к Монастырке.

Как и в тот раз, около шалаша теплился костер, никого не было видно, пес мчался навстречу девушке и Антону. Собака сразу узнала его, мимоходом лизнула его в лицо и бросилась Нине на грудь. Пес встретил Ницу так, как будто всю жизнь провел около нее.

— Теплов, Теплов... — дружелюбно говорила она, трепля собаку за ошейник. — Ты все такой же глупый. Какой же ты после этого сторож? Говори!

Пес бегал взад и вперед, взвизгивал, снова бросался Нине на грудь. Он держал себя, как расшалившийся щенок.

— Теплов, Теплов — дурак! — повторяла Нина, радостно трепеща ресницами.

В нескольких шагах от дорожки из картофельной ботвы выглядывал трепанный малахай сторожа. Не успел Антон ступить и шагу с дорожки к шалашу, с земли поднялся и навстречу Антону, как выросший из-под земли, шагнул «Главный», как и в тот раз, в рубахе без пуговиц, в грязных штанах. Он подхватил мальчишку за локти.

— Москву видел?.. — смеясь и приподнимая его, спрашивал он.

В стороне стояла Нина, исподлобья улыбаясь и рассматривая их. Над костром, тихонько покачиваясь, весело рокотал чайник, на сковороде дымилась яичница, полковриги хлеба лежало на траве.

— Ого, вместе с Ниной? — спрашивал «Главный». — Садитесь, будем пьянствовать...

Потом сели пить чай, старик-сторож пил торопливо, словно боялся опоздать куда-то. Нина с веселой жадностью, смеясь и обжигаясь, ела горячую яичницу. Антон помогал ей, «Главный» молчал, задумчиво дергал бровью, пошевеливая пальцами босых ног. Нина, жуя и кашляя, говорила, по временам испуганно раскрывая глаза и делая такой жест, словно стараясь прикрыть грудь:

— Даже мальчишки знают, Павел Орестович, — здесь, наверно, наблюдают. Говорите!

— На то и наблюдающие, чтобы наблюдать... — равнодушно возражал «Главный». — К тому же у страха глаза велики, Ниночка... Пора привыкнуть к тому, что следить да выглядывать, да травить нас, — э-э, батюшка мой, нам до самой смерти этого хватит... Или до самой революции.

— Глупости говорите, — сердито перебивала его Нина, еще больше стараясь закрыть грудь. — Не мне бы вас учить, но очень уж глупо...

Старик принес и бросил наземь охапку хворосту.

— Ждут чего-то... Наши отцы... — тоненько сказал он, показывая рукой в сторону опушки и посматривая на Нину. — Сказали бы чего, а то ведь неловко, стало быть...

«Главный» спокойно остался на месте, только придвинул к себе пару удочек, незамеченных ранее Антоном, бросил в ноги пустое ведерко.

— Ты молчи, Антон... — шепнула Нина. — Что ни спросят — все равно молчи...

Она села поудобнее. От Ужги, прямо через картофельные борозды, сюда шагали двое монахов. Тот, что пониже, был молод, курчав и, видимо, весел. Он размахивал подсолнечником, сломанным под самый корень. Монах быстро огляделся по сторонам, потом задержался взглядом на лице Нины и вопросительно посмотрел на товарища. Тот был высок, сутуловат, рыжий волос густо окружал его тощее лицо, и единственный здоровый глаз пристально и открыто смотрел на людей.

— Откудова будете, господа рыболо-

вы? — весело и охотно спросил молодой. — Как у вас насчет рыбки? Много ли улова?

— Только что идем... — широко зевая, ответил «Главный». — Вот с детьми пошел, да и вообще по погоде, — очень хорошо!..

— Очень хорошо... — скороговоркой отозвался молодой. — Дочка, значит, и сын? Так-так-так.

— А документы есть? — спросил вдруг, словно ухнул, рыжий и строго обратился к старику. — Кто такие за люди?

— Мне неизвестно, — люди, конечно дело...

— Говоришь вот ты много... Жуликов на свете немало, обдерут тебя, да еще убьют, старого дурака.

— Кому я нужен, батюшка...

— Кому нужен? И дерьмо на поле годится, старик... — молодой, довольный своей шуткой, рассмеялся, обошел Нину кругом и направился к мосту через Монастырку, не переставая размахивать подсолнечником. Рыжий толкнул ногою кирпичи, на которых стоял чайник.

— Спалите чего, а монастырь отвечай?.. Ты у меня смотри, старик...

Когда оба они скрылись, Нина вскинулась опять.

— Вот не зря я говорила, Павел Орестович... и сами сядете, и других подведете.

— Чорт их знает, шляются здесь... Душеловые окаянные, — ворчал «Главный». — Да я что? У меня паспорт хороший, хоть за границу.

Немного помолчали. Нина поднялась. Кругом не было видно ни души. Ужга сегодня блестела тяжело и свинцово: над нею шли грузные облака.

— Мимо пороховых складов шли? Не видели ничего? — спросил вдруг Павел Орестович, как всегда, неприятно играя бровью. — Солдаты есть там на ученьи?

Нина покраснела и покачала головой:

— Не заметила...

— Слышно, скоро мобилизация, у сербов какая-то чепуха началась. Дело к войне.

— Война? — невнимательно спроси-

ла Нина и опять приложила руку к груди. — Вы бы перебрались куда. Ведь ничего не стоит, — пропадете вы тут, — и уголки ее губ сложились в нервную складку.

— Дело к войне... — пощипывая бородку и глядя в землю, продолжал «Главный». — Сербы — это что? Маленькая ширма, за ней даже вот его... — он кивнул в сторону Антона, — его не спрячешь... И если так... ой, сколько придется нам помучиться, потому что многие из нас порастеряют головы!..

— Аресты? — даже привстала Нина.

— Это что, аресты? Люди будут сами терять свои головы. Тюрьма часто помогает находить ее, — а тут будут терять, как плохо пришитую пуговицу.

Антону не нравилось, когда «Главный» начинал говорить такими непонятными словами, но, видимо, Нина вполне разбиралась в них. Она стояла сейчас на коленях, опираясь на то-

порище, и при этом у нее был такой вид, словно она в любую минуту была готова вскочить на ноги.

— Приятного в общем у вас здесь мало... — прежним упрямым тоном заговорила она, вставая и потягиваясь.

— Зато полезного — хоть отбавляй! — деланно-весело сказал «Главный». — Ну, вы по домам? Это хорошо, что Антон молчит. Ты помалкивай... Весь в отца, подпольщик...

Он повернул Антона лицом к солнцу, словно иначе не мог видеть лица мальчишки.

— Так вот, значит, брат...—тихонько продолжал он. — Ты ничего не говори дома там, матери... А с отцом, глядишь, скоро увидимся, — ты не забывай его, брат...

Он неожиданно нагнулся к мальчишке и звонко поцеловал.

— У тебя, брат, должна быть память хорошая. Иначе — нельзя! В апреле месяце-то помнишь? Э, ты, не забывай этого!..

(Продолжение следует)

Новоселье

Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ

Поросший деревенским захолустьем,
Отцовский двор на памяти у нас.
Но этот дом, где псов, бывало, спустит
Кержак угрюмый, с бородой до глаз,
Где на заплот, утыканный гвоздями,
Порою вскочит встрепанный петух,
Где жили-были за семью замками,
Упрятав скопидомства затхлый дух.
И звонко пели, кованые жестью,
Открыв свои зубастые замки,
С полсотни лет стоявшие на месте
Набитые зажитком сундуки...
А мы, Сизовы, жили на притычке...
По нашему бедняцкому труду
Зазорные «Косых» да «Рваных» клочки
Написаны нам были на роду.
На новосельи заживем, как надо.
Кровать поставим новую, а там,

Где нагадила темный круг лампада,
Найдется место книгам и цветам.
Оно глядит, кулацкое гнездовье,
Как паутина из углов, на нас.
Здесь каждый клин твоею куплею
кровью,
Отец, твой труд заложен в каждый паз.
Изба шатровая, большая... «Значит,
Живи сто лет, Иван Кузьмич Сизов».
.

Построим жизнь, как новый дом, иначе
Среди стекла и солнца, и садов
Проклятый смрад и затхлость
скопидомства
Мы выветрим, я знаю, навсегда,
Чтобы вдыхало новое потомство
Смолистый запах нашего труда.



Рождение человека

БОР. ПИЛЬНЯК

Рассказ

Из Москвы позвонили: приедет и пробудет в доме дней десять, недели две прокурор Антонова. Она приехала вечером. Автомобиль свернул с гудрона на гравий, ехал лесом, в совершенном мраке. Огни дома показались возникшими в пустыне и в лесных дебрях одиночества. Дом был стар, оставшийся от помещиков и прибранный помещичьи. Ее провели наверх, в угловую комнату, сказали, что ужин будет через двадцать минут, затем можно пойти погулять. Ванна будет в десять, в одиннадцать погаснет электричество. Ей улыбнулись и оставили ее одну. Она разложила вещи. В недрах дома прозвучал гонг. Внизу, в пустых комнатах, за стеной от гостиной щелкали бильярдные шары. Встретила хозяйка и провела гостиной и библиотекой в полутемную сводчатую комнату.

— В этой комнате у помещиков собирались мasons, эта комната была мasonicкой ложей.

Людей в доме было очень мало, они уже сдружились. После ужина к ней подошли сожители, перезнакомились, пережали руку, сказали:

— У нас традиция, каждый приехавший вновь делает доклад. Вы должны рассказать о советской прокуратуре.

Она ответила, — хорошо.

Опять защелкали бильярдные шары. Она пошла гулять. Ночь была очень темна, все кругом казалось пустыней и делями. В парке кричали совы. За парком из пустого мрака подул ветер и

заморосил мелким дождем. Когда она вернулась, в доме не слышны были даже бильярдные шары. Рядом с гостиной в пустой библиотеке у столиков горели ненужные лампы. Она стала рассматривать книги и выбрала себе несколько книг. Два наугольных старинных окна наверху в ее комнате упирались во мрак. Она разложила бумагу, конверты, тетрадь, придвинула к печке кресло. По стеклам окон из пустоты мрака ветер ударил дождевыми каплями. Книжки были стары, как дом, от них пахло гниением. Постучали, сообщили, что ванна готова, положили простыни. Зеркало отразило очень сосредоточенное лицо, а внизу, в ванной, женщина очень внимательно, сосредоточенно, почти печально и все же счастливо рассматривала в зеркале свое тело, свой новый живот. На момент зрачки провалились, женщина улыбнулась и, как живое и ласковое, погладила свой живот. И она неловко и осторожно стала опускаться в воду. Она не управилась к одиннадцати, на ночном столике долго горела свеча. И долго ветер бил по стеклам дождевыми каплями под шелест страниц. В восемь утра по недрам дома прозвучал гонг. За окном сияло солнце, синее небо, просторный пейзаж. Дом стоял на горе, в лесу, в соснах. Под горою протекала синяя река. Опустошенные осенью, за рекой лежали поля, деревня, лиловый лес, синее небо, просторно, совсем обыденно. Эта золотая осенняя обыденность и этот обыденный русский пейзаж оказались

прекрасными. В старину помещики, отрываясь от мasonicких дел, гоняли борзыми по чернотропу в такие дни лисиц и волков. Ветер исчез. Заморозок подсушил землю. Под ногами шуршали опавшие листья. Лиственный лес поредел. Клены догорали запекшейся кровью. Воздух в легком морозце был просторнее леса. Надо было думать о журавлях, и на самом деле на юг пролетели журавли, треугольником, печальные, курлыкающие. А к вечеру опять заморосил дождь. Опять долго ночью горела свеча, шелестели страницы книг, и книга замирала в руках, когда там внутри, совсем под сердцем, начинал двигаться ребенок.

В мертвый час, уже к закату, в парке она встретила сожителя. Он шел, опустив голову, старательно выбирая места, где больше лежало опавших листьев, и он смутился, увидав ее.

— Странное дело, — сказал он, оправдываясь, — с детства люблю этот шорох. Он успокаивает или бодрит, — не знаю уж, как сказать, — лучше, чем Большой театр или какая-нибудь лирическая поэма Пастернака. Могу часами ходить по листьям.

Они помолчали. Он отрекомендовался — Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. Пошли рядом по листьям. Он сказал и опять смутился.

— Простите, надо полагать, что вы скоро будете родить.

Она ответила без смущения, даже с гордостью:

— Да, через двенадцать дней. Я приехала сюда отдохнуть перед родами. Здесь есть телефон с городом, все организовано, — и я прямо отсюда поеду по путевке в родильный дом имени Клары Цеткин.

Станкостроитель заговорил о станкостроении, — все время в делах, на природу вырываешься даже не каждый год, даже забываешь ее вместе с детством. И станкостроитель усердно подгрел под ноги опавшие листья.

Вечером лил дождик. Она писала письма и в ту пустую тетрадь в тисненном венецианском кожаном переплете, которую она несколько лет тому назад привезла из Турции, из Константино-

поля, где она работала однажды на ревизии.

Она написала двоюродной сестре в Саратов:

«... Дела тетки Клавдии обстоят следующим образом. Я встретила ее на вокзале и отвезла в институт. У нее — рак, запущенный и неизлечимый. Встретилась она со мною, заплакала и стала целоваться, и тут же рассказала о кровотечении, о болях, о запахе. И заговорила, — «ты прокурор, ты все можешь, устрой меня обязательно стационарно». Тетка и врачам сказала, что я — прокурор. После осмотра я осталась наедине с врачами. Лечение лучами радия даст лишь уменьшение боли и, может быть, отодвинет смерть на два-три месяца, но смерть неминуема. Тетка настаивала на стационарном лечении, — врач мне сказал: «если мы дадим койку, тем самым отнимем возможность лечить человека, который может выздороветь». Я сказала тетке Клавдии, что хлопотать о стационарном лечении я не буду, потому что считаю неприемлемым для себя отнимать койку у человека, который может на ней вылечиться. Тетка заявила, что она позовет главного врача к себе на дом, хорошо ему заплатит, и он ее поместит в институт. Меня она сочла за выродка из рода. Я понимаю ее, она живет моралью, когда род был на самом деле основой, защитой, помощью. С ее точки зрения, я конечно неправа, человек из средневековья конечно б добивался для нее самых лучших, даже бессмысленных условий, потому что она и он — одной крови, и, не заботясь о ней, он обескровливал бы себя. Я не живу этой моралью. Помочь тетке Клавдии я ничем не могу. Ты возражишь, — смерть, мучения, родная тетка, — понимаю, страдания видеть мучительно, — принимаю, как оно есть. Так же поступила бы я и с родною своей матерью. На ближайший месяц я выпадаю из жизни. Я не писала тебе: через десять дней я рожу ребенка, сейчас перед родами я в доме отдыха. И, стало быть, на этот месяц даже бытовых забот я не могу

выполнять для тетки. Спишись с другими родичами...»

Она написала в Москву, в прокуратуру, товарищу по работе:

«Товарищ Томский!

Я уехала, не переговорив с тобою.

Дела, не законченные мною, будешь вести ты. Меня беспокоит дело об убийстве одесского врача Френкеля. Кацапову грозит высшая мера. Посмотри внимательно».

За домом капал дождик. Ветер шелестел по стеклам дождевыми каплями. За окнами шелестел лес. В черных стеклах отражались — стол, книги и бумаги на столе, женщина за столом, лампа. Автомобиль потащил письма во мрак ночи. И она записывала в пустую тетрадь:

«Вчера мне показали в этом доме комнату, где собирались масоны, а в библиотеке я нашла масонские книги, оставшиеся от помещиков, как и весь этот дом. Я читала книгу, посвященную «гроссмейстеру, мастерам, надзирателям и братьям древнейшего и почтеннейшего братства франк-масонов Великобритании и Ирландии», стран, в которых, как оказывается, вообще родилось масонство, книгу о «соли земли, свете мира, огне вселенной», как некий Филалет называет масонов, мастеров «великих тайн», новых розенкрейцеровских братьев. В этой книге очень много таинственных слов и намеков, половина слов пишется с больших букв: Братья, Он, Совесть, Свет, Ночь, Небо. Должно быть, все это было очень страшно и казалось премудрым. А мне все это кажется просто глупостью и набором неумных слов... Все это пусто, мертво, шлак. Но все это — жило. Сто лет тому назад в этот дом, может быть, приезжала какая-нибудь женщина для уединения перед родами. Ее на пороге встретили хлебом-солью, — или как там еще... С нею приехал законный муж. Какие-нибудь драные рабыни бегали по всей усадьбе, разгоняя черных котов и петухов, чтобы они не перешли дороги. Местный поп, надо полагать, целый день сидел дома, чтобы невзначай не встретиться барыне,

причем барыня была не просто барыня, а княгиня, графиня или баронесса. Зеркала в доме наверное переукреплялись наново, чтобы не упали и не разбились. Те же драные рабыни наверное по всему дому гоняли мышей, чтобы княгиня не увидела мыши и чтобы эта мышь не отпечталась на тельце будущего ребенка. Комната масонских заседаний в этом доме — комната, как комната, отделана мореным дубом, надо полагать, «под готику», как я вычитала в масонской книжке, темная, в фашистских свастиках, ничего особенного, пыльно, а эту комнату барыня обходила со страхом, в трепете и ужасе, — помилуйте, в этой комнате проживает сам масонский разум с большой буквы!.. Демоны, приметы демонов, дела демонов окружали барыню со всех сторон, лезли из темных углов, из-под кровати, из окон, даже в самой барыне обязательно помещались двое — бог и дьявол, прописанные, как паспорт прописывается в отделении милиции. Барыня и жила, придавленная этими вершителями судеб. Она даже во сне не имела покоя, — потому что — вдруг во сне она увидит черную кошку. А при барыне — барин, масон, полковник и, пока барыня беременна, спит с горничной.

«Да, да. Все это так. Все это умерло!..»

Постучали, сказали, что ванна готова, положили простыни. Дорога в ванну проходила мимо бильярдной. В бильярдной собрались все живущие, двери были открыты. Она прошла мимо дверей, стараясь быть незамеченной. И опять в одиннадцать нельзя было заснуть. Свечи горели за полночь. Шелестели лес, ветер и дождь. Она лежала без книги, с руками под головой, с неподвижными глазами.

Шофер привез из Москвы от приятелей вместе с книгами в портфеле — водку. После одиннадцати заговорщики и любители выпить забрались в масонскую ложу. Их было трое. Они пришли со свечами и в халатах. Они принесли с собою водку, свежих огурцов и соль. О масонстве и о месте собутыльничанья

они не обмолвились ни словом, место избрано было потому, что здесь не было окон и, стало быть, ночной сторож не мог подглядеть с улицы и нажаловаться. Пили стоя и сплетничали шопотом, благодумствовали и мальчиществовали.

— Прокурорша Антонова, — сказал собутыльник, — гроза-бабочка, и пожалуйте — с животиком. Я о ней слышал в Москве, — на самом деле твердокаменная, дочь рабочего, бывшая работница, в партию пришла из комсомола, партия послала на учебу и в прокуратуру, прокурорша на самом деле свирепая и самое главное — красивая женщина, молодая, а никакой потачки. Ее и за женщину не считали. И вдруг пожалуйте — с животом. Сегодня мимо бильярдной в ванну прошла, — стесняется.

— А кто ее муж? — спросил второй собутыльник.

— Неизвестно. Нету мужа.

Третьим собутыльником был станко-строитель, он разговорился лирически:

— Какая она там прокурор, — не знаю. Ничего о ней не слышал. И какая у ней была жизнь, тоже не знаю. А тем не менее понятно, что что-то у нее неблагополучно. Неблагополучие я вывожу из следующего. Если бы у нее была семья, ее хоть кто-нибудь проводил бы. Если бы у нее был дом, уж никак она не поехала бы из дома на это время. А вывод я делаю тоже следующий. Мы все партийцы, надо быть с ней поласковой, оказать ей внимание и дружбу... Прелестная она и одинокая...

— Опрокинем по следующей? — спросил второй собутыльник.

— Будете уверены, — сказал первый. — Станкодел уже в лираке.

Выпили. Выпивали. Затем потихоньку, чтобы не скрипнули лестничные половицы, прокрадывались наверх, по комнатам. Всю ночь лил дождь и шумел ветер, и шумел лес. Она долго лежала с руками под головой, с неподвижными глазами. Свечи отекали, мигали. Ночь была очень глуха.

И весь день поливал дождик.

Все утро она писала в константинопольскую тетрадь.

«Да, да. Все это так. Все это умерло!..»

«Моя жизнь прошла так, что, может быть, сейчас впервые я думаю, — как сказать? — о человеческих инстинктах и о моих собственных. Мне некогда было о них думать. И это уже на самом деле, что только сейчас я поистине свободна, потому что на самом деле мне было некогда все время. Как ни стыдно признаться, но и ребенок, для которого я пишу сейчас, у меня будет потому, что мне было некогда. Серьезно я задумалась о ребенке только тогда, когда он начал двигаться. Это было взрывом инстинктов!.. и это заставило меня думать именно об инстинктах, и эти мысли привели меня к воспоминаниям детства. Мне было десять лет, когда началась революция и отец с двумя наганями ушел обстреливать Кремль. Наш дом на Пресне превратился в районный штаб, где говорилось и делалось только для революции и где мы все голодали. В двенадцать лет я была комсомолкой и на общественной работе, я училась в семилетке, мои мысли были заняты учебой, очередными уроками и комсомольской работой, читать я не успевала ничего, кроме «Комсомолки», и то урывками, мне все время хотелось отоспаться. В двадцатом году под Перекопом был убит отец, я пошла на работу, очень глупо, к соседям в няньки, пока меня не приняли на Трехгорку. Там я училась в фабзавуче. И опять у меня не было ни одной лишней минуты. Комсомол снял меня от станка. Бюро райкома превратилось в мою квартиру, «Комсомолка» вычитывалась от корки до корки, потому что то, что писалось в «Комсомолке», я должна была проводить в жизнь. «Комсомолка» была справочником всего, что касалось моей жизни и моих дел. И опять у меня не было ни одной свободной минуты. Можно не писать дальше, — так было всю жизнь. Я всегда уходила с головой в мои дела, — будь ли это ударная неделя по мобилизации в

деревню, будь ли это расследование о комсомольской пьянке, будь ли это — теперь — ревизия в Константинополе.

«Я не случайно написала вчера о барыне с богом, с чортом и с масонами. Мне неловко перед моим будущим ребенком, но я должна написать сейчас, — ну да, о собаке товарища Б. Ребенок зашевелился во мне ночью, я проснулась. Это нельзя передать словами — это восхищение, доходящее до ужаса, это ощущение жизни и смерти одновременно, эту радость, доходящую до физического ощущения, — этот стыд, доводящий до слез и одновременно такой, что мне хотелось вскочить с постели и позвонить по любому телефону, чтобы любому человеку рассказать — о том, что сейчас, пять минут тому назад, во мне задвигалось новое человеческое существо, никогда не бывшее, неповторимое, единственное, которое будет жить в новую эпоху, в бесклассовом обществе, без классовых противоречий, борьбе с которыми я в частности отдавала свою жизнь. Это было под выходной день, мне позвонили, что я должна ехать по срочному делу с докладом на дачу к товарищу Б., за срок километров, за мной прислали автомобиль. Я приехала с утра и пробыла до обеда, товарищ Б. просматривал дело, а кроме этого, сидел вместе с домочадцами. Их собака должна была родить через несколько дней, и она мучила хозяев. Они только-что устроились на даче, построили сарай и погреб, забор, посадили цветы и деревья, — и собака подрывалась под дом, под погреб, под забор, под сарай, под клумбы, каждый раз в новом месте, готовя себе берлогу для родов. Собаку все время гоняли с места на место и закапывали ее ямы, собака смотрела на людей прибитыми глазами и вновь начинала рыться. На собаку кричали. И вдруг я вознегодовала на человеческую бесчеловечность, вознегодовала самым серьезным образом, не понимала, откуда у меня такая самая настоящая злоба, — и вот не забываю этой собаки до сих пор, до сих пор я по-

мню ее глаза, и во мне поднимается злоба, когда я думаю об этих зарытых ямках.

«О собаке и барыне я записала не случайно. С того времени, как во мне ошутимо появился ребенок, я все время живу в жгучем стыде и в физическом ощущении радости. И еще. Каждый мой поступок, каждый поступок людей вокруг меня, каждую прочитанную строчку я предваряю вопросом: какими инстинктами стимулируется этот, тот, третий поступок? — Сначала меня задавило осознание этих инстинктов, они навалились на меня горою непонятного и неосознанного в самой себе. Я клала перед собою книги и с карандашом в руках, страницу за страницей, выписывала инстинкты, стимулирующие поступки персонажей. Их очень много, они очень разнообразны, но все же они систематизируются. Я проработала «Войну и мир» Толстого, начиная с первой страницы феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Куракина. Оказывается, Толстой оперировал главным образом биологическими инстинктами, одетыми в феодальный наряд. Феодалы оставили больше инстинктов, чем капиталисты. И вот что оказывается, ради чего я и пишу все это, — оказывается, что социалистических, коммунистических инстинктов еще очень мало. Я проработала одного-другого наших современных писателей, коммунистов, — оказывается, их коммунистические страницы, а стало быть, и они сами стимулируются иной раз такими ветхими, такими каменно-бронзово-пещерными инстинктами, что диву даешься, почему они коммунисты. Мало, мало еще коммунистических инстинктов, которые стимулировали бы подлинно коммунистические дела и поступки. Это понятно, мы очень молоды, направо и налево мы живем в демонах моей княгини и масонов и не умеем отличить их от того здорового инстинкта собаки, который попирает товарищ Б., его детишки и жена. Мой сын должен будет жить без демонов и не боясь собак, — нет, точ-

нее, — собачьих инстинктов. На самом деле мне стыдно до слез от непонятного счастья созидания человека — и мне никак не стыдно крикнуть об этом на весь мир. Я сдерживаюсь по традиции приличий (тоже инстинкты), а на самом деле мне хочется всем, всем, всем говорить о том непонятном и величественном, что называется рождением человека — и человека, и человечества, пусть эпохи человеческого развития одевают людей в каменный век, в бронзовый, в феодальных масонов!..»

Кроме всех прочих случаев, дружбы возникают у людей потому, что в подсознании эти двое, сходящиеся в дружбу, чувствуют не только социальное, но и биологическое соответствие. Кройчмеровская теория, установленная, к слову сказать, до Кройчмера русским профессором Ганнушкиным, конечно, основательна. Дожди лили два дня под ряд, все сидели дома, делали друг другу доклады, читали вслух новинки, концертировали, воевали на бильярде. Она, как предписали врачи, гуляла каждый день, не меньше пяти часов, по дождю и по мокрым листьям. Каждый раз ее сопровождал Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. У них выработался маршрут, парком по листьям под гору к реке, оттуда вдоль реки полем до деревни и обратно. Пребывала природа в осенней усталости, в одинокой тишине, изредка лишь слышны были в лесу москочки да гаечки. Деревня за рекою убралась в избы, в сарай, в овины. Они шли рядом, и говорил главным образом Иван Федорович. Он был лиричен, хотя это и никак не соответствовало громадным его плечам, очень сухим скулам и жесткой прическе, когда волосы казались колючими, как еж. Он шутил и никогда ничего не договаривал до конца. Он много рассказывал о станкостроении, о той области индустрии, которой не было в России, которая строит новые заводы, делая промышленность независимой ни от Европы, ни от Америки; он много рассказывал об «умности» станка; он охотнейше рассказывал о своих поездках в Германию и в Америку, где совершенствовал знания, и

охотнейше, с шуточкой вспоминал свои встречи с знаменитыми партийцами, передавал разговоры, характеризовал, подшучивал; но о нем самом узналось немного: ему было восемнадцать, когда началась революция, и он был уже на заводе в Сормове; ему было двадцать два, когда он, комдив, демобилизовался из армии и поступил во втуз на рабфак; ему было двадцать четыре, когда он впервые прочитал Пушкина и открыл, что есть искусства литературы, живописи, музыки; ему было двадцать девять, когда партия поручила ему изучить станкостроение, наладить эту промышленность и съездить для этого в Европу; он мельком обмолвился, что дважды был женат и оба раза неудачно. Они гуляли утром и вечером. Очень сиротливо по вечерам погружалась мокрая земля во мрак, когда казалось, что земля опускается в одиночество пустыни. Никаких внешних признаков дружбы не было. Едва ли даже это походило на возникновение дружбы.

Сожители настояли, и она делала доклад о советской уголовной политике. Все мероприятия советской власти сейчас же отражались на преступности. По преступности и по ее эволюции, по ее интенсивности можно проследить, как в кривом зеркале, все развитие советской власти, всю ее историю. Восемнадцатый год прошел грядой преступлений, когда после национализации земли, фабрик, заводов и банков — купцы, землевладельцы, фабриканты, дворяне — задним числом, датами от 1916-го, от 1915-го годов, подделывая нотариальные записи, продавали национализированные владения различным иностранцам, в том числе даже эстонцам и финнам, и тем, которые имели возможность патриархально в Польше и Латвии. Введение продотрядов и огражденных пунктов посадило на скамью подсудимых большое количество железнодорожников, которые до тех пор никак мешочниками не были. Доклад слушали в гостиной, после ужина. Просили, после доклада, рассказать какие-нибудь необыкновенные случаи. Она рассказывала о бандитах, об их морали

и жизни, об их «справедливости», об их делах, которые влекли высшую меру социальной защиты, и о том, как жалко было иной раз их расстреливать. Она рассказывала о вредителях, о том, как они воспитанны, грамотны, вежливы, как они говорили о морали и справедливости, — и о том, как совершенно не жалко и не трудно было требовать для них высшей меры.

Она записывала в свою тетрадь.

«... а старые инстинкты — изжиты, как старое платье не по мерке, не по сознанию, потому что их основа — сознание и социальное соотношение человеческих сил — умерла. Мне было девятнадцать лет; когда я впервые сошлась с женщиной. Раньше женщины говорили о себе, — «отдалась». Это слово мертво теперь, не имеет содержания. Я никак не чувствовала какой-либо девичьей или женской специфики, я была человеком, партийцем, работником, я командовала, если это требовалось по делу, и мужчинами, и женщинами одинаково, стариками с бородами и старухами, равно как и товарищами... Я стала женщиной позднее, чем мои подруги. Они мне рассказывали о своих связях. Я понимала, что в основном — это наслаждение и естественно-физическая потребность. Мне было любопытно, и во мне проснулась биология. Я решила сойтись с женщиной раньше, чем это произошло. Я тогда училась, я была занята учебой и комсомольской работой до одиннадцати вечера. Мне нравился один товарищ, но он был очень занят, я его редко встречала. Он был вторым, с которым я сходилась. Он стал приезжать ко мне, когда я сказала ему, что я не девушка, нам обоим было совершенно понятно, зачем мы встречаемся. Но первым был товарищ по работе, старший по возрасту лет на пятнадцать, районный инструктор. Нам по дороге было домой, я позвала его к себе на минуточку, по делу, взять литературу, у меня все было решено, но три дня я отбивалась от него. Он приходил ко мне после одиннадцати. Три дня я ходила в бессоннице, в мыслях, точно они были об-

леплены пухом. На третью ночь, уже утром, когда рассвело, это случилось. Это было очень противно. Он пришел ко мне еще только один раз. Я его прогнала. И только через полгода я сказала второму, к слову, будто бы случайно, о том, что я — не девушка. Он ни о чем меня не спрашивал. Я ни о чем ему не говорила. Мы, конечно, не сказали никакого люблю. Мне с ним было хорошо, я его ждала, но он был очень занят, и он приезжал ко мне очень редко. Встречи с ним мне казались естественными. Я скучала без него.

«Все это так. Но — вот основное.

Мне очень оскорбительно было за мое человеческое достоинство. Я рассуждала: мужчина в тридцать лет, холост, — стало быть, или он дегенерат, или болен, или у него есть связи с женщиной или с женщинами, и это его частное и никак не общественное дело — легализовать или не легализовать свои отношения с женщинами, дело его морали. Женщина в двадцать или тридцать лет, холоста, — времена женского рабства прошли, — я повторяла рассуждения о тридцатилетнем мужчине, — чем она хуже мужчины? — не доводить же себя до того унижайшего, оскорбляющего все сознание, что называется... противно написать это слово!.. О ребенке я не думала, принимая за правило, что ребенок быть не должно. Семья со «своими» «собственными» кастриями и занавесками у меня вызывала насмешку, — какие еще там клановые «свои» «собственные» углы и супруги, когда весь мир — мой!?! Семья, как экономическая единица, — вещь мертвая. Быть в глупой «психологической» зависимости от мужа, как это бывало с моими подругами, быть под глупейшим контролем супруга и считаться с его «индивидуалистическими» особенностями, — это мне казалось ненужным ярмом. Во всех тех романах, которые я прочитала, во всем, что я видела кругом себя в людских семейных отношениях, — я видела в первую очередь — ложь, которую в наследие нам остави-

ла старая семья и мораль, которые смердят падалью. Я не видела ни одной пары, чтобы они были совершенно правдивы друг к другу, большинство из них клялись в сексуальной верности и — лгали. Я не видела ни одной пары, которая принадлежала бы только друг другу. В лучшем случае они были верны друг другу в те годы, когда жили вместе, но у него или у ней до брака были связи, — а раз были, стало быть, могли быть и вновь. Мораль семьи оказывалась не только мертвой, но смердящей разложением. Ложь, рабство и утверждение того, чего нет, — это главное, что осталось в семье. Ложь и утверждение того, чего нет, — это никак не моя и не коммунистическая мораль. Я не хотела лгать и ставит себя в ложное положение. Потребность половых ощущений иногда приступает с такой силой, что человек делается почти маньяком, — каждый нормальный человек это знает. Жить здоровым телом — это мне казалось естественным. Не лгать — это мне казалось естественным. Не зависеть от другого человека и не ставить в зависимое положение — это мне также казалось естественным. Тот, второй, бывал у меня очень редко. Я сказала ему, когда у меня появился третий, он принял рассказ, казалось, как нормальнейшее явление, но больше ко мне не приезжал ни разу. Я сочла его крепостником и не мучилась. Мне нечего было стыдиться. Конечно это было наслаждение. Но не надо забывать, что все мы были очень заняты — каждый своим, а все вместе — промаднейшим делом революции. Если эти связи были нормальны, они не отрывали много времени и никак не заслоняли собою все. Основное место в моей жизни занимала общественная работа — и потому, что это было естественным моим состоянием, потому что так я хотела, — и потому, что я была все время таким винтиком в большой работе, который нельзя было сразу заменить, не позволяя товарищи и долг коммуниста. Я гордо носила свою голову. Мои сексуальные дела были моим частным

делом, в коих я никому не разрешала разбираться. Они занимали у меня мало места. Я помню, еще в начале революции, я была на собрании в Миусском трамвайном парке, организовывала там комсомольцев, — не помню сейчас уж, к чему, но выступил кондуктор с грозной речью и разъяснил мне: «Вот, товарищ организатор, я тебе скажу о нашем горе. Не можем мы жениться на наших женщинах. Уж чего бы лучше и им, и нам, живем рядом, одну работу делаем, а не можем. Научились они в трамваях командовать пассажирами, изучили все законы. Наши некоторые женились на кондукторшах и — страдают. Они с мужьями, как с пассажирами, — без малого что свисток и милиционера!» — Я тогда с гордостью подумала, что и я кондукторша, командир, человек!.. Демоны, которые окружали и даже, вроде бога и чорта, жили в моей барыне, покинули нас — или, точнее, были выброшены нами. Христианские доблести «левой щеки», истощения «плоти», монашества — не были нашей доблестью. Если барыне было тесно от демонов, то она была свободна от дел, за нее работали мужчины, и она была предоставлена полу. О феодальной рабыне и говорить нечего, — она была задавлена и демонами, и делами, и мужчиной. Инстинкты конечно защищают человека. Я видела женщин, которые в годы революции были «защищены» прежними инстинктами. Они не понимали, что, подкрашивая губы, они делали из себя «товар», они не подозревали, что от капиталистических времен в социалистических днях они оказывались предметом товарообмена. Женщины умершего класса в революции, на обломках его морали, боялись потерять жизнь, — по феодальным традициям на первом месте был пол, — и эти женщины спешили полом отстаивать право на жизнь и полом же наслаждаться. Пол, кроме товара, стал для них профессией. Их инстинкты губили их. Мы, женщины революции, никак не были «товаром». Мы были свободны от всяческих демонов. Моя учеба, мой

дела мне давали в первую очередь знания, но не ощущения. Ни музыка, ни литература, ни живопись не были необходимыми элементами моего «я». Эстетический и эмоциональный мир мой был очень сужен, точнее—совсем не развит. От литературы по наивности я требовала только политической актуальности, агитации и описательства. От живописи я требовала фабрично-заводских картинок, точно фотографирующих быт. Музыка мне казалась тратой времени. К полу, к моей сексуальной жизни, по существу говоря, я подходила рационалистически, без малого, как к санитарно-гигиеническому занятию. Иные даже из моих подруг и товарищей делали половое чувство предметом развлечений. Я понимала, что это удел женщин умиравшего класса. Этого никогда не было у меня. Прокурор и... не выходило, было ниже моих дел и моего достоинства. Впрочем я никогда и не думала об этом. И никогда я не думала о ребенке. Я знала, что его не может быть у меня. Я не могла тратить времени на ребенка. Ребенок был вне моих ощущений. Это было аксиомой. Дважды я делала аборт. Это была очередная трехдневная болезнь. Это не вызывало никаких особых ощущений. Я брала путевку в больницу и предупреждала товарищей, что выбываю на три дня, ложусь на аборт. Меня никто не расспрашивал. Все было естественно.

«... О том, что я забеременела, я догадалась в поезде по дороге в Среднюю Азию, куда я ехала на расследование. Ташкент, Самарканд, а затем Алма-Ата взяли меня в работу, когда у меня не было ни единой свободной минуты. Я просыпалась в семь, в восемь я была уже на работе среди незнакомых людей, прокурор, — в двенадцать я приходила в номер и сваливалась замертво в сон. Иногда по ночам я вела допросы. Среднеазиатские поезда медленны и, если я отдыхала, то-есть отсыпалась до того состояния, когда можно подумать о себе, то это было только в поезде,—под вагоном тогда стучали колеса. Через два

месяца я вернулась в Москву. Врачи мне сказали, что аборт уже опоздан, смертелен для меня. Через месяц во мне задвигался ребенок. Это было взрывом инстинктов, таких инстинктов, которых я и не подозревала в себе. Я стала перепроверять всю мою жизнь. Все, что я делала в моей общественной работе, осталось на месте. Но все, что было в моей половой жизни, или, точнее, — все, чего не было в этой моей жизни, — стало наново, «на новые места», — все было перебрано памятью. Отец моего ребенка... — никогда я не испытывала большего оскорбления за человечество!.. Это была случайная связь, никого ни к чему не обязывавшая, «деловая», «товарищеская» связь в дни, когда мне особенно мешал пол. Вернувшись из Средней Азии и узнав, что я буду родить, я не позвонила ему. Он не был таким близким человеком, которого я посвящала бы в мои бытовые дела, — ни моральной, ни материальной помощи от него мне не требовалось. Он был очень молод, здоров, даже красив, и этого было совершенно достаточно, чтобы быть спокойной за физическое состояние сына. Но когда ребенок задвигался, когда на меня нахлынули ощущения необыкновенной радости, — я много раз клала руку на телефонную трубку, чтобы поднять ее и позвонить ему. Ведь это мой ребенок! — ведь это его ребенок!.. Я не знала, имела ли я право утаить от него то счастье, какое было у меня. Ребенок для меня был так же случаен, как и для него. Я знаю, что такое смерть, — это ужасно, это противно естеству, я мучилась, видя смерть, и не могла есть, — понятно, об этом и написано многими, это и пережито многими в годы революции, — ну, так вот, как смерть противна человеческому естеству, мерзка, — так естественно человеческому естеству, радостно, счастливо — рождение, — радостно, счастливо, — эти слова слишком малы, потому что рождение — это огромная радость и огромное счастье. Я переносила мои ощущения на отца. Я не

знала, имею ли я право скрывать от него это счастье. Ничего иного мне от него не было нужно. И я позвонила ему. За пустяковыми фразами я хотела услышать его тон, установить, какого тона отношений он ждет от меня, — не догадается ли, не заговорит ли сам о ребенке. Конечно, это было глупо, по-«бабьи». Он взял тон любовника. Тогда я сказала, что я беременна. Я видела через телефонные провода, как он растерялся. Он не сразу, чужим голосом, сказал, что он сейчас же приедет. Он приехал, деловито поздоровался и стоял, расставив ноги и чуть покачиваясь, весь наш короткий разговор. Разговор наш был очень короткий. Он почти злобно спросил, почему я так долго не звонила ему, три месяца тому назад аборт возможно было бы сделать совсем безболезненно, он спросил, на самом ли деле я беременна и точно ли я подсчитала, что отец — именно он. Он уже звонил какому-то знакомому медицинскому знахарю, и знахарь по дружбе брался делать аборт. Я поняла, что наша двойная смерть — смерть моего ребенка и моя — ему удобнее, чем рождение человека. Всей моей кровью, первый и последний раз в моей жизни с такою ненавистью, я сказала только три слова: — «пошел вон, мерзавец!» — Никогда в жизни меня не оскорбляли и не обижали так, как оскорбил и обидел он меня, и не только меня, но все человечество, так воспринимала я, — в лице того маленького, который еще не родился, но которому он — отец. Ведь его-то мать родила на свет!.. Слова «святой», «святая», — дряхлые слова, — не находят других. Не потому, что это мое, — но потому, что во мне растет человек, я ощутила мое тело — да, именно святым. Но я-то, я — чем я лучше! — в какую краску, в какой стыд, в какую боль непоправимости бросали меня воспоминания о «санитарно-гигиеническом»!.. Мое тело было чище, справедливее и мудрее моих дел, — и было, и есть, ибо оно готовилось и готовится родить человека. Мне стыдно было за мои мысли и за

мою память. Пол — это наслаждение? — да, рождением человека. Пол — это рождение человека. Не потому, что мне нужна материальная поддержка или поддержка разумным советом, не в клановом, не в феодальном порядке, — но мне нужен мужчина, муж, отец моего ребенка, который поймет все то, что я чувствую, которому одному я могу об этом рассказать, пол которого для меня будет так же свят, как и мой для него. Не может быть, чтобы для мужчины было безразлично рождение его ребенка!.. Собака подрывалась под все сараи, чтобы сделать себе логовище для родов. Именно потому, что у меня нет мужа, нет «логовища», я и приехала сюда на эти дни перед родами, в чужой дом, чтобы быть совершенно одной, чтобы не быть обремененной бытовыми заботами, никого не обременять и быть на людях, которые чужды, но все же товарищи. Это больше, чем наказание. Это природа мстит за себя. Как нужен, как нужен мне сейчас близкий человек, — как это сказать, — такой близкий, руку которого я могла бы положить на мой живот, без стыда и радостно, чтобы он ощутил, как двигается мой ребенок, и порадовался бы со мною, который любил бы этого будущего человечка вместе со мною. Я приехала в этот дом потому, что я совершенно одна перед лицом рождения того маленького, который двигается во мне. Я приехала, чтобы продумать себя, чтобы наказать себя...»

Погода переменилась. Из-за дождей вышли очень просторное и голубое небо, золотые поля скошенных жнитв, киноварь рябины и осин, тишина и покой. Ночи звездилась громадными просторами неба. Лист шуршал под ногою, слышимый на много шагов.

Она писала записки в город:

Первая:

«Катя, я себя чувствую очень хорошо, много гуляю, хорошо сплю, каждый день принимаю ванну, много ем фруктов, врач меня осматривает через день. Пожалуйста, напиши мне, готовы ли чепчики, такие, как мы го-

ворили с тобой. Объявление в «Вечерней Москве» о коляске — читала, — ты уже купила коляску или еще нет? — если купила, напиши, какую».

Вторая:

«Катя, я чувствую себя очень хорошо, гуляю, сплю, ем фрукты, принимаю ванну, нахожусь под надзором врача. Здесь очень тихо и хорошие товарищи. Делала доклад. Прослушала два доклада — о съезде писателей и о советском станкостроении. Ты не написала мне, готово ли одеяло? — оно мне будет нужно, когда я буду выходить из больницы. Имя директора я оставила на записке. Не забывай почаще звонить мне в больницу и передачи делай только такие, какие разрешат врачи».

Третья:

«Товарищ Юрисова, милая, я все время отрываю Вас от работы, простите, пожалуйста. Я пишу Кате каждую почту о моем здоровье. Все книги, которые я взяла с собою, о материнстве и младенчестве я перечитала и выучила. Список этих книг остался в моем письменном столе, в правом ящике наверху. Зайдите, пожалуйста, в Ленинскую, как мы говорили, если нельзя купить».

Четвертая:

«Товарищ Юрисова, милая, вы написали, что маляры наконец приступили к работе. Я все-таки думаю, пусть это дороже, но мою спальню надо выкрасить масляной краской, в белый цвет. Это будет наилучшим для ребенка. О родах я думаю совершенно спокойно. Боли я не представляю, совершенно не думаю о ней и не боюсь. До родов осталось пять дней, но мне хочется, чтобы это было хоть сегодня. Я совершенно готова. Я очень люблю моего будущего сына!.. Извините за то беспокойство, которое я доставляю Вам. Катюша ничего не пишет о няне...»

После доклада о советской преступности однажды произошел у нее следующий разговор с Иваном Федоровичем Суровцевым. Это был день, когда вернулось солнце, утром, в легком морозце. Они ходили по очерстевшим ли-

стам, в просторном лесу. Он наломал «татарских сережек», плод бересклета, и подарил ей. Для себя он сорвал гроздь рябины и ел, морщась. Он бросил рябину.

— Вы говорили о влиянии наших социальных изменений на преступность, — сказал он. — Попомните об одном обстоятельстве, знаменательном для нашей эпохи. Почти все наше мужское поколение было на войне и видело смерть. Тот, кто был под пулями и стрелял, когда стреляли в него, никогда этого не забудет. Когда человек стоит под пулями, он испытывает такое одиночество, какого нигде в другом месте нет. Память об этом одиночестве он затем приносит в жизнь. Это у целого поколения. — Он помолчал и спросил неожиданно: — У вас нет мужа?

— Нет, — ответила она.

— Очень милая вы и хорошая, вы простите меня, трогательная вы, — сказал Суровцев и смутился.

Они были у опушки леса. Она круто повернула обратно, на шуршащие листья. Он пошел за нею.

— Я два раза был женат... — сказал тихо Суровцев.

Было понятно, что он готов рассказать большую и длинную историю. Она шла, опустив голову, казалось, не слушая. Он смолк. Шелестели листья под ногами.

И роды пришли неурочно, за четыре дня до срока. Схватки начались в одиннадцать вечера, сейчас же, как она легла в постель и потухло электричество. Она спустилась вниз и позвонила в Москву, чтобы прислали машину. В доме, куда она звонила, никто не подходил к телефону. Она позвонила к товарищу Юрисовой, там сказали, что Юрисова в театре. Она вновь позвонила в пустой дом и долго ждала у телефона, никто не отвечал. Она пошла к дежурной няне, попросила разбудить заведующую. Заведующая жила во флигеле, няня ушла. Полураздетый, с лестницы сбежал Иван Федорович Суровцев и звонил в Москву, он кричал в трубку, голос его был грозен:

— Давай, давай срочно, без промедления, дорога каждая минута, срочно!..

Он позвонил в другой телефон, говорил непрерываемо:

— Василий Иванович, друг!.. Я требовал свою машину, она уже пошла, нужно совершенно срочно, беспокоюсь, вдруг прокол, авария, потом объясню, умоляю, пришли свою, срочно, моментально! Спасибо, жду! Если моя придет раньше, я верну твою с дороги, она пойдет следом!.. Спасибо!..

Он сказал ей:

— Машина будет через двадцать минут. Идемте одеваться.

Он говорил, распоряжаясь. Лево́й рукой он взял ее за левый локоть и правой обнял за талию, помогая итти.

— Я на минуту, собрать свои вещи, — сказал он, — я сейчас приду помочь.

Он совал свои вещи в чемодан, как попало, галстук его был повязан набок. Он вошел в ее комнату, поднял с пола ее чемодан, собрал со стола книги и бумагу, положил их на дно чемодана, открыл шкаф и ящички ночного столика, — не забыла ли чего. Он бросился к ее ногам и надел туфли, завязал их. Он подал пальто и пытался его застегнуть. Заведующая и нянька оказались не у дел. Он взял свой и ее чемоданы. Проектор автомобиля издали бросил свет на дом. Они вышли на крыльцо. Он сунул чемоданы к шоферу. Он обнял ее за плечи и прислонил ее голову к своей груди, гладил ее шапочку.

Он крикнул шоферу:

— В Москву, к Таганке, живо!.. о, чорт!..

Шофер бросился на темноту, машину тряхнуло канавой. Он крикнул шоферу:

— Тише!.. о, чорт!..

Всю дорогу они не молвили ни слова. Когда он видел, что она мучится, он прижимал ее голову к своей груди, бестолково, растерянно и нежно гладил ее шапочку. В вестибюле родильного дома ко всему на свете привычный, а главным образом к родам, степенный дед распорядился, сказал Суровцеву:

— Жену пока посадите на скамеечку. Сейчас скажу дежурному доктору, он ее возьмет в смотровую, а вы погодите

здесь, я ее вещи вам верну. Давайте путевку.

Она протянула Суровцеву свою сумочку, он раскрыл и стал рыться в бумагах. Дед ушел. Дед вернулся и молвил сурово: — Пожалуйте.

Суровцев помог ей подняться со скамейки, обнял ее и поцеловал в лоб. Она обняла его. Она положила голову ему на плечо. Она подняла голову. Глаза ее светились слезами. Она поцеловала его. Дед повел ее по ступенькам вверх. Через полчаса дед вынес узелок с бельем и платком, сумочку с документами и с деньгами, отдал пальто, сказал:

— Поместили в предродилку. Завтра ждите сынка или дочку. Позвоните по телефону или приезжайте часам к одиннадцати.

Суровцев позвонил в восемь часов утра. Ему сказали, чтобы он позвонил через час. Через час ему сказали, что родился сын, четыре килограмма сто сорок грамм весом. После больницы Суровцев приехал в большую свою, только-что отстроенную квартиру, пустую и необжитую. Был уже третий час ночи. Суровцев разбудил свою старуху-мать, отдал ей чемоданы, сказал:

— Тут в одном чемодане женские вещи, просмотри, что надо, почисти, постирай, погладь.

Он отнес чемодан в комнату матери. Вскоре мать принесла стопку книг о материнстве и младенчестве. Среди них была тетрадь в тисненном венецианском переплете. Суровцев положил книги себе на письменный стол. Он открыл венецианскую тетрадь, прочитал строчку—и бережно спрятал тетрадь в ящик. На кухне он заварил себе кофе, ждал, когда оно вскипит. Затем в кабинете он сел к столу и читал книги о младенчестве, курил и тут же пил кофе. Затем он писал. И не заметил, как наступило утро, рассвело. Было восемь. Он позвонил в больницу. В одиннадцать часов он был в больнице и передавал уже новому деду, помоложе возрастом, но столь же степенному, корзинку цветов и сверток с маслом, яйцами, хлебом, печеньями, яблоками и грушами, объяснив, что все это предназначено для роженицы Антониной. Дед степенно сказал — «обожди-

те»—и скрылся за дверями. По коридору в это время, за стеклом двери, вереница нянек пронесла новорожденных детей, каждая нянька по два человеческих существа. Дед вернулся несколько и принес записку. Она была написана на клочке бумаги, неразборчиво, большими буквами:

«Милый, конечно, промучилась, сейчас счастлива. Сын, хоть и не дочь, все-таки мой явно! — черный. Люблю его. Спасибо за передачу». И на другой стороне листка совсем детскими крупными буквами:

«Как только переведут из родилки в палату, напишу большое письмо обо всем. Привезите мыло, пасту, зубную щетку, бумаги...

Ваша Мария».

Суровцев приезжал еще раз, в четыре часа. Кроме мыла, пасты, бумаги, он привез термос с горячим кофе, по своей инициативе. Она ответила письмом:

«Спасибо, спасибо! я не знаю, куда девать всю эту гору еды. Сын и я побили рекорд — 10 ф. 140 гр. Такого за эту ночь никто не родил. О родах не рассказываю. Это совершенно бесчеловечное рождение человечества. Но сын есть, и он оправдывает все. Сегодня в двенадцать ночи буду кормить. Он красный с черными волосами. Термоса не возвращаю, потому что некуда перелить. Желаний у меня тысячи, лечь на бок, сесть, петать. Сына — обожаю, хотя он еще некрасивый, смешной и живет только семь часов и тридцать пять минут! Хочу домой и видеть Вас! отпустят только через восемь дней, как долго!..»

Суровцев приехал домой, опять заварил кофе, выпил целую кастрюлю, сел к столу, чтобы писать, и — заснул. Сонный перешел на диван, спал до пяти утра. В пять он сел за бумагу. Он писал со многими поправками, марая бумагу, много страниц он переписал на белом:

«Товарищ Антонова, дорогой человек!

«Всего о жизни своей не расскажешь сразу, да наверное и никогда не

расскажешь, потому что, чтобы рассказать, надо жить заново. А кроме этого, очень многое в жизни, и даже самое главное, не узнается человеком посредством слов и словами никак не передается. Прожито много, уж, как много прожито, — оглянешься назад, тысячелетия позади!.. И каждый из нас, погляжу кругом, — патриархи. Всю прошлую ночь, вы уж извините меня, читал я ваши книги о воспитании детей. Почему полюбились вы мне, а сын ваш мне дорог, как родной, — этого словами сказать я не могу. Две вещи, два обстоятельства были мне страшны в жизни. Об одном я обмолвился, разговаривая с вами, — об одиночестве. Как его объяснить? — я коммунист, то-есть человек коллектива, все понятно, — а вот, как только я остаюсь один в четырех стенах и даже в лесу, когда под ногами опавшие листья, мне одиноко и мне страшно от моего одиночества. Мне без людей страшно, а я знаю, что человеку надобно иной раз побыть и одному, и одному чувствовать себя полно. И надо не чувствовать одиночества вдвоем с женщиной, потому что вдвоем с женщиной возникает то, что дает человеку ощущение бессмертия. Вдвоем с женщиной я тоже чувствовал одиночество, потому что я не чувствовал—верности. И вот ощущение неверности и есть второе обстоятельство, — вот, что очень страшно было мне всю жизнь: ощущение неверности — вдвоем с женщиной, а отсюда — одиночество. Я был женат дважды. Первая моя жена была товарищем, партийкой, мы дрались с ней вместе на гражданских фронтах. Вторая моя жена была осколком прошлого, музыкантша, вкрадчивая, как кошка. Первая оказалась красноармейцем и мужчиной больше, чем я, а вторую я заставал в различных постелях вместе с поэтами. Ни та, ни другая не хотели иметь детей, и обе были больны, и мне было скучно с ними, мне было одиноко, и я чувствовал только неверность. Неверность была фундаментом семьи, — у первой неверность перед биологией и ро-

ждением человека, а у второй и перед биологией, и перед человеком, и перед элементарною семейною честью. Обелять себя не собираюсь, — то, что я пишу сейчас, я знаю только теперь. Что касается меня самого, то по отношению к первой жене я оказался в том положении, в каком по отношению ко мне была вторая, а со второй женой произошло то, что произошло со мною по отношению к первой жене. Вот и все. Я наблюдаю за вами и видел самого себя. Ребенок!.. Обе мои жены всегда абортировали.

«У меня к вам конкретные предложения. Вы живете одна. У меня со мною живет мать, хорошая старуха. Я напрашиваюсь в отцы вашего ребенка. Детская комната у меня глядит на солнце. Мать будет помогать вам. Я возьму на себя бытовые заботы. Мы оба коммунисты. У меня нет детей. Я совсем один. Не осудите за дерзость, но я люблю вашего сына, равно, как люблю и вас — мать. Повторяю, что словами я всех моих чувств объяснить сейчас не могу. Вы со мною совсем не говорили о себе самой, я только видел и ощущал вас. Именно поэтому я и думаю, что я не ошибаюсь, обращаясь к вам с этой просьбой.

Ваш Иван Суровцев».

Иван Федорович запечатал это письмо в конверт, переписав его без единой описки в девять часов утра. Он поехал в больницу. Он вез с собою мыло, зубную щетку, бумагу, автоматическое перо, чернила — и этот конверт. Он отдал деду — мыло, пасту, бумагу, пишу, — но конверт три дня пролежал нераспечатанным в его кармане. И только на четвертый день, так же нераспечатанным, он вручил его деду для передачи товарищу Антоновой. Эти три дня Иван Федорович ставил вверх дном свою квартиру. За эти три дня на бумаге, привезенной Суровцевым, товарищ Антонова записывала:

«Родить повезли ночью. Впрочем времени не было. Сначала были только ночь и впервые в жизни мужские по-человечески ласковые руки, а за-

тем белые круги циферблатов на каждой площади, которые говорили: скорей! скорей!.. Где-то далеко, уже совсем в прошлом остались старый дом, угловая комната, шум леса. Сейчас только одно слово «скорей», ощущение неловкости перед шофером и желание войти в те большие двери, которые должны открыться без минутного промедления и около которых какими-то тупыми буквами составлены слова «для рожениц».

«Потом все идет просто, и никому, никому не видно, что жизнь раскалывается на две, уже до конца, может быть, не совпадающие, самостоятельные человеческие половины. Да, именно распадение человека на две индивидуальности, на две судьбы, на два человека, один из коих сейчас — я, побеждает смерть.

«Какой-то молодой человек, врач, которому все равно, который не думает, что он присутствует при уничтожении смерти, при бессмертии, при рождении человека, щупает пульс и живот. Какая-то девушка записывает анкету, греет воду. Впрочем, они не «какие-то», потому что запоминаются до последних подробностей, до мелочей, до интонации. Запоминается все! — но и только. Потому что об этом не думаешь, этого не чувствуешь, это вне тебя, далеко, чужое и холодное. Слышно только свое «я», которое раздваивается, — слышно, как внутри, спрятанное от всех и от всего, вырастает с каждой минутой, что сейчас случится, о чем никто не знает, что не расскажешь никому, но что заполняет собою весь мир, — реальное ощущение человека, который сейчас родится, которого никто, даже я, не знает, но которого я люблю и буду любить всю жизнь, который сменил меня.

«Боли было мало. Боль началась в предродилке. На девяти кроватях кричали девять женщин. Девять женщин пришли со своими радостями, горестями, мыслями, своими прошлыми годами, своим бытом. И от каждой выросли в эту ночь новые люди, новых эпох, новых поколений.

«Давно в детстве (сейчас кажется, что это было в детстве), в дневнике, в записной книжке, и я, как и все, мечтала о человеке, это было тогда, когда я еще могла влюбляться, и о товарище, и о мужчине. Товарищей было много. У меня почти не было того девичьего периода, когда человек искался, находился и воплощался в какой-либо профиль, в какое-либо имя, которое писалось сплошь большими буквами. У меня не было, как у других девушек, когда этот человек расплылся и когда в дневниках появлялись фразы: «человека нет, и самое бессмысленное занятие в мире — думать, что его можно найти». Такой «человек» мною никогда не искался. У меня были товарищи. Такой «человек» — за бытом, за встречами, за работой — проходил кусочками и так же кусочками терялся. Ничто не казалось удивительным, хотя и у меня в детстве были эти дневниковые страницы о «человеке», которые остались недодуманными и неопытными. Должно быть, это плохо, что у меня почти не было девичества. Я думала об этом в метаниях о железные прутья кровати, о безразличные сестры, обходившей всех нас по очереди. Мне хотелось одной, совсем одной справиться с болью и страхом. Тянуло книзу, к спине, подступало к сердцу. Как волна, нарастала боль, накатывалась и потом так же медленно уходила для того, чтобы опять подойти с большей силой, схватить, скорчить. И такая же скорченная вылезла в сознание остатком эстетики, от суден, от рвоты, от раскоряченности самой себя и соседок, ненужная фраза: — «в муках рождения» — и застревала в мозгу, повторяясь, как стук поезда, и обрываясь на полубукве, когда обесиленный мозг терял сознание, — на полсекунды, чтобы опять скорчиться, заметаться, — «в муках... в муках...» — и уже без слов, одним и двумя звуками: — «о-х! о-о-о-о!» — и сама себе: — «покойней! покойней!» — Ночь казалась вечностью. Рассвет пришел безразличием. При свете было больней и стыдней за

свою боль, за беспомощность в этой, ставшей большой, комнате, — кровати пустели, увозили все чаще и уже увезли почти всех, и уже казалось, что ты одна во всем мире, и даже кричать одной было страшно и нелепо... и надулась шея, сошлись челюсти, потянуло книзу все тело, руки вцепились в кровать, стало страшно до безумия, до тупости. Крикнула: — «сестра!» — И уже не могла удержаться от крика, пока не подошли, не открыли, не посмотрели, пока не услышала покойные слова: — «молодец! хорошо, показалась головка, — ну, мамаша, черные волосики показались!» — И вдруг успокоилась, и вдруг поняла, что сейчас и только сейчас нужны силы, нужна уверенность, — и сама легла на каталку и видела потолок коридора, сходящий к синей стене, больничный лист на груди, высокие, неуклюжие столы родильной палаты, — и уже совсем спокойно и совсем собранно сказала акушерке: — «самое главное, чтобы ребенок был здоров!» — И уже не помню боли с этого момента, чувствуя ее только лишь, как необходимость, чтобы помочь ребенку, вывести эту глупую волосатую головку, не торопясь, не слушая, что делалось кругом, своей волей командуя началом и силой схватки, собирая силы и дыша полной грудью, чтобы ребенку было покойнее. И вдруг потянуло так, что, казалось, сорвет, выкинет со стола, разорвет на части. Застучало в висках, в сердце, все превратилось в напряженную массу, — и потянуло легко, скинулся живот и еще через закрытые глаза, через сжатые до беззвучия зубы, прорезался крик, резкий, здоровый, и я увидела маленький, сморщенный красный комочек, еще привязанный ко мне, еще сохранивший на себе пятна моей крови, моего тела. И первое понятие было, что из самого нечеловеческого родился человек, тот самый человек с большой буквы, не найденный в детских дневниках, а сейчас конкретно осязаемый — мой и — Человек. Если бы

это видел отец! — если бы это ощутили отцы!..

«И тогда, когда понялась широта рождения, или, может быть, раньше, когда было больно и страшно, или позже, когда слишком сильно кричали женщины, — справившись физически, не справилась с нервами, шумело в висках, вскакивал пульс, высыхали глаза, — тогда ночами, в нескончаемых криках женщин, путалось понятие времени, путалось понятие самой себя, и казалось, что все это я, и вчера, и сегодня, и завтра, всегда все я рожаю, кричу, — все повторялось, повторяется и будет повторяться из века в век, всю жизнь человечества. И этот нечеловеческий крик — не крик, а вой, визг, мычание, и боль и страх, — и родившиеся маленькие одинаковые, крикливые, — мне казалось, что все это — я. Я кормлю всех этих крикунов, мальчиков, девочек, черненьких, беленьких, и не уйти, не справиться, и нехватит сил. И по ночам сохли глаза, и постель вымокала моим молоком. И вставал по-новому образ женщины, человека, рождающего человека, и возникало ощущение несправедливости, — почему потрясает смерть и не потрясает рождение, почему социальная война, а рождение человека, человечества — мало достойный внимания физиологический акт или, по определению идиота, «физиологическая трагедия женщины»!

18 ноября 934.

«И еще. За жизнью, за бытом, за нашей эпохой ушло и потерялось феодальное ощущение рода, крови, корней. Я боролась с ними. У феодалов женщина приходила к мужу, ее принимали в род. У меня этого не было. У меня нет рода, который своими корнями давал бы мне жизнь. И называется, — мой род не продолжается, — но — начинается, на-чи-на-ет-ся. Он замкнут узким, очень узким и очень тесным кругом, — моим сыном, у которого даже нет отца, — но у этого рода есть преимущество, — он смотрит —

«не назад, а — вперед!..»

Иван Федорович Суровцев отослал свое письмо товарищу Антоновой. В ЗАГС, зарегистрировать ребенка, дать ему юридическое бытие советского гражданина будущего бесклассового общества, они ездили вдвоем, товарищи Антонова и Суровцев. Они ждали в очереди. Суровцев читал объявления. ЗАГС состоял из двух кабинетов и ожидальной. В одном из кабинетов регистрировали рождения и браки, в другом — разводы и смерти. Дома однажды, в глубокую ночь, покормив сына, товарищ Антонова пересматривала свои записи. Она вырвала из венецианской тетради все, написанное в доме отдыха, и сожгла эти листы. Написанное ж в больнице на бумаге, принесенной Суровцевым, она переписала в венецианскую тетрадь.

Осень

В. НАСЕДКИН

I

Я хватился дня через четыре.
Тишина ли подала намек —
Не было чего-то в этом мире,
Но — чего? Ответить я не мог.

Утро было тихо, ровно, мглисто.
Пахло речкой, будто в камышах.
Под окном ни щебета, ни свиста.
Тут я только вспомнил о стрижах.

Значит, улетели...
Значит, лето
Кончилось, и осень — на пороге!
Что могу я возразить на это?
Да и чем такой порядок плох?

II

Вспоминаю шелк сухого неба,
Далей золотые зеркала, —
Вся природа в виде ширпотреба
Легкого, доступного была.

Вот она, привязанность, откуда!
Все открыто! Воля! И не раз
Выползало, точно из-под спуда,
Скрытое, оттаявшее в нас.

И, счастливо нежась на досуге
(Я заметил это не впервой),
Уж не так нуждались мы друг
в друге,
Синью обрастая и травой.

III

Ну и хватит!
Говорю не к спору:

Что милее осени простой!
Тихо пролетают в эту пору
Нити паутины золотой.

Даль прозрачна.
Даль подобна чуду.
Запахи живительно остры,
И глядят спокойно отовсюду
Розовые, желтые костры.

В этих красках
Тайная отрада.
Кажется, слышна издалека
Музыка прощального парада,
Может быть, и грустная слегка.

IV

Но грустить — удел давно былого,
И конечно грусти предпочту
Силу, свежесть, все, что бодро, ново,
Что роднит и опыт, и мечту.

И, поэт еще совсем не старый,
Говорю теперь уж не в тиши:
Хороши колхозные амбары!
Школы наши тоже хороши!

Радуют и озими, и стройки.
Осень поднимает эту быль,
А на место позабытой тройки
Свой у нас готов автомобиль.

V

Дни плывут, как золотые чаши...
Бабье лето!
Чистое крыльцо!
Светится улыбкой в песнях наших
Родины счастливое лицо.

Впереди довольство:
 Пива! Браги!
 И уж не под кленом,
 И не туг,
 Сядем под рябиновые флаги —
 Прославлять и жизнь свою, и труд.

Все, как надо:
 Вольно и разумно.
 Есть, что вспомнить,
 Есть, что рассказать.
 Засидимся ль за беседой шумной, —
 Ясный месяц выйдет провожать.

VI

Ясный месяц...
 Нет, какие ночи!
 Небо — чисто. Воздух, как нарзан!
 Голосят гармошки, что есть мочи,
 Славя приамурских партизан.

Есть другие песни у кого-то,
 Только лучше этой не найти.

Покрывает месяц позолотой
 Нами пережитые пути.

Ночи и без месяца не тише:
 Песни те же,
 С юностью в ладу,
 Да свисают под осенней крышей
 Звезды, словно яблоки в саду.

VII

Я ничуть не буду опечален,
 Если б это было и к-лицу,
 Если осень,
 Светлая вначале,
 Смотришь, почернеет вся к концу.

Жар осыплется на нежных кленах.
 Даль набухнет тяжестью болот,
 И в холодных, неживых поклонах
 Север молчаливо поплывет.

Пусть идут дожди, когда не лень им!
 Пусть о древних сумерках поют.
 По-особому тогда мы ценим
 Нашу дружбу, кровлю и уют.

Улица Леваневского

МАКС ЗИНГЕР

Рассказ

Всю ночь до самого рассвета мы сидим с пилотом в яблоневом саду, у раскрытых дверей балкона, на улице Леваневского, в Полтаве, и вспоминаем далекий Север, Чукотское море, бухту Тикси и перелет над пуржливой Леной. В просторной комнате, разметаившись на постелях, спят Владек и Нора—дети пилота. Над улицей Леваневского в звездном небе буйно рокочет самолет. Сквозь черные сети ветвей ночного сада видны пролетающие бортовые отличительные огни самолета. В просторах воздушного океана сейчас летит не одна машина. Шумят в небе беспредельные улицы наших воздушников. Под рокот летающих машин спокойно отдыхает трудящийся Советской страны. В объятиях тенистых лип и каштанов дремлет Полтава. Вылитый из бронзы, смотрит на Полтаву, осмеявший старую Россию, гениальный Гоголь. Он не слышит буйного рокота летающих машин. Он не видит великой страны, ломающей старое захолустье и строящей новую жизнь.

Ночью в яблоневом саду слышен замечательный радиоприемник, подаренный Герою Советского Союза краснознаменным коллективом завода имени Орджоникидзе. В углу комнаты, прилегающей к балкону, теперь безмолвно стоит старый радиоприемник, сообщивший Наталии Александровне — жене Леваневского — страшную весть о том, что разбился, спасая челюскинцев, ее Сигизмунд. Возле этого радиоприемника безутешно всхлипывали Нора и Владек, растирая кулачками свои глаза. Наталия Але-

ксандровна ничем не могла помочь окровавленному другу. Десяток тысяч километров разделял их. По утрам она тревожно прислушивалась к последним известиям по радио. С захолонувшим сердцем она мучительно ждала еще каких-нибудь жестоких новостей о ее Сигизмунде, о челюскинцах и летчиках, летящих к ним на помощь в лагерь Шмидта. Дети, трепетно прижавшись к матери, также вслушивались в слова радио. И вдруг зачеркнуто одиночество. Все приблизилось к ней. Весь мир становится ей знакомым и близким. К ней приходят на квартиру, фотографируют ее и детей, расспрашивают до мелочей о Леваневском.

Годы трудовой жизни рано посеребрили красивую голову Наталии Александровны. Нервный тик часто щурит ее еще молодые глаза. Перед приездом Леваневского в Полтаву соседи не давали покоя Наталии Александровне своими советами, как убрать комнату летчика. Каждый наперебой предлагал свои услуги. Люди с края города приходили спрашивать о том, какие цветы любит более всего пилот. Прожив с Леваневским тринадцать лет, Наталия Александровна затруднилась ответить на этот вопрос. Она знала его страсть к музыке, радио, антеннам, она знала, что его интересуют шестеренки, машины, но, какие цветы любит Сигизмунд, она не знала. Ей как-то незадолго перед приездом пилота вспомнилось, что он любит полевые цветы, растущие на воле.

Леваневский нескоро вернулся в Полтаву. Он возвращался домой, посетив авиационную выставку в Лондоне. Он возвращался через Варшаву, где живут его мать, сестра и старший брат. С ними он не виделся семнадцать лет. Гражданская война раскидала людей по разным городам. Четырнадцатилетним мальчиком ушел Сигизмунд добровольцем в Красную армию. Его семья осталась за кордоном.

В Варшаве в вагон Леваневского входят две дамы. Одна из них, откинув траурную вуаль, бросается пилоту на шею, и горячо целует его. Пилот растерян от неожиданности. Легким движением он отталкивает женщину от себя. Он вспоминает, как перед отъездом на авиационную выставку к нему в московском Гранд-Отеле ранним утром постучались. В номер вошла девушка лет восемнадцати с большим букетом цветов, но, увидев художника за мольбертом, извинилась, смущенно и торопливо выбежала, не простившись и не назвав своего имени. Но как только художник закончил работу, эта девушка снова ворвалась в номер, стала перед Леваневским на колени и, передавая ему букет, произнесла:

— Я пришла, чтобы поклониться перед вашим мужеством!

Сказала и заплакала. Здесь впервые растерялся наш пилот. Он поднял девушку, он поил ее водой прямо из графина, он успокаивал ее и своими дорогими словами осушил ее слезы. Девушка исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Теперь снова рыдания и объятия незнакомой женщины. Быть может, это сестра, но незнакомы пилоту черты этой красивой женщины. Он всматривается в них и не узнает. А женщина прижалась лицом к груди пилота и только повторяет:

— Братишку! Братишку!

Потом она начинает ему что-то быстро говорить по-польски. Пилот не понимает языка своей сестры. Родным языком пилота давно стал русский язык.

Сестра рассказывает Сигизмунду о том, как улетел в СССР Юзеф Леванев-

ский, как мечтал он встретиться в Сибири с братом — известным советским пилотом, оказавшим помощь американскому летчику Маттерну. Старушка-мать переводит своему сыну слова дочери:

— ... Юзеф сказал перед своим отлетом в СССР: «Я сделаю этот перелет и увижу Сигизмунда. А если разобьюсь, то буду на том свете молить за Сигизмунда, чтобы ему было хорошо».

Юзеф разбился, и благодаря его мольбам не погиб Сигизмунд, — так верят Леваневские в Польше.

Сигизмунд растерян еще больше. Перед ним родная сестра, но как далеки друг от друга их мировоззрения, как чужда ему мистика, вера в загробную жизнь. Брат и сестра стоят на разных полюсах. Но вот мать рассказывает, как впервые услышала страшную весть о том, что разбился ее второй сын, Сигизмунд. «Авария Сигизмунда Леваневского» — кричат последние известия. Мать не дослушивает сообщения до конца и падает, разбитая параличом. И только весть о том, что Сигизмунд жив, медленно возвращает ее к жизни. Сигизмунд смотрит на свою мать, согбенную годами, и в нем просыпается, как утренний свет, чувство сына, которое потеряно давно в многолетней разлуке. Он вглядывается в черты своей сестры и узнает понемногу ту девочку, с которой вместе играл в снежки и катался с горы на салазках. И тогда он рассказывает о себе, о своих перелетах, о своих детях, которые давно не видали его.

Мать плачет, слушая своего сына, чувство гордости наполняет ее. Как двадцать лет назад, она ласково называет пилота: «Зыгмусь». Сестра не отходит от брата. Она засматривает в его лучистые большие глаза, она ласкает его, будто ребенка, она говорит ему самые нежные слова на языке, от которого веет волнующими воспоминаниями детства. При всей кажущейся суровости пилота у него горячее сердце, это оно закрывает влажной поволокой красивые и ясные, мужественные его глаза.

Леваневский возлагает венок на могилу своего брата — польского пилота. На

траурной ленте венка написано: «Польскому герою летчику Юзефу Леваневскому от Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского».

Из Варшавы пилот едет в польскую деревню, где его знали еще ребенком. Деревня восторженно встречает советского героя. Крестьяне обступили машину, на которой из Варшавы приехал к ним Леваневский. Они впервые видят легкой автомобиль у себя в деревне. И на радиаторе машины развевается красный флаг Советов. Пилот рассказывает им о том, как у себя дома услышал по радио впервые весть о гибели «Челюскина». Они говорят ему о том, что никогда не видали радиоприемника. Хороший радиоприемник стоит тысячи złotych, он доступен только богачам. Крестьяне рассказывают летчику о своей жизни. Летчик не видит на поле ни одного трактора. Крестьяне дивуются тому, что в Советской республике четверть миллиона тракторов вышли на колхозные и совхозные поля, облегчая труд человека.

Сигизмунд Леваневский возвращается к себе в Полтаву, где его трепетно ждут Нора и Владек. На крашеном полу ослепительно раскинулась серебристая шкура полярного медведя. Ее подарил пилоту начальник острова Врангеля Минеев, пять лет проведенный безвыездно в Арктике. В 1933 году Леваневский первым прилетел с материка в гости к Минееву на остров, привез ему привет с Большой земли.

Клыкастый морж, выточенный из моржевого бивня, маленькая нерпа, вырезанная из моржевой кости, — это подарки детям от отца из далекой Чукотки.

Темногубой кожей обит небольшой патефон — подарок советской колонии в Лондоне на память о встрече с Леваневским.

Патефон передает музыку Грига, мы слышим вздохи ветра и звон пурги далекого Севера, морской прибой и тревожный шум пенных волн, разбивающихся о кромку льда. В памяти снова встает Полярное море, холодное, туманное, штормливое. Леваневский часами слушает музыку.

Солнечным днем мы едем с ним километров за пятьдесят от Полтавы. Тенистая каштановая аллея приводит нас к развалинам дворца Кочубея. Леваневский оставляет свою машину на лужайке у опушки каштановой аллеи. Планер, привезенный мною Владеку, давно уже в руках отца.

— Эту игрушку я никому не отдам! Она для меня! — говорит Леваневский.

Целый день он запускает планер над привольем кочубеевых лугов, восхищаясь по-детски восторженно фигурными полетами игрушки. Глаза пилота радостно блестят, он называет нам сложные фигуры высшего пилотажа, которые бесстрашно выкручивает планер, совершая плавные посадки на запыленную траву.

Жизнь планера кончается в тот же день. Владек нечаянно садится на планер и обламывает ему все хвостовое оперение. Больше всех расстроен Сигизмунд.

Ночью с зажженными фарами бежит машина Леваневского по ровному шоссе к Полтаве. Мощеная дорога приводит к самому дому пилота, стоящему на возвышенном месте по улице Леваневского. Пилот ставит машину в гараж и идет в дом, где его ждут многочисленные записки. Школа, где учится Норочка Леваневская, просит Героя Советского Союза выступить в «Міжнародній дитячій тижень» и рассказать о своих полетах в Арктике.

«Героя Радянського Союзу» Леваневского пионеры приглашают в другую школу за сорок километров от Полтавы, в Руновщину. Пилот едет с утра за сорок километров в Руновщину, не желая огорчить пионеров, которые ждут его у тесовых ворот школы с цветами и плакатами, обещающими учиться на «отлично». А вечером Леваневский в школе среди маленьких сверстниц своей дочери. Дети приветственно кричат ему: «Хай живе!»

От осоавиахимовских кружков и аэроклубов он перенесся к просторам Арктики. Зимой он первым из Москвы появился над Полярным морем Чукотки. Он не позволил стихии одолеть себя в спящей пурге. Он сохранил жизни до-

верившихся ему людей, летевших вместе с ним в самолете. Летчика знают теперь все. Его именем названы многие советские школы. Полтава назвала его именем улицу.

Улица Леваневского напоминает не только о Сигизмунде, но и о тех многочисленных летчиках, которые каждый день делают свое незаметное дело для величия и крепости воздушных сил нашей страны. Это борт-механики — доктора самолетных машин. Это летчики — наблюдатели-капитаны воздушных кораблей, их навигаторы, искусно разыскивающие пути самолетам в пурге и туманах Севера, над тайгой Сибири, над колхозными полями.

Недремлюще смотрит на восток и на запад зоркий глаз воздушного часового. Широко простерлась, соединив отдаленные океаны, советская улица воздушников. Краснозвездные самолеты пылливо кружат над морями и землями нашей великой родины. Под крыльями самолетов каждый трудящийся советской земли спокойно делает свое дело.

Улица Леваневского — это улица наших героических воздушников, верных часовых родной земли, где расцветает новая жизнь человечества.

Люди и факты

1. Г. СТРЕЛЬЦОВ — Хозяйственные итоги 1934 года. 2. А. ГАРРИ — Рождение метро.
3. Б. ЛАВРОВ — По непроторенным дорогам.

1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1934 ГОДА¹⁾

Г. Стрельцов

Истекший год — второй год второй пятилетки — принес новые победы Советскому Союзу во всех областях социалистического строительства. Помимо больших хозяйственных достижений, особенно значительных и ярких на кризисном фоне экономики капиталистических стран, истекший год замечателен огромным ростом советской науки и техники, расцветом социалистической культуры. Достаточно лишь перечислить некоторые наиболее крупные и известные всем факты, чтобы наглядно убедиться в этом.

1934 год ознаменовался рядом важнейших событий в жизни нашей страны, имеющих поистине всемирно-историческое значение. Самым крупным, самым важным из этих событий является XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков, вошедший в историю под названием Съезда победителей. Уже одно это событие составляет эпоху в развитии первой в мире страны социализма.

На этом съезде товарищ Сталин сделал свой замечательный доклад, положенный партией в основу работы на целый исторический период.

На этом съезде партия приняла величественный план построения бесклассового социалистического общества в на-

шей стране и разработала пути и методы осуществления этого плана.

XVII съезд наглядно показал, какой мощной, непобедимой силой является теперь наша великая страна, руководимая коммунистической партией. Наконец этот съезд еще и еще раз показал непоколебимую сплоченность нашей большевистской партии вокруг сталинского Центрального комитета, вокруг великого вождя — товарища Сталина.

В 1934 г. вся страна пережила славную, незабываемую эпопею челюскинцев, привлекающую внимание всего мира. Спасением челюскинцев, во время которого были применены в необычайно трудных природных условиях все современные технические средства (авиация, радио, морские суда), Советский Союз продемонстрировал перед всем миром достигнутый им необычайно высокий уровень технического прогресса. Эпопея челюскинцев показала в то же время, на какие великие дела, абсолютно невозможные в условиях капитализма, способна страна, народ которой спаян единством воли и единством действий, страна, в которой действует мудрое руководство большевистской партии и ее великого вождя — товарища Сталина.

В 1934 г. советский стратостат под управлением тов. Федосенко достиг рекордной высоты подъема в стратосфе-

¹⁾ По данным за 10 месяцев 1934 г.

ру — на 22 тыс. метров. Правда, полет окончился трагически для его участников, но он показал исключительно высокий уровень развития советской науки и техники.

В 1934 г. заслуженный летчик, ныне Герой Советского Союза, Михаил Громов на новом самолете «РД» совершил небывалый в истории авиации полет на расстояние 12.411 километров, продержавшись в воздухе, без посадки и без заправки горючим, 75 часов. Этот полет показал, сколь велики наши достижения в развитии такой передовой и технически сложной отрасли, как авиация.

В 1934 г. состоялся 1-й Всесоюзный съезд советских писателей. Этот съезд замечателен не только тем, что он сплотил в единую семью всех советских писателей и показал перед всем миром пышный расцвет советской литературы. Этот съезд замечателен также и тем, что к нему было приковано внимание всех народов Советского Союза, что съездом жила буквально вся страна, начиная от крупнейших городских центров и кончая отдаленными глухими уголками СССР. Вряд ли можно найти более яркий показатель большего культурного роста широчайших масс рабочего класса и колхозного крестьянства нашей страны.

К этим фактам можно было бы добавить много других, например большие сдвиги в развитии советского кино и его исключительный успех на международной выставке в Венеции; колоссальный успех нашей авиации на международной авиационной выставке в Париже, рост советской архитектуры, живописи и т. д.

О чем говорят все эти факты?

Они говорят об исключительном нашем росте по всему фронту. Если раньше, в не столь далеком прошлом, мы могли отмечать наши достижения лишь в отдельных областях, главным образом в области хозяйственной деятельности, то теперь не найдется ни одного уголка в хозяйстве, в науке, в технике, в культурной деятельности, где не было бы огромных сдвигов вперед. Страна живет и развивается под знаком глу-

бокого, всеохватывающего прогресса, — вот о чем говорят все эти факты.

Что дал истекший год в развитии нашей тяжелой промышленности, являющейся основой основ всего хозяйства Советского Союза, — вот первый вопрос, возникающий при подведении итогов 1934 года.

Вся крупная промышленность Советского Союза росла в истекшем году значительно быстрее, чем в 1933 г. За 10 месяцев 1934 г. продукция крупной промышленности выросла на 20,2 проц., тогда как в 1933 году ее прирост составил 9,2 проц. Таким образом, темпы роста продукции крупной промышленности в 1934 г. более чем вдвое превосходят темпы 1933 г.'

Тяжелая промышленность, удельный вес которой во всей промышленности составляет 55 проц., должна в 1934 г. выпустить продукции на 19.852,4 миллиона рублей. За 10 месяцев (январь—октябрь) тяжелая промышленность выполнила годовой план на 82,4 проц., выпустив продукции на 16.404,8 миллиона рублей, что дает прирост, по сравнению с соответствующим периодом 1933 г., на 3.511,5 миллиона рублей, или на 27,2 проц.

Таким образом, в истекшем году вся тяжелая промышленность сделала огромный скачок вперед. Известно, что прирост промышленной продукции в капиталистических странах даже в лучшие (не кризисные) годы не превышает 2 проц. Между тем наша промышленность дала прирост свыше 27 проц. Одна только сумма прироста продукции тяжелой промышленности в истекшем году превышает весь выпуск продукции тяжелой промышленности в 1913 г.

В истекшем году тяжелая промышленность работала, несомненно, лучше, чем в 1933 г. В 1933 г. весь годовой план был выполнен на 93,1 проц., тогда как только за 10 месяцев 1934 г. он выполнен на 82,4 проц. Принимая во внимание, что до конца года остается

довыполнить 17,6 проц. и что в октябре годовой план выполнен на 9,4 проц., мы имеем основание утверждать об успешном выполнении годового плана.

По отдельным видам продукции тяжелой промышленности выполнение годового плана характеризуется нижеследующей таблицей:

| Наименование изделий | План 1934 г. | Выполнено за 10 месяцев (январь—октябрь) | % выполнения годового плана | Прирост за 10 мес. 1934 г. по сравнению с соотв. периодом 1933 г. |
|--|--------------|--|-----------------------------|---|
| Электрэнергия (в млн. квтч.) | 12.500 | 10.696,6 | 85,6 | + 32,0 |
| Каменный уголь (в тыс. тн) | 94.190 | 74.973,6 | 79,6 | + 23,9 |
| Нефть сырая » » (включая газ) | 28.645 | 18.489,7 | 73,6 | + 14,1 |
| Кокс » » | 13.600 | 11.659,4 | 85,7 | + 40,0 |
| Железная руда » » | 21.800 | 17.605,5 | 80,3 | + 48,8 |
| Чугун » » | 10.069 | 8.617,5 | 85,6 | + 48,7 |
| Сталь » » | 9.800 | 7.805,2 | 79,6 | + 41,5 |
| Прокат » » (без труб и поковок) | 6.600 | 5.419,7 | 82,1 | + 36,7 |
| Медь черновая (в тоннах) | 64.000 | 41.866 | 65,4 | + 9,7 |
| Автомашинны грузовые (в шт.) | 55.000 | 44.170 | 80,3 | + 33,1 |
| » легковые » » | 17.000 | 13.347 | 78,5 | + 84,2 |
| Тракторы » » | 90.000 | 77.303 | 85,9 | + 27,7 |
| Шарикоподшипники (в тыс. шт.) | 11.800 | 10.680 | 90,5 | + 93,3 |
| Паровозы для НКПС (в шт.) | 1.253 | 956 | 76,3 | + 23,5 |
| Товарные вагоны в 2-осном исчислении (в шт.) | 38.000 | 24.788 | 65,2 | + 62,7 |
| Цемент (помол) в тыс. тонн) | 4.340 | 2.883,9 | 66,4 | + 25,2 |

Как видим, почти по всем основным видам продукции тяжелой промышленности налицо огромный рост. Хорошо работали в истекшем году электрическая, коксовая, железорудная, металлургическая (по чугуну), химическая, машиностроение и другие отрасли тяжелой промышленности. Большие успехи имеются и в каменноугольной промышленности: в 1913 г. в старой России было добыто 29 млн. тонн угля, тогда как один только прирост за 10 месяцев 1934 г. составляет 14.450 тыс. тонн. Повысилась механизация добычи угля: за 10 месяцев механизированная добыча составила 79 проц. Очередной задачей является теперь повышение механизации доставки и откатки угля. Попрежнему хорошо работают наши автотракторные гиганты. За 10 месяцев 1934 г. выпущено свыше 77 тыс. тракторов, 57,5 тыс. автомобилей против 49,75 тыс. за весь 1933 г. Химическая промышленность выполнила за 10 месяцев годовой план на 83,4 проц., дав прирост продукции против 10 месяцев 1933 г. на 36 проц. Стекло-фарфоровая промышленность, выполнив за это же время годовой план

на 86,2 проц., дала прирост на 48,3 проц.

Наиболее отстают транспортное машиностроение, цементная промышленность, цветная металлургия. Последняя дала огромный прирост по алюминию (на 148,5 проц. больше, чем за 10 мес. 1933 г.), но идет со значительным недовыполнением плана по черновой меди и по цинку. Но даже и отрасли, недоставляющие план, дают значительный прирост против 1933 г. Так например годовой план по производству цинка выполнен за 10 месяцев на 68,0 проц., но за это время произведено цинка на 48,4 проц. больше, чем за 10 месяцев 1933 г.; годовой план по товарным вагонам выполнен за 10 месяцев на 65,2 проц., но все же вагонов выпущено за это время на 62,7 проц. больше, чем за 10 месяцев 1933 г. В 1934 г., впервые за все предыдущие годы, наблюдался столь значительный прирост выпуска товарных вагонов; это имеет исключительно важное значение для усиления технической базы жел.-дор. транспорта и улучшения его работы.

Большой количественный рост сопровождался улучшением качественных по-

казателей. Средняя месячная выработка рабочего в тяжелой промышленности выросла за 10 месяцев 1934 г. на 15,8 проц. против соответствующего периода прошлого года. Правда, плановое задание по производительности труда тяжелой промышленностью несколько недовыполняется, так как она должна повысить ее на 17 проц. Однако по сравнению с 1933 г. и здесь имеется огромный рост. В 1933 году продукция тяжелой промышленности выросла против 1932 г. на 11,1 проц., тогда как прирост 10 месяцев 1934 г. против соответствующего периода 1933 г. составляет 27,2 проц., или на 3,5 миллиарда больше, чем за весь 1933 г. Этот прирост достигнут при увеличении количества рабочих на 9,8 проц.. Приведенные цифры ясно говорят о значительном росте производительности труда, достигнутом благодаря успешному освоению производственных мощностей. С особым удовлетворением надо отметить, что рост производительности труда имеет место и в таких, ранее отстававших по всем показателям, отраслях, как черная металлургия (+ 26,2 проц.) и железорудная промышленность (+ 27,4 проц.).

Плохо обстоит лишь с выработкой в цветной металлургии и нефтеобрабатывающей промышленности; в последней средняя дневная выработка рабочего за три квартала стоит ниже уровня трех кварталов прошлого года.

1934 г. прошел в тяжелой промышленности под знаком освоения новой техники. Успехи в этом отношении находят свое концентрированное выражение в себестоимости, которая систематически снижалась в течение всего года. Если в 1933 г. себестоимость в тяжелой промышленности снизилась лишь на 4,2 проц., то за 9 месяцев 1934 г. она снизилась на 5,7 проц.

По отдельным видам продукции удалось добиться чрезвычайно значительного снижения себестоимости. Так напр. завод им. Сталина снизил себестоимость автомобиля «ЗИС-5» на 42,1 проц., ГАЗ по грузовому автомобилю — на 20,2 проц.; завод «Красный пролетарий» по станку 200 × 1.500 — на 20,9 проц., по станку 200 × 1.000 — на

17,4 проц. Такое значительное снижение имеет место как раз на тех предприятиях, которые дают наибольшие достижения в освоении новой техники.

По этому сводному показателю также сильно отстает нефтедобывающая промышленность, повысившая себестоимость на 10 проц. Наиболее плохо работала Грознефть, которая за 10 месяцев 1934 г. дала выработку, составляющую немногим больше 50 проц. уровня 10 месяцев 1933 г.; этим самым она потянула всю нефтедобывающую промышленность вниз.

Причина неудовлетворительной работы нефтедобывающей промышленности коренится в неподготовленности новых площадей и в плохой организации бурения. В Соединенных Штатах Америки скорость бурения при скважинах глубиной до 2 тыс. метров составляет от 700 до 1.800 метров на один станко-месяц. У нас же, в Союзе, средняя скорость бурения в 1934 г. исчислялась в 207 метров. Между тем при лучшей организации бурения мы можем давать не меньшую скорость, чем американская. Например буровая 144 Майнефти за 16 дней октября пробурила 1.082 метра, что дает скорость бурения свыше 2 тыс. метров на 1 станко-месяц. Таких хорошо работающих буровых имеется у нас немало.

Самой серьезной и крупной победой нашей промышленности за истекший год является несомненно решительный перелом в работе черной металлургии, особенно по выплавке чугуна. Эта победа имеет огромное народнохозяйственное значение. Известно, что за все предыдущие годы черная металлургия не выполняла своих планов, лимитируя развитие всего народного хозяйства. Известно, что советское машиностроение по своим производственным мощностям может дать продукции минимум на полтора миллиарда рублей больше, но для этого не хватает металла. Учитывая важнейшее значение металлургии для всего народного хозяйства, партия и ее ЦК сосредоточили на ней свое особое внимание. Тов. Сталин в докладе на XVII съезде особо подчеркнул необхо-

димось «ликвидировать отставание черной металлургии».

Теперь можно смело сказать, что партия, в основном, вытянула это важнейшее звено нашей промышленности. В 1934 г. план по чугуну впервые будет не только выполнен, но и перевыполнен. Если будет удержан достигнутый уровень выплавки стали и производства проката (а для этого имеются все возможности), то будет выполнен план и по стали, и по прокату. Теперь уже ясно видно, что в 1934 г. Советский Союз займет второе место в мире по выплавке чугуна, оставив позади такие страны, как Англия и Германия, а по стали — третье место в мире (после США и Германии).

Перелом в работе черной металлургии виден из следующих простых цифр: в 1933 г. среднесуточная выплавка чугуна составляла 19,8 тыс. тонн; в январе 1934 г. среднесуточная выплавка поднялась до 23,6 тыс. тонн, а в октябре — до 30,9 тыс. тонн. Рост выплавки на этом не остановился. 19 ноября было выплавлено чугуна 33 тыс. тонн (план — 31,5 тыс. тонн), стали — 30.333 тонны (план 30.199 тонн), 20 ноября было произведено 21.161 тонна проката (план 21 тыс. тонн). В результате столь быстрого скачка страна получит в 1934 г. 10,5 млн. тонн чугуна (на 500 тыс. тонн больше плана) против 7.133 тыс. тонн в 1933 г. Заметим, что в 1913 г. в царской России было выплавлено 4,2 млн. тонн чугуна, тогда как один прирост 1934 г. против 1933 г. составит свыше 3 млн. тонн чугуна. По стали: в 1933 г. было выплавлено 6,83 млн. тонн; за 10 месяцев 1934 г. — 7,8 млн. тонн. Как уже отмечено выше, имеются все возможности для полного выполнения плана и по стали. План производства проката усановлен на 1934 г. в количестве 6,6 млн. тонн, что дает прирост против 1933 г. на 1,7 млн. тонн, или на 34 проц.. За 10 месяцев 1934 г. произведено 5.418,8 тыс. тонн. Для полного выполнения годового плана ежесуточное производство в оставшиеся месяцы должно составлять 18,3 тыс. тонн. Между тем в октябре ежесуточное производство проката достигло почти

20 тыс. тонн (19,95 тыс. тонн). Таким образом, есть все основания для полного выполнения годового плана и по прокату. Значение роста производства проката в текущем году исключительно велико. Именно на базе этого роста стал возможен резко увеличенный против 1933 г. выпуск вагонов: в 1933 г. было произведено 20 тыс. товарных вагонов, а за 10 месяцев 1934 г. их выпущено 24.788.

На примере металлургии особенно заметны большие успехи, достигнутые в деле освоения новой техники. Не преувеличивая, можно сказать, что перелом, достигнутый в работе черной металлургии, является результатом именно успешного освоения богатейшей техники, которой оснащена наша металлургия за период первой пятилетки. Это подтверждается следующими данными.

За 10 месяцев 1934 г. количество рабочих, занятых в черной металлургии, возросло примерно на 10 проц., тогда как прирост за это время составил: по чугуну + 48,7 проц., по стали + 41,5 проц. и по прокату + 36,7 проц. Далее, на 1 января 1934 г. у нас было 108 действующих доменных печей, а теперь (ноябрь 1934 г.) их 114. Но вновь пущенные в 1934 г. домны выплавили за 10 месяцев 1934 г. около 800 тыс. тонн чугуна. Следовательно, огромный прирост выплавки чугуна лишь отчасти является следствием пуска новых доменных печей и увеличения количества занятой рабсилы; в основном этот прирост есть результат освоения техники доменных печей, построенных за последние годы, — таких, как магнитогорские, кузнецкие и др. Значение этого факта иллюстрируется следующими, чрезвычайно интересными данными: одни только доменные, мартевновские и прокатные цеха Магнитогорского и Кузнецкого металлургических заводов, на освоение которых партия положила немало усилий и которые работают теперь хорошо, должны дать в 1934 г. 20 проц. всей общесоюзной выплавки чугуна, 12,5 проц. выплавки стали и 12,1 проц. всего производства проката. Эти цифры одновременно показывают, какую богатую «жатву» собира-

ет теперь страна в результате миллиардных вложений в народное хозяйство, произведенных за годы первой пятилетки; эффект от этих вложений растет с каждым годом, с каждым месяцем.

Конкретным выражением успехов освоения является лучшее использование агрегатов, повышение производительности труда. Перелом в черной металлургии объясняется значительно лучшим использованием агрегатов металлургии. Возьмем коэффициент использования полезного объема доменных печей¹⁾. В 1933 г. этот коэффициент составлял: в Германии—1,07; в Соед. Штатах—1,4, в СССР — 1,68. Как видим, наши доменные печи давали худшие показатели по сравнению с германскими и американскими. В октябре 1934 г. наши доменные печи, работающие на коксе, работали с коэффициентом 1,26 (в среднем). Это уже большое достижение. Однако в нашей металлургии есть много доменных печей, дающих коэффициенты, приближающиеся к германским: Кузнецкий завод дал в августе коэффициент 1,04, Макеевский — 1,08, Мариупольский—1,11, Дзержинский — 1,17, Сталинский — 1,13. Или возьмем мартеновские печи. На сентябрьском совещании работников тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе отмечал: «Раньше говорили, что с больших печей нельзя добиться с'ема стали с квадратного метра пода больше, чем 3—3½ тонны». И тут же тов. Орджоникидзе показал, что у нас есть большие, 110-тонные мартеновские печи, которые дают 5,35 тонны на один кв. метр пода. А недавно в печати сообщалось, что печь № 1 новомартеновского цеха Макеевского завода 9 ноября выплавляла 530 тонн стали вместо 300 тонн по плану, причем с'ем стали с 1 кв. метра пода составил 10,6 тонны.

Наиболее общим показателем, отражающим, как в зеркале, качество работы предприятия той или иной отрасли промышленности, является себестои-

мость. В 1933 г. черная металлургия не только не снизила, но повысила себестоимость продукции на 5 проц. За 9 месяцев истекшего года черная металлургия впервые снизила стоимость на 9 проц. За одной этой цифрой скрывается и железная воля партии, которая приложила огромные усилия для того, чтобы вытянуть металлургию из прорыва, и энтузиазм рабочих, инженеров, техников металлургии, показавших в истекшем году подлинное чудеса трудового героизма.

Мы остановились столь подробно на успехах в работе черной металлургии потому, что в этой отрасли, как в фокусе, отражены усилия партии и рабочего класса в борьбе за освоение и замечательные результаты этих усилий. Металлургия является не только важнейшей, но и технически сложной отраслью хозяйства. Вытянуть эту отрасль из прорыва, «ликвидировать отставание черной металлургии» (Сталин) было одной из генеральных задач истекшего хозяйственного года.

Однако успокаиваться на достигнутых результатах было бы величайшей ошибкой. Металл, в особенности прокат, продолжает оставаться узким местом, лимитирующим фактором в развитии народного хозяйства. И мы достаточно сильны, чтобы прямо вскрывать наши недостатки, в том числе и недостатки в черной металлургии. Главным ее недостатком является отставание от потребностей страны. Выше отмечено, что в истекшем году Советский Союз занял второе место в мире по выплавке чугуна. Но надо помнить, что разница между вторым и первым местом очень велика. В октябре наша металлургия достигла среднесуточной выплавки 30,9 тыс. тонн чугуна и около 20 тыс. тонн стали. Между тем Соединенные Штаты Америки ежесуточно выплавляли в 1929 г. (до кризиса) 125 тыс. тонн чугуна и 175 тыс. тонн стали. Разница, как видим, огромная.

Чтобы скорее ликвидировать разрыв между потребностью нашей страны в металле и его производством, металлурги должны работать еще лучше, чем до сих пор. Неиспользованных, скрытых

¹⁾ Так называется число единиц полезного объема доменных печей, выраженное в кубических метрах, приходящееся на 1 тонну выплавленного чугуна.

резервов в нашей металлургии, как и во всей промышленности, еще очень много. Это подтверждается тем, что коэффициенты использования домен и мартенов все еще высоки. Это подтверждается и тем, что наши машиностроительные заводы используют свое оборудование на 75—80 проц. В истекшем году много промышленных предприятий подверглось специальному обследованию по вопросу об использовании рабочего дня. Оказалось, что установленный 7-часовой рабочий день на многих предприятиях фактически равен 4,5—5 часам. Партия и рабочий класс добились крупнейшего завоевания — 7-часового рабочего дня, и они вправе требовать, чтобы этот 7-часовой рабочий день был загружен полностью.

Вопрос о необходимости «мобилизовать, привести в движение» неиспользованные резервы был со всей остротой поставлен тов. Орджоникидзе на сентябрьском совещании работников тяжелой промышленности. И совещание правильно указало всем работникам промышленности на то, что:

«Достигнутый нами рост продукции мы должны всегда сопоставлять с теми материальными ресурсами, которые даны нам партией и советской страной. Всех этих ресурсов мы еще полностью не использовали, все эти мощности мы еще не пустили на полный ход. Мы можем дать стране гораздо больше, чем даем сегодня».

Все это можно проиллюстрировать и на примере нашей электропромышленности. В 1934 г. она должна произвести электроэнергии 12.500 млн. квтч. За 10 месяцев произведено 10.696,6 млн. квтч., что дает прирост против 10 мес. 1933 г. на 2.592 млн. квтч. В 1934 г. Советский Союз занял по выработке электроэнергии третье место в мире (после США и Германии).

Нет слов, электропромышленность работает хорошо, но она может работать значительно лучше. Об этом говорят следующие факты.

В 1934 г. был проведен всесоюзный конкурс электростанций. Основными показателями для суждения о качестве ра-

боты станций были: освоение проектной мощности станции; размеры использования установленных мощностей; экономичность работы станции; коэффициент полезного действия котельных; себестоимость продукции; аварийность; количество производственного аппарата и качество его работы и др. Конкурс показал, что имеется немало электростанций, добившихся высоких показателей в работе, в том числе Каширская ГРЭС, Зуевская, Бакинская им. Красина, Шаурская ГРЭС, Ивановская ГРЭС и Челябинская ГРЭС. Все перечисленные станции заняли лучшие места на конкурсе.

Возьмем для примера Каширскую ГРЭС, которая по всем показателям оказалась впереди других. Эта станция освоила свою проектную мощность на 98,5 проц.; тщательно провела планово-предупредительный ремонт и благодаря этому почти полностью устранила аварии основного оборудования; достигла наименьшего удельного расхода топлива; из числа станций, работающих на пылевидном угле, показала наиболее высокий коэффициент полезного действия (82 проц.) своей котельной; имеет самую низкую себестоимость продукции (3,27 коп. 1 квтч). Из числа гидростанций дала положительные результаты по всем показателям Волховская ГЭС—первенец электрификации СССР. Волховская станция является пока единственной станцией, которая превысила свою проектную мощность.

Несмотря на бесспорные улучшения, достигнутые в истекшем году в работе электростанций, они далеко еще не использовали всех своих возможностей для еще более эффективной работы. Это подтверждается тем, что из 40 станций, принимавших участие в конкурсе, жюри конкурса сочло возможным отметить лишь шесть вышеперечисленных станций, показатели работы которых приближаются к условиям конкурса. При этом было отмечено, что «ни одна из участвовавших в конкурсе электростанций не достигла того уровня технико-экономических, трудовых и культурных показателей, какой необходим для получения первой премии».

О том, что наши электростанции имеют большие, еще не использованные резервы, говорит хотя бы тот факт, что почти на всех станциях обнаружены значительные излишки рабочей силы. На Бакинской ГЭС, из числа станций, работающих на газе и мазуте, показавшей минимальное количество занятого на производстве персонала, на 1.000 квтч. установленной мощности приходится 4,8 чел.; на Зуевской ГЭС (пылеугольная) — 6,2 чел.; на Горьковской ГЭС (торфяная) — 5,3 чел.; а например на Шахтинской станции приходится 20 чел., на станции им. Классона — 21,2 чел.

Резервы, как видим, довольно значительные. Конкурс показал, что наши электростанции могут работать значительно лучше, чем они работают сейчас.

Можно было бы привести большое количество примеров и по другим отраслям промышленности, свидетельствующих о наличии огромных внутренних ресурсов, еще не использованных нами. Проблема использования этих ресурсов продолжает оставаться чрезвычайно актуальной, — она является составной частью проблемы освоения новой техники. Освоить же полностью данное предприятие — это значит выжать из него максимально возможное количество продукции должного качества при минимальных расходных нормах по материалам, оборудованию, рабочей силе и т. д.

В истекшем году хорошо работала машиностроительная промышленность. Годовой план всего машиностроения (9.464.753 тыс. руб.) выполнен за 10 месяцев 1934 г. на 84,4 проц., причем за это время по сравнению с 10 месяцами 1933 г. продукция машиностроения выросла на 25,6 проц.

Машиностроение освоило в истекшем году огромное количество новых машин, широко внедряло новые методы металлообработки и в организационном отношении поднялось на еще более высокую ступень. Московский завод им. Сталина освоил производство мощных грузовых машин — 4-тонные трехоски «ЗИС-6». Горьковский завод им. Сталина успешно осваивает новую модель легковой машины с обтекаемым кузовом. В истекшем году советское станкостроение осво-

ило 42 новых типа станков, в большинстве квалифицированных и сложных, против 20 типов, освоенных в 1933 г. Наше текстильное машиностроение выдержало серьезный технический экзамен, изготовив оборудование, по качеству несколько не уступающее заграничному, для Турецкого текстильного комбината. Завод «Динамо» выпустил первый советский пассажирский электровоз «ПБ 21-01» (назван так по имени Политбюро ЦК ВКП(б), который по своим тяговым свойствам эквивалентен двум мощным пассажирским паровозам серии «ИС» или «СУ»). Луганский паровозостроительный завод выпустил недавно новый сверхмощный товарный паровоз «2-7-2», который тянет 2,5 тыс. тонн со скоростью 70 км. в час, тогда как выпускаемый им мощный паровоз «ФД» тянет 2 тыс. тонн с меньшей скоростью. Список новых машин, освоенных в истекшем году, можно было бы значительно продолжить.

Большие работы проделаны в 1934 г. по развитию в СССР дизелестроения для автотранспорта. Известно, что дизельный мотор во много раз экономичнее и выгоднее бензинового мотора. Внедрение дизельмотора в автотранспорт и в тракторное производство получило за границей широкое развитие. Ряд германских и английских фирм ставит на выпускаемые ими грузовые машины на 80 проц. дизельные моторы и лишь на 20 проц. — бензиновые; некоторые из них перешли на дизельмоторы целиком. Широко изучается вопрос о внедрении дизельмоторов в авиацию, и есть уже практические результаты в этом деле. Так например, на международной авиационной выставке в Париже демонстрировался германский самолет «Юнкерс Г-38», на котором установлен дизельный мотор¹⁾. Советские конструкторы энергично работают над этой проблемой. В истекшем году НАТИ (Научно - исследовательский автотракторный институт) сконструировал но-

¹⁾ О колоссальной роли самолетов с дизельмоторами в будущей войне см. интересную книжку майора Гельдера «Воздушная война 1937 года», перевод с немецкого, изданную Военгизом в 1932 г.

вый автомобильный дизельмотор, предназначенный для установки на тректонных грузовиках «ЗИС», который при испытании показал прекрасные результаты. В июле—августе был проведен испытательный пробег автомобилей с дизельмоторами, на котором, кроме советских, были представлены дизельмоторы различных иностранных фирм. Пробег дал много ценных материалов для быстрого развития дизельмоторостроения в СССР.

При всех своих достижениях машиностроение имеет еще целый ряд узких, отстающих участков. Из этих участков следует прежде всего отметить транспортное машиностроение (паровозы, вагоны, тепловозы, речные суда). По всем перечисленным видам продукции имеется отставание; наибольшее — по выпуску вагонов. Неудовлетворительно выполнен план по энергетическому и силовому оборудованию: годовой план по паровым котлам выполнен за 10 месяцев всего лишь на 57,2 проц.; по паровым турбинам — на 28,1 проц., турбогенераторам — 46,4 проц., по дизелям, хотя и имеется большой прирост по сравнению с 1933 г. (+ 60,6 проц.), но все же годовой план выполнен только на 49 проц. Наконец имеется серьезное отставание по некоторым видам остродефицитных металлорежущих станков (фрезерные, револьверные, автоматы и полуавтоматы, сверлильные, зуборезные). Эти отрасли машиностроения еще не ликвидировали своего отставания, имевшего место и в 1933 г. Подтягивание этих участков является одной из основных задач 1935 года.

В результате столь значительных успехов тяжелой промышленности сделаны дальнейшие серьезные шаги по пути освобождения нашей страны от импорта. По всем основным видам оборудования и инструмента Советский Союз уже удовлетворяет свою потребность за счет внутреннего производства. Царская Россия ввозила в больших количествах уголь, цемент, мы же вывозим теперь эти продукты за границу. Успехи металлургии дали возможность экспортировать и черные металлы.

Чтобы добиться еще больших успехов, требуется более высокая производственная культура во всей промышленности. Даже на хорошо работающих предприятиях можно встретить например такое зло, как штурмовщина. Это говорит лишь о том, что многие наши предприятия еще не научились овладевать производственным процессом в целом (а не только его отдельными звеньями), не добились еще ровного, ритмичного течения производственного процесса, предполагающего высокий уровень организации производства. Тяжелая промышленность уверенно идет к достижению этого уровня.

Одной из узловых задач истекшего года была задача улучшения работы нашего транспорта, прежде всего железнодорожного. На X.VII съезде партии товарищ Сталин подчеркнул, что «транспорт является тем узким местом, о которое может споткнуться, да, пожалуй, уже начинает спотыкаться, вся наша экономика...» Поэтому решительное улучшение транспорта «является той очередной и актуальнейшей задачей, без разрешения которой мы не можем двигаться вперед» (Стеногр. отчет XVII съезда ВКП(б), стр. 27).

В истекшем году железнодорожный транспорт благодаря повседневному руководству Центрального комитета, благодаря созданию политотделов улучшил свою работу.

«Железнодорожный транспорт в результате очень серьезных мер ЦК и СНК значительно усилил свои материальные и технические средства. Транспорт получил от промышленности за год около 1.000 новых паровозов, около 20 тысяч вагонов, до конца года должен получить свыше 500 тыс. тонн новых рельсов. Кроме того, значительно усилено снабжение запасными частями, около четверти вагонного парка оборудовано уже автоматическими тормозами, на ряде важнейших линий проведены вторые пути и автоблокировка, значительно улучшено материальное снабжение и повышена заработная плата всем основным категориям железнодорожников. Линия за этот год получила около 5 тысяч новых инженеров, партия дала око-

ло 3 тысяч отобранных лучших партийцев на политотдельскую работу...» (из речи т. Андреева на совещании работников эксплуатации 20 октября 1934 г.).

В истекшем году построено около 900 километров новых железных дорог. В настоящее время длина всех железнодорожных путей Советского Союза достигла около 84 тыс. км. (прогив 55,5 тыс. км., которыми располагала царская Россия). Большой победой железнодорожного транспорта, одержанной благодаря исключительному вниманию партии и правительства, является успешное строительство железнодорожной магистрали Москва—Донбасс, имеющей важнейшее народнохозяйственное значение; уже построено 640 км. путей, которые в состоянии пропускать 20 — 25 пар поездов в сутки.

Имеются некоторые улучшения и в эксплуатационной работе на железных дорогах. Среднесуточная погрузка в 1934 г. достигла 56 тыс. вагонов против 51, 2 тыс. в 1933 г. (в 1913 г. средняя ежесуточная погрузка равнялась 27.400 вагонам). Повысился и суточный пробег вагонов — до 120 с лишним км. против 100 км. в 1933 г.

Эти сдвиги являются не только результатом увеличения подвижного состава, но и лучшего его использования.

Однако все эти улучшения далеко не достаточны. План погрузки в течение 1934 г. систематически не выполняется: погрузка застряла на уровне 56—57 тыс. вагонов в сутки при плане в 62 тыс. Простои вагонов недопустимо велики. По словам наркома путей сообщения тов. Андреева, «товарный вагон из фактического оборота находится в движении лишь 34 процента, а 66 процентов он простаивает на различного рода станциях в поездах и на маневрах». Эти цифры показывают, какие колоссальные резервы таятся в железнодорожном транспорте, как резко можно улучшить его работу даже при наличных материально-технических средствах.

На транспорте не устранены еще причины, тормозящие его работу; формально-бюрократические методы работы далеко еще не изжиты. Особенно следует отметить недопустимо низкую дисципли-

ну железнодорожных агентов, являющуюся главной причиной частых аварий на железных дорогах, нарушающих нормальную работу транспорта и причиняющих серьезные потери государству. «65 — 70 процентов всех аварий и крушений происходит по прямой вине железнодорожных агентов» (Андреев). Транспорт особенно наглядно показывает, что все дело — в людях, в их честном, добросовестном отношении к делу. Беспощадная борьба с открытыми и скрытыми врагами, срывающими работу железных дорог, с одной стороны, и усиленная работа по воспитанию коммунистического отношения к труду, бережного отношения к социалистической собственности у работников железных дорог, с другой стороны,— вот что является особенно актуальным в транспорте в настоящее время. Колоссальную роль в этом деле может и должна сыграть в частности наша пролетарская литература. Представители железнодорожного транспорта, выступавшие на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей, имели все основания требовать от писателей отобразить в художественной форме их борьбу и работу, так как до сих пор ничего более или менее значительного на эту тему в нашей литературе не написано.

Наконец необходимо отметить серьезные, хотя еще и недостаточные, успехи водного транспорта, которому предстоит играть крупнейшую роль в экономике страны. Навигационный годовой план выполнен за 9 месяцев 1934 г. на 77,6 проц. Это значит, что водный транспорт идет на уровне выполнения годового плана. Перевозка грузов увеличилась за 9 месяцев на 18 проц. против прошлого года.

Перейдем к сельскому хозяйству. В истекшем году сельское хозяйство Советского Союза развивалось под знаком дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхозов, под знаком осуществления лозунга товарища Сталина о превращении колхозов в большевистские, а колхозников в зажиточных. Наиболее ярким показателем здесь является то, как были проведены в истекшем году основные сельско-

хозяйственные кампании и, в особенности, как выполнялся колхозниками закон о зернопоставках. На отношении колхозников к своей первой обязанности—своевременной и полной, предусмотренной законом, сдаче хлеба государству,—особенно наглядно видны огромные сдвиги в сознании колхозников, происшедшие в результате проделанной партией работы по хозяйственному укреплению колхозов, по перевоспитанию колхозных масс.

Известно, что климатические условия истекшего года были неблагоприятны для сельского хозяйства. В целом ряде южных, наиболее хлебных районов, наблюдалась засуха, — так; в степной Украине, особенно в Днепропетровской и Одесской областях, дождей было меньше, чем в засушливом 1921 году. Не подлежит сомнению, что если бы у нас было такой мощной организованной силой, какой являются колхозы, страна стояла бы перед серьезными хлебными затруднениями и даже перед угрозой голода. Но если в 1921 г. стихийным силам природы противостояло мелкое, раздробленное хозяйство, то в истекшем году природе противостояла мощная сила совхозов и колхозов, имевшая за собой поддержку всего пролетарского государства. И эта сила победила. Ранняя глубокая вспашка, пересевы, произведенные при помощи государства там, где погибли посевы, лучшая обработка земли, широкое применение других агрохозяйственных мероприятий, большевистская организованность — все это решило исход дела. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, урожай в этом году находился на уровне высокого урожая 1933 года.

Все основные сельскохозяйственные кампании 1934 г. (весенний сев, прополка, поднятие паров, уборка урожая, осенний сев, зяблевая вспашка) были проведены значительно лучше и в более короткие сроки.

Из года в год улучшается выполнение хлебозаготовительного плана, что является ярким показателем укрепления колхозного строя. Известно, что в прошлые годы, когда в стране преобладало мелкое

крестьянское хозяйство, хлебозаготовки затягивались до весны. Между тем в истекшем году план хлебосдачи по зернопоставкам, натуроплате и возврату семсуд был выполнен полностью уже к 25 октября. Хлебозаготовительный план 1934 г. был выполнен на 1½ месяца раньше 1933 г. и на 3 месяца раньше 1932 г.

«В сознание миллионов колхозников внедрилось понимание первоочередности выполнения своих обязательств перед государством.

Лозунг, выдвинутый партией на съезде колхозников - ударников в феврале 1933 г., о борьбе за большевистские колхозы и за зажиточную жизнь колхозников вошел в сознание и быт десятков миллионов колхозников и стал практической, боевой программой мобилизации широких масс на укрепление колхозов, на общий дальнейший подъем сельского хозяйства» (из резолюции ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) 1934 г.).

С большой организованностью проведены в истекшем году и хлебозакупки. Государство решило предоставить возможность тем колхозам, колхозникам и единоличникам, которые выполнили план хлебосдачи и имели излишки хлеба, продать эти излишки государству и купить себе необходимые машины, орудия и товары. Для этой цели государство выделило особый фонд различного рода машин и лучших товаров широкого потребления. Успешно проведенные хлебозакупки значительно увеличили хлебные ресурсы пролетарского государства.

Все эти достижения в развитии промышленности и сельского хозяйства дали возможность партии и пролетарскому государству поставить вопрос об отмене карточной системы по хлебу и некоторым другим продуктам. Решения ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) об отмене карточной системы являются прямым результатом достигнутых успехов в укреплении колхозного строя и условием дальнейшего, еще более быстрого развития и сельского хозяйства, и промышленности. Именно поэтому решения пленума ЦК имеют огромное историческое значение в жизни нашей страны.

В самом деле, карточная система была необходимостью, вызванной тем, что наше сельское хозяйство, при преобладании в нем мелкого, раздробленного крестьянского хозяйства, было неспособно удовлетворить растущие потребности страны в хлебе и других продуктах сельского хозяйства. Именно этим обстоятельством и было вызвано введение карточной системы в снабжении. Введение карточной системы сыграло огромную положительную роль, так как оно «являлось на протяжении последних лет важнейшим условием улучшения снабжения рабочих... Только благодаря этой системе государство при ограниченности своих ресурсов могло полностью обеспечить снабжение городов и промышленных районов, могло обеспечить преимущественное снабжение наиболее важных центров и ударников на производстве, а вместе с тем обеспечить снабжение хлебом по твердым государственным ценам сдатчиков сельскохозяйственного сырья: хлопка, льна, пеньки, табака и др. в интересах под'ема технических культур и роста заготовок сырья для промышленности» (из резолюции ноябрьского пленума ЦК ВКП(б)).

Но к настоящему времени положение в стране коренным образом изменилось. В сельском хозяйстве преобладают теперь колхозы, объединяющие $\frac{3}{4}$ крестьянских хозяйств и 90 проц. посевных площадей, и совхозы.

«Государство теперь располагает достаточно большим количеством хлеба для того, чтобы полностью и безусловно обеспечить снабжение населения без карточной системы, путем повсеместного развертывания широкой торговли хлебом. При таком положении карточная система по хлебу и некоторым другим продуктам может быть лишь тормозом в улучшении снабжения и потому должна быть отменена» (из резолюции пленума ЦК).

В самом деле, в 1929 г. государство заготовило хлеба 650 млн. пудов при гораздо большей потребности в нем, причем 86 проц. заготовленного хлеба принадлежало единоличным хозяйствам, и лишь 14 проц. — колхозам и совхозам, которых в стране было тогда мало. В

1934 г., благодаря полной победе колхозного строя, государство заготовило не менее полутора миллиардов пудов хлеба, причем 92 проц. поступило от колхозов и совхозов, и лишь 8 проц. — от единоличников.

«Мы стали сильнее и потому отменяем карточную систему» (Молотов).

Пусть фашистские клеветники распространяют басни о мнимом «голоде» в СССР. Известные всему миру факты нашего победного роста начисто опровергают эту фашистскую клевету.

Отмена карточной системы и введение повсеместного развертывания широкой торговли хлебом имеют огромное народнохозяйственное значение. Прямым следствием этого крупнейшего мероприятия будет дальнейшее развертывание советской торговли, устранение двойных цен на продукты (коммерческих и нормированных), установление единой (для каждой области или республики) продажной государственной цены и, что особенно надо подчеркнуть, дальнейшее укрепление советского рубля. Устойчивый советский рубль и развертывание товарооборота между городом и деревней являются твердой базой для более быстрого роста промышленности и сельского хозяйства, для дальнейшего роста благосостояния рабочих и крестьянских масс.

Особенно крупным достижением 1934 г. в сельском хозяйстве является сдвиг в развитии животноводства. На XVII съезде товарищ Сталин со всей остротой поставил проблему животноводства перед партией и страной. Он говорил:

«Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия, все наши работники, партийные и беспартийные, имея в виду, что проблема животноводства является теперь такой же первоочередной проблемой, какой была вчера уже разрешенная с успехом проблема зерновая. Нечего и доказывать, что советские люди, бравшие не одно серьезное препятствие на пути к цели, сумеют взять и это препятствие» (стенограф. отчет XVII съезда ВКП(б), стр. 23).

Из цифр, опубликованных товарищем Сталиным на съезде партии, было видно, что в стране происходила, начиная с 1929 г. и до начала 1934 г., убыль по всем видам скота, за исключением прироста стада свиней в 1931 г. и 1933 г. К настоящему времени не только приостановлена эта убыль, но, наоборот, имеется прирост по всем видам скота, за исключением лошадей.

По данным ЦУНХУ Госплана СССР, опубликованным в газетах (см. «Правду» от 21 ноября 1934 г.), прирост поголовья крупного рогатого скота за год составил 4 млн. голов, или 10,4 проц. По молодняку крупного рогатого скота, по которому также происходила убыль начиная с 1928 г., прирост равен 23 проц. за год. По овцам прирост составляет свыше 1.700 тыс. голов (3,4 проц.), а по свиньям — около 5.300 тыс., или 43,9 проц. Скачок — очень большой. Что касается лошадей, то убыль хотя и не остановилась, но она резко сократилась: если за предшествующие четыре года убыль лошадей выражалась в 13 — 16 проц. ежегодно, то в истекшем году процент убыли снизился до 5,8 проц. Убыль происходит за счет рабочих лошадей; прирост же молодняка на 12,4 проц., при условии его сохранения и увеличения в 1935 г., обещает рост поголовья лошадей в ближайшие годы. Надо заметить, что убыль рабочих лошадей отчасти возмещается приростом волов — на 235 тыс. голов (9,6 проц.).

Так партия решает одну за другой важнейшие хозяйственные задачи. Несомненно, что 1935 год принесет еще более резкие сдвиги в развитии животноводства, и эта важнейшая проблема будет в конце-концов успешно разрешена.

В истекшем году значительно увеличилась материально-техническая база сельского хозяйства. На 1/1 1934 г. в Советском Союзе было 2.891 МТС, теперь их число возросло до 3.500. 240 тыс. колхозов, 3.500 МТС и 5 тыс. совхозов располагают в настоящее время 281 тыс. тракторов, 34 тыс. грузовых автомобилей, 129 тыс. сложных и полусложных молотилок, 33 тыс. ком-

байнов. Комбайны сыграли огромную роль в уборочной кампании 1934 г. Так, например, в совхозах Наркомата совхозов комбайнами было убрано свыше 74 проц. всей площади, тогда как в 1933 г. — 38,3 проц. В колхозах комбайнами убрано в 1933 г. 583 тыс. га, а в 1934 г. — 1.596 тыс. га. Усиление материально-технической базы и лучшая организованность обеспечили, в частности, перевыполнение плана весеннего сева: площадь яровой пшеницы увеличилась на 1 млн. га, площадь овса — на 900 тыс. га, ячменя — на 200 тыс. га.

Успехи в сельском хозяйстве дались отнюдь не в порядке самотека; они завоеваны в борьбе с разбитым, но еще не добитым окончательно классовым врагом, который, применяя самые различные формы борьбы, пытался противодействовать укреплению колхозного строя. В период уборки, обмолота и сдачи хлеба государству остатки кулачества пытались как можно дальше оттянуть косовицу, обмолот, портили молотильные машины, тракторы, вели агитацию за несдачу хлеба государству, портили хлеб на ссыпных пунктах. Можно было бы привести много фактов кулацкого саботажа хлебосдачи, особенно из практики таких районов, как Сталинградский, Челябинский, Восточно-Сибирский и др.

«Опыт хлебозаготовок этого года показал, что большие потери при уборке, отставание уборки, молотыбы и хлебозаготовок в ряде районов некоторых областей и краев, наряду с плохой организацией работы и неумелым использованием тракторов, молотилок и особенно комбайнов, объясняются тем, что классово-враждебные элементы все еще проявляют свою активность ввиду политической близорукости и попустительства деревенских коммунистов и даже отдельных работников районов и политотделов» (из резолюции пленума ЦК ВКП(б)).

Эти факты еще и еще раз говорят о том, что классовый враг хотя и разбит, но не добит еще окончательно, что остатки враждебных классов еще будут пытаться всячески вредить нашему делу, надевая на себя лютую маску, лишь бы усыпить нашу революционную бдитель-

ность. На январском пленуме ЦК ВКП(б) (1933 г.) товарищ Сталин указывал, что «революционная бдительность является тем самым качеством, которое особенно необходимо теперь большевикам».

Об исключительной актуальности этого указания вождя говорит факт подлого убийства из-за угла предательской рукой классового врага одного из лучших сынов нашей партии, любимого вождя партии и рабочего класса, друга и соратника великого Сталина — товарища Сергея Мироновича Кирова. Как теперь бесспорно установлено, тов. Кирова вырвали из наших рядов гнусные подонки контрреволюционной троцкистско-зиновьевской оппозиции.

Но наши враги просчитались, как просчитывались уже не раз. На смерть тов. Кирова вся партия, весь рабочий класс, все трудящиеся ответят еще большим повышением революционной бдительности, еще большим сплочением вокруг боевого штаба сталинского ЦК, вокруг нашего великого и любимого вождя — товарища Сталина.

А контрреволюционная гадина, пытающаяся воткнуть свое ядовитое жало в сердце партии, будет беспощадно раздавлена и уничтожена.

Колоссальную роль в победе и укреплении колхозного строя в деревне сыграли политотделы, созданные решением январского пленума ЦК ВКП(б) 1933 г. Партия, при помощи политотделов, добилась коренного улучшения практического руководства в деревне, провела большую работу по устранению недостатков работы в деревне, отмеченных в известной речи товарища Сталина на январском пленуме ЦК «О работе в деревне». Именно при помощи политотделов достигнуты такие важные результаты, как сплочение вокруг партии многочисленного беспартийного актива колхозников, развертывание среди колхозников социалистического соревнования и ударничества, разоблачение и изгнание (в основном) из колхозов классово-враждебных и вредительских элементов, укрепление первичных партийных организаций в деревне, превращение сельского хозяйства из отсталого в передо-

вой участок социалистического строительства. Политотделы, эта «чрезвычайная форма организации» (из резолюции пленума ЦК), целиком себя оправдали и выполнили высокие задачи, возлагавшиеся на них партией. Именно поэтому пленум ЦК решил преобразовать политотделы в обычные партийные органы. Это решение пленума ЦК еще более усиливает ответственность краевых, областных и районных парторганов за дальнейший подъем сельского хозяйства и завершение его социалистического переустройства.

Выше мы говорили о наличии огромных резервов в промышленности и о необходимости быстрее их использования для ускорения темпов социалистического строительства. То же самое — и в не меньшей мере — относится и к сельскому хозяйству. Земли у нас много, хоть отбавляй. Недостатком рабочей силы советская деревня не страдает. Что касается технической базы, она исключительно велика и позволяет по крайней мере удвоить урожайность, значительно повысить продуктивность всех отраслей сельского хозяйства.

В самом деле, на 1 сентября 1934 г. в сельском хозяйстве сосредоточилось различного рода механических двигателей с общей мощностью в семь миллионов пятьсот тысяч лошадиных сил. Сюда входят: 281 тыс. тракторов, общей мощностью свыше 4 млн. лощ. сил; 8.300 легковых и 34 тыс. грузовых автомашин, мощностью в 1,7 млн. лощ. сил; 33 тыс. комбайнов, около 3,4 тыс. электроустановок для молотбы, мощностью в 49 тыс. лощ. сил; мощность электростанций, обслуживающих колхозы, составляет 115 тыс. лощ. сил, локомотивов и нефтяных двигателей — 600 тыс. лощ. сил. Добавив к этому двигатели, которые получило сельское хозяйство после 1 сентября до конца 1934 года, мы получим цифру, весьма значительно превышающую названную выше.

Как же используется эта мощнейшая техническая база? Далеко не полностью. Во-первых, уход за машинами неудовлетворительный, ремонтируются они еще плохо и, следовательно, быстро изнаши-

ваются. Во-вторых, машины используются не на полную мощность. Например наши тракторы используются на 75 — 80 проц., хотя они и используются в 2 — 2½ раза лучше, чем в США. Летом текущего года автору пришлось близко ознакомиться с работой 40 мощных молотилок в Сталинградском крае. Лишь немногие из них давали суточную норму обмолота; большинство же выполняло суточную норму на 40—60, в лучшем случае на 80 проц. Причиной этого были и плохой и несвоевременный ремонт, и неудовлетворительная организация труда, и попытки классово-враждебных элементов сорвать или затянуть молотьбу. Но это значит, что не использовались на полную мощность не только молотилки, но и двигатели, их обслуживающие (тракторы, локомобили, нефтяные двигатели). Примеров подобного рода можно привести немало. Ясно, что, если мы полностью освоим богатейшую технику, сконцентрированную в сельском хозяйстве, мы неизмеримо быстрее двинемся вперед по пути к зажиточной колхозной жизни, скорее сумеем покрыть потребность в продуктах сельского хозяйства и города, и деревни.

В 1934 г. была осуществлена огромная строительная программа. В народное хозяйство СССР вложено новых свыше двадцати миллиардов рублей. Чтобы понять значение этой цифры, напомним, что в 1928 г. в народное хозяйство было вложено 4,1 млрд. рублей, а за всю первую пятилетку — 60 миллиардов. Вложения 1934 г. составляют, таким образом, более одной трети вложений всей первой пятилетки. Из числа отдельных строителей отметим такие грандиозные стройки, как канал Волга — Москва, Метрострой, железнодорожная магистраль Москва — Донбасс. В начале 1934 г. было окончено строительство первого в СССР калийного комбината в Соликамске. На базе богатейших в мире залежей калийных солей создана новая отрасль промышленности. Наконец в сентябре 1934 г. пущен Краматорский завод тяжелого машиностроения — краса и гордость социалистической индустриализа-

ции. Таких машиностроительных заводов нет во всем мире ни по объему производства, ни по богатству оборудования.

На почве роста продукции промышленности и сельского хозяйства в истекшем году значительно повысился и материальный уровень жизни населения нашей страны. Наша пищевая промышленность в октябре 1934 г. дала прирост продукции против соответствующего периода прошлого года на 39,7 проц. Легкая промышленность выполняла план истекшего года неудовлетворительно. Тем не менее и по большинству отраслей легкой промышленности имел место значительный прирост продукции, позволивший увеличить снабжение населения предметами потребления. Так, например, хлопчатобумажная промышленность за 10 месяцев увеличила выпуск продукции на 10,2 проц., льняная — на 19,1 проц., трикотажная — на 20 проц., шелковая — на 20,2 проц. За 10 месяцев истекшего года выпущено резиновой обуви почти на 3 миллиона пар больше, чем за тот же период 1933 г. Следует также отметить, что и таких дефицитных товаров, как различного рода металлических изделий ширпотреба, электро- и радиоизделий, в истекшем году произведено на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей против 1.242 млн. в 1933 г.

В связи с увеличившимся выпуском товаров розничный оборот по госторговле, ОРС'ам и Потребкооперации возрос на 30 с лишним процентов. Значительно ускорилась оборачиваемость товаров в системе Потребкооперации. В результате развертывания колхозной торговли произошло снижение рыночных цен на важнейшие предметы питания: за период январь — октябрь цены на городских рынках снизились по овощам на 34,7 проц., молочным продуктам — на 37,4 проц., яйцам — 30,4 проц., продуктам животноводства — 20,9 проц. Как видим, и в области товарооборота в истекшем году произошли серьезные сдвиги вперед. Наконец в 1934 г. значительно повышена заработная плата: за 10 месяцев общий фонд заработной платы возрос более чем на 26 проц.

Мы уже говорили о том, что важнейшей задачей 1934 г., как и всей второй пятилетки, было освоение новой техники. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и на транспорте освоение новой техники упирается в людей, в кадры. Проблема кадров для нашей страны была поставлена со всей остротой товарищем Сталиным в 1931 г., в знаменитых шести условиях. Товарищ Сталин говорил тогда:

«Чтобы поднять нынешние темпы и масштабы производства, нужно добиться того, чтобы у рабочего класса была своя собственная производственно-техническая интеллигенция».

Одно из самых важных, самых решающих завоеваний партии и рабочего класса состоит в том, что за истекшие годы созданы значительные кадры производственно-технической интеллигенции рабочего класса, играющие в настоящее время колоссальную роль в управлении всей нашей промышленностью. Возьмем например командный состав нашей тяжелой промышленности. Мы увидим здесь замечательные вещи. Всего, по данным ЦУНХУ, в тяжелой промышленности насчитывается 320 тысяч руководящих работников и специалистов. Среди тех из них, которые работают непосредственно на предприятиях, имеется 120 тыс. рабочих, 80 тыс. коммунистов и 15 тыс. комсомольцев. Таково социальное и партийное лицо этой мощной армии командиров тяжелой промышленности. Образовательный уровень этой армии характеризуется следующими данными: 45 проц. имеют высшее или среднее специальное образование; из 142 тыс., имеющих высшее или среднее образование, 82 тыс. получили образование за годы первой пятилетки. Две трети командного состава тяжелой промышленности работают непосредственно на предприятиях и лишь одна треть — в высших органах управления (тресты, главки, наркомат). Из 8 тыс. директоров и их заместителей две трети — коммунисты, 30 проц. имеют высшее образование; из 34 тыс. начальников цехов и их заместителей 47 проц. — рабочие и 40 проц. — коммунисты.

Растет не только армия производственно-технической интеллигенции. Растут и культурно поднимаются самые широкие массы населения нашей великой страны. В настоящее время население Советского Союза на 90 проц. грамотное. Число учащихся в школах всех ступеней превышает 27 млн. чел., в старой же России обучалось меньше 8 млн. чел. В истекшем учебном году только в высших учебных заведениях и техникумах обучалось свыше 1.155 тыс. человек, тогда как в вузах Англии обучалось в 1932 г. 49 тыс. чел., в вузах Германии в 1933 г. — 128 тыс. чел. В капиталистических странах число учащихся в высших учебных заведениях с каждым годом уменьшается, в нашей же стране непрерывно растет.

Значение всех этих цифр исключительно велико, ибо всякий понимает, что грамотные, культурные народы СССР, спаянные единой волей большевистской партии, в соединении с богатейшей современной техникой, представляют непобедимую силу, способную преодолеть все и всяческие препятствия и таящую в себе такие возможности дальнейшего роста, масштабы которого трудно даже предугадать.

В январе 1935 г. в жизни Советского Союза произойдет такое важное событие, как Всесоюзный Съезд Советов. Подготовка к этому Съезду и перевыборы советов прошли в истекшем году при небывалой активности трудящихся нашей страны. Они прошли под знаком выполнения грандиозных задач второй пятилетки, под знаком дальнейшего укрепления пролетарской диктатуры. Выполняя план 1934 г., страна накопила новые силы, новый опыт для дальнейшего победоносного движения вперед.

Таковы, кратко, некоторые хозяйственные итоги истекшего года. Разве могут пойти в какое-либо сравнение с ними плачевные «итоги» развития экономики капиталистических стран?!

Известно, что в июле 1932 г. промышленное производство капиталистических стран достигло самой низкой точки

упадка; экономический кризис, бушевавший в течение четырех лет, перешел в депрессию особого рода, «которая не ведет к новому подъему и расцвету промышленности, но и не возвращает ее к точке наибольшего упадка» (Сталин, Стенограф. отчет XVII съезда ВКП(б), стр. 10).

Несмотря на некоторый рост промышленной продукции по сравнению с июлем 1932 г., мировой капитализм в целом не достиг еще докризисного уровня 1929 г. Нижеследующая таблица дает сравнительное представление о положении промышленности в СССР и в важнейших капиталистических странах.

Индекс физического объема промышленного производства важнейших стран (1928 г. = 100).

| Годы и месяцы | СССР (промышленность НКТП) | США (вся промышленность) | Германия (производство средств производства) | Франция | | Англия |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------|--------------|
| | | | | (вся промышленность) | | (кв. данные) |
| 1929 | 127,7 | 107,2 | 104,0 | 109,4 | 106,0 | |
| 1930 | 181,5 | 86,5 | 88,7 | 110,2 | 97,9 | |
| 1931 | 234,7 | 73,0 | 65,4 | 97,6 | 88,8 | |
| 1932 | 282,3 | 57,7 | 50,2 | 75,6 | 88,4 | |
| 1933 | 312,2 | 69,3 | 58,5 | 84,6 | 93,1 | |
| 1934 январь | 339,8 | 70,3 | 72,1 | 83,5 | 103,8 | |
| апрель | 374,0 | 76,6 | 79,4 | 81,1 | 104,6 | |
| июль | 373,0 | 68,5 | 82,8 | 76,4 | | |
| август | 391,7 | | 83,1 | 76,4 | | |
| сентябрь | 401,2 | | | | | |
| октябрь | 430,5 | | | | | |

Из таблицы видим, что в первые месяцы истекшего года лишь Англии удалось несколько приблизиться к уровню 1929 г., другим же странам до этого уровня еще очень далеко. Но последующие месяцы (третий квартал 1934 г.) принесли новое ухудшение промышленности капиталистических стран, в том числе и Англии. В сентябре 1934 г. промышленная продукция Англии упала до 94 проц. уровня 1928 г., а продукция Америки — до 61 проц. И всему этому противостоит рост промышленной продукции СССР до 430,5 проц. уровня 1928 г.! Не лучше положение и в капиталистической деревне, где попрежнему свирепствует аграрный кризис.

Экономическое положение трудящихся масс капиталистических стран не только не улучшилось, но ухудшилось. Некоторый рост промышленной продукции в капиталистических странах не сопровождался уменьшением безработицы; наоборот, безработица значительно выросла; рост продукции проходил за счет усиления эксплуатации рабочих масс. Так например в Соединенных Штатах число безработных, по сравнению с до-

кризисными годами, выросло втрое; в Англии число безработных в 1934 г., по сравнению с 1928 г., увеличилось на 60 проц. В исключительно тяжелых условиях находится молодое поколение рабочих в капиталистических странах. По неполным данным бюро труда Лиги наций, процент безработной молодежи в 1933 г., по сравнению с общим числом безработных, составлял: в Германии — 26,1, в США — 27,6, в Дании — 26, в Финляндии — 33,3, в Норвегии — 27, в Голландии — 27,8, в Швеции — 33,7, в Швейцарии — 20.

Хотя нищета масс растет с каждым днем, капиталисты, пытаясь повысить цены на продукты и тем самым увеличить свои прибыли, производят массовое уничтожение продуктов питания. Это и понятно, так как движущим стимулом развития капиталистического хозяйства является прибыль капиталиста, а отнюдь не забота о повышении материального положения трудящихся. По данным «Международного комитета по борьбе с нищетой» (буржуазная филантропическая организация), в течение 1933 г. странах капитализма было уничтожено:

568 тысяч вагонов зерна (кроме того, 423 тысячи вагонов зерна были использованы для топки),

144 тысячи вагонов рису,

267 тысяч мешков кофе,

2.560 тонн сахара,

1.450 тыс. квинталов мяса,

500 тыс. квинталов мясных консервов¹⁾.

Один этот факт говорит о величайшем банкротстве всей капиталистической системы.

На почве резкого, небывалого ухудшения материального положения трудящихся масс в их сознании все более и

более вызревает идея штурма капитализма. Героическая борьба шувбундовцев в Вене и других промышленных центрах Австрии, героическая борьба испанских рабочих, четырехмиллионная забастовка французских рабочих в ответ на выступление фашизма, растущая организация сил германских рабочих и германской компартии, которая, несмотря на жуткий террор фашистской диктатуры, увеличивает свои ряды и умножает свои связи с рабочим классом, — все это — грозные признаки надвигающегося, неотвратимого конца капиталистического мира.

2. РОЖДЕНИЕ МЕТРО

А. Гарри

Приключения техника Бедрицкого

Была даже такая теория, которая выдавалась якобы за социалистическую, что при социализме люди вообще будут мало ездить.

Л. М. Каганович. (Речь на собрании актива и ударников Метростроя совместно с представителями фабрик и заводов г. Москвы 29 декабря 1933 г.).

Переполненный доотказа трамвай как-раз подошел к остановке на углу Мясницкой улицы и Лубянской площади, когда техник Бедрицкий заметил, что у него на ботинке развязался шнурок.

День был пасмурный, скучный московский день поздней осени. Мокрые и злые москвичи висели на подножках трамвая, как гроздь перезрелого винограда. Выругавшись вполголоса, техник Бедрицкий, выбрав сухое место, поставил рядом с собой трубку с чертежами и нагнулся, чтобы привести в порядок шнурок. Когда он выполнил это нехитрое дело, трамвай благополучно отошел, и техник тоскливо глянул на часы, сообразив, что домой, обедать, он попадет уже очень поздно.

Ему нужно было еще с'ездить на Арбат — побывать на квартире у заболевшего чертежника и сдать ему работу. Но четвертый номер трамвая, который мог бы подвести его к Арбату, повидимому, где-то застрял. Минуты шли за минутами, мокрые и злые люди топтались на остановке, уезжали, уцепившись на подножке, появлялись новые пассажиры, а техник все так же безнадежно торчал на остановке со свертком чертежей подмышкой.

Тогда, плюнув с досады, Бедрицкий перешел на другую сторону улицы и, решив отложить сдачу работы на завтра, собрался ехать домой — обедать.

Противоположная трамвайная остановка тоже была переполнена людьми. Какая-то супружеская пара, сжимая в руках намокшие покупки, в ожидании трамвая, успела переругаться.

— Ты что тут, метрополитена дожидаться будешь, что ли, — сказал сердито муж, — пойдем пешком, нам всего три остановки...

И, не дожидаясь ответа, он сердито передернул плечами и пошел на тротуар. Эта злобная реплика пришлось технику Бедрицкому не по вкусу. Хотя он привык выслушивать насмешки относительно своей работы в подотделе метро МГЖД, ему никогда еще не приходилось сталкиваться с тем фактом,

¹⁾ См. газету «Правда», 22 ноября 1934 г.

что проект постройки московского метрополитена стал уже притчей во языцех у обывателей. Бедрицкому стало стыдно: он ведь сам, только что устав от ожидания трамвая, решил отложить срочную работу на завтра, лишь бы поспать поскорее домой.

«Вот из-за таких лентяев, как я, метрополитена никогда и не построят» — подумал Бедрицкий.

Привыкнув относиться к своим поступкам с полной самокритикой, мокрый и усталый, техник вернулся на противоположную остановку, твердо решив сначала сдать работу, а потом поехать отдыхать, хотя бы ему для этого пришлось ожидать трамвая весь вечер...

Техник Бедрицкий конечно не был лентяем, — он назвал себя так только потому, что привык судить свои поступки очень строго. В действительности он был необычайно прилежным человеком, горячо любил свое дело, отдавал ему все свои силы. Он принадлежал к категории так называемых рядовых людей. Его происхождение, среда, в которой он рос и воспитывался, исключали всякую возможность того, чтобы он стал когда-нибудь не только героем в жизни, но даже, скажем, героем романа. Он был техником старой формации, закончившим образование и практику в те времена, когда от человека, выполнявшего чертеж, требовались не только исчерпывающие технические знания, но и определенный художественный вкус, умение удовлетворить в чертеже и эстетические запросы заказчика. Кроме этих необходимых для дореволюционного чертежника качеств у техника Бедрицкого было еще и то, что называлось когда-то «искрой божьей». Отмеченный этой «искрой», техник Бедрицкий был человеком необычайно любознательным, ищущим новых применений для своих знаний и таланта. И на проектировку московского метрополитена он попал отнюдь не случайно.

Еще накануне мировой империалистической войны, работая в Петербурге заведующим чертежным бюро на одной из железных дорог, Бедрицкий слышал разговоры о том, что не то в Москве, не то в Питере собираются строить метро-

политен, и чрезвычайно заинтересовался этим делом. Он обращался в разные места с запросами и прошениями, но нигде не добился никакого толку. Скудная была жизнь при царизме для рядового человека, — никаких перспектив!

В августе 1924 года, в самый разгар нэпа, работая чертежником в Москве, в НКПС, техник Бедрицкий прочел в газетах о постановлении президиума Моссовета организовать подотдел метрополитена при управлении московских городских железных дорог. Техник — человек маленький, отлучаться со службы по неуважительным причинам ему невозможно. Воспользовавшись тарифным отпуском, Бедрицкий, захватив с собой необходимые документы, направился в управление московского трамвая.

В канцелярии сидела тощая девушка, — она, окинув Бедрицкого скупящим взглядом, направила его куда-то на третий этаж, к инженеру Мышенкову, соболезнующе отметив, что набора служащих в подотдел метро пока не предвидится.

Однако сам Мышенков был другого мнения. Переговорив полчаса с Бедрицким, он убедился в том, что человек этот — клад, что это как-раз то, что нужно для такого маленького предприятия, которым в то время являлось проектное бюро метро. Бедрицкий не был ни безработным, ни проштрафившимся. Если такой человек приходил с улицы и просил работы в новом, только-что организуемом предприятии, то ясно, что такой человек будет работать и днем и ночью, не требуя сверхурочных и не жалуясь. Словом, это человек, который сумеет быть преданным тому делу, за которое он возьмется. Короче говоря, с этого именно дня и начались необыкновенные приключения техника Бедрицкого.

Его тут же взяли на работу. Дали предварительную пробу: эскизный снимок наброска станции «Свердловская площадь». Эту работу он конечно выполнил так, как умел, то-есть хорошо. Работой остались довольны. В тот же день он был зачислен в штат.

В подотделе метро в это время работало всего четыре человека. Они нахо-

дидлись в большой комнате, загроможденной никому не нужными колоннами из поддельного мрамора. Комната не была приведена в порядок, — в углу торчала уже совершенно никому ненужная чугунная винтовая лестница, упиравшаяся в потолок. В первые же дни своего прихода на работу Бедрицкий начал наводить порядок. Лестницу разобрали, отверстия в потолке и полу заделали наглухо, колонны приспособили для вывешивания объявлений и приказов.

На первых порах работа техника Бедрицкого заключалась в составлении планов и собирании материалов для производства подземных сооружений, ибо никаких планов в управлении трамвая не было. Группа техников производила изыскательные работы, результаты же этих работ приводились в порядок и размножались проектным бюро. Делались планы улиц и проездов. Бедрицкий отвозил эти планы в литографию и подбирал их: предварительные материалы подготавливались для эскизного проекта, на который можно было бы нанести трассу и профили.

Основные трудности работы на первых порах заключались в том, что в подотделе метро МГЖД ничего не было: ни инструментов, ни бумаги, ни чертежей, ни технической литературы. Все это приходилось постепенно приобретать.



Вопрос о постройке метрополитена в Москве ставился уже три десятилетия назад. Фигурировали проекты Пальцевского, Антановича, Кнорре, Кнорре-Сименс-Шуккерта, потом Гучкова-Рунича, ряд проектов московской городской думы. Проект Антановича предусматривал постройку Камер-Коллежского кольца и двух взаимно перпендикулярных диаметров — Мясницкого-Арбатского и Тверского-Замоскворецкого, — всего 190 километров пути, из них половина тоннелями, половина — эстакадой, на земляном полотне.

Этот проект ставил своей целью поднять стоимость незаселенных участков за Камер-Коллежским валом. Постройка

линии метро по этому кольцу содействовала бы заселению этого района и повышению земельной ренты. Но этот проект не получил осуществления.

Был представлен проект инженера Кнорре, — за ним скрывался немецкий капитал.

Аналогичный проект был представлен Сименс-Шуккертом. Эта фирма хотела взять на постройку метрополитена концессию. Русский капитал, в лице Гучкова, Рунича и других, предложил не строить метрополитена, а построить в Москве Центральный вокзал. Он должен был, по их проекту, занимать площадь от Театрального проезда, включая Пушечную улицу, до Кузнецкого Моста, Маросейки, Лубянки и т. д. Здесь предполагалось построить большое количество больших гостиниц, складов и гаражей с тем, чтобы поезд ходил через Маросейку, Покровку прямо в центр города. Фактически это был тот же метрополитен под видом глубокого ввода.

Гучков получил уже разрешение на постройку, получил в свое распоряжение лучшие участки города и эксплуатацию городских внеуличных железных дорог. Городская управа это опротестовала.

Не безынтересны все обоснования направления линий, приводимые в этих проектах. Они ярко рисуют уклад дореволюционной Москвы.

Тяжба городской управы с Гучковым тянулась до войны. Война наложила свою руку на все, и разговоры о постройке метрополитена прекратились.

Бедрицкий принял участие в подборке планов, которые сохранились от прежних проектов, в переводе их в другие масштабы и в оформлении некоторых добавочных с'емок. Дело в том, что дореволюционные проекты метро составлялись на основе планов, которые разрабатывались в Москве в 1870 — 1880 гг. Никаких геологических исследований не имелось. Вся московская геология представляла собой совершенную тайну, ибо те буровые скважины, которые имелись в Москве, не были соединены друг с другом нивелировкой и, кроме того, почти все делались в свое время в целях получения артезианской

воды. Поэтому бурильщики интересовались только породами, найденными в скважинах с признаками уровней артезианской воды.

Старое руководство Моссовета руководило делом проектирования метрополитена очень вяло. Одним из немногих его активных действий на этом поприще была командировка за границу заведующего МКХ Лаврова. Ко дню его отъезда подотделу метро при МГЖД предложено было составить эскизный проект линии метрополитена «Сокольники — Смоленский рынок». В связи с этим штат подотдела был расширен до двенадцати человек. У Бедрицкого появились новые товарищи по работе.

Этими силами был разработан эскизный проект метро (с учетом работ по берлинскому способу), составлен профиль линий и объяснительная записка. За отсутствием каких-либо геологических данных они к проекту приложены не были.

После отъезда тов. Лаврова за границу было получено разрешение Моссовета на производство бурения по основным линиям, а именно: «Сокольники — центр — Арбат — Смоленский рынок» и «центр — Тверская — Петровский парк». По этим линиям было сделано 123 буровых скважины. В то же время подотдел метро приступил к производству почвенных с'емок этих линий. О темпах работы можно судить по тому, что с'емки для участка «Сокольники — центр» были выполнены в течение 1925 г., «центр — Брянский вокзал» — в течение 1926 г., и «центр — Петровский парк» — в течение 1927 г. Одновременно была произведена точная нивелировка всей трассы и всех колодцев.

В подотделе метро и вообще в архивах Московского коммунального хозяйства отсутствовали какие бы то ни было данные по подземному хозяйству города. Пришлось все заново снимать. Лишь после этого получены были основные карты, по которым оказалось уже возможным работать. Подотдел на основе этих карт составлял два проекта: один — оригинальный, в основу которого были положены методы проекти-

ровки парижского метро, другой — иностранный, составляющийся фирмой «Сименс Бау-Унион», в пределах от центра до Каланчевской площади.

Заказ этой германской фирмы, еще до революции пытавшейся добиться подряда на строительство московского метрополитена, был дан при следующих обстоятельствах: во время своего пребывания в Берлине заведующий МКХ тов. Лавров договорился с представителем фирмы относительно их консультирования проекта «Сименс Бау-Унион» взялась на пробу спроектировать один отрезок линии.

Приглашенный незадолго до этого на работу в подотдел метро, ныне покойный, инж. Розанов был ярким сторонником парижского способа, ибо он сам работал раньше в Париже и с этим способом был хорошо знаком. Остальные участники работ считали берлинский способ вполне приемлемым для Москвы. Сейчас, когда лучший в мире московский метрополитен строится по совершенно новому в истории строительства городских железных дорог способу, нельзя не отметить, что все работы подотдела метро при МГЖД, продолжавшиеся в течение около 6 лет, были впоследствии использованы лишь частично.

Они дали лишь черновой, предварительный материал, — своеобразный архив чертежного сырья, — который лишь до известной степени сократил время на проектировку настоящего метро, того метро, на котором будут ездить москвичи.

Основная принципиальная ошибка проектировщиков метро того времени заключалась в том, что и МГЖД, и «Сименс Бау-Унион» проектировали по образцу и подобию худших метрополитенов. Составители этих проектов не имели представления о том, каким должен быть метрополитен в красной столице. Особенно отрицательно сказывались на работе подотдела метро распространившиеся как-раз в это время вздорные оппортунистические суждения о метрополитене, как о «не-социалистическом» способе передвижения.

В лагере противников московского метрополитена объединились оппортунисты всех мастей. «Левые» загибщики утвер-

ждали, что к тому времени, когда большевики способны будут строить метрополитен, техника на Западе так далеко шагнет вперед, что люди будут перелетать из дома в дом на аэроплане. Правые уверяли, что метро нам не под силу, что без иностранцев нам не обойтись, а иностранцы обойдутся слишком дорого: деньги же пока что нужны для реконструкции легкой промышленности. И даже еще в 1931 г., после исторического решения июньского пленума ЦК, в результате которого родился московский метрополитен, видный трамвайный деятель, некий Зильберштейн, на одном из собраний доказывал, что постройка метрополитена — дело лишнее, и что лица, которые об этом говорят, только «втирают очки» партии и правительству.

В лагере противников метро между правыми и «левыми» оппортунистами уместились еще и беспринципные резонеры. Не вдаваясь в политический анализ проекта социалистической реконструкции Москвы, с включением в этот проект — как одного из основных его элементов — метрополитена, эти псевдопрактики утверждали, будто пассажирские потоки по улицам городам складываются таким образом, что их лучше всего принять в трамваи и автобусы, в то время как метрополитеном можно только испортить все дело. В этом же лагере нашлись и фантазеры, которые возражали, чрезвычайно впрочем туманно, против метрополитена на том основании, что это — капиталистический способ передвижения, а по-социалистически нужно передвигаться каким-либо «иным» способом.

Все эти настроения не могли не отражаться на работе подотдела метро при МГЖД. Но не один только техник Бедрицкий, — тысячи пролетариев Москвы, партийцев и беспартийных, держались насчет метро совершенно противоположного мнения. Они прекрасно понимали, что Москве не обойтись без метрополитена, что население Москвы увеличивается с каждым днем, что нужно искать новых путей для приема пассажирских потоков и что для этого существует единственный выход — метропо-

литен, который на Западе уже полностью оправдал себя на практике.

Конечно только величайшее провидение партии и лично товарища Сталина могло обнаружить в контурах неповской Москвы того времени образ будущей социалистической столицы мира. Люди же с ограниченным политическим кругозором отмахивались от метро, как от нечистой силы. Многие даже «принципиально» ничего не желали слушать о метро, считая, что кризис городского транспорта в Москве можно будет «впоследствии» легко ликвидировать при помощи сноса одной стороны домов по основным магистралям, укладки четырех трамвайных путей и усиления автобусного парка.

Между тем техник Бедрицкий и его товарищи продолжали упорно копаться в своих чертежах. Общее настроение, существовавшее в это время в городе, они конечно чувствовали лучше всех. Прежде всего это отзывалось на самой работе подотдела метро, потому что управление МГЖД несколько раз в год сокращало штаты в этом полулегальном учреждении. Всякими правдами и неправдами пионеры московского метрополитена ухитрялись увеличивать штат до 18—20 человек. Немедленно вслед за этим следовало новое сокращение. Приходя на работу, сотрудники подотдела никогда не были уверены в том, что учреждение, в котором они работают, продолжает существовать: каждый день можно было ожидать полной ликвидации предприятия.

Старые товарищи по работе, встречая Бедрицкого, которого они знали как человека трудолюбивого, всегда серьезно относящегося к порученному ему делу, открыто издевались над ним.

— Где работаешь? На Метрострое? Нашел себе работу, нечего сказать, все равно ведь строить не будут...

А какой-то выживший забудыгачертежник, с которым много лет назад Бедрицкий работал еще в старом Петербурге, нанес несчастному технику совершенно откровенное оскорбление. Он, встретив Бедрицкого на трамвайной остановке, долго, раскачиваясь, мерил его взглядом.

— На метро работаешь, — сказал он наконец, — советскую власть обманываешь?..

В те годы полной уверенности в своих силах у работников подотдела метро МГЖД еще не было, и они, выслушивая оскорбления, молча глотали обиду и еще упорней уходили в свое дело.

Проект московского метрополитена, составляемый МГЖД, основан был на принципе: сделать работы наиболее дешевыми. Такова была установка оппортунистического руководства Моссовета; эта установка, вдобавок, еще была слегка «подправлена» разоблаченными позже вредителями, орудовавшими в аппарате МКХ. Работы по постройке метрополитена предполагалось вести исключительно французским способом, то есть вести тоннель закрытым способом и мелкого залегания. Надо сказать, что в дальнейшем опыт постройки первой линии метро показал, что, если бы такой способ постройки был принят, он принес бы значительные неприятности. Предельная длина станции в проекте МГЖД была определена в 100 метров, причем, по примеру Парижа, запроектированы были боковые платформы шириной в 4 метра каждая. Словом, технические условия проекта МГЖД были целиком скопированы с парижских условий. Рабское преклонение перед техникой Запада было весьма характерно для техников коммунального хозяйства того времени.

Проект «Сименс Бау-Унион» исходил из станции длиной в 130 метров. Станции были запроектированы с всеостровными платформами, в отличие от боковых платформ парижского метро. Работы предполагалось производить берлинским способом, то есть способом открытых работ. Одновременно проект Сименса предусматривал проходы над путями у станции, в результате чего получалось значительное увеличение земляных работ по сравнению с проектом МГЖД. Вообще если сопоставить оба проекта, то сразу бросается в глаза, что работы по проекту МГЖД были минимальными. Над проектом довлела технически неграмотная и насквозь оппор-

тунистическая установка — построить самое дешевое метро в мире.

Проект «Сименс Бау-Унион» был значительно роскошнее проекта МГЖД. Но и он очень далек в своем совершенстве от того проекта, который применен был при постройке московского метрополитена. Немцы пытались механически перенести свой опыт в московские условия, точно так же, как думал это проделать и покойный профессор Розанов с опытом парижского метро. Все это было лишь отражением общей недооценки Моссоветом того, бесспорного сейчас, факта, что социалистическое государство нуждается в новой, социалистической технике и что эта социалистическая техника создаст не только шедевры, но и до сих пор никому не известные методы работы.

Проект «Сименс Бау-Унион» был вручен МГЖД в 1926 г. Немцы получили гонорар, что-то около 22 тысяч рублей золотом. Как они сами утверждали, работы по проекту обошлись им втрое дороже, но они охотно шли на этот расход, надеясь окупить его впоследствии концессионным договором, либо, по меньшей мере, договором на техническую помощь.

В то же время, по мере изготовления плана, продвигался вперед и проект МГЖД. Темпы его изготовления определялись уже тем, что на с'емках работала только одна партия, в составе двух техников.

Одновременно разрабатывались типы отделки тоннеля, чертежи станции, расположение депо и мастерских, технический проект центрального узла метрополитена, расценки на различные виды тоннелей и даже наметки общей сметы по всему метрополитену. Точные с'емки были сделаны в масштабе $1/500$ от Сокольников до Брянского вокзала. Закончена была с'емка Красной площади и трассы от Красной площади до Петровского парка — в одну сторону, и в сторону Замоскворечья — до Москва-реки. В окончательном виде проект МГЖД был готов 1 ноября 1930 года.

Работа в подотделе метро МГЖД, сделанная, как выяснилось впоследствии, в значительной степени впустую, шла тем не менее в весьма напряженных тем-

пах. Часто приходилось работать до 12 часов ночи. Необычайно трудно было доставать необходимые для работы материалы. Когда в соответствующих организациях узнавали, что материалы требуются для метро, чиновники презрительно отмахивались и просто отказывали. Большие затруднения были и с кредитованием. Наблюдались постоянные задержки выдачи заработной платы.

Но техник Бедрицкий не унывал. Сам он твердо верил в то, что работа, которую он делает, не пропадет, и заражал своей верой товарищей. Когда инженер Гербко решил сделать в Политехническом музее платный доклад о будущем московском метрополитене, техник Бедрицкий сам взялся распространять билеты. Он получил в кассе Политехнического музея 100 билетов на комиссию. Лекция эта оставила у Бедрицкого самые тяжелые воспоминания. Зал был на три четверти пуст. Сам Бедрицкий влип в чрезвычайно неприятную историю, так как из ста билетов он распространил только шесть, и то среди своих близких знакомых. Сослуживцы по МГЖД и старые коллеги по НКПС, к которым он бегал, предлагая билеты, поднимали его на смех. Серьезные люди к докладу о московском метрополитене относились примерно так же, как сейчас люди с узким кругозором отнеслись бы к докладу о полетах в межпланетном пространстве.

Уже начиная с 1928 года по городу начали бродить слухи, что подотдел метро будет ликвидирован. Правда, к руководителям МКХ то и дело приезжали какие-то иностранцы, но Бедрицкий и его товарищи меньше всего согласны были с тем, чтобы постройка метрополитена отдана была в концессию; они успели полюбить свое дело, они были патриотами своей великой социалистической родины, и вмешательство иностранцев оскорбляло их самолюбие.

Наконец проект был готов и сейчас же вслед за этим подотдел метро был ликвидирован. В штатах Московского трамвайного управления оставлен был лишь один техник Бедрицкий, которому поручено было хранить все материалы проекта как архивные.

Проект МГЖД закончен был уже в отсутствие руководителей подотдела метро — профессора Розанова и инж. Мышенкова. Они были арестованы, точно так же, как и главный инженер МГЖД, инженер Гербко. Для пионеров первого проекта советского метро арест этих трех специалистов почти не был неожиданностью. Не отдавая себе полного отчета в конкретной сущности вредительства, Бедрицкий и его товарищи все эти шесть лет чувствовали, что в злоключениях московского метрополитена повинна не только оппортунистическая позиция Моссовета, но и чья-то вражеская рука, действия которой они все время чувствовали.

Давшие вовлечь себя в сети, расставленные организаторами вредительства, Розанов и Мышенков вскоре осознали свои ошибки и раскаялись в своих преступлениях. Советская власть им поверила. По ходатайству МК, оба они были возвращены в аппарат Метростроя, настоящего Метростроя, который развивался и рос с каждым днем под непосредственным наблюдением МК, под непосредственным ежедневным, практическим руководством тов. Л. М. Кагановича. Проф. Розанов вскоре умер, и ударники Метростроя хоронили его как своего соратника, как одного из строителей-специалистов лучшего метрополитена в мире. Инж. Мышенков активно работает в аппарате Метростроя и в настоящее время.

Таким образом, к концу 1930 г. от всего Метростроя осталось лишь 16 томов проекта, тысячи чертежей и фотографий, пустая комната и техник Бедрицкий. В течение нескольких месяцев техник Бедрицкий в единственном лице представлял собой весь московский метрополитен.

Эти месяцы представляют собой, вероятно, самый любопытный и вместе с тем самый трагический этап необыкновенных приключений техника Бедрицкого. Коллектив пионеров метро расплылся, плоды шестилетнего труда лежали на трех этажах МГЖД в незапертых шкафах. Техник Бедрицкий оберегал эти сокровища, как верный часовой. С невероятным изумлением следил он за газет-

ной кампанией, в которой все уверенней и уверенней звучали высказывания противников метро. Сотрудники МГЖД откровенно подшучивали над несчастным техником: ему предлагали купить чертежи на вес, топить ими печи, сделать из них тетрадки и раздать детям в школы.

Но Бедрицкий выжидал. В течение 6 лет работы над проектом метро он слишком хорошо ознакомился с положением московского городского транспортного хозяйства, чтобы не быть уверенным в том, что метрополитен придет. Лично Бедрицкий был убежден в том, что метрополитен необходим, он верил партии, он верил в то, что партия добьется того, что необходимо.

И вот настала незабываемая минута. Бедрицкому по телефону позвонил инженер Катцен и сказал таинственно и многозначительно:

— Михаил Николаевич, готовьтесь...

В мае 1931 года по Москве снова распространились слухи, что метрополитен все-таки будут строить. Слухи эти были очень туманны, необычайно противоречивы и систематически опровергались тем же лицом, который их распространял.

Наконец Бедрицкий узнал из газет о постановлении июньского пленума ЦК по докладу тов. Л. М. Кагановича. День, когда он прочел резолюцию пленума, был вероятно одним из самых радостных дней его жизни. Потом, один за другим, наступили незабываемые дни.

Техника Бедрицкого вместе с архивом похороненного Метростроя перевезли на Ильинку, 3, в новое помещение возрожденного Метростроя. Бедрицкому велели захватить с собой рулетку. Он измерял пустые стены, подсчитывал вместимость комнат, способы размещения столов. Он даже подмел полы помещения. Он был готов на все. В душе этого маленького человека, рядового строителя социализма, цвела необычайная радость за то, что 6 лет упорного труда не были потрачены даром.

На этом, собственно говоря, история необыкновенных приключений техника Бедрицкого и заканчивается. Сейчас он работает в аппарате Метростроя уже

одиннадцатый год. Его опыт, знания архива, специфическая память неоднократно были использованы при проектировке метро сегодняшнего дня. Лично он вполне удовлетворен своей работой, — он не мыслит себе московского метрополитена без своего повседневного участия в его создании, точно так же, как он не мыслит себя без метрополитена. В этом и заключается необыкновенная творческая, созидательная сила революции: она берет обыкновенного рядового человека, который в рамках буржуазного общества потонул бы в житейском океане, и дарит ему такие творческие порывы, такие острые ощущения, которые в капиталистическом «раю» суждены лишь немногим. Вместе с тем революция полностью умеет использовать своих солдат. Техник Бедрицкий принес Метрострою всю пользу, на которую он был способен. И история его необыкновенных приключений становится неизбежным составным звеном истории московского метро...



Два года спустя после того, как июньский пленум ЦК пустил в ход гигантскую машину Метростроя, техник Бедрицкий еще раз вспомнил все свои необыкновенные приключения. Это было на опытном участке в Сокольниках, куда Бедрицкого вызвали для сверки каких-то чертежей.

Он увидел вдруг, что люди, которые с ним только что разговаривали, кинулись куда-то в сторону и пошли за человеком в резиновой спецовке, который быстро шел по штольне. Бедрицкий не сразу узнал этого человека, — его смутило отсутствие бороды. Техник тоже примкнул к группе и с неудовольствием подумал, что тоннель показывают кому-нибудь знатному иностранному гостю. Потом, когда вдруг случайно Бедрицкий очутился с неизвестным человеком лицом к лицу, он сразу узнал его и пробормотал вполголоса:

— Каганович...

Когда, уже у себя дома, техник Бедрицкий пришел в себя от необыкновенных ощущений этого дня, он почувство-

вал себя еще увереннее: раз партия спустилась под землю, чтобы руководить работами, значит московский метрополитен — будет!

II. На Западе... перемены

... две большие крысы: пришли, понюхали и ушли..

Н. В. Гоголь.

В постановлении июньского пленума ЦК было указано, что в течение трех месяцев все имеющиеся проекты метро должны быть изучены и должен быть представлен тот проект, который можно принять за основу.

Вновь назначенное руководство Метростроя и Московский комитет партии, с самого начала входивший во все детали проектирования, на первых же порах убедились в том, что все проекты, как дореволюционные, так и советские и иностранные, доставшиеся в наследство социалистической Москве, можно было использовать лишь как литературный материал, если не считать того, что ряд планов и карт по проекту МГЖД до известной степени сократили время, которое должно было быть затраченным на подготовительные работы.

Центральный комитет партии и лично товарищи Сталин и Каганович дали установку на то, чтобы московский метрополитен был лучшим в мире. Эта установка решающим образом определила стиль проектирования московского метрополитена. Прежде всего явилась необходимость максимально критического подхода к проектам заграничных метрополитенов, — стало совершенно очевидным, что все успехи тоннельного строительства за границей, все достижения западного коммунального хозяйства, связанные со строительством внеуличных городских железных дорог; мы можем рассматривать только сквозь фильтр своей собственной, большевистской точки зрения.

Шел 1931 год, — он несся над страной под скрежет экскаваторов, под грохот взрывааемых аммономом вековых скал Карелии, Урала и Сибири. Новые гигантские домны выросли на Востоке и в реконструированном Донбассе. В тех-

ническом обиходе советского инженера появилась современнейшая техническая терминология, вывезенная из заграничных командировок. По всей стране заложены были фундаменты первых машиностроительных заводов-гигантов. Под твердым руководством ленинской партии, напрягаясь в нечеловеческих усилиях, страна шла на штурм твердынь решающего года первой пятилетки.

Мы имели уже значительный опыт работы с иностранными техническими консультациями, мы научились критически подходить и к «чистым воротничкам» гастролеров иностранной техники, и к их грязным комбинациям, как нельзя лучше характеризующим испытанные методы индустриализации колоний, при помощи которых прокладывала себе путь к новым сырьевым рынкам капиталистическая цивилизация. Мы знали прекрасно, что удельный вес советской экономики в мировом хозяйстве повышается и будет повышаться с каждым днем, что акции нашего хозяйственного авторитета за границей растут с молниеносной быстротой, что стоит нам только свистнуть — и десятки концессионеров самых различных национальностей явятся в пролетарскую столицу, чтобы предложить свои услуги в деле постройки или хотя бы консультирования постройки метрополитена.

Но первые же огни кузнецких и магнитогорских домен значительно укрепили нашу уверенность в собственных силах. Советская страна 1931 г. мало чем напоминала страну тех дней, когда техник Бедрицкий со свертком чертежей подмышкой, усталый, промокший и измученный, безуспешно пытался прицепиться к подножке переполненного трамвая.

К концу первой пятилетки ни о какой иностранной концессии на московский метрополитен, как бы заманчивы ни были предложения, не могло быть и речи. Необходимо отметить, что в данном случае Центральному Комитету партии и руководству московской партийной организации пришлось проявить необычайную твердость, чтобы априорно отвести все иностранные домогательства

в этом направлении. Сейчас это — дело прошлое, и мы можем со всей откровенностью заявить, что не только среди отдельных специалистов, но и в московской партийной организации нашлись отдельные товарищи, которые недооценивали наших сил и склонны были, пустившись по линии наименьшего сопротивления, пустить иностранного козла в огород московского метрополитена.

Нужно сказать, что в эти решающие дни иностранцы проявили необычайную активность. Многие из тех, которые мечтали наложить лапу на московский метрополитен, приезжали в Москву под видом туристов, расспрашивали, вынюхивали, осматривались по сторонам и лишь перед самым отъездом добивались свидания с руководителями Моссовета или Наркомтяжпрома, чтобы предложить свои услуги по реализации решения июньского пленума ЦК относительно постройки метрополитена.

В мировой экономике наступала депрессия. Капиталистический мир неуклонно катился к страшным кризисам 1932 — 1934 гг. Проницательные люди, наблюдая за стремительным падением акций своих предприятий, смотрели, глотая слюны, на московский метрополитен; они предвкушали невиданные прибыли. Мировая печать печатала одно провокационное сообщение за другим, сватая московский метрополитен то с германскими, то с американскими, то с английскими строительными предприятиями.

Любопытно отметить, что много позже, когда московское метро уже строилось, когда было совершенно очевидным, что строительство это обойдется без помощи не только иностранного капитала, но и иностранной технической помощи, «утки» все еще не исчезли со страниц буржуазной печати. Только цель их на этот раз была совершенно иной: лживые сообщения о полученных концессиях на постройку московского метрополитена имели целью хотя бы временно поднять на бирже стоимость акций того или иного предприятия.

Так, в конце 1932 года всю мировую печать обошло следующее нелепое сообщение:

Англия строит Московскую подземную дорогу.

Москва. Советское правительство утвердило британский проект сооружения подземной дороги в Москве. Русская комиссия начнет на этих днях окончательные переговоры в Лондоне. Советское правительство заявило, что британское предложение более благоприятно, чем германское и американское. Затем Англии будут переданы заказы, в которых, кроме экономических моментов, играют роль также и политические мотивы, так как Россия сильно заинтересована в сохранении британского рынка для русского экспорта.

Это сообщение появилось в печати в момент, когда по-настоящему осведомленные люди на Западе уже примирились с мыслью о том, что большевики будут строить свой первый метрополитен собственными силами. Осенью 1932 года уже закончились французская, немецкая и английская экспертизы. Советский проект вчерне был уже готов, продолжалась лишь дискуссия о глубине залегания тоннелей. В день, когда крупнейшие мировые газеты напечатали заведомо лживое и явно тенденциозное сообщение одного из действующих на английской территории телеграфных агентств, тов. Каганович, в окружении руководящих работников московской партийной организации и Метростроя, уже обходил опытные участки на Руссаковском шоссе.

Отказ от заграничной помощи требовал от нас не только критического подхода к действующим в западных столицах метрополитенам, но и самого детального изучения опыта по постройке и эксплуатации этих метрополитенов. С этой целью, вскоре после июньского пленума ЦК, ряд специалистов был командирован за границу для исследования вопроса на месте и ознакомления со специальной литературой.

Первым в мире городом, построившим внушительные городские железные дороги, является Лондон. Лондон занимает территорию в 1.800 кв. км., и, таким образом, по своей площади он примерно в 7 раз больше нынешней Москвы. Население Лондона, по переписи 1931 г., исчисляется в 8.201.172 чел.; вместе с населением пригородов эта цифра повышается до 12.684.172 чел. Средствами внутригородского массового пере-

движения в Лондоне являются метрополитен, подземный и надземный, а также трамвай и автобусы.

Первую линию метрополитена в Лондоне начали строить в 1863 г. Строилась она открытым способом, так, как мы строили станцию «Сокольники». Это приносило жителям города большие неудобства и очень дорого обходилось самим строителям. По капиталистическим законам, все убытки, которые терпело население, строительная кампания должна была возместить, — вплоть до того, что если лавочник до постройки метрополитена имел в году одну прибыль, а во время постройки метрополитена близ его магазина меньшую, то разницу надо было оплатить.

Первая подземная внеуличная железная дорога была пущена в эксплуатацию в 1864 г. Построенная с применением обыкновенной паровой тяги, дорога эта была совершенно неудовлетворительной в гигиеническом отношении: паровозы выделяли массу дыма, — дым заполнял тоннели, пассажиры задыхались, задыхались и прохожие: от дыма, выходящего на улицы сквозь вентиляционные шахты.

Поэтому уже в 1890 г. подземные железные дороги Лондона были электрифицированы. Первая внеуличная железная дорога, с самого начала запроектированная на электрической тяге, была проложена под землей. Колоссальная стоимость земельных участков в центральной части Лондона не дала возможности строить ее над землей. Это же обстоятельство оказало свое решающее влияние на весь дальнейший план постройки новых электрических железных дорог через центральные части города. Все эти линии прокладывались исключительно под землей, чему благоприятствовала и почва, состоящая из прекрасной водонепроницаемой глины, дававшей максимум технических возможностей для устройства соответствующих подземных тоннелей.

Вторая линия электрической подземной железной дороги Лондон — Ватерлоо-Сити, протяжением в 2 км., была закончена и пущена в эксплуатацию в 1898 г. Несколько позже были пере-

оборудованы на электрическую тягу и все остальные железные дороги с паровой тягой, общей длиной около 140 км.

Все продолжавшийся стихийный рост города, при одновременном чрезвычайном увеличении численности населения и значительном развитии пригородных местностей, вскоре вызвал необходимость постройки целого ряда новых электрических внеуличных железных дорог: Сити — Северо-Лондонскую, Беркерстрит — Ватерлоо-лайн, Пикадилли — Брамpton-лайн, Юстон — Хемпстед-лайн и т. д.

Эти новые линии подземных электрических железных дорог, во избежание необходимости перекладки проложенных в большом количестве под мостовой на небольшой глубине подземных сооружений (городских водопроводов, канализационных, кабельных и т. п. сетей), а также в целях предотвращения возможных повреждений в фундаментах зданий, стали прокладываться на глубине от 9 до 20 м от уровня мостовой.

Дальнейшая потребность в прокладке новых подземных линий железных дорог, вызывая большие затруднения в распланировке их, вследствие частых скрещиваний со старыми линиями, повлекла за собой прокладку трасс еще в более глубоком грунте, на глубину от 20 и даже до 58 м от уровня мостовой.

Тоннели, в которых проложено лондонское метро, сначала строились в виде кирпичных сводов, по мере же дальнейшего развития сети и с переходом постройки их в более глубоком грунте от сводчатых тоннелей пришлось отказаться; они были заменены системой трубчатых тоннелей, представляющих собой сооружение из специальных чугунных труб высокого качества, выдерживающих огромную тяжесть давления на их стенки пластов земли.

Этот новый тип тоннелей носит название «тюб» (труба). Трубы эти изготовляются сечением, из расчета вместимости однопутного пути, так как изготовление огромных по объему труб для двухпутного пути обходится слишком дорого. Кроме того, при прокладке труб малого диаметра чрезвычайно облегчает-

ся производство монтажных работ. Эти трубы — разборные, они изготовлены в виде отдельных, свинчивающихся между собой секторов (в одном звене трубы — шесть секторов). Размер каждого звена трубы: длина — 1.160 мм, диаметр — 457 мм и толщина — 255 мм.

Снаружи секторы имеют гладкую поверхность, внутри же они пересекаются для большей прочности ребрами в 635 мм. Конической формы закрепы, расположенной в верхней части сектора, дает возможность производить монтировку труб под землей.

До последних лет метрополитены глубокого заложения обслуживались лифтами. Лифты рассчитывались на 40 — 60 и даже 100 человек; они поднимали и опускали пассажиров в тоннель. Это было очень неудобно. Из-за одного человека поднимать лифт не имеет смысла. Проводник лифта ждал, пока соберется 10 — 20 человек, и поэтому вечером приходится ждать продолжительное время.

В последнее время была изобретена самодвижущаяся лестница — эскалатор. Сейчас Лондон перестраивает все свои старые станции на обслуживание самодвижущейся лестницей. Это гораздо удобнее. Эскалатор обеспечивает непрерывный поток. Нет людей — эскалатор стоит. Пришел человек, стал на первую ступеньку, включился мотор — и лестница поднимает или опускает пассажира. Эскалаторы движутся со скоростью 0,50 — 0,70, а в Лондоне даже до 2 метров в секунду. Чтобы подняться на высоту в 30 метров, нужна одна минута.

К тому времени, когда жизнь поставила перед техническими руководителями лондонского метрополитена вопрос о необходимости итти глубокими тоннелями, в достаточной мере был разработан так называемый щит. Первый щит был изобретен французом Брюнелем, — им был построен тоннель около 100 лет назад. В 90-х годах щит был усовершенствован, работая уже с применением сжатого воздуха. Щит ставит технику тоннелей на промышленные рельсы, избавляя от кустарщины. Здесь — четкие, твердо определенные процессы, здесь все делает машина, и нужно толь-

ко уметь эту машину использовать. Лондонцы опустили под землю на большую глубину, приспособили щит, начали овладевать этим методом постройки тоннелей и так выстроили на сегодняшний день несколько сот километров однопутных тоннелей. Общее протяжение лондонских электрических железных дорог, метрополитенных и трубчатых, двухколейного пути — 414,4 клм.

Схема лондонской сети железных дорог содержит самые лучшие элементы трассы и является продуктом беспланового развития капиталистической столицы в течение 70-летнего периода.

В Лондоне, вследствие обширности территорий и густоты сети, практически непоправимые недостатки схемы выступают с особенной яркостью. Узкая пересекаемых между собой станций разных направлений практически приводит к невероятно сложным и причудливым решениям. Это сопряжено с большими инженерными работами по реконструкции уже эксплуатируемых сооружений и созданием ряда новых подсобных тоннелей, галлерей и переходов. Последние в свою очередь неизбежно вызывают ряд затруднений эксплуатационного порядка.

Париж, как и Лондон и другие мировые города, искал путей для разрешения проблемы внутригородских пассажирских перевозок. В противоположность Лондону, от которого он перенял применение внеуличных городских железных дорог, Париж поставил своей главной целью: обеспечить средствами передвижения прежде всего население самого города, не интересуясь обслуживанием окраин и пригородов.

Эта установка наложила свою специфическую печать на всю распланировку сети парижского метрополитена и привела к созданию в пределах городской черты чрезвычайно густой сети подземных дорог, с крайне частым перекрещиванием путей, с многочисленными разездами в разных направлениях, в точках расположения отдельных станций. Пригороды и дальние окраины города остались неохваченными этой сетью. Лишь в последнее время муниципальным управлением Парижа и дирекцией метропо-

литена поставлен вопрос о необходимости обслуживания также и этих местностей быстроходными железными дорогами. Пока же окраины и пригороды Парижа обслуживаются исключительно трамваями, автобусами и отчасти пригородными железными дорогами с паровой тягой.

Париж, вместе со своими пригородами, занимает общую территорию в 480 кв. км. По своей площади Париж вдвое больше Москвы, но в 3,5 раза меньше Лондона и почти в 2,7 раза меньше Берлина. Численность населения Парижа с пригородами, по переписи 1930 г., составляет 4.729.350 человек.

Париж, приступая к постройке своего метрополитена, имел перед собой огромный опыт Лондона.

Строители парижского метрополитена остановились на типе построения тоннелей, который наиболее соответствует особенностям каменистой и сухой почвы Парижа: железная дорога в нем строится на средней глубине, несколько ниже городских водопроводных, канализационных, кабельных и т. п. сооружений. В противоположность Лондону, где имеются трубчатые тоннели, Париж принял тип сводчатого тоннеля каменной кладки.

Начав постройку первой внеуличной железной дороги в 1900 г., Париж уже к 1908 г. имел около 140 км., а в 1910 г. — около 170 км. одиночного пути. В настоящее время общая длина сети парижского метрополитена, включая сюда и недавно законченные новые линии, превышает 191 км. двойного пути.

Преобладающая часть всех путей парижского метрополитена проложена под землей, и только около 8 процентов путей построены над землей, на соответствующих эстакадах.

Тоннели парижского метрополитена строятся в расчете на прокладку в них двухколейного пути. Ширина тоннеля — 7.100 мм и высота от поверхности рельса — 4.500 мм. Толщина свода тоннеля бывает различная, но обычно она не превышает сверху 500 мм, а боковых стенок — 750 мм.

Верхнее перекрытие свода делается из бутового камня, а стенки и нижнее осно-

вание — из бетона, причем все это покрывается внутри цементом, толщиной в 25 мм.

Станционные помещения, представляющие форму эллипса шириной в 14,25 м и высотой в 6 м, имеют две поездные, станционные платформы, шириной в 4 м и длиной в 75 м, где курсируют поездные составы из 5 вагонов. В новейших станционных помещениях поездные платформы однако делаются уже шириной в 4 м и длиной в 100 м для приема поездных составов в 7 вагонов.

Прокладывание сводчатых тоннелей в Париже производится закрытым способом, т. е. прохождением под землей наподобие лондонского. Рытье тоннелей производится главным образом с помощью подвижного щита и в меньшей мере с помощью штолен и крепей (способ, употребляемый в горной промышленности).

Схема линий метро, созданная из отдельных, часто не увязанных между собой отрезков, отражает бесплановость капиталистической системы ведения городского хозяйства. Вследствие этого при дальнейшем развитии сети выявляется ряд технических трудностей, преодоление которых приводит к необходимости идти на мероприятия, сопряженные с отрицательными элементами эксплуатации самого метрополитена. Так, при сечении линий образуются сложные станционные узлы, требующие для своей развязки длинных кривых переходов и коридоров (до 250 м) с профилями, содержащими большие уклоны.

При сооружении парижского метрополитена строителями не уделено должного внимания вопросам изоляции и вентиляции, в результате чего в тоннелях душно. Загрязненный воздух вредно отражается на здоровье пассажиров и особенно на служебном персонале, пребывающем значительное время в тоннелях метрополитена. Эти отрицательные стороны учитываются однако при сооружении новых линий метро.

Организация движения поставлена в парижском метро так безупречно, что парижане, несмотря на скверный воздух, буквально осаждают метро. Поезда

пунктуально, через каждые 1 — 1/2 минуты, следуют переполненными.

Интенсивная подвижность населения Парижа и напряженная работа метро, удовлетворяющего усиленный спрос на людские перевозки, диктуют необходимость развития существующей сети метрополитена. Это дело проводится сейчас компанией парижского метро, направляющей строительство новых отрезков линий в разных пунктах Парижа с выводом линий за пределы города.

Созданная французами разнообразнейшая подземная сеть метрополитена имеет ряд тоннельных сооружений, которые могут быть заслуженно названы рекордными. К этим сооружениям следует отнести ст. «Републик», объединяющую пять направлений метро, ст. «Опера», тоннели под рекой Сеной, тоннели под домами, тоннели-мосты, фундаментованные через подземные карьеры, и т. п.

Строительство тоннелей в Париже ведется преимущественно при мелком заложении, без значительного нарушения интенсивного уличного движения. Имеются случаи проходки тоннелей и на большой глубине.

Строительство новых участков линий метрополитена ведется по бельгийской одноштольной системе, при деревянном креплении и каменной обделке, с опиранием свода непосредственно на породу.

Большие и часто весьма неожиданные осложнения вносятся в строительство тоннелей метро существующими в Париже подземными карьерами. Вследствие дислокаций, происходящих в нарушенной зоне, между прокладываемым тоннелем и расположенными под ним карьерами начали садиться опертые на грунт своды, выложенные под улицей «Де Мен».

Для локализации нарастающего процесса деформации тоннелей на устройство глубоких оснований под тоннелем отпущена дополнительная сумма в 2 млн. франков.

Несомненно, что практика строительства парижского метро весьма многообразна. В свое время здесь нарождались новые методы работы. При практическом проведении в жизнь эти методы,

в зависимости от их эффективности, или получали заслуженное развитие, или же, наоборот, хоронились. Так, например, парижские инженеры проводили большие работы со щитом незамкнутого контура (полушитом), а также со щитами замкнутыми, эллиптического очертания. От дальнейшего применения тех и других они окончательно отказались, придя к круглым, дробного сечения.

Основная парижская система строительства тоннелей проводится на временном деревянном креплении с постоянной каменной обделкой; при этом забои открываются при следующей подгонке и оборудовании работ.

Любопытно отметить, что при постройке 9-й линии метро в Париже, под Бельвилем, на глубине 35 метров, 1^е время проходки тоннеля было разрушено свыше 40 домов по обеим сторонам улицы. Дома эти стояли около 6 месяцев на подпорках, после чего их все же пришлось эвакуировать, так как они были обречены на снос.

Постройка тоннелей метрополитена в Берлине производится открытым способом, посредством рытья больших траншей. Хотя этот способ прокладки тоннелей сам по себе не представляет особых технических трудностей, но он связан с довольно сложной работой, — во-первых, по перекладке многочисленных, уложенных под мостовой улиц подземных сооружений (водопроводных, канализационных, электрических и т. п. сетей), и, во-вторых, с не менее сложной работой по укреплению фундаментов зданий, около которых производится рытье траншей. Кроме того, еще более трудной, в смысле технического решения, является задача по отводу грунтовых вод, которыми насыщена почва Берлина. Этот способ постройки тоннелей связан с временным прекращением уличного движения, что также вносит ряд осложнений.

Берлин однако сумел найти соответствующие методы для разрешения этих технических задач, в частности справился даже с наиболее сложной задачей — с отводом грунтовых вод. Метод, применяемый в отношении отвода грунтовых вод, состоит в том, что уровень послед-

них, посредством целого ряда дренажей и насосов, искусственно понижается.

Германским строителям удалось довести понижение грунтовых вод до 25 м и более, а так как в большинстве случаев это понижение требуется не более чем на 10 м, то эта работа производится быстро и легко.

В целях укрепления стенок траншей с обеих сторон вбиваются двутавровые балки; промежутки между ними заделываются деревянными щитами, а последние покрываются прочным бетонным покровом. Для полной изоляции грунтовых вод в тоннеле прокладывается специальный слой толя и асфальта.

Сверху тоннели и станции метрополитена обычно перекрываются специальными железными конструкциями, которые поддерживаются особыми железными колоннами.

Берлин — огромный город с территорией в 1.275 кв. км. По своим размерам Берлин занимает 4-е место среди крупнейших городов мира (Лондон, Нью-Йорк, Чикаго). Площадь территории Берлина в 5½ раз больше площади современной Москвы. Население Берлина с пригородами составляет 4.892.375 человек (по переписи 1930 г.).

Средствами внутригородского массового передвижения в Берлине являются метрополитен, трамвай, автобусы, а также внеуличные окружная и городская (центральная) электрические железные дороги.

Первыми внеуличными железными дорогами в Берлине были Окружная железная дорога (Рингбан), длиной около 50 км. 4-колейного пути, охватывающая кольцом весь город, а затем городская железная дорога (Центральная), проходящая через Берлин по диаметру с запада на восток (Штадтбан), длиной в 16 км., также 4-колейного пути.

Первая из указанных дорог была открыта для пассажирского движения еще в 1872 г., вторая — в 1882 г. Обе эти дороги работали сначала паровой тягой, и только сравнительно недавно (в 1925 — 26 гг.) были окончательно электрифицированы.

Линии внеуличных железных дорог Берлина, за исключением построенных в

1902, 1906, 1907, 1908 и 1909 гг. общим протяжением в 21 км., строились большей частью на эстакадах. Однако уже с 1913 года город перешел к постройке электрических внеуличных железных дорог исключительно в тоннелях, несмотря на то, что почва Берлина, состоящая из водоносного песка, значительно удорожает этот способ постройки.

Электрические внеуличные железные дороги — подземные (унтергрудбан) и на эстакадах (хохбан) — теперь объединены и носят общее название «метрополитен из двух магистральных линий», идущих одна с севера на юг, а другая — с запада на восток, причем каждая имеет по несколько разветвлений.

Эти железные дороги в более значительной части своего протяжения расположены на земле, непосредственно под мостовой улицы или несколько глубже, а в меньшей части, выходя из тоннелей, проходят высоко над землей на эстакадах. При входе же за черту города они расположены на насыпях и выемках.

Общая длина сети внеуличных электрических железных дорог Берлина — около 130 км. Из них на подземную часть (унтергрудбан) приходится 80,149 км., включая сюда и недавно законченные постройкой линии.

При строительстве нью-йоркского метрополитена всегда старались держаться ближе к поверхности земли. Там, где станции не имели вестибюлей (мезонинов), держали профиль линии приблизительно в 6,4 м ниже поверхности улиц, с вестибюлем — 9,45 м.

Неглубокое заложение определялось следующими соображениями: дороги неглубокого залегания более удобны для пассажиров, не нужны механические эскалаторы и лифты, создается большая безопасность для пассажиров в случае аварии. Такие дороги лучше вентилируются и изолируются. Изоляция кладется снаружи.

Кроме этого, значительно уменьшаются стоимость сооружения и сокращаются сроки строительства.

При неглубоком заложении между уровнем улиц и перекрытием тоннеля оставляли не менее 1,8 м свободного

пространства — для расположения подземных сооружений.

Канализацию старались располагать ближе к зданиям. Только в некоторых местах приходилось применять сифоны. Как правило, этих сифонов старались избегать ввиду их большой стоимости.

Благодаря применению плоских перекрытий получали возможность поднимать профиль пути.

Геология нью-йоркских грунтов чрезвычайно пестра. В северной части Манхэттена имеются пески-плывуны.

В некоторых районах приходилось работать под гидростатическим давлением — 9,14 м, а в некоторых местах — ниже уровня моря.

В северной части города лежали высокие горы. Не имея возможности взбираться по уклону, приходилось продвигаться глубоким тоннелем. Этот тоннель был пройден в скалистой почве без сжатого воздуха.

На 53-й улице, ввиду приближения к реке Ист-Ривер, пришлось пройти щитом и сжатым воздухом.

По пересечении реки сейчас же стали подниматься на поверхность и при первой возможности начали работать открытым способом.

На этом участке преодолели основные препятствия при прохождении водоносных грунтов. Понижение уровня воды производили зумпфами и трубчатыми фильтрами.

Все здания вблизи сооружения дороги подкреплялись.

Глубина укрепления фундаментов всецело зависела от степени устойчивости породы и расстояния здания от котлованов. В некоторых местах глубина укрепления была ниже уровня лотка тоннеля.

В пяти местах приходилось идти под реками, причем во всех этих случаях встречались неустойчивые водоносные породы.

Заметное место в строительстве нью-йоркских городских дорог заняла эстакадная дорога. В Нью-Йорке имеется сейчас около 800 миль одноколейного пути (1.270 км.), из которых 350 миль (560 км.) — на эстакадах.

Почему в Нью-Йорке построили так много эстакадных дорог? Ведь каждый побывавший в Нью-Йорке на эстакадном пути знает то огромное количество неудобств и неприятностей, которые причиняют людям подобные типы дорог. Эстакада загружает улицу и нарушает свободное движение. Эстакада отнимает у населения свет, воздух и создает раздражающий шум.

Все, живущие в районе расположения эстакадной дороги, всячески проклинают строителей, которые ни в коей мере не думали о судьбе людей, жилища которых расположены по линии.

С особенным усердием защищали эстакадные дороги нью-йоркские частные кампании и дельцы, которые кровно были заинтересованы в том, чтобы получить как можно скорее дешевую и доходную для эксплуатации городскую дорогу большой скорости.

В Нью-Йорке имелась большая группа инженеров, которая резко возражала против эстакадных дорог. Но голос этой группы инженеров не был услышан хозяином города — муниципалитетом.

В конце XIX столетия муниципалитет все же был вынужден в центре, в густо населенных районах, приступить к строительству подземных дорог, но на окраинах Нью-Йорка не прекращали строить эстакады.

Прошло только несколько лет, и на этих окраинах начали быстро вырастать многоэтажные здания, длинные ряды «небоскребов». Окраина превращалась в крупный пригород самого Нью-Йорка. Таким образом, эстакада и здесь начала себя изживать. Самой жизнью вытеснялся устаревший тип городской дороги — грохочущая эстакада. Только консервативные элементы города, во главе с мэром, упорно продолжали цепляться за эстакаду.

В конечном итоге эстакадная дорога оказалась очень дорого стоящей, невыгодным средством передвижения. Население начинало тяготиться эстакадной дорогой. Платформы станций и вагоны пустели. Перед муниципалитетом выросла во всем объеме серьезная проблема дальнейших судеб эстакадной дороги.

Против своей собственной воли муниципалитет приходил к неизбежному выводу — к необходимости замены эстакад подземной дорогой.

Последняя линия, которую начали строить в 1925 г., эстакадных дорог уже не имела. Получив большой опыт в строительстве старых дорог, Нью-Йорк приступил к строительству сети новых подземных дорог.

Проект новой линии подземных дорог намечал протяжение пути в 54,5 миль (87,2 км.) по оси пути и 195 миль (312 км.) однопутного пути.

Стоимость конструкции равнялась приблизительно 410 млн. долл. Обделка станций — 10,5 млн. долл. Устройство верхнего пути — 13,4 млн. долл. Оборудование, включая подвижной состав, — 100,5 млн. долл. Отчуждение недвижимого имущества — 90,5 млн. долл.

В общем вся дорога обошлась в 526 млн. долл. В эти расходы входили также и подземные сооружения: канализация, водопровод, газ, перекладка кабелей и пр.

За последнее десятилетие в США техника рационализации производства достигла значительного развития. Рационализация проходит под лозунгом упрощения производства, обеспечения большей безопасности работ и экономии строительных материалов. Эта тенденция получила свое отражение и в строительстве подземных дорог и, в частности, тоннелей различного типа и назначения. Уже 15 лет назад американские инженеры-тоннельщики отказались от применения крепежного леса в условиях сооружения тоннелей для города, несмотря на то, что лес в США является высококачественным и дешевым материалом.

Одним из методов в рационализации крепления городских тоннелей является применение траншейных домкратов, что приводит к огромной экономии в лесе (около 75 проц.). Основным преимуществом домкратов, по сравнению с обычным деревянным креплением, являются легкость и быстрота их установки и снятия, причем создается возможность немедленного ввода крепления по мере необходимости, что особенно важно в неустойчивых грунтах.

Одним из примеров применения траншейных домкратов может служить тоннель, проложенный в Йонкерме (пригород Нью-Йорка) в 1931 г. с применением так называемой «летучей арки».

«Летучая арка» характеризуется применением домкратов в виде временного крепления. Под этим методом американцы понимают проходку, при которой, сейчас же за разработкой калотты, бетонируется свод, после чего приступают к разработке штроссы и подводке стен под свода.

Впервые метод «летучей арки» был введен в Америке 15 лет назад. За этот период времени он дал очень хорошие результаты и получил широкую известность.

Непеременным условием успешного применения этого метода являются мягкая кровля и твердый низ, требующий взрывных работ, в особенности в скале. Этот метод приобрел большую популярность при описанных условиях благодаря легкости поддержки мягкой кровли и бетонного свода при помощи временного крепления.



Вот в основных чертах картина постепенного развития и современного состояния крупнейших метрополитенов в Западной Европе. Московский комитет партии и новое руководство Метростроя, ознакомившись с этими данными, нашли необходимым при проектировке московского метрополитена использовать все сильные стороны буржуазного метро, в особенности его технический опыт, и одновременно избежать по возможности ошибок, допущенных на Западе.

Из опыта строительства метро в ряде капиталистических столиц мы узнали, что недостаточное внимание к проектам, к перспективам всего строительства, к данным о том, как будут в дальнейшем развиваться и пересекаться линии метро, откуда и как пассажиры будут ездить, как будут они пересаживаться с одной линии на другую, привели к последующим перестройкам и ненужным затратам. Особо сильно сказалось это в Париже. Наблюдается это и в Берлине и в других городах.

Основные ошибки, допущенные как во время проектировки, так и в процессе строительства западных метрополитенов, проистекают из самой сущности капитализма. Анархия производства, беспланоность, бесперспективность, неистовая конкуренция и жажда наживы, которые обуревают буржуазию, не дают возможности строить метро, исходя из иных соображений, кроме узкоутилитарных, коммерческих, рассчитанных на сегодняшний день. Печать дряхлеющего капитализма лежит на подземных железных дорогах западных столиц.

Мировой экономический кризис спугнул акционерным компаниям, владеющим метрополитенами, все карты. Сумбурно построенные метро на этот раз не принесли даже и прибыли, — приведенная ниже таблица показывает ту лихорадку, в которой трясется например парижский метро под ударами кризиса.

| Годы | В миллионах франков | | Сальдо | |
|------------|---------------------|--------|---------|----|
| | Приход | Расход | | |
| 1930 . . . | 134 | 92 | Прибыль | 42 |
| 1931 . . . | 85 | 109 | Убыток | 24 |
| 1932 . . . | 94 | 144 | » | 50 |
| 1933 . . . | 91 | 149 | » | 58 |

Любопытно отметить, в качестве трагического анекдота, как кризис повлиял на несколько необычное использование метрополитена населением. Как указано было выше, управление лондонского метрополитена заменило лифты глубоких станций эскалаторами. Шахты, в которых раньше были лифты, остались сейчас лишь для вентиляционных целей. Вскоре однако им найдено было новое применение.

В течение лета 1933 г. на линии Пикадилли было зарегистрировано свыше 50 случаев самоубийств в этих вентиляционных шахтах метрополитена. Эти шахты, глубиной в 40 — 50 метров, представляют собой приманку для многих голодных и обездоленных, решивших покончить счесть с жизнью. Эпидемия самоубийств в шахтах метро приняла настолько значительные размеры, что у этих шахт была установлена специальная охрана, подобная той, которая поставлена у кратеров японских вулканов.

Кризис сказался и на строительстве новых метро. Так, проект варшавского метрополитена, детально разработанный профессором Ленартовичем и утвержденный правительством в 1925 г., до сих пор еще не осуществлен, — дальше геологических разведок дело не пошло.

Проект римского метрополитена составлен был еще в 1914 г. Правительство ассигновало на две линии, длиною в 28 км., 140 млн. лир. Любопытно отметить, что, по проекту, постройка римского метрополитена была рассчитана на 10 лет. Однако до сих пор дальше проекта дело не пошло, и римский муниципалитет до сих пор еще затрудняется определить время начала работ.

Желая хоть как-нибудь окупить произведенные затраты на проектировку и геологические изыскания, римский муниципалитет начал было переговоры с городом Рио-де-Жанейро на предмет постройки в нем метрополитена на основах технической помощи. Однако денег нет и в Бразилии, — ее правительство предлагало оплатить расходы Италии натуральными поставками кофе на сумму до 400 млн. лир. Но, поскольку Италия потребляет бразильское кофе не больше чем на 150 млн. лир, сделка состояться не могла.

В послевоенные годы муниципалитет Праги произвел ряд бесплодных попыток мобилизовать капиталы для финансирования строительства метрополитена. Попытки эти до сих пор не привели ни к каким практическим результатам.

Твердо держась полученной установки — строить лучший в мире метрополитен, — Московский комитет партии предложил управлению Метростроя не допускать в процессе проектировки ошибок, известных из практики Запада. За 15 лет существования диктатуры пролетариата в шестой части мира на Западе произошли большие перемены. Вновь отстраиваемое пролетарское государство не могло даже в технических вопросах слепо следовать западным образцам.

Социалистическая страна, в которой хозяйство регулируется строгими планами, могло строить метрополитен только нового, социалистического типа.

Управление Метростроя, чтобы выработать основные наметки окончательного проекта в данный партийный срок, приступило в форсированном порядке к изучению имеющихся материалов и в первую очередь — к детальному анализу геологических «тайн» Москвы.

III. Вглубь веков

У меня больше воспоминаний, чем если б мне было 1000 лет.

Б о д л е р.

Буровые скважины, пройденные проектировщиками Метростроя, показали, что верхний слой московской почвы имеет более или менее мелкозернистую, но в своей нижней части плотную структуру и состоит из насыщенного грунта, водонасыщенного песка и супеска и отдельных чечевицеобразных пластов валунного мергеля с отдельными большими камнями. Мощность этого слоя колеблется между 8 и 18 метрами, а в некоторых частях достигает приблизительно 26 метров. Лежащий под ней довольно сухой слой юрской глины залегает на различной глубине, в зависимости от мощности лежащего над ним слоя, и образует вследствие этого возвышения и углубления, — как бы подземные пруды. Мощность слоя юрской глины чрезвычайно различна. Она колеблется, по имеющимся данным, между 2—14 метр., а местами совершенно пропадает или же нарушается песочными прослойками. Под юрской глиной залегает карбонный известняк, который в своей верхней части имеет еще прослойки карбонной глины.

Лежащие над юрской глиной песчаные слои водоносны. Уровень грунтовых вод лежит на различной глубине от поверхности земли, в общем от 3 до 7 метров. Уровень следует примерно профилю местности, изменяя свою глубину в названных пределах.

Водоносные пески в Москве не образуют однородного ледникового русла, как это часто встречается в Европе. В

Берлине например характерной особенностью грунта является то, что широкая дилювиальная пойма реки, песчаные и гравелистые отложения которой имеют в некоторых местах до 100 метров, проходит под всем городом. В этих песчаных и гравелистых отложениях течет грунтовый поток, являющийся настолько обильным, что все водоснабжение Берлина питается этим грунтовым потоком. При этих обстоятельствах вопрос откачки воды и понижения грунтовых вод играет важную роль при всех глубоких сооружениях. Берлинские условия грунта представляют собой почти идеальный случай для понижения грунтовых вод, — вследствие их равномерного, почти чистого от всякой глины, состава песчаных слоев, которые лишь изредка пересекаются водонепроницаемыми прослойками.

Московские условия схожи скорее с условиями, часто встречающимися в нижнем течении северных германских рек вблизи моря, а также с условиями в Голландии и Бельгии. Здесь пески имеют более мелкую структуру; они часто имеют большую примесь глины.

Карта подземной Москвы, по трассам первой очереди, была в основном готова лишь к XVI годовщине Октября. Анализ этой карты показал, что мировая практика строительства подземных дорог еще не знала таких трудных, таких исключительно неблагоприятных условий, как в Москве.

Подпочвенные воды пропитывают песок и глину, принесенную сюда древним ледником; вода наполняет и трещины известняка. Черная глина юрского периода — дно древнего моря, когда-то покрывавшего Москву, — является благоприятным слоем для проходки подземных тоннелей. Но для того, чтобы провести тоннель в сухой юрской глине, нужен слой глины по крайней мере в 12 метров толщиной. Таких мощных пластов на участке 1-й трассы очень немного. Глину унесли потоки воды, хлынувшие в результате таяния древнего ледника. На участке 1-й трассы московского метро пришлось пересечь четыре мощных потока воды, глубоко спрятанных сейчас под землей в широких тру-

бах: Неглинку — у Театрального проезда, Ольховку — у Комсомольской площади, Чечеру — недалеко от Гаврикова пер. и Рыбинку — на Русаковском шоссе.

Исследование юрской глины в дальнейшем показало, что ее состав не вполне однороден. К особенностям черной глины например относятся плохая устойчивость и отсутствие вязкости. Боковые части штольни, через два-три часа после их появления, начинают вываливаться. Под влиянием действия вышележащих пород на протяжении геологических эпох, под громадным давлением исчезнувших сейчас ледников, только в нижних слоях земли появилась большая плотность и минимальная влажность. Капиллярная вода в наибольшем количестве оказалась в верхних слоях земли, к стати сказать, совершенно разжиженных, чему также способствуют налегающие выше пльвуны.

Плохая пластичность юрской глины была одной из основных причин, многочисленных случаев неудачной забивки металлического и деревянного шпунта. Концы шпунта, вследствие произвольного скалывания глины, имеющей в нижних слоях большую плотность, отклонялись. Если бы шпунт забивался в моренную глину, имеющую, как известно, больший коэффициент пластичности, то результаты могли бы быть лучше.

Существенным недостатком глины, с точки зрения производства работ, является ее способность откалываться глыбами параллелепипедной формы. Эта слоистость объясняется тем, что глина подвергалась длительному давлению ледников, приобретая определенное напряжение. При исчезновении ледников давление на глину изменилось, и она, заключая в себе достаточное напряжение, разрушалась.

Кроме того, установившееся в глине напряжение нарушается и при производстве подземных работ, и известное явление «стреляния» в крепких породах выражается в глинах в виде вываливания кусков. Кроме того, влияет уличное движение, так как сотрясение явно ощутимо до глубины 20 метров.

Известняки, обнаруженные шахтами и штольнями, по своему качеству оказались не одинаковыми. Верхняя корка известняка очень крепкая, мощность ее колеблется от 10 до 50 сантиметров.

Затем следует слой известняка менее плотный, испещренный мелкими пустотами, выбитыми кристаллами минералов водного происхождения. Средняя часть известняка, достигающая мощности до 1,2 метра, представляет собой явно выветрившуюся часть всей толщи верхних карбонных известняков. В этой прослойке часто попадаются наряду с малыми и большие пустоты, доходящие в объеме до 1,5 метра. В пустотах легко обнаружить следы деятельности ювенильных вод (налеты бурого железняка и других отложений). Иногда можно проследить скелеты кишечнополостных и червей.

Известняк — этот легко раздробляющийся слой — хорошо разрабатывается пневматическими отбойными молотками. Нижний слой известняка, налегающий на пестрые карбонные глины, сильно видоизменен — метаморфозирован — и по химическому анализу относится к доломитам.

Доломиты образовались в результате растворения углекислой извести в морской воде и обогащения этого раствора углекислой магнезией. Так происходит процесс доломитизации — образование доломитов.

Вследствие наличия пустот, сообщающихся между собой, известняк в этой своей части плохо поддается бурению. Помимо этого, пустоты заключают в себе углекислый газ, образовавшийся исторически и закупоренный окружающими породами.

Необходимо отметить интересный случай, впервые встретившийся в практике. При проходе известняков шахтой № 17 рабочие начали жаловаться на плохой воздух. При проверке шахтного воздуха в нем оказалась углекислота. Затем на протяжении 12 дней шахта неоднократно затоплялась газом до уровня земли с опасным для жизни количеством углекислоты (14%). Причиной этого внезапного выделения углекислоты в большом количестве, как оказалось, был кесон, установленный на шахте № 16.

В тот момент, когда на шахте № 16 в стволе был вскрыт известняк, по наблюдениям инженера А. Д. Гоцеридзе, в кессоне понизилось давление, и воздух шел по трещинам известняка с большой силой и давлением, вытесняя из пустот породы углекислоту. Со снятием кессона в шахте № 17 выделения газа прекратились.

Газовыделение могло образоваться также и от взаимодействия воды с известняком, который в этот момент был вскрыт в сухой своей части.

Ниже известняков расположены быстрые глины, преимущественно голубые и красные. Прослойки голубой глины мощностью в 5—10 сантиметров чередуются с такими же прослойками красной глины.

Карбонная глина, с точки зрения ее физических свойств, не изучена. Есть предположение о разбухании ее от воды. Генезис красной глины — это результат разложения силикатов, то-есть кремнекислых солей вулканических горных пород. Их основная составная часть — воднокремнекислый глинозем, плюс минералы, плюс органические остатки.

Экскурсии строителей метро вглубь веков, кроме общего научного интереса, преследовали цели чисто практические. Без знания точной структуры московской почвы, без знания ее геологической истории нельзя было спроектировать метро так, чтобы оно было лучшим в мире, как требовала этого партия.

Нужно сказать, что доисторическая картина подземной Москвы восстановлена в данный момент конечно еще не полностью. Каждая новая шахта, проходка каждого нового тоннеля обогащает науку о подземной Москве новыми и новыми данными. Добываемые при бурении породы тщательно исследуются в химических лабораториях. Все эти исследовательские материалы дадут возможность при строительстве дальнейших очередей метро избежать ряда неожиданных неприятностей, с которыми строители метро сталкивались при составлении проекта первой очереди.

Проникновение вглубь московской почвы дало богатейший материал и по исто-

рии материальной культуры феодальных городов.

Шахтеры метро прорывают теперь московскую землю так глубоко, как никто еще ее не рыл. Археологические открытия делаются при этом неизбежно, и надо только сохранить эти открытия для исторической науки.

Инженерно-геологическое бюро Метростроя дало большое количество промеров московского культурного слоя. Установление точной стратиграфической классификации этого слоя является существенной археологической задачей, для которой мы старательно собираем керамический материал.

Московская Русь была до сих пор представлена в музеях предметами роскоши или обломками вещей. Вещи массового обихода не были найдены: старая Москва известна была меньше, чем любой из наших более древних больших городов. Теперь, благодаря строительству метро, положение меняется. На шахте № 9 (против старого здания университета) открыты и исследованы два колодца, заполненные новыми для науки вещами XVI—XVII вв. (один — на Моховой под д. № 26, другой — под Новоманежной площадью).

В первом колодце — одиннадцать целых глиняных кувшинов; до сих пор посуду этого времени изучали лишь по черепкам. Соответствие между черепками городищенских слоев Московской Руси и найденными кувшинами полное. В частности характерно преобладание серебряного лощения. По форме кувшины одинаковые, высота их от 16 до 35 сант., по обработке поверхности, орнаменту, формовке дна и т. д. они представляют любопытные различия, отражающие развитие керамической техники. Там же найдены два железных рабочих топора, сохранившие, благодаря влажности, деревянные рукоятки. Длинной и формой, в частности прямыной этих рукояток, подтверждены вычисления, сделанные для древнерусских топоров В. А. Желиховским. Подтверждены и данные летописных миниатюр. Самые топоры имеют точные аналогии среди тушинского лагеря Лжедмитрия. В том

же колодце найдены вещи, характерные по форме для XVII в., — медный ковш, клинок стальной шпаги. Есть кусок изразца первой половины и обломок изразца второй половины того же века. Наконец нашелся железный топор с бородкой, тоже «тушинского» типа, но без рукоятки, кусок железного долота с рукоятью и т. д.

На втором колодце интересны два железные топора — боевой и рабочий. Оба они сохранили топорница, тоже прямые. Рабочий топор близок к названному, но уже имеет бородку (аналогия в Тушине). Топорница боевого топора выделяется своей формой и длиной. Самый топор можно считать промежуточным типом между курганными и «тушинскими» боевыми топорами. Обух орнаментирован поперечными рельефными прямыми линиями; бородки конечно нет.

В том же колодце найдены два глиняных горшка, кожаная подметка фигурной женской туфли конца XVII в., дубовый санный полоз и т. д.

Древние московские укрепления удалось исследовать во всей полноте только благодаря строительству метро. Ни Земляной город, на месте которого проходит кольцо «Б», ни Белый город, на месте стены которого идет кольцо «А», не были до сих пор доступны археологам. Теперь изучены и обмерены фундамент на Смоленской площади и нижняя часть стены Белого города.

Удалось получить новые данные и по укреплениям Китай-города. На площади Держинского промерен перед стеной ров XVI в., открыт и изучен специальный ход, устроенный в стене для подошвенного боя, вскрыты перед стеной бревчатые конструкции, принадлежащие болверкам, сооруженным при Петре I. Наконец под Владимирской башней открыто сооружение, заслуживающее специального описания; его исследование еще не закончено.

Для истории древне-русской гидротехники важны плотины искусственных прудов, встреченные и изученные в большом количестве на Краснопрудной улице; древнейшие из них относятся к XV—XVI вв., позднейшие — к XVIII в. Там же открыт фундамент полевого ар-

тиллерийского двора XVIII в. Иногда работы метро позволяли изучить строеные фундаментов древних зданий, которые пока стоят, в том числе известной Гребневской церкви.

Удалось установить вызывавшее многие споры между историками Москвы местоположение опричного двора Ивана Грозного. Часть его территории занимает дом (Моховая, 7), под которым открыт настил из белого песка, описанный в свое время немцем-опричником Генрихом Штаденем.

Постоянно встречаемые могилы дают обычно только антропологический материал. Впрочем на Арбатской площади и в Охотном ряду найдены в гробницах XVIII в. одежды хорошей сохранности, преимущественно шелковые.

Иногда в культурном слое встречаются монеты, например в слое Красного села (на Красносельской ул.) — серебряная копейка Бориса Годунова; при Борисе это село было еще далеким загородным пунктом. Находки поздних вещей обычны; изредка они имеют научное значение (например чугунные водопроводные трубы начала XIX в, вскрытые возле Казанского вокзала и заполнившие пробел в соответственных музейных собраниях). Причудливой и экзотической находкой является персидская печать XVII в. (Каланчевская ул.) из сардоника, с вырезанным на ней двуступищем: «Если я изложу свое страстное стремление, то загорится тростник моего пера». На Сапожковской площади (пл. Коминтерна), на месте трактира XVII в. «Сапожок», в изобилии встречены осколки водочных штофов. Под старым зданием Ленинской библиотеки найден обломок надгробной плиты, эпиграфически датированной XVII в. Плита имела обычный жгутовой орнамент, от надписи сохранились два слова «убиен... Васильев...»

На улице Герцена, при постройке центральной тяговой подстанции метро, на месте б. Никитского женского монастыря, найдена надгробная плита 1598 г., украшенная сложной художественной резьбой: надпись гласит: «Лета 7106, марта в 14 день, на память отца нашего Венедикта представися раба божия

июнка Еупраксея скимника, Иванова дочь белоозерского веденца». Веденцами в Московской Руси назывались горожане, принудительно переселенные правительством; подобные переселения ремесленников и торговцев типичны для хозяйственной политики XVI в. Наличие белоозерского веденца в Москве—явление неожиданное и существенно дополняющее географию этих переселений.

На Волхонке добыто много художественных изразцов XVII в. На Остоженке встречено чугунное, пушечное ядро — очевидно след обстрела Москвы. На Арбате, под домом № 14, найдены остатки кузницы — зола, большое количество древесного угля, железные шлаки.

IV. Партия победила

С метро нельзя так поступать, как показывают в мультипликационном фильме: едет поезд и вдруг перескакивает через препятствия. Вагоны могут скакать через горки только в кино.

Л. М. Каганович.

Когда организованное в порядке реализации решений июньского пленума ЦК управление Метростроя приступило к проектировке первой очереди метро, вопрос о том, каким способом рыть тоннели, был еще совершенно неясен. Вообще необходимо отметить, что строительство городских подземных железных дорог для наших техников являлось делом настолько новым, что они не имели и не могли иметь никакого мнения по поводу деталей проекта.

Только единицы среди инженерно-технического персонала побывали за границей и имели представление о том, как строятся метрополитены. Необходимо отметить, что значительное большинство советских инженеров, знакомых с метростроением на Западе, работали в Германии и поэтому являлись сторонниками открытого способа работ, иначе называемого берлинским. Это было вполне естественно, ибо никакого иного способа, кроме берлинского, они не знали.

Особняком стоял проф. Розанов и группировавшаяся вокруг него весьма

немногочисленная, впрочем, кучка людей. Проф. Розанов работал раньше на парижском метро, — он знал только парижский способ проходки тоннелей, то-есть закрытый способ при мелком залегании, и горой стоял за парижские методы работы.

Проектный отдел Метростроя был организован 1 октября 1931 г. Основное ядро его составляли бывшие сотрудники проектного бюро при МГЖД; инженеры В. Н. Машков, В. Г. Цирес, А. М. Горьков, И. Э. Катцен, В. М. Назаров, А. Д. Алексеев, С. Н. Денисов, техники: Бедрицкий, Вычужанин, Глебов и другие, а с 1 февраля 1932 г. также инженер К. С. Мышенков и проф. С. М. Розанов. Из инженеров, непричастных к бывшему управлению МГЖД, с самого начала работ проектного отдела приняли участие в проектировке 1-й очереди метро теперешний начальник метропроекта, инженер В. Л. Николаи, инженер И. С. Шелюбский, В. Л. Маковский и Е. М. Гендель.

Основная ненормальность обстановки, в которой протекала на первых порах деятельность проектного отдела, заключалась в том, что Метрострою не было дано никакого подготовительного срока ни на изыскания и проектировки, ни на организацию самих работ. Пришлось одновременно вести изыскания по геологии и гидрологии, проектировать и строить; так, проходка наклонного кремберга для бывшего опытного участка началась в присутствии Л. М. Кагановича и Н. А. Булганина уже 10 декабря 1931 года.

Вторым обстоятельством, отразившимся крайне неблагоприятно на успешном ходе проектных работ и вызвавшим бесконечные переделки проекта, было резко отрицательное отношение отдельных руководящих работников Метростроя к глубокому заложению тоннеля.

Еще осенью 1931 г. проф. А. Н. Пасек, приглашенный в Москву из Ленинграда на широкое совещание о методе проходки тоннеля под Мясницкой улицей, высказался, по ознакомлении с геологией участка, за необходимость пройти перегон от Красных Ворот до площади Свердлова глубоким заложением, как

оно фактически ныне и осуществлено. Однако в то время проект А. Н. Пассека был решительно отвергнут.

Кроме соображений технического порядка, вопрос о глубоком залегании тоннелей имел и очень важный принципиальный политический смысл. Значительная часть работников Метростроя, возражая против глубокого залегания, не учитывала, что в отличие от капиталистических метрополитенов социалистическое метро красной столицы должно было строиться с расчетом на причинение минимальных неудобств населению, что при мелком залегании, а в особенности при открытых началах, конечно не осуществимо.

К этому можно добавить, что возражения против глубокого залегания основаны были в значительной степени и на боязни технических трудностей, на недооценке установки, данной тов. Сталиным и Кагановичем, чтобы московское метро было лучшим в мире. Отдельные работники Метростроя склонны были толковать по-своему понятие «лучший». Они понимали это слово так, что проект лучшего в мире метро должен быть составлен с минимальными техническими трудностями, с выходом из каждого возникающего в процессе строительства технического затруднения по линии наименьшего сопротивления.

Московский комитет партии, который нес перед всей партией и перед страной историческую ответственность за качество первого социалистического метрополитена, на первых порах не вмешивался в разгоревшуюся дискуссию, предоставляя техникам возможность полностью высказать свое мнение. Таких мнений было очень много. Одни считали, что нужно идти только на небольшой глубине, другие, наоборот, настаивали исключительно на глубоком залегании, третьи наконец стояли на нейтральной позиции. Был вызван целый ряд экспертов: заслушаны были экспертизы — советская, немецкая, французская и английская. Тщательно исследованы были все геологические данные. И лишь после этого партия сказала свое веское слово.

Дискуссия о методах залеганий тоннелей значительно обострилась после того,

как работник проектного отдела Метростроя, молодой инженер Маковский, опубликовал 1 марта 1932 г. в «Правде» статью, в которой он настаивал на применение глубокого залегания при проходке тоннелей московского метрополитена.

Появлению этой статьи предшествовала упорная борьба инж. Маковского за осуществление своей идеи внутри аппарата Метростроя.

Поданная им еще в январе 1932 г. докладная записка о глубоком залегании оставлена была без последствий. Инж. Маковскому пришлось, в порядке выполнения своих непосредственных обязанностей, — работая над проектировкой трассы по методу мелкого залегания, — одновременно, урывками, составлять «для себя» проект по методу глубокого залегания. Словом, приходилось работать почти круглые сутки. Видя безрезультатность своих попыток добиться детального рассмотрения своего предложения в аппарате Метростроя, инж. Маковский обратился к партии.

Поданная им докладная записка тов. Л. М. Кагановичу подверглась детальному обсуждению на специальном совещании, созванном вскоре под председательством секретаря МК — тов. Хрущева. На этом совещании выступил и Л. М. Каганович, который предостерег работников Метростроя от слишком поспешных суждений по вопросу о методе глубокого залегания. Это выступление вождя московских большевиков имело решающее значение для всей дальнейшей судьбы проекта московского метрополитена.

В течение 7 дней, работая круглые сутки, не выходя из помещения Метростроя, группа работников проектного отдела, во главе с инж. Маковским, разработала новый вариант проекта. После ряда изменений и дополнений было принято принципиальное решение пройти глубоко всюду, где для этого имеются естественные геологические условия.

Особо стал вопрос об Арбате. Геология Арбата такова, что в верхних слоях, на 10—12 метров, лежит сухой песок. Юрские доисторические глины размыты зам совершенно. Ниже идут водонапор-

ные известняки каменноугольного периода. На самом же Арбате, против Никола-Песковского пер., находится большая вымоина в 53 метра глубиной. Если вести тоннель глубоко, — то как быть в этом месте? Было создано управление по Арбатскому радиусу, был создан аппарат управления, начали строить шахты, копры по предполагавшейся трассе. Все это построили, выдвинули вопрос о прокладке Арбатского радиуса парижским способом. Это — тоннельный способ мелкого заложения. На Арбате этот метод тоже мог бы быть применен, но он требует высокой квалификации рабочих, большой квалификации технического персонала и твердых навыков. Париж строит свой метрополитен уже 36 лет, — там эти навыки уже накоплены, канализация не препятствует такому методу работ, а у нас не было накоплено опыта работы, рабочая сила и инж.-техн. персонал с работой по метро сталкивался впервые, система московской канализации чинила добавочные большие затруднения. Пришлось бы переключать все подземные сооружения, а там, под Арбатом, расположен коллектор, несущий в день 2 млн. ведер сточной жидкости. Вопрос об увязке подземных сооружений с трассой метро вырос в очень серьезный вопрос. Если переключать подземные сооружения, значит, нужно соорудить новые, выключив старые. Это заняло бы не меньше года, потребовало бы больших денег и лишило бы целый район на долгое время ванн, уборных, газа, телефонов и т. д.

Опыт работы парижским способом, который до этого применили на Моховой, заставил отнестись к этому методу с большой осторожностью. Ведь на Моховой мы получили довольно много осадок зданий, улицу пришлось закрыть, канализацию выключить, трамвай снять и пр. Пройти парижским способом не рискнули. Об этом было доложено тов. Кагановичу. Он спросил: «Нельзя ли еще что-нибудь придумать?»

Целый ряд тогарищей предлагали опуститься глубоко вниз. Но опуститься глубоко вниз на Арбате нельзя, — там такое количество воды, что откачать ее невозможно никакими насосами; к тому

же и для эксплуатации метро это крайне невыгодно.

Тогда тов. Каганович поставил вопрос — нельзя ли обойти Арбат? Какая разница для пассажира метро — везут ли его под Арбатом, или под переулком, — его интересует лишь станция, место выхода на поверхность. Для Арбата был принят «обходный» вариант.

Только 3 января 1934 г. была утверждена окончательная, новая трасса этого направления. Поэтому многие шахтные вышки, которые были уже построены по первоначальному плану, не были использованы.

В итоге был окончательно принят следующий проект: от Сокольников до Митькинской ветки, там, где шахта № 29, оставить открытый способ работ. На шахте № 29 применить парижский способ работ. От начала 3-й дистанции до путепровода — открытый, или, как у нас принято называть, московский, способ работ. Участок от Каланчевской площади до шахты № 22-бис является переходным участком от мелкого заложения к глубокому заложению. Этот участок пересечет вышележащие водоносные слои и соединится с участком, который проходит в известняке и юрской глине. Он может быть пройден двумя способами: или сверху, кессонами, или щитом, с применением сжатого воздуха.

Кессоны применялись в России уже давно, — впервые они появились у нас больше 60 лет тому назад, и мы имеем много хороших специалистов этого дела. Любой инженер-путеец знаком с этим способом. Щитов же инженеры Метростроя боялись, — они не были знакомы с этим видом оружия подземной борьбы, не умели им владеть. Решено было на первых порах пройти кессоном.

Впоследствии был предложен другой способ проходки — сжатым воздухом, без щита, на деревянном креплении. Этот способ известен был лишь по литературным источникам, — так пробовали строить в Японии и еще кое-где. Однако хороших результатов на первых порах этот способ не давал. Воздух пробивался через поры пород, проходка шла очень медленно. Но, несмотря на это, данный

метод был запроектирован на Каланчевской площади и на Моховой улице, у шахты № 9-бис. Оба участка были в конечном итоге успешно пройдены этим способом, правда, не без затруднений. Начиная от Моховой улицы решено было применять парижский способ, от шахты № 7 на Воздвиженке — траншейный. Вся Остоженка пройдена открытым методом работ, Арбат — траншейным, московским.

Генеральный проект Метростроя непрерывно подвергался частичным изменениям на основе опыта, получаемого при прохождении шахт и штолен. В этом — основной недостаток проекта и одновременно основные его качества. Проект этот родила сама жизнь, и если на первых порах, да и впоследствии наблюдались серьезные расхождения между практикой и проектом, то это лишь делало опыт работников «Метропроекта» более ценным.

Если говорить об основных ошибках генерального проекта первой очереди, то нельзя не отметить, что в основу его своевременно не были положены экономические обоснования всего пассажирского оборота, а при составлении схемы не были в достаточной степени учтены эксплуатационные требования.

Взаимоотношения «Метропроекта» с производством не всегда были нормальными. Зачастую, в особенности в первое время, когда «Метропроект» не пользовался должным авторитетом, его проекты производством не выполнялись: производство поступало по-своему. Это отражалось на качестве работ точно так же, как и на проектировании, ибо это не давало возможности оценить положительные и отрицательные стороны проекта. В первое время инженеры «Метропроекта» посещали работы, но в дальнейшем связь нарушилась. Это привело к тому, что проекты выполнялись не так, как их проектировал «Метропроект».

Вскоре однако эта связь, под непосредственным давлением т. Кагановича, была восстановлена. Плохое качество проектов заключалось также и в том, что в них не учитывалась возможность дальнейшей механизации и рационализации работ. Все эти ошибки были

впоследствии исправлены на ходу и в последние месяцы строительства почти не ощущались.

Кроме дискуссий о глубине залегания тоннелей, в недрах Метростроя прошла еще одна важная дискуссия, которая так же, как и в первом случае, была разрешена авторитетным вмешательством партии.

В отношении расположения платформ существует два типа станции метрополитена; в последнее время появился третий.

Первый тип станции — с боковыми платформами, когда колея метро проходит посередине, а платформы расположены по бокам. В этом случае платформа обслуживает только одно направление. Пассажиры разных направлений стоят друг против друга на противоположных платформах.

Второй тип станции предусматривает расположение платформы посередине, обтекаемой путями с обеих сторон. Сама платформа этого типа образует по отношению к путям как бы остров, почему такие платформы и называются островными. Пассажиры для обоих направлений располагаются на одной и той же платформе.

Третий тип станции — комбинированный. Пассажиры при посадке находятся на отправной, центральной платформе, а выходят на боковые. Таким образом, третий тип платформы состоит из трех отдельных перронов: одного центрального и двух боковых. В настоящее время этот тип платформ применен только на афинском метрополитене.

Преимущества боковых платформ заключаются в том, что пути, подходя к станции, проходят мимо нее по прямому направлению, без каких-либо изгибов. Станция стоит дешевле, потому что не требуется установления раструбов, то есть разветвления путей для обходов платформы. Недостатком же этого типа станций является неполное использование платформ. Пассажирские потоки не всегда совпадают, — в один и тот же час может быть не одинаковое количество пассажиров в одном направлении. Далее, пассажир должен решать вопрос, в какую сторону он поедет, еще до спуска

на станцию, потому что в случае ошибки ему придется вернуться назад, чтобы попасть на противоположную платформу. И, наконец, боковые платформы уже и теснее островных.

Островная же станция полностью использует свойство платформы, предоставляя пассажиру полную свободу выбора направлений. В случае ошибки в выбранном им направлении он может легко пересесть при первой же остановке на встречный поезд, без всякой потери времени. Пассажир на островной платформе чувствует себя вообще лучше: он не жмется к стене, он имеет большую свободу передвижения.

На парижском метро применяются почти исключительно боковые платформы. Французская экспертиза советского проекта настаивала на желательности устройства боковых платформ, указывая, что островные платформы в Париже применяются только на конечных станциях.

Немцы, строившие раньше боковые платформы, впоследствии перешли исключительно к островным. В Нью-Йорке попадают платформы обоих типов.

Когда Московский комитет партии решил строить метро преимущественно методом глубокого заложения, сторонники боковых платформ временно восторжествовали. Однако, железная воля партии и в данном случае разбила вредное настроение, которым была охвачена часть инженерно-технического состава Метростроя. Островные платформы, при глубоком залегании тоннелей и дорожек, и технически значительно сложнее, чем боковые, — это верно. Но партия твердо решила строить лучший метрополитен в мире, и на путях к осуществлению этого решения были сметены все преграды. Советская промышленность получила срочные заказы на эскалаторы: вопрос о быстром спуске пассажиров в глубокие станции был, таким образом, разрешен, — партия еще раз восторжествовала.



Говоря о проектировании и строительстве метро, нельзя не подчеркнуть со

всей отчетливостью повседневное руководство МК партии и лично тов. Кагановича во всех этих работах. Буквально ни одного шага ни в проектировке, ни в сооружении тоннелей и станций не сделано было без их советов. Обсуждая те или иные варианты проекта, МК партии умел всегда подсказать верное решение, имея перед собой перспективу будущей Москвы — социалистической столицы мира, учитывающая соображения как технические, так и политические.

Метрополитен стал стержнем реконструирования пролетарской столицы. Он изменил ее лицо. Углубившись в недра Москвы, он обогатил рядом научных сокровищ археологию, геологию и палеонтологию. Он снес целые кварталы, заменив их зелеными насаждениями. Он воспитал громадный коллектив нового поколения завоевателей техники, на плечи которых история возложила задачу — превратить Москву в образцово-показательный центр будущего бесклассового общества.

Несколько лет тому назад в вагоне ленинградского экспресса, под'езжающего к Москве, я был случайным свидетелем замечательного диалога между иностранцем, впервые путешествующим по СССР, и москвичом — молодым советским архитектором.

Иностранец вез с собой из Детройта иллюстрированный путеводитель Москвы еще дореволюционного происхождения, изданный едва ли не в дни трехсотлетия злополучного дома Романовых. Иностранец был преподавателем социологии в какой-то высшей школе, он был романтиком и любезно разглядывал на грубо раскрашенных иллюстрациях старинного путеводителя золотые маковки московских церквей, умиляясь и приходя в восторг.

Молодой советский архитектор был большим патриотом Москвы, — он тоже умилялся и приходил в восторг, но несколько по-иному. Разговор этих двух совершенно разных людей заслуживает того, чтобы о нем вспоминать:

— Смотрите, — говорит иностранец, — какой изумительный уголок! Ду-

маю, что этой церкви не меньше трехсот-четырехсот лет...

— Уголок совершенно изумительный, — отвечал архитектор, — на фотографии даже трудно представить себе всю его прелесть. Церковь эту мы благополучно уже снесли, на ее месте построена фабрика-кухня. Этот старый дом слева тоже разобрали, здесь разбит сейчас сквер. Да, да, чудесный, изумительный уголок.

— Какой прекрасный изгиб реки, — продолжал иностранец, — на фоне старинных стен Кремля. Даже трудно поверить, что это фотография: кажется, будто это — фантастическая гравюра.

— Очень красивое место. — отвечал архитектор. — Этот мост придется снять и поставить другой: уровень Москва-реки в этом месте значительно подымется. Что касается кремлевской стены в этом месте, то ее тоже не будет видно: здесь на набережную будет выходить фасад нового жилого дома.

Так они беседовали до самого утра.

Высокопоставленный иностранец или просто состоятельный иностранный турист, уезжая из Москвы, конечно считает своим долгом посмотреть на колокольню Ивана Великого и сфотографироваться возле царь-колокола. Но в большинстве случаев гость отдает эту дань старой Москве лишь из уважения к оставшимся на родине своим престарелым родственникам, которые считают посещение Москвы без царь-колокола невыполнимым и безумным предприятием. И фотографии эти везутся куда-нибудь в Чикаго или Детройт точно так же, как мы, скучая, везем домой из Сочи кулек айвы, твердой, как дерево, или из Сухума — ветку магнолии, от которой в чемодане заводятся муравьи.

Культурного иностранца сейчас в гораздо большей степени интересует уже новый московский фольклор: завод «Шарикоподшипник» им. Кагановича, вновь посаженные многолетние липы, асфальтированная Таганская площадь или проект вестибюля метро у библиотеки им. Ленина.

Греческий писатель Глинос, недавно побывавший в красной столице, пишет в одной из афинских газет:

«Новый мир», № 1

«С тех пор, как существует история, столица выражает характер каждой страны. Глядя на Москву, можно увидеть очертания нового мира, который создается в Восточной Европе и Северной Азии Средневековый характер княжеской и боярской столицы уничтожается твердой рукой. За исключением Кремля и некоторых церквей и монументов, представляющих исторический интерес, на всем остальном лежит печать революции. Москва меняется до того быстро, что сами москвичи не узнают ее после шестимесячного отсутствия».

Внешние перемены, происшедшие за эти годы в Москве, интересуют иностранных наблюдателей не только с технической стороны: реконструкция Москвы — это политическая проблема, в ней наглядно демонстрируется торжество планового начала, новой культуры в строительстве городов, торжество социализма.

Больше зелени, больше воздуха, больше простора!

Пролетариат, победивший на территории шестой части мира, хочет жить так красиво, удобно и привольно, как не жила буржуазия в лучшие годы своей власти. Культура социализма несравненно возвышеннее, чем культура отходящей в область предания буржуазной цивилизации. Ни один мечтатель, ни один самый смелый утопист не мог и не может создать себе хотя бы приблизительного представления о том, как будет выглядеть Москва в недалеком будущем. Только проведение партии, переустраивающей мир, способно нарисовать себе такую величественную картину, включить ее в рамки строительного плана, подготовить ее осуществление.

Генрих Гейне, насмешливый изгнанник, скрывая жестокою тоску по родине, в своих стихах презирал и ненавидел родную Германию, причинившую ему столько зла. Он любил Францию, приютившую его, любил мировую столицу разума и культуры — Париж и между тем писал своей жене об этом самом Париже:

Верь мне, опаснее волка, веприцы,
Злее акул и всех чудищ морских
Звери Парижа, всемирной столицы,
В песнях и играх, и плясках своих.

Стендаль, тоже изгнанник, любил Милан, где по улицам бродила тень жен-

щины, образ которой преследовал его всю жизнь. Виктор Гюго, уже вернувшись после изгнания в Париж, тосковал по своему коттеджу на острове, затерянном в туманном море, ибо в комнатах этого коттеджа были созданы те первые литературные шедевры, которые доставили писателю признание на родине и мировую славу. Кроме банальных образов шовинистического патриотизма, история мировой литературы знает десятки примеров любви к городам, основанной на переживаниях чисто индивидуального порядка. Один и тот же город могут любить разные люди разных эпох и по причинам, не имеющим ничего общего. Полководцы и философы, писатели и монархи, поэты и авантюристы сохраняли на всю жизнь образ городов, улиц и даже отдельных домов, с которыми связаны были наиболее сильные и интимные переживания.

За последние годы появилось много патриотов Москвы. И эта любовь к новой столице мира носит совершенно иной характер. Мне пришлось наблюдать волнение челюскинцев, возвращавшихся дорогой ценой в красную столицу после девятимесячного пребывания в вечных льдах. Многие из этих людей никогда не бывали ни в старой, ни в новой Москве, но тем не менее с каждой минутой, с каждым километром, приближающим их к столице, они становились все более взволнованными.

Москва в наши дни — это не только город мавзолея и Красной площади, на которой погребены замечательные люди нашей эпохи, начиная от Джона Рида и кончая героями, проникшими впервые в историю человечества в отдаленнейшие слои стратосферы...

Москва — это образцово-показательный город, столица шестой части мира. Все, что есть наиболее замечательного, наиболее нового, наиболее сказочного в жизни страны, в которой на практике осуществляется переустройство мира, собрано в настоящее время в Москве.

Рядом с 10-этажным железобетонным домом, на фасаде трехэтажного старинного московского домика я видел недавно замазанный желтой штука-

туркой глиняный барельеф с надписью:

Кто не работает, тот не ест.

Этот лозунг, выполненный полугодным мастером в первомайские или октябрьские дни девятнадцатого года, выглядит сейчас необычайно трогательно. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как революция выбросила этот лозунг на улицу будущей своей столицы.

Революционная Москва имеет сейчас уже свою собственную историю. Для миллионов трудящихся нашей страны наивный барельеф на фасаде московского дома вызывает гораздо более волнующие воспоминания, чем, скажем, церковь Василия блаженного. Подняв над красной столицей потолок мира выше, чем он когда-либо был поднят людьми, углубившись в землю тоннелями лучшего в мире метрополитена, мы превратили Москву в столицу будущего, в прообраз новых необыкновенных городов, которые густой сетью покроют когда-нибудь преобразованное лицо земного шара.

Железная воля партии все эту годы руководила искусными руками конструкторов, архитекторов, арматурщиков, землекопов и каменщиков. Златоглавая Москва склонила свои купола перед могуществом людей новой эпохи. Белокаменная столица рабской Руси постепенно превращается в один из самых блестящих в мире городов, залитых светом электричества, тысячекратно отражающегося на полированном асфальте мостовых.

Москва с заколоченными ставнями, с вывороченными мостовыми, с зияющими дырами выбитых окон, с нетопленными, заплыванными помещениями, в которых ковалась революция, останется навсегда дорога нам, как чудесные воспоминания о славном прошлом, о смело начатых и выигранных боях.

Мы залечили свои раны, мы окрепли за эти годы. Жизнь идет вперед, жизнь становится легкой и прекрасной в шестой части мира, и это накладывает неизбежный отпечаток на сегодняшнее лицо пролетарской столицы.

Москва в прошлом, в настоящем и будущем становится постепенно единственным в своем роде центром, к которому направлены лучшие помыслы сознатель-

ной части человечества, мечты угнетенных всех стран, горделивая любовь многомиллионного коллектива строителей коммунистического общества.

3. ПО НЕПРОТОРЕННЫМ ДОРОГАМ

Б. Лавров

I

Далеко на север от мыса Челюскина, через широкий пролив Вилькицкого выдвинулся громадный остров Северная Земля. Он прорезан двумя широкими проливами — Шакальского и Красной Армии. Остров покрыт многочисленными довольно высокими ледниками. От них при таянии снега, весной и летом, сбегает большое количество горных речек и падают на ледяной припай айсберги. На запад от острова Октябрьской Революции лежат низменные острова архипелага Каменева. Ветры, несущиеся по Карскому морю или по морю Лаптевых, встречают здесь препятствия в своем свободном полете и отклоняются в сторону.

Все это говорит о громадном значении этого огромного безжизненного острова для плаванья кораблей в этих широтах. После его открытия у некоторых моряков существовало даже мнение, что возможность использования сквозного северного морского пути для нормального плаванья теперь исключена. Узкий пролив Вилькицкого, по их мнению, не может вскрываться ежегодно. Если же он и будет в иные годы вскрываться, то огромное количество льда Карского моря с запада и лед моря Лаптевых с востока будут всегда останавливать корабли на этом участке. Неудачный поход пароходов «Таймыр» и «Вайгач» в 1912—1914 годы как будто подтвердил эти мысли.

Остановленная льдами и ранними морозами в навигацию 1933 года, 1-я Ленская экспедиция отступила под их напором из пролива Вилькицкого на восток, к островам Самуила. Впереди лежала долгая зимовка в неисследованном месте. Естественно, что перед участ-

никами похода встал вопрос не только о благополучном возвращении из могучих льдов Полярного моря, но и вопрос о наиболее полном использовании зимовки для всестороннего изучения этих неизученных местностей. Экспедиция располагала метеорологическими приборами и небольшим учебным самолетом «У-2». Гидрологические приборы были привезены с зимовки мыса Челюскина, находящегося на расстоянии приблизительно 100 километров от трех зазимовавших пароходов Ленской экспедиции. Таким образом, вопрос возможности проникновения в тайны Арктики решался положительно. Все научные работы начались почти с первых дней останковки пароходов.

II

Самолет «У-2» мог поднять только двух человек и небольшой груз: пятидневный запас продовольствия, легкую палатку и различные запасные части для мотора на случай необходимого ремонта в пути. Начались полеты осенью, когда пролив Вилькицкого еще был открыт плавающими в разных направлениях льдами, и продолжались вплоть до полярной ночи. Первые же полеты показали, насколько необходима здесь точность при прокладке курса и насколько надо быть осмотрительным при полетах среди огромных молчаливых пространств с быстро меняющейся погодой и обманчивыми показателями при посадке и взлетах благодаря рефракции.

Иногда пролив Вилькицкого покрывался огромными торосами. Их сменяли большие плоские льдины с заторошенными краями, с узкими жилками воды между ними. Изменялся ветер — из-

менялась и ледовая обстановка пролива, почти неизменной оставалась лишь только стена льдов на западе от острова Гейберга и Фирлея по направлению к архипелагу Норденшельда и мысу Неупокоева на Северной Земле.

Наступившая полярная ночь прекратила наши полеты. Они стали совершенно бесцельными благодаря слабой видимости даже во время полной луны или полярного сияния. Только конец полярной ночи принес возобновление полетов. Температура в воздухе доходила до минус 44°, из-за чего полеты на нашем маленьком открытом самолете часто сопровождалась обмораживанием лица, рук или ног. Бакинский бензин кристаллизовался при этих низких температурах. Это дало нам первую вынужденную посадку на лед пролива Вилькицкого при полете к острову Малый Таймыр. Внезапная пурга и туманы заставляли не раз отклоняться от курса и делать посадки в очень тяжелых местах. Жестокими уроками мы пришли к заключению о невозможности бороться с этими частыми спутниками наших полетов. При встрече с ними мы немедленно шли на посадку и обычно, зарывшись в снег около нашего самолета, ожидали улучшения погоды.

Несмотря на все трудности, у нас накопился материал о движении льдов Полярного моря, накопился и опыт полетов в Арктике. Чем дальше мы входили в это изучение, тем глубже было желание дать законченную картину дрейфа льдов на возможно большем пространстве.

Риск при полетах в Арктике необходим. Конечно мы принимали все меры, чтобы свести этот риск к минимуму, но не учитывать его было бы невозможно. Мы его учитывали, и все же не раз попадали в тяжелые условия, но отступить было нельзя. Малый радиус самолета «У-2» нас скоро перестал удовлетворять. На этом радиусе было все изучено до мелочей. Пилот Линдель и борт-механик Игнатьев поставили добавочный бензиновый бак, который намного увеличил возможности наших полетов. Мы перешли к полетам на далекие расстояния. Были обследованы

острова и залив Фаддея, затем проследили всю кромку льдов до бухты Прончищевой на восточном берегу Таймырского полуострова. От бухты Прончищевой сделали полет на остров Бегичева и в бухту Нордвик.

Огромный Таймырский полуостров известен до сих пор только своей береговой чертой. Высокие горные хребты и сопки тянутся вдоль его берега, глубь Таймырского полуострова остается почти неизвестной. Мы сделали попытку проникнуть туда, но атака нашего самолета, со слабым стосильным мотором, была отбита сильным ветром, шедшим навстречу через горный хребет. Пришлось временно оставить эту попытку и вернуться к морю. На север мы довели наши самолеты почти до пролива Шакальского. Таким образом, весь восток Полярного моря, граничащий с Таймырским полуостровом и островом Большевик, был нами хорошо обследован в разные периоды времени, при разных метеорологических показателях. Все результаты обследования были точно нанесены на карту.

Логика работы толкала нас на обследование западной части Таймырского полуострова и всей Северной Земли. Первые полеты нам показали, что здесь дела с кромкой подвижного льда обстоит много хуже, чем на востоке. Нигде не было видно даже клочка открытой воды. Где-то далеко на горизонте, на северо-запад от мыса Неупокоева, маячило неопределенное водяное небо. Казалось, что архипелаг Норденшельда крепко запер ворота к сквозному северному морскому пути. Нам предстоял, повидимому, очень далекий полет. Дополнительно к авиабазе на мысе Челюскина мы создали небольшую авиабазу на запад от него, на мысе Могильном, около залива Дика.

Угрюмые и посеревшие два креста, окруженные цепями, стояли молчаливыми свидетелями давнишней арктической трагедии. Это были могилы штурмана и матроса, зимовавших здесь в 1915 году на пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Безжизненное молчаливое белое пространство кое-где прерывалось острыми выступами черных камней. Вдали вид-



Мыс Челюскина — Знак Амундсена

нелся характерный загиб залива Толля, за которым начинался лабиринт островов архипелага Норденшельда.

Эти кресты удивительно гармонировали с этим царством векового покоя. Даже привычное сердце неприятно сжимается при виде этих угрюмых напоминаний о будущей судьбе полярного исследователя в случае его какой-либо, даже и небольшой, ошибки.

В нашем плане следующим полетом стоял полет на Северную Землю, к островам архипелага Каменева. Учитывая полную скованность льдов всего района на запад от мыса Челюскина, мы предполагали, что, идя вдоль западных берегов Северной Земли, мы найдем кромку взломанного льда или даже чистой воды.

План был разработан, как всегда, очень детально. Были проложены курсы по всем возможным вариантам. Нас задерживала только погода. Дожди, туманы или пурга закрывали дорогу.

12 июня наступило прояснение. Солнце оживило безжизненную тундру и торосистые льды пролива Вилькицкого. Ярко выступала гора Аструпа — наш всегдашний маяк при полетах в этом

районе. Барометр обещал устойчивую погоду. Синоптик мыса Челюскина, тов. Рихтер, давал хороший прогноз. К вечеру, когда погода стала явно устойчивой, мы решили вылететь.

Началась обычная предполетная процедура.

— Контакт.

— Есть контакт.

Пропеллер нашего самолета «У-2», или, как мы его называли попросту, «Воробья», пришел в движение. Пробег по снегу — и мы оторвались, послав наклонном крыльях в обе стороны поочередно свой прощальный привет товарищам мыса Челюскина, где провели мы за время полярной зимы немало и хороших, и тяжелых моментов. Легли на курс к горе Герасимова около мыса Неупокоева. Под нами лежали то торосистые гряды льдов, идущие параллельно берегам, то растрескавшиеся и посиневшие от растаявшего снега ледяные поля. Шел заряд туманов. Самолет легко его прорезал, держа норд-вестовый курс. Скоро показались сероватые берега Северной Земли. Новый заряд тумана на время опять закрыл ее. Далекий горизонт, где предстояла наибо-

лее трудная ориентировка, оставался чистым. Смущаться наличием таких зарядов тумана — это значит навсегда отказаться от полета в Арктике. Слишком редко выпадают такие дни, когда бы на всем протяжении пути самолета одинаково сияло солнце, одинакова была бы видимость.

Мы прошли и этот заряд. Впереди совсем близко показалась черная гора Герасимова. Пролив Вилькицкого был пройден.

Взгляд на часы показал точность нашего полета в соответствии с высчитанным временем и направлением. Сзади осталась гора. Самолет шел по проливу Шакальского, запертому в крутых, отвесных берегах. Пролив покрыт ровным белым снеговым покровом. Нет и следа взламывания льда или даже поверхностного таяния. На западе начинает чуть виднеться водное небо. К нам приближалась кромка пловучих льдов. Очевидно, она шла большим изгибом, начинаясь где-нибудь около острова Крузенштерна и постепенно подходя к берегам Северной Земли.

Под нами прошла группа небольших островков. Мы подходим к бухте Снежной. Курс меняется в направлении к мысу Гамарника.

Нигде раньше в наших многочисленных полетах мы не встречали такой точной карты и таких естественных маяков, как при этом полете. Ледники высотой в 500 — 600 метров служили прекрасными вехами на нашем пути. Обнажившиеся отмели бухты Снежной и мыса Гамарника говорили сами за себя.

В воздухе мы уже 2 часа 20 минут. Вскоре под нами показался песчаный мыс Гамарника, его ледник. Дальше шел для нас прямой путь на архипелаг Каменева, на маленький остров Домашний, где стояла еще более маленькая одинокая избушка зимовщиков Северной Земли. Кромка подвижного льда нами нащупана совершенно определенно. Начиная с бухты Снежной, она начала прижиматься к берегам Северной Земли. От мыса Гамарника она была уже не более чем в 20—25 километрах.

После него она меняет свой курс, по-

ворачивая в направлении острова Самойловича. С высоты своих 1.000 метров мы видим вдали следующий мыс Кржижановского и около него большую полярную открытой воды. Мотор по-прежнему уверенно и ровно стучит. Приборы показывают нормальное давление, нормальную температуру масла, нормальную скорость. Нормально и количество оборотов винта. Все в порядке. Мыс Гамарника пройден. Надо ложиться на другой курс.

Но здесь, на этот раз обычная удача при полетах нам изменила. В ровный, ритмичный гул мотора ворвался шум, как бы от взрыва. Послышался свист пролетевших осколков, запах горящего масла. Прибор показал падение оборотов винта. Самолет начал терять высоту. Пилот выключил мотор. Авария несомненна. Надо прежде всего найти площадку для спуска. Выбирать в таких условиях долго не приходится. Мы снизились, самолет коснулся снега, вздрогнул и, сделав несколько прыжков, остановился, забившись лыжами в снег. Лопнул передний трос, соединяющий шасси самолета.

Мы вылезли из своих кабинок на белое снежное поле. Осмотр самолета ясно показал, что исправление мотора на этот раз для нас невозможно. На месте одного цилиндра, между первым и вторым ребром, зияло глубокое отверстие, как глубокая рана, откуда продолжали лететь брызги масла.

«Ну, вот теперь мы попались в лапы Арктики и попались основательно».

Вот была первая мысль, которая пришла в голову нам обоим после осмотра нашего мотора.

Действительно, мы попались основательно. Трудно было подыскать более удачное место в отрицательном смысле этого слова для аварии. Позади пространство свыше 300 километров. Там покрытый глубокими трещинами и поляньями пролив Вилькицкого, там же, может быть, в несколько лучшем состоянии, но все же в очень тяжелом, пролив Шакальского, покрытый сверху глубоким снегом. Впереди не менее 150 километров путаного извилистого пути, где берега Северной Земли сливаются с

морем под общим снежным покровом, где также уже все пространство полно воды и глубоких ледовых трещин. Надо пройти этот тяжелый путь и найти маленькую незаметную точку-зимовку, надежно упрятанную на каком-то низменном острове, названном, вероятно иронически, Домашним.

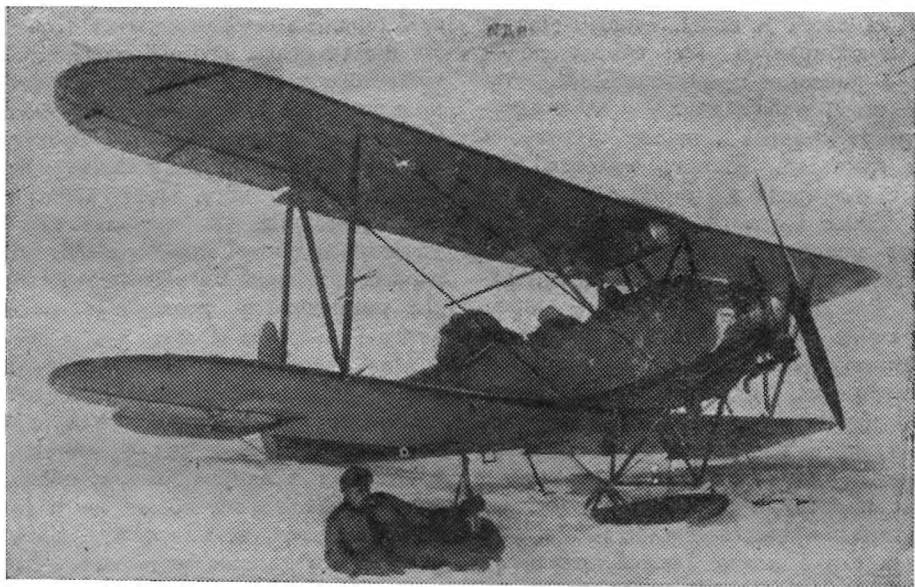
Если, как нас предупреждали, даже с аэроплана ее будет трудно найти, то еще труднее найти эту точку-зимовку среди этих сотен тысяч квадратных ки-

III

Самолет стоял беспомощным и неуклюжим, приподняв кверху свое хвостовое оперение и глубоко увязнув лыжами в топком снегу.

— Надо подумать о самолете, — решили мы.

— Нельзя ли его со льда подтянуть к песчаному берегу, который виден как будто невдалеке. Это сохранит его в случае подвижки льдов.



Самолет после аварии с вырытыми из-под снега лыжами

лометров белого безжизненного пространства. Продовольствия у нас на пять нормальных дней. На сколько времени хватит наших сапог и нашей одежды, которые по качеству мы давно отнесли, на основе практики, к «скоропортящимся продуктам»? Где взять сани, лыжи и вообще все то, что необходимо для такого трудного полярного путешествия?

В памяти невольно встают многие арктические путешествия моряков и полярников после гибели их судов. Много ли их кончилось благополучно? Немного, хотя многие из них и были снаряжены куда лучше, чем мы.

Мы откапываем лыжи самолета, делаем ему дорогу в снегу, чтобы он мог вылезти на поверхность. Отверстие на месте лопнувшего цилиндра затаили замшевой кожей.

— Контакт.

— Есть контакт.

Мотор заработал, самолет еще только ранен, но он еще жив. С помощью мотора, непрерывных толканий и под'емов то одного, то другого крыла удастся вытащить самолет из ямы. Взлететь невозможно. Мотор не дает нужного числа оборотов, топкий аэродром конечно также не для взлета. Пробуем превратить наш самолет в аэросани.

Он начинает скользить по поверхности снега, но через пять минут его лыжи снова уходят под снег. Он станвится в совсем необычайную позу. Далеко вверху находится его хвост. Всем мотором он глубоко увяз в снегу. Впечатление лошади, упавшей на-бегу мордой вниз. Технически это называется «полукапот».

Мы пробуем вдвоем поднять его голову из ямы. Это оказывается невозможным. Нет твердой опоры. Как только начинает развиваться наше напряжение, ноги постепенно уходят глубже в кисель из снега и воды. Новый метод: Линдель взбирается на самый конец хвоста в качестве противовеса. Я, утонув по пояс, найдя наконец себе твердую точку опоры, начинаю поднимать голову самолета. Маневр удается. Самолет становится в нормальное положение. Снова вытаптываем ему дорогу, заводим мотор и сверхчеловеческим напряжением вытаскиваем его на поверхность.

Эту сцену с полукапотом и нашим откапыванием мы повторяем бесчисленное количество раз, отвоевывая не более 25—30 метров за каждый прием. К концу второго дня наши силы иссякли. Постоянная напряженная работа почти по пояс в снегу и в воде основательно нас подорвала. Невозможность спасения самолета стала почти ясной. Разбили нашу легкую палатку около самолета, чтобы сделать себе передышку. Примус вскипятил нам чай. Несмотря на проделанную тяжелую работу, есть совсем не хочется. Хочется только пить крепкий, самый крепкий чай, курить и затем спать.

Погода окончательно испортилась. Поднялся сильный ветер с востока, и пошел снег. Температура — минус 5°. Последнее нас радует. Может быть, завтра снежная поверхность будет более скована этим небольшим морозом. Это даст возможность снова попытаться увести самолет.

Наша палатка, сделанная из случайного материала, всегда заставляла желать много лучшего. При ветре она не держит тепла, при дожде она промокает. В этих случаях бесполезно жечь при-

мус. Мы плотно закутались в наши летные шубы и заснули хоть ненадолго, но крепко. Проснулись от неприятного сюрприза. Мы лежим уже не на снегу, а на воде. Вода протекает снизу, с боков. Постланное снизу собачье одеяло почти покрыто водой. Если не встать, мы скоро примем холодную ванну. Лучше снова взяться за работу.

Снежная корка под влиянием небольшого мороза как будто лучше держит. Лыжи самолета снова откопаны. Мотор загудел. Самолет делает судорожное движение, пытаюсь выползти из глубокой ямы. То за одно, то за другое крыло вытаскиваем его из этого мокрого холодного месива. Наконец он снова на поверхности. Однако наше торжество было очень мимолетным. Самолет сделал два метра вперед и опять ушел глубоко в снег и воду. Повторяется прежняя процедура. В результате нашей упорной и настойчивой работы мы выиграли за день не больше километра. До намеченного мыса еще очень далеко.

На Севере расстояние чрезвычайно обманчиво. Сегодня предмет кажется очень близким; кажется, что надо проработать час-другой, и мы будем на месте. На самом деле результаты получаются другие. Желанный объект не только не приближается, а, напротив, как будто уходит все дальше и дальше. Так произошло у нас и с расстоянием до мыса Кржижановского.

Надежды на спасение самолета приходится оставить, и на этот раз окончательно. Мы молча смотрим друг на друга.

— Пора уходить. Самолет придется бросить. Если время позволит и мы будем живы, мы вернемся за ним, взяв на помощь еще двух человек.

Сегодня — 13 июня. Завтра нам надо проститься с самолетом и уходить, пока не поздно, если уже не поздно.

IV

14 июня. Погода очень скверная. Идет пурга. Довольно сильный норд-остовый ветер. Температура — минус 5. Поднялся после короткого сна. Мокрый снег

насквозь промочил палатку. Зажигать примус бесполезно. Линдель спит, уйдя с головой в свою собачью доху. Вчера он начал жаловаться на головную боль. Это вполне понятно. На зимовке все знают, что он прекрасно тренирован для полетов и в то же время никуда негодный ходок для дальних расстояний. Двухдневная напряженная работа, видимо, сказалась на нем.

Без дела скучно сидеть в промокшей палатке. Пассивное ожидание — это самое тяжелое в нашем положении. Но сейчас итти в далекий поход нельзя, так как погода совершенно не годится для путешествия.

За крутящейся снежной мглой скрылся песчаный мыс Кржижановского. Только напротив виден черный кругой берег. Я бужу Линделя. Мы уславливаемся, что я пойду на небольшую разведку к берегу в поисках более крепкого снега.

В глубоком, рыхлом снегу ноги проваливаются беспрепятственно. Надмороженная сверху корка не выдерживает тяжести человека. Ноги попадают на морскую лед, пройдя предварительно подснежную воду. Дорога очень тяжелая, берег приближается медленно. Несмотря на холодный ветер, стало жарко. Появляются колебания — стоит ли итти дальше? Повидимому, везде одинаково. Самолет постепенно превращается в небольшую точку, но он еще виден своей чернотой на белом пространстве. Чем дальше, тем хуже становится дорога. Сбегаяющие ручьи с высоких берегов насквозь пропитали снег. Показались небольшие озера с синеватой водой, сквозь которую местами отчетливо выделялся, разведенный водой, морской лед. Разведка кончена, пора возвращаться обратно. Теперь другая задача — найти маленькую точку самолета среди крутящейся снежной белизны. Эта задача — не из легких. Но опыт полярных походов на зимовке приходит на помощь. Направление ветра, иногда еще незаметные следы — все это дает возможность держаться правильного курса. Я подошел к самолету в состоянии крайней усталости и утомления, мокрый от подснежной воды. Лин-

дель вскипятил чай. Я рассказал о результатах разведки.

Надо держаться этого направления по морскому льду, не подходя к берегу.

Мысли идут в сторону оставленного мыса Челюскина и недостигнутой Северной Земли.

Теперь уже везде знают о нашей аварии. Над нами летят слова по радио, но ни поймать их, ни передать свои слова мы не можем. Положение не из приятных.

Все продовольствие нами взято на учет, все до мелочи. Мысленно мы жмем руку повару зимовки на мысе Челюскина, тов. Рулеву, который в последний момент перед полетом сунул нам в кабинку ковригу свежее испеченного хлеба. Началось обсуждение вопросов.

Первый вопрос. Ожидать ли нам помощи, выйдя на мыс Кржижановского, или итти самим до населенного места, до одной из зимовок?

Второй вопрос. Если выходить самим, то куда — на мыс Челюскина, или на Северную Землю?

Ожидание помощи со стороны нами решительно отвергается.

Мы — двое физические сильные люди, побывавших в арктических условиях, умеющих ориентироваться. Чего ради мы будем заставлять других рисковать собой из-за нас? Будем выходить самостоятельно.

Куда? На мыс Челюскина или на Северную Землю? Мыс Челюскина нам роднее и привычнее. Но этого конечно мало. Важным преимуществом маршрута на мыс Челюскина является еще и другое — невозможность сбиться с пути. Слишком хороши везде маяки, ледники острова Октябрьской Революции и острова Большевик. Через пролив Вилькицкого проходить будет трудно, но материк найти легче, чем остров Домашний в архипелаге Каменева. Минус этого направления — далекое расстояние. При необходимости огибать ледовые трещины и полыньи это даст нам путь не менее чем 300—350 километров. Продовольствия у нас оставалось уже меньше, чем на пять дней. Путь на мыс Челюскина для нас невозможен. Остается один выход — итти на зи-

мовку на островах архипелага Каменева. Решение по обоим вопросам принято.

Мы рассматриваем нашу полетную карту, прокладывая себе направление дороги и намечаем пункты предполагаемых остановок. Все вычислено, размерено и записано. Однако, конечно нам совершенно ясно, что не раз и не два нам придется менять наши курсы, так как впереди та же ледяная вода, тот же снег, те же трещины, как и в проливе Вилькиндского. Кромка подвижного льда в этом районе чрезвычайно близка.

— Наше положение, пожалуй, похуже челюскинцев, — резюмировал Линдель в результате обсуждения нашего похода и выявления наших ресурсов. — Те хоть по радио могли говорить, а у нас и этого нет.

— Но наше положение лучше, потому что нас только двое, и мы уже много ходили на своей зимовке по разным льдам во время ночи, пурги и туманов.

Положение совершенно ясное. Ожидать помощи мы не хотим, да это и бесполезно. Надо выходить самим.

К этим мыслям мы возвращались не раз. Наши друзья полярники помочь нам не могут. Собаки безусловно не пройдут по этой дороге. Вездеходы тоже. Самолетами они не располагают.

— Могут ли к нам прилететь самолеты из Москвы?

— Несомненно могут. Но это опасно и для них, и для нас. Посадка здесь невозможна.

— Нам не помогут, и сами погребутся, — констатирует Линдель. — Надо уходить, и как можно быстрее, чтобы предупредить посылку помощи самолетами.

Маршрут проложен. Средний проход в день по этим дорогам не будет превышать 10 километров. Следовательно, 15 дней пути нам гарантированы. К этому надо прибавить несколько дней страховых на случай вынужденных остановок. Мы знаем, что наше положение серьезное, но еще далеко не катастрофическое. С нашим запасом продовольствия мы продержимся 20 дней. У нас винтовка и наган. Начинаются сборы в дорогу. Надо взять все необ-

ходимое и ничего лишнего. Надо сделать сани или подобие саней, чтобы облегчить себе часть пути.

Самолет можно немного разрушить, не приводя его в негодность. Для саней мы взяли верхнюю крышку фюзеляжа. С сиденья сняли подушку и вырвали оттуда фанерный лист. Согнутый и подтянутый проволокой к концу крышки фюзеляжа, он дал ей некоторый вид лодки с широким носом. Получились не сани для полярного путешествия, но довольно неудобная и неходкая волокуша. Груз все-таки на нее положить можно. Спичек у нас не очень много, поэтому надо снять с самолета пусковое магнето. Сняли и масляный бак, чтобы налить его бензином на время пути.

Итак, наш груз: сани, продовольствие, оружие, бензин, теплая одежда, палатка, компас и примус. Номенклатура вполне приличная для похода, но качество и количество всего нашего багажа все-таки оставляет желать много лучшего.

Общий груз получился немаленький, особенно для той дороги, которая нам предстояла. Несомненно часть его придется бросить в пути, особенно когда наши сани развалятся.

Мы были готовы к своему далекому путешествию по намеченному маршруту. Пора снимать палатку. Мы в последний раз забрались в нее, чтобы сделать «закурку». Палатка промокла и сверху, и снизу.

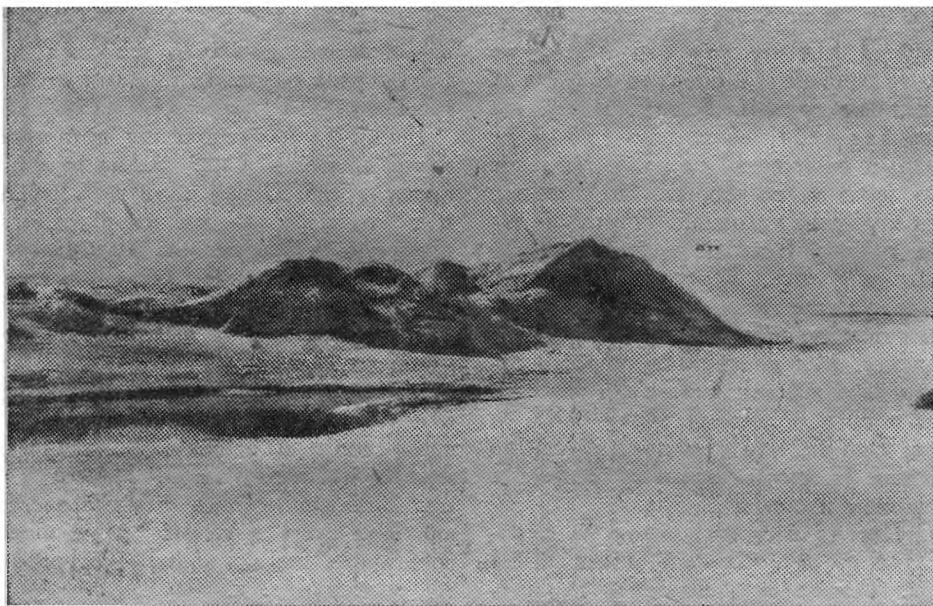
Жаль было оставлять самолет. С ним связано столько боевых хороших настроений. Оставляя его, мы отрывались от чего-то близкого. Может быть, здесь еще играло роль какое-то подсознательное чувство, что он, самолет, — последняя нить, которая связывает нас с людьми. Уходя от него, мы должны попасть в объятия тяжелой арктической обстановки, где нет жизни, где человек еще далеко не царь природы. Небольшими человеческими шагами мы должны покрыть громадное пространство и не допустить ни одной ошибки, так как каждая из них может быть роковой.

Перед самым отходом написали записку с изложением истории нашей аварии и указанием маршрута, которым мы

предполагаем идти. Мы обещали в этой записке товарищам, если они и придут нас искать, что на каждой остановке мы будем оставлять такие же записки с изложением дальнейших наших маршрутов. В заключение подтвердили, что «продовольствия имеем на пять дней, физически, морально здоровы». Наша записка положена в обычный полярный «конверт» — консервную банку и оставлена на видном месте, на самолете.

руясь компасным курсом и ветром. Надо было пройти первые 10 километров до остановки на намеченных песках.

Чем дальше мы отходим, тем тяжелее становится дорога. Повидимому, ледники Северной Земли уже дали много прибрежной воды. Ноги преодолевают двойное препятствие — корку снега, затем корку льда над пресной водой — и наконец упираются в твердый морской лед. Наши импровизированные сани



Торосы и польньи около Северной Земли

Надо уходить. Прощай, наш славный самолет, «Воробей», заболевший в самом невыгодном для нас месте. На плечи накинута веревочные ляжки, еще раз последний привет самолету, и мы тронулись в путь.

V

15 июня. Неприветливо встретила погода наше выступление. Поземка усиливалась. Пески Кржижановского и даже близкий крутой берег скрылись из виду. Ноги непрестанно вязнут в глубоком снегу. Шаг за шагом мы продолжаем идти к намеченной цели, ориенти-

стали нестерпимо тяжелы. Получалось впечатление, что точно кто-то невидимый нами иногда схватывает их крепкой рукой и задерживает ход. Мы останавливаемся для их осмотра. Оказалось, что тонкая, двухмиллиметровая фанера на задней части саней уже протерлась. В отверстие набился лед и тормозил весь ход. Наскоро произвели починку и бросили часть груза на льду, двинувшись дальше к намеченной цели. Прошли камни-валуны — результат морского приобоя — и вышли на пески.

Мы знали, что путь будет тяжел. Но все-таки всей тяжести его мы тогда еще не предвидели.

После утомительной трехдневной работы в снегу и воде берег показался нам чрезвычайно уютным и привлекательным. Под ногами твердая и почти сухая почва. Пески кое-где покрыты моховым покровом. Перелетают и кричат темносерые кулички. Чайки пролетают над нами и как бы в недоумении делают несколько кругов около живых людей, вероятно ранее не виданных ими. Вдали видна гуляющая пара гусей.

После вязкого мокрого снега, после безмолвия снежной равнины — такая жизнь! Линдель начал ставить палатку, выбрав для нее почти совсем сухое место. Я отправился обратно в снега за оставленным грузом. В эту ночь мы чувствовали себя прекрасно по двум причинам: во-первых, сделано неплохое начало пути и, во-вторых, мы сегодня спим в хороших условиях. Питались мы крайне скудно. Есть не хотелось, больше хотелось пить. Вероятно это было результатом естественного в нашем положении нервного напряжения.

16 июня. Мы проснулись хорошо отдохнувшими, выпили чай, с'ели по три галеты и по небольшому куску хлеба с маслом. Это то, что нам полагалось по раскладке. Немного времени потеряли за курением и затем выбрались из палатки. Погода сегодня довольно хорошая. Дождя нет. Слабый меняющийся ветерок. Температура вероятно держится около нуля. Термометра у нас, к сожалению, теперь нет.

За песчаным берегом мыса Кржижановского видно большое пространство чистой воды, дальше за ним опять льды, сначала ровные, затем торосистые. Там должна проходить кромка подвижного льда, которую мы искали с самолета. Теперь будем видеть ее во время своего пешеходного путешествия.

Чудесный вид представляет собой ледник. Одна часть его уже освободилась от снега. Черное пространство уходит наклонно, несколько вглубь горы, образуя как бы театральную сцену. Снег, висящий на вершине ледника, образовал над ней замечательный занавес. Мы — маленькие миниатюрные фигурки перед этим ледником. Около него образовались небольшие озера, запол-

ненные совершенно красной водой. Это сделала почва мыса Кржижановского. Ближе к морю есть моховой покров. Кое-где торчат головки цветов. Это полярные маки, которые не теряют времени для своего цветения и созревания. Посередине довольно большое и, видимо, глубокое озеро. Несомненно, оно непостоянного характера и является глубоким только в период таяния снегов. В северной части мыса лежит большое высохшее русло реки. Сейчас только небольшая часть его, с одного боку, наполнена водой, но когда-то здесь была, повидимому, довольно широкая и глубокая река, питаемая снегами этого ледника.

Наши сани бесполезны при переходе через этот мыс. Снег только местами покрывает его. Берем груз себе на плечи и в два перехода мы перебираемся на северную часть песков. Разбиваем там палатку в высохшем русле реки. Здесь будет наша ночевка. Завтра мы пойдем уже по снегам и льдам Полярного моря.

После краткого отдыха пошли искать плавник для костра, чтобы просушить свои сапоги и одежду. Плавник надо искать на берегу моря. Подошли к нему. Вдали виднелись темные очертания какой-то суши в самых разнообразных сочетаниях снега и воды, — острова, бухты, мыски и т. д.

— Что это за острова? Неужели уже отсюда виден архипелаг Каменева? Так близко...

Беру их направление по компасу и сверяю по карте. Склонение здесь очень большое — 32 градуса 30 минут. Компас не решает загадку. Эти видимые острова не совсем на том курсе, как это показывает карта. Но разница очень небольшая. Наш компас не выверен. Едва ли можно рассчитывать, что здесь, именно в этой точке, где мы сейчас стоим, правильно и склонение, указанное у острова Каменева. Но если это не архипелаг, то откуда же взялась эта суша, которую на карте мы нигде не видим на этом месте? Линдель твердо уверен, что это архипелаг. Он очень бурно реагирует на это.

— Три перехода, и мы будем там.

Он еще не отказался от суждений, привычных при полете на аэроплане. Север так часто обманывает расстояниями, что здесь нельзя верить ни своим, ни чужим глазам. Если видимые пятна суши и архипелаг Каменева, то до него еще очень далеко.

Нас привлекают две черных точки, лежащие не очень далеко от мыса. Они ярко виднеются на всем фоне.

— А вдруг это собачьи нарты с зимовки Северной Земли, вышедшие нам на помощь?

Как ни доказывает нам разум, что на помощь нам рассчитывать нельзя, но в глубине души все-таки живет маленькая затаенная надежда. Мы долгое время смотрим на эти черные точки.

— Нет, они что-то не движутся.

— Может быть, отдыхают.

Мы пошли дальше в поисках плавника. Нашли два прекрасных строевых бревна с архангельскими метками. Они плавали, повидимому, очень недолго. Это послала, несомненно, зимовка с Северной Земли в период своего строительства. Однако мы предпочли бы их видеть гораздо более тонкими. Среди нашего груза нет ни топора, ни пилы. Без них это богатство не по нашим силам. Другого плавника нет.

Пора уходить в нашу палатку для отдыха. Черные точки оставались на месте. Несомненно, это не нарты. Надо раз навсегда выбросить мысль о возможности посторонней помощи. Она демобилизует. Завтра в путь без всяких иллюзий и колебаний.

17 июня. Черные точки «нарты» остаются на своем месте. Мы смеемся над своими иллюзиями. Больше они деморализовать нас не будут. Путь непроходим для собак.

Сегодня яркий солнечный день. Вся снежная равнина блесит. От нее идуз заметные струйки в воздухе. Рефракция изумительная. Небольшие торосы кажутся огромными айсбергами. При продолжительном наблюдении за ними они начинают как бы двигаться. Огромный ледник, который по карте стоит далеко за проливом Сталина, появляется совсем близко. При этой рефракции еще более соблазнительными нам ка-

жутся близкие пятна суши, лежащие на норд-весте от нас. Мы еще живем надеждой, что это архипелаг Каменева. Это по прямой линии совсем недалеко от нас.

Может быть, это крайний, так называемый Восточный, остров? От него не так далеко и зимовка.

Главная задача — найти этот скрывающийся от нас остров Каменева. Надо попробовать идти прямым путем, перерезая снежную равнину ближе к плувучим льдам.

В отмену своего маршрута, указанно-го в первой записке, оставленной около самолета, мы сообщаем на этой ночевке, что взяли курс на видимый конечный остров.

Осмотрели сани. Они произвели грустное впечатление. Не им выдержать этот путь. Количество груза нужно убавить, если мы хотим дойти с ним хотя бы до островов. Мы бросаем промокшее собачье одеяло, одну паяльную лампу и ряд других нужных вещей. Но выбора нет. Осмотр сапог показал, что кожаные сапоги еще могут держаться, меховые же, летные, для похода уже не годны. Голенища перетерлись о жесткую снеговую кромку во время нашей двухдневной работы над спасанием самолета.

Они размокли и стали скользкими на-ощупь. Тащить такую тяжесть нет смысла. Мы производим с ними нужную операцию. Голенища отрезаны, остались одни опорки. Они высохнут и будут служить нам «спальными туфлями». Основательно ремонтируем сани.

С облегченным грузом мы спускаемся на снег, держа курс на далекие черные пятна. На линии нашего похода лежат «нарты».

Рыхлый снег и вода. Сначала это не так тяжело.

«Нарты» начинают шевелиться. Это действительно живые существа. Поднимаются две черных головы. Внимательно смотрят по направлению к нам. Еще момент, и они скользнули головой вниз, скрывшись подо льдом. Это были нерпы. Мы констатируем факт их наличия с большим удовлетворением. В случае крайности есть возможность дер-



Остановка около морского знака архипелага Каменева

жаться охотой, но сейчас нам не до нее. Мы не можем терять ни одного дня. Можно ожидать очень быстрого и внезапного взламывания ледяного покрова.

Дорога между тем становится все хуже и хуже. Чем дальше мы уходим в море, тем глубже ноги наши уходят в снег, смешанный с водой. Начинается какое-то глубокое болото, наполненное ледяной кашей. Мы долго месим эту смесь снега и воды, надеясь выбиться на более мелкое место. Скоро вода уже дошла почти до пояса. Итти дальше нельзя. За торосами впереди синее еще большее пространство, залитое водой, прерываемое снежными грядами. Надо избрать другой курс. По пояс в воде долго не протянешь.

Так обманула нас прямая линия. Мы сделали большой зигзаг по трудной дороге. Однако конечно нельзя

сказать, насколько была бы легче на этом участке дорога ближе к берегам. Сегодня мы получили урок, из которого следует вывод — не все прямые пути самые короткие.

Намеченное темное пятно не только стало ближе, но, казалось, ушло от нас еще дальше. Пора делать остановку. Однако остановка на снежной воде совсем не привлекательна. Мы выходим после длительной работы на низкий песчаный берег, оставив в стороне ледник Кржижановского.

Режим поворотом к востоку уходит этот горный ледник от моря. С северной стороны на него смотрит такой же седой великан. Дальше, вглубь острова, видны небольшие сопки, покрытые снегом. Они образуют ущелье, через которое несет ветер, туман, снег, в зависимости от настроения суровой Северной Земли.

Все это дает величественную прекрасную панораму дикого, необжитого места, цельную в своем нетронутым мертвом покое. Не нарушает этого мертвого покоя и присутствие двух людей. Молчание нас покоряет. Каждый шум кажется здесь дисгармонией. Мы перекидываемся только короткими нужными фразами. Палатка разбита на сухом песке, около небольшого пресного озера. С наслаждением освобождаются ноги от намоченных сапог, все остальное должно просохнуть на нас. Линдель пробует из винтовки подстрелить куличка. После выстрела на месте остаются клочки мяса и перьев. Не стоило терять патронов и губить птицу, которой здесь так мало. Это для нас не дичь. Дробовика же у нас нет. Теперь он нам очень пригодился бы. Многого нам недостает. Но самолет «У-2» только маленький учебный самолет, на который нельзя дать все необходимое на случай такого вынужденного арктического путешествия.

18 июня. 4-часовой отдых, горячий чай с галетами и немного шоколада вполне восстановили наши силы. Сегодня наш маршрут проложен по компасному курсу на норд. Склонение места нашей ночевки конечно неопределенно. Мы руководствуемся только склонения-

ми, указанными на карте для острова Каменева. Этот курс взят условно. Трещины, полыньи, торосы нас заставят не раз менять его. Нам важно перерезать залив Сталина и выйти на его северный берег.

Низкий песчаный берег местами обнажен от снега. Эти места издали кажутся островами. Это делает линию береговых очертаний совершенно не похожей на то, как она нанесена на карте. Дорога попрежнему тяжелая, с тем же глубоким снегом и подснежной водой. Но около берега прибавились еще многочисленные глубокие трещины. Сверху они запорошены снегом. Только иногда узенькая впадина показывает их наличие. Но и это еще далеко не точный показатель. На самом деле трещины гораздо шире, чем показывает эта впадина. То один, то другой из нас попадает в эти капканы, глубоко уходя в «гости к нерпам». С проклятием вылезаем из них, чтобы вскоре опять попасть в эту же западню. Лучше уйти в море, ближе к плавающим льдам. Там трещины, по крайней мере, отлично видны.

Мы идем теперь гораздо увереннее и легче. Уже выработался шаг, привыкли к определенному напряжению мускулы, и не так режет плечо веревочная лямка. Береговые пятна начинают отклоняться на норд-норд-ост. Это значит, что мы проходим залив Сталина. Низкие отдельные островки, прерываемые белыми низменными пространствами, создают впечатление новых бухт, проливов и непонятных возвышенностей.

Мы внимательно опять рассматриваем карту, затем со всем напряжением глаз стараемся уловить непрерывность противоположной береговой линии, чтобы взять правильный курс на пересечение залива. Но это решительно невозможно. Рефракция не позволяет иметь правильное суждение о расстоянии. Наши глаза уже начали испытывать первое влияние солнечных лучей. Появилась резь. Зрение несколько затуманено. В конце-концов мы сходимся во мнении — та точка наверное конечный пункт залива Сталина. Пошли наперерез. И на этот раз путь не оправдал себя. Глу-

бина воды быстро возрастала. Наши ноги уходили все глубже и глубже в снег и воду. Больше того: вода дает первые признаки солёности. Где-то среди этого водного пространства близко большая полынья морской воды. Перспективы купания в море нас совсем не привлекают. Наш курс меняется — ближе к берегам, в обход этой полыньи, туда, где больше лежит снега. Но и здесь дорога исключительно трудна. Мы еще нигде на пройденном пути не встречали такого глубокого снега, с такой упорной, двойной ледяной коркой, которая одна за другой ломается под ногами, а затем усиленно задерживает ноги внизу. Продвижение становится крайне медленным. Приходится останавливаться все чаще и чаще. Работа становится непроизводительной. Сегодняшний день мы, как загнанные лошади, можем работать только рывками.

Погода в это время окончательно испортилась. Из горного широкого ущелья на нас подул сильный холодный ветер с мокрым снегом. Вершины ледника исчезли в тумане. Дальше идти сегодня бесполезно. Надо беречь силы, впереди еще бо́льшая часть пути.

Где поставить палатку? Это серьезный вопрос, — кругом снег и вода.

— Пока спишь — провалишься на глубину могилы, — иронизируют шутиво наши языки.

Но в душе нет этого шутливости настроения. Каждый переход ставит нам все больше и больше препятствий. Однако ясно, что от паники мы так же далеки, как всегда были далеки во время наших полетов и наших зимовочных приключений. Есть только естественное физическое утомление сегодняшнего дня, но не истощение и тем более не моральное разложение. Но спать сегодня, очевидно, не придется. Мы можем только вскипятить чай в наскоро поставленной палатке. Вода быстро набегаёт в нее по мере углубления снега под нашей тяжестью. Из отколотой льдины сделали себе стулья, чтобы не сидеть в воде. Горячий чай нас хорошо согрел. Мокрые одежды снимать бесполезно. Палатка намочила и сверху. Через полотнище на нас уже падают не-

большие капли. Мы закуриваем трубки, наслаждаясь наступившим отдыхом.

— Интересно — ищут нас или еще нет? — загадывает Линдель.

— Лучше бы не искали. Потом нам же придется искать искателей. Для самолета здесь прямая провокация. Собаки завязнут и не вылезут.

— Да и мне, — отвечает Линдель, — что-то не хочется, чтобы нас искали. Раз пошли, значит, пошли.

Клубы дыма, приятная горечь табаку придают нашей беседе спокойный домашний характер.

— А если бы на Северной Земле был Сергей Журавлев, дошел бы он до нас, или нет?

— Нет. Собак бы перебил, но не дошел, либо дошел бы, но тоже пешком.

Странно, мы устали, но спать не хочется. Я записываю в свой дневник пройденный путь. Наши мысли уходят в «страну воспоминаний»: Ленский поход, отрыв от семей, зимовка, наши полеты... И мы снова подходим к разговору о нашей аварии. Еще слишком свежа рана, чтобы ей не болеть.

Но пора опять надевать ляжки. Тепло, принесенное горячим чаем, давно исчезло. В палатке нестерпимо сыро. Мокрая одежда неприятно холодит все тело. Дорога нас согреет. Надо выбиться этим переходом хотя бы на большой торос, где не будет воды, или на один из бесчисленных островков, видимых на далеком горизонте, если только это острова.

Наши сани уже дали трещину. Нижние тюки подмокают. Будет ли где-нибудь легче дорога? Или все 150 километров нам надо пройти через эти снега, полыньи, трещины? Вероятно так. Только самым большим напряжением всех своих пяти чувств и физических сил мы сможем выбраться из этой ловушки.

На нашем пути стоит ряд больших торосов, разбросанных отдельными кучками. Они уже подтаяли и поэтому дают самые причудливые очертания. Зеленоватый, иногда голубой, лед красиво блестит при свете. В одном из торосов видна большая пещера. Возможно, что

здесь провела полярную ночь медведица и в марте ушла отсюда со своим маленьким медвежонком. Дорога около торосов очень тяжелая. Пурги и поземки намели здесь огромные сугробы снега. Они теперь уже рыхлые. Мы вынуждены часто останавливаться, чтобы, освободившись от лямок, вытоптать себе дальнейшую дорогу или сделать небольшую передышку. Под снегом попрежнему вода. Ночевать здесь также нельзя. Надо все-таки выбиться на остров. Ветер с норд-оста — не больше четырех метров в секунду. Температура, вероятно, около минус 1—2°.

Кромка подвижных льдов поворачивает на запад. Повидимому, там, где мы проходим, нет никаких течений, или они очень слабы. Лед раз'еден в самых разнообразных местах, и большей частью в этих местах виднеются круглые полыньи.

Секундомер показывает, что мы не проходим и километра в час, несмотря на самую напряженную работу. Обычная картина для Арктики — много тратится усилий и очень мало результатов.

— Давайте сделаем закурку, — предлагает мысль Линдель. — По советским законам это на производстве разрешается.

Действительно пора сделать передышку. Намеченный островишко как будто стал ближе. Без сна и почти без пищи мы идем уже больше 15 часов. Тяжелый переход. Место исключительное по своей безжизненности. Нет даже чаек, которые раньше изредка проносились зад нами. Гармония Севера — молчание и неподвижность. Естественно, что мы своим движением нарушаем эту гармонию. Все дисгармоничное, по законам природы, должно быть уничтожено. Молчаливыми Север нас уже сделал. Мы разговариваем очень мало. Но до неподвижности нам еще очень далеко, если мы не попадем в западную полынь и трещин.

Трубка догорела, пора в дорогу. Еще три часа, и мы пробьем себе дорогу до островков. Делаем круги, обходим полыньи, палками от палатки ощупываем сомнительные места, перелезаем через

груды снега около торосов, через прибрежные трещины и наконец с чувством опромного облегчения сбрасываем лямки, выйдя на сырой вязкий берег небольшого острова.

Плохой выбор для ночевки. Нет ни одного сухого места. Под верхним слоем грязи сразу начинается вечная мерзлота. Ножами мы долбили твердую почву, чтобы вставить туда палки для палатки. Скорее на отдых, с'есть свои походные пайки и заснуть, отдавшись радости давно заработанного сна. В пути мы пробыли около 15 часов. Как ограничены теперь наши потребности и как малы теперь наши претензии к «бытовым условиям».

Сегодня мы, повидимому, переутомлены. Надо спать, но спать еще не хочется.

— Который час?

— 10 часов.

Но 10 часов утра или вечера — это мы сказать не можем. Мы живем сейчас в стране вечного дня и вечного света. В солнечные дни нам легко ориентироваться во времени. Компас и солнце дают безошибочный ответ. Сегодня нет солнца. Нас окутала густая промозглая серая сырость. Только путем восстановления в памяти, когда, утром или вечером, мы вышли из предыдущей остановки, у нас складывается убеждение, что сейчас утро.

— А число?

Это я устанавливаю по своему дневнику. Сегодня 19 июня, 10 часов утра.

Все-таки не спится. Нас обоих беспокоит одна мысль. Архипелаг виден вдаль, или это береговая линия, — изгиб залива Сталина, или это что-нибудь еще другое? Насколько точна карта? Насколько правильно отображение береговой линии на нашей карте — при ее маленьком масштабе?

С самолета так легко во всем ориентироваться. Там земля лежит внизу, как карта крупного масштаба. Карта на самолете повторяет ее в меньшем масштабе и позволяет наносить уходящие гочки в путевую книгу. Теперь все изменилось. Горизонт видимости ничтожен. Незаметные или ничего не значащие ранее изгибы берега теперь пре-

вратились в трудно проходимые пространства.

Так вероятно чувствует себя птица с переломанными крыльями.

— Если это архипелаг, то это для нас чересчур короткий путь. Если же это северная точка залива Сталина, то, значит, мы идем очень, очень медленно.

— Завтра увидим. Пора спать.

На этот раз мы действительно засыпаем. Спим крепким, здоровым сном. Собачья шуба и оленья доха отлично защищают нас от холода и сырости. Холод идет только снизу, от нашей не в меру мягкой постели — сырой глины. Но к этому можно приспособиться.

19 июня. 6 часов вечера.

Силы прекрасно восстановлены. Погода на-редкость хорошая. Совершенно не северная. Солнце сияет настолько теплое, что не хочется шевелиться под его лучами. Сброшены все мокрые части костюма. Они прекрасно прожарятся на солнце до нашего отхода. Выпукло выступили все вчерашние точки. Но картина теперь совсем другая. Черных точек стало гораздо больше. Они снова изменили перспективу. То ли это острова, то ли оттаявший берег. Там образовалось что-то вроде новой бухты, в другом месте как будто полуостров... Неужели Парижская Коммуна? В таком случае вчерашний черный мысок несомненно архипелаг Каменева.

Ничего нельзя разобрать на этом расстоянии. Мы намечаем новую линию пересечения, быстро свертываем палатку, тюкуем в привычные свертки грузы и надеваем свои лямки.

Сани сильно сдали. Они уже протерлись в двух местах.

— Лишь бы хватило их до архипелага.

Снег и вода сразу становятся глубокими. Но нам отступать уже некуда. Ближе к берегам — горная речка. Там наверное размыт даже морской лед. Итак, вперед. Переход, как бы он ни был тяжел и опасен, совершенно неизбежен. Жарко. Мы идем в одних рубашках, опять утонув почти по пояс в снегу и воде. Делаем зигзаги, обходя особенно подозрительные места. Под

ногами неровное дно. Повидимому, залив замерзал очень беспокойно. Отсюда и глубокие места и возвышенности.

Солнце интенсивно греет. Слышится журчание невидимых ручейков растаявшего снега. Ущелье и горы на север от нас сверкают белоснежными шапками вершин. Глаза неприятно туманятся. Опять начинается небольшая резь. Надетые очки не предохраняют глаз. Они совершенно и по качеству, и по форме не подходят для полярных путешествий. Пролить все-таки надо перейти. Путь становится несколько легче. Мельче становится вода. Сверху лежит совсем тонкий слой снега, через который ноги проходят в воду почти без задержки. Однако наши сани скользят по снежной пленке, без больших провалов. Подмокают только нижние грузы, но это не опасно. Все, что боится воды, нами предусмотрительно положено сверху.

Берег кажется совсем близким. Нам понадобилось однако еще пять часов, чтобы сделать этот переход. Между тем все это расстояние едва ли больше 3—4 километров. Но все-таки цель достигнута. Это значит, пройдено одно из наиболее серьезных мест. Скоро разрешится загадка, где лежит архипелаг Каменева.

По выработанному плану сейчас время отдыха. Солнце высушило для нас хорошую площадку. Оно продолжает греть так же сильно, как и вначале. Можно просушить вещи.

Установка палатки и на этот раз отняла у нас много времени. Под сухим моховым покровом опять сразу началась вечная мерзлота. Палки не идут в нее. Опять ножами долбим землю. Наконец все готово. С торжеством мы идем в наш «уютный дом». Быстро сбрасываю всю мокрую одежду и отдаю ее в распоряжение солнца. Примус шипит, согревая еще больше палатку. Сегодня у нас праздник. По расписанию мы варим сегодня банку консервов и выпьем шоколад. Сразу два блюда.

Наши сани настолько сдали, что требуют капитального ремонта или облегчения груза. Но что можно еще бросить? Продовольствие? Нельзя. С ним мы еще продержимся около 10 дней.

На меньший срок пути мы не имеем права и рассчитывать. Одежду, бензин? Невозможно. Груза у нас в обрез. Только на архипелаге мы можем решиться на эту крайнюю меру. Сейчас же, как бы ни было нам тяжело, но весь этот груз нам нужен. Постараемся укрепить сани остатками фанеры и проволоки. На больные места будем класть только легкие предметы.

В крайнем случае расколем сани вдоль начинающейся трещины и сделаем двое саней. Но груз должен быть с нами.

В палатку к нам пришел первый визитер Северной Земли — серенький леминг. Его мордочка, похожая на мордочку морской свинки, поднята кверху. В черных глазах любопытство и страх, нос тревожно нюхает незнакомые, но, вероятно, вкусные запахи.

Мы лежим не шевелясь, боясь спугнуть своего посетителя. Леминг взобрался на мешок с продовольствием, погрыз его — не понравилось. Спустился ниже к остаткам нашего обеда и вдруг исчез под слоем наших шуб. Все наши поиски оказались напрасны. Очевидно в конце-концов страх пересилил любопытство. Он проскочил под шубой — в боковой стенкой палатки вышел на волю.

20 июня. Прошло уже 8 дней, как мы исчезли из мира живых людей и ушли довольно далеко от места аварии. Но где мы находимся — этого сказать нельзя. Все наше воображение бессильно, чтобы разгадать эту загадку.

Линдель возится со своей записной книжкой и внимательно читает какой-то листок:

— Что, Линдель, почта пришла?

— Нет, это Рузов стихи написал и дал мне.

Для нас это развлечение теперь очень хорошо. Мы начинаем разбирать найденные отсыревшие листки. Определенно стихи. Это оказался «Гимн Арктике» — марш, сочиненный начальником мыса Челюскина тов. Рузовым.

В Арктике дальней,
За кругом полярным,
Где льдами покрыт океан,
Мы в жизни проводим упорно, ударно
Великий арктический план.

За директивы Сталина
Освоить сев-морпуть!..
Задачи указали нам...

Вперед, полярник, грудь!

Там, где когда-то во льдах и туманах
Пытались герои проплыть,
Должны проводить мы судов караваны,
Должны сев-морпуть закрепить.

За директивы Сталина,

Освоить сев морпуть и т. д.

Арктика — крепость.

Мы ею владеем.

Каждая станция — форт боевой.

В бой за победу, полярник, смелее,

Победу решит наш удар лобовой.

За директивы Сталина и т. д.

Совсем хорошо. Только как найти нам «форт боевой» на Северной Земле. Жаль, что выбыли мы из строя, не закончив программы облета вокруг Северной земли. Мы положим кромку пловучих льдов на карту вплоть до острова Каменева, если когда-нибудь туда дойдем, но на мыс Молотова мы в этом году уже не попадем.

Однако довольно заниматься литературой. Пора за работу. Мы в узловом пункте опасных мест. Стоит только ошибочно перейти незаметный, засыпанный снегом, перешеек к проливу Красной Армии, и тогда наши шансы на благополучный исход станут весьма и весьма сомнительными.

Сегодня надо сделать еще один пятичасовой переход на норд, чтобы оттуда идти уже на вост, где должны лежать острова архипелага.

Я советуюсь с компасом и картой, стараясь поднять свое «картографическое воображение», чтобы из видимых вдали темных пятен суши составить себе четливое представление о совместимости видимой картины с какой-либо линией карты. Ошибки у нас не должно быть. Каждая ошибка будет роковой в наших условиях. Здесь самая путаная часть нашего пути. Компас говорит, что мы на правильном курсе. У нас имеется небольшая надежда, что видимые пятна суши — начало архипелага. Полагаться целиком на компас нельзя. Неизбежны отклонения. Компас не совсем точно выверен. Его показания всегда корректируются по солнцу, по ветру и по направлению снежных застругов, в зависимости от погоды и от видимости.

«Может быть, мы уже видим самый конечный пункт одного из островов архипелага», — сверлит мысль. Но, может быть, мы и совсем не там, где предполагаем.

Очень тяжелы в подобных положениях раз'едающие волю сомнения. Падают уверенность, от этого падает и напряженность работы. Силы растрачиваются бесполезно, проверяется и считается каждый шаг.

Однако, если это острова Каменева, то они гораздо ближе, чем мы предполагали в начале похода.

Линдель пытается рассеять мои сомнения:

— Мы идем очень хорошо. Устаем, но идем быстро, не меньше трех километров в час.

Мои подсчеты говорят другое. Наше продвижение — не больше километра в час. Но всегда хочется верить тому, что приятно.



Ночевка около морского знака на островах Каменева

К концу пути погода испортилась. Из ущелья подул холодный ветер с мокрым снегом. Поспешно выбрали место для палатки. Заночевали.

— Теперь-то нас уже ищут, или, быть может, бросили искать. Сегодня девятый день нашего исчезновения.

— Ну, Линдель, а как ваша жена будет реагировать на эту историю? Нервничает?

— Теперь-то уже нервничает. А так она привыкла, — отвечает Линдель. — Хотя так долго я никогда еще не пропал: А у вас как?

— Надеюсь, что жена ничего не знает. Никому не захочется сообщить ей эту новость. Разве из газет узнает. Тогда плохо.

— Что-то думают о нас наши зимовщики?

— На пароходах нас лучше знают, хотя конечно пропадаем уже долго. Капитан Смагин, наверняка, говорит в кают-компании: «Теперь-то за шкуры наших летчиков я и пятака не дам».

Храбрый, знающий ледовые условия и условия зимовки, этот капитан не раз так образно оценивал опасности наших полетов. Это правда. Сейчас наши «шкуры» котировать высоко никак нельзя. Если мы переберемся на архипелаг, цена на них несколько поднимется, дойдет, пожалуй, даже до 50 процентов их стоимости. Сегодня у нас хороший день. Мы пьем шоколад, получаем по три галеты, намазанные маслом, а вечером вправе открыть одну из банок консервов.

21 июня. Погода совершенно испортилась. Давно ли нас обогревало солнце, сегодня же его нет и в помине. Небо обложено серо-свинцовыми тучами. Горное ущелье выслало враждебную нам армию. Оттуда дует холодный пронзительный ветер с мокрым снегом, сменяющийся дождем. Заряды тумана покрывают то одну, то другую сторону гор. Только их вершины остаются видными во всей полноте. Туман идет к нам. Нет никакого просвета. День будет исключительно скверный.

На всем этом сказочно-пустынном пространстве жизнь представлена только двумя человеческими фигурами. Это мы, еще не сдающиеся захватившей нас

мощи арктических пространств. Ничтожной и жалкой выглядит наша маленькая палатка на фоне этих гор и равнин. Здесь ничто не нарушает тишины.

Погода еще больше утяжеляет сегодняшний наш переход. Надо бы переждать ее. Но кто скажет, когда наступит лучшая погода и что произойдет за это время в проливе. Припасы наши тают, несмотря на очень бережный расход.

Только безостановочное движение вперед может вернуть нас в человеческое общежитие.

Вещи упакованы, лямки надеты, мы спускаемся с гостеприимного берега снова на снеговую поверхность. Мы не ждали легкого пути, поэтому у нас нет никакого разочарования, когда почти с первых же шагов наши ноги глубоко уходят в снег и подснежную воду. Курс взят прямой на предполагаемый архипелаг.

На месте ночевки оставлен каменный гурий и в нем записка, заложенная в спичечную коробку, с указанием нашего перехода и взятого компасного курса.

Дождь и снег попрежнему обильно поливают нас, хотя мокрее нас сделать уже невозможно. Не стоит на это и обращать внимания.

Восточный ветер дует нам в спину. Он помогает нашему движению. От тяжелой дороги нам не холодно. Только во время коротеньких остановок чувствуем, как ветер легко проходит сквозь намочшую ватную куртку и как неприятно холодно сейчас на воздухе.

Но остановки наши очень коротки, не больше 1 — 2 минут, чтобы перевести дыхание.

Каждый шаг пути открывает нам новые горизонты. Хотя мы и убеждены, что идем на архипелаг, но некоторая доля сомнений еще остается. Не все укладывается в тщательно проработанные курсы и карту. В отношении последних у нас с Линделем большие разногласия. Он не верит точности карты и показаний компаса, верит больше своим глазам. Я больше верю карте, солнцу и компасу, глаза же беру как регистрирующую и вспомогательную силу. С аэроплана ошибка компаса в несколько градусов — ничего не значащая величина,

особенно на коротких расстояниях. Видимый горизонт там очень велик, перемещение быстрое. Глаза быстро могут исправить ошибку компаса или проложенного курса.

Совсем другое дело на земле. Глаз охватывает слишком незначительный район. В Арктике опасно полагаться на одни глаза, и особенно в моменты таяния снегов и постоянного изменения из-за этого видимой картины.

Поэтому во время пути, особенно же во время остановок, вновь и вновь приходится возвращаться к карте и компасу. Я ищу характерный загиб северного берега залива Сталина, приподнятую голову полуострова Парижская Коммуна и сквозной пролив после нее из пролива Красной Армии. Но их не видно. Они покрыты снежным покровом. Мы прошли половину маршрута, все время идя водой и снегом выше колен, иногда же, на невидимых провалах, уходя почти по пояс.

Пора сделать маленький отдых. Осторожно, чтобы не раздавить наши хрупкие полуразломанные сани, мы присаживаемся на них. Линдель заведует табачным довольствием. Выдача на раз двух папирос. Обычно табак высыпается в трубку. Это вкуснее. Приятно затянуться теплым, горьковатым дымом после долгого тяжелого пути и долгого воздержания. Линдель прерывает молчание неожиданной репликой:

— Товарищ Лавров, почему вы молчите? Смотрите на карту и компас. Вы начинаете опять над чем-то думать. Так записывать можно. «Арктика крепость, мы ею владеем...»

Я рассказываю Линделю результаты своих наблюдений, как они для нас ни неприятны.

Это не архипелаг, это только конец залива Сталина.

Линдель вне себя вскакивает, проявляя совсем несвойственную ему экспансивность.

— Тогда где же проклятый архипелаг? Не сбивайте меня с голку — это архипелаг. Или тут черт знает что...

С курса мы не сошли ни на градус, но продвигаемся медленнее, чем предполагали.

Линдель внимательно всматривается в далекие темные точки на севере и говорит:

— А пожалуй, и верно, не похоже что-то на карту. Верно мы где-то еще в заливе Сталина. Но все-равно мы на курсе. Лишних два перехода, и все...

Погода стала значительно хуже. Туман нас догнал. Теперь впереди только белая матовая стена.

Ветер затих. Моросит мелкий неприятный дождь. Нужно напряженное внимание, чтобы не начать кружить по этой равнине. Приходится часто советоваться с компасом.

Лямки снова надеты. Снова борьба с тем же снегом и водой, только еще более осложненная полным отсутствием всякой видимости.

То и дело мы поправляем друг друга и проверяем наш ход по оставленным следам: выдерживаем мы прямую линию, или нет. Прямая линия не выдерживается. След идет зигзагом, но компас говорит о правильном курсе. Теперь приходится полагаться только на него.

Удивительно неприятно идти при такой обстановке. Глаза напряженно следят за каждой точкой. Но впереди пустота. Становится больно смотреть. Время от времени приходится совсем закрывать глаза, чтобы дать им отдых.

В пути мы уже девятый час. Усталость сказывается на каждом шагу, но о длительной остановке нельзя думать до самого берега. Нет никакой возможности раскинуть здесь палатку даже на время.

«Передышки» делаются все чаще и чаще. Холодная подснежная вода освежает и как будто поднимает силы.

Пробуем внести «рационализацию» в наше продвижение.

— Будем останавливаться через каждые 200 шагов.

Дело идет как будто лучше. Голова отдается механике счета. Время идет незаметнее. Но скоро мы уже не в силах выдерживать «норму». Она падает очень быстро, особенно в глубоких местах.

Мы опять начинаем приближаться к какому-то острову или берегу. Сквозь туман он начинает иногда показываться то двумя, то тремя черными точками.

Это уже совсем близко, не больше полкилометра. Наше зрение на этот раз поражено сильно. Нам кажется, что берег не стоит на месте. Он двигается в разных направлениях. Резь в глазах и туманная пленка становятся более чем неприятными. В голове беспокойная мысль — надо выдержать до берега, в палатке глаза отдохнут.

Остановки делаются теперь через каждые 10—20 шагов. Движение замедляется. Но все же отдых близок. Его ждет каждый клочок переутомленного организма. В пути без всякого перерыва мы были на этот раз около 12 часов. Как приятно смотреть на черноту земли после утомительного снежного блеска. Вышли на берег, сбросили надоевшие ляжки и устало сели на первые попавшиеся камни. Закурили. Надо еще ставить палатку. Но на этот раз все против нас. Растаявшая тундра превратилась в болото. Вязкая красная глина нигде не давала приюта. Поиски сухого места были напрасны. Ложиться на землю, как это мы часто делали, здесь было немислимо. Холодная, липкая грязь — плохое место для ночевки. Единственный выход — сделать мостовую, но и камней здесь мало. Пришлось таскать их из дальних мест, чтобы вымостить небольшое пространство. Наконец и эта работа кончена. Пол вымощен, палки вдолблены в вечную мерзлоту. Вещи разложены. Нечего и думать о просушке одежды в этот сырой день! Единственное средство, чтобы согреться, — сбросить с себя все сырое, закутаться в сухие малицы и без конца пить горячий чай.

Сапоги брошены в угол, все остальное развешено у потолка палатки. Загудел приветливо примус. Сразу становится теплее. Чувствуется усталость во всем теле. Видимо, физически мы уже порядочно поизносились.

Но у нас бодрое настроение. Все-таки, несмотря ни на что, прошли сегодня намеченный трудный путь. Пусть это будет последняя точка залива Сталина, все же это большая победа.

Теперь почти нет неясностей. Весь путь укладывается в рамки показателей. Горы, как и нужно по карте, остаются

позади. Завтра мы сделаем «вылежной» день. Ноги и особенно глаза настоятельно напоминают о необходимости отдыха.

Примус гудит как-то особенно приятно, становится совсем тепло. Приятная истома сковывает тело. Хочется лежать без движения, следя за дымкой трубки, и так перейти в забытие.

День или ночь — мы определить не можем. Солнца нет. Часы показывают 10 часов, но чего? Мы даже не хотим сейчас разбираться. Не все ли равно?

22 июня. Несмотря на вчерашнюю усталость, мы проснулись рано. Холод очень — активно помог нашему быстрому вставанию. Воздух, как в погребке. Белье все-таки несколько просохло, и это хорошо, так как у нас другой смены нет.

Сегодня мой день готовить «завтрак», мы аккуратно чередуемся. Тем временем Линдель ушел на разведку. По плану сегодня «вылежной» день. Но, как мы ни скромны в своих требованиях, все-таки место нам решительно не нравится. Липкая глина охватывает сапоги, прилипает к мокрому костюму, и ничего не высыхает.

Отдых все же нам нужен. Я смотрю на похудевшее, почерневшее, обросшее бородой лицо Линделя. Несомненно я выгляжу не лучше. Но самое главное — глаза. Им надо дать обязательный отдых.

Пока примус делал свою работу, я вышел из палатки осмотреть пройденный и предстоящий путь. Дождь прекратился. Туман также исчез. Мы заметно подвинулись на запад. Горы остались позади. На юго-востоке мне виден ледник Кржижановского. На севере — бесчисленный ряд темных низменных точек и линий, прерываемых белым таким же низким пространством. Целый лабиринт.

По карте здесь наиболее путаное место, на самом деле путаница еще больше, чем об этом говорит карта. Снег тает на малейших бугорках, которые нашей картой конечно не отмечаются. Рефракция их приподнимает. Поэтому здесь можно увидеть все, что хотите, — бухты, холмы, полуострова, острова и т. п., но курс наш бесспорно верен.

Линдель вернулся сияющий.

— А все-таки мы уже на архипелаге.

Позавтракав, пошли вместе на разведку, на противоположную сторону острова. Если это крайний пункт залива Сталина, то прямо на запад по курсу должен лежать архипелаг, в промежутке, несколько севернее его, должен быть полуостров Парижской Коммуны.

Но на западе ничего не видно, кроме ровного снежного поля замерзшего полярного моря.

Мы нашли новое очень хорошее место для отдыха — на сухом песку около ручья.

Решили прервать наш день отдыха и выехать из болота, тем более, что на это надо было потратить не более трех часов.

Сказано — сделано. С восторгом мы разрушили нашу палатку и переселились на новое место. По сравнению с предыдущими двумя ночевками здесь поразительно уютно.

Как относительно все в мире! Давно ли на островах Самуила подобное местечко казалось нам диким и совершенно негодным для отдыха. Нашелся и плавник. Вскоре ярко загорелся костер, и мы устроили генеральную сушку.

— Ничего не должно быть мокрого ни на нас, ни в палатке.

Костер с честью выполнил свое значение. Высохли даже сапоги.

В палатке было тепло и уютно. Закутали головы ватными куртками, чтобы глаза отдохнули в абсолютной темноте. Условно мы готовы считать наш пункт восточным островком архипелага Каменева. Следовательно, самый путаный, тяжелый путь уже позади.

Как не отдохнуть с полным спокойствием, когда дело обстоит так хорошо!

Весь этот день мы действительно очень хорошо отдыхали, даже не хотелось покидать этот «приветливый» уголок.

Но надо спешить, потому что наши припасы тают, путь же еще немалый, если мы даже на архипелаге. Впереди еще бухта, и притом очень большая, а дальше переход через морской пролив к конечному пункту — острову Домашнему.

23 июня. За точность даты поручиться трудно. Сейчас или утро 23 числа, или вечер 22-го. Солнца нет. Сколько времени мы отдыхали, установить трудно. Позабыли отметить часы, Но это в конце-концов не так важно. Наша авария теперь для всех ясна. Но никто в мире не может знать, где затерялись на этом огромном пространстве два человека. Нас, пожалуй, сейчас труднее найти, чем иголку в стогу сена. Нет и надежды на помощь. Технически она невозможна.

Вышли отдохнувшие, вполне окрепшие. Глаза не болят, тем более, что, идя теперь по самому краю снега, мы смотрим на землю. Сейчас надо пройти этот Восточный остров и постараться выйти на Средний.

В таком духе мы и оставили записку на месте ночевки. Мы написали, что все время будем держаться южной стороны островов, указав, что отклонения могут быть только временными, вызванными условиями дороги. Скоро мы вышли к большой бухте. По конфигурации она вполне соответствует бухте между Восточным и Средним островом архипелага.

Очень приятно было получить новое подтверждение мысли, что мы на архипелаге. Только что-то очень быстро мы прошли остров. Вероятно, «быстро идем», как утверждает Линдель.

Без колебаний спустились на водную поверхность бухты. Пересечь ее все-таки не так трудно, как это было вчера. Снова снег и вода. Сапоги наши никуда не годны. С первых же шагов они пропускают воду. Подошли к небольшим торосам. Здесь особенно глубок снег. Приходится пробиваться буквально шаг за шагом. Но пройдены и они. Сбоку какой-то небольшой островок. Дальше — опять водная поверхность почти вплоть до берега. Через два часа бухта была пройдена. Теперь мы должны быть на острове Среднем.

Но почему так скоро?

В пути мы не больше пяти часов. Между тем по карте мы едва-едва должны были бы одолеть это пространство за десять часов.

По выработанной практике через пять часов мы должны взять часовой отдых

Поэтому наскоро ставим палатку, без больших креплений, и пускаем в ход примус. Консервы сегодня трогать нельзя. Варим чай, к нему же берем очередные три галеты с маслом.

Местность попрежнему пустынна. Только какая-то невидимая птичка тянет однообразно: «пить, пить, пить...», затем задорно отвечает: «пей, пей, пей...»

Так, по крайней мере, мы переводим эту однообразную песню.

Часовой отдых проходит быстро. Мы снова в пути. Если все так пойдет, то сегодня пройдем весь Средний остров, а там останутся еще два перехода—и конец нашему путешествию.

Такими бодрими фразами мы перебрасываемся во время дороги. Путь нам не кажется тяжелым. Он несравним с пройденными этапами. Мы идем по земле. Здесь только иногда от нас требуется большое напряжение — во время подъема в гору или при переходе через ручьи и озера. Но этих тяжелых мест не более 50 процентов пути. Мы успеваем во время прохождения легких мест отдохнуть и потом со свежими силами брать трудные места. Нашему радужному настроению скоро наступил конец. Вдруг показалась новая, очень большая и широкая бухта. Откуда она?

Средний остров таких бухт не имеет. В душу заползает холодное сомнение. Куда же нас черт занес?

Однако спускаемся с берега в бухту, взяв опять прямой курс на запад для ее пересечения.

Идем мы привычным, монотонным неторопливым шагом, который выработался у нас во время пути. Линдель утверждает, что так ходят буйволы по грязи. Мы в пути уже три часа, а берег еще очень далеко. По прямой линии бухты сегодня не взять. Да и правильно ли мы идем? Может быть, каждый шаг только уводит нас дальше от намеченной цели. Надо ориентироваться на ближайший остров.

Через два часа мы взошли на него. На сравнительно высоком острове нас прохватывает холодный ветер. Надо скорее скрыться от него в палатке и согреться. Однако трудно отдыхать, не

зная, где мы остановились. Пришедшее сомнение тем более неприятно, что накануне мы чересчур крепко поверили в свое близкое спасение.

Сквозь облака иногда показываются тусклые блики солнца. Я снова беру компас, карту и свои путевые записки. Все подтверждает, что пролив Красной Армии еще нами не пройден и что мы на правильном курсе, но до острова Каменева мы также еще не дошли. Самое большее и, пожалуй, самое верное, что мы пересеем бухты где-то близко около полуострова Парижской Коммуны. Отсюда вывод: остров Каменева лежит от нас в том направлении, как мы идем.

Остров небольшой. Надо взойти на самую его высшую точку и оттуда еще раз осмотреть горизонт. Сегодня видимый горизонт все-таки довольно велик, несмотря на отсутствие солнца.

Кругом то же безжизненное, белое пространство. Однако именно на том курсе, где должен лежать архипелаг, вдали начинают виднеться пятна более желтого снега, чем на остальной части горизонта. Раньше мы их нигде не видели. Снег такого цвета мы видели всегда только на суше или около нее. Надо держать прежнее направление. В вычислениях курса ошибок нет. Место нашей остановки где-то действительно около Парижской Коммуны.

— А не остров ли Самойловича мы видим? — выражает сомнение Линдель.

На всякий случай мы прикидываем на карте курс на остров Самойловича.

— Нет, он совсем не на нашем курсе. Он гораздо южнее. Его не видно, так как он, повидимому, еще в снегу, как и острова архипелага. Завтра мы разрешим все сомнения, а на сегодня надо довольствоваться тем определением места, которое мы имеем.

На душе неприятно. Возникают сомнения, правы ли были мы, выходя на зимовку Северной Земли? Не лучше ли было взять направление на мыс Челюскина, хотя туда и дальше путь, больше чем вдвое. Но тогда не было бы этих проклятых сомнений. Там четкая дорога, как по вехам! Тяжелые мысли, тяжелые сомнения! Но это только фантазия.

что для нас был возможен выход на мыс Челюскина. До него береговой извилистой линией надо пройти не менее 350 километров. При пятидневном запасе продовольствия! Там пролив Шкальского. Разве можно было рассчитывать на легкую дорогу?! Наверняка тот же снег и вода. Как пропустил бы нас пролив Вилькицкого? В каком виде мы бы его нашли через те 25—30 дней, которые нам понадобились, чтобы дойти до него. Нет, мы правы! Единственный наш путь, — путь на зимовку Каменева. Здесь трудно ориентироваться, это верно. Но мы еще не сделали ни одной ошибки при прокладке пути. Мы только устали от постоянного напряжения и от не в меру голодного пайка.

Завтра конец сомнениям, это совершенно очевидно. Тогда успех пути несомненен. Физически мы еще совершенно крепки. Продовольствия хватит не менее чем на семь дней. За это время мы приблизимся к кромке моря. Там будет и зверь!

24 июня. 12-й день нашего исчезновения. В числах мы начинаем сомневаться. Наши сутки — это время, потраченное на переход и на отдых. Часы остановились. Они вероятно отсырели во время бесчисленных попаданий в глубокие места. Плохо работает примус. Понемногу все приходит в негодность. Это крайне неприятно. Сани дали почти сплошную продольную трещину. Линдель опять сшил их кусочками проволоки. Надолго ли, трудно сказать, но пока итти можно.

Для сегодняшнего рейса нам опять понадобится сверхнормальное физическое напряжение. Надо дойти до «белых островов», как мы теперь называем желтые пятна на снежном море.

Еще раз рассматриваем карту и окончательно резюмируем наше мнение — мы где-то около Коммуны. Оставили записку на месте нашей ночевки. Для кого эта записка? Ни для кого. Мы давно знаем, что можем выйти из своего положения только своими силами. Надо сказать беспристрастно, — отсутствие всякого следа человека действует угнетающе. Мертвый покой и однообра-

зие остро заставляют чувствовать свое одиночество. Можно быть Робинзоном около тропиков, где говорит каждая травинка. Плохо бы чувствовал себя Робинзон здесь, где закон природы — неподвижность, покой и безмолвие.

Пора в путь к далеким «белым островам» в поисках пропавшего архипелага Каменева. Высокий гурий из камней, раньше укреплявших палатку, стоит памятником о нашей ночевке. С каждым днем наши записки становятся короче и лаконичнее. Кому писать? Мы близки к той или иной развязке.

Теперь нас не удивляет никакая глубина снега и воды, никакие полыньи и трещины. На помощь пришли привычка и опыт. Спустившись с острова, я сразу ушел в глубокую прибрежную трещину. На виду оставались плечи, голова и руки. Линдель смеялся, когда я вылезал оттуда. Моя очередь смеяться пришла быстрее, чем мы оба ожидали. Оказывается, ему не повезло еще больше. Не больше чем через десять шагов от него также осталась только голова и кисти судорожно ухватившихся рук.

— Чорт возьми, вот нырнул, как морж, — сказал он, отдуваясь от усилий.

Эти прибрежные трещины глубоки и небезопасны, но книзу они обычно суживаются и дают опору для ног. Дальше пошел обычный снег, и вода то по колени, то выше колен, опять меньше, опять больше и т. д. Шаг за шагом мы приближаемся к «белым островам». Если через три-четыре часа ходу покажется сквозной пролив из пролива Красной Армии, — все в порядке. Сомнений больше не будет.

Через три часа сквозной пролив открылся. На фоне его конечный пункт полуострова Парижской Коммуны вырисовался, как на карте. Настроение поднялось.

Теперь продвижение вперед идет очень быстро. Нас охватывает какой-то энтузиазм борьбы с препятствиями, слишком надоели эти вопросы — где мы?

Пролив, ведущий к Красной Армии, кончен. За ним вдали виднеются смутные, темные точки. Это должен быть полуостров Крупской.

Ясно, что ночевать мы будем на берегу действительного архипелага.

Два часа усиленной работы, и мы выходим на желанный берег. В пути 9 часов непрерывного хода с очень редкими и короткими остановками.

Недалеко от острова лежат две нерпы. При нашем приближении они неспеша уходят в свое подводное царство.

С торжеством победителей выходим на берег. Сомнений больше нет; это Восточный остров архипелага Каменева. Самая путаная и трудная дорога осталась позади.

Мы дошли до обнаженной от снега земли и сбросили надоевшие лямки. Надо найти место для палатки! Несколько шагов вперед, и вдруг неожиданный сюрприз — большие темные банки валяются на земле в разных направлениях. Их пять штук. Каждая весом не меньше 2 килограммов. Это первые следы человека. Немедленно идут в ход нож и плоскогубцы. Сверху сало, под ним — однообразная масса, приятная на вкус. Сомнений нет, это — пимикан, наиболее питательное и портативное северное блюдо для полярных собак.

Снаружи банки поржавели, но внутри жесть сохранила весь свой блеск. Нет никакого признака вздутости.

Кто оставил этот пимикан? На коробках нет этикеток, но несомненно, это остатки от собачьего корма экспедиции Ушакова.

Около места находки разбили нашу палатку. Сделали себе кашу из пимикана. Еда нам кажется вполне приемлемой для питания не только собак, но и для нас. Продовольственный вопрос теряет свою остроту. Первоначальное назначение пимикана нас не смущает...

Мы все равно теперь работаем, как собаки.

После жирного пимикана чай исключительно приятен. Вообще сегодня день нашего торжества. Сомнений больше нет. Компас, карта больше не противоречат нашим впечатлениям. Все улеглось в разработанный план нашего похода. Трудные места остались позади. Теперь только не надо терять времени, потому что впереди еще большая бухта и маленький остров Домашний, затеря-

ный недалеко от последнего острова архипелага. Потом на Домашнем надо найти совсем ничтожную точку — маленькую избушку зимовки с четырьмя людьми и 20 собаками.

Наши поиски большого архипелага мы будем суживать до поисков маленькой точки.

25 июня, 10 часов утра. Как число, так и время суток надо понимать условно. Солнца нет. Мои часы остановились, часы Линделя вообще не ходят. Слабый ветер с норд-оста. Температура нолевая.

Сегодня перед началом похода смотр нашего бедного инвентаря. Винтовка в исправности, но ее пора смазать и почистить. За отсутствием масла ничего сделать нельзя. Наган в порядке. Сани выдержат не больше двух переходов. Примус отказывается работать. Наши сапоги, видимо, совсем не для таких путешествий, носки уже лопнули, а сапоги Линделя лопнули и сбоку. Одежда еще может держаться, но недолго. С продовольствием, после находки пимикана, пока благополучно. Бензина хватит на десять дней. Мы оба вполне здоровы.

Волокуша-сани сдадут окончательно вероятно уже на Среднем острове. Нас это вполне удовлетворяет, они честно помогли нам на самом трудном пути.

С собой берем только одну банку пимикана. Остальную четверку убираем как следует и ставим около нее гурьи. Если не найдем зимовки, тогда вернемся и заберем их к тому месту, где решим обосноваться до нашего конца. Обстоятельства покажут, что нужно будет делать. Сейчас же их забирать мы не можем, они слишком тяжелы для нас и наших саней.

Мы рассчитывали на легкую дорогу по островам. Восточный остров плоский, низменный, с постепенным подъемом. Подъем иногда прерывается балками, занесенными глубоким рыхлым снегом. Ручьи образуют впадины, наполненные водой. Все это сильно осложняет дорогу. Особенно трудны переходы через балки и озера. Но все же маршрут здесь несравненно легче, чем каждый из ранее пройденных.

На горизонте отчетливо вырисовывается окончание пролива Красной Армии. С одной стороны его граница — наши острова, а с другой — полуостров Крупской и ледник о. Пионер. Сзади нас провожают горные цепи острова Октябрьской Революции. Их темные очертания со снежными вершинами еще долго будут служить нам маяками. На юг — бесконечное белое пространство. По мере продвижения на запад все чаще и чаще виднеется ряд больших торосов. Они подошли в одном месте к самому берегу Восточного острова. Ясно виден район пловучих льдов, они не более чем в 10 километрах от берега.

Мертвый покой здесь также не нарушается никакими звуками, но следов жизни уже гораздо больше. Встречается бесчисленное количество следов и норок лемминга. В другом месте отпечатался свежий след песца. Вдоль берега виднеется подтаявший след крупного белого медведя, изредка проносятся молчаливые чайки. Почва неблагоприятная для растительности. Моховой покров идет редкими пятнами. Олений мох виден отдельными кустиками, но, несмотря на это, мы нашли здесь позеленевший от времени олений рог. Это вероятно был также, как и мы, «аварийный» олень, приплывший сюда на льдине не по своей воле.

Наше внимание привлек продолговатый предмет правильной формы.

Это оказался заржавленный бидон из-под керосина. На нем вырисовывается наш герб — серп и молот — и надпись «Нефтесиндикат СССР».

Даже в таком виде приятно видеть следы человека. На всякий случай мы отвинчиваем его пробку — нет ли записки, но он совершенно пуст.

К вечеру переход через остров был закончен. Перед нами лежала лагуна, залитая синеватой снежной водой. По воде идут небольшие волны. Бухта очень большая, как это и обозначено на карте.

Переход через эту воду конечно можно значительно сократить. Для этого нужно обойти ее с севера. Там узенькими полосками земли оба острова подходят очень близко друг к другу, но это

значит увеличить путь больше чем вдвое. При этом будет ли легче идти нам около берега?!

Я отправляюсь на разведку в воду, Линдель ставит палатку. Вода местами довольно глубока, но эти впадины можно обойти.

В общем в этом переходе нет ничего необычайно трудного по сравнению с пройденным путем... Ближе к Среднему острову вода пропадает. Там лежит ровная пелена снега, которая вероятно будет самым тяжелым местом перехода, особенно около торосов.

Этот прямой маршрут мы и избираем после непродолжительного обсуждения.

Пятичасовой отдых. Линдель сделал микроскопические котлетки из пимикана, которые по количеству меня несколько не удовлетворяют.

После находки пимикана он становится несравненно скупее на продукты в дни своего дежурства.

Хотя продовольственный «обоз» и находится в моем ведении, но он иногда проявляет «инициативу» в смысле максимальной экономии.

— По корму будет и работа, — говорю я Линделю.

Ворча что-то под нос, он варит дополнительную кашу из пимикана.

Папирос у нас осталась одна пачка. Кризис подходит с ужасающей быстротой. Поскольку его неизбежность очевидна, мы не делаем никаких попыток замедлить его наступление.

Отдых вполне удовлетворил нас. Вообще наши требования к удобствам свелись к такому минимуму, что удовлетворить нас совсем не трудно. Сухой песок вместо постели, сколько-нибудь укрытое место от ветра и дождя — все кажется в порядке. Умываться, бриться мы совсем отвыкли.

Один раз мы позволили себе роскошь растопить снег в котелке специально для умыванья, но каждый день этого делать нельзя, надо беречь бензин.

Маршрут через бухту был очень тяжел. Сани совсем перестали скользить. Они падают снег своими протертыми местами и потому разрушаются еще быстрее.

Глубокие провалы попадались чаще, чем можно было ожидать. Морской лед неровный, видимо, и здесь он когда-то замерз торосами. Благодаря этому на дне образовались выбоины, налитые теперь водой, и возвышения.

Недалеко от берега гряда больших торосов нам преградила путь. От торосов шел свежий медвежий след. Медведь направлялся в сторону открытой воды. По следам было видно, что он долго ходил по высоким торосам, прежде чем выбрать направление.

Медвежьи следы пришли нам в помощь, мы ступаем по ним и таким образом тратим меньше усилий для своего продвижения.

Но все-таки наши ноги проваливаются глубже, чем ноги медведя. Хорошо у него устроены лапы для таких прогулок.

По медвежьему следу мы вышли на берег острова Средний.

Сухая узкая полоса прибрежной гальки и песка дала нам приют. Тут же валялось большое бревно плавника с сохранившимися метками Архангельского Северолеса. Кругом было порядочное количество и другого плавника. Плавник видимо испытал очень много, прежде чем ему удалось попасть на берег: он почти отполирован в некоторых местах, в других же совсем размочален. Часть плавника свежего происхождения, вероятно она приплыла уже с островов Каменева во время постройки зимовки.

Медвежий след нас очень интересует, здесь уже есть смысл поохотиться. От зимовки нас отделяют 2—3 перехода, в удобное время можно приехать сюда на собаках или лодке за шкурой и мясом.

Специально идти на охоту нам нельзя, — надо сначала добраться до зимовки. Но как выйти из затруднения, если медведь будет сам за нами охотиться, придя на дым нашего костра? — это вопрос.

Держать вахту? Но тогда не будет настоящего отдыха. Переход может сорваться.

Решили оставить все в прежнем порядке.

— Едва ли медведь нападет на палатку. Кто будет просыпаться, тот будет осматривать горизонт.

Загорелся костер. Устроили очередную сушку одежды и сапог. Пимижан на этот раз играет роль приправы для банки мясных консервов. Суп нам кажется превосходным.

На снегу мы с удивлением видим целую компанию маленьких черных насекомых. Они прыгают, как блохи, и вообще видом своим напоминают блох. Чувствуют себя они прекрасно. Пробуем устроить на них «охоту». Они очень увертливы. Несколько экземпляров у нас в руках, но куда их девать? Вероятно северо-земельцы наловили нужное количество, если они представляют какой-либо научный интерес. Для нас же эти блохи — неудобный багаж, пусть живут они в своем снегу, вреда от этого никому нет. Мы отпустили их. Я вспоминаю, что на одной из остановок раздавил маленького паучка. Насекомый вид очевидно зашевелился. Весна идет в полном объеме. Нам надо торопиться, чтобы успеть попасть на остров Домашний, пока он окружен льдом, а не морем.

26 июня, 5 утра. Штиль. Солнце встало такое прекрасное, каким оно может казаться только на Севере. Здесь можно стать солнцепоклонником или огнепоклонником. Приветливее выглядит наш плоский остров, разноцветные блески торят на торосах. Глаз видит такие далекие горизонты, какие недоступны людям на «большой земле». Весело бегут ручьи, унося последние остатки снега. Виден даже мыс Кржижановского; кажется, что можно проследить все зигзаги нашего пути. Кромка подвижного льда уже недалеко. Не более чем в 15 километрах видны сплошные гряды торосов: результат постоянных натисков плавающего льда на неподвижный припай.

Трудно найти такой пароход, который бы мог выдержать это давление.

Под влиянием ли солнца или насту пившего упадка сил, но сегодня нет настроения надевать лямку. В голове соблазнительная мысль — не устроить

ли сегодня «выходной» день. Место уютное. Можно сходить к припаю по следу медведя. Нет, нельзя идти на такую удочку! Весна идет, повидимому, дружная, сильная. Чем больше потеряем времени, тем тяжелее будет дорога. И может быть, около самой цели море поставит нам непреодолимые преграды. Кроме того, прошло уже двенадцать дней, как мы пропали. С выходом на острова Каменева «цена нашим шкурам» стала побольше медного пятака, выражаясь словами капитана Смагина. Надо идти, не поддаваясь ни физической, ни душевной слабости. Не надо увлекаться и достигнутыми успехами. В настоящих условиях даже последний шаг может оказаться роковым.

Надеваем лямки и идем по середине Среднего острова. Здесь больше снега, и потому легче идти нашим саням. Дорога идет в гору, снег рыхлый. Прощай, надежда на более легкий путь по островам! Нам то и дело преграждают путь такие же балки и озера, как и на Восточном острове. Больше того, снег часто прерывается голой землей, приходится брать вещи на плечи и переносить их за два раза, а затем снова идти лямками. Так повторяется несколько раз.

Дорога тяжела — это нормально, но сегодня сани почему-то невыносимо плохо идут. Их осмотр показал, что от них требовать больше ничего нельзя: вдоль саней тянется большая трещина; попеременные крепления задерживают снег; он набился в сани в таком количестве, что мы везем больше снега, чем груза. Ледяная корка в некоторых местах вклинилась в трещины и, как плугом, пашет снег. Не мудрено, что нам так тяжело. Надо расставаться с санями и частью вещей, теперь это неизбежно.

Быстро перебираем вещи. Оставили тяжелую собачью доху Линделя, магнето, бензиновый бак, еще ряд мелких вещей, все крепко затюковали, спрятали в сухом месте. Остальное разбито на четыре тюка. В общем у нас не более 40 килограммов вместе с палаткой.

По сравнению с тяжестью саней тюки кажутся нам, если не совсем легкими, то во всяком случае приемлемыми. Мы теперь выбираем дорогу и более

прямую, и более сухую, это тоже плюс. Скоро ледяное море виднеется с обеих сторон. Начинается узкая полоса острова. Пролив Красной Армии покрыт невзломанным льдом, но на нем местами видны торосы. Когда-то вскрывается и он, но вероятно в редкие годы. Припай со стороны моря становится меньше и меньше, пловучие льды видны совершенно отчетливо.

Скоро остров превратился в узкую гряду беспорядочно наваленных камней. Это — остатки разрушившихся известковых пород. Идти по ним неприятно, но легче, чем по льду и воде. Здесь мы имеем право сделать очередной отдых, после чего нужно штурмовать последний остров архипелага.

На карте названия он не имеет. Мы его зовем «Кишкой» за его длину и узость. «Полкишки» мы намерены сегодня пройти. От него нас отделяет очень небольшая бухточка, не имеющая для нас значения, хотя она и полна воды.

Перед выходом в маршрут взяли по последней паре папирос. Линдель, оказывается, их выкурил дорогой. Теперь он с завистью смотрит, как я отправил в трубку первую папиросу.

— Линдель. Продаю одну папиросу.

— Я куплю. Сколько надо?

— Я потерял вчера в воде ножик.

— На пароходе у меня есть еще ножик. Согласен на обмен.

Так состоялась наша сделка. Мы выкурили по последней папиросе.

К сожалению, придя на зимовку, Линдель заявил, что ножик слишком дорогая цена за одну папиросу, и квалифицировал сделку, как кабальную.

Одной папиросы слишком мало. Зная неизбежность кризиса, мы дорогой собрали несколько сортов мха. Не даст ли который-нибудь из них хотя бы маленькой иллюзии курения.

Закурили. Пахнет женой тряпкой и больше ничего.

— Попробуем чай. У нас есть запас.

С чаем дело пошло немного лучше, но это конечно слишком плохая и для нас дорогая замена.

После отдыха немедленно двинулись дальше по «Кишке». Остановка намечена

у морского знака, это уже рядом с островом Домашним, до него останется всего семь—восемь километров. Мало шансов на хорошую дорогу. Переход на «Кишку» через остров нас не затруднил, он был короток. Воды было только по колено, притом почти без снега, но зато на самом острове мы встретились с жирной красной глиной почти на всем пути. Она так крепко держала ноги, что иногда казалась началом трясины, из которой невозможно выбраться. Тяжелые тюки на плечах уменьшали ловкость движений и утяжеляли ход. Балки здесь глубже, чем на соседних островах и обильнее наполнены водой.

Не мудрено, что через час мы сбросили тюки с плеч и сели на них для десятиминутного отдыха.

Вдали виднелась та же картина: горные ледники на далеком горизонте и ровная поверхность моря по обе стороны от нас. Взломанный лед все ближе и ближе подвигается к острову. Что, если остров Домашний уже в районе взломанного льда?.. Тогда... Тогда дело кончится обычной в таких случаях арктической трагедией.

Эта мысль заставляет нас торопиться. Но странное ощущение... Чем дальше мы идем по этой безжизненной стране, тем больше мы привыкаем к мысли об этом возможном конце.

Это тоже логический конец. Мы сделали в Арктике ту работу, которую надо было сделать. Случилась авария, от этого здесь никто не застрахован. Истощение и общий упадок физических сил может положить конец нашей дальнейшей работе. Конечно прежде мы будем бороться до последних сил за другой исход, сдаваться нам рано.

— Аэроплан летит, — вдруг сказал Линдель. Он смотрит на ледник Кржижановского.

Первое чувство, охватившее нас, — разочарование. К чему же мы сделали такой мучительный путь?

Я не вижу аэроплана. Линдель показывает маленькую точку на фоне гор: она быстро приближается к нам. Формой похожа на аэроплан, но шум еще не слышен.

— Московские товарищи действительно хорошие ребята, — продолжает Линдель. — Здесь есть место посадки. Нас увидят.

Мы ожидаем, стоя на возвышенном месте и приготовив все для дымового сигнала.

— Что же. В конце-концов это все-таки хорошо. По крайней мере завтра будем на мысе Челюскина, а затем вырчим наш аэроплан.

Однако, что-то медленно подходит к нам «аэроплан»: неужели он возьмет курс сразу на о. Домашний и не заглянет по дороге на этот остров?

Летающая точка в это время вылетела в район какого-то особого освещения. Иллюзия кончилась. Это была большая темная чайка, летящая над взломанным льдом вдоль излома.

— Дойдем и сами... Помощь невозможна.

Поздно ночью подошли к морскому знаку.

Он стоял на самом высоком изгибе «Кишки». Остров почти под прямым углом уходил от него на норд, затем снова вытягивался на восток еще более тонкой линией.

Знак построен из дерева. Подножье его завалено высокой кучей черных камней. Наверху знака деревянные доски. На нем нет никаких пометок. Нам хочется узнать, где наша обетованная земля — остров Домашний — и в каком он положении.

Мы взбираемся на темную гряду камней знака, смотрим и ничего не видим на горизонте, кроме бесчисленных торосов, увеличенных рефракцией до всевозможных размеров и форм. Солнце на норд-вест, оно бьет нам прямо в глаза. От этого еще труднее что-либо рассмотреть в этом хаосе.

Остров слился с общим белым фоном.

Момент для наблюдений выбран неудачный. Совершенно бесцельно идти сейчас на зимовку, хотя нас и отделяет от нее только семь—восемь километров

— Эх, и надоело же ставить палатку и курить чай со мхом, — загрустил Линдель.

Мне это не менее надоело. Все же палатку ставим!

— Может быть, в последний раз!..

27 июня, утра 4 часа. Число предполагаемое, но утро — бесспорно. Так говорят и компас, и солнце. Пора итти на поиски затерянного острова, а на затерянном острове найти маленький, спрятавшийся от всех, домик. Там живут 4 человека и 20 собак, которые уже два года не видели ни одного постороннего человека. Предстоит тяжелый переход по снегу и воде. Не надо брать вещей, они замедлят наш путь. Нам же сегодня нужна быстрота.

Берем с собой оружие и последнюю провизию: две банки консервов, четыре галеты и две плитки шоколада. Палатку оставляем не свернутой. Она должна быть готова к нашему обратному приему, — если мы вернемся к ней, то вернемся уставшими до последней степени. Спускаемся вниз с крутого берега на снег. Сразу же становится видно, что будет тяжелая дорога. Приходится и здесь пробивать двойную



Зимовка на острове Домашнем архипелага Каменева

корку снега и пресного льда, прежде чем нога упрется в неровный морской лед.

Мы чередуемся для торения дороги. Это экономит расход сил. У нас два перехода: первый около 1½ километра — на узкую часть «острова Кишки» и второй, около 3 километров, с «Кишки» на остров Домашний к зимовке.

Сделанная первая половина пути открывает нам остров Домашний — поразительно неуютный и лишенный всяких красивых линий. Он плоский, темножелтый, со стороны моря к нему вплотную подошли торосы.

Но конечно не требованиями эстетики приходится здесь руководствоваться.

Остров найден, и это главное. Значит, скоро «цена на наши шкуры» достигнет нормального уровня.

Узкая «Кишка» встречает нас не очень приветливо. Проваливаясь по пояс в снег, с трудом выбираемся на ее крутые берега.

Наша работа на этот раз щедро вознаграждена. С берега отчетливо видны две мачты радиостанции. Около мачт виден маленький серый домик.

Он стоит, как какой-то челепый нарост этого плоского острова, жалкий и одинокий на фоне широкого безлюдного простора.

Это теперь наш «дом» и, может быть, на долгое время, но это и наше спасенье. Мы достигли своей цели, не сделавши ни одной тяжелой ошибки. Опыт

предыдущих полярных скитаний оказал нам большую услугу. Выдержан трудный экзамен для наших физических и моральных сил.

Ноги идут торопливее, то по неровной каменистой почве, то по вязкой глине, то по скользким балкам.

Теперь уже можно не так расчетливо тратить силы.

Нужно одно сильное напряжение. Чем оно будет сильнее, тем скорее мы будем у цели. Там радио — это главное. Там мы снова приобретем человеческие права и человеческий вид.

Мы доходим по берегу до конечного пункта, откуда надо опять, но уже действительно в последний раз, спуститься в снежную воду.

Домик виден совершенно отчетливо. Он посерел от непогод Севера и сливается по фону с каменистым низменным мысом острова Домашнего.

Около дома не видно никакой жизни. Все спит.

Перед трудным переходом мы дали себе остановку — отдых на 10 минут. На жидкой красной глине видны отпечатки собачьих лап и человеческой ноги, ясно прослеживается их путь и на снегу.

Но это было когда-то, до таяния снега: теперь на снегу остались от них только небольшие углубления.

По этим следам берем себе направление.

Дорога обычная — снег и вода. Стояние сапог и брюк обычное, они стали мокрыми, как и всегда. Однако наше продвижение идет гораздо быстрее, чем раньше. Инстинкт дает самое большое напряжение всем мышцам.

Зимовка попрежнему спит. Мы уже от нее не далее чем в четверти километров. Теперь уже видны занесенные снегом лодки, разбросанные бочки, какая-то маленькая будка и т. д. Серые камни, галька — фундамент домика.

Но вот выскочила откуда-то на камни собака, слышен ее лай. На лай сбегаются еще собаки. Видно, как в большом возбуждении они мечутся по острову, но навстречу к нам еще не бегут.

Вероятно, около домика поднялся адский шум. Из дверей показалась человеческая фигура, закутанная в длинную малицу, в руках винтовка.

— Дикари проснулись. За два года мы первые люди, да и то аварийные.

Человеческая фигура исчезает в дверях дома, появляется вновь, но вместо винтовки что-то длинное в ее руках.

— Это нам несут лыжи для облегчения перехода.

— Поздно. Мы уже ступаем по более мелкому снегу.

Появляются другая и третья фигуры. Собаки дружной стаей бросаются к нам. Окрик хозяев — они останавливаются.

Чувствуется некоторое волнение.

Встретились. Взмолвленные лица, крепкие пожатия.

— Товарищи Лавров и Линдель, как хорошо, что вы добрались.

— А как поиски? Аэропланы еще не вылетали?

— Ничего еще нет. В Москве идет подготовка.

— А зимовщики на Челюскине?

— Они отправили упряжку собак, но без сомнения она скоро вернется.

Быстро, на ходу рассказываем о месте и причине нашей аварии. Они передают нам содержание радиogramм, относящихся к нашей судьбе.

Собаки внимательно нас осматривают, обнюхивают и приветливо виляют хвостами. Они напомунают нам лучшую собаку мыса Челюскина — Волка. Та же шерсть, узкий разрез глаз. Они очень лохматы в свалявшейся шерсти, среднего роста. Прекрасные ездовики.

Двери дома раскрыты перед нами, каким уютом веет оттуда!

Кромка льдов нами прослежена до западного конца острова Каменева, не хватает только разведки на мысе Молотова — самой северной оконечности Северной Земли.

Спали мы вероятно очень долго. В это время по радио уже были получены приветственные радиogramмы от наших близких и друзей из Москвы, Ленинграда и почти всех полярных станций. На Севере люди становятся ближе друг к другу. Зимовщики Ленской экспедиции немедленно ввели нас в полный курс всех событий. Они были уверены, что Линдель не разобьет самолета и сделает правильную посадку, но, оказывается, выражали большое сомнение относительно его талантов по пешему хождению. Соединенными усилиями двух поэтов по случаю нашего возвращения было написано довольно длинное стихотворение, посвященное нашей аварии и нашему возвращению. Оно несколько нас сконфузило, когда было по радио нам передано:

За проливом, за горою
Самолет исчез вдали,
И унес он двух героев,
В дебри Северной Земли.

Для «У-2» полет опасный.
Страшно врезаться в туман,
Хоть не видно тучек грозных,
Хоть спокоен океан.

Связь мы с Северной держали,
Целый день костер горел.
Понапрасну вести ждали,
Самолет, мол, долетел.

Истекли давно все сроки,
Самолет не прилетел.
Путь далекий, путь тяжелый,
Где-то наш «У-2» засел?

Сел он в сотнях километров
От ближайшего жилья...
Ожидать ли здесь спасенья?
Все надежды на себя.

Самолетам нет посадки.
Это летчики учли,
Путь проложив, пошагали
В дебри Северной Земли.

Шли они в воде по пояс,
Выбивалися из сил,
Голодали, холодали,
А «У-2» на льдине плыл.

Дней двенадцать пролетело,
Два пропавших все ж идут:
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь.

На пятнадцатые сутки,
Волей скованы стальной,
Подошли они к избушке.
Там нашли приют родной.

Называлось это стихотворение «Опять среди нас». Его сочинили тот же тов. Рузов и механик парохода — Семенов.

Нам надо было найти приложение своих сил, чтобы благополучно дожидаться прихода парохода или аэроплана. Наш самолет был нами безвозвратно потерян. Льды вскоре после нашего прихода пришли в движение. Осталось одно — надеяться, что прилетит новый самолет, который вновь унесет нас на мыс Челюскина, где оставался еще один самолет — брат нашего погибшего «Воробья». К сожалению, эти надежды осуществились только через 2½ месяца, когда уже надо было проститься с Арктикой до следующей встречи с ней.

За рубежом

ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ГОЛУБОГЛАЗЫЕ, БЕЛОКУРЫЕ ЛЮДИ...

И. Бергвальд

Рис. худ. Бор. Ефимова

I

Германский фашизм выступил на политическую арену и пришел к власти с крайне скудным запасом идей. Истерические крики о превосходстве германской расы, мистические завывания по поводу величия фашистских вождей да апология прусской казармы — вот тот несложный ассортимент лозунгов, которые шумно рекламировались, а там, где не помогала реклама, вколачивались в сознание при помощи полиции и штурмовиков. Нельзя назвать мировоззрением нечто, соединяющее в себе самое мрачное мракобесие, разнузданный шовинизм, дешевую и циничную социальную демагогию и полное философское и историческое невежество. Все взгляды германского фашизма, в той или иной форме, выкрадены у представителей реакции прошлого и настоящего. Это — «идеология» охранки, которая вместо того, чтобы быть правилами практического поведения для палачей, прикидывается «последним словом теории».

Какая огромная дистанция между Лессингом, Гете, Шиллером и современными идеологами фашизма! Буржуазия, борясь против феодализма, выдвинула ряд блестящих представителей теоретической и художественной мысли. Пока она не утратила своего социального оптимизма, ее представители не боялись задумываться над большими проблема-

ми природы и общества. Теперь, обреченная, утратившая свои творческие силы и оптимизм, буржуазия не способна дать ни больших идей, ни больших художественных обобщений. Освальд Шпенглер, с его бесплодным схематизмом и академическим скептицизмом, — характерное явление буржуазной мысли современности. Однако Шпенглер кажется колоссом в сравнении с теми ничтожествами, которые выступают в качестве философов и теоретиков «Третьей империи». Эти последние провозглашают отказ от научного мышления последним достижением науки. Они боятся изучать законы того общества, которое их породило, ибо строгие научные выводы неумолимо стали бы обвинительным приговором капитализму. Поэтому они предпочитают откровенное шарлатанство научному анализу и циничное одурачивание публики — объективному исследованию.

В течение полутора лет фашистского режима идеологический мир буржуазной Германии подвергся резкому изменению. Еще не так давно в университетах копошились профессора, которые из обрывков философии Гегеля, Канта, Шопенгауэра и Бергсона пытались скроить некое подобие взглядов. В литературе выступало модное течение формалистов различных направлений и рангов; философы, литературоведы и социологи выдумывали новые термины для старых, давно потухших понятий, заме-

няя отсутствие идей скучной, чисто «академической» доскональностью. На политической арене действовала так называемая демократия, накрашенная и развязная. Она прикрывала фальшивыми и избитыми цветистыми фразами свою верную службу капиталистическим интересам.

Во всем этом уже ясно чувствовалось разложение. Оно однако настойчиво прикрывалось: внешней эрудицией — в области философии, пустой, но разукрашенной фразой — в политике, наигранным скептицизмом или беспредметной стилизацией — в литературе. Фашизм окончательно обнажил это разложение буржуазной мысли и объявил его «истинным германизмом». Сбросив мишуру, фашизм заменил ее прозрачными и беззастенчивыми формулами. Громоздкая и неуклюжая речь профессоров все более отчетливо сменяется пронзительной, немного визгливой, но зато совершенно недвусмысленной военной командой. Центральной фигурой и литературы, и общественной жизни, их «ведущим героем», объявлен прусский солдат. Его «духовные» качества возводятся в критерий оценки человеческой особи. Слепая дисциплина, беспрекословное повиновение, верность фашистскому начальству без возражения, без мысли, без обсуждения, — таков основной принцип, который проповедуется сейчас как моральный императив, регулирующий поведение человека как идеал. Режим прусской казармы, возведенный в степень теории познания. Идеинный багаж прусской военицины, изложенный с помощью логики и языка полковых приказов. Представьте себе, что фельдфебель армии его величества Вильгельма Второго, умудренный многолетним опытом казарменной муштры, вообразил себя философом и начал писать книги! Не трудно предвидеть, что свою собственную профессиональную точку зрения он сделает мерой вещей, свои навыки и приемы возведет в логические категории, а методы фельдфебельского мышления провозгласит последним словом философии.

Национал-социализм, провозглашая себя «солдатским мировоззрением», ви-

дит прообраз «германского социализма» в прусской казарме. Крупнейшие представители науки, не пожелавшие тянуть солдатскую лямку, изгнаны из страны или вынуждены замолчать. Так называемая «реформа» высшей школы целиком сводится к тому, чтобы за счет научных дисциплин отвести наибольшее место военному делу и «смежным» с ним наукам. Военная дисциплина — единственная, пользующаяся почетом; она поглощает и выгоняет из университетов все другие дисциплины. Национал-социализм не только не имеет теории и не пытается обзавестись ею, — он всякую позитивную науку объявляет «накачиванием знаний». Идеал германского фашизма сводится к тому, чтобы заменить все науки единым уставом гарнизонной и полевой службы.

Естественно поэтому, что, объявляя борьбу марксизму, фашизм не пытается опровергать его теорию. Направленные против марксизма книги германских фашистов свидетельствуют о том, что знания их авторов в этой области не выходят за пределы знаний среднего немецкого лавочника, весь научный багаж которого состоит из подслушанных разговоров в пивной. Фашистская литература, посвященная марксизму, поражает своим исключительно низким уровнем и нечистоплотностью полемики. В этих книгах напрасно искать критики экономической теории Маркса и теории исторического процесса. В своей литературной борьбе против марксизма фашизм ограничивается безапелляционным полицейским окриком: «Не смей так думать!» — так же, как в своей практической борьбе он не стесняется в выборе средств жесточайшего насилия. Истошные крики о том, что мировоззрение марксизма «преступно и означает призыв к грабегам», слишком откровенно и цинично рассчитаны на легкое верие обывателя.

Естественно также, что вопрос об истинности или неистинности того или иного положения не интересует фашистских «теоретиков». Их писания отличаются полным отсутствием аргументации. Они не доказывают, а вещают. В случае затруднений «теоретики» апеллируют

ют не к научным данным, а к мистическому «германскому духу» или к евангелию от Гитлера. Бегство от научной, фактической и логической аргументации не является случайным приемом того или иного автора. Это — принцип. Нужно не убеждать, а проповедывать; не доказывать, а внушать; не изучать, а рекламировать свои взгляды как новое откровение, не подлежащее ни проверке, ни критике.

Пропагандируемые фашистами взгляды не выводятся из изучения истории и фактов действительности. Это — «вечные» истины, это нечто таинственное, являющееся достоянием избранных. Всякая пропаганда, по мнению нац.-социалистов, должна быть направлена «на чувства людей и лишь очень условно на их разум» (Гитлер). Иными словами, основную роль в нац.-социалистской пропаганде играют не доказательства, не аргументация, а навязывание лозунгов. «Чем скромнее научный баланс пропаганды, — снова и снова повторяет Гитлер, — чем более она принимает в расчет исключительно чувства масс, тем вернее ее успех». В основе подобной установки заложено убеждение, что «способность восприятия широкой массы очень ограничена» (Гитлер). Исходя из такого высокомерного презрения к массе, фашизм обращается и со своим «учением», и со своей программой, как со средством откровенной социальной демагогии. Чтобы обмануть массы, фашисты легко выбрасывают многообещающие лозунги. С еще большей легкостью они отказываются от их выполнения. Практику всех буржуазных партий — выставлять широкообещающие программы для привлечения избирателей и потом совершенно забывать о них — фашизм превратил в один из основных принципов своего «мировоззрения». По словам Гитлера, программа и учение национал-социалистской партии должны быть рассматриваемы так же, как догматы в католической церкви. «Хотя учение католической церкви, — пишет он, — во многих пунктах и отчасти совершенно излишне противоречит точной науке и исследованию, она не желает пожертвовать ни

одним положением из своего учения. Она очень хорошо поняла, что ее сила сопротивления состоит не в большей или меньшей степени ее приспособленности к тем или иным научным результатам, которые в действительности всегда изменчивы и шатки, а в твердом настаивании на определенных, однажды установленных догматах». Программа — это догмат; его исповедуют перед массами, но ему не следуют. Рёсле, развивая эту мысль Гитлера в своей книге «Героическая политика», стремится доказать, что правильность политической идеи вообще недоказуема. «Как например, — спрашивает он, — можно доказать необходимость присоединения Австрии к Германии? Чем меньше конкретности в политической программе, тем она лучше». «Выполнение политической программы не является обязательным», — восклицает Рёсле. Геринг, который действует по принципу: «Что у Гитлера на уме, то у меня на языке», откровенно разъясняет: «Программа не имеет решающего значения... Наши штурмовики являются носителями нашей программы. Все то, что может служить укреплению Германии, признается нами в качестве единственных программных пунктов. Все остальное уничтожается или отбрасывается».

Таким образом, фашизм заявляет, что он рассматривает свои воззрения как религиозные догматы, не подлежащие изменению, оставляя за собой в то же время полную свободу в обращении с этими догматами. Для масс это должно быть вечной и непреложной истиной, для вождей — ни к чему не обязывающим обещанием. Право суждения о том, что служит укреплению Германии, вожди фашизма оставляют за собой, ибо массе, как это разъяснил в одной из своих речей Гитлер, нельзя доверять обсуждение вопросов большой политики. Согласно фашистскому учению, нация целиком поглощается нацистской партией. Эта последняя не имеет права обсуждать, она целиком должна подчиняться воле вождей, вожди же — только слуги «верховного вождя», который, как уверяет Геринг, «послан Германией господом богом».



Изучение «научных» дисциплин

II

Завершением и итогом всех потуг фашистской мысли является несомненно так называемая расовая «теория», объявленная альфой и омегой премудрости. Фашистские пропагандисты не начинают и не заканчивают своих речей без апелляции к «учению» о расах. Национал-социалистский конгресс 1933 года был целиком посвящен в той или иной связи с порядком дня вопросам расовой «теории». Почему же таким людям, которые никогда и не углублялись в теорию, вздумалось заняться на своем партийном конгрессе отвлеченной проблемой учения о расах? Суть дела в том, что расовая «теория» — не отвлеченность. Пусть она сумасбродна, достойна всяческой издевки, насквозь противоречива, — она имеет свою практическую цель. Это — откровенная теория империализма, средство воспитания будущих солдат в повиновении интересам германских капиталистических зубров.

Именно поэтому ей и уделяется так много внимания.

Разумеется, дело здесь вовсе не в учении о строении черепа или учении о роли цвета кожи в формировании человеческого типа. Все это — лишь неизбежные накладные расходы, без которых нельзя обойтись, если хочешь выдать социальное шарлатанство за научную теорию.

Присмотримся к этим взглядам поближе.

Основные тезисы расовой теории весьма несложны и незамысловаты. Человечество делится на «арийцев» и «неарийцев». Неравенство рас объявляется законом природы. Грани между различными расами — непреодолимы. Германская раса — высшая раса, посланная на землю в качестве единственного создателя и хранителя культуры. Исчезновение германской расы равносильно краху всей человеческой культуры. Германская раса призвана поэтому господствовать над другими. Сохранение чистоты кро-

ви германской расы предохранит ее от распада, обеспечив ей господствующее положение в мире. Всякий политический распад нации объясняется несоблюдением правил о сохранении чистоты крови, — кровосмешением. История — это борьба рас. Сильная раса должна господствовать над слабой, — таков «естественный, неумолимый и вечный» закон.

Империалистический смысл этой «теории» совершенно ясен.

Правда, в последнее время лидеры национал-социализма пытаются увильнуть от своих собственных слов, сказанных раньше. Они надеялись, что стбит им провозгласить французов «помесью евреев и негров», поляков, чехов и русских — неполноценными, стбит возвести англичан в разряд арийцев, как ошеломленные и осчастливленные народы немедленно бросятся в объятия «высшей расы». Фашистам казалось, что все человечество, переполненное чувством благодарности, пригласит господина Розенберга в качестве наемного укротителя и повелителя всех «неполноценных» элементов, а остальным «вождям» поручит навести порядок в мире, где «низшие расы» никак не могут устроить свою собственную жизнь. Действительность оказалась жестокой и безжалостной. Вместо благодарности народные массы во всех частях мира с негодованием и презрением отвергли претензии фашистов измерять ценность расового типа физическими и моральными качествами гомосексуалиста Рема или проходимца Розенберга. Лидеры фашизма теперь говорят: «Расовая теория не стремится возвеличить германскую расу, она лишь защищает ее от унижения». Однако эта запоздалая увертка — результат воздействия мирового общественного мнения — никого не убедит. Книги, написанные господами Розенбергами, издаются и переиздаются. Штатные и внештатные «расисты» продолжают распространять эти взгляды фашизма без всяких поправок.

Замечательно, что самое понятие расы, законы ее формирования и ее отличительные признаки нигде не разъясняются. Господин Розенберг, пожалуй,

единственный, кто поднимает завесу над этой тайной. Вот что он рассказывает: «Жизнь расы, народа — это не логически развивающийся процесс, согласно естественным законам, это развитие мистического синтеза, деятельность духа, которые не объясняются путем умозаключений и не могут быть сделаны понятными путем изложения причин и следствий...»

Это авторитетное разъяснение достойно хрестоматии. После него трудно требовать чего-либо большего. Если один из виднейших «расистов» заявляет, что жизнь расы есть нечто совершенно непонятное и мистическое, что он сам не знает, что это такое, то простым смертным остается только дивиться ловкости рук фашистского фокусника, играющего крапелеными картами.

Значительно большая ясность царит в вопросе о том, кто является представителем германской расы. В толстых «ученых» книгах представители германской расы изображаются как «белокурые, голубоглазые, стройные люди». Приведем описание «германского человека» из книги Эйхенгауэра «Раса как жизненный закон», предназначенной в качестве пособия при преподавании расовой «теории» в школах. «Фигура представителя северной (она же германская. — И. Б.) расы, — пишет Эйхенгауэр, — высока и стройна, рост мужчины в среднем 1,75 м. Ноги длинные, однако не слишком, руки также длинные, но не слишком длинные, плечи широкие. К телесной полноте представители северной расы не предрасположены... Они длинноголовы и узколицы. Представители северной расы — блондины различных оттенков. Волосы — гладкие или волнистые. Глаза голубые или серые...»

Замечательно эта точность в определении роста «германского человека», а в особенности длины ног и рук, — «длинных, но не слишком!» Если применить эту мерку к современному населению Германии, то в число представителей северной расы попадут лишь очень и очень немногие. Сам глава расовой «теории», Гюнтер, считает, что представителей чисто северной расы в Германии



«Пропандист»

6—8 процентов. Если в самой Германии, в «стране, избранной богом», только 6—8 процентов чистокровных представителей северной расы, то среди других народов, обойденных божим промыслом, число их еще меньше. Чего же стоит весь разговор об избранной расе, когда ее чистота законсервирована лишь в ничтожной доле всего населения, остальное же население смешало свою кровь с другими расами! Совершенно очевидно, что сущность и цель расовой теории не сводятся к процентным вычислениям чистоты крови. Они не сводятся также и к измерению черепов или определению внешних признаков расы. Дело измерения черепов, к тому же, весьма щекотливое занятие. А вдруг они подведут...

Поэтому при определении свойств «германского человека» наибольшее внимание обращается на его «духовные» ка-

чества. К этим последним относятся: воинственность, смелость, преданность отечеству, чувство долга, верность. Фашистские «историки» уверяют, что именно этими качествами обладали древние германские племена. Фашистские политики пропагандируют эти качества как идеальные, превозносят их как свойства «истинных немцев» и «истинных» национал-социалистов. Даже самый бесхитростный человек без затруднений поймет, что все эти качества — наиболее желательные качества для солдата империалистической армии, что дело здесь — не в истории и не в морали, а просто-напросто в психологической подготовке кадров войны! «История» притянута сюда лишь как средство оправдания сегодняшних задач и вожделий германского империализма.

Человеческая история представляется германским фашистам как история борьбы германской расы с другими, «низшими» расами. Голубоглазые, белокурые, стройные люди, оказывается, являются единственными творцами исторического процесса, единственными созидателями человеческой культуры. Люди, имевшие неосторожность обзавестись черными локонами и темными глазами, тем самым обрекли себя на полную бесплодность. Историю творят блондины. Все хорошее и великое исходит лишь от них. Брюнеты — те не обладают никакой творческой инициативой, они в лучшем случае только имитаторы.

Трудно поверить, что такая простая мысль не пришла в голову представителям другого лагеря. Отныне исторический анализ становится невиданно легким. Ученому не нужно более изучать историческую обстановку и экономику эпохи, не нужно устанавливать цепь причин и влияний. Единственная его задача — провести регистрацию всех великих людей прошлого, подразделив их на блондинов и брюнетов. Соответственно этому следует подразделить и исторические факты. Если какие-либо исторические факты совершены безукоризненными блондинами, то их следует относить в железный фонд истории. Брюнеты, те ни на что хорошее не способны, и все созданное ими являло лишь

вред. В книгах германских фашистов, посвященных «анализу» истории, совершенно всерьез проводится эта «идея». Из огромного числа подобных книг укажем лишь только на «труд» Розенберга «Миф XX века» и «Расу и культуру» Бальтцера. И первый, и второй перечисляют некоторые исторические факты, относя все великое за счет деятельности «белокурых, голубоглазых» людей. Так, по Розенбергу, господствующий слой древнего Египта принадлежал к гегерной, германской расе. Это были «голубоглазые, белокожие люди». Основатели Иерусалима были представителями «северной расы», — они стали господствующим слоем в Галилее, и из этого слоя вышел Христос. Заратустра был арийцем. Германцы, игравшие основную роль в период расцвета Римской империи, продолжают играть ее и теперь, когда пришедший с севера фашизм снова пытается пробудить к жизни старые ценности. Все государства Запада и их творческие ценности созданы германцами. При полном исчезновении в Европе германской крови погибнет вся западная культура. Данте, по Розенбергу, «северный итальянец». То же и Тициан. «Все, что мы сейчас абстрактно называем наукой, является результатом германской творческой силы». У семитов и арабов отсутствуют признаки творческих способностей. Русские не создали никаких идей для человечества. Поляки и чехи — неполноценны и импотентны. Вот небольшое число «перлов мысли» из богатой сокровищницы недалекого и напыщенного Розенберга, который не только считается лучшим фашистским «теоретиком», но и ведает всем делом национал-социалистского воспитания. Не трудно себе представить, что проповедуют подручные Розенберга в своих устных выступлениях. Узколобый шовинизм и беззастенчивая фальсификация истории состязаются здесь с средневековым мракобесием. Герман Бальтцер в своей книге «Раса и культура» причисляет к германцам также Леонардо да-Винчи, Наполеона, Сервантеса и многих других. Все великие люди, почему-либо неугодные фашизму, или просто снимаются с прежде зани-

мавшихся ими постов, или зачисляются в разряд «представителей разрушительного духа».

«Исторический метод» Розенберга, Бальтцера и всех других фашистских «теоретиков» очень несложен. После того, как человечество и все исторические деятели подразделены на порядочных блондинов и зловредных брюнетов, «историки» приступают к систематической фальсификации. Если исторический деятель является безусловным блондином и патриотом, — тогда, даже будучи перворазрядной посредственностью, он немедленно зачисляется в национальные герои и объявляется великим. Если он не совсем безукоризненный блондин, но зато несомненный, дубовый шовинист, то его величие как же никак не поколеблется цветом волос. Так раскапываются и возводятся на пьедестал давно забытые патриотические бездарности и проходимцы.

Но совсем другое дело, если взгляды или поведение исторического деятеля совершенно неприемлемы для фашизма. Тогда начинаются кропотливые изыскания. Строго проверяется: был ли этот исторический деятель блондином и — если у него были голубые глаза — не были ли его волосы темными? Если по части внешности все благополучно, то проверяется происхождение: не было ли в числе предков этого сомнительного великого человека брюнетов — бабушки или дедушки? Исторический деятель, выдерживая испытание по части происхождения и внешности, все же не попадет в число великих людей: его идеология и поведение объявляются несоответствующими «германскому духу». А раз великий человек не соответствует «германскому духу», этого достаточно для того, чтобы объявить его неарийцем. После этого уже ничего не стоит «списать» такого человека в разряд нетворческих или просто объявить несуществующим.

В Германии проводится «чистка» исторических фактов и деятелей. Подобно тому, как из университетов, государственных и общественных учреждений исключались все нежелательные фашизму элементы под тем предлогом, что они неарийцы или что они не являются

представителями «германского образа мыслей», так и из истории исключаются все неблагонадежные элементы. Поскольку после такой полицейской операции по отношению к истории число великих людей «германского происхождения» оказывается весьма незначительным, приходится прибегнуть к позаимствованию их у других наций. Германцами, как мы видели, объявляются Наполеон, Тициан, Данте, Сервантес, Заратустра, Христос. Это — уже настоящее воровство, так сказать, арийство со взломом. Воровство это, в известных пределах, проходит безнаказанным, разве тот или иной ученый уличит фашистских «историков» в мошенничестве. Фашисты в области истории, как и во всех областях, «работают» с циничной беззастенчивостью, рассчитывая на невежество или беззаботность. Пойди, проверь—был ли Заратустра блондином?..

Цель, поставленная фашистами исторической «науке», ее единственное назначение — иллюстрировать то положение, что вся культура создана германцами, что им принадлежит право превосходства и господства. Фашистский «теоретик» Вильгельм Рэсле в своей книге, «Героическая политика» оправдывает фальсификацию истории заявлением: «История не знает законов. История — это тайна». Одновременно с этим он дает директиву: «Историю нельзя рассматривать нейтрально». Фашистские «историки» своей фальсификацией преследуют вполне практическую цель. Подтасовывая факты и извращая их по отношению к истории, они тем самым аргументируют захватнические цели фашизма. Раз германская раса является «созидателем культуры» и «народом господ», то нужно обеспечить германскому империализму господствующее положение. Под видом господства германской расы должно быть обеспечено и господство германского капитала над соседними народами. С этой целью и перелицовывается история.

Право германского империализма на гегемонию фашисты пытаются оправдать историей человеческой культуры.

Незадачливые «историки» рисуют древних германцев белокурыми, голубо-



Носитель «истинно-германского духа»

глазными, стройными людьми. Они не задумывались над тем, попадут ли в число представителей германской расы современные лидеры фашизма, — их черепов никто не измерял. Правда, была выпущена специальная книжка, посвященная характеристике вождей фашизма с точки зрения расовой «теории». Там подробно разбирались цвет волос, глаз и строение черепов фашистских лидеров: Гитлера, Геринга, Розенберга, Геббельса, Рема и других. К книге приложена разграфленная на клеточки фигура черепа «германского человека». На ней было дано графическое определение местонахождения в черепе таких чувств, как любовь к отечеству, чувство семьянина, верности, дружбы. Под фотографией каждого из фашистских деятелей был дан подробный перечень качеств «германского человека», присущих

тому или иному вождю. Наиболее ярким представителем германской расы оказался, разумеется, Гитлер. Говоря о Геббельсе, автор книги ограничился, сухим замечанием относительно его «арийской манеры речи».

Книга эта даже самим вождям германского фашизма показалась откровенным издевательством. Она была немедленно запрещена. Полное противоречие между внешними признаками фашистских вождей и описанием «германского человека», как оно дается в учебниках по «истории», очевидно, не могло быть прикрито грубой лестью незадачливого автора. Таким образом, просвещенный мир лишился единственного руководства по черепным коробкам фашистских деятелей. Ему остается только присмотреться к их внешности простым, невосторуженным глазом. Какая безжалостная ирония и издевка истории! Ни один из современных деятелей фашизма не удовлетворяет даже самым либеральным требованиям расовой «теории», они ничем не напоминают «белокурых, голубоглазых, стройных людей».

Одни из них, действительно, блондины, но зато отличаются таким строением фигуры, которое нельзя назвать ни стройным, ни мужественным. Другие стройны, но, как назло, совершенно недвусмысленные брютеты. Третьи обладают стройностью верблюда и к тому же страдают весьма существенными физическими недостатками (не говоря уже о моральных). Господин Розенберг например никак не успел обзавестись духовными качествами «древних германцев». Он постоянен лишь в качестве перебежчика и авантюриста, любовь же к родине просто не успел проявить, так как не успел приобрести отечества. Внешность основных деятелей фашизма не вместилась в намеченные «теорией» рамки, — зато они вполне обладают «германским духом»!

Для одурачивания масс заводятся специальные картотеки, где регистрируются прадеды и прабабушки. Неудобные фашизму элементы выгоняются, подвергаются издевательствам под предлогом неарийского происхождения. Штурмовики устраивают еврейские погромы, чер-

носотенцы ведут антисемитскую пропаганду. Когда читаешь грязные антисемитские листки и брошюры германских фашистов, ощущение грязи настолько сильно и реально, что хочется немедленно вымыть руки. Российские Пуришкевичи — только жалкие пигмеи в сравнении с германскими официальными представителями антисемитизма. Фашисты воспитывают, культивируют и провозируют самый разнузданный и варварский антисемитизм. Но это — лишь одно из проявлений культивируемой в современной Германии ненависти к представителям других наций. «Боязнь нашим временем шовинизма — это признак его импотентности» — сказал Гитлер еще до прихода к власти. В угоду этому зоологическому принципу всячески раздувается ненависть ко всему иностранному, пренебрежение к зарубежной культуре, чванливое высокомерие.

В пивных Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Лейпцига, в вагоне железной дороги, — всюду вы встретите добровольного или наемного пропагандиста расовой «теории». Это обычно юркий молодой человек, наизусть знающий несколько цитат из книг Гитлера и Розенберга. Исторические знания не обременяют его сознания. С наукой он вообще находится в чрезвычайно холодных и натянутых отношениях. Он рассказывает о сущности расовой «теории», о господстве германцев в древнем Египте и в Риме, о неполноценности французов, русских и поляков. В его интерпретации Российское государство было создано представителями германской крови. Большеизм же — порождение азиатского духа. Французы — это смесь негров и евреев. Итальянцы также грешны по части кровосмешения, они не являются представителями северной расы, вообще они — постоянные предатели, страдающие отсутствием чувства верности к своим союзникам.

Официальные деятели правительства говорят теперь иным языком, чем до прихода к власти, пропагандист же сохраняет свою воинственность и с наигранным пылом защищает избранничество германской расы. Он, в разговоре

с своим соседом, разъясняет, что дружеские отношения с поляками — это вынужденный маневр, что Германии приходится маневрировать, чтоб выиграть время. Он шепчет о том, что Германия задыхается на своей территории, что она нуждается в колониях и территориях на Востоке. Тот же ход мыслей развивается и на занятиях штурмовых отрядов и в школах.

Приспособленная к задачам внутренней политики, эта теория направляет недовольство масс капиталистическим строем в русло расовой вражды, надеясь отвлечь их внимание от голода, нужды и произвола, царящих в стране.

Изустная пропаганда откровенна, она не знает условных оборотов речи и любвеобильных деклараций, к которым вынуждены прибегать официальные деятели в своих выступлениях. Кое-кто удивляется тому, что вожди германского фашизма, произнося сейчас почти пацифистские речи, продолжают печатать и рекомендовать в качестве учебников свои старые книги, в которых они решали все вопросы внешней политики мечом и огнем. Ответ на это может быть только один: поскольку эти книги вы-

ражают истинные намерения фашистов, они являются не только историческим документом, но и ортодоксальным учебником для штурмовиков, рейхсверовцев, охранных дружин, школы. В них же сказано о необходимости завоевания территории для Германии, притом не в колониях, а на Востоке и, в первую очередь, за счет СССР. Там сказано также, что французы — «смертельные враги» Германии и т. д., и т. п. Все эти положения вколачиваются в сознание будущих солдат совершенно независимо от мирных деклараций правительства.

Изустная фашистская пропаганда развязала самые дикие, самые темные силы и страсти. Ортодоксальный нацист утверждает превосходство нутра над разумом, инстинкта — над сознанием, мистицизма — над научным экспери-



Жалованная грамота

ментом. Он внушает презрение к доказательствам и эмпирическим фактам. Фашизм провозглашает некое таинственное первородство «германского духа»: немец — это высшее существо, независимо от его способностей, знаний, культуры и жизненного опыта! Интеллигентность и культура, понимаемая в смысле освоения знаний, накопленного человечеством, третируются как «гнилой интеллектуализм». Тем самым невежество и бескультуре возводятся в принцип. Стоило только бабушке какого-нибудь владельца пивной оказаться «чистой немкой», как ее внук одаряется таинственным талантом, не познаваемой разумом силой превосходства над представителями других народов. Мещанин, не отличающийся никакими иными достоинствами, кроме мнимого состава крови своей бабушки, никогда не задумывавшийся всерьез над социальными вопросами, вылезает из своей щели на улицу, претя в учреждения, усаживается в мягкое кресло и начинает расправляться, заполняя опустевшее после разгона германской интеллигенции пространство. Заучив несколько цитат из Гитлера и Розенберга, он вкладывает в них всю «философию» истории и всю современную политику. В газете он скучно, нудно и в высшей степени пошло пишет антисемитские и черносотенные статьи, с обязательным перевертыванием цитат, со ссылкой на Гитлера и апологией нацизму. В пивной он рассказывает генеалогию своих предков, дома заводит специальный альбом, где родословное дерево доведено до пятого колена. Он громит иностранцев и современную культуру, громит финансовых магнатов, но не германских, а иностранных, и не за то, что они эксплуататоры, а за то, что капитализм использует машины, что он ликвидировал феодализм и средневековый строй. Он недоволен банками лишь потому, что они берут с него, лавочника, большие проценты. Паразитический характер всего современного капитализма его не интересует, до этого он не может дойти. Фашизм всячески раздувает в лавочнике инстинкт собственности, доводя его до изуверства.

То и дело в газетах появляются сообщения об избиении того или иного иностранца, об арестах ни в чем повинных людей. Но это лишь крайние проявления царящей в фашистской Германии атмосферы. Фашизм объявил борьбу чувству гостеприимства по отношению к иностранцам. Если вы не можете скрыть своего акцента, вы не встретите среди представителей нацизма людей, которые помогли бы вам ориентироваться, заговорили бы с вами, как с гостем, которому показывают свой дом. Лавочник, разагитированный фашистами, видит в каждом иностранце или своего врага или, в лучшем случае, низшее существо.

Однако фашизму не удалось, несмотря на многошумную рекламу и неутомимое — всеми средствами принуждения — вколачивание своей идеологии, развратить сознание широких народных масс. Все антисемитские выходки и избиения иностранцев были проведены только штурмовниками и членами нацистской партии. Широкие народные массы не заражены «философией» расизма и, несмотря на все усилия нацистов, относятся к их пропаганде с презрением. В особенности — рабочие. Огромное количество поговорок и анекдотов, высмеивающих расизм, — характерный ответ народных масс на попытки втолкнуть расовую «теорию» в народное сознание.

Разагитированный фашистами лавочник считает свое невежество и варварство достоинством; он высокомерен и кичится германским происхождением. Немцу, считает он, все позволено, его законы отличны от законов других народов. Самое мистическое существо современной Германии — это так называемый «германский дух». Когда, вопреки всем международным обычаям и правовым нормам, происходит расправа над «внутренними врагами», тогда фашисты ссылаются на «германское право, являющееся порождением германского духа». Теоретики права, защищая топор палача вместо расстрела или гильотинирования, ссылаются также на германский дух.

Если фашизм, бросая в массы все эти идеи, требует от чиновников предста-

вления удостоверения об арийском происхождении со времени Французской революции, то иначе обстоит дело в отношении верхушки. Не-арийцы — банкиры и промышленники совершенно не пострадали от практического применения расовой «теории».

Вообще расовая теория оказывается весьма гибкой. Согласно букве расовой «теории», все арийцы должны быть нацистами, все национал-социалисты, в свою очередь, — арийцами. Не-германцы конечно не могут быть нацистами, и все антифашисты, по теории, должны быть из числа не-германцев. Однако действительность разбивает общество на врагов и друзей не по расам, а по классам. В практической внутренней политике фашизм не руководится соображениями о внешних признаках арийской расы. На нюрнбергском съезде в 1933 году Гитлер следующим образом разъяснил политику подбора кадров, проводимую нацизмом: «Решающим является то, какими методами нужно отбирать тех наших последователей, которые могли бы быть единственными творческими силами в нашем народном организме. Здесь была только одна возможность: нельзя было на основании расовой принадлежности судить о способностях человека, наоборот, надо было от способностей делать заключение к его расовым качествам. Способности же человека можно установить путем оценки реакции отдельного человека на вновь прокламируемую идею. Это — безошибочный метод отбора людей, ибо каждый прислушивается к тому голосу, который определяется его внутренним миром»... Смысл этой нарочито затуманенной фразы заключается в следующем простом соображении: при отборе кадров фашизма имеет значение не вопрос о расовой принадлежности, а вопрос об отношении того или иного человека к фашизму. Если человек объявляет себя сторонником фашизма и проводит это на практике, то это значит, что в нем заговорил «внутренний голос его расы». Если он остается антифашистом, то тем самым в нем говорит «неарийская кровь». Так, очень просто, отменяются всяческие рискованные соображения о цвете волос и глаз, заменяясь

единственным практическим критерием — отношением к национал-социализму. После этого легко можно объявить всех коммунистов «не-арийцами», а всех национал-социалистов — чистокровными представителями «германской расы». Белокурые волосы не спасли ни одного коммуниста от расправы, брюнеты же зачастую заседают в «расовых комитетах», определяя чистоту крови и верша государственные судьбы.

Вся суть расовой «теории», целиком и без остатка, сводится к пропаганде разнузданного шовинизма и империализма. Ее значение было немедленно разгадано соседями Германии. Тогда в спешном порядке в «теорию» стали вноситься коррективы. В первую очередь из обсуждения был изъят вопрос о расовой принадлежности итальянцев и венгерцев. Учитывая враждебности Японии к СССР, японцев объявили «пруссакими Востока». Потом была внесена и дальнейшая поправка: «Теория — это одно дело, а практическая политика — совсем другое». Под шумок же продолжала исповедываться та расовая «теория», которая была изложена Гитлером и Розенбергом еще до прихода нацизма к власти.

Первый тезис этой теории формулирован Гитлером с прямотой и откровенностью: «Национал-социализм, — говорит он, — не верит в равенство рас и вместе с признанием их различия признает также высшую и низшую ценность расы. Соответственно высшей воле, управляющей миром, он считает себя обязанным требовать предпочтения сильному и подчинения со стороны слабого. Тем самым он восхваляет аристократические принципы природы и уверен в значимости этого закона вплоть до отдельного существа...»

Гитлер считает, что так называемые «нижние расы» вообще не способны подняться на высшую ступень развития. Образование, получаемое неграми, он называет «дрессировкой», заявляя, что в этом случае речь идет именно «о дрессировке, точно так же, как и при дрессировке пуделя». Давать образование неграм — это «преступная насмешка... дрессировать полуобезьяну, пока пока-

жется, что из нее получился адвокат»... Или: «Различия между отдельными расами могут быть как внешне, так и внутренне огромными. Дистанция, отделяющая низшее существо, еще называемое человеком, от представителя высшей расы, — больше, чем между низшим существом и высшим типом обезьяны».

Высшая раса должна господствовать над низшей. «Скрещивание представителя высшей расы с представителем низшей противоречит воле природы к развитию высшего типа человека. Предпосылкой к этому развитию является не связь между высшим и низшим типом, а полная победа высшего типа. Предназначение сильного — господствовать, а не растворяться среди представителей низших типов и тем самым жертвовать своим величием»... Чтобы этот тезис был еще более понятным, Гитлер иллюстрирует его следующим соображением: «Лиса всегда останется лисой, а курица — курицей. Различие в пределах определенного типа может быть, самое большее, в различной степени ума, ловкости, выносливости отдельных экземпляров. Однако никогда не удастся найти лису, которая бы в соответствии со своим душевным складом могла иметь гуманную предрасположенность по отношению к курам, так же, как нет кошки, которая имела бы дружественную предрасположенность к мышам».

Итак, человечество делится на лис и кур или, если хотите, на кошек и мышей. Национал-социалисты, изображая самих себя, весьма нескромно, представителями «высшей расы», берут на себя роль лис и кошек. Остальное человечество, являясь неарийским и вообще нечистокровным, должно быть только средством для процветания «германского типа». Правда, эта открыто провозглашаемая философия вовсе не свидетельствует о большой хитрости представителей породы лис. Лисы, как известно, никогда не заявляют своим жертвам заранее, что предназначение последних состоит в том, чтобы быть блюдом для более сильного зверя. Национал-социалисты, повидимому, твердо убеждены, что «низшие расы» не читают книг и не

сделают для себя никакого вывода из фашистской «философии». Они рассчитывают, что после того, как расовая «теория» открыта, представителям низших рас ничего иного не остается, кроме того, чтобы отнести себя к породе мышей, т.-е. быть наиболее вкусным блюдом для национал-социализма.

Картина исторического развития представляется фашизму соответственно «взаимотношениям» кошек и мышей. Мы уже знаем, что «высшая раса» — это германская раса, однако лишь та ее часть, которая «своим нутром» поняла истину фашизма. История прошлого рисуется фашистам так, как они хотели бы видеть ее в настоящем. «Не является случайностью то, — говорит Гитлер, — что арийцы, встречаясь с низшими народами, подчиняли их себе и делали орудием своей воли. Низшие народы становились, таким образом, первыми техническими орудиями становящейся культуры»...

Незавидной была участь не-арийцев! Разумеется, процесс превращения низших рас в «первые технические орудия становящейся культуры» не проходил идилично. «Высшая раса, — говорил Гитлер на партийном конгрессе в 1933 г., — высшая прежде всего в смысле организаторских способностей, подчиняет себе низшую расу и вступает таким образом в отношения, охватывающие с этого момента неравноценные расы. Следствием этого является подчинение некоего множества людей воле частно лишь немногих, воле, основанной исключительно на праве сильного, правé, которое с точки зрения природы является единственно возможным, ибо оно разумно. Как мало добровольно или радостно дикий мустанг принимает на себя ярмо человека, так же мало добровольно и радостно принимает на себя один народ насилие другого. Однако, в течение длительного периода развития, из этого принудительного отношения очень часто возникает благоволение для всех... Представитель высшей расы шел по земле как завоеватель, — он подчинял себе низшие расы и регулировал затем их практическую деятельность соответственно своей воле и своим целям...»

Разумеется, вся эта «философия» не имеет никакого отношения к фактам истории, не состоит ни в каком родстве с наукой. Ведь если высшими представителями человеческой расы являются германцы, то чем объяснить то обстоятельство, что в то время, как в Европе и в Азии давно существовали большие культурные государства, Германия была раздираема борьбой отдельных провинций, герцогств и княжеств. Эти князья и герцоги то попадали под власть тех или иных «не-арийцев», то продавали свои войска не-германским соседям. Известно, что конец восемнадцатого века германской историей характеризуется тем, что владетельные германские князья субсидировались Францией и Англией, поставляя им войска из своих подданных, были ландскнехтами, наемными солдатами «не-германских» правителей.

Вот этих-то наемных солдат, которые «подчиняли себе низшие расы и регулировали их практическую деятельность соответственно своим целям», германский фашизм и считает арийцами! Отсюда, из этого разбойничьего нападения на другие народы, из угнетения и грабежа их, и «возникло благоволение для всех». Теперь национал-социализм цинично предлагает себя в качестве хранителей традиций герцогов, торговавших телом и кровью своих подданных. Он убеждает, что из этого также родится «благоволение для всех». «История»

здесь притянута за волосы. Все дело в том, что фашизм именно себя хочет видеть в образе арийца-завоевателя.

Однако во всей этой «философии» забыто одно немаловажное обстоятельство. Вообразив себя сильным зверем, фашизм забыл о том, что угнетенные народы жестоко мстят своим угнетателям,

что сила фашизма существует лишь в разгоряченном воображении его лидеров. Германскому фашизму, вследствие отчаяния мелкобуржуазии, удалось стать путем демагогии и насилия во главе большой страны. Это произошло вовсе не по праву сильного, а лишь потому, что фашизм является средством наиболее открытого насилия над массами, которое буржуазия выдвигает в период своей слабости, в период наиболее острой угрозы капитализму со стороны пролетариата.

Ариец, как разъяснялось нам, шел по земле завоевателем. Он господствовал. Если ему не удалось сохранить своего господства дальше, то это объясняется тем, что

ариец «перестал рассматривать себя как господина» и стал уравнивать себя с другими расами. Тогда наступил крах арийского господства. «Если бы германский народ в своем развитии сохранил единство, — пишет Гитлер, — тогда германское государство было бы сегодня, вероятно, господином всего земного шара. Мировая история приняла бы иное направление, и ни один человек не может сказать, не наступило ли



бы на этом пути то состояние, которое надеются вымолить пацифисты, т.-е. мир, упроченный не пальмовыми ветвями слезобильных пацифистских плакатщиц, а основанный посредством победоносного меча народа господ... Высшей миссией Германии является, по Гитлеру, задача «сохранения и развития высшего типа человека, ниспосланного земле добротой всевышнего»... Он не сомневается в том, что в будущем человечество может столкнуться с проблемами, к решению которых будет призвана лишь «высшая раса, как народ господ, опирающийся на средства и возможности всего земного шара»...

Мечты германского империализма уходят в далекое будущее. Меньшим, чем весь земной шар, «народ господ» не может удовлетвориться. Однако напрасно думать, что, когда фашисты говорят о «высшей» расе или «народе господ», они имеют в виду германский народ или германскую расу. Если и употребляются эти «обороты» речи, то лишь для того, чтобы внушить немецкому лавочнику чувство спеси, заставить его подумать, что он, чумазый, — действительно «высший человеческий тип». Лидеры фашизма в своих книгах и выступлениях разъясняют, что достоинства расы концентрируются лишь у избранного меньшинства. Они — подлинники представители расы и носители германского духа. Остальные — лишь стадо баранов. «Высшими представителями расы» являются сегодняшние вожди фашизма и магнаты индустрии финансов и торговли. К этому сводится вся сказка про белокурого, голубоглазого человека.

Национал-социализм, фальсифицируя историю, стремится внушить будущему солдату, что он, будучи немцем, тем самым принадлежит к «народу господ», что его предки были завоевателями и подчиняли себе другие народы, что Наполеон и Сервантес — его ближайшие родственники и поэтому он имеет право — «право сильного» и «наиболее культурного» — господствовать над другими народами. Разумеется, этот солдат, даже в случае удачи германского империализма, господствовать не будет. Господствовать будут другие, — те, кто будет да-

вать и делать оружие, давать и делать деньги. Если этот будущий солдат не разочаруется, не поймет и не разоблачит идеологов фашизма, ему останется только одно утешение, чисто платоническое, — считать себя принадлежащим к «народу господ» и просить милостыню на перекрестке улиц. Фашизм внушает будущему солдату, сегодняшнему штурмовику, что, завоевывая колонии для германского империализма, он будет выполнять историческую миссию, что, унекая негров, он действует лишь по праву сильного, ибо негр — это полуобезьяна...

III

Принцип «расовой теории», как уже сказано, используется и во внутренней политике, проводимой германским фашизмом. Так, все антифашисты объявляются неполноценными людьми, — людьми второго сорта. Такие люди должны подвергаться лишь наказанию. Наказание должно не воспитывать, а запугивать. Человека нельзя исправить, его можно лишь изолировать или устранить. «Неблагонадежность» объясняется не влияниями и условиями жизни, а заключается в самой крови, так же как в крови коренятся и нацистские добродетели. Именно эти сумасбродные идеи лежат в основе закона о стерилизации «неполноценных элементов». Именно в этих предпосылках заключена теория оправдания всяческих зверств по отношению к антифашистам. Раз политические убеждения и практическое поведение обусловлены составом крови, то из этого можно сделать множество практических выводов. Еще не изобретено такого инструмента, которым можно было бы определять состав крови. Да и это неважно. О самом составе крови, как учит фашизм и как он практически поступает, надо судить по политическим убеждениям человека. Так как состав крови нельзя изменить ни путем скрещивания «низших» типов с высшими (ибо от этого «низшие» ничего не приобретают, а «высшие» только теряют свое первородство), то остается одно — уничтожение «неполноценных», «низших» человеческих особей. Таким обра-

зом, национал-социализм подводит под свою варварскую, дикую расправу над рабочим классом «теоретическую» базу. Единственный смысл ее — оправдать произвол и империалистические вожделения.

Так называемая «расовая политика» служит политическим средством борьбы с пролетариатом. Борьба же за «оздоровление расы» — это не что иное, как политика накопления пушечного мяса и расправы с инакомыслящими. Создание кадров здоровых физически солдат — вот цель и идеал «расовой политики». Поэтому «слабые и неполноценные» элементы не должны поддерживаться за счет общества. Они должны лишаться возможности воспроизводить потомство.

Даррэ в одной из своих книг проповедует идею воссоздания нового дворянства. Это дворянство создается путем отбора и регулирования половых связей. В качестве примера регулирования, которому нужно следовать, Даррэ приводит наблюдение за скрещиванием в мире животных. Короче говоря, должно быть учреждено что-то вроде случайных пунктов. Все германские девушки, в зависимости от «здоровья и чистоты крови», делятся, по мысли Даррэ, на несколько категорий. Одной из них рекомендуется вступать в брак и иметь детей. Второй категории разрешается вступать в брак, но не разрешается иметь детей. Третьей категории не разрешается вступать в брак и не разрешается иметь детей... Такая система регламентации воспроизводства человеческого рода должна «оздоровить» германскую расу... Уполномоченные Даррэ будут следить за тем, чтобы не было кровосмешений, они будут выдавать разрешения на брак и рекомендовать мужей и жен; некоторым они будут запрещать вступать в брак... Не случайно все эти меры разработал министр земледелия — Даррэ: у него, очевидно, богатый опыт по случке животных. Когда же речь идет о воспроизводстве пушечного мяса, разве можно считаться с человеческими чувствами? Чувство любви — это только «гуманитарное суеверие». Оно вообще, как разъясняет Розенберг, ослабляет

человеческую волю и снижает ценность расового типа. Женщина же — это только орудие деторождения. Она должна поставлять пушечное мясо и воспитывать будущего солдата в духе повинования. Какое право имеет она на равенство с мужчиной, «организатором государства»!

Так возникает эта «расовая политика» — пример величайшего издевательства над человеком, над его чувствами, над культурой отношения человека к человеку. И все это — в угоду эгоистическим целям империализма!

Фашистская Германия живет атмосферой подготовки к войне. Расовая «теория» носит не оборонный характер, а наступательный. Она обеспечивает подготовку пушечного мяса, она же подкрепляет и расправу с революционным движением пролетариата.

Ораторы призывают к развитию солдатских добродетелей. В школах и университетах военная подготовка поставлена на первое место. Для дела военной подготовки мобилизована вся страна. Постоянно устраиваются парады, проводится широкая подготовка к воздушной войне. Кажется, что война начнется если не сегодня, то завтра.

Именно в этой атмосфере и рождаются такие книги, как книга Банзе «Географи унд взвилле». Эта книга является программой для официально культивируемой идеологии, сколько бы от нее ни открещивались официальные круги. «Нашим лозунгом, — пишет этот национал-социалистский «теоретик», — является не накачивание возможно большего количества научного материала, а то, чтобы сделать стальными нервы германского народа, довести его боеспособность и волю до непревосходимой высоты...» Другой фашистский теоретик, Гаусгофер, оценивая в своей брошюре «Вервилле альс фольксциль» состояние Германии накануне мировой войны, пишет: «Военная машина Германии в момент начала мировой войны была в достойном восхищения состоянии. Она была предметом удивления даже со стороны врагов. Готовность же народного духа была наиболее несовершенна». Вот эту-

то подготовку «народного духа» к войне и берет на себя расовая «теория».

Тот же Банзе рекомендует сокращение изучения в высших школах социологии, истории искусства, филологии. Эти науки не играют, как он говорит, большой роли в военном деле, поэтому государство должно давать на их изучение столько средств, сколько необходимо для того, чтобы брать из них кое-что ценное для военного дела». «Понятие войны, — продолжает он, — должно быть поставлено в центр всего воспитания юношества».

Говоря далее о «германском идеале» образования, Банзе, основываясь на той же пресловутой расовой «теории», пишет: «Германское образование — это борьба и война, ибо они выкорчевывают все гнилое и укрепляют все здоровое. Они — борьба и война потому, что дают юношеству и всему народу сознание, что только путем войны могут быть охранены все наши священные блага. Потому что они подготавливают юношество и народ к тому, чтобы они были постоянно готовы отдать свою жизнь, труд и мысль за эти блага. Понятие войны — вечно».

В порядке иллюстрации Банзе приводит следующее рассуждение: «Если негритянская деревня хочет утвердить свое существование в отношениях с соседней деревней, она должна быть вооруженной, упражняться в употреблении оружия. Она должна выследить силу противника и предупредить его неожиданное нападение. Если она упустит эту возможность, то ее мужчины будут убиты, женщины разделены между победителями, хижины сожжены... Само собой разумеется, этот основной принцип, этот жизненный опыт примитивного человека имеет точно такое же значение и для человека высокой культуры, а также и для культурных государств...» Настоящая, ничем не прикрытая, готентотская мораль! Так называемый представитель «высшей расы» призывает брать пример не с кого-либо иного, а с негритянских деревень. Банзе совершенно откровенно призывает обращаться к оружию лжи и клеветы против противника: «Чтоб не остаться в ду-

рачках, — пишет он, — мы не можем отказаться от этого оружия». Он дает детальный рецепт, как разлагать войска «враждебного народа». Одних надо запугивать, других — привлекать на свою сторону, апеллируя к их пацифистской предрасположенности. Физика и химия должны целиком стать на службу военному делу. «Биология, — продолжает Банзе, — делает возможным отравить культурой бацилл тыл противника...» Одним словом: «Грядущая война должна найти всю нацию вооруженной духовно и технически».

Книга Банзе — не случайная книга какого-нибудь кровожадного профессора. Такие книги не единичны, — подобные настроения культивируются сознательно. Сам Банзе тоже не случайный человек, — он говорит от лица национал-социализма («наше национал-социалистическое движение»), он восхваляет Гитлера за то, что тот «предоставил возможность снова открыто говорить о героизме германского оружия и тем самым о военной науке...»

Национал-социализм мобилизует и оживляет, доводя до изуверства, всех духов реакции, все предрассудки и суеверия, все, что может способствовать целям империализма: шовинизм, религию, расовую вражду, невежество, национальную спесь. Он идеализирует до буржуазный строй, провозглашая героями феодальных герцогов, торговавших кровью и телом своих подданных. Деревенский кулак, нигде не бывавший и ничего не выдавший, выставляется в противовес прогрессивным, интернациональным деятелям в качестве идеала человека. Германский фашизм выводит свои традиции из самого первичного периода германской истории, взваливая на первую буржуазную революцию во Франции все грехи. Французская революция, — кричат современные буржуазные идеологи в Германии, — уничтожила «здоровое» чувство признания неравенства рас. Она провозгласила равенство, свободу, братство, создала тип гражданства мира, выступила с проповедью солидарности народов. Все это было «преступлением перед человечеством». Пигмеи, нищие духом цепляются за колесо

истории и хотят повернуть его назад. Теперешняя буржуазия проклинает свою собственную молодость. Она, идеализируя феодализм, хочет вернуть то, что провозгласила преступным Французская революция. Однако, взывая к прошлому, буржуазия хочет сохранить свое господство, т.е. сама ставит себя в то положение, в котором находились феодалы накануне Французской революции. Судьба буржуазии будет такой же, какой она была для феодалов. Новый класс, который придет к власти, — пролетариат, — даст мощный толчок историческо-

му развитию, которое тщетно пытаются затормозить германские фашисты.

Так буржуазия, когда-то написавшая на своих знаменах: «Свобода, равенство и братство», — окончательно разоблачает, что эти лозунги были лишь идеологическим покрывалом классовых интересов. Загнанная грядущей пролетарской революцией втупик буржуазия в лице фашизма окончательно сбрасывает все покровы, открывая отвратительное свое лицо, искаженное ненавистью к большинству человечества, к угнетенным классам и народам.

Наука и техника

ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ РАБОТ ШКОЛЫ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ МОЗГА

Проф. Ю. П. Фролов

Середина XIX столетия, как известно, отмечена в естествознании именем Чарльза Дарвина, предложившего и обосновавшего огромным числом наблюдений свою знаменитую теорию происхождения видов путем естественного отбора (1859).

Картина борьбы за существование, как она происходит в природе, развернута теперь перед нами во всей своей грандиозной значимости. Благодаря многочисленным трудам Ч. Дарвина многие отделы науки, в том числе и физиология, совершенно изменили свое лицо, стали опираться на эволюционную теорию, стали широко использовать эксперименты над животными, способствуя созданию так называемой сравнительной физиологии.

Лишь одна из систем организма при этом осталась как-то в стороне от большой дороги естествознания; лишь один орган, головной мозг — сосредоточие наших ощущений, — остался своего рода запретным плодом для натуралиста, оказался вне сферы его экспериментов. И это случилось в значительной степени благодаря тому, что сам Дарвин остановился перед изумительной сложностью этого органа, сказав: «Изучать выраженные ощущения есть дело чрезвычайно трудное. Иногда и видишь, что два движения отличаются друг от друга, но не можешь определить, в чем именно состоит разница».

Таким образом, вопрос о всестороннем и беспристрастном изучении жизни органа, которому мы обязаны высочайшим приспособлением к окружающему миру, остался открытым и после Дарвина. Между тем головной мозг и все обслуживающие его аппараты должны в сложных условиях борьбы за существование работать с наибольшей точностью и остротой и, мало того, должны увязывать между собой работу ряда других органов, например мышц скелета, сердца, сосудов, словом, все поведение животного в целом.

К более детальному изучению деятельности центральной нервной системы побуждали ученых многие весьма важные обстоятельства, они то и привели нашего знаменитого ученого, академика Павлова, к анализу работы головного мозга высших животных.

Приспособительная деятельность растений и низших животных, как известно, осуществляется в форме простейших реакций, так называемых «тропизмов». Гораздо более сложные явления имеют место у животных, у которых нервная система состоит из нервных клеток, или лежащих отдельно в глубине их тела, или собранных в центры, которые соединены между собою нервными волокнами.

Если мы прикоснемся рукою к телу медузы, свободно плавающей на поверхности моря, то получим своеобразный

удар или ожог, наподобие того, который производит крапива. Если мы возьмем в руки обыкновенного дождевого червя, то все его тело тотчас покроется слизью, так что иногда его будет трудно удерживать в пальцах. То же самое получится при подобных обстоятельствах и с лягушкой, и с рыбою, например линем, который, будучи извлечен из воды, сделав несколько энергичных движений, легко выскальзывает из наших рук, оставляя на них след слизи.

Все перечисленные случаи из жизни животных являются несомненно проявлениями самозащиты организма, то есть вполне целесообразной деятельности. Подобные же способы употребляются животными и для нападения на противников и при добывании пищи. Сокращение одной группы исполнительных органов, а именно мускулов, во всех случаях защиты и нападения играет наиболее важную роль. Жужжит ли над вами комар, готовясь погрузить в кожу свое жало, или же глухою зимнею ночью вас преследует стая голодных волков, — всякий раз и в теле комара, и в теле волка, как бы ни велика была разница между ними, работает сложная система мышечных аппаратов.

Но этой мышечной деятельностью способы нападения и самозащиты животных, как известно, далеко еще не исчерпываются. Каждое животное умерщвляет добычу по-своему. Так например, один из представителей иглокожих — морская звезда, — нападая на какое-либо другое беспозвоночное животное, выпускает из полости тела весь свой желудок, устроенный в виде мешка, которым она как бы облепляет свою жертву; а так как в желудке звезды образуется жидкий сок, обладающий, повидимому, большою пищеварительною силою, то в результате жертва переваривается, даже не будучи поглощена звездой! Таким образом, здесь, наряду с механической работой желудка происходит важная химическая работа его, зависящая от деятельности особого рода железистых клеток. Это же явление — выделение соков — имеет место и в случае укуса змеи, у которой железа, изготовляющая яд, соединена с полостью рта

тонкой трубкой (так называемым протоком). Таким образом, не только движение мышц, но и выделение продуктов деятельности желез играет громадную роль в борьбе за существование.

Содержимое полости рта у млекопитающих, а именно слюна, служит также очень важным средством в борьбе за существование, хотя это далеко не всем известно: всякий кусок пищи надо предварительно смочить слюною, сделать его удобным для быстрого прохождения через пищевод. Не менее важна роль слюнных желез и в тех случаях, когда организм должен избавиться от вредного воздействия какого-либо вещества, попавшего случайно в рот, например иода, кислоты, горькой полыни или хинина. Работа слюнных желез служит, таким образом, и для смачивания пищи, и для промывки и очистки рта, подобно тому, как вода в лаборатории служит для промывки химической посуды.

Чем же управляется работа мышцы, чем управляется работа слюнной железы во всех перечисленных случаях? Эти обязанности лежат на нервной системе. Роль ее, как видно из сказанного, чрезвычайно важна и заслуживает с нашей стороны величайшего внимания. На перечисленных примерах мы познакомились только с одним свойством нервной системы, именно со свойством приводить в деятельное состояние рабочие органы — мышцы и железы, посылая к каждому, из них соответствующий сигнал по нервному волокну, подобно тому, как телеграмма посылается по проводу. Чем однако определяется посылка таких импульсов? Целым рядом работ физиологов установлено, что она определяется не чем иным, как работою целого ряда других органов и систем, называемых воспринимающими поверхностями, или рецепторами: это — глаз, ухо, слизистая носа, языка, поверхность кожи и др. органы чувств. Окончания нервных волокон в этих воспринимающих поверхностях устроены таким образом, что они имеют возможность принимать только определенные виды раздражения, напри-

мер только световые, звуковые, химические, механические раздражения, и, кроме того, превращать энергию этих внешних физических раздражений в специфическую энергию нервного волокна. А нервное волокно уже доставляет это раздражение к нервной клетке, входящей в состав того или иного нервного центра.

Работа нервных центров состоит, во-первых, в получении раздражений из внешнего мира при помощи воспринимающих поверхностей (глаза, уха и др.), во-вторых, в распределении этих раздражений на группы; в-третьих, в посылке приказов к действию в те участки, где грозит опасность или откуда поступает пища, а также — приказов об ослаблении или прекращении деятельности тех участков, которые по своему характеру менее важны в данный момент.

Вся последовательность явлений, происходящих при этой передаче раздражения в центр и от центра, носит название рефлекса, а весь путь, пройденный раздражителем в нервной системе, называется дугой рефлекса.

Самое слово рефлекс, то-есть отражение, показывает, что здесь дело идет об ответе или перебросе некоторого рода энергии из одной части организма в другую. Если повредить какую-либо часть рефлекторной дуги, например перерезать проводник или разрушить центр, то рефлекс пропадет.

Итак, коротко говоря, работа нервной системы состоит в осуществлении различных рефлексов, то-есть ответов на раздражения, идущие из окружающего мира.

Важность рефлексов для осуществления нервной деятельности была указана еще в XVII века. Заслуга эта принадлежит, как известно, знаменитому философу, математику и естествоиспытателю Декарту. Однако при своем определении рефлекса Декарт имел в виду главным образом лишь одиночные, простые мышечные действия, например рефлекс отдергивания ноги, попавшей в соприкосновение с огнем, или рефлекс закрывания век при раздражении поверхности глаза. Даль-

нейшее развитие физиологии показало однако, что в жизни организма встречаются и рефлексы, гораздо более сложные. Дело в том, что раздражителем для нервной системы, иначе говоря, началом рефлекса, может служить не только какое-либо явление или состояние частей окружающего мира, но и состояние самого организма, равно как и состояние отдельных органов его — так называемые внутренние раздражения в отличие от внешних.

Кроме того, и мышцы сами по себе, будучи приведены в состояние сокращения, тотчас же посылают в центральную нервную систему сигналы, указывающие на то, что именно такая-то группа мышц сократилась, то-есть выполнила заданную ей работу. В ответ на это следует из центра приказ к сокращению другой группы мышц, которая поддерживает начатое движение, и т. д. Таким образом, наблюдая животное, мы имеем как бы непрерывный ряд касающихся друг друга рефлексов. В виду сходства отдельных членов этого рода со звеньями цепи, весь ряд этих очевидно-полезных для организма деятельностей назван цепным рефлексом.

Когда в образовании этого рода принимают участие не только внешние раздражения (например световые, температурные и пр.), но и внутренние раздражения, — например состояние голода, созревание половых продуктов, — то все поведение приобретает иногда такую сложность и запутанность, что исследователи часто прибегают для обозначения некоторых из высших форм деятельности животных к слову «инстинкт», стараясь этим показать, что тут мы имеем дело с какими-то особыми способностями животных. На самом же деле инстинкт есть не что иное, как прирожденный цепной рефлекс, в образовании которого участвуют как внешние, так и внутренние раздражители.

Но исчерпывается ли сказанным вся сложность отношений организма к внешнему миру, определяется ли им все многочисленные условия борьбы за существование? Нет. Одними готовыми при-

рожденными рефлексами, или, иначе говоря, инстинктами, в большинстве случаев жизни обойтись невозможно. В жизни необходимо бывает постоянно предупреждать появление реальных раздражителей, то-есть отвечать на них не тогда, когда например враждебные действия стали уже совершившимся фактом, но еще и тогда, когда появляются первые признаки опасности, иначе говоря, когда последняя только приближается. Для такого предупреждения событий необходимо конечно прежде всего определять и учитывать всякие естественные сигналы, идущие от опасного предмета, например звуки шагов противника, его запах и т. д. Ясно, что основные воспринимающие поверхности организма — ухо, глаз и др. — должны играть в этих актах предупреждения важнейшую роль. Всякое раздражение, попавшее на ту или иную воспринимающую поверхность, в конце концов отражается путем рефлекса на рабочих исполнительных органах, например на мышцах, и выражается в бегстве или в нападении.

Итак, у нашего вновь установленного приспособительного действия, или предупредительного рефлекса, имеются три части: начальная, средняя и конечная. Эти же части входят в состав прирожденного рефлекса, или инстинкта. Средней частью у обоих видов рефлексов является нервный центр, хотя в случае приобретенных рефлексов центр этот имеет совершенно иное строение и местоположение, чем в случае прирожденных. Он устроен более сложно и помещается в коре полушарий большого мозга.

В обоих случаях мы стоим перед закономерным ответом организма на воздействие извне.

Однако тотчас же необходимо указать также, в чем состоит разница между обоими видами отмеченных нами рефлексов. Заслуга академика И. П. Павлова перед физиологией и биологией состоит именно в том, что он указал, в чем именно состоит это сходство и различие. Он предложил метод исследования этих высших актов поведения, направленных на предупреждение

раздражений,—знаменитый метод условных рефлексов.

Мы уже говорили о важной роли, которую играет в жизни млекопитающих слюна. Если собаке сделать небольшую операцию, наложив ей так называемую фистулу протока слюнных желез, то-есть пересадить этот проток на наружную сторону щеки, и затем наблюдать за количеством слюны, выделяющейся при еде разных сортов пищи, то мы увидим, что при еде пищи влажной (например сырого хлеба) выделяется слюны меньше, а при еде пищи сухой (например хлебных сухарей) ее выделяется больше. Это и есть один из тех сравнительно простых и прирожденных рефлексов или инстинктов, о которых ранее шла речь и которые не требуют для своего проявления никаких других условий, кроме одного единственного — чтобы пища попала в рот животного. Этот прирожденный рефлекс назван И. П. Павловым «безусловным» слюнным рефлексом.

Но работа этой «простой» слюнной железы, как показывает опыт, этим еще далеко не исчерпывается: установлено, что у нормальной собаки слюна выделяется не только при еде, но при виде или при запахе пищи. Факт этот конечно известен всем также и по собственному опыту, но проследить его систематически лабораторным путем удалось впервые лишь 32 года тому назад. Точное химическое исследование выделяющейся при виде пищи слюны показало, что качество слюны строго соответствует качеству той слюны, которая выделилась бы, если бы данный сорт пищи в действительности попал в рот. Отсюда Павлов и сделал заключение, что факт выделения слюны при виде и при запахе пищи есть в настоящем смысле слова рефлекс. Имея, как видно, много сходства с известными ранее безусловными рефлексами, он отличается от этих последних в том отношении, что этот особый рефлекс на запах, на вид пищи есть рефлекс временный, между тем как рефлекс, получающийся при еде пищи, есть рефлекс постоянный. Наш новый рефлекс возникает лишь при определенных условиях, сле-

довательно, не всегда. Поэтому ему и дано название условного рефлекса.

Одно из условий образования нового рефлекса заключается в том, чтобы данный физический раздражитель, ранее вполне безразличный, индифферентный в отношении животного, то-есть не приносящий ему ни особой пользы, ни заметного вреда, совпал во времени один или несколько раз с раздражителем, вызывающим на себя какую-либо врожденную реакцию организма. В опытах со слюнной железой мы обычно пользуемся как основой пищевым безусловным раздражителем — едою хлебного порошка — или оборонительным, также врожденным, раздражителем — вливанием в рот раствора слабой соляной кислоты.

Опыт, произведенный в лаборатории И. П. Павлова, обнаружил, что щенок собаки, выращенный без матери на искусственном вскармливании — молоке, — если показать ему в возрасте шести месяцев кусок мяса, обходит этот кусок стороною и даже рычит! Из слюнной фистулы при этом слюны вовсе не выделяется. Что это значит? Очевидно вид и запах мяса для такого щенка пока еще не является сигналом еды; следовательно, положительный двигательный и слюнный рефлекс на вид и запах мяса у собаки не есть рефлекс врожденный, а такой же условный рефлекс, как и многие другие, более поздно появляющиеся и в а в ы к и. Итак, молодая собака должна «учиться», что такое запах мяса! Правда, «обучение» это не занимает много времени и заканчивается в течение одного дня.

Гораздо больше времени занимает установление или выработка так называемых «искусственных» условных рефлексов, то-есть рефлексов на те раздражения, которые естественно в природе, в поле, в лесу и т. д. не встречаются и обычно сигналами пищи не служат. Такими раздражителями являются применяемые нами в лаборатории раздражители: свет электрической лампочки, вращение круга, звук трубы органа, колебания телефонной мембраны, стук метронома, запах необычных химических

веществ, вроде камфоры, а также раздражение кожи механическими или электрическими раздражителями. Для образования слюнных рефлексов на все эти раздражения необходимо систематически сопровождать их действие едой (тогда получаются пищевые условные рефлексы), или вливанием кислоты (тогда имеем оборонительные условные рефлексы). При удалении полушарий головного мозга животного эти выработанные рефлексы исчезают.

Установление условий образования и закрепления этих условных рефлексов отдает в руки натуралиста целый ряд приспособительных реакций организма, притом реакций, наиболее тонких, наиболее совершенных и обычными методами наблюдения даже трудно уловимых. Это открытие позволяет основательно исследовать и сложные ряды тех действий, которые в течение жизни всякого животного как бы наслаиваются или накладываются причудливым узором на канву безусловных рефлексов или инстинктов.

Какова же детальная физиологическая характеристика вновь образуемых в течение жизни условных рефлексов, как она рисуется в работах Павлова и его школы? Первое важное свойство условного рефлекса есть его чрезвычайная непрочность, склонность колебаться в своей величине и даже вовсе угасать, то-есть исчезать при некоторых вполне определенных условиях. Если например показывать взрослой собаке кусок мяса и не давать его в рот раз, другой, третий, то натуральный слюнной условный рефлекс (а то же можно показать и на искусственном рефлексе) будет каждый раз все уменьшаться в количестве, пока наконец слюна не перестанет выделяться вовсе, и собака даже отвернется от куска, к которому раньше тянулась (отрицательный двигательный рефлекс). Факт угасания слюнного условного рефлекса при его неподкреплении лежит в основе весьма важного отдела физиологии, а именно учения о торможении рефлексов в коре головного мозга, которое объясняет нам многие ранее непонятные явления. в том числе и явление сна.

Это торможение (так называемое внутреннее торможение) возникает всякий раз, когда условный рефлекс отрывается от той физиологической основы, на которой он образовался, то есть отрывается от безусловного раздражителя. Виды внутреннего торможения, открытые в опытах И. П. Павлова и его учеников, оказались весьма разнообразными. Кроме угасания, о котором сказано выше, отличаются еще «отставление» условных рефлексов, когда безусловное раздражение посылается нами не сразу. Кроме того, внутренним торможением пользуются при «дифференцировании» раздражителей, а также при выработке так называемого условного тормоза.

И. П. Павлов в длинном ряде опытов установил, что явления внутреннего торможения имеют ближайшее отношение к явлениям сна. Этим наблюдением открывается широкая дорога к опытному изучению явлений «гипноза». «Гипноз» животных в настоящее время, благодаря работам И. П. Павлова, детально уже разработан и широко применяется в лабораториях.

Что касается материальной анатомической основы, на которой разыгрываются все описанные процессы, то, путем комбинации описанного метода условных слюнных рефлексов с ранее известным методом удаления различных участков мозга оперативным путем, доказано, что дуга условного рефлекса проходит через наиболее высоко расположенную корковую часть больших полушарий, которая у высших животных является особенно развитой.

Таким образом, изучая законы образования и исчезания условных рефлексов, мы изучаем, в сущности, физиологию высшего и наиболее сложно устроенного отдела центральной нервной системы, а именно коры полушарий головного мозга. Кора полушарий головного мозга, рассматриваемая с точки зрения физиологической, есть прежде всего орган условных рефлексов. От низших, например спинно-мозговых, центров ее центры отличаются главным образом тем, что в коре происходит «замыкание»

между различными появляющимися в течение индивидуальной жизни животного раздражителями и различными врожденными действительностями, благодаря чему образуются новые связи организма с внешним миром. К настоящему моменту условные рефлексy у животных образованы из всех тех раздражителей, которые дает нам физика. Теперь требуется скорее указывать те раздражители, из которых не удалось сделать условных агентов, чем те, из которых они уже сделаны. Число условных рефлексов, которые можно выработать у данной собаки, оказалось почти ничем не ограничено. При этом каждый следующий условный рефлекс, как правило, образуется легче, чем предыдущий, если только животное молодо, здорово и не находится в сонном состоянии.

Особенно высокие требования предъявляются к технике исследования условных рефлексов, когда дело касается анализа внешних раздражителей, или так называемых дифференцировок. Так например, оказалось, что музыкальные звуки различной высоты, отличающиеся друг от друга лишь на $\frac{1}{8}$ тона, а также различные степени освещения, едва различаемые глазом человека, довольно успешно анализируются собакою.

Для того, чтобы показать возможную для животного границу или степень анализа, необходимо, избрав один какой-либо тон или одну какую-либо силу освещения, всегда сопровождать их едою, как безусловным раздражителем, а рядом с этим все другие тоны и степени силы света никогда не сопровождать этим (безусловным) раздражителем. В результате такой выработки через несколько сеансов активный раздражитель будет продолжать вызывать полный слюнный эффект, тогда как другие, сделанные нами неактивными, всегда будут давать отсутствие слюнного эффекта.

Громадную важность имеет в практическом отношении исследование условных рефлексов, образуемых из собственных движений животного, причем здесь иногда получают цепи рефлексов. Эти цепи подобны тем, о которых говорилось в первой части

настоящего обзора, когда речь шла о сложных цепных врожденных рефлексх, или инстинктах. Образование цепей условных рефлексов и анализ их отдельных звеньев, то-есть анализ собственных движений животного, служат основой всех наших двигательных навыков, обуславливающих возможность почти бесконечного совершенствования движений.

До сих пор нам пришлось говорить об образовании условных связей и об анализе раздражителей (дифференцировании), который зависит от внутреннего торможения. Но, кроме раз'единения элементов, кроме дробления внешнего мира на отдельные мелкие части, организм должен образовывать и в самом деле образует соединение, или синтез, отдельных элементов друг с другом. Ведь в природе далеко не всегда бывает так, что вслед за одиночным условным раздражением следует та или иная одиночная реакция. Обычно дело происходит таким образом, что предвестник безусловного раздражителя приходит не один, а в целом комплексе. Как реагирует нервная система на это соединение раздражителей?

Оказывается, что, пользуясь методом условных рефлексов, вполне возможно заставить животное отдифференцировать одну ноту в целом аккорде или заставить животное различить восходящую гамму музыкальных звуков от нисходящей. Чтобы узнать, прочно ли сложился данный синтез в мозгу животного, как таковой, необходимо также отдифференцировать его от другого такого же синтеза, отличающегося лишь иным расположением членов, подобно тому, как это мы делали в случае простых условных раздражителей.

Дальнейшими опытами по методу условных рефлексов было доказано, что оба упомянутых основных нервных процесса — возбуждение и торможение — не остаются на месте своего возникновения, а постепенно распространяются в окрестности.

Нервный процесс, оказывается, движется по коре головного мозга, пользуясь многочисленными соединительными путями, и притом он движется с раз-

личной скоростью, зависящей от индивидуальности животного. Как однако доказать эти пространственные явления в мозгу?

Если мы в особой серии опытов, раздражая определенный участок кожи и не подкрепляя это раздражение, вызовем в корковых центрах животного состояние торможения, то сначала произойдет и р а д и а ц и я торможения, а затем к о н ц е н т р а ц и я его, о которых можно составить представление, если иметь не один, а несколько равноправных рефлексов.

Благодаря новой методике, применяя раздражение или торможение в различных участках кожи, мы получаем возможность следить, как скоро распространяется каждый из двух невидимых простым глазом процессов в коре мозга, сколько времени остается в каждом центре и когда его покидает.

Чтобы закончить вопрос о внутреннем торможении, надо сказать еще несколько слов и о физиологии сна, для познания которого метод изучения движения нервных процессов дал большой и убедительный материал.

Интерес к явлениям сна и к смежным со сном состояниям объясняется тем, что сон есть явление, знакомое каждому человеку. Можно сказать, что интерес человека к явлениям сна, и в частности к сновидениям, заложен чрезвычайно глубоко. Об этом говорят нам и личные наблюдения, и история культуры, и мифология, в построении которой сновидения играют также громадную роль. Как известно, жрецы всех религий умело использовали для своих корыстных целей это непонятное неискушенному наблюдателю явление—способность видеть сны.

Первым научным открытием в этой области было выяснение причин периодичности сна, а также тех изменений, которые происходят в организме спящего существа под влиянием сна, в частности химических изменений, происходящих в его крови.

Все исследователи согласны с тем, что сон или покой являются необходимым условием жизни всякого существа. Явления, сходные с явлениями сна, можно

наблюдать не только у животных, у которых имеется большой мозг, но и у животных без центральной нервной системы и наконец даже у растений. Следовательно, сон есть основное проявление чередования покоя и деятельности. Различие состоит лишь в быстроте чередования, то-есть в ритмике сна.

Исследователи сна часто обращали внимание на изменения, происходящие в желудочно-кишечном канале, в состоянии сердечной деятельности, кровеносных сосудов и наконец деятельности мозга, который был исследован наиболее подробно. При этом производились попытки исследования мозга животных, предварительно усыпленных. Надо заметить, что никаких специфических изменений, которые происходили бы в органах под влиянием сна, при этом установлено не было, за исключением изменений, которые были обнаружены в отростках некоторых нервных клеток и которые дали почву для возникновения так называемых «гистологических» теорий сна. При исследовании мозга животных, убитых в состоянии сна, было обнаружено расхождение отростков нервных клеток. Но это расхождение, во-первых, могло быть и простым посмертным изменением, происходящим под влиянием гистологической обработки, а во-вторых, оно наблюдается также и в других случаях, не имеющих ничего общего с состоянием сна.

Последнее время, в связи с развитием учения о ядах утомления и о внутренней секреции, получили большое распространение различные теории сна, которым присвоено название химических и которые объясняют периодичность сна накоплением различных химических веществ в крови, в частности так называемых гормонов. Эти последние должны, по мнению авторов, вызывать изменения химизма отдельных тканей, в частности нервной системы, парализуя ее деятельность.

Но как ни интересны эти теории сами по себе, тем не менее они не дают никакого понятия о том, *каким образом* можно погрузить животное в сон, ни о том, как его из этого состояния вывести. Это изучение сна оказалось

вполне возможным лишь благодаря физиологическому методу — методу условных рефлексов. Мы уже сказали, что Павлов считает сон внутренним торможением, которое вызвано тем или иным путем в центрах коры больших полушарий. Из этого первоначального пункта торможение распространяется по всей массе коры, и тогда наступает сон. Разлитие тормозных процессов по массе коры больших полушарий было впервые получено при работе с так называемыми кожно-механическими раздражителями, когда производилось легкое почесывание или нагревание определенных мест кожи. При этом было показано, что процесс сна движется от своего исходного пункта, захватывая все более и более обширную область, пока наконец не распространится по всем элементам коры. Позднейшие работы установили, что торможение, произведенное специально в двигательной сфере, например путем постановки животного в обычный лабораторный станок, вызывает особенную наклонность собаки ко сну. Были установлены также и некоторые методы физиологического измерения глубины сна. Измерения эти производились при помощи испытания одного и того же условного рефлекса в различные периоды сна. Оказалось, что торможение, а следовательно и сон, является наиболее глубоким не в начале и не в конце периода сна, а в середине, но ближе к засыпанию, чем к пробуждению. При этом было обнаружено, что некоторые собаки совершенно не выносят длительного пребывания в станке и засыпают. Интересно отметить, что этим свойством отличались собаки, которые в обычной обстановке, то-есть на полу, принадлежали к наиболее «живым» и подвижным, а потому пользовались исключительным вниманием со стороны экспериментаторов. Этот первый успех сменялся столь же серьезным разочарованием, когда дело доходило до станка. Этим было положено начало делению экспериментальных собак на ряд отдельных типов высшей нервной деятельности, или темперамента.

Итак, в основе открытий павловской школы, касающихся сна, лежит установ-

ление точных взаимоотношений между сном, с одной стороны, и торможением, наблюдаемым при некоторых видах работы головного мозга, — с другой стороны.

Вся высшая нервная деятельность животных является, как оказывается, невозможной без наличия и участия в ней внутреннего торможения. Именно наличие этого торможения определяет собой наиболее тонкие формы отношения организма к окружающему миру. Если бы не было сна, то высшая нервная деятельность была бы невозможна и хаотична. Но здесь у некоторых может появиться законный вопрос: все мы привыкли считать сон как бы процессом низшей квалификации, а здесь нам вдруг говорят, что самая высшая деятельность нашего мозга тесно связана со сном.

В чем же дело и как разрешается Павловым это на первый взгляд непримиримое противоречие? Все зависит от того, как распределен сон в массе коры полушарий. Высокая активность клетки, разумеется, должна быть связана и с высшей степенью ее утомляемости, однако оба эти состояния — активное и покойное — должны друг с другом чередоваться, должны как бы размежевываться между собой во времени и пространстве. Где имеется такого рода дробное размежевание обоих процессов, там исчезают все наружные признаки сна. Пример: положим, нам надо выработать рефлекс на звук «до», дифференцировав его от звука «ре». В начале дифференцировки вы получаете иррадиацию торможения по большим участкам коры, и данное животное на ваших глазах засыпает. Однажды у собаки один звук был сделан активным, все же остальные, расположенные вверх и вниз от него, числом двадцать один, были сделаны неактивными. В результате, когда животному давали по очереди и в разбивку 21 звук, то оно спало и не обращало на нас никакого внимания; но если давали 22-й (активный) звук, оно немедленно просыпалось, виляло хвостом, и из фистулы у него текла слюна. Итак, первоначально на всякую дифференцировку животное реагирует обоб-

щением торможения. Но если на пути сна имеется один или несколько закрепленных практикой очагов возбуждения, то они держат сон как бы в узде и не дают ему разливаться. При этом интересующая нас активность животного сохраняется вполне. Еще Бекон указывал на то, что спящая мать остается нечувствительной ко всем даже наиболее сильным раздражениям внешнего мира, за исключением одного — дыхания ее спящего ребенка.

Явления иррадиации и концентрации нервного процесса, разработанные Павловым, положили начало также и физиологическому изучению индивидуальности животных или типов их высшей нервной деятельности. Оказалось, что животные весьма отличаются друг от друга именно в отношении преобладания возбуждения и торможения и в отношении скорости их распространения в мозгу. У одних животных заметно преобладание процессов возбуждения, у других — процессов торможения; одни очень быстро устанавливают рефлекс и очень медленно его угашают; другие животные чрезвычайно медленно устанавливают рефлекс и быстро с ним расстаются. Третьим оба процесса даются одинаково легко. Любопытно отметить, что в одной и той же семье от одних и тех же производителей, как показывают опыты, могут родиться представители как одного, так и другого типа в определенной пропорции.

Первый тип, возбудимый, отличается тем, что он быстро, как бы налету, устанавливает всякого рода связи с внешним миром. Это именно те животные, которые постоянно находятся в движении, которые внешне жизнерадостны, приветливы. У этих животных так называемый ориентировочный рефлекс сильно развит, в жизни они — большие задиры. Они очень возбудимы и внешне бодры, но быстро теряют эту свою бодрость, которая в значительной степени прикрывает их внутреннюю вялость, слабость их нервной системы при столкновении с серьезными препятствиями.

Другой тип отличается противоположными чертами. Они внешне очень покор-

ны, но у них чаще процесс торможения преобладает и налагает на все поведение особый отпечаток. Это, так сказать, «собаки в футляре», выражаясь языком Чехова, они ступают всегда на полусогнутых ногах, двигаются вдоль стенок комнаты и при виде других собак быстро опрокидываются на спину, выражая полное подчинение. Такие собаки всегда находятся как бы под действием сильного тормоза. Такой тип имеет большое распространение среди одомашненных, в частности среди породистых, собак.

Наконец третий тип — это уравновешенный тип, где возбуждение и торможение вполне размежевались между собой. Этот тип быстро вырабатывает рефлексы и, если надо, очень быстро их угашает. При неподкреплении он упраздняет ненужный рефлекс с первого раза: но это ничуть не опасно — ведь при случае он сможет вновь его восстановить. Не только образование рефлексов происходит у этих собак скорее, но исчезновение или торможение рефлексов происходит стремительнее у тех, кто имеет такую характеристику нервной системы.

Для испытания этой стойкости мы иногда подвергаем нервную систему целому ряду физиологических «тестов», или затруднений, стараясь подорвать ее равновесие, и в результате получаем характерные «срывы», то-есть нарушение всей возведенной нами постройки высшей нервной деятельности.

Резюмируем сказанное о типах, наблюдаемых в условиях эксперимента над животными (собаками) по методу условных рефлексов. Мы знаем, что благодаря этому методу представляется возможным выделить типы высшей нервной деятельности (темпераменты) начиная с раннего возраста (с 6 недель), причем определения эти сохраняют свое значение и при наступлении зрелого возраста каждого животного, содержащего и воспитываемого на равных основаниях с другими.

Заметим, что взрослые животные отличаются от молодых тем, что основные нервно-мозговые процессы первых характеризуются большей стойкостью, что

так же легко может быть установлено специальными тестами, основанными на методе условных рефлексов и тормозов.

Мы сказали, что в пределах одного и того же семейства ценят можно различить индивидуумов, принадлежащих к двум типам: с преобладанием процесса возбуждения и с преобладанием процесса торможения. Кроме того, иногда (около 10 проц. всех случаев) встречается тип, отличающийся равновесием обоих упомянутых процессов. Различные типы высшей нервной деятельности отличаются и различной стойкостью при воздействии на организм животного некоторых биологических и патологических факторов (длительного голодания, инфекционной болезни и т. д.). Сильные раздражения и катастрофы, например наводнение или пожар, не стирают этих индивидуальных отличий, существующих между животными, а наоборот, способствуют выявлению их с наибольшей определенностью.

В последнее время в связи с постройкой новой лаборатории в совхозе под Ленинградом И. П. Павлов занялся систематическим изучением возникновения и развития указанных типов высшей нервной деятельности под влиянием специально создаваемых различий в режиме и содержании животных. Ф. П. Майбровым были произведены интереснейшие наблюдения над щенками одного и того же помета, причем непосредственно после рождения одна половина помета допускалась к жизни в свободных условиях, а другая половина искусственно ограничивалась в своих движениях, проводя круглые сутки в течение месяца в сравнительно тесных клетках.

Вследствие этого различия в режиме, то-есть в условиях внешней среды, получилось, что одна часть щенков, содержащаяся на свободе, выросла как возбудимая группа, бойко реагирующая на все окружающие раздражители, в то время как другая половина, воспитанная в условиях стеснения их движений, обнаружила при испытании прямо противоположное свойство, то-есть обнаружила крайнюю тормозность.

Таким образом, было показано, что тип высшей нервной деятельности, или

темперамент, как бы глубоко он ни был заложен в самой природе данного существа, все же не является для его обладателя чем-то «роковым».

Подбирая соответствующие раздражители в течение периода детства, создавая благоприятные условия для выявления менее выраженных, но интересующих нас сторон деятельности мозга, можно добиться того, что животное получит более совершенный аппарат, чем тот, который сформировался бы в неблагоприятных внешних условиях.

Вообще говоря, при работе с условными рефлексамн часто приходится делать вывод, что нет абсолютно плохих нервных систем. К каждой из них можно найти свой особый, индивидуальный подход, если только иметь в запасе проверенные и теоретически обоснованные методы воздействия.

Как общее правило, необходимо указать, что сильные раздражители, а тем более раздражители болевые, никак не могут служить для воспитания и изучения сложнейших, но зато и наиболее интересных форм высшей нервной деятельности. Работая с тормозными собаками или такими собаками, которые стали тормозными под влиянием внешних условий, физиологи в большинстве случаев пользуются слабыми условными раздражителями, подкрепляя эти последние едою. В результате Павлов в настоящее время может с полным правом утверждать, что среди сотен наблюдаемых им собак нет ни одной, которая бы оставалась нам непонятной со стороны обнаруживаемых ею реакций. Не только каждый комплекс опытов, но и каждое движение собаки, каждая капля ее слюны находит свое объяснение в установленных им законах высшей нервной деятельности, о которых сказано выше.

Но вот данное животное вполне изучено. Многочисленные явления, имеющие место в его коре и ближайших подкорковых центрах, стали известными экспериментатору. Что же остается делать дальше? А дальше перед ученым встает огромный ряд вопросов, связанных с настоящими потребностями других соседних дисциплин знания: медицины, гене-

тики и некоторых сельскохозяйственных дисциплин. Мы еще очень мало знаем, о том, в чем выражаются патологические формы деятельности мозга животного, как влияет старость на протекание основных процессов в коре, как влияет на мозг недоразвитие или чрезмерное развитие деятельности отдельных желез внутренней секреции, в чем состоит сущность действия отдельных видов лекарств, какими способами лечить специальные болезни, зависящие от ослабления и извращения деятельности мозга, и т. д.

Лаборатория акад. Павлова и занята в настоящее время разработкой этих настоящих проблем, от правильного разрешения которых зависит многое также и в науке о лечении болезней человека.

Мы здесь остановимся на одной чисто практической области, весьма далекой от медицины, но все же весьма интересной, а именно на вопросе о подготовке так называемых служебных собак, то-есть об образовании у них всякого рода полезных навыков, имеющих огромное значение в деле приручения животных.

Мы видели, что благодаря выяснению временной природы рефлексов головного мозга последний стал в наших глазах как бы пластическим материалом, из которого можно лепить какие угодно формы, образовывать почти неограниченное число совершенно новых отношений организма к окружающему миру. Предшествующий опыт позволяет вполне понять наблюдаемое нами на практике явление, когда собака, обладающая достаточно сильной нервной системой, воспитанная с самого детства в суровых условиях, лает и рычит при приближении всякого человека, который осмелится приблизиться к ней, а заодно и к охраняемому ею предмету, например к складу имущества, железнодорожному мосту и пр. Основой такого воспитания является провоцирование оборонительных реакций со стороны животного, дразня и всячески беспокоя его. То же самое можно сказать и относительно других животных, например лошадей. Так, на одном цирковом представлении нам пришлось увидеть состязание, об-

леченное в интересную форму старинного рыцарского турнира. Собственно говоря, в тяжелые рыцарские доспехи были одеты только четыре всадника, гарцевавших на высоких, мощных конях. Все они вместе нападали на пятого всадника без всяких доспехов на небольшой рыжей лошадке. Они преследовали этого пятого, прижимали беднягу к барьеру, стараясь поразить его копытами. Но он так ловко управлял своей лошадкой, что ускользал из-под самого носа «доблестных» рыцарей. Каково же было общее удивление, когда оказалось, что пятый всадник был вовсе не живым наездником, а куклой с ногами, привязанными к сгременам, а весь эффект необыкновенно ловкой его вольтижировки зависел всецело от лошади, предварительная дрессировка которой была к тому же довольно проста. А именно, четыре всадника, окружая рыженькую лошадь со всех сторон, постоянно стегали ее хлыстами и тем изоощряли ее способность самозащиты!

Совершенно иной эффект получается, если в течение воспитания животного подходить к нему не с насилием, а с мягкостью и лаской. Конечно это не значит баловать животное, что очень вредно отражается на успехе всякой работы. Но это означает, что все окружающие люди, сколько бы их ни было, стараются не причинять собаке никакого вреда, то-есть воспитывают у нее положительную реакцию на человека.

Зато и результаты при этом получаются прямо-таки поразительные. Возьмем хотя бы подготовку так называемых санитарных собак. После жаркого боя санитарные отряды под покровом ночной темноты ищут раненых. Но как найти их, если вся окружность изрыта снарядами и завалена упавшими деревьями? Вот тогда-то и выпускают санитарных собак.

Будучи спущены с поводков, эти замечательные животные, принадлежащие к породе овчарок или доберманов, а иногда и к другим, менее известным породам, смело идут на поиски раненых. Их нервные ноздри жадно втягивают воздух. Широкая грудь и крепкие мышцы помогают им пролезать там, где это

совершенно недоступно человеку. При этом они бегут не прямо, как собаки-связисты, и не кружат, как охотничьи собаки, — они бегут зигзагом, систематически обследуя каждую пядь земли, обшаривают каждую ямку и останавливаются у каждого лежащего человека.

Если они не находят в нем никаких признаков жизни, то они следуют дальше. Если же они чувствуют дыхание раненого и теплоту живого тела, то они тотчас же останавливаются и ложатся вплотную около него, с тем, чтобы он мог достать рукой до санитарной сумки, привязанной на ремнях к спине собаки. Здесь находится запас бинтов и фляга с водой, иод и др. принадлежности. Если раненый в состоянии найти дорогу на перевязочный пункт, то собака проводит его; если же он лежит неподвижно и не в состоянии сам подать себе помощь, то собака немедленно извещает отряд, что ею найден раненый, который ожидает помощи, находясь в таком-то участке поля. Но как же может собака сообщить все эти сведения, не располагая способностью речи?

Это делается при помощи образования все тех же условных рефлексов, а именно: у санитарной собаки в ее головном мозгу заранее выработана следующая связь: если человек, к которому она подошла, не в состоянии двинуться сам, то она после минутного ожидания (так называемый отставленный рефлекс) бежит к своему дрессировщику-санитару, схватив в рот так называемый брэнзель, в виде кожаной колбаски продолговатой формы, который в обычное время прицеплен к ее ошейнику. Легким движением она хватает брэнзель в зубы в знак того, что ею найден раненый, не могущий передвигаться и, вернувшись на пункт, начинает скакать около хозяина-санитара, с тем, чтобы провести его к месту своей находки.

Вся эта подготовка собаки к служебной деятельности достигается целым рядом приемов и требует значительно терпения, большой запас которого, вообще говоря, полезно иметь при работе с живыми существами.

В период подготовки к описанной «служебной» деятельности роль тяжело раненого исполняет помощник дрессировщика, который, лежа на земле, подзывает собаку к себе, кладет ее рядом с собой, гладит ее, роется в сумке, предлагает ей кусочки лакомства, словом, выдерживает ее в таком положении около минуты. В другом случае он вкладывает ей в рот брэнзель и в таком виде заставляет ее вернуться к дрессировщику, который, убедившись в правильности «донесения», вознаграждает собаку кусочком вкусной еды, то-есть подкрепляет всю цепь условных рефлексов действием безусловного раздражителя.

Впрочем справедливость требует сказать, что навыки у служебных, в частности у санитарных, собак с течением времени настолько закрепляются в мозгу, что начинают сами в некоторой степени становиться похожими на безусловные рефлексы. Выработанная привычка к работе, к поиску и к доставке донесения становится как бы автоматизмом, и в этом отношении служебные собаки постепенно начинают затмевать своей славой охотничьих собак, которые в свое время оказывали человеку такие огромные услуги.

Но вернемся к лаборатории, в которых ставятся описанные выше эксперименты над высшею нервной деятельностью. Надо сказать, что случаи, подобные тем формам сложного поведения служебных собак, о которых шла речь, встречаются также и в повседневной лабораторной практике.

Эти случаи особенно замечательны тем, что они иногда обнаруживаются без всякой предварительной подготовки или тренировки. Опишем один такой случай, имевший место в лаборатории еще сравнительно недавно.

Мы сказали, что по ходу работы с животными нам приходится производить на них некоторые операции. Разумеется, эти операции производятся с соблюдением всех предосторожностей, с применением наркоза и необходимых средств против занесения в рану каких-либо бактерий. Но это в условиях массовых опытов в некоторых случаях не совсем удается, и операционная рана начинает

гнойиться. В этом последнем случае мы бывали вынуждены помещать собаку в общее помещение с другими собаками. И вот однажды мы заметили, что раны одной группы собак заживают гораздо скорее, чем раны другой группы, находящейся в другой комнате. Оказалось, что среди животных первой группы находится одна собака из породы сеттеров, которая занимается тем, что, лишь только увидит гноящуюся рану или почувет ее запах, немедленно принимается лизать ее и продлевает этот своеобразный «массаж» множество раз в течение многих дней, пока наконец рана не заживет окончательно. Здесь мы имеем случай убедиться, что польза, которую собака получила от лизания раны на своем собственном теле, переносится ею также и на другие раны, находящиеся на теле других животных. Необходимо заметить, что такая необыкновенная способность свойственна далеко не всем собакам: в частности следует сказать, что собака, о которой только-что шла речь, принадлежала к наиболее сильному в нервном отношении типу, — она чрезвычайно быстро устанавливала всевозможные условные связи и так же быстро их угашала.

Конечно никому не придет в голову использовать собак для целей лечения, но в отношении упомянутой службы их в полевых условиях следует заметить, что они пользуются всеми преимуществами, даваемыми учреждениям Красного креста: ни одна сторона не имеет права стрелять в этих животных, занятых делом спасения человеческой жизни.

Итак, можно считать доказанным, что одно из животных—собака—исследовано относительно деятельности его мозга с достаточной точностью и полнотой. Однако в науке — естествознании — только те объекты считаются вполне разработанными, которые освещены с точки зрения своего развития, то-есть прослежены на различных ступенях животного мира от низших и до высших его представителей.

Задачей всякой сравнительной физиологии является такое изуче-

ние деятельности органа, которое устанавливает основные закономерности, являющиеся руководящими в данной области, — закономерности, которые освещают путь и направление развития.

После открытий И. П. Павлова стало вполне возможным и необходимым говорить о сравнительной физиологии мозга, в частности о сравнительной физиологии высшей нервной деятельности. Как известно, орган этой деятельности — полушария головного мозга — развивается постепенно, начиная с низшей группы позвоночных — хрящевых и костистых рыб — и кончая высшими млекопитающими — обезьянами.

Вот почему мы и поставили ряд исследований, с одной стороны, на рыбах, а с другой стороны — на человекообразных обезьянах. В основном мы использовали один и тот же прием выработки условных рефлексов, который вошел в обиход при изучении высшей нервной деятельности собак, а именно подкрепление безусловным раздражителем. При этом, в полном согласии со многими американскими авторами, разработавшими науку о поведении, оказалось, что, чем выше развитие мозга животного, тем меньшее число раз необходимо производить это подкрепление. Так например, если у рыб требуется для образования достаточно прочного условного рефлекса примерно сто подкреплений, а у собаки около пятидесяти, то для человекообразной обезьяны достаточно бывает двух-трех подкреплений, не более. Конечно это указывает, что по мере развития полушарий мозга, которые у обезьяны, как известно, достигают большой величины, возможности образования новых временных связей с внешним миром постепенно возрастают.

Однако этого мало: метод условных рефлексов дает возможность более углубленного анализа, перемен, происходящих в мозгу, в процессе его развития от низших форм к высшим. Так например, данные наших опытов, произведенных на рыбах, говорят за то, что процессы торможения даются рыбам с огромным трудом. Это тем более понятно, что рыбы, как это известно из анатомии, вообще лишены специальных корковых цен-

тров, и, следовательно, все процессы образования временных связей, в противоположность млекопитающим, происходят у них в так называемых подкорковых нервных узлах, которые отличаются значительно большей грубостью, то-есть меньшей приспособляемостью своих функций. Отсюда и приспособление рыбы к условиям окружающей ее среды является менее тонким, чем у млекопитающих, хотя нужно считать вполне доказанным, что высшая нервная деятельность или ассоциация свойственны и этим сравнительно элементарно устроенным животным. В частности нами вполне доказано, что рыбы не только имеют слух, но и способны привыкать к различного рода условным звуковым сигналам, которые доходят к ним через сотрясение воды.

Работая с рыбами, мы должны были пользоваться не методикой определения слюнного эффекта, который рыбам вовсе не свойственен, а методом изучения их движений в ответ на раздражение электрическим током. Рыба, которая раньше реагировала лишь на самый удар тока, впоследствии устанавливала реакцию на всякого рода сигналы, предшествующие появлению тока: на свет, на звук и другие искусственные агенты. Эти предупредительные движения рыбы, эти условные рефлексы регистрировались при помощи особой «рыболовной» снасти в виде удочки, или лески, петлею окружавшей туловище рыбы, причем роль поплавка исполнял точный пневматический регистрирующий прибор.

Когда, поднимаясь от низших к высшим, мы подошли к исследованию сложно-нервной деятельности обезьян, то мы вынуждены были применить новую своеобразную методику выработки условных рефлексов. Для этого мы воспользовались опять-таки не слюнными, а двигательными рефлексами, причем в качестве прибора-раздражителя нам служил небольшой деревянный ящик с двумя укрепленными на крышке его клавишами, наподобие клавиш на пианино. Внутри ящика, крепко привинченного к полу, были скрыты два электрических звонка разного тона, соединенные каждый со своей клавишей. Все это устрой-

ство было, таким образом, соединено с выдвигающейся кормушкой, что при нажатии одной клавиши, а следовательно, при звуке одного звонка, тотчас же перед обезьяною появлялась еда; в другом же случае, при нажатии другой клавиши, а значит, при звуке другого звонка, кормушка не появлялась вовсе.

Весь опыт велся таким образом: описанный ящик устанавливался в большой просторной клетке еще до прихода обезьяны. Заметим, что для опытов нам служили обезьяны из породы шимпанзе, находившиеся в Сухумском питомнике. А. И. Долин, который непосредственно вел эту работу, наблюдал, оставаясь невидимым для обезьяны, и регистрировал все ее поведение. Едва слышав звук, который получается при прикосновении к клавише, шимпанзе сначала обнаруживало резкую отрицательную реакцию и убегало в дальнюю часть комнаты, иногда взбираясь даже под потолок. Здесь имело место то, что называется реакцией животного на новизну раздражителя, или ориентировочным рефлексом. Это смешное, с нашей точки зрения, проявление может иметь в условиях борьбы за существование известное значение: предмет, который издает звук при нажатии на него, может ведь с точки зрения обезьяны считаться и живым существом неизвестного, а может быть, и опасного вида. Но на этом дело не оканчивается. Возрастающее любопытство снова гонит обезьяну к ящику, который сам по себе никаких звуков не издает. Приблизившись, она осторожно ощупывает весь ящик и притом как бы случайно вновь нажимает на клавишу. Вторично раздается звонок — и шимпанзе вновь удирает в дальний угол. Об еде, разумеется, нет пока никакой речи, хотя вслед за звонком каждый раз появляется кормушка с лакомством. Постепенно поведение обезьяны начинает обнаруживать желательный сдвиг. Реакция на новизну ею же вызываемого раздражителя — звонка — постепенно уменьшается. Шимпанзе все дольше остается около нашего прибора, а самое главное, она начинает брать еду. Формируется новая связь в коре ее мозга: обезьяна устанавливает связь своего движения

с появлениям звонка и получением пищи.

В результате такого «открытия», которое на самом деле является образованием целого ряда рефлексов, в поведении обезьяны намечается резкий перелом: теперь она начинает непрерывно нажимать клавиши всеми пальцами как рук, так и ног, а иногда и садиться на них, заставляя звонок звучать непрерывно. Разумеется, пищи она при этом не получает. Это вызывает у нее новый взрыв возбуждения, она дико кричит, бьет себя кулаками в грудь, а иногда пытается разломать ящик. Этот гнев шимпанзе так силен, что, не будь надежных прутьев клетки, она бы искусала экспериментатора до полусмерти. Вы спросите, может ли обезьяна так волноваться из-за какой-то задержки в появлении пищи. Но дело в том, что эта задержка вырастает в мозгу голодной обезьяны до размеров крупнейшей неудачи ее борьбы за пищу, за существование.

Но мы спокойно ожидаем конца этого своеобразного припадка. Раз от разу крики и шум, поднимаемые обезьяной, постепенно стихают. Ранее широко разлившееся по мозгу возбуждение постепенно заменяется его концентрацией, и дело кончается тем, что обезьяна нажимает клавишу только одним пальцем одной из верхних конечностей, а другую руку с деловитой настойчивостью протягивает к тому месту, откуда должна появиться кормушка. Все лишние движения, как мы видим, затормозились, угасли. Теперь нам ничто не мешает перейти ко второй, более трудной части опыта. На поверхности ящика имеются две клавиши, соединенные каждая со своим звонком. Мы можем подкреплять едой только одну клавишу, а другую не подкреплять.

Это вызывает у обезьяны новый взрыв возбуждения. Хотя рефлекс на нажим и образовался в общей форме, но ей трудно еще отделить, дифференцировать два близких движения, хотя и сопровождаемые различными звуками. Но в конце-концов и эта трудность преодолевается обезьяною. Она начинает нажимать всегда только одну активную клавишу, другую оставляет без внимания.

Заканчиваются ли на этом опыты с

изучением поведения обезьян? Разумеется, нет. Чем больше углубляются в эту область, тем больше встает вопросов, связанных с поведением этих высших животных, устанавливается сравнение с поведением низших обезьян, так называемых собакоголовых (мартышек, резусов и др.), устанавливаются общие закономерности развития деятельности мозга, связанной с использованием всякого рода предметов, которые и впоследствии, то-есть в руках высшего из существ — человека,—приобретут характер орудия труда.



Все сказанное выше об интересных открытиях Павлова и его школы, а также о тех откликах, которые эти открытия получают в целом ряде соседних областей знания, в частности сравнительной физиологии мозга, чрезвычайно характерна для истории всякого научного открытия, для истории человеческой мысли вообще.

История науки богата примерами, когда счастливая мысль, возникшая в мозгу одного человека, тотчас подхватывалась рядом других пытливых исследователей, получала новые толкования, рождала параллельные работы, которые велись разными школами, разными людьми и при разных обстоятельствах.

Так именно и было с законом сохранения энергии, который, как известно, был открыт почти одновременно Робертом Мейером и Джоулем, а в общей математической форме был формулирован Гельмгольцем. То же самое отчасти имело место и в открытиях, касающихся «модного» учения о внутренней секреции таких желез, как щитовидная, надпочечная и половые железы, которые все, вместе взятые, имеют огромное значение в деле лечения больных и потому пользуются неизменным успехом у исследователей-практиков.

Литература об этих железах и их деятельности громадна, хотя, к сожалению, и весьма противоречива.

Но есть в науке и такие открытия, которые зарождаются незаметно в тиши лабораторий и вначале кажутся весьма

далекими от будущей ключом практической жизни.

Однако с течением времени сфера приложения лабораторного открытия, имевшего вначале чисто теоретический интерес, постепенно все увеличивается, и наконец наступает день, когда широкие массы людей, интересующихся успехами науки, вырывают открытие теоретика из тесной колыбели, где оно провело первые дни и годы, и выносят его на простор, подвергая широкой жизненной оценке.

Так именно обстояло дело с открытием Ч. Дарвина, с тщательно выношенной им теорией происхождения видов. Совершенно такими же обстоятельствами сопровождалось открытие академиком Павловым глубокого механизма пищеварения (1878 — 1904), а позже его метода условных слюнных рефлексов (1902).

В течение последних 30 лет наш знаменитый ученый неотступно работал над реформой учения о высшей нервной деятельности животных, создавая новый подход к изучению деятельности мозга.

К настоящему моменту мы имеем вполне сложившийся метод экспериментального изучения деятельности мозга, дающий невиданную еще до сих пор точность анализа поведения, и грандиозность полученного материала вполне искупает все те трудности, которые пришлось на первых порах преодолеть физиологам, взявшимся за совершенно новую для них область.

Правда, надежды, сомнения и успехи группы ученых, посвятивших себя, под руководством И. П. Павлова, изучению физиологии высших отделов мозга животных, оставались в течение долгого времени никому неизвестными и мало кого интересовали, за исключением тесного круга специалистов.

Но теперь, в связи с выходом в свет ряда капитальных трудов И. П. Павлова, подытоживших результаты всех его трудов, а также в связи с двумя его юбилеями, внимание к физиологии больших полушарий головного мозга все увеличивается. Советская власть, особо отмечая заслуги И. П. Павлова перед наукою, строит новый институт для его

работ при Академии наук в дополнение к существующим лабораториям и Биологической станции в Колтушах.

Оглядываясь назад, на путь, пройденный гениальным физиологом, мы убеждаемся в том, что первая часть этого пути, протекшая в уединенной научной обстановке, дала возможность основателю школы — И. П. Павлову — заложить столь прочный фундамент, что вряд ли найдутся исследователи, которые могли бы поколебать построенное им здание.

Огромная сила нового учения о высшей нервной деятельности заключается в том, что все оно как бы отлито из одного цельного куска, представляет собой продукт деятельности одного могучего мозга, объединившего вокруг себя работу многих настойчивых людей, искренно преданных делу испытания природы.

Поэтому в заключение следует сказать, что такое представляет собой школа академика Павлова, как мы ее застаем в настоящий момент.

Когда говорят о какой-либо научной школе, то имеют в виду не только совокупность исследователей, разрабатывающих ту или иную область науки под руководством одного учителя — главы школы. Речь идет о совокупности определенных сложившихся взглядов и идей, о комплексе своеобразных методов исследования. Последние передаются в виде некоей научной традиции, переходящей иногда через ряд поколений научных работников.

Академик Иван Петрович Павлов за первый период своей плодотворной научной деятельности — до 1904 года — вырастил около 80 ученых, разработавших сложнейшую проблему пищеварения. Занявшись далее проблемой изучения высшей нервной деятельности, он провел через свои лаборатории около 200 научных сотрудников, не считая тех последователей его теории, которые приезжали к нему учиться из-за границы.

Если предположить, что каждый из этих учеников приготовил в свою очередь еще двоих научных работников (а на самом деле их подготовлено гораздо больше), то получится как бы пирами-

да, где труды самого Павлова переходят в труды примерно тысячи хорошо квалифицированных работников, продолжающих каждый на своем участке разрабатывать современную физиологию.

Для огромного большинства учеников научный авторитет Павлова является бесспорным. Чем же цементируется вся эта огромная пирамида, чем движется эта изумительная научная машина, работающая без перебоев более полустолетия? Кроме высоких личных качеств самого руководителя, она движется еще исключительной системой организации научно-исследовательского труда. Эта павловская система подготовки кадров сложилась постепенно; она нигде и никем не анализирована и даже не записана. А между тем многим из работников науки и техники, а также и педагогам высшей школы следовало бы детально с нею познакомиться.

Прежде, чем попасть в число сотрудников лаборатории, будущий исследователь обычно присутствовал на студенческих лекциях Павлова. Изумительные лекции! Они начинались всегда не по минутной, а по секундной стрелке часов, специально и ежедневно выверенных по пушке или по радио.

Итак, первое — это точность планирования лекций во времени. От звонка и до звонка Павлов успевает изложить огромный запас фактов, блестяще им систематизируемых. Второе — это его демонстрации опытов, взятых прямо из текущей научной работы лабораторий. Эти демонстрации чередуются показом классических опытов Людвиг, Клода Бернара, Сеченова, воспроизводимых детально до мелочей, как своего рода исторический спектакль. Это обстоятельство зажигает молодежь, делая ее как бы участниками исторических опытов. Третье — самое замечательное в технике лекций — это категорическое требование Павлова, чтобы всякий из слушателей прерывал его на полуслове, как только обнаружит у себя первые признаки непонимания хода опыта.

Разумеется, далеко не все слушатели пользуются этим правом, но ответственность их и внимание от этого удесяте-

ряются, и тренируется в огромной степени память.

Но вот прежний аспирант стал уже научным работником. Он попадает в ту особенную атмосферу, которая как бы насыщена новыми научными замыслами, новыми открытиями.

«... перед ним как бы разворачивается одна идея, все более воплощающаяся в формы прочных и гармонически связанных опытов. Этот основной, через все проходящий взгляд есть конечный взгляд лаборатории, обнимающий все до последнего ее факта, постоянно испытываемый, многократно подвергавшийся поправкам и, следовательно, наиболее правильный. И этот взгляд также конечно дело моих сотрудников, но дело общее, дело общей лабораторной атмосферы, в которую каждый дает от себя нечто, а вдыхает ее всю» (И. П. Павлов, «Лекции о работе пищеварительных желез»).

Мы имеем в настоящее время образцы захватывающих инструктивных собраний и бесед И. П. Павлова со своими сотрудниками. Эти беседы, под названием «сред», привлекают к себе внимание ленинградских, а часто и приезжих физиологов и психиатров.

Дело начинается с краткого доклада самого Павлова каждый раз на новую, обдумываемую им тему, причем в последующей беседе Павлов умело наводит слушателей на дискуссию, стремясь получить возможно больше возражений, с тем, чтобы подчас блестяще их разбить. Таким образом, он и заостряет испытанное оружие своего анализа, и причащает участников «сред» критически относиться как к фактам, так в особенности и к теориям. В этих беседах все для Павлова являются равными,—все, кто только хочет по-настоящему работать и думать над его любимым предметом — физиологией больших полусферий.

Очень своеобразна манера Павлова давать после окончания предварительных опытов научную тему для диссертации или очередной работы. В этом отношении Павлов, как организатор научно-интереса к лабораторной работе и планирования отдельных моментов ее,

не знает себе равных. Самый момент формулировки и дачи темы он обставляет особо торжественно: он начинает с истории вопроса, переходя к тому, что эта тема в известном смысле является решающей, что она трудна, но интересна и т. д. При этом иногда он практикует разделение одной темы между двумя и более сотрудниками, поручая им различных по своему типу экспериментальных животных, постоянно сравнивая глубину и качество их работы.

Итак, Павлов признает разделенность столь высоких форм труда, каким является труд экспериментатора. В этом отношении он является проводником американской системы организации научных институтов. Он не терпит лишь одного: «стандартного» мышления. Он требует от экспериментатора особого умения перестраиваться на ходу, требует гибкости мысли и внимания к так называемым мелочам и «исключениям». Отрицательных результатов он вообще не признает. Он из этих именно «неудач» зачастую черпает материал для новых заключений и новых тем. Иногда он дает и вводные задания, случается, радикально меняющие направление всей работы: все равно, через некоторое время прерванный ход опыта возобновляется и приводит к цели.

И все это делается в такой подкупающей форме, что недовольных не бывает, и все чувствуют себя необходимым элементом всей «системы», необходимым инструментом в огромном оркестре.

Иногда Павлов прибегает к научным «лотереям» и дает сроки на обдумывание ответа на поставленный им вопрос.

В организации научной работы Павлов придерживается принципа открытых дверей: он не признает никаких лабораторных тайн, никакой келейности. Он сам является рупором каждого успеха и поражения своего сотрудника. Но с особенным удовольствием он отыскивает и критикует свои собственные лабораторные ошибки, чтобы предупредить их повторение.

Огромное значение придает Павлов и обстановке, технике исследовательско-

го процесса. Таким образом, служители лабораторий, особенно операционные, являются для него не только служителями, но и ценными помощниками в работе.

Наконец следует проверка и учет добытых научных результатов. Последний момент наиболее сложный: дело в том, что работа с животными, ведущаяся по методу Павлова, весьма трудоемка: опыты продолжают годами, отдельные животные находятся в опыте по семи лет и даже более, и притом дают все новый и новый материал. Ясно, что где-то, на переходе от одного этапа к другому, надо «ставить точку», хотя обработанные собаки часто переходят «по наследству».

В общем работа у Павлова считается удавшейся тогда, когда, кроме ответа на заданный вопрос, она дает пищу для двух-трех новых работ, которые иногда поручаются нескольким авторам.

Законченной работе Павлов дает «вылеживаться», а выводам — устояться, и только после этого пускает работу в пе-

чать. Процент неудачных работ в его лаборатории поэтому ничтожно мал. Диссертации, воспроизводимые через десятки лет, дают неизменно те же основные результаты, ту же канву явления, хотя узор на ней, благодаря новой технике и новому строю мыслей школы, получается существенно иной.

До последнего времени Павлов не любил никаких средних цифр, никаких сводок, процентов. Он и сейчас старается иметь дело только с первичным фактическим материалом. Как шахматный гроссмейстер, играющий одновременно против 30 — 40 партнеров, он все их фигуры и перемещения «держит в голове». Это, разумеется, возможно лишь благодаря его блестящей памяти.

Готовые работы свои и своих сотрудников он правит тщательно, до последней запятой. Такова «школа» Павлова, таков в общих чертах «стиль» ее работы.

Литература и искусство

1. А. СТАРЧАКОВ — Ал. Н. Толстой. 2. Н. ВОЛКОВ — После юбилея. 3. С. ЧЕМОДАНОВ — М. М. Ипполитов-Иванов. 4. П. СЫСОЕВ — Вредные идеи под маской марксизма. 5. Б. КАПЦОВ и А. ЛЕБЕДЕВ — История 1-й Конной армии в живописи.

1. АЛ. Н. ТОЛСТОЙ

А. Старчаков

I

Язык художника неотделим от его мышления. Отличительной чертой мышления Ал. Н. Толстого является конкретность, ясность, точное видение. Так ясна проза Ал. Н. Толстого.

Конструкция фразы прозрачна. Придаточные предложения изгнаны. Метафора — редкий гость. Если художник и сравнит моток шерсти, лежащий на коленях у девушки, с пауком, то сделает он это не спроста, чтобы оттенить настроение девушки, — дурное, подавленное.

Эпитет не цветист, не изощрен. Но вместе с тем предельно выразителен: «Перед красным крыльцом стоял на огненно-рыжем донском жеребце старый генерал Гордон, красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам». Вот, пожалуй, типичное для Ал. Н. Толстого описание, — сжатое, яркое, передающее одновременно цвет, звук, движение.

Но простота этого описания мнимая.

Образ сам по себе является кристаллом, полученным в конце сложного процесса. Нужно отделять простоту образа от того извилистого пути, который образ проходит до момента своего выражения, кристаллизации. Образ не воз-

никает из пустоты. Чтобы так изобразить генерала Гордона, нужно было основательно познакомиться с живописью, предварительно изучить работы старых мастеров, — у них подсмотрел писатель и колорит своего портрета, и этот надутый ветром красный плащ, наброшенный поверх лат.

В повести «Рукопись, найденная под кроватью» эмигрант Поморцев говорит об Октябрьской революции: «Горят леса, города... Сабельками помахивают». Откуда, из какой народной песни залетели сюда эти сабельки? Вы вспоминаете, что несколькими страницами выше была дана характеристика пращур, предка Поморцева. Он от опричнины. Был воеводой в сторожевом полку. Насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах и, прогуляв ночь, кидался из шатра на армагака, как был, в шелковой рубашке и сафьяновых сапбжках, летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу.

Но зачем понадобилась столь отдаленная справка из родословной? Дело в том, что Поморцев не просто эмигрант, но сменовеховец, евразиец. Он верит в особое назначение России. Для него революция — уходящая в древность борьба Востока и Запада. На плоскогорьях Памира родился великий гнев, и вот к берегам лазурного океана

движутся орды кочевников. Скрипят телеги, ревет стада. Трещат твердьни под ударами хана.

Попутно Ал. Н. Толстой дает музыкальное сопровождение коньячному бреду Поморцева, — его сопровождает мистическая музыка из «Сказания о граде Китеже».

Образ простой и точный возник в итоге сложных воздействий. В его формировании приняли участие история, музыка. Наполнение образа, его окраска тесно связаны со всем опытом, с культурой художника.

Какая действительность отразилась в творчестве Ал. Н. Толстого, какие ее стороны осваивал он поэтически? Что собой представляет тот заволжский дворянин, который, возникнув на страницах ранних повестей и рассказов Ал. Н. Толстого, совершенно неожиданно ушел из его прозы и уступил место человеку в пенсне, русскому интеллигенту? Какую эволюцию проделал в творчестве Ал. Н. Толстого русский интеллигент (от полусонного, дремотного Андрея Андреевича из рассказа «Профиль» до министра самарского правительства доктора Булавина)? Что значит упорная семнадцатилетняя работа над эпохой Петра и как менялся образ Петра в повестях, драмах, двух книгах романа?

Достаточно поставить все эти вопросы, и для нас станет ясно, что простота прозы Ал. Н. Толстого обманчива. Путь буржуазного интеллигента, сформировавшегося между 1907—1914 годами, прошедшего через войну и революцию, эмиграцию и сменовеховство и в конце концов вместе с лучшими представителями старой буржуазной интеллигенции связавшего свою судьбу с судьбой нового социалистического общества, — весь этот сложный и во многих отношениях противоречивый и бурный путь нашел свое отражение и в мировоззрении Ал. Н. Толстого, и в стиле его творчества.

Декаденты и Бергсон, вехисты и В. Розанов, сменовеховцы и Шпенглер, все они в разное время определяли отношение художника к действительности и тем самым — ее интерпрета-

цию, тематический отбор. Но существенная особенность развития Ал. Н. Толстого заключается в том, что ни одно из идейных течений буржуазной мысли не превращалось в его творчестве в устойчивую тенденцию. Формирование мировоззрения, определявшего не только творчество, но и социальное поведение художника, его общественно-политическую позицию, началось уже в годы революции. Тогда пришли и поиски нового реалистического стиля, и поиски положительного героя. Первый опыт в этом направлении Ал. Н. Толстой делает в своей трилогии «Хождение по мукам». В «Петре I» поставленная задача разрешается Ал. Н. Толстым с большим художественным блеском.

II

Сосновка, степной хутор Самарской губернии, — родина Ал. Н. Толстого; здесь писатель родился в 1882 году. Ранняя проза Ал. Н. Толстого вскормлена семейными преданиями, рассказами о старомодных чудаках, о последних могиранах когда-то господствовавшего и выродившегося помещичьего племени.

Размахивая над головой медным рогом, скачет на рыжей кобыле по дремучему и топкому лесу Мишука Налымов («Заволжье»). Впереди две пары налымских зверей, краснопегих гончих. Откуда, как в степном, сожженном солнцем Заволжье, возник этот заколдованный лес? Не спрашивайте! Образ богатыря и самодура Мишуки Налымова, собачника и обладателя деревенского гарема, восходит к временам крепостничества.

К земскому начальнику Павале пришли крестьяне («Сватовство»). Павала, выживший из ума старик, давно отстранился от дел. Крестьян принимает дочь Павалы Катенька и ее любовник, старшина Евдоким. Ал. Н. Толстой переносит читателя в обстановку крепостной конторы. Навряд ли Катенька была возможна в роли земского начальника в эпоху насаждения кулацких хуторов.

Смешение действительности и старогодворянского анекдота с совершенной ясностью проступает в повести «Неделя в Туренева», в беседе тетюшки Анны Михайловны с мужичками. Ал. Н. Толстой так описывает крестьянский мятеж:

«В контору вошли, стуча сапогами и снимая шапки, мужики, пять человек, старинные приятели тетюшки. Она отложила перо и приветливо поздоровалась.

— Ну что, мужики, хорошего скажете?

— Да вот, — сказал один из мужиков, лысый и пухлый, — мы к вам, Анна Михайловна. — И побряхтел, оглядываясь на своих.

— Если насчет лугов, мужички, цену последнюю я сказала. Уступить ничего не могу. Разве рубля три, как хотите?

— Нет, мы не насчет лугов, — опять сказал первый. — С лугами, как порешили, значит, так и стоим. Обижать вас не будем... Нет, мы насчет вот этого...

Он замолчал, помялся. Помялись и остальные.

— Да вы о чем говорите-то, я не пойму? — спросила тетюшка.

— Ребята наши озоруют, Анна Михайловна, спалить собираются.

— Кого спалить?

— Да вас, Анна Михайловна, зачем же мы и пришли к вашей милости. Вы уж не обижайтесь, — на этой неделе спалим».

Мы легко пойдем характер этой сцены, если сравним ее с шуточным рассказом И. С. Тургенева, записанным Я. Полонским.

«— Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай. И вдруг увидим, что к балкону от церкви, по саду, приближается толпа спасских мужичков. Все по обыкновению снимают шапки, кланяются. И на вопрос: «Ну, братцы, что вам нужно?» — отвечают: «Уж ты на нас не прогневайся, батюшка. Барин ты добрый и очень мы тобою довольны, а все-таки, хошь не хошь, а придется тебя, да кстате вот и его, повесить». — «Как?» — «Да так, батюшка, а мы уж и веревочку припасли. Ты помолись! Что ж, мы ведь не злодеи

какие-нибудь, тоже, чай, люди, можем и повременить маленько». (Я. Полонский. «Тургенев у себя»).

Это смешение прошлого с настоящим одна из особенностей ранней прозы Ал. Н. Толстого. Но реализовать фамильные предания, впечатления детства непосредственно в самом начале своего литературного пути писателю не удалось. Господствовавшее литературное течение отбросило Ал. Н. Толстого далеко в сторону от близкой ему темы. Писатель становится неожиданно для самого себя поэтом-декадентом, сочинителем посредственных стихов.

Как очарованный, Ал. Н. Толстой подымался по средам на «башню» Вячеслава Иванова. «Башня» была центром философской и эстетической реакции. Здесь утверждались философские и эстетические теории, антиобщественные в самом существе своем, отсюда излучался яд эротики, мистики и снобизма, который надолго определил содержание и стиль искусства в годы реакции. По средам на «башне» было тесно, как на хлыстовских радениях. Присутствующие сидели на полу, читив небольшой круг для тех, кто собирался говорить. На «башне» говорили до хрипоты, до самозабвения, опьяняясь напевом своих речей. Охотнее всего говорили о любви. Эрос, как мировая душа, как перводвижущая сила, был центральной темой сред.

Первая книга стихов Ал. Н. Толстого — «Лирика» — жила отраженным светом русского декаданса. Начало своей работы над художественной прозой писатель относит к лету 1909 года. Первые прозаические произведения Ал. Н. Толстого — «Соревнователь» и «Яшмовая тетрадь» — идут в русле галантного стилизаторства, которое насаждалось журналом петербургских эстетов и снобов «Аполлоном». Стилизаторские новеллы Ал. Н. Толстого выгодно отличались пониманием их условного характера. Они были ближе к пародиям Козьмы Пруткова, чем к манерной, галантной прозе «Аполлона». Элементы стилизаторства оказались устойчивыми в творчестве писателя. Свое наиболее совершенное выражение они получили в

комедии «Любовь — книга золотая», написанной уже в годы эмиграции в Париже. Прежде чем навсегда распрощаться с поэзией, Ал. Н. Толстой пишет книгу стихов «За синими реками», создает циклы стихотворений на мотивы славянской мифологии. Когда-то стихи об «Удрасе и Барыбе», прочитанные на «башне» в один вечер с блоковской «Незнакомкой», принесли Сергею Городецкому литературную известность. Вслед за Горощиным и Ремизовым Ал. Н. Толстой обращается к славянскому язычеству, к мифу, к истокам народного творчества.

III

Вокруг Горького группировались представители демократического направления русской литературы. Реакционное мещанство бешено аплодировало «Безднам» Л. Андреева. Еще находила своих страстных приверженцев сложная, двухплановая проза символистов. Но рядом с двусмысленными символами Белого и Соллогуба прорастали побеги молодой, неореалистической прозы. Наиболее крупными представителями этого течения были Ал. Н. Толстой, Е. Замятин, М. Пришвин, немного раньше их пришел в литературу Б. Зайцев. Акмеизм в поэзии и неореализм в прозе были двумя сторонами одного и того же процесса. Охваченный «контрреволюционным энтузиазмом», буржуа, представлял к искусству новые требования. Ему надоело учительство (политическое, философское, религиозное) русской литературы. Утонченная эротика, мистические предчувствия, невнятные бормотания символизма становились ему нестерпимы. Поэтическая система символизма казалась прозрачной, обманчивой, чем-то вроде шулерской шкатулки с двойным дном, куда проваливался реальный мир. Он требовал от искусства вещности, мудрой физиологичности, он хотел, чтобы искусство украшало его жизнь.

Строго говоря, понятие неореализм было лишено конкретного содержания. В лучшем случае неореалисты были талантливыми бытовиками, импрессионистами. Иногда проза неореалистов становилась беспредметной, теряла очерта-

ния, растворялась в целой веренице отдельных мастерски написанных лирических сцен и образов. Искусство социального анализа, понимание конкретной исторической действительности, умение показать в системе образов ее тенденции, противоречия, — все эти особенности, характерные для классического русского реализма, были утрачены неореалистами бесповоротно. Более того, некоторые из неореалистов принципиально противопоставляли себя «критическому направлению» русской литературы.

В статье, появившейся в забытом теперь журнале «Кулисы», Ал. Н. Толстой писал о задачах искусства:

«С сороковых годов русское искусство взяло на себя тяжкий, подчас непосильный, труд борьбы за свободу гражданскую, за внешнее освобождение, тогда как существо искусства есть свобода внутренняя, просветление духа, выходение из хаоса в свет вечного солнца. Во имя человечности русское искусство отвернулось от этих единственных задач».

Этот отказ от наследства революционной демократии был знаменем времени. Статья Ал. Н. Толстого о задачах искусства запоздало перекликалась с нашумевшей статьей Гершензона «Творческое самосознание», появившейся в сборнике «Вехи». Идеолог реакционной интеллигенции сокрушенно писал в «Вехах» о том, что в течение трех четвертей века у нас, как нигде в мире, деспотически властвовало общественное мнение, что с первого часа сознательной мысли интеллигент становился рабом политики, только о ней думал, ее одну искал во всем, в чужой личности, в искусстве.

Приблизительно в 1911 году пора ученичества была закончена. Начался решительный поворот от поэзии к прозе. Вместе с этим поворотом пришла впервые литературная известность.

IV

К рассказу «Аггей Коровин» Ал. Н. Толстой взял эпиграфом слова Баратынского: «Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой, мне снишься ты, мне

снится наслаждение. Обман исчез, нет счастья». Эти строки можно было бы взять эпиграфом ко многим повестям и рассказам Ал. Н. Толстого, относящимся к первому периоду.

Словно в полусне, в туманной дреме живет Петр Леонтьевич из повести «Заволжье». Когда-то он собирался строить завод консервированных раков и даже выписал из Москвы расписные горшечки. Но все кончилось пустяками, ничем. Сонно коротает свой век милейшая тетушка Анна Михайловна («Неделя в Туренева»). Когда-то у тетушки был свой собственный план обогащения, — собиралась разводить зайцев. Русский заяц за границей в большой цене. Брат тетушки Аггей не знал различия между днем и ночью, целые дни проводил, лежа на клеенчатом диване; одна радость — растрепанный роман Дюма-отца.

Бредит наяву генеральша Брагина из «Чудаков». Она ищет старинный клад и собирается посадить на шведский трон своего мужа — смешного и недалекого генерала. Спит мертвецким сном на своем хуторе за семью оврагами помещик Давыд Завалишин. Он впал в сонное состояние давно, задолго до приезда на степной хутор. Даже в самую зрелую пору своей жизни жил он полусонными желаниями. Ал. Н. Толстой так и говорит: «Когда же все бывшее в кругу полусонных его желаний испыталось, он увидел, что все прошлое было ложным, ошибочным, но все это не помешало ему отдаться уже без всякого раздумья снам на своем родном хуторе. И влюбляется Давыд Давыдыч не просто в женщину, но в полубезумную, с ущербным сознанием. «Сознание у меня убогое и короткое», — говорит о себе попадьа, которая отдает свое сердце Давыду Давыдычу.

Спят мертвым сном не только усадьбные жители. В повестях и рассказах Ал. Н. Толстого первого периода бродит в полусне интеллигент, обитатель шумного города. Андрей Андреевич живет «как бы в постоянной приятной задумчивости и мечтательности, ничего решительно не делая» («Профиль»). Безнадежно борется с сонной одурью Николай Иванович из рассказа «Для

чего идет снег». Напрасно силится он постичь теорию федерализма, книга падает у него из рук, мысли тянутся бесформенные, однообразные, как зимние облака, как падающий за окном снег. «Я не понимаю, что плохо и что хорошо, я не помню по именам женщин, которые у меня бывают, я не люблю ни людей, ни родины, ни своего дела. Я живу, как во сне, не знаю, зачем».

Мечта не противостоит действительности. У нее с действительностью нет никаких точек соприкосновения. Аггей Коровин не похож совсем на деятельного мечтателя. Дон-Кихот, странствующий рыцарь, искал прелестную Дульцинею, воевал с мельницами. Аггей, Давыд Давыдыч, Николай Иванович, молодые и старики, начинающие жить и пресыщенные жизнью, просто прозябают в полусне, не догадываясь о том, что вокруг них бушует страстная и сложная жизнь.

Но бьет час, и спящие пробуждаются.

— Замуж хочу, — стонет Степанида Ивановна из «Чудаков». Слова эти, обращенные к отцу, Ивану Африкановичу, в устах Степаниды звучат, как угроза: «Выдай меня замуж, старый мухобой, выдай меня замуж, хуже будет».

Весной, в ожидании какого-то самого важного события, пробуждается к жизни Давыд Давыдыч. Стоя у окна, он смотрит, как конюх выводит из конюшни на поводу жеребца. Жеребец ржет, прыгает. Что осталось от сонливой скуки? Куда девалась неподвижная мечтательность Давыд Давыдыча? Слепо, как рыба во время нереста, он прет наперекор стихиям, через семь оврагов, в далекую деревню, где живет вдовая попадьа, любовь которой померещилась ему. Любовь бросает Аггея Коровина из насиженного гнезда в далекий сумасшедший Петербург, и Алексей Федяшев, скромный, молчаливый мечтатель, хватается за шпагу, добиваясь признательности Машеньки. Полюбив, бросает родные места Коля Шавердов. Прицепив к поясу узелок и стуча палкой, бредет он ночной дорогой навстречу неизвестному. Куда он бредет, зачем? «Думал он, что никогда больше не вернется в проклятое село. А что делать будет,

не все ли равно, лишь бы жить в городе, где Аннушка» («Родные места»).

Легкой, ничем не омраченной, бездумной любви хотят, ищут герои Ал. Н. Толстого. Любовь одна ведет их по жизненным тропам. Неустанно живописуя любовь, Ал. Н. Толстой находит для ее изображения тона лирические. Ни тени обнаженного эротизма, который заливал русскую литературу мутной волной в годы реакции, мы не найдем в прозе Ал. Н. Толстого. Описание инстинктивных движений целомудренны. Они одинаково чисты и в двенадцатилетнем Никите, охваченном первым томлением весны, и в степном помещике Давыде Завалишине, влюбленном в попадью.

V

Но иногда язык, которым говорят герои Ал. Н. Толстого, становится напыщенным, почти условным.

Давыд Завалишин разговаривает с полубезумной попадьей словами необычайными. Так некогда говорил Паоло с прекрасной Франческой.

— Я люблю тебя. Я постараюсь заслужить тебя... Нам нельзя расставаться, нельзя умирать. Пусть зовут и мучают, а мы сядем вот так, родная моя, одна на всем свете. Какая наша любовь, какой свет!

Откуда этот пафос речей Давыд Давыдыча? Он ничем не мотивирован, — ничто не угрожает его счастью.

Иногда в речах о любви (как голос из чужого мира) начинают звучать мистические интонации. Влюбленная Маша не просто убита ревнивым мужем, но брошена в некий неугасимый костер, и в каких-то пространствах она снова встретит свою тоскующую сестру («Любовь»).

Не прошли бесследно ночи на «башне», когда, блистая очками, вождь символизма говорил об эресе, как о единственной движущей силе, как о душе мира. Там Ал. Н. Толстой почерпнул и некоторые философские воззрения. Упорно повторяемая в рассказах, повестях, романах первого периода антифеа: жизнь — сон и любовь — пробуж-

дение, — убеждает читателя в том, что Ал. Н. Толстой был в плену у «башни» и тогда, когда давно порвал с литературными учителями своей молодости. Только в радостном безумии любви, в могучем и мистически понимаемом эресе обретает человек всю полноту жизни. Нужно выключить разум и отдаться могучим влияниям инстинкта. Не разум, но таинственная интуиция, мимолетное озарение об'являлось универсальным ключом к познанию мира. В согласии с философией бессознательного художник признавал за разумом малопочтенное право познавать лишь мертвую материю, однородные явления, поддающиеся счету и мере. Проникновение в творческий поток, которым является действительность, познание действительности во времени, в качественных изменениях, представлялось не разуму, но инстинкту, интуиции. Философия бессознательного, господствующая философия реакционной буржуазии, проникала в сознание художника независимо от того, являлся он или нет ее последовательным учеником. В годы реакции влияние философии бессознательного было огромно. Прозаики проявляли исключительный интерес к первичным, иногда едва уловимым движениям человеческой психики. Философию бессознательного проповедывали в стихах второстепенные поэты.

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа.

Разум, посланный в изгнание, уступил место инстинкту, полусонной мечте, разум клеймился презрительным словом «мозгология». И короткое, и убогое сознание не являлось больше свидетельством духовной нищеты, но утверждалось как добродетель особого и притом высшего порядка.

Когда-то Достоевский в письме к одному из своих корреспондентов писал о том, что в нашей литературе «последнее и в высшей степени помещичье слово уже признано».

Но вот Ал. Н. Толстой вернул литературе и помещика в фуражке с дво-

рянским околышем, и мечтательных девушек, и гусар, стреляющихся на поединках, и даже традиционных усадебных байбаков, утративших различие между сном и действительностью. Снова закачался в тарантасе, запряженном почтовыми лошадьми, проезжий человек. Перед читателем снова замелькали вечера на балконе дворянской усадьбы, когда лениво плетется вязь незначительного разговора, кружится у абажура зеленокрылая мошкара и возится в кустах сонная птица.

И все же это в высшей степени помещичье слово, произнесенное писателем в те годы с таким мастерством, было только эхом. В ранних пьесах, повестях, романах Ал. Н. Толстого мы узнаем типический прием, характерный для дворянской усадебной литературы. Сонливое житие нарушает залетный человек. Достаточно вспомнить «Касатку», «Чудаков», «Неделю в Туренева», «Хромого барина». Но при внешнем сходстве у Ал. Н. Толстого нет того общего замысла, того социального плана, который был душой классического дворянского романа. От прошлого остался конструктивный прием, но исчезло социальное наполнение. Кто эти люди, которых Ал. Н. Толстой противопоставлял обитателям последних дворянских гнезд? В сущности, перед нами вариант одного и того же образа. Промотавшийся вдребезги дворянин, игрок, иногда шулер, он ищет в стенах когда-то родной ему усадьбы последнего убежища. Никаких противоречий общественного порядка от перенесения героя в иную среду не возникает. Он хочет в родной усадьбе переждать, отдохнуть от житейских невзгод. Чаще всего дело кончается женитьбой героя, воскресшего в обстановке старого гнезда («Касатка», «Хромой барин»). Иногда герой не доезжает до усадьбы и, окончательно запутавшись, пускает себе пулю в лоб, как это было например с Сивачевым из рассказа «Мечь».

Многообразие, драматизм социальной жизни лежали за пределами поэтического восприятия писателя. Он создавал вереницы образов, ярких, легкомысленных, часто полных светлого юмора, ко-

торый так характерен для творчества Ал. Н. Толстого, очаровывал великолепным по своей свежести языком. Критика рукопискала пьесам и романам, пьесы шли на сцене, журналы поперебой приглашали молодого автора. Но перед судом своей совести художник был не победителем, а побежденным и даже подумывал: «а не махнуть ли рукой на литературу и не пойти ли служить?» В своей автобиографии, начатой давно, лет двадцать тому назад, Ал. Н. Толстой писал: «В 1910 — 1911 году я мучительно пытался уловить тон современности, но это мне не удавалось». Откуда же росло у писателя это сознание ущербности первых литературных опытов? Да потому, что напряженное искание тона современности было только началом упорной борьбы за реализм, которая растянулась на целые два десятилетия и не окончилась и по сей день.

Не в каждом своем произведении художник берет решающие стороны действительности. Он может поднять на высоту поэтического явления случайное и незначительное. Часто эта работа является творческой лабораторией художника, в которой он проверяет свои наблюдения, систему своих творческих средств. Но отличие реалиста от бытописателя заключается в том, что реалист рано или поздно переходит от изображения случайного и незначительного к изображению существенных, правильно понятых сторон общественного развития.

Давид Давыдыч, прямой потомок Тентетникова и Обломова, был конечно яркой бытовой фигурой дворянского одичания. Но тон современности задавал конечно дворянин другой складки, тот самый Борода-Капустин, помещик-националист, о котором говорит Ал. Н. Толстой в своей повести «Приключения Растегина». Но именно эти черты дворянина столыпинской эры не получили своего художественного воплощения. Борода-Капустин очерчен в повести двумя-тремя беглыми штрихами, ему посвящено всего лишь несколько строк. Типичной фигурой той эпохи был и Растегин, биржевик, обогащающийся со

сказочной быстротой. Писатель показывает Растегина не в сфере его практики, не в обстановке города, биржи, а по боковой линии. Интересно задуманная, яркая в своих подробностях история нового Чичикова, кочующего по дворянским усадьбам, размнивается по мелочам, разрешается традиционной любовной историей, — Растегин пытается увести любовницу помещика Дыркина.

В те годы свой большой талант Ал. Н. Толстой отдавал изображению бытовых ситуаций, хотя колоритных и занимательных. Это не мешало критике причислять раннего Ал. Н. Толстого к представителям реалистического направления. Одни делали это с оговорками: в писателе видели романтика в поэзии и реалиста в прозе. Другие безоговорочно уводили его в стан художников-реалистов. В одной из статей о писателе мы читаем: «Ал. Н. Толстой — художник так называемого реалистического направления: писатель передает действительность как нечто реально существующее, независимо от его сознания».

Таким образом, стиль художника определялся не на основе анализа творчества и связи его с конкретной исторической действительностью, не в зависимости от того, какие именно стороны действительности получали свое поэтическое воплощение, но по совершенно другим признакам. Достаточно было установить, что для художника мир является объективно существующей реальностью (в отличие от символистов, видевших в мире только «подобие») для того, чтобы определить стиль его творчества как реалистический.

Причислив Ал. Н. Толстого к представителям реалистического направления, критика механически переносила на него соответствующие традиционные оценки. Ал. Н. Толстой неожиданно становился отличителем дворянского оскудения, чуть ли не продолжателем того критического направления русской демократической литературы, от родства с которым он всячески открещивался. Вопрос о социальной и творческой эволюции художника упразднился. Критика словно не замечала, что Мишуку Нальмова и

Семочку Окаемова можно было без всякого ущерба передвигать по линии времени, и они не утрачивали ни своих выразительных черт, ни своей занимательности. Пожалуй, они выглядели бы еще естественнее на фоне крепостной усадьбы сороковых годов. Потеряв свою анекдотичность, они стали бы помещиками средней руки того времени. Это не значит, что «Заволжье» написано бесталанно, бледно, — вовсе нет. Неумирающая прелесть «Заволжья» как-раз и заключается в его художественном анекдотизме. Образы чудаков не вымышлены, они — обломки прошлого, реликты истории. Но в этих образах ярко и талантливо схвачено не движение, развитие, бег времени, но омертвелые черты застойного быта.

VI

Как правило, художник пристрастен, — с судьбой своих героев он связывает торжество или поражение определенных принципов, идей.

Очень долго глубокое безразличие отделяло Ал. Н. Толстого от его героев. Быть может, потому, что ни в одном из них он «не сказал самого себя». Вернется ли из Египта Сергей Ходанский, что будет делать в Париже хлыщеватый Смольков, как сложится судьба прекраснодушной Сонечки — не все ли равно. Безумную генеральшу Брагину насилует и грабит переодетый лакей. Как смешно и беззаботно рассказывает об этом писатель!

Он иронически смотрел на слабости и пороки обитателей созданного им мира и неохотно выступал в качестве их судьи. Герои широко пользовались снисходительностью художника: с какой необычайной легкостью они убивают, насилуют, мучают друг друга. Их злодеяния непосредственны, как непосредственна их любовь. Можно было бы составить целый синодик убитых, задушенных, запятанных в рассказах, повестях и романах Ал. Н. Толстого.

Конокрад Архип душит помещика Собакина («Архип»).

Баляснова душит его любовница Марья («Однажды ночью»).

Несчастливого Санди душит поручик Москалев («На острове Халки»).

Василий Сучков душит свою жену («Василий Сучков»).

Но какие бы злодеяния они ни совершали, иронический объективизм художника оберегал читателя от потрясений. Читатель равнодушно проходил мимо явлений страшных и уродливых, почти не замечая их. И только один человеческий образ всегда выводил художника из состояния блаженного равнодушия, зажигал в нем сложную гамму чувств—от брезгливости эстета до жгучей неприязни, подсказанной политическими взглядами писателя.

Одна из героинь Ал. Н. Толстого говорит о том, что вид русского интеллигента, человека в очках, с желтой бородкой, оскорбляет ее эстетический вкус. Она любит поэзию, картины, мрамор, музыку. Она прежде всего хочет любоваться людьми. Но в Москве она принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, со слабительными лепешками в жилетном кармане, существо развинченное нравственно, ежеминутно наклонное к истерике.

Однако нужно для ясности отметить, что эта страстная тирада направлена не против интеллигенции вообще, но против определенных ее представителей. Далеко не всякий интеллигент становится объектом жгучей неприязни писателя. Ал. Н. Толстой щадит интеллигента средней руки, послушно делающего порученное ему дело. Более того, он охотно отдает ему свое благоволение. Доктор Заботкин из «Хромого барина», инженер Телегин из «Сестер», военный агент Обозов из «Прекрасной дамы», — над ними почитет благодать. Иное дело интеллигент-вития, либерал, претендующий на идейное господство, на ведущую роль в общественной жизни страны. Здесь художник становится неумолим, — слово «либерал» звучит у Ал. Н. Толстого как ругательство, оно ассоциируется с представлениями мало почтенными.

Интеллигент, человек в пенсне, праздничный говорун и беспочвенный фрондер, становится объектом непрестанных изде-

вательств. Писатель следит за каждым шагом своего слабого, развинченного, неуклюжего героя, он разоблачает его в личной и общественной жизни, покарывает нищету его духа, постыдный разрыв между словом и делом. И чем крупнее мишень, тем сильнее удар, тем глубже мера ненависти.

Стабесов из рассказа «Человек в пенсне» — мелочь. С ним автор разделяется легко и непринужденно. Стабесов принимал участие в событиях 1905 года и даже был в недолгой ссылке. Но — «все свершилось по писаньям, остудился юный пыл». Стабесов читает необязательный курс в университете, он выдохся, посерел, закис. Стабесов влюблен. Если любовь, по мысли писателя, является единственным смыслом человеческой жизни, ее высшим благом, значит, нужно отнять у врага право на любовь, нужно сделать его любовь унижительной и позорной. Ал. Н. Толстой окрашивает образ Стабесова, его мысли, поступки в тона убийственной пошлости. Екатерина Васильевна готова отдать свою нежность человеку в пенсне. Он жалок и в то же время дорог ей. Но в ту минуту, когда Стабесов ощущает в себе пробуждение «красивого зверя», Екатерину Васильевну охватывает непреодолимое отвращение. Она отвечает Стабесову словами жестокими и оскорбительными, как удар хлыста.

Шевырев из рассказа «Милосердие» крупнее, значительнее Стабесова. И потому возмездие суровее, и мера неприязни глубже. Шевырев уже в юности своей готовился к общественной деятельности, мечтал стать полезным членом общества. Диван, который стоит у него в кабинете, — не простой диван. На нем из поколения в поколение велись жаркие споры на общественные темы. Но вот пришли годы исторических испытаний, и герой растаял, лопнул, как проколотый пузырь. В дни революции Шевырев говорит о себе:

— Я вышвырнут из общественной жизни. Будем жить для себя. Вы этого хотели, вы этого добились. Превосходно!

Обанкротившегося либерала презирает его сын Николай. Сын называет себя

левым эсером. Но личная жизнь оказалась у Шевырева еще неудачнее, чем его общественная деятельность. Здесь Шевырев терпит последнее крушение. Он ищет встречи с понравившейся ему женщиной, он просит не глумиться над его чувствами. И Шевырев, подобно Стабесову, будит отвращение своей самовлюбленностью, своим холодным эгоизмом. Писатель делает сына не только политическим противником, но и соперником отца, и сын презрительно выпроживает за порог носителя идеалов, хранителя заветов. Шевырев бьет сына по лицу. Это уже не простой мелодраматический эффект, — пощечина должна завершить разрыв. По дороге к дому, ночью, сын пытается застрелить отца.

Что же вдохновляло эту упорную неприязнь Ал. Н. Толстого к человеку в пенсне? То была критика русского интеллигента не слева, а справа. То была неприязнь буржуазного интеллигента, сформировавшегося в годы реакции, к интеллигенту более ранней формации, который сохранил еще в своей фразеологии розовые оттенки, который продолжал, хотя бы на словах, служить каким-то заветам, идеалам. Буржуазный интеллигент, в годы реакции оборвавший всякую связь даже с умеренной радикальной общественностью, иронически и презрительно относился к своему старшему собрату, вышедшему из потрясений первой революции опустошенным, нищим духом.

Ночью на палубе парохода «Кавказ» военный доктор произносит по адресу либеральной интеллигенции обвинительную речь, полную желчи и негодования. («Кавказ» увозит из Одессы в Константинополь белогвардейцев, биржевиков и спекулянтов, опрокинутых в море Красной армией.)

«— Наша интеллигенция свыше полсотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует царубийц... Сазоновы, Каляевы, — доктор хрустнул зубами, — Маруси Спиридоновы и прочие богородицы» («Ибикус».)

Содержание этой речи, ее ернический тон подсказаны реакционной публицистикой. Так писали Суворин, Меньши-

ков, В. Розанов. Например в «Опавших листьях» В. Розанов приблизительно в тех же выражениях говорит и о канонизации царубийц, и о том, что наша интеллигенция свыше полсотни лет занимается подрыванием основ государства. Доктор на борту «Кавказа» поносит Чернышевского и Михайловского. Розанов обливал заодно грязью и Герцена, и Белинского. В «Опавших листьях» мы читаем:

«С декабристов и даже с Радищева еще начиная, наше общество ничего решительно не делало... И все эти Герцены и Белинские упражнялись в чистописании, гораздо бесполезнейшем и глупейшем, чем Акакий Акакиевич».

В. Розанов был одним из популярнейших публицистов реакционной России. Сила его была в откровенном бесстыдстве, с которым он говорил вслух то, чего стыдливо не договаривали даже самые матерые реакционеры. Розанова объявляли чуть ли не гением, ему прощались и его маразм, и ренегатство, и двурушничество. Военный доктор на борту «Кавказа» повторяет своего излюбленного публициста.

VII

В годы войны, в новой обстановке, на новом материале Ал. Н. Толстой по-прежнему развивал свою излюбленную тему, славил любовь, как воскрешение, как высшее раскрытие духовных сил человека («Маша», «Под водой», «Прекрасная дама»). До идейного перелома было еще далеко. Предстояло пройти сквозь годы революции и гражданской войны, пережить эмиграцию и возвращение на родину.

Летом 1918 года из Петрограда и Москвы к югу катился взволнованный человеческий поток. То был исход русской буржуазии. Уходили налегке, захватив самое необходимое. Октябрьская революция казалась очередным фарсом отечественной истории. Собирались отсидеться под благодатным небом Юга, на берегу Черного моря — господству новых варваров был дан точный срок: до осени. Пограничный Курск казался беглецам чем-то вроде нового Коблен-

ца, — у самого Курска германские пехотинцы, в серо-зеленых мундирах, стерегли границу, отделявшую Украину от Советской земли. В Киеве сидел гетман Скоропадский.

В Париже Ал. Н. Толстой пишет комедию «Любовь — книга золотая», великолепную стилизацию, возвращающую художника ко временам «Аполлона». Комедия с большим успехом шла на парижской сцене. Ал. Н. Толстой пишет «Детство Никиты», последнюю в русской литературе дворянскую автобиографическую повесть. И в конце девятнадцатого года начинает работать над трилогией «Хождение по мукам».

Трилогия была задумана в плане обличительном, острием своим она была направлена против революции. В первой книге трилогии — «Сестрах» — автор пробует дать оценку целой эпохе русской истории, оценку в духе той обличительной речи, которую произносит военный доктор на борту парохода «Кавказ». В «Сестрах» неприязнь к либеральному интеллигенту получает свое предельное выражение. Смоковников, известный всему Петербургу адвокат, говорун, на несколько голов выше и Стабесова, и Шевырева. Смоковников может речью в суде растрогать сердца публики, дамы подносят ему цветы и даже целуют руки. В кругу друзей он не прочь выпить бутылку шампанского за будущую революцию. Иногда в припадке самоуничижения Смоковников говорит о том, что существует другая Россия, которая пашет землю, пасет скот, долбит уголь, строит. И существуют люди, которые заставляют ее все это делать. «А мы какие-то третьи, умственная аристократия страны, интеллигенты, мы ни с какой стороны этой России не касаемся, она нас содержит. Мы папильоны. Я обречен до конца дней летать папильоном».

Поэт Бессонов из романа «Сестры» — родной брат Стабесова, Шевырева, Смоковникова. Он также опустошен внутренне, как они, он живет такой же, как они, прозрачной, несвязанной с реальным миром жизнью. Но Бессонов — поэт. Ему дан страшный дар претворять

в чудесные стихи свой мрак, свою безнадежность, свое отчаяние. Он не только смешон, как его братья, но и страшен. Желая развенчать Бессонова, автор прибегает к уже испытанному приему, — он отравляет его каждое движение пошлостью, делает пошлостью его двойником. «Сестры» должны были стать чем-то вроде новых «Бесов», где Смоковников соответствовал бы Степану Трофимовичу, Акундин — Петру Верховенскому, Бессонов — Ставрогину. Роман был задуман против растленных папильонов, разлагающих общество и государство. Но с «Сестрами» случилось то же, что и с военной прозой Ал. Н. Толстого: привычное равнодушие к вопросам общественного характера, отсутствие продуманного до конца политического идеала, — все это лишило роман воинствующей страстности, полемической остроты. Основные его тенденции не получили предельно четко и последовательного выражения.

Французский поэт Теодор Банвиль как-то заметил: «Поэзия есть то, что сотворено и не нуждается в переделках». Если применить к роману «Сестры» критерий Теодора Банвиля, то придется признать, что роман при всех своих поэтических достоинствах до конца такого критерия не выдерживает. Через несколько лет после своего возникновения роман подвергся известной переделке, и если не утратил до конца свою начальную направленность, то во всяком случае стал восприниматься читателем как роман «семейный», — его политические тенденции были заслонены историей любви и страданий героев.

VIII

Как ни умеренна была температура общественно-политических взглядов Ал. Н. Толстого, как ни мало склонен был он ломать копыя в защиту того или иного идеала, все же сознательная тенденциозность «Сестер» (тенденциозность в смысле общих намерений, конечных целей произведения) явилась огромным шагом вперед в развитии художника. В романе «Сестры» Ал. Н. Толстой порывает с дворянским быто-

писательством. От поэтического изображения ярких и выразительных, но случайных подробностей быта Ал. Н. Толстой переходит к показу реальности, к изображению социальных процессов, составляющих содержание действительности. Он искусно связывает личное бытие своих героев с их общественной практикой, личные переживания даются в связи с социальным бытием. «Сестры» по жанру своему отличны от усадебного дворянского романа, реликтами которого являлись «Чудаки» и «Хромой барин». В «Сестрах» Ал. Н. Толстой в пределах своего мировоззрения художественно осваивает закономерности общественного развития, запечатлевает их в типических образах. От фамильного анекдота, от традиционного изображения лишнего человека, прозябающего в стенах старой дворянской усадьбы, художник впервые переходит к изображению человека большого города, с его внутренним миром, богатым, сложным и противоречивым. Мир расширяется до пределов необычайного по сравнению с заволжскими рассказами, повестями, романами. Революция заставила Ал. Н. Толстого решительно определить свое отношение к действительности, она проявила контуры классового самосознания, смутно обозначавшиеся за философией бессознательного. В романе «Сестры» Ал. Н. Толстой запечатлевает уже открыто, обнаженно, хотя и без воинствующей страстности, миропонимание буржуазного интеллигента в годы войны и революции.

Впервые перед Ал. Н. Толстым возникла проблема положительного героя. Прощаясь навсегда с прошлым, со всей старой, веселой, грешной жизнью, художник пытается в то же время найти точку опоры. Ему нужен герой, который знал бы непреложно, куда идти, что делать, который не потерялся бы в огулшительном хаосе событий, не был подхвачен, как перекати-поле, тем «бешеным, крутящимся облаком, торжествующим и яростным», в образе которого представились писателю события войны и революции. К концу романа таким героем становится Рошин, рыцарь без страха и упрека, единствен-

ный положительный персонаж в «Сестрах», который подымается на высоту некоторой общей идеи. Рошин в «Сестрах» несколько неподвижен, он еще не успел «остервенеть». Классовая ненависть проснется в нем позже, во время «Ледяного похода». Но по внутреннему замыслу Рошин, патриот, человек деятельный, уже в первой книге романа противостоит болтуну Смоковникову, растленному Бессонову и прежде всего Акундину, долженствующему представлять в романе подспудные силы революции. Если бы не идейный кризис, пережитый писателем, то мы имели бы, по всему вероятию, во второй части трилогии, в романе «Восемнадцатый год», иную расстановку сил — в центре романа был бы поставлен белый герой Рошин, он оказался бы не жертвой ложно избранного им пути, но светлой личностью, носителем заветных дум и стремлений.

Еще Телегин, подобно большинству героев Ал. Н. Толстого, весь погружен в переживания любви, для него любить — и значит жить: «В какое тяжелое время мы любим» — говорит он. Телегин готов об'явить любовь каким-то талисманом, мистической силой, которая одна может об'единить враждующие стороны, усмирить, сковать разгулявшуюся стихию. «Опомнитесь, бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна любви!.. Только во имя ее, только этим святым пламенем мы живы! Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников!» Личное счастье об'является верховным принципом жизни, все остальное тлен, пустые словеса, мозгология. И все же, в отличие от героев ранней прозы, Телегин, утверждая всемогущество любви, минутами берет под сомнение свое право на счастье. Он тоже, подобно Андрею Андреевичу из рассказа «Профиль», начинает испытывать что-то вроде «нравственной изжоги». Хотя еще не пробил час активного вмешательства в борьбу, Телегин все же начинает понимать, что вокруг него неблагополучно, что нельзя оставаться дальше в раковине личной жизни. «Зачем скрывать от себя, — выше всего

желание счастья. Могу я уничтожить очередь, накормить голодных, остановить войну? Нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли я счастливым?» — размышляет Телегин. Уже эти сомнения выгодно отличают его от других героев Ал. Н. Толстого. Он начинает задумываться о своем отношении к миру. На последних страницах романа «Сестры» мы находим многозначительную сцену. Телегин читает жене своей Даше раскрытую наугад книгу. В ней он находит ответ своим сомнениям. Триста лет тому назад ветер гулял по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Был голод, люди ели солонину из человеческого мяса, по лесным тропам пробирались последние шайки воров, давно уже пропивших награбленное за десять лет. В эти дни к обугленным стенам Москвы, к огромному пепелищу, везли на санях, по грязной мартовской дороге, испуганного мальчика, выбранного, по совету патриарха, общинальными боярами и бесторжными торговыми гостями в цари московские. Оборвавшаяся было нить русской истории завязалась новым узлом.

Этот отрывок, как откровение, читает Иван Телегин жене, — роман близится к концу, художник торопится высказать сокровенное, и, как это часто бывает, герой говорит под занавес. Концовка романа выражает собою и его направленность, и ту высшую цель, к которой, должны были притти герои после длительного хождения по мукам. Эта цель — реставрация буржуазно-помещичьей России.

«— Уезд от нас останется, и оттуда пойдет Русская земля».

IX

Если мужские персонажи уже выведены из состояния любовной летаргии, если Телегин, Рошин, Смоковников уже размышляют и действуют, то женщины в «Сестрах» попрежнему погружены в личное. В любви добро, выше ее нет ничего в жизни. Здесь абсолютное.

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах.

На мир надвигается катастрофа, у порога война, в стране мобилизация. Уже пришел проститься самый близкий из людей, Иван Ильич.

«— Вчера только узнал, что вы здесь, и вот хотел проститься.

— Проститься?

— Призывают, ничего не поделаешь.

— Призывают?

— Разве вы ничего не слышали?

— Нет.

— Война, оказывается, вот в чем дело-то». («Сестры».)

Действительность воспринимается, как во сне, смысл происходящего с трудом доходит до сознания Даши. На следующий день она снова спросит Телегина.

«— Что вы мне сказали тогда по дороге, какая война, с кем?

— С немцами.

— Ну, а вы?

— Уезжаю завтра.

Даша ахнула и замолчала».

От моря до моря протянулся фронт, кипит братоубийственная война, сшиблись грудь о грудь миллионы людей. Даша знает — русская армия должна быть мужественной. Для того, чтобы водрузить крест на святой Софии? Или с победным маршем войти в Берлин? Ничего подобного. Мужество русского солдата нужно совсем для других, несравненно более возвышенных и прекрасных целей. Даша уверена, что русский солдат на полях Галиции, у Стохода и Варшавы дерется за ту же любовь. «Я верю, если мы будем мужественны, мы доживем до такого времени, когда можно будет любить, не думая, не мучаясь, ведь мы знаем, теперь на свете ничего нет выше любви». Но как-раз эти тона семейности, интимности делают образы Телегина и Даши типическими и правдивыми. Мещанский культ личного, отрешенного от всего мира счастья был своего рода облаком, которое обволакивало в те годы психическую сферу буржуазной интеллигенции. Глубокое равнодушие к явлениям социальной жизни, сосредоточенность на интимном, личном, все это были черты,

характерные для буржуазного интеллигента, сформировавшегося в годы реакции. Здесь Ал. Н. Толстой говорит глухою художественную правду о «молодом человеке» своего поколения, своего класса.

Поиски положительного героя обусловили пересмотр самых приемов письма. Для того, чтобы донести до читателя свою проповедь, уже недостаточно было изящной, легкой, импрессионистской манеры, которая так характерна для ранней прозы Ал. Н. Толстого. На смену приходит психологический анализ, раскрытие внутреннего, душевного мира героев. Не порывая до конца с импрессионизмом, Ал. Н. Толстой развертывает в «Сестрах» психологическую аргументацию с широтой, ранее ему не свойственной. Душевный мир героев дается не произвольно, но в подчинении, в связи с общей тенденцией романа. С высоким совершенством написаны в романе лирические, интимные сцены. Пробуждение в Даше женщины, история ее влюбленности в англичанина, встреча с Телегиным летом на пароходе и позже в Крыму — все эти сцены сделаны с необычайной тонкостью психологического узора. «Сестры» по своим поэтическим достоинствам — одно из самых совершенных произведений Ал. Н. Толстого. Тенденциозность не только не отяжелела творческого полета художника, но придала ему до того не свойственную широту, стремительность. Чем взволнованнее шумит вокруг героев раздираемая противоречиями и страстями жизнь, тем героичнее усилия автора поднять любовь над событиями всего мира, тем ярче и талантливее рассказывает он о любви и утратах, о разлуке и встречах своих героев. В романе читателя радует продуманность композиции, пластичность, пропорциональность, равновесие всех частей. Ни одного лишнего персонажа, ни одного лишнего, не мотивированного жеста.

Х

Если на одном полюсе романа мы находим Рощина, рыдающего при мысли, что фронт рухнул и старая Рос-

сия — теперь «навоз под пашню», то на другом полюсе мы видим революционера Акундина — духа тьмы, носителя таинственных сил, взорвавших самодержавие. Акундин — фигура схематическая, условная, близкая к тем карикатурным изображениям заговорщиков, которые так характерны для старого реакционного романа во вкусе Крестовского. Образ Акундина обволакивает тайна. Откуда он, какую партию представляет, что за таинственный центральный комитет стоит за его спиной? Все это остается загадкой для читателя. Акундин не удался, хотя автор и хотел бы, чтобы он стал душой заговора, Мефистофелем, распластавшим свои зловещие крылья над легкомысленной и прекрасной жизнью. Эта неудача не была случайна. Она была обусловлена миропониманием Ал. Н. Толстого в годы его работы над «Сестрами». Тогда художник видел в революции не наиболее зрелое выражение классовых противоречий, но взрыв стихии, загадочное возмущение духа города. Художник не мог создать правдивую картину революционного взрыва, если революция мыслится им как воля к разрушению, выражавшаяся в равной мере безлико и в операциях биржевика, и в ненависти рабочего. Мироззрение художника определило радиус его познания действительности. В согласии с охранительными тенденциями романа революция трактуется как процесс бессознательный, что-то вроде коллективного умопомешательства. Не удалось Ал. Н. Толстому изобразить художественно и войну. В «Сестрах» он пробует выразить свое отношение к войне, используя иронический прием, характерный для Льва Толстого. В «Сестрах» грандиозное сражение не имеет никакого смысла, и, на манер военного совета в Филях, совершенной нелепостью кажется военный совет, созданный в три часа пополуночи генералом Добровым. Генерал упрямо и глупо настаивает на продолжении боя, ибо дело идет не о пустом честолюбии, а о том, что с потерей плацдарма его план наступления сведется к нулю. Здесь налицо ряд подробностей, характерных для батальных

сцен Льва Толстого, — бессмыслица грандиозного сражения, глупая самоуверенность военачальников, полагающих, что они в состоянии управлять сражением, и пустое тщеславие, и неумная самоуверенность.

Но в «Сестрах» все эти приемы не работают. Они не вытекают со всей закономерностью из существа романа. С точки зрения Телегина, видевшего в личном благе верховный принцип, война — бессмыслица и величайшее зло. Но рядом с Телегиным высится доблестная фигура патриота Рощина, рыдающего при мысли, что фронт рухнул. Художественное чутье не позволило Ал. Н. Толстому обличать войну только за ее ужасы и злодеяния (хотя Телегин и произносит фальшивую тираду в этом смысле). Но в то же время Ал. Н. Толстой не мог безоговорочно принять войну. В тот период, когда художник работал над романом, мировоззрение его уже не было целостным.

Эта противоречивость сознания обусловила характер военных сцен.

Над последними главами «Сестер» Ал. Н. Толстой работал в Бретани, в безмолвной деревушке на берегу океана. Отсюда Ал. Н. Толстой полемизировал с русской революцией. «Добро, строитель чудотворный. Ужо тебе». В те бурные дни Ал. Н. Толстой мог бы сказать о себе словами пушкинского Ариона:

На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Но в том-то и дело, что уйти от грозы, спрятаться от грохота мировой истории не удалось. Продолжение трилогии в русле задуманного плана оказалось невозможным.

Война Советского Союза с белополяками заставила русскую эмиграцию впервые призадуматься над своим отношением к Советской республике. В одном из писем того периода Ал. Н. Толстой говорит о том, что он в числе других не мог сочувствовать полякам, не мог желать потери Смоленска и всей своей кровью желал победы красным

войскам. Разгром Врангеля стал вторым, не менее важным событием, взволновавшим эмигрантов. И наконец переход от военного коммунизма к нэпу поставил в очередь дня вопрос о смене вех. Одна часть зарубежной интеллигенции попрежнему рассматривала коммунистическую партию и ее вождей как беззаконников и самозванцев, захвативших власть в свои руки путем насилия и террора. Но наряду с непримиримыми среди эмигрантов возникло течение, считавшее своевременным пересмотреть свою позицию. Программные тезисы этого течения были изложены в сборнике «Смена вех», вышедшем в Праге. Не отказываясь от борьбы с диктатурой пролетариата, сменовеховцы меняют тактику этой борьбы. Сущность этой тактики определялась пониманием того этапа, в который вступило советское государство. Идеологи сменовеховства объявляли вооруженную борьбу с коммунизмом излишней. Они пытались опереться в борьбе с диктатурой пролетариата на внутренние противоречия нашего развития. В обстановке нэпа, по их мнению, было неизбежно перерождение самых тканей советского государства.

В 1922 году, незадолго до своего возвращения на родину, Ал. Н. Толстой публикует свое известное письмо к белому эмигранту Чайковскому, в котором дает развернутую характеристику своей общественной позиции:

«Нужно признать, что никакого другого правительства, кроме большевистского, ни в России, ни вне России нет. (Признать это так же, как то, что за окном свирепая буря, хотя и хочется, стоя у окна, думать, что это майский день.) Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону укрепления нашей великодержавности, в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого».

В этом письме мы видим характерные элементы сменовеховства. Ал. Н. Толстой полагает, что русская революция вступила в свой последний фазис, что нужно идти работать вместе с большеви-

ками не для того, чтобы бороться за коммунистическое общество, в реальность которого он не верит, но для того, чтобы на развалинах старой империи строить новую великодержавную Россию.

XI

Весной 1923 года Ал. Н. Толстой вернулся на родину. Леф по поводу приезда Ал. Н. Толстого писал:

«С Запада грядет нашествие просветившихся маститых. Алексей Толстой уже начищает белую лошадь полного собрания своих сочинений для победоносного в'езда в Москву».

Этот выпад был подсказан соображениями, не имевшими ничего общего с классовой бдительностью, к которой призывала наша партия.

Казалось бы, уверенность в поражении социализма, в конечном возрождении великодержавной России должна была наполнить Ал. Н. Толстого радостью, оптимистическим приятием жизни. Отчего же в творчество писателя врываются мотивы, полные пессимизма? Откуда эта растерянность, охватившая художника?

Сменовеховство опустошало, разоряло художника. Безнадежная философия вечного возвращения была нигилистическим ядром философии истории сменовеховства. Не случайно Устрялов, наиболее глубокомысленный из сменовеховцев, являлся автором пессимистического афоризма: «Прогресс? Да и есть ли в действительности прогресс? И не регресс ли это в самом деле?» Коммунизм объявлялся утопией. Пролетариат не был тем классом, который шел на смену дряхлой буржуазии. Отбушевали война и революция, человечество изнемогло в неслыханной борьбе. И все это для того, чтобы после семи лет потрясений и жертв снова вернулся к жизни первобытно-алчный собственник и накопитель? В одном из писем Ал. Н. Толстого (письмо относится к периоду возвращения на родину) мы читаем:

«Европа не живет, а зализывает раны. Рычит и скалится на старые оби-

ды. Над шелудивым телом вьются, липнут трупные мухи, неистовая сволочь, паразиты. Деревня пустеет, работать не желают. Города переполнены. В городах скука, одурь, пьянство, безразличие. Старая культура прекрасна, но это мавзолей, романский, пышный, печальный мавзолей на великом закате. А у подножия уличная толпа, не помнящая родства, с отшибленной за годы войны памятью, с вылущенной совестью».

Знакомство со Шпенглером дает этим пессимистическим наблюдениям художника философское обрамление. Послевоенная Европа вызывает в памяти образы дряхлеющего Рима, торжество пролетариата ассоциируется с победой варваров. Отголоски знакомства со Шпенглером еще звучат в романе «Восемнадцатый год», написанном уже в 1926 году. В поезде брошенная Рошняным Катя Смоковникова беседует со своим случайным спутником. Казалось бы, самая будничная обстановка, но спутник Кати говорит о вещах необычайных.

« — Религию труда принесут в мир вторые варвары, которые разрушат второй Рим. Вы читали Шпенглера? Это римлянин от головы до пят. Он прав лишь в том, что для Европы закатывается солнце».

Вдребезги разлетелся европейский гуманизм, представление о надклассовой культуре, объединяющей древние народы Европы. Чего же стоят эти ценности, накопленные в течение тысячелетнего развития, — религия, мораль, право, мысли мудрецов, полные экстаза пророчества поэтов, если они не в силах уже управлять поведением людей? Гуманизм растоптан солдатским сапогом, разорван снарядами, задушен нарывным газом. Но что же остается? «Зачем были Элада, Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века? Или удел всему — холм из черепков, поросший колючей травкой пустыни?» («Древний путь»).

В повести «Древний путь» отразилась скорбь человека, пережившего крушение всех своих верований и лучших надежд. В более ранней повести, «Ру-

копись, найденная под кроватью», взволнованной, пересыпанной ядовитыми сентенциями, звучит цинический голос человека, оказавшегося неожиданно нищим. Он готов издеваться надо всем и, прежде всего над самим собой:

И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен, и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.

Ал. Н. Толстой не просто говорит о крушении гуманизма. Он показывает в конкретных художественных образах, как идеи и настроения распада, загнивания буржуазного общества, социального пессимизма воплощаются в непосредственной практике. В поэтической системе Ал. Н. Толстого возникает до того не известный образ человека, обрывившего законом свою личную волю. Этот человек не похож на усадебных мечтателей, милых и беспомощных, на челепо рассудочных людей в пенсне. Освободившись от оков гуманизма, он нищ и страшен в своей лютой первобытности. Он — зоологический бунтарь, расхититель, у него тяжелый, мутный взгляд убийцы.

« — То, что было Россией... Ничего этого больше нет и не повторится. Мальчик в сатинетовой рубашке стал убийцей».

«Он стоял, опираясь на тоненькую тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы».

«У говорившего было мальчишеское лицо... и старые, тяжелые, мутно-голубого цвета глаза непроспавшегося убийцы».

«На дворе показался быстро, вприпрыжку идущий ротмистр фон-Мекк, с глазами непроспавшегося убийцы».

«Все только и думают про убийство... У всех глаза, как у мертвых».

Голый человек на голой земле противопоставляет себя всему человеческому обществу и прежде всего обществу, в котором диктатура пролетариата является верховным принципом. Уже в первой книге трилогии мы находим образ, начинающий новую линию в творчестве Ал. Н. Толстого. Однорукий офицер Жадов, человек, похоронивший в годы

войны все представления о должном, противопоставляет социализму закон человека из джунглей.

« — ... Там закон масс, здесь закон личности... Вы — социализм, а мы — закон джунглей».

— Не все ли равно: сидеть ли в траншее, стрелять во врага или ночью забраться в ювелирный магазин, хватить ювелира тесаком по шее и набить карманы камнями и золотом? Война была убийством и грабежом, организованным государством. Отбыне личность свободна от всех запретов».

С холодным спокойствием мясника Мишель Риво потрошит дядюшку Антуана. Мишель Риво тоже побывал на войне, он уже знает, чего стоят разговоры о цивилизации. «Мы еще поспорим, кому пить шампанское и целовать девчонок» — грозит Мишель. («Убийство Антуана Риво») «Дозволено все, господа», — проповедует за стаканом греческого вина Семен Невзоров из «Ибикуса». (Его слушают белогвардейские офицеры.)

Перед нами сверхчеловек другого толка, из бывших бухгалтеров, мелкий враль, пошляк, надыхавшийся миазмами мировой войны. Семен Невзоров, побывавший за время революции и вором, и контрразведчиком, и содержателем тараканьих бегов, считает себя новым человеком. Он презирает глупцов, набитых трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном, он смотрит в корень. Семен Невзоров знает, кто его злейший враг.

« — Революция, пролетариат, власть советов — одна пошлость, — говорит Семен Невзоров. — Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист, одиночка».

«Ибикус» не оценен по достоинству и до сих пор. Упругость прозаической ткани позволила в небольшой повести дать исключительно богатый и яркий типаж. Каждое, даже безымянное, лицо в «Ибикусе» живет, движется, жестикулирует. Юмор «Ибикуса» глубоко социален. Смешное возникает не только как следствие неожиданного положе-

ния или как результат речевого жеста, преднамеренного изменения обычной структуры речи. В смешном, с подчеркнута яркой полнотой, прежде всего раскрывается типическое, — из мимолетной детали возникает образ, полный большого смысла. Ни один из современных писателей не сумел изобразить зоологический эгоизм белой эмиграции так ярко и выразительно, как сделал это Ал. Н. Толстой.

Если удались повести на зарубежном и эмигрантском материале, то роман «Черное золото», начатый уже в 1930 году, близкий по своей тематике к повестям, постигла судьба произведения, возникшего без достаточной внутренней необходимости. В романе больше холодно-го опыта, чем творчества, художественной догадки. Нет нового угла зрения, который позволил бы писателю по-новому воспроизвести знакомый материал. Одна из наиболее сильных сторон творчества Ал. Н. Толстого — чувственная яркость, с которой он изображает видимый мир, — получает свое выражение в «Черном золоте». Есть что-то от репинской силы в его портретах эмигрантов, банкиров, нефтяников, помещиков, генералов. Широкое вступление, незабываемо яркая картина Версальского мира и послевоенного Парижа является прологом к роману. Но чем дальше, тем уже становится его русло. Самое яркое описание не становится еще романом. Одной изобразительной силы, доведенной до высокой степени совершенства, недостаточно. «Черному золоту» как-раз недостает того волнения, которое мы находим в повестях. В романе нет второго плана, без которого невозможно ни одно художественное произведение.

Перечитывая теперь повести Ал. Н. Толстого, написанные в годы 1922—1927, — «Рукопись, найденная под кроватью», «Убийство Антуана Риво», «Черная пятница», «Ибикус», — вспоминаешь слова Горького о том, что широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружают художника силой, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм.

XII

Но кто в те годы не говорил о закате Европы, о кризисе гуманизма, кто после разгрома Врангеля не расписывался в презрении к белой эмиграции?

Социальный знак общественно-литературной позиции Ал. Н. Толстого определялся не его отношением к старой Европе и не его оценкой буржуазного гуманизма, и даже не презрительной неприязнью к разбитому белому движению, но совершенно другим признаком. Таким основным и единственным признаком являлось отношение художника к новому явлению мировой истории, — Октябрьской революции и к новому классу, вышедшему на историческую арену, — пролетариату.

Но первая же попытка отразить революционную действительность с позиций сменовеховской философии неизбежно привела художника к конфликту с объективной истиной.

Вслед за Белинским Добролюбов говорил, что ценность художественного произведения определяется пониманием «общего таинственного смысла жизни». «Писатели становятся замечательными художниками, если их восприимчивость всеобъемлюща, если жизнь открывается им не в отдельных только явлениях, но во всем своем стройном течении, если чутки они не только к одной внешней стороне явления, но и к их внутренней связи и последовательности» — говорил Добролюбов.

Этот тезис, являющийся одним из основных положений материалистической эстетики, тесно связан с другим положением, которое заключается в том, что между истинным знанием и истинной поэзией различия нет. Истинная поэзия и есть истинное знание о мире. Это знание не внешне, не случайно, оно всеобъемлюще, оно берет жизнь во всех ее противоречиях. Для того, чтобы художественно верно передать свои наблюдения, достаточно, чтобы талант художника был чуток. «Художник может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к жизненной правде» — писал Добролюбов. Таким образом, критик не связывал механически

мировоззрения художника ни с качеством, ни с правдивостью художественного произведения. Но дело в том, что правдивая передача наблюдений являлась только необходимым условием, но еще не достоинством произведения. Для того, чтобы художественное произведение приблизилось к истинному знанию, которое и является истинной поэзией, художник должен обладать мировоззрением, открывающим ему объективный смысл процессов, происходящих в действительности». Только тогда перед автором не будет стоять опасность «частное и мелкое представить типичным», только тогда он не «придаст своим лицам такого значения, которого они не имеют в действительной жизни».

Что же мы находим в повестях о советской действительности, написанных Ал. Н. Толстым в пору сменовеховства? Рассматривая действительность, как односторонний процесс, как победное наступление торжествующего мещанства, Ал. Н. Толстой поднял образ мещанина на высоту поэтического обобщения, сделал его ведущей фигурой нашего развития. Пользуясь словами Добролюбова, можно сказать, что значение, которое придал автор своему Буженинову («Голубые города»), Ольге Вячеславовне («Гадюка»), не соответствовало тому, какое имели они в действительной жизни. Несомненно, легализация капитализма, даже на известных условиях, развешивала мещанскую, мелкобуржуазную стихию. Буженинов и Ольга Вячеславовна, коммунисты, не приемлющие нэпа, вовсе не были горячечным бредом художника. Однако при всех своих живописных достоинствах повести «Голубые города» и «Гадюка» не могут быть названы истинной поэзией, ибо в этих повестях нет истинного знания, — отдельные уродливые явления действительности заслонили ее подлинный смысл. Перечитывая эти повести, нельзя не вспомнить слова Ленина, обращенные когда-то к Мясникову: «Вы дали себя подавить известному числу печальных и горьких фактов и потеряли способность трезво учесть силы».

В своем «Василии Сучкове» писатель ставит вопрос о поколении, идущем на

смену бойцам гражданской войны, и ругает его в духе своей пессимистической философии. Колорит повестей, написанных Ал. Н. Толстым в годы сменовеховства, отмечен несвойственными творчеству писателя зловещими тонами. От былого солнца, заливавшего поля его творчества, осталось очень немного. «Голубые города», «Гадюка», «Василий Сучков», «Мой сосед», «Подкидные дураки», «Случай на Бассейной улице» — все эти повести, различные тематически, проникнуты одной и той же унылой нотой, они полны неверия в созидательные силы человека. Болезненное, патологическое прежде всего привлекает внимание писателя.

Новая буржуазия за короткий срок своего существования не успела создать свой стиль в искусстве. Но можно говорить об отдельных особенностях новобуржуазной литературы. Одной из характерных ее особенностей была ирония. Наквозь реакционная, она была существенным элементом нигилистической философии сменовеховства. Между 1922—1926 годами мы наблюдаем пышный расцвет фантастического и детективного романа, — эти жанры позволяли художнику широко пользоваться оружием иронии.

В «Аэлите» еще отчетливо звучат мотивы первого, раннего периода. Инженер Лось, самый отважный из всех героев Ал. Н. Толстого, и на Марсе ищет сновидений, — он летит на Марс с тем, чтобы избыть тяжесть любви.

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай.

Но рядом с Лосем мы видим буденновца Гусева. К Гусеву автор относится с нескрываемой, хотя и добродушной, иронией. Так вот он, борец за торжество социализма в планетарном масштабе, забубенная русская головушка, перекати-поле, охотник до чужого золота и камней! В конце концов Гусев, так славно начавший свой путь, становится мещанином, заводит огромный сундук для одежды, играет на скачках и основывает «ограниченное капиталом акционерное общество для переброски воинской части на планету Марс в целях спасе-

ния остатков его трудового населения». Здесь — жало романа, камень, брошенный в сторону «погибших иллюзий». В судьбе Гусева стукот сменовеховской философии истории.

Русским Тарзаном, «белокурой бестией» был задуман инженер Гарин, изобретатель таинственного «гиперболоида». Но действительность исключала всякую возможность превращения Гарина в положительного героя. Ирония сместила угол зрения, снизила героя до уровня опереточного злодея. Ирония обратила «Гиперболоид» в шутку, в капризный гротеск. «Гиперболоид» написан в манере детектива «с продолжением», — замысел преподносится читателю в головокружительно легкой, цинически легкомысленной форме. Гарин свободен от стеснительных уз морали. Пусть глупцы барахтаются под обломками должного, он не из их числа. Гарин собирается разделить человечество на две неравные группы. Патриции будут управлять, творить, им — утонченные духовные и чувственные наслаждения. Труд предоставляется кастратам, вся радость которых в молчаливом переваривании пищи. Вождем и повелителем нового человечества будет цезарь, полубог инженер Гарин. Для этого достаточно прорваться в центр земли и овладеть всеми запасами золота, существующего в парообразном состоянии. Ал. Н. Толстой называет Гарина негодяем, темным авантюристом, но в то же время роман пропитан тайным любованием «белокурой бестией». «Гиперболоид» обрывается на полуслове, на дребезжащей ноте. Ал. Н. Толстому нечего делать со своим героем. Это герой без будущего. Одна из необычайных авантур инженера Гарина оказалась последней, — продолжения не последовало.

Критика в свое время уделяла много внимания разоблачению сменовеховской идеологии в творчестве Ал. Н. Толстого. По вполне понятным причинам в обстановке ожесточенной классово-борьбы гораздо меньше внимания уделялось тем подспудным изменениям, которые происходили в сознании писателя. Ал. Н. Толстой, наблюдательный

художник, не мог не замечать, что исповедуемая им философия истории находилась в непримиримом противоречии с окружающей действительностью. Термидор не наступал. Диктатура пролетариата попрежнему оставалась незыблемым фундаментом советского государства. Отступление было объявлено законченным. Элементы нового сознания то побеждали, то снова уступали место настроениям, полным неверия и пессимизма. Противоречивое смещение настроений и взглядов явственно ощущается во второй части трилогии «Хождение по мукам» — в романе «Восемнадцатый год».

По композиции «Восемнадцатый год» резко отличается от романа «Сестры». В первой части трилогии тенденциозность, продуманность общего плана продиктовала строгие пропорции равновесия всех частей. «Восемнадцатый год» скорее напоминает беспорядочную хронику событий, нежели гармонически построенный роман, — в нем много недописанных страниц, незавершенных эпизодов. Эти свойства в значительной мере объясняются внутренними побуждениями, которые руководили художником во время работы над романом. Овладевая материалом, художник работал «для себя», стремился познать отшумевшую действительность, повернуть колесо времени и через документ, через архивный материал приблизиться к бурной эпохе гражданской войны. Во время работы над романом Ал. Н. Толстой испытывал острый недостаток в материалах. В его распоряжении были разрозненные воспоминания очевидцев, круг работ по истории гражданской войны в 1926 году еще был незначителен. Широкое и недостаточно критическое использование белых мемуаров определило некоторые особенности «Восемнадцатого года». Белому движению в романе отведено непропорционально много внимания.

В обороне Краснодара есть что-то от дней Парижской коммуны. Рядом с испытанными бойцами дрались женщины, дети, — в конце марта Корнилов с пятитысячной офицерской армией обложил Краснодар со всех сторон. В романе «Восемнадцатый год» мы находим

описание второго дня штурма — генерал Марков ведет на город штурмовую колонну.

«... Впереди шагал в сдвинутой на затылок папаше, в расстегнутой ватной куртке Марков. Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику, он ругался и сволочился по адресу высшего командования.

— Раздергали по частям бригаду, в обозе меня — трах-тарарах — заставили сидеть. Пустили бы меня со всей бригадой, — я бы давно в Екатеринодаре был».

В очерках «Русской смуты» А. Деникина эта же сцена передана так.

«Скоро показался Марков. Идет широким шагом, размахивая нагайкой и издавал еще на ходу ругается:

— Чорт знает что. Раздергали мой Кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой, я бы уже давно в Екатеринодаре был».

Ал. Н. Толстой перенес в свой роман вместе с отрывком из белых мемуаров и точку зрения мемуариста на события, объясняя, вслед за ним, причину поражения белых главным образом обозным сидением генерала Маркова. Указывая на обстоятельства, послужившие причиной разгрома белых под Екатеринодаром, Ал. Н. Толстой пишет: «Первая — это то, что треть войск генерала Маркова была оставлена на переправе для охраны обоза».

Белые мемуары подсказали писателю, в основном, точку зрения на события на Северном Кавказе, — красные представляют собой кочующие анархические полчища. Читая роман, трудно понять: кто же был организатором победы, какая сила сумела подчинить этот хаос воле революции?

И все же работа над эпохой гражданской войны не прошла бесследно. В первых главах романа еще явственно слышны сменовеховские интонации. Не за революцию идет драться Телегин, но за великую Россию. Попрежнему помутнением народного сознания кажется революция художнику, стихийным движением, взрывом обнаженного человеческого инстинкта. Минутами художник го-

тов проводить аналогии между большевиками Ленина и германцами Аллариха, превратившими Рим в груды развалин. Но вместе с тем в романе «Восемнадцатый год» мы видим первую попытку понять действительность, разгадать ее объективный смысл. В романе Ал. Н. Толстой пробует раскрыть понятие «великая Россия», лозунг, который был написан на его знамени в год возвращения на родину. Капитан Тетькин, утверждающий, что созерцательность — тяжелый грех, уже знает, что великая Россия в представлении петроградского высшего света — это одно, и другое — в представлении московского торгового совещания и, наконец, третье — с точки зрения крестьянина и рабочего. Телегин, сражающийся на стороне красных, размышляет о том, что он не по росту этому времени, что воюет он по-обывательски, будто служит в конторе. Телегин пытается понять новую правду, ломающую и сокрушающую людей. И белогвардеец Рошин уже сомневается в том, нужно ли в самом деле убивать рабочих и крестьян.

Противоречивость настроений и взглядов, характерная для прозы Ал. Н. Толстого в годы 1925 — 1929, обусловила контрастные особенности стиля таких произведений, как «Василий Сучков» и «Древний путь», «Голубые города» и «Восемнадцатый год». Равновесие не было устойчивым. Достаточно было решительного воздействия, толчка извне, чтобы дать перевес той или иной тенденции, ускорить ее развитие.

В 1922 году Ал. Н. Толстой был вынужден пересмотреть свое отношение к революции с позиций сменовеховства. Решительный переход от ограничения капиталистических элементов к их ликвидации стал тем толчком, который вызвал дальнейшую перестройку художника. Надежды на восстановление великодержавной России были погребены. Не термидором разрешился нэп, но социалистическим наступлением по всему фронту. Построение бесклассового социалистического общества стало конкретным содержанием нашего труда.

Развитие художника вступило в новый фазис.

XIII

Меньше всего элемент удачи, нечужности определил большой и заслуженный успех романа «Петр I». Петровская эпоха занимает Ал. Н. Толстого давно: на протяжении двух десятилетий художник дает последовательно повести «Навождение» и «День Петра», трагедию «На дыбе» и, наконец, роман «Петр I».

Произведения эти различны не только по форме, но и по своему пониманию одной и той же исторической эпохи. Между романом, повестями и трагедией не много общего, кроме связующей исторической даты. Явление это глубоко закономерно. Изменения в оценках исторического прошлого обусловлены качественными изменениями мышления художника. Он судит прошлое с философских идейных высот своего настоящего.

В «Навождении» мы еще не находим раздумий об исторических судьбах России. Они придут позже. Петр и его соратники еще не занимают писателя. Действие развивается по боковой линии, на авансцене казаки, послушники, Кочубей, Мазепа. Но уже в этом рассказе можно узнать будущего исторического романиста, — читателя радует то мастерство, с которым Ал. Н. Толстой с помощью, казалось бы, очень скромных художественных средств дает большой, запечатлевающий образ. Портрет Мазепы из «Навождения» является образцом лаконизма, соединенного с художественной выразительностью.

В другой повести, «День Петра», мы видим первую попытку критически подойти к эпохе, разгадать ее смысл. Попытка эта, нужно сознаться, оказалась в достаточной мере неудачной. Историю, по мысли художника, творит личность демоническая, необузданная, неукротимая в своих страстях. Петр, сытый и пьяный, утешенный всем человеческим, сидит на пустошах и болотах и одной своей страшной волей перестраивает Русскую землю.

История — иррациональный, бессмысленный процесс. Жадная, лихая, человеческая душа судорожно делает кровавое, бессмысленное дело. Во имя чего? Быть может, Петр был просто хозяином,

вотчинником, которым двигали такие несложные чувства, как досада и зависть к своим более богатым соседям — курфюрсту бранденбургскому и голландскому штатгальтеру. И, ужаленный завистью, забыл лихой человек, что «мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хозарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстанавливали родную землю, не можем голландцами быть». Как дикий вепрь, попирает Петр в ярости своей старую Россию, ленивую, православленную, с колокольным тихим звоном, с калинами и девками у ворот, с индийскими и персидскими купцами у Кремлевской стены. И дело Петра в конце концов обречено, оно лишено корней. «Случилось не то, чего хотел гордый Петр, — Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав, а, подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабой. И сколько бы ни гремели грозно российские пушки, повелось, что робкой и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены» («День Петра»).

В этом лирическом отступлении тенденция повести. Здесь художник пробует разорвать цепь времен, перешагнуть за порог эпохи. Не нужно забывать, что повесть «День Петра» была написана Ал. Н. Толстым в 1917 году, когда писатель, непосредственный свидетель войны, обездивший и галицийский, и кавказский фронты, уже начинал сознавать и неизбежность крушения царской России, и рабскую роль ее на пиру великих держав.

В повести неожиданно звучит славянофильская интонация. «День Петра» оборачивается укоризной, — забвение того, что не голландские мы, а русские, приводит к расплате, к крушению дела Петра, к крушению российского империализма. Тема расплаты снова будет поставлена в трагедии «На дыбе». Это трагедия одинокого героя, рухнувшего под тяжестью неимоверной ноши. Петербург обречен гибели. Петр сам является свидетелем конца, — море идет на Пе-

тербург. «Умирать буду, никого не позову, сердце мое жестоко, и друга мне в сей жизни быть не может. Да, вода прибывает. Страшен конец».

Попытка объяснить дело Петра одной безудержной лихостью, жадностью его ненасытной, неугомонной души привела к некоторым особенностям стиля, и в повести «День Петра» и в трагедии «На дыбе» художник дает чудовищно гипертрофированный образ героя. В повестях и трагедии в образе Петра нет ни одной человеческой черты. Это колосс, небожитель, титан. Он не разговаривает, но вещает, не движется в пространстве, как все смертные, но пролетает, как метеор, лицо его передергивается от эпилептической судороги. Повесть «День Петра» и трагедия «На дыбе» носят явные следы литературного влияния. В этих произведениях мы ощущаем воздействие Мережковского. Отдельные черты и ситуации почти целиком перенесены из последней части трилогии Мережковского «Христос и Антихрист» в повесть «День Петра». Особенно яственно это влияние в сцене допроса и пытки Варлаама, где Петр дан не только как палач, но и как жертва. Он — добрый пастырь, изнемогающий под тяжестью взятого на себя бремени. Внимательное чтение Мережковского, последней части его трилогии, подсказало писателю и самый фон, и колорит повести «День Петра» и трагедии «На дыбе».

XIV

В 1922 году, вскоре после своего известного письма к Чайковскому, Ал. Н. Толстой заканчивает «Повесть смутного времени». Повесть эта по кругу своих идей не только примыкает к «Сестрам», но и является развитием того исторического отрывка, который взволнованный Телегин читает Даше. Отрывок из «Сестер» с небольшими изменениями переносится в «Повесть смутного времени». Общность идейного замысла сделала возможным текстуальное совпадение, — в годы работы над «Сестрами» Ал. Н. Толстой видел в революции повторение смуты. Реакционная

философия истории определила угол зрения: смута — дело лихого, потерявшего себя человека. В «Повести смутного времени» народное движение мыслится как временное помутнение народного сознания. В повести лихой человек дан в образе расстриги Наума.

Акундин из «Сестер», царь Петр, расстрига Наум из «Повести смутного времени» — варианты одного и того же образа. У Наума, как у Петра, «белковые глаза», он проклятый, у него два нет. Перед нами гений смуты, душа мятежа, лихой человек, одержимый, раздраемый иррациональными силами, обладатель ненасытной, безудержной души. Мы видим его всюду, где борьба, кипение воли достигают наивысшего напряжения.

Но вот приходят ветры на круги своя, хождение по мукам окончено, все мыслимые испытания пройдены, лихая душа расточила все свои силы, и смута рассыпается, тает, как навождение. Замутненное народное сознание проясняется, и древнее благочестие обретает снова свою утерянную силу. Одержимый, лихой человек, бунтовщик, расстрига Наум спешит навстречу православному царю. Он больше не мятежник, не воровской атаман и не лесной шиш. В конце повести Наум превращается в благообразного пустынножителя и блаженного Нифонта. Идеал древнего благочестия торжественно заключает «Повесть смутного времени». Она могла бы стать послесловием, символическим комментарием к первой книге «Хождения по мукам» — к роману «Сестры».

Публицистические высказывания из письма к Чайковскому нашли в повести свое художественное выражение. В 1922 году смута была объявлена оконченной, и за разорванными облаками уже светило солнце великодержавной России.

Но прошло несколько лет, и писатель снова обратился к истории. Он снова приступает к работе над эпохой Петра. Так возникает роман «Петр I» — одно из самых замечательных произведений не только советской, но и европейской современной литературы. В романе ни грама мистики, поповщины, пессимизма,

кокетничанья со стариной, с ревнителями древнего благочестия. Колорит романа теплый, солнечный. Роман написан с чисто фламандской яркостью, чувственной, трепетной, он пронизан тем юмором, который так свойственен творчеству Ал. Н. Толстого, овеян, как ветром, великолепным мирским говором, не книжным, но почерпнутым из самых глубин народной речи.

От трагически одинокого героя, титана, изнемогающего под бременем непосильного дела, обреченного на неудачу, в романе не остается и следа. Дело Петра обусловлено исторически. Петр в первой книге показан прежде всего как орудие истории. Среди представителей старшего поколения созрели те идеи, которые впоследствии попытался воплотить в жизнь «гордый властелин судьбы». Вопрос о подготовке Петра, о возможности его появления на исторической арене глубоко занимает художника. Он пристально вглядывается в образ Василия Голицына, тщательно раскрывает его социальные взгляды. Василий Голицын в глубоком одиночестве мечтает о том, как приохотить людей к труду, ко всяким промыслам. «Сие возможно лишь в том размышлении, если все земли у помещиков взять и посадить на них крестьян вольных». Но Василий Голицын не склонен к революционным действиям, он ищет компромисса, он хочет мирно разрешить грозные противоречия. Василий Голицын — иностранец в родной Москве, он — пращур великих и беспомощных мечтателей, один из вереницы лишних людей.

В «Дне Петра» и «На дыбе» герой лишен человеческих черт. Он только трагическая маска. В романе Петр водит полки и трусит в минуту смертельной опасности, берет штурмом крепости и с мальчишеской застенчивостью влюбляется в красавицу Анну Монс, принимает иноземных дипломатов и скорбит у гроба матери, закладывает города и ссорится с молодой женой. Роман пронизан человеческими страстями, и в этом его отличие от многих исторических произведений, безупречных в смысле знания эпохи, но оставляющих читателя холодным и безучастным.

«Петр I», по своему построению, является исторической хроникой, — не фабула, не судьба вымышленных героев определяет и ограничивает действие. Единственный регулирующий принцип в романе — последовательность во времени. Художник вводит в повествование одно лицо за другим. Персонажи романа приходят и уходят, рассуждают о государственных делах, принимают участие в походах, гибнут в застенках, — кто помнит, читая вторую часть «Петра», дворянского сына Тыртова или Степку Одоевского, промелькнувших в первой книге?

Роскошная образная стихия широко заливает повествование, — появление и уход персонажей обусловлены не железными законами фабулы. Та или иная случайность, хронологическая дата приводят их на страницы романа и уводят в небытие. Хроника разрастается до пределов гигантской портретной галереи. Так появляется и исчезает Хованский и Шакловитый, Паткуль и Кенигсек, генерал Карлсвич и курфюрст Август. Наличие повторений меньше всего заботит автора. Петр по несколько раз сватает, спускает на воду корабли. В конце концов обширная, пестрая семья Бровкиных становится в романе тем композиционным центром, который позволяет укрепить рыхлый массив исторической хроники.

По своим формальным признакам вторая часть «Петра I» отличается от первой. В ней больше скульптурного совершенства. На смену стремительным и отрывистым главам первой части приходят монументальные главы второй. Но принцип хронологического построения остается тем же, — действие разворачивается последовательно на протяжении четырех лет (то были годы затишья и подготовки к грядущей борьбе). Замедленные темпы развития получают свое отражение во второй части «Петра I», — центральный образ не эволюционирует. Статичность эта, обусловленная принципом построения, навряд ли является достоинством второй части. Желая выделить, подчеркнуть образ Петра, Ал. Н. Толстой приносит ему в жертву Карла XII. Он дает ему упрощенную

характеристику. Подчеркивая легкомыслие Карла XII, Ал. Н. Толстой хочет отгнать творческое начало в Петре. Образ шведского короля подсказан скорее блестящими страницами Поль сен-Виктора, этого любовника фразы, как называл его Гонкур, нежели проникновением в историческое прошлое.

XV

Стилевые особенности «Петра I» обусловлены теми поправками, которые внесла в мировоззрение художника наша действительность.

Работа над «Петром» протекала в иные времена, в годы развернутого социалистического наступления, когда не только были разбиты наголову паразитические классы, но и раз навсегда уничтожена всякая возможность их восстановления. Не случайно в эти годы мы имели ряд знаменательных публицистических выступлений Ал. Н. Толстого. Различные по своему содержанию, — о принудительном труде, о кризисе на Западе, — они были объединены утверждением той грандиозной борьбы за построение социалистического общества, которую ведет пролетариат в нашей стране.

Разгром буржуазной агентуры внутри партии, ликвидация бесчисленных вредительских организаций, творческий пафос борьбы за план великих работ, охвативший всю нашу страну, обусловили тот решительный перелом в сознании интеллигенции, о котором говорил тов. Сталин в своей исторической речи о новых методах хозяйствования и руководства.

Этот процесс конечно не мог обойти Ал. Н. Толстого. Качественные изменения в мировоззрении писателя, происшедшие в годы социалистической переломки нашей страны, расширили грани познания действительности, обновили эмоциональную стихию художника. Явления, которые еще вчера лежали за пределами его образного восприятия, сегодня осваиваются им как явления поэтические. Традиционный образный ряд — мечта, любовь, смерть — пополняется образами борьбы, труда, самоот-

вержения. Наша современность присутствует в романе не как аналогия, — мы и Петр, — присутствие современности сказалось новым пониманием истории.

Дело не в том, безупречно ли интерпретировал Ал. Н. Толстой в своем романе роль торгового капитала, или переоценил его прогрессивную роль, изучая эпоху по Покровскому. Во всяком случае одна из важных тенденций эпохи понята художником правильно. В этом смысле встреча Петра с купцом Жигулиным — меткая, исторически правдивая деталь.

« — ... Первому негодяю навигатору... Как тебя? Жигулин Иван, а по батюшке? »

Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась.

— Так с отчеством будешь писать? Да за это — что хошь...

И, как перед спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам».

В «Петре I» впервые история рассматривается Ал. Н. Толстым не как иррациональный, бессмысленный процесс, — художник пытается проследить в романе, как одна общественная формация, в обстановке ожесточенной классовой борьбы, теснит другую. Упование на мистическую любовь, открытое преклонение перед ницшевской «белокурой бестией» (суррогат рухнувшего гуманизма) уступает место материалистическому пониманию истории: прогрессивный класс, прокладывающий себе дорогу в дебрях византийской Руси, становится объектом поэтического творчества Ал. Н. Толстого.

Наша действительность научила художника за делами и поступками отдельных лиц распознавать интересы общественных классов, ведущие тенденции эпохи, отыскивать в действительности не случайных живых людей, но типических выразителей этих тенденций. В этом смысле «Петр I» как образец реалистического романа несравненно выше, чем «Восемнадцатый год», где революция дана в образе разгулявшейся крестьянской стихии, а пролетариат и его партия не показаны вовсе.

Но художник, до которого внятно доходит смысл изображаемой эпохи, и является художником-реалистом. Объективная роль классов в его понимании не затменена случайными обстоятельствами. В поэтических образах воплощает он не мимолетное, но основное. Социалистический реализм не возникает на пустом месте, он является наследником и продолжателем лучших традиций реализма прошлого. Социалистический реалист, подобно своим великим предшественникам, мыслит исторически, образно осваивая закономерности развития. Но в то же время от реалистов прошлого его отличает принципиально иное отношение к изображаемой действительности. Является ли роман «Петр I» по стилю своему выражением социалистического реализма? Некоторые наши критики отвечают на этот вопрос так: «Поскольку в «Петре I» понята классовая противоречия эпохи, роман является по стилю своему выражением социалистического реализма. Но так как крестьянская революция не нашла в «Петре I» своего отражения, в романе присутствуют пережитки реализма буржуазного».

Подобная постановка вопроса является ложной в корне. Прежде всего историческое мышление, способность отражать (стихийно или сознательно) классовую природу явлений, является основной предпосылкой не только социалистического реализма. Это тот родовой, общий признак, который объединяет реалистическую прозу всех времен и народов. И наконец неверно, что в «Петре I» не отразилось крестьянское движение. Первая часть романа каждой своей страницей говорит о чудовищном бремени, возложенном на плечи крестьянства Петром. Только воплотив художественно всю тяжесть военно-феодальной эксплуатации, Ал. Н. Толстой и сумел создать образ Петра, совершенно новый по своему качеству. Это не великодушный просветитель и не трагический пастырь, каким изображала его буржуазная историография и буржуазный исторический роман, но царь феодалов и купцов, российский Асаргадон, воздвигнувший на костях рабов свое могущество.

Во второй книге романа, не снижая изображения военно-феодальной эксплуатации, художник уже дает широкую картину крестьянского протеста. Самоожжение — акт величайшего бессилия, отчаяния, скорби. Но бой под Нарвой, проникновенно расшифрованный Ал. Н. Толстым не только как военный разгром Петра, но и как революционная реакция в крестьянстве на этот разгром, бой под Нарвой (одна из самых замечательных батальных картин русской литературы) с высоким искусством обнажает классовые противоречия, существовавшие в государстве Петра. При первой же серьезной неудаче крепостной солдат обращает оружие против своих командиров. Офицеры русской армии сдаются шведам, спасаясь от своих же солдат.

Князь Козловский и майор Пиль, посланные парламентарями к королю Карлу, были убиты своими же солдатами. Капитан Вольбрехт лежит с перерезанным горлом в двенадцати шагах от шатра. Майор Кунингам и майор Гаст задушены в землянке. Это первые предвестники крестьянской жаке-рии — булавинский мятеж впереди, он хронологически за рамками второй части. Крестьянская тема дается в «Петре I» в непрерывном нарастании, тема развивается симфонически.

Но дело в том, что художник, правильно понявший в «Петре I» роль крестьянства, не сумел (или не захотел) раскрыть его внутренний мир. Крестьянство, раздавленное военно-феодальной эксплуатацией, ощущается Ал. Н. Толстым только как объект истории. Его трагедия не нашла своего совершенного выражения в отдельных конкретных образах. Драма Андрея Голикова несоразмерна, не адекватна драме крестьянства петровской эпохи.

С какой тщательностью изображает художник Петра, Ромодановского, Лефорта, Меншикова. В образе Василия Голицына он сумел даже разглядеть морщинку в углу рта, ту, за которую влюбленная в него без памяти правительница Софья готова сжечь Москву. Сколько трагизма в поздней любви Софьи к князю Василию, в этой любви

властной женщины, которая не только любит, но жалеет, а временами и презирает своего возлюбленного. Ал. Н. Толстой любовно выписывает каждую деталь, каждую подробность дворянского дворцового быта. Князь Михайла Долгорукий одет в алый бархат, в соболя, на нем звенящее оружие, он холеный и надменный. И шире плеч караковый парик саксонского посла Кенигсека. Палаты Степки Одоевского устланы звериными шкурами, на подоконниках шитые жемчугом покрывала и в жемчугах ворот на рубаше у вздернутого на дыбу Шахловитого, и желтоватое, толстое лицо Ромодановского тонет в жемчужном воротнике, и даже платок, в который Софья заворачивает просфору, не простой, но вышитый. Портреты старых фламандских мастеров напоминают образы Гордона и Шереметева. С великопешной роскошью изображены и пиры польских панов, и утренний прием у Карла XII, и любовные плутни галантного Августа Саксонского.

Во всех подробностях сумел изобразить художник боярина Буйносова, неудачно приспособившегося и угодившего в шуты. И зорко разглядел Ал. Н. Толстой расслоение феодальной деревни: Иван Бровкин, деревенский кулак, сперва занятый эксплуатацией своих односельчан, весь ушедший в приобретательство, а затем провиантмейстер, купец первой сотни, породнившийся с знатными родами государства, — одна из колоритнейших фигур романа.

Но, переходя к изображению крестьян кабальных, беглых, обездоленных, художник забывает об их внутреннем мире.

Пегобородый мужик, заговорщик с Дона, скупающий по секрету свинец и порох, проходит бледной тенью через роман. У него всего лишь две-три реплики. Федька Умойся Грязью тащит на себе баржу, дерется под Нарвой, посаженный на цепь, заколачивает сваи будущего парадиза. Но в изображении автора он потерял человеческое лицо. Он даже не мужик, а мужепес, как говорил циник Михаил Михайлович. Внутренний мир Федьки Умойся

Грязью не существует для автора. Если Федька и говорит, то словами мертвыми, чужими, его речь невыразительна, невнятна.

«— Денисов-то, тоже ловок словами кормить. Покуда до его рая-то доберешься, одна, пожалуй, душа останется».

Согласно традициям исторического романа народ дается или в кабаке, в кружале, или же в разбойничьей шайке. Цыган, Иуда, Жемов, Федька Умойся Грязью, представители обездоленной народной массы — скорее статисты, чем живые люди. Ал. Н. Толстой забывает, что Федька Умойся Грязью оставил ряд потрясающих народных песен, в которых рассказал о своем субъективном переживании петровской эпохи, о том, как поработенное крестьянство переживало петровскую ломку. Обращение Ал. Н. Толстого к фольклору, к народной песне позволило бы ему по-иному изобразить крестьян феодального общества. От художника мы требуем умения перевоплотиться, проникнуть в изображаемую действительность. В этом отношении к крестьянству только как к объекту истории, в этом неумении или нежелании запечатлеть трагизм крестьянства, раздавленного военно-феодальной эксплуатацией, отразить народное переживание эпохи и сказались пережитки буржуазно-дворянского мировоззрения в романе «Петр I».

Значит ли это, что роман является продуктом буржуазного реализма, как утверждали некоторые критики рапповского направления, усматривая в «Петре I» устряловскую интерпретацию современности и даже бешеную вылазку классового врага? Подобные высказывания зачеркивали то новое, что принесла в роман наша действительность. Вышло так, что в обстановке борьбы за построение бесклассового социалистического общества один из крупнейших художников нашей современности не двигался вперед, но пятился назад, к тем идейным и творческим позициям, на которых он стоял в своей «Повести смутного времени». Критика рапповского толка, не замечая качественного изменения в сознании лучших представителей старой интеллигенции, не умела

раскрыть кристаллизации этих изменений в такой специфической области, как художественная литература.

Неумение связать качественные изменения в мышлении художника с особенностями его стиля приводит критику к поискам упрощенной аналогии между историческим романом и современностью. Вопрос ставится на голову: не прошлое познает художник с идейных высот своего сегодняшнего дня, но сегодняшний день он наряжает в архаические одежды прошлого. И тем самым критик приходит к отрицанию исторического романа. Его познавательное значение упраздняется. Исторический роман становится своего рода театром марионеток, игрой сомнительных соответствий.

Один из теоретиков так и пишет: «Петр I» не является историческим романом, но иносказанием о событиях наших дней». Другой идет еще дальше. Усматривая в «Петре I» аналогию, он говорит: «Толстой выбрал негодный материал, негодную тему. Это первый основной порок романа. Блестящие литературные достоинства романа, прекрасное проникновение его автора в отдельные моменты исторического прошлого, все ценное и интересное в нем все же не закрывает, не снижает порочности романа в целом». Нужно ли говорить о том, что порочен не роман, но нелеп и порочен метод критика.

Исторический роман и является романом реалистическим. В противном случае история не ночевала в нем вовсе. Оперирование именами и событиями, которые сберегла нам человеческая память, еще не делает роман историческим. «Князь Серебряный» не исторический роман, равно как не история блестящие, играющие красками и бытовыми подробностями очерки Поль сен-Виктора. Прежде всего необходимо познание существенных сторон прошлого, раскрытие объективного смысла происшедших событий. Это познание прошлого обусловлено и ограничено мировоззрением художника. Он привносит в художественное изображение свою философию истории. Единственным объективным критерием советского историче-

ского романа является соответствие его тем требованиям, которые предъявляет стиль социалистического реализма.

Здесь возможен ряд приближений, степень которых зависит от того, в какой мере овладевает художник философией революционного пролетариата и проникается в своей эмоциональной сфере его мироощущением. Наша эпоха, ее пламень, ее героизм, наше материалистическое понимание истории помогли Ал. Н. Толстому с большей степенью правдивости отобразить историческое прошлое, помогли заново реконструировать, воссоздать эпоху, к которой он обращался уже не раз.

«Петр I», заключая целый этап в развитии художника, в то же время выводит его к овладению новыми высотами социалистического реализма. Не случайно, после работы над второй частью «Петра I», обогащенный опытом исторического романа, Ал. Н. Толстой ставит перед собой двойную задачу — он переделывает «Восемнадцатый год» и пишет третью часть трилогии «Год девятнадцатый» с тем, чтобы показать эпоху гражданской войны с новых идейных и художественных позиций.

XVI

Революция приподняла над миром пелену, и художнику стало внятно реальное содержание действительности.

От «Недели в Турене» к «Петру I», от фамильного дворянского анекдота к реалистическому роману, — таков путь, пройденный Ал. Н. Толстым за четверть века литературной работы.

Ленин говорил о всемирном значении русской литературы. Эта всемирность была обусловлена ее глубоким, идейно-философским содержанием. В годы революции творчество Ал. Н. Толстого приобретает глубину, которой оно не знало раньше. Не переставая быть занимательным рассказчиком и повествователем, он овладевает существом искусства, он учится говорить языком образов «о таинственном смысле жизни».

Переход Ал. Н. Толстого в лагерь пролетариата сопровождался необычай-

ным расцветом его творчества. Лучшие и наиболее значительные его произведения написаны уже в послереволюционный период. Революция донесла голос писателя до многомиллионных масс —

Ал. Н. Толстой становится писателем народным. Услышанный миллионами, Ал. Н. Толстой сумел осуществить высшее назначение художника — он стал инженером человеческих душ.

2. ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

(20 лет Камерного театра)

Н. Волков

Советская общественность с исключительным подъемом отпраздновала двадцатилетие московского Камерного театра. Вся центральная печать, начиная от «Правды» и кончая специальными литературно-художественными газетами, посвятила юбиляру большие статьи и целые страницы. На торжественное заседание 4 января прибыли делегации Красной армии и флота, рабочие московских и ленинградских заводов, колхозные зрители, пионеры, композиторы, писатели, художники и актеры. Правительство ознаменовало юбилей присвоением звания народных артистов Республики основателям Камерного театра — Александру Яковлевичу Таирову и Алисе Георгиевне Коонен — и сделало заслуженными деятелями искусства артистов И. И. Аркадина и Л. А. Фенина.

Все это превратило юбилей Камерного театра в исключительную демонстрацию признания его заслуг и трудов, ярко осветив радостные перспективы его будущего пути.

А. Я. Таиров великолепно ответил на все приветствия, речи и адреса. Его чувство благодарности вылилось в четырех словах. Эти четыре слова были: «Да здравствует Октябрьская революция!»

В этом бурном и взволнованном возгласе была заключена огромная историческая правда. Камерный театр в лице его руководителя замечательно понял, что без Октября, без этого великого социального перепластывания России, Камерный театр не мог бы существовать. В самом деле вспомним, что те три года, которые из 20 юбилейных лет пришлось на долю дореволюционной

истории Камерного театра, были годами поистине мучительной и трудной борьбы за существование. Основав в 1914 г. Камерный театр, Таиров сразу же горько познал, что такое буржуазное общество и каковы его требования к искусству. Каждую новую постановку ему пришлось осуществлять буквально с мобилизацией всех материальных ресурсов и средств, а на другое утро после премьеры встречать в лучшем случае равнодушные, в худшем — ругательные отзывы тогдашней печати. В то же самое время кассовая рапортичка также показывала плачевный результат. Богатый зритель не желал ходить в театр, где смелые экспериментаторы и новаторы показывали новые формы театрального спектакля. Время работало против Таирова. Шла война. Спекулятивно-буржуазная Москва, охваченная тыловыми настроениями, стремилась к легким развлекательным зрелищам. Таиров был упорен и настойчив; но его упорная воля изнемогла. В самый канун Февраля он был принужден сдаться и закрыть Камерный театр.

Таким образом, старая Россия убила Камерный театр, и он смог воскреснуть только тогда, когда власть взяла в свои руки победивший пролетариат. В том, что Камерный театр был воскрешен и возвращен в то здание, из которого он был изгнан, сказалась прозорливость Наркомпроса, и особенно покойного А. В. Луначарского. По отношению к Камерному театру ведь нельзя было сказать, что это «культурное наследство», ибо «без году неделю» существовавший театр еще недостаточно на-



Народный артист Республики А. Я. Таиров

копил реальных ценностей, но Луначарский, угадав возможности Таирова и его коллектива, предоставил им средства для того, чтобы эти возможности реализовать.

Так, осенью 1914 г. Камерный театр вернулся в свой «родной дом» на Тверском бульваре, и это было как бы его новое открытие. С тех пор прошло 15 лет. Эти пятнадцать лет были годами непрестанной и неустанной борьбы Камерного театра за свое искусство, за свое особое место в советской культуре.

Было бы ошибкой рассматривать облик Камерного театра статически, представляя некоторую неизменность его основных черт. Это конечно не так. История Камерного театра — это действи-

тельно история, то-есть процесс, совершающийся и развивающийся во времени со всеми противоречиями, порой мучительными, роста и становления.

Таиров очень хорошо сказал в одной из своих статей, что он благодарен советской власти за то, что она предоставила ему право совершать ошибки, то-есть не карала театр за каждую его неудачу, но внимательно и бережно помогала преодолеть то или иное заблуждение, то или иное отклонение от правильного пути. Если старая буржуазия по отношению к Камерному театру была злой мачехой, то советская власть оказалась родной и любящей матерью. В самом деле, если проследить те срывы, которые были у Таирова в области советского репертуара, то можно было бы притти порой если не в отчаяние, то в раздражение, но Таиров, обладая даром самокритики, упорно шел к намеченной цели и перед самым юбилеем взял великолепный ре-

ванш, показавши героический, страстный и подлинно революционный спектакль на основе «Оптимистической трагедии» Вишневского.

Трудно и мучительно преодолевал Камерный театр свои эстетические предпосылки. Выросший в условиях увлечения формализмом, он в первые годы Октября продолжал понимать свою новаторскую функцию почти исключительно формально. Его эксперименты касались главным образом композиционных и структурных моментов, не затрагивая узловых проблемы единства формы и содержания. Выпущенные в то время «Записки режиссера» Таирова были своего рода формалистским евангелием театра. Утверждая репертуарную

линию Камерного театра, Таиров определял ее как линию арлекинады и трагедии. В этих словах «арлекинада» и «трагедия» не было, по существу, настоящего идейного содержания, это были в лучшем случае смысловые категории или жанровые обозначения.

Однако жизнь брала свое. Камерный театр все больше и больше становился очагом эмоционального и горячего искусства. Наличие в его труппе первоклассной артистки Коонен вызвало к жизни ряд спектаклей громадного лирического звучания. Это были «Федра» и «Адриенна Лекуврер», спектакли, в которых чувствовалось настоящее дыхание трагедии и биение человеческих чувств.

Наряду с этим в инсценировке гофмановской повести «Принцесса Брамбила» действительно промелькнуло искристое веселье народного карнавала, красочно и ярко вспыхнула фантазия великого романтика.

Одной из очень больших заслуг Камерного театра в истекший период было широкое понимание репертуарных задач. Если Камерный театр главным образом обращался к иностранным писателям, то делал это он с превосходным вкусом и подлинным желанием дать советскому зрителю то, что созвучно его настроению. Здесь особенно надлежит отметить ряд американских драм, поставленных Камерным театром. Таирову мы обязаны превосходными постановками пьес О'Нейля «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами» и «Негр», в которых прозвучало очень много близких нам социально-психологических мотивов. Эти о'нейлевские спектакли яв-

ляются вообще одними из лучших работ Камерного театра.

Очень много Камерный театр сделал и для сближения сценического искусства с другими видами художественного творчества. Особенно много нового и интересного прошло на сцене Камерного театра в области декоративного оформления. Таиров умел привлекать к театру художников и архитекторов, смело ломал традиционные формы сценической коробки. Множество смелых опытов по линии света, живописи, конструкции и других элементов пространственного оформления было проделано Таировым



Народная артистка Республики А. Г. Коонен

в эти годы. Не даром к юбилею Камерного театра вышел специальный альбом, посвященный работам художников на сцене Камерного театра.

Пропагандируя синтетическое начало в театре, Таиров столь же щедро обращался за содействием к композиторам. Музыка на сцене Камерного театра никогда не была случайной гостьей, она пронизывала своим ритмом актерскую игру и общий план режиссерского построения спектакля, органически входя в комплекс впечатлений, получаемых зрителем.

Выше мы указали, что наиболее уязвимой чертой Камерного театра было его обращение к советским авторам. Но и здесь Камерный театр нельзя упрекнуть в какой-нибудь предвзятости или неискренности. Театр определенных сценических форм, Камерный театр не мог ставить многих пьес, которые имели успех на других сценах. У него было свое художественное лицо, и он стремился найти таких драматургов, которые поняли бы особенности творческого метода театра и слились с ним в подлинное художественное единство. Иногда Таирову казалось, что он нашел то, что искал, он с увлечением работал над выбранным текстом, и только холод общественного просмотра показывал ему, что лицо было определенное заблуждение. Так мучительно сходили с репертуара «Багровый остров», «Патетическая соната», и «Наталья Гарпова», так не дошел до спектакля «Заговор равных».

Но тяжкий млат неудач выковал булат Камерного театра, и на смотр своего двадцатилетия он предстал во всеоружии своего зрелого искусства. Это ис-

кусство значительно отличается от тех художественных истоков 1914 г., когда Камерный театр начинал жить, но в то же самое время оно образует на протяжении всех 20 лет и какое-то определенное единство. Это единство связано с культурой крупной художественной формы, которая теперь оказалась наполненной глубоким социальным содержанием. И тут опять приходится говорить о замечательном спектакле «Оптимистической трагедии», где героиня гражданской войны предстала перед зрителем не в бытовой раздробленности, но в замечательном монументальном обобщении. Все, что было лучшего в методе Камерного театра, Таиров применил к инсценировке трудного и порой слишком схематичного текста драматурга Вишневого. Но здесь и сказалось мастерство режиссера, его промадный художественный опыт, что он углубил средствами сценической выразительности каждый авторский намек, не оставил пустым ни одного движения спектакля.

Битва за советскую драматургию на сцене Камерного театра была выиграна, и не даром на юбилейном заседании тот же Вишневский от имени советских драматургов передал Таирову записку, на которой стояло название семи пьес, создаваемых для Камерного театра.

Этим символическим жестом утверждался союз Камерного театра и советского писателя, тот союз, который до конца может и должен реализоваться в новое десятилетие Камерного театра. Советские писатели и Камерный театр подали друг другу братские руки, и это один из самых оптимистических итогов только-что прошедшего юбилея.

З. М. М. ИСПОЛИТОВ-ИВАНОВ

(К 75-летию со дня рождения)

С. Чемоианов

В прошлом году советская общественность с большим теплом отметила 50-летие музыкальной деятельности одного из крупнейших представителей старой гвардии советских ком-

позиторов — народного артиста Республики Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. За высокие заслуги перед советским искусством правительство наградило выдающегося музыканта орде-

ном Трудового красного знамени. Советская печать, общая и специальная, с большой активностью отозвалась на юбилей популярнейшего среди широких масс трудящихся композитора. Музгиз выпустил специальную брошюру, характеризующую жизненный и творческий путь композитора.

Несмотря на преклонный возраст (в ноябре истекшего года он достиг трех четвертей века), Иполитов-Иванов не только продолжает неустанно работать на пользу советскому искусству, но, что замечательнее всего, он творчески растет, его композиторское лицо с каждым годом приобретает все новые черты, тематика его музыки ширится, язык ее обогащается новыми интересными словообразованиями.

Жизненный путь свой Иполитов-Иванов начал 7 ноября 1859 г. Его предки — крестьяне Костромской губернии, переселенные в Гатчину (где и родился композитор) для постройки дворца екатерининского фаворита Орлова. Дед — литейщик Гатчинской фабрики, отец — слесарь, позднее заведующий фабрикой. Музыкальное образование композитор получил в Петербурге, где окончил консерваторию по классу Римского-Корсакова, который высоко ценил своего ученика, «подававшего надежды стать талантливым композитором» (из «Летописи музыкальной жизни» Римского-Корсакова). В свою очередь учитель пользовался огромной любовью и уважением талантливого ученика. Римский-Корсаков сыграл значительную роль в жизни молодого музыканта: он сообщил ему ряд ценных творческих приемов, в сильной степени определивших творческий стиль Иполитова-Иванова, внушил любовь к музыкальному фольклору, наконец ввел своего ученика в прогрессивный «Балакиревский кружок», давший ему возможность общаться с лучшими музыкантами и творчески у них учиться.

Иполитов-Иванов навсегда сохранил глубокую приверженность этому направлению, которое бросало дерзкий вызов канонам старого искусства, буйно искало новых, непроторенных, неизведанных еще русской музыкой троп, чтобы вести ее «к новым берегам», к правде, «как бы

она ни была солона, где бы она ни сказалась» (слова Мусоргского), к реальному музыкальному языку. Балакиревские симфонические концерты, концерты «Русского музыкального общества», петербургская «Марийинская» опера, высоко поднятая дирижером Направником, дополнили музыкальное образование молодого композитора, познакомили с огромной оперно-симфонической литературой всех эпох и стилей.

Творческий путь Иполитова-Иванова формировался в неблагоприятной обстановке, в годину тяжелой реакции, следовавшей за разгромом народнического движения, — в начале 80-х годов. На музыкальном фронте шла переоценка ценностей. «Могучая кучка» («Балакиревский кружок») была в процессе распада.

«Мусоргский уже перестал бывать у Балакирева, Кюи заглядывал редко, Римский-Корсаков заходил только на вечеринки» (из мемуаров Иполитова-Иванова). На горизонте высоко поднималась звезда Чайковского, который, по признанию композитора, «увлек молодежь своим элегическим настроением, своей непосредственностью и искренностью». Увлек и его самого, крепко, сильно, надолго. Увлек, но не заразил своим эглизмом и пессимизмом. Взяв от Чайковского лучшее, Иполитов-Иванов навсегда сохранил способность радостного восприятия жизни, трезво-реалистического подхода к ее явлениям.

Так на всю жизнь остались в сознании композитора и наложили неизгладимый отпечаток на его творческий стиль две противоречивые струи русской музыки 70—80-х годов, идеологические звуковыразители двух классовых тенденций — уходящего в архивы истории дворянства и шедшей ему на смену буржуазии, разорявшей тогда «дворянские гнезда», вырубавшей «вишневые сады» старой помещицей России. Этот смешанный стиль композитора обусловлен теми противоречиями, которых полна была русская действительность в ту эпоху, во всех ее многообразных проявлениях, когда, по словам В. Ленина, «старое бесповоротно у всех на глазах рушилось, а новое только укладывалось».

Однако противоречивость стиля композитора — лишь кажущаяся: сторонние влияния разных школ всегда критически им осваивались и творчески переплавлялись, в результате чего композитор выработал свой собственный стиль, внешне хотя и основанный на элементах школы Чайковского и «Кучки», однако не представляющий собой эклектической мешанины механически объединенных крупиц разных школ, но имеющий свое определенное лицо с ясно выраженными чертами. Это лицо время от времени менялось, принимало различные выражения, черты его делались с годами все зрелее, однако всегда, от юности и до преклонных лет, оно сохранило на себе печать какой-то особенной, ему лишь присущей невозмутимости, свидетельствующавшей, однако, не о равнодушии к окружающему, а об огромном душевном здоровье, несокрушимом оптимизме композитора, его глубокой вере в неизбежное торжество лучших начал жизни. Этот оптимизм — лейтмотив всей жизни композитора, обдающий каким-то особым теплом и светом всякого, кому приходится соприкасаться с этим исключительно сердечным и отзывчивым человеком.

Другая характерная творческая черта Ипполитова-Иванова — необычайная искренность письма, правдивость музыкального языка, полное отсутствие позерства и фразерства. «Пусть художник передает все, что ему угодно, — говорит в своих «Воспоминаниях» композитор, — лишь бы в его произведениях была жизнь, чувствовалась правда. Оно будет тогда понятно и получит право на существование и уважение». От правды — простота и понятность музыкального языка Ипполитова-Иванова: ему чужда погоня за сложными гармоническими хитросплетениями, за разного рода звуковыми трюками. Звук для него не самоцель, но лишь средство воплощения художественного замысла.

Первый творческий шаг Ипполитова-Иванова — его «Весенняя симфоническая увертюра» — «Яр-хмель» для большого оркестра, впервые исполненная под управлением автора в симфоническом концерте «Русского музыкального обще-

ства» в Петербурге в 1883 г. А. Рубинштейн по просьбе Римского-Корсакова включил увертюру в программу одного из симфонических концертов и предложил автору дирижировать ею. Огромное волнение охватило молодого дебютанта. «С жутким чувством я поднял палочку перед началом увертюры, — читаем в его мемуарах, — а поднявши, боялся опустить ее и поэтому несколько задержал начало. Друг слышу нетерпеливый голос А. Г. (Рубинштейна): «Ну, начинайте же», и я, как купающийся, стоящий перед холодной водой, закрыл глаза и бросился в оркестровые волны». Дебют оказался удачным: Балакирев похвалил звучность увертюры, римский-Корсаков был доволен своим учеником. Удачный дебют ободрил молодого музыканта, придал ему силы.

Дальше идет 10-летнее (1883—93 гг.) пребывание на Кавказе, где еще до своего дебюта Ипполитов-Иванов по предложению «Русского музыкального общества» открыл музыкальное училище, на базе которого впоследствии выросла Тифлисская государственная консерватория. Зараженный еще со школьной скамьи, по его собственному признанию, ссамого рода «недугом» к Кавказу, молодой композитор с жадностью набросился здесь на изучение местного фольклора, исследуя его теоретически (результатом чего явилась работа «Грузинская народная песня и ее современное состояние»), главным же образом переплавляя творчески в ряде своих композиций. «Недуг» юности остался на всю жизнь. Ориентализм вошел органической частью в творческий стиль композитора, ориентализм не в кавычках, не наносно-поверхностный, не салонно-эстетский, а подлинный, основанный на тщательном изучении народно-песенного материала, взятого во всем его бытовом своеобразии, сохраненного во всей его специфике. Образцом раннего фольклорного творчества являются популярнейшие и поныне «Кавказские эскизы» — Сюита № 1, *op. 10* (написаны в 1894 г. уже по возвращении в Москву), крайне характерные для творческого стиля автора вообще, выявляющие исключитель-

ную простоту и образность его музыкального языка, однако без снижения его технических возможностей, без нарочитого упрощенства.

В 1-м эпизоде «Эскизов» — «Ущелье», — пишет автор, «я живо представлял себе Дарьяльское ущелье, шум Терека, эхо гор, отражающее звуки сигнальной трубы, кондукторов почтовых экипа-

жей, долину Арагвы»; во 2-м — «В ауле» — у станции Млеты «на крыше сакли двое грузин, старый и молодой, играли на таре (струнный музыкальный инструмент) и дудуки (духовой инструмент вроде гобоя, по звучности мягче) протяжное баяты (род свободной импровизации), переключаясь музыкальными фразами»;



«В середине этой импровизации на крыше появилась танцующая девушка, и оба музыканта перешли на плясовую те-

му», популярную в деревнях Грузии народную песню.



Для усиления национального колорита композитором введены в оркестр в этой сцене подлинные восточные барабачики «тимплипито» (глиняные литав-

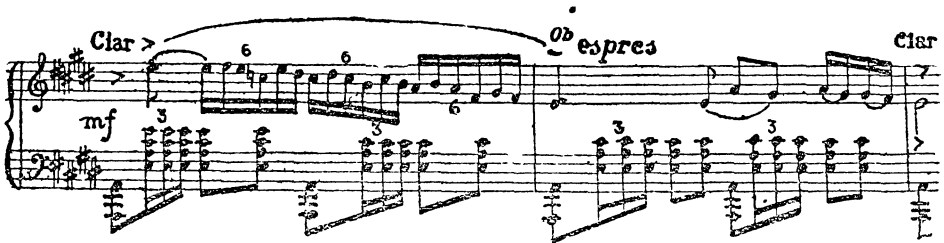
ры). 3-й эпизод — «На заре» — призыв муэдзина с вышки минарета, 4-й — «Шествие сардаря», 1-я тема которого взята из зейтунского марша:

Allegro moderato. tempo marziale



2-я тема — оригинальная, данная «в характере зейтунской песни» (для кон-

траста с 1-й маршеобразной) с легким налетом турецкого влияния.



«Кавказские эскизы», один из любимых номеров концертных программ про-

фессиональных оркестров и самодеятельных коллективов, по тематике и музы-

кальному языку не только характерны для ранней поры творчества Ипполитова-Иванова, но и вообще выявляют одну из типичнейших черт его композиторского стиля. «Кавказские эскизы» в их 1-й сюите (серии пьес) явились лишь первой ласточкой этого рода литературы, за которой вскоре последовали другие сюиты, иной тематики, но все с тем же заданием — освоения богатого фольклора Востока в качестве средства музыкальной живописи для изображения жизни и быта различных народностей Востока. Эта линия работы композитора продолжена и значительно расширена, как увидим далее, на этапе служения его советской музыке.

В тот же ранний, тифлисский, период жизни Ипполитов-Иванов дал первые оперы «Руфь» и «Азра» — обе восточной тематики, на сюжеты старинных сказаний. Оперы еще незрелые, целиком во власти традиционных форм («Азра» впоследствии даже была уничтожена автором), однако наметившие уже (особенно первая) и ряд новых творческих приемов, широко использованных в позднейших композициях. Это, с одной стороны, тот неподдельный, искренний лиризм, которым насыщена «Руфь», определивший и ее название как «лирической оперы» и посвящение последней П. Чайковскому, которому она, по словам автора, особенно «пришлась по душе», с другой — богатая мелодика Востока, сильно сказавшаяся в песнях Ноэми и ряде танцевальных номеров. Наряду с ориентализмом композитор интенсивно осваивал в эту пору западную классику и романтику, в стиле которых написал ряд камерных, инструментальных и вокальных пьес.

Нельзя обойти молчанием огромную культурную работу, которую одновременно с творческой вел Ипполитов-Иванов в Закавказье — по музыкально-педагогической линии и исполнительской в качестве дирижера оперы и симфонических концертов. Благодаря энергии и настойчивости Ипполитова-Иванова оперная сцена Тифлиса впервые увидела «Руслана», «Русалку», «Демона», «Онегина», «Чародейку» «Орлеанскую деву», «Майскую ночь», «Кармен» и многие

другие оперы. При этом немало сил было потрачено на преодоление обывательского консерватизма и бюрократического рутинерства, крепко засевших в стенах Тифлисской оперы царских времен.

Аналогичная работа идет в Москве в опере С. Мамонтова в начале 900-х годов. Ряд опер Римского-Корсакова и Мусоргского впервые показаны были здесь широким слушательским массам опять-таки благодаря упорству и настойчивости Ипполитова-Иванова. Как видим из недавно опубликованных писем Римского-Корсакова к своему бывшему ученику (см. «Советскую музыку», 1933 г., № 3, стр. 143), последний был высоко оценен своим учителем, который без опаски вверял ему одну оперу за другой. — «Пойдет ли «Майская ночь» у вас в Тифлисе? Что, кабы дирижировали ею вы, вместо какого-то там немца», — писал Римский-Корсаков Ипполитову-Иванову еще задолго до московского периода, в 1887 г. «Из письма вашего заключаю, что вы в будущем сезоне будете наверно дирижировать в Московской частной опере. Этому от души радуюсь» (1900 г.). «Радуюсь тому, что Московская частная опера будет существовать под вашим главенством; радуюсь за Москву и за искусство вообще» (1902 г.). Ряд концертов проводит тогда же Ипполитов-Иванов в качестве симфонического дирижера. Одновременно он ведет класс композиции в Московской консерватории, из которого впоследствии выходят С. Василенко, Р. Глиер, Л. Николаев, Ю. Сахновский и многие другие. В 1905 г. Ипполитов-Иванов энергично борется вместе с прогрессивной профессурой за автономию высшей музыкальной школы и делается первым выборным директором реорганизованной Московской консерватории.

Девятисотые годы — эпоха нового творческого движения композитора вперед, пересмотра старых позиций, оснащения новыми видами формально-технического оружия. В оперной сфере «Ася» и «Измена» знаменуют эту эру. С одной стороны, явный уклон в «чайковщину»: пушкинская Татьяна и тургеневская Ася, социологически и литературно далекие друг от друга, сильно

сблизились в оперном преломлении двух композиторов. Есть общие линии и в фабульном построении обеих опер, и в образах Онегина и NN, и даже в наименовании той и другой оперы «лирическими сценами». Однако «Ася» — не просто сколок с «Онегина»: есть много и разного в двух операх. Если есть «в ней налет Чайковского, — пишет о музыке «Аси» автор, — то в этом виноват не я, а Чайковский, силой своего

таланта оказавший влияние на целое поколение молодых композиторов, которые, как молодые побеги, берут начало от старых корней». Новое и свежее в опере — значительное использование немецкой песенной лирики, что явилось художественно вполне оправданным приемом с точки зрения места действия оперы (маленькая немецкая провинция на берегу Рейна). Германизмом отдает хоровая песня «Landesvater»:

Moderato maestoso

Музыкальный фрагмент в нотной записи. Верхний стеллаж содержит вокальную партию с русскими текстами: «Все вы-май-те пес-не э-той песню пес-ней я по-ю». Нижний стеллаж содержит фортепиано-сопровождение, начинающееся с динамического маркато (F marcato). Музыкальный стиль — Moderato maestoso.

То же в архаическом вальсе «Bier-Walzer», старинном полонезе (иллюстрирующем массовую сцену в загород-

ном саду), песне старого бурша (взятой у немецкого композитора конца XVIII в. Цумштега):

Moderato

Музыкальный фрагмент в нотной записи. Стеллаж содержит вокальную партию с русскими текстами: «т^е Си жу в прохладном по-чребе, у боч-ки пол-ной винной». Музыкальный стиль — Moderato.

лирически - сентиментальном антракте к 3-му действию «Nachtlied», живописной «Песне о Лорелее» со спокойно-эпическим мелодическим рисунком, использующим немецкое балладно-музыкальное наследство, с поэтически-арпеджированным аккомпанементом.

Новый этап музыкально-драматургического роста показывает Ипполитов-Иванов в опере «Измена» (1909 г.). Давние симпатии к Грузии, не остывшие далеко и в Москве, сказались в опере с новой силой. Рецидив старого «недуга» был однако не повторением пройденного, а свидетельством нового значительного творческого сдвига. Сюжет драмы А. Сумбатова-Южина, по

признанию автора, «оказался сжатым и очень сценичным. А. И. (Сумбатов) быстро подготовил мне либретто, и я в одно лето вчерне написал всю музыку, используя имеющийся у меня материал восточных и главным образом грузинских песен». Высоко оценил новую оперу Кюн: «Слушал вчера вашу «Измену» и остался чрезвычайно доволен. Всюду — музыка, все красиво, изящно, благородно, привлекательно». «Измена» свидетельствует о повороте автора от Чайковского к «Кучке» (главным образом к Римскому-Корсакову). Отступление от традиционных закругленно-законченных форм (арий, дуэтов и т. п.), разрывавших оперный организм

на искусственные куски, ставка на непрерывное течение музыки, постоянно сменяющие лирическую плавность мелодии драматические изломы ее, сложность и смелость гармонического языка, живописность оркестрового наряда (с явными признаками лейтмотивов), наконец обильный фольклорный материал — все это свидетельствует о насту-

пившей большой зрелости композитора, о его большом творческом подеме, явившемся в результате тщательной проверки и переоценки пройденных этапов. В отношении фольклорного наиболее примечательные в опере эпизоды — ария Эрекле, стансы Солеймана, ария Отара, рассказ Рукайи:

Moderato assai

mf У ча ря Су-ри-и бы-ла до-че, до-че ре-д-кой пре-со-ти ке-... *tr* *mf* *p*

многочисленные танцы — невольниц, татарский, лезгинка:

Allegretto

mf *p*

Незадолго до Октября композитором написана опера «Оле из Норланда», также в лирико-драматическом плане, со значительным использованием на этот раз северного, норвежского, фольклора. «В музыке оперы, — пишет автор, — я стремился сохранить народный нор-

вежский колорит, введя темы народных песен, что сроднило ее с Григом... таким образом, мы как бы пили из одного источника». Образцом норвежских влияний может служить танец в характере северного «халинга»:

Allegro

mf *p*

Девятисотые годы дали также большое количество оркестровых и камерно-вокальных композиций. Из первых наиболее примечательны — 2-я сюита «Кавказских эскизов» под именем «Иверия» и «Армянская рапсодия». И здесь, и там — подлинная тематика Востока. В «Иверии» в 1-м эпизоде использована

старинная песнь «Плач Кетеваны», во 2-м — «Колыбельной» — популярная народная песнь, записанная автором в Кахетии, в 3-м — «Лезгинке» — тема кахетинской лезгинки, в 4-м — «Грузинском марше» — темы старинной воинственной песни Грузии и персидской, записанной в Тифлисе от старика-перса. Сочинени-

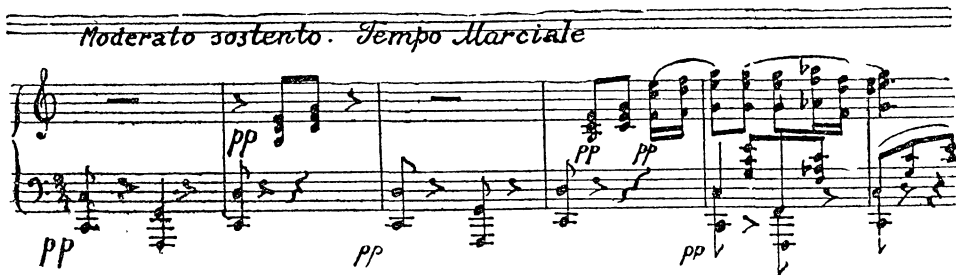
ем крупного симфонического плана этого периода явилась большая симфония ми-минор в стиле шубертовской романтики.

Огромный размах приобретает творческая деятельность Ипполитова-Иванова после Октября. Несмотря на то, что к моменту Октябрьской революции композитору было уже 58 лет, он с истинной молодой энергией отдался делу служения советской культуре. С радостным сердцем и обычным внешне-невозмутимым спокойствием принял Октябрьскую революцию, Ипполитов-Иванов с первых же дней революции развил интенсивную деятельность по всем линиям своей былой работы, ширя и углубляя ее, пересматривая и переоценивая ее методы. Он — первый ректор Московской советской консерватории, дирижер и заведывающий музыкальной частью Московского академического Большого театра, постоянный член всевозможных жюри, квалификационных комиссий и консультаций, активный работник Красной армии, обслуживающий ее своими композициями, помогающий авторитетными советами в ее музыкальном строительстве. Огромной продуктивности творческая и общественная работа Ипполитова-Иванова высоко оценена партией, правительством и всей советской общественностью. Композитор удостоен звания народного артиста Республики, имя его присвоено одному из лучших музыкальных техникумов, он почетный член различных художественных обществ и организаций.

Творческая деятельность Ипполитова-Иванова за советский период огромна и многообразна. По линии академической отмечаем большую программную симфоническую поэму «Мцыри» (по Лермонтову), в которой композитор показал себя много более зрелым симфони-

стом, чем в упомянутой выше симфонии. Программный симфонизм дан также в поэтических картинах «Из песен Оссиана». К 10-летию Октября композитор пишет симфонически-хоровой «Гимн труду», где в простой, ясной форме, надолго сделавшей эту песнь массовой, подана революционная тематика большой силы и подъема. Несмотря на то, что композиция эта не свободна от старых кантатных приемов письма, закруглена и как-то приглажена во всех своих контурах, она подкупает слушателя неподдельной искренностью, красивой певучестью и проникающим ее радостным патетизмом. «Вся моя жизнь была непрерывным гимном труду, и мне хотелось бы, чтобы жизнь нашей музыкальной молодежи была также сплошным гимном труду», — говорил автор по поводу своей композиции. Этим гимном он хотел зажечь молодежь, как бы выполняя завет Ленина, — «организовывать искусством чувство, мысль и волю» масс, подымать их на великие дела.

Тематика Востока, продолжающая линию «Кавказских эскизов», с большой яркостью дана в этот период в трех новых сюитах — «Тюркские фрагменты», «В степях Туркменистана», «Музыкальные картинки Узбекистана». В «Тюркских фрагментах» — подлинные темы тюркских песен, гармонизованные композитором для особого сборника по поручению Азербайджанского наркомпроса. Здесь — большая зрелость музыкального языка по сравнению с ранними «Эскизами», но все та же ясная, подкупающая картинность изложения. С каким например живописным реализмом передается в 1-м эпизоде картина приближения к городу каравана, утомленного долгим переходом по раскаленным пескам знойной пустыни:



Примечательны оперные композиции Ипполитова-Иванова в послеоктябрьский период, в особенности работы над Мусоргским, над его «Женитьбой», где композитор инструментовал 1-й акт и дописал остальные, недостающие акты. Здесь мы видим, с одной стороны, творческое перевооружение композитора применительно к стилю Мусоргского, усвоение приемов письма последнего, с другой стороны — сохранение и собственного лица в виде тенденции к более мягкой мелодике, к округленной пластичности музыкальных форм. Однако декламационный характер вокальной речи и общий реализм музыкального языка сохранен соавтором Мусоргского в полной мере. «Набравшись храбрости,— читаем по поводу работы над «Женитьбой», — я решил продлить опыт, но в несколько смягченном виде, с применением мелодического речитатива... Мое продолжение опыта Мусоргского хотя несколько уклоняется от его декламационно-речитативного стиля, но преследует ту же цель иллюстрации музыкально-прозаического текста, причем мною сохранены мотивы музыкальных характеристик, намеченных Мусоргским». Опыт Ипполитова-Иванова сильно заинтересовал музыкальную общественность; опера встречена была слушателями и критикой доброжелательно. Другой опыт того же соавторства — работа над инструментовкой «Сцены у Василия Блаженного» в «Борисе Годунове» для постановки оперы в Московском Большом театре.



Грузинская «Песнь Нино» в финале переключает лениво-медлительную лирику Востока на героиню. (См. стр. 287.)

Тот же эмоциональный ход в «Днепр-пропесне», художественно раскрывающей строительство одного из крупнейших ги-

Последние годы принесли значительное усиление творческой работы Ипполитова-Иванова над революционной тематикой. Формы ее музыкального выявления разнообразны. В плане музыкально-драматическом даны картины борьбы Парижской коммуны в опере «Последняя баррикада» — сюжет, заинтересовавший композитора еще в детском возрасте (11-летним мальчиком застала его героическая эпопея борьбы парижского пролетариата). По линии симфонической значительным событием явился «Юбилейный марш» для большого симфонического оркестра к 15-летию Красной армии, посвященный т. Ворошилову. Марш выдержан в стиле героической патетики. Не снижая техники письма, композитор дает в то же время четкую, простую, доходчивую до массового слушателя, заряжающую и заражающую музыку. В сочинениях Ипполитова-Иванова мы не ощущаем стиливого разделения между революционной и неревolutionной музыкой. И та, и другая — две равноправные стороны его композиторской деятельности, выражение единой творческой устремленности.

К 15-летию Октября Ипполитов-Иванов дал ряд вокальных композиций на советскую тематику. 5 песен для голоса с фортепиано на слова Я. Родионова дают разнообразный по содержанию и форме материал. Интересны по-новому освоенные национальные песни. В бодрогероических тонах, с энергичной ритмикой дана «Чукотская песнь»:

гантов пятилетки, противопоставляющей старый Днепр (в ленивых аккордах piano) новому, советскому Днепру. В вокальных мужских квартетах на слова того же поэта «Тюрьма», «Вперед смотреть!» «На страже Октября» — пол-



ный разрыв композитора с бывлой лирикой, четкая, ясная мелодика, решительная ритмика, суровая гармонизация.

Не обошел большой мастер и того фронта строительства, который особенно труден для освоения его советской композиторской мыслью — фронта колхозного. Специально для колхозов им написаны смешанный хор «Воскукуй, моя кукушечка» и частушки для гармоники. Чуткое внимание обнаруживал всегда Ипполитов-Иванов к народным инструментам. Помимо отголосков их звучаний в различных композициях народно-бытового плана, Ипполитов-Иванов сделал интересный опыт сочетания балалайки с симфоническим оркестром в композиции «На посиделках» (фантазии на две народные темы).

Портрет юбиляра был бы не полон, если бы мы не отметили его научно-литературных работ. Помимо исследования о грузинской народной песне, в плане музыкально-теоретическом им написано

«Учение об аккордах, их построение и разрешение». В плане мемуарном значительный интерес представляют выпущенные недавно воспоминания: «50 лет русской музыки».

Творческий путь Ипполитова-Иванова не закончен. Он продолжает интенсивно работать и поныне. Недавно им написан струнный квартет на темы армянских народных песен, музыка к звуковому фильму революционной тематики «Кара-бугаз»; заканчивается детская опера на сюжет поэмы из киргизской жизни, намечена большая 4-актная опера из осетинского быта. Поистине поражаешься энергии этого неутомимого работника. Энергия эта — свидетельство не только о биологической жизнелюбности крепкого организма, но в еще большей степени о глубокой мудрости политики партии, умеющей сохранять свежие созидательные силы и огромный творческий энтузиазм в самых различных поколениях строителей социализма.

4. ВРЕДНЫЕ ИДЕИ ПОД МАСКОЙ МАРКСИЗМА

П. Сысоев

Около года назад Изогиз издал книжку А. Федорова-Давыдова — «Реализм в русской живописи XIX века».

В этой книжке автор ставит задачей соответствующим образом ориентировать работников художественного фронта в вопросах наследования лучших сторон русской реалистической живописи второй половины XIX века:

Свой анализ истории реалистической живописи Федоров-Давыдов начинает с оценки эстетики крестьянских революционеров — Чернышевского и Добролю-

бова. Он пишет: «Их эстетика, по существу, совершенно не учитывала особенностей изобразительного искусства, не учитывала вообще специфичности художественно-образного мышления» (43 стр.).

Так ли это? Не есть ли это факт клеветы и сознательного отрицания положительных сторон эстетики великих революционных разночинцев? Ведь большой заслугой Чернышевского является его последовательная борьба с эстетствующим идеализмом дворянства, которому

Чернышевский противопоставил новое, революционное реалистическое искусство. Чернышевский доказывал, что единственным источником искусства является действительность, которую художник обязан познать и воплотить в реальных образах. По утверждению Чернышевского, искусство должно изменять мир, — оно должно быть приговором над отрицательными сторонами общественной жизни. «Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, — пишет Чернышевский, —... искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие». Этим самым Чернышевский высмеивал теорию «искусства для искусства», проповедываемую дворянской эстетикой.

В своей книге об эстетике Чернышевский писал: «Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведения искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «Да стоило ли трудиться над этим?» (т. X, ч. II, стр. 152).

Признавая за искусством большое общественное значение, Чернышевский не только не отрицал специфику искусства, но утверждал его. Борьба с дворянским эстетизмом и требование отличительной тематики, направленной против крепостнического строя, были большим прогрессивным и революционным явлением в эстетике Чернышевского. Правда, эта эстетика не является марксистской эстетикой, но она имеет много положительных и приемлемых для марксизма сторон; их необходимо критически усвоить, а не опоплять и игнорировать их, как это делает Федоров-Давыдов. Следует помнить, что эстетика Чернышевского является самой прогрессивной и передовой домарксистской эстетикой в России. Она, борясь за социально-заостренное реалистическое искусство, наиболее полно и наиболее правильно понимала специфику искусства.

Наладки Федорова-Давыдова на эстетику Чернышевского не являются новым фактом в истории искусства. Начиная с 60-х годов XIX века и кончая Октябрьской революцией 1917 года, все представители реакционных классов боролись с этой эстетикой. Особенно ожесточенную борьбу вели с эстетикой Чернышевского на рубеже XIX и XX веков идеологи «Мира искусства» — Бенуа и Дягилев. В своей книге «История русской живописи XIX века» (издание 1902 г.) Бенуа, выступая с позиций реакционной русской буржуазии, нападает на Чернышевского за его требование от художника тесной связи с жизнью, «объяснения жизни» и наконец «приговора над изображенными явлениями»: «Такие слова были равносильны отрицанию искусства, самой сущности его» (147 стр.). Характерно то, что оценки Федорова-Давыдова почти по всем важнейшим вопросам совпадают с оценками Бенуа, книги которого об искусстве написаны в плане самой циничной борьбы с реализмом и особенно с реализмом революционно-демократическим.

Расправившись с эстетикой Чернышевского и Добролюбова, Федоров-Давыдов переходит к оценке последователей этой эстетики — идейных реалистов 60-х годов. «Подобная живопись, — заявляет Федоров-Давыдов, — интересна исторически, но для сегодняшнего человека она не интересна, не отвечает его сегодняшним насущным запросам, его не захватывает и не окрыляет» (32 стр.). С точки зрения классовых взглядов Федорова-Давыдова, революционно-демократическая живопись шестидесятников не может, следовательно, являться интересной. Федоров-Давыдов в данном, глубоко принципиальном, вопросе сам срывает с себя маску «марксизма», которую он любит носить. Здесь следует отметить, что специфические задачи искусства Федоров-Давыдов понимает формалистически: специфику искусства он видит там, где познавательная роль искусства ничтожна, где художник отказывается от идейности.

Для Федорова-Давыдова живопись 60-х годов — «это простая агитка, по-

лезная, ценная, хорошая агитка, но только агитка. Она умирает вместе с теми событиями, которые ее вызвали к жизни. Она остается в истории, но умирает в эстетическом обиходе людей другой эпохи» (34 стр.). «Это искусство очень слабо выполняет те специфические задачи, для которых существует живопись» (46 стр.).

Революционная живопись 60-х годов не «окрыляет» Федорова-Давыдова, — для него это только мертвая агитка отошедшей эпохи, не имеющая никакого значения для сегодняшнего дня; главное же, идейная агитационная живопись, по его мнению, слабо отвечала специфическим задачам искусства. На протяжении всей книжки автор доказывает, что заниматься агитацией, разоблачением отрицательных сторон жизни, борьбой — не дело живописи; с его точки зрения, тенденциозность противоречит специфике искусства и отрицает ее. Выходит, что борьба за большевистскую тенденциозность в искусстве, которая нашла почетное отражение на съезде писателей СССР (и, нужно полагать, займет такое же место и на подготовляемом съезде художников), есть тенденция к уничтожению подлинного искусства! Поэтому совершенно не случайно Федоров-Давыдов, характеризуя творчество Репина, пишет: «Но эти живописные достижения, как и в портрете, идут в ущерб идейности и ясности сюжета» (91 стр.), т. е., по мнению автора, «живописное качество разбивает качество идейное» (94 стр.). А когда Федоров-Давыдов анализирует творчество крупнейшего художника 60-х годов В. Г. Перова, он доказывает, что у Перова идейное качество разбивает живописное. Из этих утверждений следует только один вывод: идейное искусство не может быть живописным, т. е. не может быть искусством, а живописное — идейным. Таким образом, получается, согласно «научным» предположениям Федорова-Давыдова, что единство формы и содержания есть явление невозможное в объективной реальности, так как одна сторона почти чисто отрицает другую.

Вся эта вульгаризация понадобилась Федорову-Давыдову для того, чтобы до-

казать несостоятельность и ненужность идейно-политического искусства. Объективно почти вся система взглядов Федорова-Давыдова на идейно-реалистическую живопись есть прямое продолжение эстетических вкусов «Мира искусства». Например А. Бенуа видит главный недостаток художников содержательного реализма в том, «что они подходили к жизни с заготовленной идейкой и затем все свое изучение жизни подстраивали согласно этой идейке» (153 стр.). То же самое говорит и Федоров-Давыдов: «Роль художников (60-х годов. — П. С.) сводится к роли простого популяризатора и иллюстратора чужих идей. Отсюда было недалеко до отрицания искусства вообще» (44 стр.).

Падение социально-содержательной роли искусства считается Федоровым-Давыдовым большим положительным фактом, который, по его мнению, способствует подлинному расцвету живописи. Если сейчас вся преданная пролетариату интеллигенция художественного фронта борется за создание такого содержательного искусства, которое позволит художнику более глубоко показать жизненные связи реальной действительности, то Федоров-Давыдов ухитряется заявить: долой такое искусство.

«Ценное в импрессионизме, — пишет Федоров-Давыдов, — это высвобождение конкретно чувственной эмоциональной природы живописи, ее самоутверждения, которое нашло затем свое завершение у Сезанна. Когда импрессионисты и Сезанн боролись с сюжетикой, то здесь самоутверждался спецификум живописи» (117 стр.). Из этого тезиса явствует, что вся его борьба с идейной реалистической живописью ведется с позиций буржуазного искусства того периода, когда начинали отрицать сюжет, идею, реальный образ, когда познавательная роль искусства падала и, наконец, когда в основе мировоззрения художника лежал субъективный идеализм. Понятно, импрессионизм и Сезанн имеют кое-какие положительные стороны, но их значение для советского художника-реалиста безусловно меньше, чем значение идейно-реалистической живописи.

Поэтому ориентировать советского художника только на импрессионизм и сезаннизм в искусстве, при полном игнорировании идейной-реалистической живописи, есть занятие, которое не может заслужить одобрения.

Борьба Федорова-Давыдова с идейной сюжетной живописью ведется им на протяжении очень долгого периода. Он еще в 1925 г., в своей крайне слабой и совершенно не марксистской книжке «Марксистская история изобразительных искусств», писал: «Вот например картина Перова, типичного в своей рабской зависимости от сюжета и бывшего, собственно, художником только там, где не было сюжета как такового... Его «Крестный ход на пасху» или «Проповедь в селе» — это все, что угодно, но только не живопись» (стр. 74). То же самое говорит Федоров-Давыдов о Перове и в своей книжке о реализме. Федорова-Давыдова мало интересует то обстоятельство, что Перов раньше и сильнее, чем кто-либо из его предшественников и современников художников, дал глубоко реалистический образ положения крестьян самодержавной России, что он первый нанес сильнейший удар по духовенству и церкви как опоре царизма, что он первый показал капиталистическую эксплуатацию («Тройка» — 1866 г.) и тяжелое положение женщин («Похороны крестьянина» — 1866 г., «Утопленница» — 1867 г., «Последний кабацк у заставы» — 1868 г. и т. д.). Картины Перова и сейчас глубоко действуют на массового зрителя своим большим идейным содержанием и художественной формой. А его антипоповские вещи играют незаменимую роль в антирелигиозной пропаганде.

Перов был художником большой идейной глубины, и познавательная ценность его искусства бесспорно высока. Он, средствами живописи, наносил тяжелые удары помещичье-крепостническому строю.

Анализируя творчество Перова, Федоров-Давыдов находит, что «в картинах Перова не было живых, чувствующих и переживающих людей, а были лишь носители социальных типов» (34 стр.). Этот тезис также является

ложным, потому что Перов показал человека не абстрактно, а конкретно. Его люди живут, чувствуют, страдают. Заслуга Перова в том, что он индивидуальные стороны человека сумел показать в единстве с его социальными чертами. Перов в показе человека сумел достигнуть очень сильных обобщений и большой типизации. Если сейчас одной из существенных сторон произведений социалистического реализма должна быть подлинная типизация и обобщение героев и их действий, то следует думать, вопреки неверным взглядам Федорова-Давыдова, что эта сторона творчества Перова является большим положительным явлением.

После Перова Федоров-Давыдов большое внимание уделяет творчеству Репина. Но и в этой части своей книжки автор, начиная с общей оценки, социальной природы и социальной эволюции художника и кончая анализом отдельных картин, показал свою полную несостоятельность. Федоров-Давыдов совершенно отбросил революционно-демократическую сторону творчества Репина 70 — 80-х годов. Такие картины Репина, как «Бурлаки», «Протоиакон», «По грязной дороге», «Арест пропагандиста», «Перед исповедью», «Сходка террористов», «Митинг у стены Коммунаров», «Крестный ход в Курской губ.», «Не ждали» и другие, являются для Федорова-Давыдова результатом либеральной дряблости художника. По его мнению, у Репина, «как у крупного буржуазного художника... было всегда стремление давать большие, впечатляющие, так сказать, ударные вещи, создавать «гвоздь сезона», сенсацию, событие» (99 стр.). Значит, отражение Репиным борьбы революционного народничества объясняется модой, или, как говорит автор, «гвоздем сезона».

Федоров-Давыдов пытается доказать революционную несостоятельность картин Репина для того, чтобы умалить агитационное и художественное значение этих произведений для сегодняшнего дня.

Анализируя картину Репина «Крестный ход в Курской губ.», автор пишет: «Кто главное действующее лицо его кар-

тины в живописном смысле? Фонарь с разноцветными лентами, который несут крестьяне. Дальше, в центре желтое пятно, прекрасно переданный свет, играющий на золотой ризе, нагретый вибрирующий воздух, т.-е. в памяти остается живописное построение» (95 стр.).

Память разных людей имеет свои оттенки и особенности. Каждый запоминает в первую очередь то, что ближе его вкусам, взглядам (конечно классовым) и пр. Федоров-Давыдов никак не может запомнить, что в «Крестном ходе» Репин сумел глубоко вскрыть лицо пореформенной России 80-х годов и показать классовую природу религиозных обрядов, лицемерие господствующих классов, азиатские методы расправы над народом и пр. Эта картина Репина, как и многие другие, написана в плане обличения и борьбы с существующим строем. Значение этой картины велико не только благодаря ее глубокой революцион-

ной идейности, но и благодаря большому живописному мастерству, которое увеличивает силу воздействия этого произведения на массу.

Здесь также следует отметить, что «память» Федорова-Давыдова и на примерах разбора отдельных картин очень созвучна с памятью А. Бенуа, который писал о «Крестном ходе»: «Нас, разумеется, не прельщало наивное сопоставление фантастических богомольцев и грубых жандармов, но исключительно только красота превосходно переданного знойного дня, и великолепно выраженного движения живописной толпы» (178 стр.). Понятно, это созвучие можно объяснить не только особенностью памяти, но и известной общностью эстетических вкусов.

Оценка других художников (В. Маковский, Савицкий, Верещагин и др.), данная Федоровым-Давыдовым, для нас также совершенно неприемлема.

5. ИСТОРИЯ 1-й КОННОЙ АРМИИ В ЖИВОПИСИ

Б. Капцов и А. Лебедев

Вам памятли пользовавшиеся громадным успехом и любовью трудящихся выставки работ советских художников, посвященные Красной армии.

Эти выставки были в 1923, 1928 и 1933 гг. Серия выставок, показывающих героическое прошлое Красной армии, ее вождей и организаторов, ее учебу, техническую и моральную мощь, ее быт, огромную политическую и культурную роль, — все это теперь дополнено новым звеном.

В ноябре 1934 г. в небольшом помещении «Всекохудожника» открылась замечательная выставка произведений живописи и скульптуры, посвященная 15-летию создания 1-й Конной армии.

На выставке собраны работы художников А. Герасимова, Бродского, Грекова, Авидова, Котова, Горелова, скульпторов—Мотовилова, Виленского, Крандиевской, Менделевича и др. Все выставленные работы не новы, — они уже демонстрировались раньше и хорошо зна-

комы советскому зрителю. И тем не менее эта превосходная выставка смотрится с громадным интересом. Ее содержание одновременно и шире, и уже названия — «История 1-й Красной Конной армии в живописи». По меткому выражению М. В. Фрунзе, «в нашей армии нет других частей, которые бы с такой яркостью и глубиной отразили в себе, в своих действиях весь характер гражданской войны, характер Красной армии в целом...», как 1-я Конная армия.

Поэтому и картины эти, рисующие подвиги 1-й Конной армии, далеко выйдут по своему значению за пределы показа истории только этой армии, — в них много мотивов, характерных для всей нашей Красной армии эпохи гражданской войны. В то же время выставка, разумеется, не раскрывает всех и даже важнейших эпизодов из истории доблестной 1-й Конной армии: настолько богата революционной героикой ее история.

Значение выставки огромно.

Трудящиеся увидят и вспомнят, как, оставаясь часто без хлеба, без обуви, 1-я Конная армия, технически далеко не достаточно вооруженная, совершала чудеса храбрости и геройства, разбивая превосходно вооруженные, сытые белогвардейские части Шкуро, Мамонтова и Врангеля, так как эта армия, будучи частью Красной армии, впервые в истории знала, «за что она борется и за что приносит жертвы» (Ленин), так как она была создана по инициативе великого стратега пролетариата — Сталина и повседневно руководилась Ворошиловым и Буденным.

Выставка вселяет непоколебимую веру в силу и мощь Рабоче-Крестьянской Красной армии, руководимой коммунистической партией.

Молодежь наша увидит волнующие примеры беззаветной храбрости, самопожертвования, непоколебимой энергии, горячей преданности коммунистической партии, беззаветной любви к советской родине со стороны старшего поколения рабочих и крестьян, дравшихся за советскую власть в рядах 1-й Конной.

Перед осмотром выставки зритель знакомится с рядом материалов, здесь показаны состав 1-й Конной, карта ее переходов, перечислены разгромленные ею враги.

Портреты вождей пролетариата — Ленина и Сталина (работы худ. А. Герасимова) — расположены в следующем помещении. Великий Ленин изображен стоящим на трибуне.

Несокрушимо-твердый, уверенный, полный жизни Сталин, гениальный инициатор создания 1-й Конной армии, изображен также стоящим на трибуне.

Здесь же портреты тт. Калинина (работы художника Тихова) и Фрунзе (художника Бродского).

Рядом — портрет т. Ворошилова, руководившего 1-й Конной вместе с т. Буденным, портрет которого (работы Денисовского) расположен невдалеке.

В противоположном конце зала — прекрасный громадный портрет т. Ворошилова на коне (художника А. Герасимова) и по бокам — портреты С. М. Буденного (худ. Бродского), А. С. Бубнова (худ. Космина) и ряда героев

1-й Конной — Городовикова, Бахтурова (худ. Струнникова), Ракитина (худ. А. Герасимова), Бодрова (худ. Котова), Апанасенко (худ. Ф. Модорова) и др. Целый ряд картин показывает рождение и формирование 1-й Конной армии.

... Вот одинокий всадник едет по степи, старательно прикрепляя к своей шапке красный лоскут. Он твердо знает, куда и зачем ему ехать, знает, где нужны вооруженные рабочие и крестьяне. Он едет «В Красную конницу, к Буденному». Это замечательное полотно художника Грекова ярко воспроизводит эпоху 1918 — 20 годов, когда со всех сторон в знаменитую конницу пробирались и стекались рабочие и крестьяне, чтобы в ее рядах отстаивать свою свободу, свою власть, свою советскую родину.

«Мой первый эскадрон, собранный в сальских степях, как снежный ком, обрстая красными конниками, стал сначала полком, бригадой, потом дивизией, корпусом и, наконец, армией, — говорит Буденный, — конный корпус был основан Сталиным и Ворошиловым, реввоенсоветом 10-й армии».

Большая картина Авилова показывает исторический «Приезд товарища Сталина в 1-ю Конную армию, в Новый Оскол». Инициатор создания 1-й Конной, тов. Сталин, лично которому она была подчинена, в 1919 г. выезжал в район жестоких сражений с белогвардейцами для укрепления армии, для конкретного руководства ее военными действиями.

Картина отображает роль партии в создании, укреплении и действиях Красной армии, она показывает, как партия посылала тов. Сталина на самые ответственные и трудные участки фронтов.

Авилов прекрасно передал то воодушевление, с которым бойцы 1-й Конной приветствуют своих любимых вождей и организаторов побед — тт. Сталина и Ворошилова. Бодрое, радостное содержание, глубокая идейность картины целиком гармонируют с радостным, светлым ее колоритом. Эта картина ярко отображает непоколебимость Красной

армии, ее глубокую уверенность в победе.

Показ роли партии в организации и успехах Красной армии — это одна из самых важных, но в то же время очень трудных проблем советского батализма. С тем большей радостью можно приветствовать успехи Авилова. К сожалению, отдельные фигуры в картине не везде доработаны, что, впрочем, не умаляет положительной оценки этой хорошей работы.

В картине «На Кубань», как и в ряде других работ, недавно умерший талантливейший советский баталист Греков также ставит и решает проблему партийного руководства в строительстве Красной армии и в организации ее побед.

Красная армия не стихийным, слепым вихрем идет в наступление, совершает переходы, — она организована, она руководится железной волей коммунистической партии: вот о чем говорит картина «На Кубань».

Другая небольшая картина Грекова изображает «Отбитые у Деникина танки». Громадные стальные чудовища, которыми англо-французские империалисты снабжали деникинцев, стоят в бездействии среди безбрежной зимней степи. Снег и прекрасно переданный холодный лунный свет подчеркивают мертвенность этих чудовищ, выведенных из строя и взятых в плен героической красной конницей.

В картине Грекова «Пленный» изображен конный отряд буденновцев.

На переднем плане — три всадника: посредине — пленный белогвардеец, с погонами на плечах, а по обе стороны от него — двое крепких, пышущих здоровьем, красных конников. Белогвардеец сжался, — он хочет стать как можно незаметнее и меньше. Вся его фигура, его злые, беспokoйные глаза свидетельствуют о страхе и лютой ненависти к победителям. Этот человек как бы боится дать отчет о своих поступках красным кавалеристам. Прекрасно переданы типы буденновцев: Греков замечательно умел передавать образы наших красных героев, осознавших свою великую роль, готовых на любую жертву ради

того дела, которому они служат.

Буденновцы изображены не только крепкими, сильными и уверенными в себе и своем деле героями, — они показаны веселыми людьми, полными жизни, огня, юмора. Греков раскрывает великое, героическое в простом, а простое — в великом и героическом (картины: «Пленный», «Трубачи 1-й Конной», «Трубач и знаменщик 1-й Конной» и др.). Эти маленькие картины свидетельствуют об исключительном мастерстве нашей живописи. Эти полотна — подлинные шедевры. Несложный сюжет «Трубачей 1-й Конной» приобретает большую звучность. От картины веет эпохой гражданской войны. Простые крестьянские кони, простые мужественные и загорелые лица трубачей... Чувствуется в каждой детали картины, что эти суровые бойцы — пролетарии, севшие на коня, или выходцы из казачьей и крестьянской бедноты. Командир едет сбоку отряда на таком же простом коне, как и у всех конноармейцев. Это — не просто командир, это — командир-товарищ. В мастерски переданном наклоне туловища, в согнутой правой руке, в веселом, смеющемся лице командира художник подчеркнул ловкость, бодрость, отвагу, оптимизм героя красной конницы. Яркие солнечные блики на дороге, на лошадях, на всадниках, на веющем красном полотнище знамени придают картине еще более радостный, оптимистический характер.

Как резко противоположны эти герои подтянутым, «красивым», выложенным и нарядным героям на картинах дворянских баталистов! Сочные краски, радостный колорит этой работы Грекова не имеют ничего общего с «розовым», слащавым налетом, присущим старой академической живописи.

Многие картины выставки передают бой и атаку. Важнейшие сражения 1-й Конной, изображенные Грековым, проходят вереницей перед глазами зрителя: «Тяжелая атака на Батайск», «Бой у Генеральского моста», «Бой у Нижнего Егорлыка».

Оборонная тематика нашей живописи бесконечно шире показа боя, сражения Красной армии. Но нельзя игнориро-

вать и показ самого боя. Сражение представляет собой богатейшую тему для выявления сути самой войны, ее типов, ее героев. В сражении более ярко, чем где бы то ни было, выявляется и социальная характеристика борющихся сторон, и личные характеры, и качества отдельных бойцов, и качества командиров. Разумеется, социалистический реализм требует не только простого воспроизведения ударов штыком или саблей. Социалистический реализм требует от нашего художника, изображающего сражение, глубинного отображения войны, вскрытия ее социального смысла, вскрытия классово-социальной сути борющихся сторон. Изображение боя, атаки именно потому и является прекрасной темой для советских художников, что оно дает возможность ярче и полнее схватить типичное, характерное, главное в Красной армии, ибо в эти наиболее решительные моменты войны типичное и характерное заостряется, выступает на передний план как бы в концентрированном виде. Героизм, храбрость, слава Красной армии завоевана в боях. Бой и сражение называют героизм красных воинов и гениальность красных полководцев. Вспомним, как в самый критический момент гражданской войны в октябре 1919 г. победа красной пехоты под Орлом и победа красной конницы Буденного под Воронежем и Касторной, смяв все карты врага, стали решающим звеном во всей последовавшей цепи славных побед Красной армии. Изображение боя, атаки, сражения — благодатнейшая тема для советских художников, — их внимание должно быть привлечено именно сюда. Нашим художникам необходимо восполнить тот пробел, который остался у нас, после смерти Грекова, в мастерстве показа сражения. Греков успешно работал над изображением кавалерийских боев 1-й Конной армии, — в его картинах нет ни панического выпячивания ужасов войны, ни сверхъестественных героев, ни театрально-драматических поз, ни блестящих, расшитых мундиров: Греков преодолевал буржуазный и дворянский батализм. Реалистическое изображение боя, политическая, классовая его характеристика и

оценка — вот к чему, далеко не без успеха, стремился Греков!

Участник боев 1-й Конной, Греков из реальной героики гражданской войны черпал материал для своих картин, критически используя наследие прошлой художественной культуры в трудной работе построения картины боя.

В картине «Бой под Егорлыкской» Греков дает большое, далеко видимое пространство боя. На первом плане — Ворошилов и Буденный, руководящие боем, это — мозг армии, мозг боя.

Рядом — группа пленных белогвардейских офицеров. Изображая пленных офицеров, а не рядовых солдат, Греков лишней раз подчеркивает социальный характер схватки. Три тачанки, становящиеся в позицию, из которых одна открывает огонь по противнику, придают картине большую динамичность. Это еще более усиливает впечатление силы и мощи идущих на заднем плане в атаку отрядов конноармейцев. Вдали видны темные массы войск противника. Красные кавалеристы вот-вот налетят на противника, сомнут его, опрокинут, обратят в бегство.

В правой части картины Греков изображает сторожевое охранение 1-й Конной армии. Подробность, мелочь? Нет, важнейшая деталь боя. Грековский реализм требует изображения именно этой детали, которой пренебрегали все предшествующие баталисты. Мешает ли эта деталь схватить основное, понять центр картины? Ни в какой мере: это не натуралистическая деталь, — она не подавляет, не уничтожает центра картины. Единство картины, при наличии ряда деталей, не нарушено. Объединяющий тон и колорит картины, отсутствие локальной расцветки здесь, как и в других работах Грекова, способствует созданию впечатления единства, собранности картины. Греков — большой мастер в передаче силы, напора кавалерийской атаки. В ряде работ он превосходно передает движение Красной армии, все сметающей на своем пути. Не только люди, но и лошади живут в этих полотнах. Передача бури, вихря конноармейской атаки, передача движения тачанок — любимая стихия Грекова.

Большая динамика, удачная композиция, хороший, тщательный рисунок выделяют работы Грекова как работы большого мастера. Творчество Грекова, крупнейшего советского баталиста, посвятившего свои работы красной Конной армии, расцвело только после Октября. Это творчество уверенно совершенствовалось и развивалось по пути социалистического реализма. Здесь есть и шедевры. Но не все картины, в частности не все картины Грекова, изображающие бой, свидетельствуют о полном преодолении традиций старого батализма. Это, впрочем, уже не вина, а беда его: он вынужден был почти в одиночку решать сложную проблему изображения боя гражданской войны. В этом повинна и наша искусствоведческая критика, некоторые представители которой считают, что сам бой, кавалерийская атака не характерны для выявления сути Красной армии, что кавалерийская атака — лишь «эпизод». Отсюда наши художники могли бы сделать вывод, что изображение боя не столь уж почетная задача для советского баталиста!

Непреодоленность остатков академического батализма имеет место у Грекова в картине «Атака». Умело показав ярость, напористость, движение атаки, ему не удалось более полно раскрыть классовую характеристику конноармейцев.

Более положительно разрешена у него «Тяжелая атака на Батайск». Здесь типы конноармейцев показаны ярче и полнее, чем в «Атаке». Еще лучше разрешено это в картине «Разгром корпуса ген. Кржижановского». Атака буденновцев против офицеров получила в этой картине политическую характеристику. К сожалению, солдатская масса корпуса Кржижановского, безучастно наблюдающая уничтожение своего комсостава, слишком отодвинута на задний план и благодаря этому не использована для

усиления и углубления раскрытия социальной сущности боя.

К слабым работам выставки следует отнести работу Денисовского «Буденный». Исполненная в духе реализма, фигура т. Буденного помещена на каком-то, отнюдь не реалистическом, фоне пейзажа.

Ряд прекрасных скульптур расположен в помещении выставки. Особо следует отметить работу Виленского и Мотовилова — «Ворошилов» и Крандиевской — «Буденный». Скульптура Крандиевской «Буденный» обращает на себя внимание простотой решения сложной задачи показа одного из руководителей нашей Красной армии. Скульптор добилась того, что в ее работе нет ни излишней романтики, ни ложной героизации, ни сухости натурализма, ни рабского отношения к деталям. Слегка приподнятая голова, чуть нахмуренные брови и энергичный подбородок хорошо передают живой ум, уверенность, смелость, железную энергию популярнейшего героя Красной армии. Простота скульптурных форм прекрасно выявила волевого командира красной конницы.

На этой выставке нет кривляний и трюкачества формалистов, — все картины пронизаны бодростью и уверенностью, свойственными социалистическому реализму. Эти картины свидетельствуют о горячей любви наших художников к Красной армии. Выставка дает зрителю сильную эмоциональную зарядку.

Однако история 1-й Конной представлена в нашей живописи шире, чем это показано на выставке. Приходится поэтому сожалеть, что здесь не выставлены такие работы, как «Прорыв Польского фронта 1-й Конной армией» — Авилова, «Встреча 1-й Конной армии шахтерами Донбасса» — Котова и др.

Но это — мелкие недостатки. Советский зритель говорит:

— Побольше таких выставок!

Книжное обозрение

1. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. „Невеста Пушкина.“ — К. Богаевская. 2. АГНЕССА СМЭДЛИ. „Китайские судьбы“. — П. Березов. РОШФОР, АНРИ. „Приключения моей жизни“. — Н. Замков. 4. Дж. Г. ДЖИНС. Движение миров. — В. Е. Львов

С. Сергеев-Ценский. — «Невеста Пушкина». Роман в двух частях. «Советская литература». М. 1934 г. Стр. 229. Тир. 20.000. Ц. 3 р.

В связи с приближающимся юбилеем Пушкина естественно приветствовать появление каждой новой книги о великом поэте. Но писатели наши, к несчастью, не балуют нас хорошими книгами, — они лишь пополюют бесконечную вереницу дешевой макулатуры, подобной роману В. Каменского, пьесе Лернера (не покойного пушкиноведа конечно) и др. Сергееву-Ценскому, видимо, пришлось по вкусу жанр этих вещей с многообещающими и кричащими заголовками и дешевеньким содержанием. Пушкин, в его интерпретации, обратился в маленькую, невзрачную и незначительную фигурку — точь-в-точь, как на рисунке девицы Боде (опубликованном Т. Г. Зенгер в «Звеньях» № 3—4). Пушкин, по роману Ценского, — это миниатюрный человечек, с мелкими мыслишками, страстями и желаниями; он просто пошел и казарменно груб. Разговаривает ли Пушкин с Дельвигом (стр. 89 и дальше), с крестьянами (стр. 189—191), с Федором Толстым (стр. 8—13), — всюду он глубоко нежизненен и холоден. Разве мог бы настоящий Пушкин развивать в момент сватовства своей будущей теще отрицательный взгляд на императора Александра I (стр. 74)? Мог ли читать недавно написанное им интимнейшее стихотворение «На холмах Грузии» толпе незнакомых пушкинских офицеров (стр. 51)? Как известно, Пушкин не любил читать своих стихотворений в обществе, чуждом ему по духу, и не сумело обладать специальными знаниями в пушкиноведении, чтобы увидеть всю фальшь и чуждость всех этих сцен. Пушкин в этом романе проявляет чрезмерную экспансивность, — он постоянно мечется, срывается с места, аплодирует и никогда не бывает серьезен, где следует. Так, во время делового разговора, слушая чтение Гончаровым дарственной записи, он совершенно неуместно восклицает: «Браво, браво! Вот оно, наконец, приданое, сопровождающее этот «возглас» аплодисментами (стр. 34). То вдруг

он как бы спохватывается и пускается в монологи, полные напыщенных и громких фраз (не без цитаций собственных произведений) и самовлюбленных излияний. Неужели, положив руку на сердце, можно признать подобные ситуации художественными, характеризующими подлинный облик поэта? Не заблуд ли автор, что он дает образ 30-летнего Пушкина, уже уставшего от жизни, озабоченного мыслями о будущей женитьбе, полного мрачных предчувствий? И наконец, как бы ни был экспансивен Пушкин, он прежде всего был умным и самолюбивым человеком и никогда не поставил бы себя в такие глупые и ложные положения, в какие его все время ставит Сергеев-Ценский.

Таковы же характеристики и других действующих лиц, например Ф. Толстого (который «в Камчатку сослан был» — стр. 7), Надежды Осиповны («старая мулатка» — стр. 147), Языкова («автор стихов, посвященных «Душеньке», — стр. 223) и т. д.

Не постеснялся далее Сергеев-Ценский вложить в уста величайшего мастера русского слова речи, более уместные в устах Хлестакова или Подколесина. Приведем например разговор Пушкина с Евыр. Ник. Вульф: «Я хотел бы быть только генералом! Как-как это было бы чудесно! Притти к мамаше красавицы и оказать ей: «Э-э, сударыня... я-я, сударыня... пленен красотой вашей, чорт возьми, дочка, э-э» (стр. 83). Или — с Дельвигом о девушке: «Катяваря, Варякятя, Варякятя с Катяварей. Дельвиг!.. А хороши ведь а? Весьма непосредственны!» (стр. 36) Пушкин, блестящий собеседник и остроумец, превращается здесь в жалкого армейского ловеласа! Специфика пушкинской речи, по Сергееву-Ценскому, заключается в особом растягивании слов. Пушкин у него не скажет просто: «как», а обязательно: «ка-ак», не скажет «ничего», а «ни-че-го» и т. д. (Впрочем, так нередко говорят и остальные персонажи).

Все действующие лица, окружающие поэта, обрисованы так же плохо. В особенности не повезло бедному Дельвигу, который

показан не иначе, как в обществе публичных женщин (гл. 8) или в виде глупого ревнивца (ч. II, гл. 4). Поэты Д. Давыдов и Н. Языков появляются всего лишь раз (ч. II, гл. 10) и представлены пьяными разгильдяями, некстати декламирующими стихи и «перекидывающимися» такими замечательными репликами: «Я-я атеист, — вопит неистово Языков, — но-о... только в любви! Да! А в бога... в бога я верю! Эт-то Пушкин атеист, а не я» (стр. 222). А Боратынский, Вяземский? Все они, в обрисовке Сергеева-Ценского, измельчали и потускнели. Вообще во всей книге нет ни одного значительного образа, на котором можно было бы остановиться; даже подросток Сережа Гончаров, — незначительная фигурка, — и тот нежизненный: он шалит и разговаривает не как живой ребенок, а как механическая кукла, изъясняясь языком современной нам молодежи («Подумаешь, какое дело!» — стр. 64). Более благополучно обстоит вопрос в отношении персонажей трехстепенной важности — приживалок, странниц и слуг, хотя в обрисовку их и не внесено ничего нового, но зато они, по крайней мере, настоящие, живые люди. Много в книге и просто бездарных сцен, — автор, видимо, старался показать быт той эпохи как можно реальнее, но не сумел сделать этого художественно; в результате получилась чудовищная безвкусица: Е. Н. Вульф бросает стакан вслед матери и Пушкину (стр. 87), Натали Ивановна сыплет направо и налево щечины и амурничает с лакеем (гл. 6), Натали Гончарова свхрягает присланный ей букет (стр. 183), сумасшедший отец невесты прерывает утреннюю молитву безумными выходками (гл. 2), дед Гончаров глух и перевирает все услышанное им (стр. 133 и дальше), управляющий немец неестественно коверкает русский язык (стр. 170) и т. д. Одним словом, книга построена на эффектах чрезвычайно дешевого и пошлого свойства, могущих произвести впечатление лишь на читателя с крайне невзыскательным вкусом.

Со стороны фактической биографии Пушкина дело обстоит довольно благополучно, — автор, повидимому, ознакомился с элементарной литературой о поэте. Впрочем и здесь встречаются ошибки: так, в 4-й гл. II ч. Глинка поет романс, написанный им на слова Пушкина: «Я помню чудное мгновенье» (стр. 164). Но этого никак не могло быть, — вышеуказанное действие происходило в 1830 г., а романс написан Глинкой уже после смерти Пушкина, в 1839 г.

В построении романа чувствуется несомненная сценичность: в репликах, подаваемых автором, сквозят ремарки, предназначенные никак не для читателя, а для актера, который должен, на основании их, создать определенный образ. В особенности сценична 6-я гл. I ч., где параллельно проходят и все время чередуются действия в спальне и в столовой, озаглавленные: «Говорят в спальне», «Говорят в столовой». Такой прием ни-

чем не оправдан, так как эти действия совершенно не оттеняют одно другого и вообще мало уместны в романе. К тому же книга целиком строится автором на разговорах и диалогах, что и однообразно, и обнаруживает несостоятельность его в изобразительных средствах.

К. Богаевская

Агнесса Смэдди. — «Китайские судьбы». ГИХЛ. 1934 г., 183 стр., цена 3 руб.

«В Китае нет классов: мы все бедны». Против этого, насквозь лживого и лицемерного, утверждения китайской буржуазии выступила американская революционная писательница Агнесса Смэдди, известная ориенталистка, обладающая зоркостью наблюдательного социолога и остро отточенным карандашом очеркиста. Ее книга «Китайские судьбы» — обличительный документ, разоблачающий бесчеловечно-грабительскую политику китайской военщины, буржуазии и феодального дворянства, их блок с империалистами всех стран против многомиллионных масс трудящихся Китая.

На основе личных наблюдений и глубокого изучения истории освободительного движения в колониальных странах Востока А. Смэдди написала книгу большого познавательного значения. По ее очеркам, датированным 1929—1933 годами, можно ознакомиться с современным Китаем — с этой великой страной, раздираемой острейшими классовыми противоречиями, поражающей необычайными социальными контрастами. Экстерриториальные сателлиты международного империализма и, по соседству с ними, целые советизированные провинции, героически защищающие свою власть и расширяющие коммунистическое влияние; ужасающая нищета трудовых масс и хищническое обогащение кучки капиталистов; цепкие корни феодальной идеологии, тормозящие культурно-политический рост китайского народа, и стремительный напор передовых идей эпохи социальных революций, — вот те чрезвычайно сложные предпосылки, исходя из которых, А. Смэдди правильно намечает «китайские судьбы».

Два десятка ее очерков, несмотря на формальную и тематическую разрозненность, объединены общей идеей о зарождении и развитии нового Китая. Это, по существу, — лишь отдельные главы единого произведения, создающего целостную картину нравов, обычаев, общественно-политической жизни страны с четырехсотмиллионным населением. Перед читателем проходит ожесточенная борьба старого и нового, косяного и прогрессивного, отмирающего и растущего, причем конечный исход этой борьбы очевиден.

В портовых городах, под защитой дальнобойных морских орудий, колонизаторы еще продолжают безнаказанно и жестоко эксплуатировать и угнетать китайский народ. Социальное зло и насилие широко распростра-

няется по всей стране из тех центров, в которых еще реют разноцветные флаги Японии, Великобритании, Америки, Португалии и других «хранителей цивилизации», ибо «каждый из этих флагов прикрывает торговлю опиумом, прикрывает игорные притоны и проституцию, прикрывает человеческое рабство». В своей деятельности колонизаторы руководствуются каннибальской моралью, — моралью своего представителя — американца, владельца книжного магазина, из очерка «Шанхайский калейдоскоп»: «Жизнь в том, что люди, как собаки, пожирают друг друга». Так цинично-откровенны хозяева-империалисты. Их же лакеи, и в том числе представители буржуазной печати, пытаются прикрыться отвратительной маской «благодетелей китайского народа». С едкой иронией писательница отмечает, как «английский редактор рассказывает о бесчисленных жертвах, принесенных Англией ради Китая, а японский редактор пишет, что Япония охраняет господство Китая в Манчжурии».

Однако эти «благодетели» уже не решаются появляться внутри страны без вооруженной охраны. В постоянном страхе перед эксплоатируемыми массами живут и союзники «благодетелей» — китайские помещики, которые вынуждены окружать свои усадьбы средневековыми крепостями. Так, помещик Чжу «бьется выйти без сопровождения солдат. День и ночь приходится охранять награбленное добро и жизнь. А окружающие горы, где по ночам крестьяне устраивают тайные собрания, кажутся, подступают все ближе и ближе». («Семья Чжу»).

Еще продолжается разгул произвола и насилия («Приезд принца»). Массы еще продолжают мучительно страдать и задыхаться в тисках бесправия и безработицы. Еще много жертв погибает в притонах проституции и опиума. Еще сильна губительная власть семейно-бытовых предрассудков («История Кейчу», «Макао — жемчужина Востока»). Но все выше и выше поднимается волна рабоче-крестьянских восстаний. Все громче и резче раздаются протестующие голоса угнетаемых. Все решительнее заявляет о своих человеческих правах раскрепощающаяся женщина. Все независимее становятся дети, сбрасывающие с себя феодально-крепостническую опеку своих консервативных отцов («Контрасты», «Демонстрация», «Сыновний бунт»).

Книга А. Смэдли передает острое ощущение разрастающейся революционной бури в Китае. Она написана по горячим следам китайской революции. В целом ряде эпизодов и сцен писательница вскрывает и показывает процесс перехода на позиции социальной революции до предела науперизированных крестьянских масс, а также наиболее чутких представителей интеллигенции и даже буржуазии, которые страстно ищут выхода из создавшегося тупика, из позорного мира социальной несправедливости и морального разложения. («Рассказ девушки», «Пятеро друзей»). Революционные идеи проникают да-

же в армию китайской буржуазии, в среде которой усиливается брожение. Солдаты начинают понимать разницу между освободительной войной против империалистов и преступной борьбой с китайской красной армией. Для них становится понятным различное отношение населения к армии, — в зависимости от того, во имя чего и с кем она борется: «Здесь (в Шанхае во время войны с японскими интервентами) все помогают нам, и я знаю, почему. Здесь мы сражаемся за народ, а в Цзянси мы сражались против народа» — заявляет один из таких солдат. А его собеседник, другой солдат, признается, что его «никто больше не заставит сражаться с коммунистами». («Солдаты», «Презирай деньги и не бойся смерти»).

Так крепнут и множатся силы пролетарской революции, и соответственно этому ослабевают и рушатся позиции ее классовых врагов. Именно под таким углом зрения А. Смэдли взглянула на современный Китай, сумев правильно отобразить в своей книге столь глубокие и многозначительные процессы в социально-политической жизни китайского народа.

В художественном отношении очерки неравноценны. Некоторые из них перегружены голыми фактами: повествование часто прерывается публицистическими отступлениями, снижающими художественную впечатляемость текста. В других случаях автор по преимуществу пользуется художественными средствами, пытается отобразить типичные явления, дать широкие обобщения. В этом отношении особенно удачны те очерки, в которых даны яркие портреты героических бойцов революции (Чан Сяо-хун из «Рассказа девушки», Шан-фей из очерка «Шан-фей — коммунистка», Ван И-ши из очерка «Пять друзей»), а также портреты ренегатов революции («Вдова мученика», «Живые мертвецы»). Обычно в этих очерках явственно обозначается сюжетный костяк, скрепляющий повествование, в отличие от других очерков (например «Шанхайский калейдоскоп»), которые составлены из отрывочных зарисовок лиц и явлений.

Резкие штрихи и контрастность — характерные приемы А. Смэдли. Писательница не многословна. Манера ее литературного письма отличается экспрессией и лаконизмом. Мягкому детализированному рисунку она предпочитает короткие, резкие мазки. Общий тон книги суровый, как сурова сама китайская действительность. Восточная страна показана не в экзотическом тумане, а в правдивом, натуральном освещении. В очерках нет лирических излияний. Автор по преимуществу ограничивается сообщением об интересных социально значимых происшествиях и поразительных фактах, которые говорят сами за себя. И лишь некоторые очерки написаны в тонах бичующей социальной сатиры, причем в тексте прорывается то негодующий сарказм по адресу насильников, то глубокая скорбь в отношении угнетаемых.

Читателя же книга держит все время в неослабевающем напряжении.

П. Березов.

Рошфор, Анри.—Приключения моей жизни. Перевод, вступительная статья и примечания Е. Смирнова. М.—Л. Академия. 1933. 460 стр. 5.300 экз. Ц. 11 р. 50 к. + 2 р. 50 к.

В 1869 г., за год до падения Второй империи, Маркс писал: «...особенно за последние годы французская литература во всеоружии исторического исследования, критики, сатиры и шутки не оставила камня на камне от наполеоновской легенды»¹⁾. Одним из тех, кто с наибольшим успехом применял «оружие сатиры и шутки», был Анри Рошфор. Рядом едких памфлетов, направленных против Наполеона III и его режима, Рошфор приобрел большую популярность в народных массах Франции и громкую известность далеко за ее пределами. Например некрасовские «Отечественные записки» посвятили две статьи Рошфору и его знаменитому «Фонарю», вскоре после начала издания последнего²⁾.

Анри Рошфор прожил долгую (1831—1913) и бурную жизнь. В течение десятилетий его имя не сходило со страниц политической печати. Вторая империя и Третья республика одинаково считали его в ряду своих ярых врагов.

«Приключения моей жизни» («Les aventures de ma vie») — очень удачное название для мемуаров человека, жизнь которого столь обильна перипетиями, часто самого авантюристического свойства. Рошфор не раз менял политическую ориентацию, не раз переходил из одного лагеря в другой, прямо противоположный. Более вдумчивые наблюдатели уже в конце 60-х годов подметили, что Рошфор — случайный человек в среде демократической оппозиции. «Отечественные записки» находят, что Рошфор «силою обстоятельств» «вознесен на степень политического деятеля»³⁾. Деклассированный аристократ, Анри де-Рошфор приближался к литературному миру в качестве автора водевилей, фельетонов, типичных для Парижа того времени, — бойких, бьющих на сенсацию хроник. Постепенно Рошфор начинает задевать в своих хрониках и людей, стоящих у власти. Конец 60-х годов для Франции — эпоха общественного пробуждения. Оппозиция пользуется всеми средствами для нападения на совершенно дискредитировавший себя режим. Ловкий и обладающий способностью ловить настроения масс, Рошфор, усиливая политический элемент в своих фельетонах, переходит наконец к систематическому высмеиванию «того, что действительно смехотворно» (62). Вследствие стеснений печати особенно усиливалась вражда к империи в окружавшей

Рошфора журналистской среде. Все более и более заостряя свое перо, Рошфор, вероятно неожиданно для самого себя, становится участником происходившей во Франции «колоссальной духовной революции», о которой говорит Маркс.

Наступает самый блестящий период в жизни Рошфора. Рошфор замечательно искусно пользуется материалом современной ему французской действительности. Непосредственно после государственного переворота, 2 декабря Маркс писал, что деятельность Наполеона Малого «лишает государственную машину всякого ореола святости, делает ее и отвратительной, и смешной»⁴⁾ (Курсив наш. — Н. 3.). Рошфор хорошо знал, что «смешное убивает». Известная сдержанность, соблюдавшаяся оппозиционными газетами, прекратилась с появлением Анри Рошфора, который, «срывая все маски и развенчивая всех идолов, высказывая во всеулышание то, что накануне еще решались только напечатывать друг другу на ухо, поставил себе задачей выставить императора, его приближенных и министров не только в ненавистном, но и в смешном свете» — отмечает историк А. Дебидур⁵⁾. Эта задача Рошфору удалась вполне. Е. Смирнов вполне прав, говоря, что Рошфор — «даже тогда, когда он борется против какого-нибудь режима, против учреждений, умеет нападать только на личности, их представляющие». Не менее верно, что «в этих пределах Рошфор — поразительный мастер, быть может, крупнейший мастер своего жанра» (13). Со страниц своего «Фонаря» — еженедельной брошюры размером в 32 стр. — Рошфор наносит, иногда самыми неожиданными способами, удары правящим кругам. Например № 15 он составил из статей «одного бывшего журналиста, сделавшегося потом императором». В этом сборнике имеются поразительные образцы демагогической фразеологии. Таков отрывок из письма, написанного будущим Наполеоном III в 1843 г.: «Никогда я не верил и никогда не поверю, чтобы Франция могла быть достойным одним лицом или семьей...» Рошфор от себя добавляет, что «никогда не писал ничего такого смелого и радикального, как эти статьи».

Один из рошфоровских шедевров — восторженное описание царствования... Наполеона II: «Никто не станет отрицать, что он восседал на троне, потому что его преемник называется Наполеоном III. Что за царствование, друзья мои, что за царствование! Ни одной контрибуции; ни одной ненужной войны, с сопровождающими ее новыми налогами; никаких отдельных экспедиций, на которые затрачивается до шестист миллионов, чтобы истребовать пятнадцать франков; никаких разорительных расходов на содержание монарха...» (74. Курсив наш — Н. 3.).

¹⁾ Предисловие ко второму изданию «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».

²⁾ «Отечественные записки», 1868, № 10, стр. 236.

³⁾ Там же, № 10, стр. 255.

⁴⁾ «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».

⁵⁾ «История XIX века» под ред. Лависса и Рамбо, т. V, стр. 129.

Острые словечки Рошфора получили широкое распространение в массах¹⁾. Изданием «Фонаря» Рошфор приобрел репутацию крайнего радикала. Правительственные репрессии только увеличили его популярность. Избрание Рошфора в 1869 г. в состав законодательного корпуса было воспринято как прямой вызов по отношению к Наполеону III. Убийство родственником императора республиканского журналиста Виктора Нуара вызвало в Париже бурю возмущения. Рошфор выпускает по этому поводу свой «набатный призыв» к Франции, находящейся «уже восемнадцать лет в окровавленных руках этих разбойников». «Французский народ, разве не находишь ты, что пора положить этому конец!» — восклицает он (161). После падения Второй империи Рошфор входит в состав недолговечного правительства Национальной обороны. Начинается борьба между засевавшей в Версале монархической реакцией и революционными Парижем. Деятельность Рошфора во время Коммуны и посвященные последней довольно любопытные главы его воспоминаний с очевидностью показывают, что он не понял ни смысла, ни исторического значения развертывавшихся событий. Несмотря на свой отказ от избрания в Коммуну, Рошфор был причислен победившими версальцами к коммунарам. Его подвергают заключению, а затем высылают в Новую Каледонию. Описание совершенного вскоре Рошфором побега принадлежит к наиболее увлекательным частям книги. В течение 6 лет Рошфор — в эмиграции. Возвращенный во Францию по амнистии 1880 г., он сближается на почве пропаганды реванша с печально-знаменитым генералом Буланже. В неудавшейся попытке установления вместо парламентской республики диктатуры «нового Бонапарта» весьма заметную роль играл «борец против личной власти» Анри Рошфор.

Неудача буланжизма снова выбрасывает Рошфора за пределы Франции. Вернувшись после новой эмиграции (в 1895 г.), он опять — очень не удало — «социалист». Лакмусовой бумажкой для определения истинного существа этого в основе беспринципного политика явилось дело Дрейфуса. Ярый анти-дрейфусар Рошфор приветствует в лице ген. Кавеньяка²⁾ «нового Буланже»³⁾. Но и эта, последняя, ставка в политической игре бита. Так, Рошфор, начавший с борьбы против царизма Луи Бонапарта, кончает восхвалением всех «последующих кандидатов в Бонапарты. Начав с проклятий по адресу клерикализма и монархизма, он заканчивает союзом с иезуитами и сторонниками всех царствовавших во Франции династий.

Наиболее характерную черту в личности Рошфора удачно подметил цитированный

Е. Смирновым писатель (фамилия его не названа):

«В противоположность народу это — недобвольный, который очень хорошо чувствует себя в положении недобвольного» (стр. 24).

Эти остроумные слова очень верны. Органически неспособный перейти от красноречия к реальному политическому действию, Рошфор предпочитает оказываться всегда в лагере противников режима, независимо от характера последнего. К тому, что сообщает Рошфор, следует относиться с осторожностью. Не раз он сознательно искажает истину, в особенности, когда говорит о своих личных или политических противниках. Иногда он выдумывает и без какой-либо сознательной цели, любит поиронизировать и над людьми, повидимому, к нему близкими. Он с удовольствием останавливает внимание читателя на своих романических похождениях.

Основной интерес мемуаров — в живом и остроумно изложенном, хотя и крайне одностороннем описании быта известных слоев французского общества эпохи Второй империи и Третьей республики. Перед читателем проходят, как в калейдоскопе, деятели императорского режима и республиканской оппозиции, версальцы и коммунары, буржуазные радикалы и революционные социалисты. Рошфор много говорит о Викторе Гюго, рисует запоминающийся образ Армана Барбеса, с особенным и, повидимому, искренним уважением рассказывает о своей спутнице по невольному путешествию в Новую Каледонию — Луизе Мишель.

Недостатком издания является то, что перевод доведен только до побега Рошфора из Новой Каледонии. Между тем для нас очень интересен и более поздний период его жизни, в особенности ввиду присутствия в буланжизме некоторых элементов сходства с современными фашистскими и нац.-соц. движениями. Благодаря неполноте настоящего издания для читателя остается недостаточно разъясненным вопрос о превращении Рошфора в крайнего реакционера, превращении, вообще говоря, нередко случающемся с «архивными» мелкобуржуазными «революционерами». Редакция не указала, что мемуары вышли в свет в период крахом буланжизма и делом Дрейфуса. В эти годы (1896 и след.) Рошфор был «левым». Этим объясняется, что до конца книги он не сбрасывает с себя маски революционера. Читатель узнает о переходе Рошфора в лагерь реакции только из вступительной статьи.

В книге нет библиографических указаний. Не отмечено, что еще в 1868 г. «Фонарь» был переведен (не полностью) на русский язык и издан в сборнике «Современные писатели». Не упомянуты также цитированная выше статья «Отечественных записок»¹⁾ и напечатанная в том же номере этого журнала рецензия²⁾ на сборник «Современные писатели».

¹⁾ Ал. Зеваев утверждает, что термин «оппортунист» впервые употреблен А. Рошфором (в 1876 г.). См. «Историю Третьей республики», М. 1930. Стр. 79.

²⁾ Военный министр в кабинете Бриссона. Сын умиротителя июньского восстания 1848 г.

³⁾ См. Зеваев, у. с., стр. 239.

¹⁾ Кн. Анри Рошфор и его «Фонарь», 1868, № 10, стр. 229 — 255.

²⁾ Там же, стр. 219 — 229.

ли». Примечания к книге, в общем удачные, обладают однако обычным недостатком. Комментируются не только имена, непосредственно связанные с темой книги. Много места отнимают характеристики таких деятелей, конечно хорошо известных читателю, как Бисмарк. Остаются необъясненными некоторые имена и понятия, в которых может хорошо ориентироваться только специалист: в тексте записок несколько раз употреблено выражение «министр морального порядка». Нужно было объяснить, что под этим названием («Ordre moral») вошел в историю первый, наиболее реакционный период президентства Мак-Магона. Все члены правительства вместе и каждый в отдельности именовали себя министрами «нравственного порядка». Неосведомленный читатель может только подумать, что этот термин относится к какому-то определенному ведомству, а не к режиму в целом. Глава правительства герцог де-Брольи (Broglie) именуется почему-то де-Брой. Кто он такой, тоже не объяснено.

Книга очень интересно иллюстрирована и хорошо издана.

Н. Замков.

Дж. Джинс. — Движение миров. ГТТИ. Перевод под редакцией проф. А. А. Михайлова.

Роль и значение джинсовой разновидности научно-популярной литературы будут рассмотрены в ближайшем номере нашего журнала.

Коротко говоря, мистер Джинс есть ученый поп или поповствующий ученый (предоставляем читателю на выбор любую из этих формулировок), особо специализировавшийся в последние годы на популярном изложении атомной физики и звездной астрономии под углом зрения «обоснования» боженъки¹⁾.

Если прибавить к этому, что означенный ученый поп является блестящим литератором, что его популяризация оснащена всеми онерами стилистически изысканного, англосаксонски-остроумного и неизменно увлекательного слова, то будет ясно, что нам от этого отнюдь не легче, но — я сказал бы — наоборот...

Чем же оправдано появление и упрочение²⁾ джинсиады на советском книжном рынке?

Полноте, — говорят некоторые представители нашего научно-издательского дела, — полноте, какое практическое значение могут иметь те или иные идеологические сомнительные тенденции, содержащиеся в книгах Джинса. Ведь эти тенденции являются лишь

инородным и безобидным привеском к той объективной информации из мира туманностей, звезд и атомов, в изложении которой наш автор такой бесспорный мастер... Достаточно, следовательно, подчистить редакционным карандашом ряд одиозных философических мест из опусов: кембриджского астрофизика или просто предупредить неопытного читателя о существовании этих мест, чтобы с легким сердцем представить затем «беспристрастным фактам» говорить самим за себя.

Издатели «Движения миров» держатся как раз этой точки зрения.

«Автор книги, — меланхолически констатируют они, — принадлежит к числу тех буржуазных ученых, мировоззрение которых проникнуто резко выраженными идеалистическими установками... Но в «Движении миров» эти установки, хотя и сказываются в ряде мест, но в общем плане этой книги звучат глухо... Автор лишь вскользь затрагивает здесь вопросы мировоззренческие, и потому вышесказанного достаточно, чтобы предупредить (sic!) читателя».

Нужно раз и навсегда покончить с этим недоразумением.

Беспартийный, оторванный от метода познания и от метода познающего мышления эмпирический факт, как давно азбучно известно, есть миф, специально сочиняемый прожженными дельцами естественно-научного обскурантизма для увлечения доверчивых профессорских душ... Само возникновение, само установление физического и астрономического факта, как такового, возможно лишь в связи, лишь на основе определенного теоретико-познавательного фундамента науки, расставляющей и систематизирующей показания приборов и органов чувств в определенном, соответствующем или не соответствующем объективной реальности, порядке. Без взаимопроникновения с методологией, без взаимодействия с теорией нет и *э м п и р и и*. Нет научно-полнокровного факта, а есть, в лучшем случае, ничего не говорящий набор штрихов и черточек на фотопластинке, звуков в микрофоне, линий в спектрографе... Метод и теория, повторяю, могут быть верными или неверными и, в зависимости от этого, и картина фактов, выкристаллизовывающаяся по ходу исследования, оказывается либо снимком и отражением событий реальности, либо искажением их. «Популяризация» же и «информация» о достижениях физики и астрономии, в этом последнем случае, превращается в кривое зеркало, заведомо фальсифицирующее не только общий план мироздания, но и отдельные его «фактические» детали.

Рецензируемая книга Джинса является здесь блестящим уроком, не учесть которого было бы просто грешно...

Основной печкой, от которой танцуют современные ученые попы в астрофизике, является, как вспоминает читатель, та картина

¹⁾ Это, разумеется, не может помешать констатировать положительное значение прежних работ Джинса в области динамики газов, теории двойных звезд, происхождения солнечной системы и т. д. Не даром ведь давно уже и верно сказано, что хорошие буржуазные естествоиспытатели часто кончат плохими философами...

²⁾ На протяжении нескольких лет вышли уже две книги, из них первая («Вселенная вокруг нас») — двумя изданиями.

«конечной» и «расширяющейся» вселенной, что была окончательно отредактирована в 1927—33 гг. и искусно использовала для своих пропагандистских целей авторитет теории относительности. Незаконно подменив, в частности в уравнениях Эйнштейна, физическую величину, связанную со временем — четвертым измерением пространства (операция, столь же удобная чисто вычислительно, как и не выдерживающая критики с методологической точки зрения), допустив, говоря я, это нарушение объективной реальности, ряд теоретиков получил возможность представить мир, как загибающееся в «четвертом измерении» шароподобное тело с конечным и непрерывно увеличивающимся радиусом. Начальный момент этого расширения (происходящего в силу совершенно таинственных «внефизических» причин) автоматически и удобно расшифровался как момент сотворения мира богом...

Вот этот чудовищный, разоблачаемый при первом же прикосновении диалектико-материалистического метода (и встречающий все больший отпор со стороны наиболее серьезных астрономов Запада¹⁾ абсурд «расширяющейся вселенной», ничто же сумняшеся, и преподносится советскому читателю мистера Джинса как последнее слово науки о природе.

В разделе «Движения миров», озаглавленных с комичной серьезностью: «Возраст вселенной» и «Конечная вселенная», мы читаем, например, что:

«окружность вселенной во всяком случае заключена между восемью миллионами и пятьюстами миллиардами световых лет» (стр. 139).

«... совсем недавно, — продолжает автор, — ученые установили, что вселенная имеет большое сходство с мыльным пузырем». А именно: во-первых, «пространство вселенной конечно в том смысле, в каком конечна пленка мыльного пузыря...» Во-вторых же, «бельгийский математик Леметр²⁾ показал, что... с тех пор, как она (вселенная) существует, она стремится расширяться, ее размер все время увеличивается и должен продолжать увеличиваться до конца ее времен...» (Стр. 136.)

В общем и целом «вселенная не бесконечна, но закругляется сама в себе, подобно поверхности земли...» (Стр. 132.)

Итак, пятьсот миллиардов световых лет радиуса вселенной — чем не «факт», чем не «беспристрастные цифровые данные»? Жаль только, что этот «факт» и эта «цифра» представляют собою такой же высосанный из формально математического пальца мыльный пузырь, как и вся остальная Джинсо-леметрова космология, звучащая «глухо», право же,

лишь при очень притушенном восприятии акустических явлений.

О том, как изготавливаются «факты» на кембриджской научно-литературной кухне, свидетельствует еще более замечательное место «Движения миров».

«... Если вселенная, — развивает свое увлекательное повествование наш популяризатор, — конечно, то свет, испущенный от одной какой-нибудь звезды или туманности, пробежав вокруг всего пространства, вернется в исходную точку. Поэтому «если мы посмотрим в направлении, прямо противоположном созвездию Андромеды, то мы должны снова увидеть большую туманность в Андромеде, но как очень маленький и тусклый объект». (Стр. 134.) То же будет верно и по отношению, скажем, к туманности, зарегистрированной под литерой МЗЗ в созвездии Треугольника... И действительно, «когда мы повертываем наши телескопы в направлении, прямо противоположном (туманности Андромеды и туманности МЗЗ Треугольника. — В. Л.), мы видим две очень маленькие тусклые туманности. Астрономы, исследовавшие эти объекты, утверждают (sic!), что, смотря на упомянутые туманности, мы на самом делезираем очень длинным круглым путем на... Андромеду и Треугольник. Это похоже на то, как слушатель радио в Лондоне может слушать Давентри (радиостанция в Англии. — В. Л.) по длинному круговому пути около сорока тысяч километров вокруг земного шара...» (Стр. 134.)

Поистине блистательное умозаключение. Внегалактических туманностей, то-есть далеких островных миров, составленных как в наш Млечный путь, из миллиардов звезд, на небе так много, что, наставив наугад сильную трубу на любую точку небосвода, мы имеем очень много шансов поймать на фотопластинку такой мир, настолько далекий от нас, что он запечатлется на фото, как мельчайшая капелька бледного тумана. И вот, нацелив свой инструмент в противоположную сторону от туманностей Андромеды и МЗЗ, мистер Джинс находит там, как и следовало ожидать, следы каких-то слабых туманностей. Богатой фантазией надо обладать, чтобы в этих ультраслабых объектах угадать очертания Андромеды и МЗЗ... Но «факт» уже готов! «Факт», гласящий о «возможности» видеть звезды и туманности не только по прямому направлению от земли, но и «круглым путем» вокруг «конечной» вселенной! Вежливая оговорка, гласящая о том, что «вопрос о приемлемости этого предположения пока еще остается открытым», сия оговорка является лишь самым бледным и вынужденным отражением противоявления, которое вызывает у лучшей части западноевропейской и американской астрономической науки каждый новый кунштюк поповской клики в космологии.

На этом далеко не заканчивается список научных истин, беспристрастно поведенных миру сэром Джемсом Голкинсом Джинсом.

¹⁾ См. нашу рецензию на книгу Х. Шепли: «От атомов до млечных путей». «Новый мир», кн. 3. 1934.

²⁾ Он же, по совместительству, священник кафедрального собора в городе Лувене... Вполне достойная «общественная нагрузка» для ученого из джинсовой компании.

«... Материальные тела, — свидетельствует сэр Джемс, — так же невообразимо пусты, как и мировое пространство... Сходство атома с солнечной системой заключается еще и в том, что... подавляющая часть их площади представляет собою пустое пространство, не заполненное материальным веществом... Материя состоит в целом не из звезд, а из безнадежной пустоты...» (Стр. 83, 140.)

Но и на звезды возлагать надежды, прямо сказать, не приходится.

«Звезды состоят из смеси различных веществ, превращающихся в энергию (sic!)¹⁾ с большой скоростью... Звезды беспрестанно растворяются в радиацию... количество вещества во вселенной уменьшается... В некотором отношении материальная вселенная кажется уходящей, растворяясь в небытии, как видение...» (Стр. 89—142.)

Так обстоит дело с материальной вселенной. К счастью, повидимому, остается еще в нетленности мир нематериальный, поскольку:

«...мы живем в паутиной вселенной: в ней много формы, узора и плана, но вещества в ней почти нет». (Стр. 83.)

Нарастая крещендо из страницы в страницу, разыгрываемая м-ром Джином месса достигает к концу книги звучаний уже прямо эпических.

«... Ужас охватывает нас при созерцании вселенной. Вселенная ужасает своими громадными расстояниями, своими необъятными хронологическими перспективами, низводящими человеческую историю до размеров мгновенья. Она ужасает нас нашим пре-

¹⁾ Джимс хочет тут сказать, что электронно-протонная материя звезд беспрестанно превращается в частицы материи другого качества, называемые фотонами и уносящие с собою энергию звезд. Рассеиваясь в мировом пространстве, частицы эти сгущаются в определенных областях мира обратно в электроны и протоны и далее — в агрегаты мириадов электронов и протонов: туманности и звезды, создавая вечный круговорот материи, не имеющей ни начала, ни конца...

дельным одиночеством и материальным ничтожеством нашей планеты, составляющей миллионную часть одной из многочисленных мировых песчинок. Но больше всего вселенная ужасает нас тем, что она, повидимому, равнодушна ко всякой жизни; чувства, стремления и достижения, искусство, философия и наука — все это, повидимому, чуждо ее планам...» «Вселенная идет по дороге от рождения к смерти, так же, как и все мы... и наука не знает другого изменения, кроме перехода к старости, и никакого другого прогресса, кроме движения к могиле... Вся вселенная является примером этого в огромном масштабе». (Стр. 124—141.)

Каждый ужасается, чем и как умеет. Мы вот например «ужасаемся» более всего по поводу Государственного технико-теоретического издательства, проявившего удивительную идейную близорукость и полное неуважение к советскому читателю, выпустив в свет откровенно-поповскую астрономическую агитку и унастив ее вдобавок непристойно-гурманской шоколадно-конфетной внешностью. Уж не на премирование ли наших ударников, досрочно выполнивших промфиплан, были рассчитаны эти пять тысяч довольно-таки аляповатых экземпляров на меловой бумаге, из коих «пятьдесят экземпляров именных и сорок пять нумерованных в продажу не поступают»...

Уж лучше бы не поступали в продажу и остальные четыре тысячи девятьсот пять экземпляров! Господь с ними, с этими экземплярами! Жили без талантов мистера Джинса до сих пор, проживем как-нибудь и впредь. Очереди же, неизменно выстраивающиеся в рабочих и колхозных библиотеках за писаниями сэра Гопкинса, свидетельствуют лишь о громадной тяге советского массового читателя к увлекательно написанной научно-популярной книге. Вдвойне велика ответственность, возлагаемая в связи с этим на нас, работников советского научно-литературного фронта.

В. Е. Львов.

Книги, поступившие на отзыв:

ГОСЛИТИЗДАТ

- Глебов, Анатолий.** — Пьесы. 1934. Стр. 374. Цена 4 руб. 50 к.
- Чехов, А.** — Избранные произведения. 1934. Стр. 540. Цена 2 руб.
- Неверов, А.** — Избранные произведения. 1934. Стр. 357. Цена 5 руб.
- Зорич, А.** — Простой случай. 1934. Стр. 165. Цена 2 руб. 25 к.
- Караваева, Анна.** — Рассказы о познании. Стр. 138. Цена 1 р. 10 к.
- Караваева, Анна.** — Свой дом. 1934. Стр. 86. Цена 1 р. 25 к.
- Пуцин, И. И.** — Записки о Пушкине. 1934. Стр. 253. Цена 2 р. 75 к.
- Чертова, Н.** — Огнеупор. 1934. Стр. 164. Цена 2 р.
- Кантор, С. и Родионов, Я.** — Фд-20-17. 1934. Стр. 56. Цена 75 к.
- Горький, М.** — Об избытке и недостатках. 1934. Стр. 24. Цена 10 к.
- Барбюс, А.** — Огонь. 1934. Стр. 320. Цена 1 р. 35 к.
- Шиллер, Ф. П.** — Поэзия германской революции 1648 года. 1934. Стр. 269. Цена 4 р. 50 к.
- Хуль, Сигурд.** — Октябрьский день. 1934. Стр. 212. Цена 4 р.
- Театр народов СССР.** — Альманах пьес. 1934. Стр. 373. Цена 6 р.
- Радек, Карл.** — Портреты и памфлеты. Том 2. 1934. Стр. 482. Цена 6 р.
- Пушкин, А. С.** — Том четвертый. 1934. Стр. 813. Цена 5 р.
- Рубинштейн, Лев.** — Тропа самураев. 1934. Стр. 157. Цена 2 р. 25 к.

- Погодин, Ник.** — После бала. 1934. Стр. 100. Цена 1 р. 10 к.
- Сельвинский, Илья.** — Лирика. 1934. Стр. 208. Цена 4 р. 25 к.
- Трахтенберг, В.** — Москвичка. 1934. Стр. 60. Цена 50 к.
- Салтыков М. Е. (Щедрин Н.).** — Господа Головлевы. 1934. Стр. 328. Цена 1 р. 70 к.
- Малышкин, Ал.** — Севастополь. 1934. Стр. 371. Цена 5 р.
- Вишневский, Всеволод.** — Поиски трагедии. 1934. Стр. 372. Цена 4 р. 50 к.
- Лежнев, А.** — Два поэта. 1934. Стр. 350. Цена 4 р. 75 к.
- Бедный, Демьян.** — Чудесное письмо. 1934 г. Стр. 231. Цена 1 р. 25 к.
- Асеев, Н.** — Удивительные вещи. 1934. Стр. 133. Цена 3 р. 50 к.
- Сендер, Рамон Х.** — Семь красных воскресений. 1934. Стр. 295. Цена 4 р. 50 к.

ГИХЛ

- Коссонен, Людвиг.** — Знаменный марш. 1934. Стр. 208. Цена 1 р. 90 к.
- Маяковский, В. В.** — Том шестой. 1934. Стр. 243. Цена 4 р. 50 к.
- Пришвин, М.** — Колобок. 1934. Стр. 262. Цена 3 р. 75 к.
- Никифоров, Г.** — Единство. 1934. Стр. 209. Цена 3 р.
- Серафимович, А. С. Всеволожский, Игорь.** — Железный поток. 1934. Стр. 62. Цена 70 к.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Новиков, Иван.** — Страна Лекхорн. 1934. Стр. 326. Цена 4 р. 25 к.

Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».